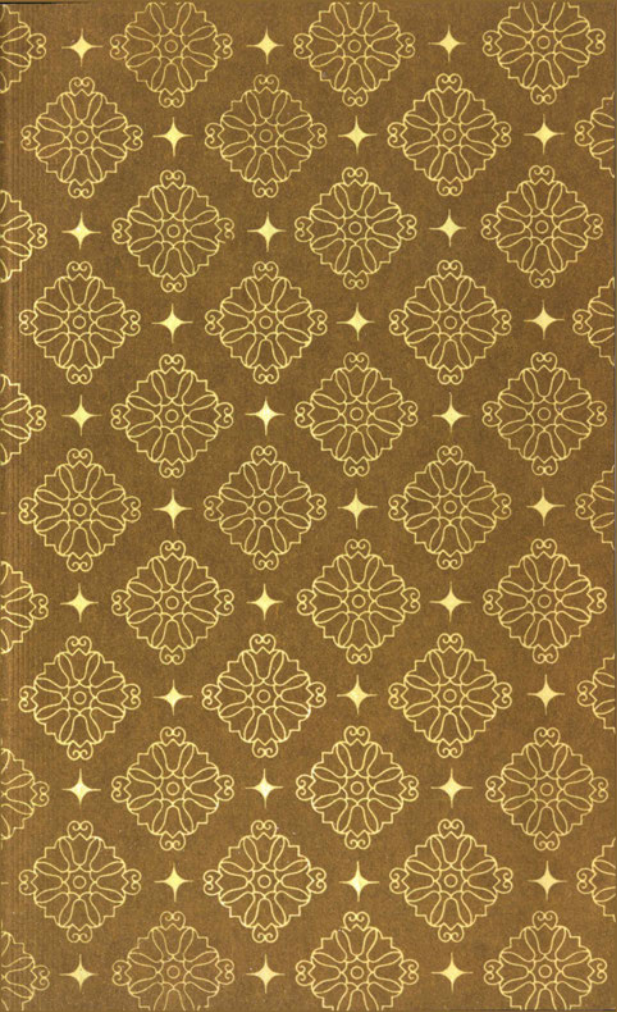


Іоан
Славич

Іоан
Славич

ЛЕСОВИЧКА





Иоан
Славич

ЛЕСОВИЧКА

Перевод с румынского



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

ББК 84.4Р
С47

IOAN SLAVICI

Предисловие
Н. ОСИПОВОЙ

Оформление художника
В. ХАРЛАМОВА

С $\frac{4703000000-354}{028(01)-88}$ 120—88

ISBN 5—280—00278—X

© Состав, статья, оформление, переводы, отмеченные *. Издательство «Художественная литература», 1988 г.



ПРИЗНАНИЕ ВЕК СПУСТЯ

Писатель и просветитель, общественный деятель и педагог, историк и публицист — такой разносторонней личностью предстает Иоан Славич в истории румынской культуры и литературы. Имя этого самобытного художника называют сегодня в одном ряду с именами таких выдающихся мастеров слова, как М. Эминеску, И. Крянгэ, И. Л. Караджале. Славич по праву заслужил это место в созвездии великих писателей. Без его ярких и оригинальных, правдивых и глубоко народных произведений сокровищница румынской литературы была бы неполной.

Между тем долгое время зачинатель реалистической прозы, открывший новую страницу в истории национальной литературы, оставался в тени. Судьба его творческого наследия, как, впрочем, и судьба самого писателя, оказалась весьма драматичной. Произведения его во многом не были поняты и по достоинству оценены современниками. Они оставались почти забытыми многие годы и после смерти их автора. Во всей румынской литературе едва ли найдется писатель, к тому же считающийся теперь классиком, которого принимали бы с таким трудом, как Славича. Он изображал человека из народа, а критики говорили о его неумении показать интеллигента. Он писал строго и сдержанно, а его упрекали в сухости и тяжеловесности. Он был занят поиском нравственной истины, а обвинялся в стремлении поучать.

Лишь век спустя после того, как имя художника впервые зазвучало в литературе, стали говорить о том, что он опередил свое время. Лишь век спустя читатели и исследователи его творчества открыли многогранность его та-

ланта, и Славич традиционный, едва знакомый по учебникам и нескольким произведениям, уступил место Славичу-мыслителю, писателю глубоко современному и все более необходимому в литературном сознании сегодняшнего дня.

Чем же можно это объяснить? Ответить на этот вопрос — значит, в сущности, раскрыть сложность и неповторимость поисков и достижений румынского писателя.

В творчестве Славича как в зеркале получила своеобразное отражение сама его жизнь. Путь художника от первых идиллических рассказов со счастливым концом к крупным реалистическим полотнам, исполненным драматизма, это, в сущности, путь человека от безмятежного восприятия окружающей среды в детстве до столкновения со сложным и суровым миром в зрелом возрасте.

Иоан Славич родился 18 января 1848 года в селе Ширия уезда Арад в Трансильвании. В то время этот край, как известно, входил в состав, вплоть до 1918 года, Австро-Венгерской империи. Населявшие его румыны, немцы, венгры подвергались всяческому гнету со стороны властей, и это сближало их друг с другом, сплавивало, рождало добрые отношения. В трансильванском селе, где проходили детские годы будущего писателя, царила атмосфера дружбы и взаиморасположения, да и в доме отца мальчика, сельского скорняка, отношения отличались взаимной любовью и сердечностью: маленького Славича, который рос довольно болезненным ребенком, окружало особенно нежное и заботливое внимание. Неудивительно поэтому, что из своего детства Славич выносит самые идиллические представления о мире. «Все мое детство было большой и прекрасной сказкой»¹, — напишет он позднее о счастливых детских годах. «Всюду, где я ни оказывался, все с любовью ласкали меня... и вскоре я проникся мыслью, что мир состоит из людей, которые любят меня и которых, следовательно, люблю и я»². Начальное образование будущий писатель получает в сельской школе, а затем обучается в венгерском лицее в Араде и в немецком в Тимишоаре, так как румынских учебных заведений среднего уровня в Трансильвании тогда еще не было. В 1868 году он получает диплом бакалавра и начинает посещать сначала Будапештский, а затем Венский университет.

¹ Slavici I. *Romanele vieții*. Cluj-Napoca, 1979, p. 37.

² Slavici I. *Amintiri*. București, 1983, p. 178.

Но пройти полный курс обучения ему не удастся: тяжелое материальное положение и долгая болезнь вынуждают его оставить занятия.

Будучи студентом, Славич очень много читает, отдавая все силы изучению не только юридических и естественных наук, но и философии, истории, литературе. Тогда же у него появляется обостренный интерес к жизни своего народа, его культуре. Корни этого интереса уходят в детство писателя, в годы, когда он наблюдал, как бережно хранил народ свое национальное духовное достояние, традиции и обычаи, песни и сказки. Славич активно знакомится с трудами трансильванских просветителей XVIII века — ученых, историков, лингвистов, педагогов, — посвященными проблемам происхождения румын, их историческим деяниям, развитию их языка и поэзии. Он изучает богатое фольклорное наследие, произведения румынских романтиков, пронизанные идеями национального и социального раскрепощения. Обращение к народной жизни, познание ее с помощью книг, но более всего в ходе многочисленных поездок по родному краю, счастливые воспоминания детства — все убеждает его в жизненной важности культурного и духовного сближения румын по обе стороны Карпат. Объединившись в 1859 году, княжества Молдова и Валахия обретают в результате русско-турецкой войны 1877—1878 годов независимость. На авансцену общественной жизни объединенных княжеств с новой силой выдвигаются социальные проблемы. В Трансильвании же общественно-культурная и литературная мысль по-прежнему решала важнейшие национальные задачи — защиты родной культуры, развития национального самосознания романоязычного населения. В этих условиях стержнем художнической концепции Славича становится мысль, что главным героем литературы должен стать человек из народа, крестьянин, с его неповторимым внутренним обликом, с его болями и заботами. Самым первым произведением Славича стала опубликованная в 1871 году пьеса «Дочь сельского старосты», в которой выведены сцены из народной жизни. Воздействие фольклора, столь осязаемое в этой пьесе, скажется и в дальнейшем в произведениях начинающего писателя. Под этим воздействием он создаст немало замечательных сказок, первая из которых «Фея утренней зари» увидит свет в 1872 году.

1870-е годы — период вызревания человеческой, гражданской, творческой позиции Славича. После долгих мытарств, пережитых преимущественно на юридическом поприще, он назначается преподавателем румынского языка и

философии одного из бухарестских лицеев. И тут уместно вспомнить еще об одной отличительной особенности характера Славича — о присущем ему обостренном чувстве долга, нашедшем предельно четкое выражение в его жизни и делах, явившемся в равной мере стержнем личности Славича-человека и Славича-писателя. Долгие годы он самоотверженно трудится на ниве народного образования, видя в воспитании молодого поколения свое истинное призвание, высший смысл жизни. Не случайно румынский прозаик Гала Галактион назовет его «старейшим учителем нации». Но в то же время Славич неустанно ищет ответа на вопрос, что он должен и может сказать людям средствами словесного искусства. Размышления о роли литературы, о назначении писателя в условиях страны, где художественные задачи неотделимы от общекультурных проблем, приводят его к убеждению, что миссия художника сродни миссии просветителя, который служит великому делу культурного и духовного обогащения народной души. Всю жизнь он с чистым сердцем стремился быть достойным этой миссии.

Иные критики были склонны рассматривать творчество трансильванского прозаика как прямое отражение его просветительских идей. Между тем идеи Славича-педагога не были самоцелью для Славича-писателя. Истинный талант, он всегда стремился пронизать свои произведения выстраданной им концепцией жизни и человека, ибо в литературе он видел источник гармонии и красоты, дающий людям мудрость и внутреннее равновесие, настраивающий их на волну мира и согласия, доброты и искренности. Эти понятия из категории вечных ценностей, столь органично вошедшие в сознание писателя еще в детстве, и нацеливали его на их воплощение в творчестве.

Кладезь этих вечных ценностей он видит в сельской жизни, в крестьянах. Ранние его рассказы, из которых особенно показательны в этом отношении «Скормон» (1875), «У креста» (1876), «Людская молва» (1879), рисуют незыблемый, устоявшийся, пусть несколько изолированный, без выхода в большую реальность, но цельный мир крестьян, открытых сердцем, чистых в своих помыслах, искренних в переживаниях. Изображая мир этих героев, автор не приукрашивает действительность, не уходит от нее в некую выдуманную им, несуществующую область человеческих отношений. Он показывает пусть пока только одну — возвышенную, — но реальную сторону этих отношений. Раскрывая в первых рассказах красоту души крестьянина, богатство и глубину его мира, одухотворенность его мыслей и чувств,

Славич своей художественной практикой утверждает право на существование в литературе человека из народа. И это в то время, когда влиятельные деятели культуры настойчиво твердили, что крестьяне, эти «примитивные существа», недостойны стать предметом литературного изображения.

Уже ранние рассказы Славича заметно отличались от произведений малой прозы других писателей, его предшественников и современников. Историческая, мемуарная, автобиографическая литература середины XIX века развивалась преимущественно в русле романтического направления. Она была еще во многом пронизана духом легенды, сказочными и фантастическими мотивами. В ней, как правило, изображались экзальтированные натуры, бурные страсти, герои, оказавшиеся «над» реальностью и социальными условиями. Славич же стал одним из первых писателей, кто, обратившись к короткому жанру, сумел передать в художественном вымысле объективные картины действительности.

Нацеленность на реалистическое отражение мира и места человека в нем неизбежно приводят Славича к осознанию неблагополучия жизни, и отсюда — к горячему стремлению изменить и улучшить ее. Без поучения и назидательности призывает он в других своих произведениях к усовершенствованию человека, ведущего и к обновлению самого миропорядка. Постоянный труд и обретение знаний — вот, по мнению писателя, удел человека, нравственно и духовно обогащающий его. Так, в рассказе «Поп Трында» (1875) он повествует о том, как жители нищей деревни, пребывающие в лени, начинают трудиться по примеру своего духовного наставника и возрождают родное село. А в рассказе «Будуля-сын» (1880) писатель создает образ упорно стремящегося к знаниям, трудолюбивого крестьянского парня, перед которым открывается блестящая карьера.

Проблема совершенствования человека не остается чисто творческой для писателя. Всю жизнь он воспитывает себя, тренирует ум, закаливает характер, старается быть равным в своем поведении и настроении, никогда не приспособляясь, не изменяя своим принципам: справедливости, благонамеренности, искренности. В своей каждодневной жизни он постоянно проявлял подлинное человеколюбие в самом широком смысле слова. «Люди кажутся мне более честными, более благородными, более добрыми, чем я их знаю»¹, —

¹ Slavici I. Romanele vîetii. Cluj-Napoca, 1979, p. 49.

утверждал он. Потому, по-видимому, не случаен тот факт, что среди славических героев мы практически не встретим ни одного чисто отрицательного персонажа. В отличие от своего современника, блестящего сатирика И. Л. Караджале, в произведениях которого беспощадно, порой до нарочитости, описываются человеческие пороки, Славич всегда оставляет за своими героями право на человеческое достоинство. «...разве есть в мире более великолепное сокровище, чем человек, о котором мы можем хорошо думать?» — напишет он в своей повести «Счастливая мельница» (1881). И в этой повести, где изображена подтачивающая души людей жажда обогащения, и в рассказе «Пропавшая жизнь» (1877), рисующем жизненную трагедию отца и дочери, и в других произведениях, темой которых станет нравственное оскудение личности, звучит большая и общечеловеческая, и социальная правда. Обвинению в них подвергнут не только сам герой, но и тот мир, который его окружает и вынуждает изменять самому себе. Не потому ли в условиях буржуазной Румынии игнорировались произведения Славича, все более глубоко осмысливавшего связи человека и общества, все более обнаруживавшего социальную подоплеку творимого на свете зла.

В 1874 году при содействии М. Эминеску Славич становится членом литературного общества «Жунимия» («Молодое племя»). Основанное крупнейшими деятелями культуры Румынии, общество это сыграло заметную роль в становлении реалистической литературы второй половины XIX века. Молодые авторы получали здесь моральную и материальную поддержку, на страницах журнала «Конворбирь литераре» («Литературные беседы»), издаваемого «Жунимей», публиковались их произведения. Именно руководитель общества, известный критик и политический деятель Т. Майореску отметил в одном из своих писем, что «Славич — самый талантливый писатель Жунимии»¹. И все же, даже несколько лет спустя, когда Славич был уже автором многих произведений, лучшие из которых («Поп Трында», «Скормон», «У креста», «Людская молва», «Будуля-сын», «Счастливая мельница», «Пропавшая жизнь») выйдут в 1881 году отдельным сборником под названием «Народные рассказы», имя его было более известно по переводам зарубежному читателю, прежде всего немецкому, нежели румынскому.

Постоянная обращенность писателя к ценностям народ-

¹ Цит. по: Ioan Slavici interpretat de... București, 1977, p. 6.

ного духа подвигла его на поистине титанический труд в комиссии по изданию древних документов и рукописей, созданной такими влиятельными деятелями культуры и литературы, как М. Когэлничану, А. Одобеску, Д. А. Стурдза, Т. Росетти. Работа в комиссии, начавшаяся в 1874 году и продолжавшаяся в течение тридцати лет, значительно обогатила исторические познания Славича. Он пишет многочисленные статьи по вопросам истории, исторические драмы («Богдан-водэ», «Гаспар Грациани») и романы («Предания старины. Лука», «Маня», «Последний армаш», «От греха к греху» и др.). В них он воссоздает картины жизни родного народа, восходящие к глубокой древности и к совсем недавнему времени — к периоду образования нового румынского государства в середине XIX века, обращаясь к событиям, связанным с судьбой выдающихся деятелей румынской истории. Румынская Академия удостоит роман «Маня» премией и, высоко оценив заслуги Славича в работе комиссии, изберет его своим членом-корреспондентом. Но эти факты останутся, пожалуй, единственным свидетельством признания заслуг Славича-историка. Никто в то время не мог в полной мере определить его место в научной и художественной разработке проблематики родной истории. И лишь сегодня, как отмечает автор солидной двухтомной монографии о Славиче Д. Ватаманюк, стало ясно, что «среди румынских писателей он остается одним из самых лучших знатоков национальной истории»¹.

1870—1890-е годы — период наиболее ярких достижений Славича, человека, гражданина, художника. Именно в это время он создает свои лучшие художественные произведения, вошедшие в золотой фонд румынской литературы. Именно в это время, будучи сотрудником и руководителем крупных изданий, педагогом-просветителем, видным членом Национальной румынской партии, он вносит весомую лепту в дело повышения культурного уровня и образованности своего народа, последовательно отстаивая его национальные интересы. За постоянные выступления в защиту прав румынского населения Трансильвании он неоднократно подвергается преследованиям со стороны венгерских властей. Над ним учиняют пять судебных процессов, его травят в прессе, год он проводит в заключении. Еще дважды, уже в конце его жизни, устроят расправу над писателем румынские

¹ Vatamanic D. Ioan Slavici. Opera literară. București, 1979, p. 34.

власти, которых не смутит даже его преклонный возраст, и он вновь окажется за решеткой за свои политические убеждения.

В 1881 году выходит повесть Славича «Счастливая мельница», а три года спустя — повесть «Лесовичка». Этими произведениями отмечен новый этап в развитии дарования художника, этап, свидетельствующий о его постоянном творческом росте, который сказывается не только в отборе реалий жизни, но и в глубоком постижении ее законов. Из автора в чем-то наивных и идиллизированных рассказов он вырастает в художника, оперирующего категориями зла и трагизма в человеческих судьбах. Отличительной чертой писательского почерка Славича становится беспощадная правда в обрисовке характеров и ситуаций. Это дало повод исследователям отнести его произведения к литературе «жесткого», «сурового» реализма.

Как и в рассказах, в повести «Лесовичка» в основе конфликта лежат социальные различия героев. Но в повести деревенский мир предстает в сложных условиях осязаемого классового расслоения. Острые социальные отношения влияют на судьбы людей, обуславливая и силу их, и слабость, решительность и сомнения, даже жизнь и смерть. Главный герой повести, сын богатея Бусуйока Йоргован любит Симину, дочь бедного сельского пономаря. Но Йоргован не в силах преодолеть свою классовую ограниченность, и женитьба на Симине видится ему отступлением перед ответственностью и долгом, «ведь его жена будет не только его женой, она будет невесткой его родителям и родственницей его родне». «Виджу, чувствую,— говорит ему Симина,— что ты стыдишься своей любви ко мне и боишься, как бы кто не узнал о ней». Психологический кризис, обусловленный социальным разломом, приводит героя к раздвоенности. Безропотно угождает он своим изменчивым желаниям, не может преодолеть самого себя и в конце концов спивается. Автор не случайно подводит его к этому финалу — он равносителен для писателя разрушению личности, последней ступени падения человека. В изображении Славича нерешительность Йоргована несет и оттенок фатальности. Для женитьбы на Симине ему не надо преодолевать трудности, ведь Симина горячо любит его, да и отец не противится их браку. Изображение этой фатальности свидетельствует в сущности, о том, что социальная обусловленность поступков славичевских героев никогда не возводится им в абсолют. Как истинный художник он рассматривает проявления человека в его тесной связи и взаимообусловленности с характером, наслед-

ственным темпераментом, с тем окружением, в котором он живет.

Эта истина подтверждается и образом Бусуйока. Ошибаются критики, полагающие, что в характере этого «богатея» общечеловеческое отодвинуто на задний план. Суть этого неоднозначного и глубоко правдивого образа гораздо глубже. В повести показано немало проявлений удивительной человечности Бусуйока. Он обеспокоен судьбой Симины, глубоко страдает, глядя на умирающего сына. «Никакой цены не имеет богатство в этом мире. Он был богат, но какая польза от этого?» — вопрошает автор, словно говоря от имени Бусуйока, готового отдать все ради спасения Йоргована. В образе этого героя писатель, таким образом, как бы воплощает и тему бесполезности, беспомощности богатства перед лицом человеческих несчастий.

Сложный путь творческих исканий, пройденный при написании рассказов и повестей, приводит Славича к решению написать роман. Долго и упорно размышлял он над сущностью широкого эпического повествования, даже набрасывал отдельные фрагменты. Но лишь в 1894 году журнал «Ватра» («Очаг») опубликовал главы романа «Мара». Отдельной книгой этот первый и, несомненно, самый значительный роман Славича вышел в 1906 году.

Один из корифеев румынской критики, академик Дж. Кэлинеску назвал роман «почти шедевром». Действительно, никому до Славича не удавалось создать столь современное по звучанию, многоплановое по развитию сюжета, глубокое по анализу человеческих состояний произведение. «Мара» — это роман о любви и семье, роман об ответственности и долге, о становлении характера и преодолении чувств. Узкое толкование произведения сводилось обычно к тому, что в нем отражены воспитательные, морализаторские тенденции автора, его стремление показать, насколько мучительна судьба влюбленных, нарушающих волю родителей. Между тем писатель далек от какой-либо назидательности, от поспешных и односторонних выводов, он не стремится кого-то разоблачать или оправдывать. Проникая в глубинные пласты психологии человека, в движение его души, автор вовлекает читателя в мир мыслей и чувств персонажей, ведет его самого путем поисков ответов и решений.

«Ничто так не возвышает человека, как мысль о том, что он может преодолеть себя». Эта фраза может служить лейтмотивом к роману, как, впрочем, и к другим славичевским произведениям. Главная героиня романа Персида упорно

и неистово борется за свою любовь. Любовь рассматривается автором как испытание характера человека. Она уже не только начало взрослой жизни, она — определяющий этап, влияющий на формирование человеческой судьбы. Постоянное преодоление себя — вот во что выливается стремление любить, ибо любовь — это долг, требующий крайнего напряжения духовных сил во имя преодоления всех преград и завоевания любимого человека, долг, требующий непрерывной работы ума и сердца. В романе автор воплощает мысль о возвышающем человека духовном начале любви. Не «биологический зов», а духовность — вот высшее призвание любви, высшее ее выражение. Исполненное достоинства приятие Персидой жизненных трудностей, особая нежность по отношению к близким, терпимость к ним — это не знак смирения, это путь героини к высокому пониманию жизни, отражающему позицию самого автора, его жизненную мудрость.

В «Маре» особенно четко просматриваются нравственно-этические позиции Славича. Писатель всегда утверждал, что искусство должно быть той «духовной пищей», которая «кормит правдой жизни». Никто в румынской литературе не придавал столь большой значимости нравственным категориям, как Славич. Тема нравственности была для него всеобъемлюща. Она включала в себя все темы, мотивы, образы, легла в основу его концепции жизни и творчества. Большинство его героев находится в поисках нравственной истины, это обусловлено их стремлением жить правильно, в соответствии с нормами человечности. Те из них, кто попирает эти нормы, становится жертвой судьбы, им уготована трагическая участь. Рисуя в лучших своих произведениях картину сурового реального мира, борьбу человека за место в нем, Славич отвергает таким образом романтический идилизм и слащавость, присущие литературе многих современных ему прозаиков. Преломление нравственных норм в художественно убедительные образы является одним из важнейших элементов реализма писателя.

Критика не сумела сразу разглядеть новаторскую сущность «Мары», произведения, предвосхитившего тенденции, которые в полной мере скажутся позднее, в 20—30-е годы XX века, когда в румынской литературе появятся яркие образцы реалистического психологического романа. «Славич ничуть не обновился с первых строк и до последней книги»¹, — так категорично и жестко прозвучит уже начальная

¹ Constantinescu P. Scrieri. 4, București, 1970, p. 595.

фраза в рецензии на второе издание романа (опубликованной в августе 1925 года, буквально несколько дней спустя после смерти писателя). Автор рецензии обвинит Славича в том, что он дает пространные описания, нанизывает эпизоды, чуждые романной структуре, рисует туманные, слабо мотивированные характеры, в результате чего получается «разношерстная картина жизни».

Выпады критики не обошли и особенности стиля и языка писателя. Между тем Славич отличался особым отношением к слову. Он говорил, что прекрасное в искусстве, имея в виду литературу как искусство слова, предполагает прежде всего правдивость. Поэтому он не шлифует фразы, не задумывается над многообразием словарного состава. Для него важна роль слова, и если это слово найдено, он не боится повторить его несколько раз. Повторы обретают глубокую значимость в тексте, становятся лейтмотивом того или иного эпизода, главы, выделяя в них их тему. Диалоги и рассказы действующих лиц характеризуются выразительной немногословностью, сдержанностью. Драматические ситуации, душевное состояние героев, их поведение изображены крайне сжато и насыщенно. Картины быта, традиций, обычаев — всего уклада румынской жизни середины XIX века — описаны точно и вместе с тем ярко. Язык писателя глубоко народен, в нем много от сказовых форм изложения, их интонационной окрашенности. Народность стиля отражается и в композиционном построении текста. Некоторые главы рассказов, повестей, романов начинаются традиционными фразами-зачинами, характерными для фольклорных форм, в которых получило своеобразное преломление философское начало и мудрость народа.

17 августа 1925 года Иоана Славича не стало. Он умер, почти забытый, одинокий, скоротав свои последние годы воспоминаниями, которые вылились в ряд мемуарных произведений («Мои тюрьмы», «Воспоминания», «Мир, который я прошел»). В этих произведениях можно встретить страницы, в которых звучат запоздалые сомнения автора: сумел ли он выполнить свой долг до конца, займет ли его творчество прочное место в памяти потомков. Время развеяло эти сомнения.

...Среди немногих, кто провожал Славича в последний путь, был ставший к тому времени широко известным писатель Ливиу Ребряну. Факт глубоко символический — именно в творчестве Ребряну, одного из крупнейших мастеров

социально-психологического романа XX века в Румынии, традиции славячевской прозы получили наиболее убедительное и полное художественное осмысление. Традиции эти живы до сих пор: об этом свидетельствуют книги таких ярких современных прозаиков социалистической Румынии, как Т. Поповича, Д. Р. Попеску, М. Мику и др. Это закономерно, ибо само время доказало жизненность и прочность славячевского наследия.

Н. Осипова

НОВЕЛЛЫ





ПОП ТРЫНДА

I

Помилуй, господи, дьячка Пинтилия! Хороший был человек и пел славно. И соления всякие любил. Лишь только охрипнет, выпьет яичный желток, прочистит горло, да как запоеет, стекла в церкви звенели, когда затягивал он «Спаси, господи, люди твоя». Был он дьячком в Бутуканах, большом, ухоженном селе, где жили степенные, зажиточные хозяева, славившиеся богатыми подношениями и застольями. Было у дьячка Пинтилия двое детей — дочь, вышедшая замуж за Петра Цапу, и сын Трандафир, ставший священником в Саранчанах.

Храни, господь, отца Трандафира! Хороший он человек, по книгам он учился и поет много лучше покойного отца, царствие ему небесное! И говорит неторопливо и по-книжному, будто и впрямь из книжки читает. А уж трудолюбив да бережлив, не сказать как! Из ничего дело свое сделает. Находит, собирает, чинит и не только для себя, для людей старается, чтобы и у них было.

Многого он добился с самой своей юности. А чего добился, не пришло само собой. Бедный человек должен приумножать и терпеть. А мозгами шевелить — не вилами ворочать или тяпкой. Не зря он трудился, не зря мозговал — стал батюшкой в селе, где отец его был дьячком, в большом селе и ухоженном, где жили степенные, зажиточные хозяева, славившиеся богатыми подношениями и застольями. Но отец Трандафир недолго любил поминки и застолья.

Замечательный человек отец Трандафир, если бы не один изъян. Уж очень остер он, уж очень в суждениях строг, излишне прямолинеен: все как есть говорит. Не выбирает выражений, так правду в глаза и режет. Все скажет, что на сердце накипело. А можно ли человеку быть таким? Люди обижаются, когда им в глаза тычешь. С людьми ладить надо. Вот и вышла с отцом Трандафиром неувязка. И двух годов не прослужил он в Бутуканах. Не сдерживал себя: то в селян словом

запустит, то в протопопа. А как известно, с протопопом должно поменьше разговаривать. На протопопов больше подношения воздействуют. А отец Трандафир правилами этими пренебрег.

Что и говорить, прав был отец Трандафир. Но правота удел сильных — то бишь, властей. А тем, кто послабее, тем лучше сидеть да помалкивать. Муравью гору не свернуть, а перетаскать ее по крупице с места на место потихоньку да полегоньку ему вполне под силу. Может, и понимал отец Трандафир, что так оно делается в мире, но был у него на то свой устав: «Доброе дело правду говорит смело». Любил он эту поговорку, с ней и оставил Бутуканы... То есть, не сам, конечно, оставил, а селяне за него похлопотали. Похлопотали, да не одним лишь словом, к слову кое-что приложили для большего веса, а протопоп в свой черед в епископию тоже понес весомое слово да с прикладом — вот как дела-то делаются у умельцев. Короче говоря, отца Трандафира перевели из Бутукан в Саранчаны для полного удовольствия прихожан.

Попом в Саранчаны! Кто бы знал, что оно значит, — поп в Саранчанах. Но поделом отцу Трандафиру! Впредь будь осмотрительней. Хочешь перепрыгнуть через ров, сначала перекинь суму. А у отца Трандафира были и жена, и двое ребятишек, а сума пустая. Каково с таким-то скарбом из Бутукан в Саранчаны!

Располагались эти Саранчаны в Сухой Долине, не зря их люди так прозвали. Село «Саранчаны» да еще в «Сухой Долине» — хуже и не придумаешь.

Сухая Долина!

«Долина», потому что место низкое и вправду между гор, а «Сухая», потому что безводная, если не считать речушку, пересохшую в ниточку.

Вот так картина:

Справа гора Лысуха, слева три других горы — Ряшку, Колдоба и Мохнатая.

На Лысуге голые скалы, на Ряшку — поля, на Колдобе — село, а на Мохнатой — кладбище, поросшее орешником да березняком.

И вправо и влево работы край непочатый, а в глубине да прямо то же самое. Вот и живи как хочешь.

За Лысым холмом простиралась другая долина, Чудейская, более широкая, нежели Сухая Долина, а названа так от тамошней речки Чудейки. Чудейка была бурливая, говорливая речка, особенно по весне, когда

наливалась она полной водой, а ручеек из Сухой Долины был притоком этой речушки. Весной, когда таяли снега в горах, Чудейка бурлила, и пенилась, и выплескивала свою злость широко окрест, так что почти целиком захлестывала и Сухую Долину, и становилась та долина далеко не «Сухой». За несколько часов вода подбиралась к Саранчанам. Так было почти каждый год. Только зазеленеют первые всходы в Сухой Долине, глядь, она, позабыв свое название, заливает их водой.

И продолжается такой разлив не день-два или две недели, а куда дольше. Вода застаивалась почти на все лето болотцами, весьма уютным прибежищем для всего лягушачьего племени.

Вместо хлебов вокруг этих болотцев рос ивняк и тростники.

Удивительно ли, что жители Саранчан с годами вконец обленились. Какой же дурак станет сеять, если заранее знает, что у него ничего не вырастет. На горе Ряшку почва была песчаная, и пшеница там вырастала высотой с ладонь, а кукуруза — с локоть; на Лысухе даже ежевика не росла. По всей Долине вода губила урожаи. А где нет надежды на урожай, там нет и тяги к труду. Работает тот, кто надеется получить от работы прибыль, а у саранчанцев даже надежды такой не появлялось. Вот и прохлаждались они в теньке день-деньской, а если поджимало животы, шли на заработки в другие села. Зато уж зимой бедовали во всю... Ох, не приведи господь!..

Кто привык к плохому и не мечтает о лучшем: жители Саранчан даже не помышляли о другой жизни и думали так: рыбе — вода, птице — воздух, кротам — земля, а саранчанцам — бедность.

Саранчанцы! Вот какое оно село — Саранчанцы! Один дом тут, другой — там, третий еще где-то... Заборов нет, загораживать нечего, не село, а один двор на всех. Печных труб тоже не водилось, дым сам находил себе лазейку через крышу. Стены обмазывать — зачем? — все равно глина на них долго не удержится. Бревно на бревно — вот тебе и стена, солома да сено — вот тебе и крыша, печь глиняная еще дедовской кладки, полати на четырех козлах, вбитых в землю — вот тебе лежанка, три горбыля вдоль да два крест-накрест — вот тебе и дверь... И все тяп-ляп, хорошо и так, а кому охота сделать получше, милости просим...

На юру, то есть на самом высоком месте в селе, стояло занятное сооружение, называемое в Саранчанах «церковью». Сооружение! Та же работа: бревно на бревно — стена. Когда-то сооружение это своей макушкой, может, и упиралось в небо, но, увы, с тех пор прошло неведомо сколько времени. Теперь стены несколько покосились и вершина смотрит явно не туда. Столбы у дверей в церковь прогнили и покосились, накренились к многострадальной земле и увлекли за собой и остальное сооружение. Вот она церковь в Саранчанах, прошу любить и жаловать!

Поп? Говорится: без попа — не приход. Тот, кто выдумал такую поговорку, не бывал в Саранчанах. Саранчаны и были приходом без попа. То есть, бывали тут и попы, но не удерживались. Вот и получался приход без попа. Ни один поп не удерживался в Саранчанах дольше трех дней: в первый день — приходил, во второй — оставался, а в третий — уходил. Прошли через Саранчаны все опальные иереи, и кто из них задержался тут дольше трех дней, тот наверняка очистился от грехов, так что можно его без исповеди прямо в рай.

Теперь настал черед отцу Трандафиру пройти через такое испытание. Не мог же он, как другие, прийти нынче, задержаться денька на два и тут же уйти. Не такие у него были отношения с протопопом, чтобы рассчитывать на помилование; знал, не пошлют его в другое село. А без прихода, что за поп? Поп без прихода — колесо без телеги! Ярмо без волов! Скуфья на столбе! И принял батюшка новый приход со смирением и к несчастью своему отнесся, как к счастью. Было село, было у села название, был приход, а в приходе — поп. И в самом деле более подходящего попа для такого села и подыскать было трудно. Поповская пустая сума вполне под стать обнищалоу селу: каков поп, таков и приход.

Отец Трандафир с первого взгляда определил, что в Бутуканах жилось бы ему не в пример лучше, чем в Саранчанах. Люди там имущие, а там, где у прихожан достаток, там и поп не внакладе. И решил отец Трандафир: поп печется о своем приходе, а приход заботится о достатке попа.

Не понадобилось много времени, чтобы понял отец Трандафир, что не так уж нехороши те, что начинают с подношений и застолий. «Это доброе дело,— решил

он про себя,— когда люди собираются вместе, и разве не начал Спаситель со свадьбы и винопития в Кане Галилейской?» Вот как думал теперь поп, но не предвиделось в Саранчанах ни подношений, ни застолий.

«И впредь так будет,— сказал, подумав, отец Трандафир.— В бедном селе бедовать и попу, ни колоска, ни зернышка ни от кого не дождусь. Покуда люди ленятся, будут они бедны, а я голоден!» И решил он подвигнуть своих прихожан на труд.

Трудолюбивый человек из камня выжимает воду, из болотной жижи делает сыр, пшеницу скашивает там, где растет белена.

«Надо что-то делать,— сказал он себе.— Коли сыта корова, сыт и ее теленок».

И решил он действовать.

Поучать-то других нетрудно. А толку от этого много ли? Слепец не помощь калеке, лишний рот не в пользу голодным; если грядки стерегут гуси, мало что остается огороднику. Но отец Трандафир был умный человек. И если уж он за что-то брался, то шел до конца.

На первой же воскресной службе начал он с проповеди перед собравшимися прихожанами, а народу набилось битком, всем хотелось взглянуть на нового батюшку. Нет большей радости для проповедника, чем сеять добро и видеть, что твои слова попадают на благодатную почву. Доброе слово оседает и множится в душах, а добрый сеятель испытывает удовлетворение, когда видит, что слово его приносит плоды, то есть, находит у людей отклик. Отец Трандафир был счастлив. Никогда и никто не слушал его с таким вниманием. Казалось, люди слушали то, что и сами давно знали, но не твердо, и впитывали теперь буквально каждое слово с такой жадностью, будто заждавшаяся земля — зерна, а сеятель щедрой рукой одаривал их.

Он прочитал из Евангелия притчу о блудном сыне, показав, что господь в безмерной любви к людям создал человека для счастья. Быв человеком среди людей, господь возжелал испытать красоту жизни, ибо, лишь полюбив человеческую жизнь, можно принести ей добро и пользу. Человек, бывает, по своей вине или из-за случайности прикидается горечью и неудовольствием, и не любит он тогда жизни, а не любя жизни, человек лишает себя высокого господнего дара.

Если люди нетрудолюбивы, если пребывают в лени, если палец о палец не ударяют, то это большой грех!

Две жажды даны человеку, плотская и духовная. Чистая жажда плоти дана ему, чтобы утолять ее плодами рук своих, а жажда духовная, чтобы принять в душу божий мир и, исполняясь благодати господней, с верой взирать в будущее. Работа — закон человеческого бытия, и кто не трудится, совершает тяжкий грех.

В своей проповеди отец Трандафир объяснил прихожанам, сколь ничтожен человек, голодающий по лени своей, и дал дельный совет трудиться неустанно и весной, и летом, и осенью, и зимой.

Люди слушали его с волнением и шли домой, обсуждая дорогой его слова: каждый чувствовал себя человеком, больше чем когда бы то ни было. Иные с нетерпением ждали: скорей бы минуло воскресенье и можно было взяться за работу.

— Такого попа в Саранчанах отродясь не было! — сказал Марку Флорий Кукулиу, прощаясь с соседом Митрей.

— Да, основательный поп, как в истинно честном селе! — поддержал Митря, как бы признаваясь, что до сих пор село их честным не было.

В следующее воскресенье отец Трандафир не проносил проповеди. Было не перед кем. Шел дождь, и прихожане предпочли сидеть дома. В третье воскресенье, хотя и распогодилось, люди тоже не пришли, считая за лучшее понежиться под господним небом. Лишь две-три слепые старухи, да два-три глухих старичка иной раз навещали церковь. А чаще батюшка оставался наедине со звонарем Козонаком. Вот оно как пошло дело.

Другой бы на его месте сдался, но не таков был отец Трандафир. Он вроде той козы, что забралась в огород капусту есть, гонишь ее в калитку, она влезает в дыру, заткнешь дыру, она через плетень, да еще хлопот понаделает, плетень слопают. Храни его господь! — не для обиды пример, — хороший человек отец Трандафир, таким был и остался!

«Ладно, — подумал он, — раз вы ко мне не идете, я сам к вам приду». И стал он колядовать. День-деньской ходил кругом. Где человека увидит, там и поучает. Всюду люди на него натыкались: пойдут в поле — там поп, в лес — и он тут как тут, он и в церкви, и на похоронах, и на свадьбе, и на крестинах. Никуда от него не денешься, никуда не скроешься. Всюду он тебя прихватит и поучает.

Целый год отец Трандафир так поучал людей. И люди слушали его не без удовольствия. Им было лестно беседовать с батюшкой, иные даже слушали и поддакивали. Но тем дело и кончалось: сказка сказывалась, но дело не делалось. Люди слушали поучения, а работать и не думали. И отец Трандафир притих. Перестал поучать людей. Не оставалось в селе ни одного человека, с кем бы он не вел нравоучительной беседы. А толку никакого.

«Ну ладно! Попробую-ка я с вами построже!»

И стал он не поучать, а насмехаться. Где кого ни встретит, на смех подымает. Пройдет мимо чьей-нибудь хаты, где кровля и вправду не вчера настлана. «Эй! — кричит. — А ты молодец! И в крыше дырки провертел, чтобы в доме больше солнечного света было!»

Завидит женщину в грязной юбке: «А ты, вижу, модница, из мешковины платье себе шьешь!»

Наткнется на замурзанного ребенка: «Видать, много у вас варенья, если дети так выпачканы!»

Заметит лежащего в тени человека: «Бог в помочь! Хорошо трудишься!» А если человек нехотя поднимался, он просил: «Делай свое дело, не отрывайся! Тебе семью кормить, а я мешаю!»

Людям надоело, стали обходить его за версту, бежали от него, как от чумы. Но самое плохое, что кличку ему придумали, стали называть «Поп Трында», будто он трындит одно и то же. И пристала к нему кличка — Трында и Трында.

Одним нехорош оказался поп: всем было приятно смеяться с ним над соседом, но никому не нравилось, когда посмешищем становился он сам. Так уж устроены люди: на чужой горбок не насмеюся, на свой горбок не нагляжуся. Но отец Трандафир никому спуска не давал. Не прошло и года, как все были осмеяны, не над кем было больше смеяться, разве что над самим батюшкой. Опять незадача.

Прошло два года, а дальше слов дело не продвинулось. Не удалось отцу Трандафиру даже задеть людей как следует. Наоборот, все стали словоохотливыми да насмешниками. Соберутся кучками и давай перемывать друг другу косточки. И странное дело, вроде бы смеялись над дурным, а все равно дело с места не сдвинулось.

«Эх,— скажет иной человек,— не осерчал бы сам батюшка!» Так и вышло, осерчал отец Трандафир, крепко осерчал.

Так осерчал, что стал поносить людей. Сначала поучал, потом вышучивал, а тут стал измываться. Где увидит человека, там и поносит.

Но и тут поначалу дело не пошло. Люди спокойно относились к его ругани. Потом помаленьку стали отвечать, огрызаться, хотя стыдливо, сквозь усы. Но поп не унимался, и они разошлись вовсю.

Видно, пронял он их до печенок. И пошла такая кутерьма, только держись! Люди взбунтовались, сказали, что больше ни дня не потерпят его ругани, пожалуются на него епископу, чтобы убрали его из села.

А ему того и надо. Чего же лучше? Он теперь только о том и мечтал, чтобы из Саранчан выбраться! И стал поп ругать людей еще пуще.

Кинулись прихожане к протопопу, а потом и к епископу.

В книге книг говорится о том, что благожелатели нам часто во вред, а хулители во благо. Но отцу Трандафиру и в этом не повезло; не повезло ему и с хулителями. Епископ, сердобольная душа, записать бы его в заздравный листок на веки вечные, пожалел незадачливого пастыря, взял его сторону и осудил прихожан.

И остался поп Трында жить в Саранчанах.

Неудача одна не ходит. Одна приводит другую, а может, они всегда ходят вместе, может, они двойняшки? И неразлучны, как свет с тенью.

У отца Трандафира было уже трое детей, а когда вернулся он из епископии, матушка принесла ему новую радость.

Занедужившая жена, трое ребятишек, четвертый— грудной, дом — развалюха, сквозь стены снег сыплется, печь дымит, под крышей ветер гуляет, в амбаре хоть шаром покати, в кошельке пусто, и душа не на месте.

Отец Трандафир не знал, как беде помочь. Другому человеку словом помогаешь, а себе — как? Чем себя утешить? Долго сидел батюшка, скорбя при свете свечи, разбрасывающей по стенам тени; долго

смотрел на спящее семейство. Ничто так не угнетает душу, как вид спящих людей. А если эти люди твои близкие, за кого ты болеешь душой, за кого отвечаешь перед богом, кого любишь и кто составляет смысл твоей жизни? С одного на другое перескакивали его мысли. То виделось ему прошлое, то настоящее, то будущее, и виделось оно не в радужных красках. Его дети! Его жена! Что с ними будет? На сердце было тягостно и уныло, и неоткуда было взяться надежде.

Наступило воскресное утро, и отправился батюшка в свою кособокую церковь служить заутреню.

Как многие люди, отец Трандафир жил бездумно, делал свое дело. Жил и радовался, что он священник. Нравилось ему петь молитвы, читать Евангелие, благословлять и исповедовать прихожан, утешать и наставлять заблудших. О чем было еще думать? Если бы он однажды спросил себя, понимает ли он высокую святость, тайное значение своих призывов, он бы посмеялся тишком надо всем, что люди узнают лишь в особые минуты своей жизни. Случается, что человек открывает разумом своим некую тайну и уже ко всему на свете старается подходить с той же меркой и в то, чего не может постичь, не верит. Но не всё подвластно разуму. Есть случаи, где разум бессилен: в опасности, например, когда душе неоткуда ждать помощи, в радости, когда недоумеваешь, откуда тебе привалило счастье, и еще тогда, когда разум не справляется со своими мыслями, не находит между ними связи. На таком пределе, когда разум не может ни в чем разобраться, за дело берется душа.

Отец Трандафир вошел в церковь. Много раз входил он в нее. Но всегда входил, как кузнец в свою кузницу. Теперь он был в смятении, небывалом смятении. Ступив несколько шагов, он остановился, спрятав лицо в ладони и заплакал глухим, стонущим, страшным плачем. Отчего же он плакал? Перед кем плакал? Он произнес лишь три слова: «Помоги, всемогущий боже!..» Неужто он верил, что крик его души, сгусток боли и отчаяния будет кем-то услышан? Ничего он не думал, ни во что не верил: он был измучен вконец.

Священное писание учит: пахарь кормится трудом рук своих, а духовный пастырь, служа алтарю, службой своей кормиться должен. И отец Трандафир верил словам Священного писания, всегда трудился он, наставляя своих прихожан, и ожидал, что они в благодарность станут заботиться о его хлебе насущном. Но люди не всегда таковы, какими им быть надлежит: священник трудился, а прихожане — нет. Служба приносила отцу Трандафиру скудный доход, весь его достаток: четыре куска земли, мзда от прихожан, плата за крестины и отпевания. Вот и вся прибыль, а если учесть, что земля пустовала, мзда была лишь на словах, младенцев поп крестил из милости и покойников провожал в последний путь из милости, то и дохода никакого не было.

Рядом с церковью стоял поповский дом, да и домом его назвать было трудно, добрый хозяин поостерегся бы держать в нем скотину, а у батюшки и скотины не было. При доме участок — земли, пригодный для огорода или сада, но пустовавший, как и другие участки. Отец Трандафир получил эту землю в придачу к дому. И жил он в своей развалюхе, ничего не меняя, стены — решето, крыша — сито. Заботился батюшка не о своем доме.

Трапеза у батюшки тоже под стать дому. Хотя и говорит пословица: каков поп, таков и приход, все же поп, наставляя людей жить по своему разумению, сам жил, как все. Еще спасибо жене он взял с приданым, но и этот колодец иссякал, и уже видно было доньшко.

«Так не годится! — сказал себе отец Трандафир. — Так не годится!» И впервые задумался он, как все люди, о своем собственном благе.

Весной нанял он цыгана, велел ему замесить глину и обмазать дом. За три-четыре дня все четыре стены были законопачены и обмазаны. С той поры батюшка больше сживал на улице, нежели в дому, и любовался своими пригожими стенами; ни у кого в Саранчанах мазанки не было, а у попа была, и он мог с гордостью сказать: «Это мой дом!»

Но глядя на свои стены, батюшка нет-нет да и наткался на крышу и, раздосадованный, уходил в дом. Смотреть-то ему хотелось только на стены, а

взгляд поневоле упирался в дырявую крышу, она так и лезла в глаза. Проклятая крыша! Пришлось и с ней что-то делать.

В низине, где болотца, не росло ничего, кроме лозы и ивняка, да еще росли мятлик, камыш, рогоз и кое-где тростник. «Вот как я сделаю», — сказал себе поп. Нанял он человека, велел скосить мятлик, вырубить камыш, рогоз и тростник. К субботе все вокруг дома было завалено вязанками этого добра, а к другой субботе красовалась на поповском доме обновленная крыша, залатанная и настланная тростником и соломой. Дешево и сердито. Люди, проходя мимо, качали головой и говорили: «Поп слуга черту!» А поп ходил вокруг дома, довольный собой.

Но и эта радость была недолгой. Еще одна забота мучила отца Трандафира. Жил он в своем доме, словно на юру. Такого дома, как у него, не было ни у кого, надо было отгородить его от остального села. Хотелось батюшке говорить: «У меня на дворе», а как скажешь, если живешь без ограды и все село один двор. Нужен был забор с калиткой или хотя бы лазом, через который люди бы входили к нему во двор.

Опять поп нанял человека, отправил его нарубить колючего кустарника; сам вбил в землю колышки и между колышками разместил колючий кустарник — чем не изгородь? Рядом с церковью пустырь в четырех саженей был огорожен и сделана калитка — четыре колышка продольных скреплены двумя колышками крест-накрест.

Больше всего радовалась изгороди матушка, а батюшка был счастлив, видя радость жены. Раз десять на дню поп с попадьею наказывали детям: «Не ходите со двора на улицу! Тут играйте!»

Коли сделал человек первый шаг, его уже не остановить. Одно желание порождает другое. Теперь осенило попадью.

— Слушай, муженек, — сказала она как-то утром, — а не сделать ли нам грядки округ двора.

— Грядки?

— Да. Посадим лук, морковь, фасоль, картофель, капусту.

Батюшка изумился. Это казалось невероятным. Огород в Саранчанах?.. Несколько дней кряду ни о чем другом он не мог и думать, всюду виделись ему

грядки с картофелем, капустой, фасолью. Спустя несколько дней земля была вскопана, грядки сделаны.

Всякий раз то поп, то попадья наведывались в свой огород, боясь проворонить первые ростки. И вот в один прекрасный день радость наступила. Поп встал первым.

— Матушка, вставай!

— Что стряслось?

— Глянь!

Весь день поп с попадьею и детьми не отходили от своих грядок. Кто первый замечал новые ростки, бывал счастлив.

А проходившие мимо люди, заглядывая сквозь колючую кустарниковую изгородь, говорили: «Поп черту служит!»

— Слушай, матушка,— сказал на другой день поп.— А не посеять ли нам возле самого забора кукурузу?

— Хорошо бы! Я люблю молодые початки.

— А я испеченные в золе.

И это свершилось. Посеял поп кукурузу. Сердце радовалось от мысли, что встанет вдоль забора кукуруза плотной стеной, и не будет видно с улицы, что во дворе делается, с некоторых пор изгородь перестала нравиться отцу Трандафиру. Есть старая присказка: путному началу — благой конец. За домом тянулся еще один кусок земли, в пять раз больше огороженной, и о нем подумал батюшка: зачем ей пустовать? Нельзя ли и там посеять кукурузу?

На склонах горы Ряшку люди и пахали и сеяли, но чтобы кто догадался на сельской земле сеять, такого не было.

У поповского соседа Марку Флория Кукулиу нашелся плуг, правда, не совсем исправный, но все же плуг; у Митру Канаташа, соседа Марку, были два тощих вола да хилая лошадка. Поп, Марку, Митру, вола и лошадь сообща потрудились с утра до темноты: и вспахал поп землю за своим домом, и засеял кукурузой.

Теперь любил он сидеть за домом. Что за красивые борозды на поле! На пашне то здесь, то там высовывались тоненькие стебельки кукурузы. Но поп и тут не успокоился, хотелось ему еще чего-то. Однако не так-то просто было взяться за новое дело, не так-то

просто решиться возделывать заброшенные земли. Лежали они вдалеке от дома, и что с ними делать? Хотелось отцу Трандафиру возделывать их самому. Увидеть свои всходы, ходить на поле вместе с попадьей, а осенью... До чего же заманчиво!

Бесконечные разговоры вел он об этом с матушкой. Ему нужны были лошади, повозка, плуг, работники, скотный двор и много, много другого. Поп не очень-то разбирался в этих делах... И все же — зеленели грядки, всходила кукуруза. Поп решил: вытащил он из сундука остатки приданого, припрятанные про черный день, и принялся за работу.

Плуг Марку был хорош для начала. Одну лошадь купил он у Митру, другую приобрел у одного мужичка из Чудейской долины. У хромого Стана купил арбу о трех колесах, четвертое досталось ему от Митру в придачу к лошаденке. Звонарь согласился пойти к попу работником, его дом находился неподалеку от поповского. Поп вбил в землю четыре столба за углом дома, два больших и два поменьше, сплел из лозы стены, настлал из камыша кровлю — чем не сарай?

За эти годы отец Трандафир состарился чуть ли не на десять лет, а тут сразу помолодел, особенно, когда усадил жену с детьми в свою бричку, хлестнул кнутом своих лошадей и помчал показывать свои возделанные поля.

Сельчане, глядя на него, все так же качали головой и приговаривали: «Поп черту служит!»

Бывали желания и у попадьи. Лежала у нее на самом дне сундука завернутая в бумагу икона, подаренная некогда поповичем из Везуры. Хотелось матушке, чтобы икона висела на видном месте, между окнами, была это икона пречистой девы Марии, а дочку попа, между прочим, звали Марией. Но стена была грязной, икона без рамы. А еще удручало матушку, что окна затянуты свиным пузырем, а иные и бумагой, в комнатах темень.

Надвигалась пасха. До страстной недели оставалось всего пять дней, и, чтобы по-людски провести с женой праздничные дни, надо было успеть достать три вещи: известку для побелки, стекла для окон и раму для иконы пречистой девы Марии. Все это можно было купить лишь в городе. Так на базар!

Были у попа и лошади, и бричка! Но не было на

ней сидений со спинками, остался лишь голый остов. Не мог же поп ехать в город в такой бричке. И взять в долг бричку не мог, ни у кого в Саранчанах не было брички с сиденьями.

Беда всему научит. Послал батюшка работника вниз за прутьями, вбил в землю два кола больших, а рядышком колышки поменьше, и все вместе — поп, попадя, дети и работник Козонак принялись плести сиденья для брички, и вскоре они были готовы. Может, они были не так уж хороши, но они, безусловно, были самыми лучшими сиденьями в Саранчанах, такими отменными, что и Козонак, не выдержав, сказал: «Поп черту служит!»

Поп отправился в город на базар и вернулся, щеголяя новыми сиденьями своей брички, потому что люди покупали сиденья похуже, чем у него.

— Батюшка, ты что делаешь?

— Сиденья плету.

— Так у тебя же есть?

— Не для себя плету.

После пасхи Козонак нарубил прутьев, очистил их от коры, а поп принялся плести сиденья. И чем дальше, тем лучше у него получалось, а последнее — лучше других.

Марку Флорий Кукулиу любил потолковать с отцом Трандафиром. Вот и теперь вел он с ним беседу. Козонак очищал прутья, поп плел сиденья, а Марку, лежа на животе, подперев голову кулаками, смотрел прямо перед собой.

— Больно длинный прут, — сказал поп, измерив прут на глазок. — Эй, Марку, подай-ка мне топор.

Топор валялся у ног Марку; Марку приподнялся на локте и стал ногой пододвигать к себе топор.

— А ты расторопный малый! — сказал поп и стегнул его хворостиной.

Марку вскочил как ошпаренный и понял, что он в самом деле расторопный малый. Это послужило ему хорошим уроком. Перед троицей батюшка наготовил целый воз плетеных сидений для продажи. Марку понимал, что если поп продаст свои сиденья, то в доме у него наступит веселый праздник. И решил он помогать батюшке, чтобы и ему счастья немного привалило.

Однако перед самой троицей зарядили дожди и, казалось, конца им не будет.

— Не знаю, что и делать,— сокрушался поп.— Придется отложить поездку, поеду после троицы. Страшно ехать в такой ливень. Если дождь не уймется до четверга, то и вовсе не поеду.

Марку почесал за ухом и ничего не сказал. Но подумал, что попу и впрямь не пристало под дождем мокнуть, задумался он, забеспокоился.

— А нельзя ли? — спросил он попа, — сплести рогожку из камыша, а то из рогоза. Этого добра у нас навалом.

— И то верно,— согласился поп.— Работа знакомая, а что плести не важно.

Помогая попу недели три, Марку выучился плести лучше попа. Рогожки получились на славу, поп уехал, прикрывшись от дождя, и вернулся с полным кошельком.

Троицын день выдался погожим. Попадья надела новое платье, трое старшеньких детей были в городской обуви, а маленькая Мариука в соломенной шляпке с двумя алыми цветочками сбоку. Стены побелили даже снаружи, стекла вставили, в комнатах стало светло и чисто, а на самом видном месте, между окнами, висела икона пречистой девы Марии, украшенная пучками мяты, что росла возле грядок. Батюшка привез из города муку, масло и даже сахар. Батюшка любил свою жену, но целоваться у них не было заведено. А в то утро они на радостях даже поцеловались. Матушка всплакнула, сама не зная почему, и отец Трандафир чуть не заплакал, когда увидел битком набитую народом церковь, он поскорей ушел в алтарь, чтобы не видели его слез, и пел в тот день хорошо, как никогда. Так и осталась поговорка: «Поет, как поп на троицу».

Прихожане стали приходить к попу, входили в калитку и перед тем, как вступить в дом, вытирали возле порога ноги, снимали шапку и, повесив на палку, прислоняли к стене, приглаживали усы и волосы и только после этого входили в дом. Войдя, они глядели по сторонам и молча качали головой.

Проходит время, уходит время, человечество движется вперед, и человек вместе с ним, а иной раз и вопреки ему.

Сельская дорога шла из города через Сухую Долину и дальше через Долину Чудейскую. И там, где разделяя обе долины, протекала речка Чудейка, стояла мельница, а рядом с ней крест и колодец в тени восьми густых яворов. Место это называлось Саранчанский Крест. Отсюда до Саранчан ходьбы не больше часа. Но кто бы ни возвращался из города, здесь он останавливался и стоял, ожидая какого-нибудь путника, который обязательно спрашивал: «Что за село там наверху с белой церковкой и сверкающим куполом?» Саранчанин молчал, поглаживая усы, и отвечал, не торопясь и с достоинством: «Там, на верху горы? Это наше село, Саранчаны. Знал бы ты, какой звон у наших колоколов, не только с этого места, а изда-лека, за три часа отсюда их слышать!»

На перекрестке двух дорог стоит столб с указателями, на одном написано «К Сухой Долине», на другом «К Долине Чудейской». Во всей округе не найти другой такой дороги. Гладкая, как стол, твердая, как черешневая косточка. Жители Саранчан строили ее для себя, потому и вышла она на диво, а по обочинам, радуя глаз проезжающих, шумят ореховые деревья. Река осталась шуметь где-то справа, внизу, а дорога поднимается все выше, выше, чтобы не размыло ее весной в половодье. Для этой дороги пришлось разбивать скалы на пути, но люди делали это с радостью, потому что камень понадобился, чтобы мостить дорогу.

На ней всякий житель Саранчан чувствует себя хозяином, потому и едет, не торопясь. А как же иначе? Почти на каждом шагу встречаешь знакомого и надо же с ним перемолвиться словом, рассказать «куда и откуда». Один везет известку, другой виноград, третий плетенки, четвертый колеса, бочки и всякие другие изделия из дерева. Встречаются и каменщики, что от зари до заката мостят дороги. Дорога не пустует.

На изгибе ее, под горою, где добывают известняк, развернулась бойкая торговля. Одни нагружают известь, другие сгружают камень или лес, каменщики стучат молоточками, смолокуры подбрасывают дрова в топки, всяк кричит за пятерых.

Отсюда село как на ладони. Густо разрослись в нем сады, сквозь ветки видны лишь частички домов

и крыш. Дом батюшки на самом высоком месте, близ церкви; видны лишь пять окон его дома, да красная черепичная крыша с двумя трубами. Перед церковью — школа. А левее виден кусок стены с двумя окнами большого дома — это дом Марку Флория Кукулиу. А чуть ниже его дома — сельская управа. Если бы село не утопало в зелени, оно было бы еще виднее и живописней. А так мы видим его словно под покровом, лишь догадываясь о том, чего не видеть.

Все здесь изменилось, лишь отец Трандафир остался прежним: молодым, жизнерадостным, трудолюбивым. Если бы не седые борода и волосы, кто бы догадался, что играющие во дворе вокруг дома дети, не его. Одного поп поднял на руки, хотел поцеловать, а тот, изловчившись, сорвал с него шляпу и убежал с ней.

— Лапушка моя, отдай дедушке шляпу, а то он простудится, — кричит из открытого окна Мариука.

Мариука бросилась было за Иляной, но разве ее догнать, а та надела шляпу и подошла к дедушке, чтобы похвастаться. Дедушка от души смеется, ему нравится ее озорство. Тут с вечерни возвращается и отец Константин, он обнимает жену и дочь, целует их, а затем садится рядом с тестем. Марку теперь не только сосед, старый приятель, но и свекор Мариуки, степенный, богатый хозяин. Он видит всю эту шумную возню и заходит поговорить с отцом Трандафиром.

— Муженек, не сиди с непокрытой головой, на тебе шапку, — говорит старушка, подавая батюшке из окна кэчулу.

Мимо проходит человек, желает им громко приятного отдыха и бормочет про себя: «Храни, господи, слугу своего!»

СКОРМОН

I

Длину забора от калитки до угла Санда измерила не знамо сколько раз, снуя с нитью туда-сюда. Мотовило с пряжей стояло у калитки. Санда закрепила конец нити на первом столбе и засемила вдоль забора, пропуская нить сквозь пальцы, оплетая ею колышки до угла, там она оплела столб и таким же семенящим шажком двинулась с нитью обратно. Мотовило поворачивалось со скрипом и высвобождало нить. Иной раз скрип прекращался, нить натягивалась в руках Санды, тогда она подбегала к мотовилу, высвобождала нить и снова семила вдоль забора и перед глазами у нее мелькали колья. Так наматывалась основа от калитки до конца забора. Хороший помощник забор, колья посажены густо на высоте шести ладоней от земли. С одной стороны забора чисто, с другой — огород с цветущей тыквой. Тыквенные стебли растянулись вдоль всего забора и оплели своими ползучими ростками колья до самого верху; нить утопает в листьях, вспугивает пчел в желтых цветах. Летом работать не так хорошо, как зимой, зимой стебли не мешают.

Тетушка Марта ушла с детьми на сыроварню, дядюшка Стан повез куда-то доски. Санда одна дома. Ей нравится, когда она одна, и нравится быть во дворе. И не потому, что ее могут увидеть прохожие, а просто здесь ей легче поется. Но Санде нипочем и мороз, и жара. С обнаженными по локоть руками, с подоткнутым подолом, с полотенцем на голове, не чувствуя жары, она тянула нить и пела, готовя основу и радуясь своей молодости.

Вверх по дороге поднимался унылый лохматый пес. За несколько сот шагов от Санды, он вдруг остановился, заметив девушку, поднял голову, прислушался и стал тихо скулить. Санда семила с нитью в руках к калитке, потом опять до угла. Пес всякий раз вздрагивал, когда она приближалась, и вдруг ни с того ни с сего бросился к ней.

Девушка была занята основой, и внезапное появление рядом с ней чужой лохматой собаки было для нее больше, чем неожиданностью. Она взвизгнула и застыла в ужасе, лицо ее стало бледным, как из воска, и она в страхе следила за этим странным кудлатым зверем.

Как ящерица, вытянув вперед лапы, поскуливая и поднимая пыль хвостом, пес подползал к девушке на брюхе. Он останавливался, замирал, прижимаясь к земле и глядя на девушку с неменьшим страхом, чем она на него, и, не переставая, бил хвостом.

Санда пришла в себя. Ей показалось, что она откуда-то знает этого пса, но, где и когда его видела, никак не могла вспомнить.

И вдруг ее осенило.

— Скормон! — вскричала она радостно, будто встретила старого друга.

Услышав свое имя, пес резво вскочил, бросился к девушке, положил ей лапы на плечи и снова опустился к ее ногам, он весело прыгал вокруг нее, лаял, скулил и лизал ей руки.

— Скормон! Милый Скормон! — говорила девушка, наклонившись к собаке и глядя ее. — Какой ты худющий! Где Паску?

При этом имени пес заскулил, сначала тихо, потом громче, громче и вдруг, задрав морду кверху, завыл.

Санда смотрела на него с горечью.

— Бедная собака! Как ты воешь! — сказала она печально. — Не вой, Скормон! — добавила она, чувствуя, что слезы наворачиваются на глаза. — Кто знает, может, его уже нет в живых!

Она вытерла слезы, села на камень возле калитки.

«Кто знает, может, и умер! Осенью будет три года, как забрали его в солдаты. А многие умирают в солдатах. Говорят, их там бьют и морят голодом. Несчастный. Ничего о нем не слышно. О других приходят весточки. А у него никого нет, кроме этого бедного пса, что умирает от голода».

Она огляделась вокруг. Скормон лежал, прижавшись к ее ногам, а она его гладила.

— Нет у тебя хозяина, Скормон!

Скормон поднялся, положил ей лапы на колени, заглянул в лицо.

Санда попрекнула себя. За три года, что не было Паску, она лишь изредка вспоминала о нем. А могла

бы и почаще. О нем и так никто не думает. Когда его взяли на службу, Санда была еще совсем несмышленной девчонкой. Паску всегда был ласков с ней. И всегда старался ее чем-то порадовать — и зимой, и осенью, когда лущили кукурузу, и весной, когда ягнились овцы, — он тогда приносил ей самого красивого новорожденного ягненокка. Кто знает, может, он... Да! Из любви к ней, он готов был сделать все. Где же он теперь, что делает, какой стал, о чем думает; хотелось бы просто видеть его, просто видеть и ничего больше.

— Скормон! — сказала она ласково, обняла его голову, поцеловала и испуганно огляделась, не увидел ли кто. Потом быстро поднялась, ушла через двор в дом и вынесла псу кусок свежей лепешки.

— На, Скормон, возьми, ешь! — проговорила она.

Пес обнюхал хлеб.

— Ешь, Скормон! Ешь! Бедняжка, какой ты худой! Только шерсть на тебе и осталась. Ешь, Скормон!

Скормон робко и стыдливо взял лепешку, положил между лап; девушка села подле него и смотрела с благодарностью, как пес медленно начинал есть.

— Где Паску, Скормон?

Пес оставил кусок и снова заскулил.

— Умер, знаю, что умер! Собака чувствует лучше человека!

Тетушка Марта остановилась у калитки и удивленно смотрела, как Санда, сидя на земле, гладит незнакомого пса.

— Что ты делаешь, дочка?

— Он умер, мама! Я знаю, что умер! Пес воет!

— Кто умер?

— Паску! Это его собака.

— Кто такой Паску?

— Паску, пастух.

— А, вспомнила, светленький такой, — ответила Марта. — Но откуда ты знаешь, что он умер?

— Собака воет, мама, смотри. Скормон! Где Паску?

Когда пришла тетушка Марта, собака отошла от Санды и стала обнюхивать женщину. Потом остановилась, задрала голову вверх.

— Где Паску? — снова спросила Санда.

Собака опять завывала.

Мать и дочь стояли и с грустью смотрели на пса,

который на своем зверином языке жаловался на одиночество.

— Да, не к добру он воет! — вздохнула тетушка Марта. — Прости, господи, парню его прегрешения. Хороший он был человек. Никто лучше него не делал брынзу. Боже, как воет бедный пес!

Теперь, когда тетушка Марта подтвердила, что Паску умер, Санде хотелось уверить себя, что он жив. Мать, утирая слезы, ушла в дом, и Санда молча ушла за ней. Чуть погодя, девушка опять измеряла длину забора нитью, словно ничего не произошло. Скормон лежал у мотовила, водил головой, следя за девушкой, будто признал ее своей хозяйкой. Проходя мимо него, Санда наклонялась и гладила его по голове, а он кувыркался от радости и шалил, как веселый щенок.

Бедный пес! Как он истосковался!

На другой день утром Санда еще острее ощутила боль вчерашней встречи.

— Что случилось, дочка? — спросила встревоженная мать.

— Ничего, мама.

— Восковая стала! Да что с тобой?

— Сама не знаю! — ответила Санда и понесла собаке кусок хлеба.

День ото дня Санда становилась все молчаливей, все грустней, все задумчивей. Ей нравилось выходить вечером на улицу вместе со Скормоном. Спустя несколько дней он перестал выть, когда Санда его спрашивала, где Паску, лишь тихонько скулил, оглядываясь по сторонам, будто искал его.

«Кто знает, может, он и не умер», — говорила себе Санда. Тайный голос убеждал ее, что Паску жив, но голос этот навевал на нее тревогу.

Всякий раз при встрече со Скормоном ей слышался этот тайный голос и она пугалась.

Несколько недель спустя тетушка Марта вынесла собаке кусок лепешки.

— Скормон!

Никого.

— Скормон!

Никого.

— Доченька, ну-ка ты позови его.

Звала дочь, звала мать, звали дети — и все зря. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра пес больше не появился. Пропал Скормон. Пропал насовсем.

— Жаль бедную собаку. Прижилась она у нас в доме! — проговорила тетушка Марта.

Может, Санда и порадовалась бы, что собака пропала, но без нее в селе стало как будто пусто.

II

Три долины, три холма: не длинная дорога для молодых ног. Спокойным шагом добираешься до Мачиниша, даже не попив водицы из встречающихся на пути родников.

Внизу, в долине, — река, чуть выше, на склонах холмов, раскинулось село среди полей и садов. А еще выше, на самой верхушке холма, паслась отара на зеленой густой траве. Загон для овец находился возле креста, а оттуда сверху видны были обе долины. Старый, ветвистый орех укрывал в своей тени пастуха.

Драчуны бараны, тучные овцы, игривые ягнята и все время молчащий пастух. Напрасно брал он в руки флуер, потеряла для него дойна прежнее очарование.

— Скормон!

Скормон вскочил и бросился между двух бодающихся баранов, что столкнулись лбами, раскидал их в разные стороны и стоял с чувством исполненного долга, выжидая, не подерутся ли они опять. Убедившись, что все спокойно, он пролаял несколько раз, давая понять, что он начеку, и вернулся к хозяину. Он опять лег, положил голову на передние лапы и следил взглядом за каждым движением пастуха. Изредка он наострял уши, вздрагивал, поднимал голову и рычал, предотвращая новую стычку.

Паску его не замечал. Он чувствовал себя одиноким. На службе он не раз вспоминал своего пса. Гора, отара, Скормон — вот три друга его юности. Но с тех пор, как он вернулся из армии, ему не стало как бы ни до чего дела. Уже четыре недели пас он отару, а еще не дал прозвище вожаку баранов, у которого на шее большой колокольчик. Может, со временем все уладится, войдет в привычную колею.

Скормон поднял голову, прислушался, насторожился и вдруг со всех ног пулей устремился вниз, перепрыгивая через кусты, ямы, вниз.

— Куда это ты, шальной? Скормон! Скормон!

Скормон впервые послушался хозяина.

Паску поднялся, поглядел вслед собаке.

В гору, змеясь, вела белая, гладкая, узкая тропа. Внизу она терялась в кустарнике. Паску видел поднимающуюся по тропке женщину. Скормон подлетел к ней, прыгал вокруг, радостно лаял, трогал ее лапами и снова возвращался к Паску.

— Кто это, Скормон? Кто это?

Если бы пес умел разговаривать, он бы сказал. Он скулил, вертелся, лаял, бежал от Санды к Паску и от Паску к Санде, расстояние между ними все уменьшалось, и вот они очутились лицом к лицу.

Санда остановилась перед пастухом, щеки у нее пылали.

Хоть бы он не уезжал, хоть бы не возвращался, хоть бы его не было здесь!

Паску смотрел на нее, вспоминая. Да это же Санда, дочь дядюшки Стана! Ему припомнилось, какой она была три года назад. Как же она изменилась! Ее трудно узнать. Она словно... О господи, да что же это! Он хотел найти подходящие слова, сказать ей нечто особенное.

— Флорий Бутук сказал, что ты вернулся,— сказала Санда едва слышно.

Паску, казалось, не услышал.

— Да, я вернулся. И Флорий вернулся,— отвечал он, все еще что-то ища.— У меня теперь отара: сорок шесть баранов, сто шестьдесят две овечки и восемьдесят три ягненок.

— Хорошая отара!

— А какая здесь трава! Говорят, грех, чтобы на такой траве паслись овцы. Ага! А вон мой баран: в счет жалованья. Хочешь, я тебе его покажу?

Он подошел к отаре, Санда шла следом, а Скормон, скупивая отару, бежал впереди.

— Откормленные овцы.

— Еще какие! Такой отары у меня еще не было. Видишь, вот эта и еще та, и тот баран, и этот — продолжал он, указывая на теснящихся овец.— И каждая из десяти овец — моя!

Санда шла за ним и исподволь глядела на него, а когда он остановился и повернулся к ней лицом, оба застыли, будто только что встретились.

— Я домой пойду! — сказала Санда дрогнувшим голосом.

— Уходишь?

— Ага. Ухожу,— тихо подтвердила она и повернулась.

Паску ее нагнал.

Санда остановилась.

— А зачем приходила?

— Просто так.

— А что у тебя в узелке?

Санда поглядела на узелок, потом на Паску, и глаза у нее налились слезами. Скормон увидел, как у нее со щеки скатилась и упала на землю слезинка, он жалобно заскулил.

— Я принесла тебе виноград! — сказала она, не вытирая слез.— Бедный пес жил у нас...— Больше она не могла выговорить ни слова.

Не знаю, как оно вышло... Паску почувствовал, что не в силах совладать с собой... Опомнился он лишь тогда, когда держал Санду в объятиях.

Скормон смотрел на них, не мигая.

Следующей осенью за тремя холмами, за тремя долинами в тени липы стояла миска с едой. Скормон лежал возле нее и молчаливо смотрел, как ребенок играет ручонками и лопочет какие-то одному ему понятные слова.

У КРЕСТА

I

Тетушка Флоаре торопилась и хлопотала; печь была раскалена докрасна, а плачинты еще не раскатаны. Не зря говорят: вскачь не напасешься. Ну зачем было Марте торопиться, разжигать печь? Тетушка Флоаре строго посматривала на Марту, но сердиться не могла, хотелось улыбаться: до чего весело молодым. Сидя за столом в доме, они щипали перья и веселились. Всякий раз оттуда доносился взрыв хохота. Смешил и забавлял всех Бужор, вот уж кто выдумщик, каких мало. Три дня сряду мог бы он рассказывать свои небылицы, но и работник, каких мало, а для помочи самый подходящий человек. Веселый, необидчивый. Девушки над ним все время подшучивали, особенно старалась Иляна, а ему хоть бы что, радовался вместе со всеми.

Пока тетушка Флоаре раскатывала плачинту, а молодые весело щипали перья, хозяин дома, дядюшка Митря, сидя поодаль от стола, в тени, был занят своими мыслями. Трубка у него давно погасла, а он, казалось, ничего не замечал и думал о своем. Ни до чего и ни до кого ему не было дела. Но вот он вынул изо рта трубку, зевнул, потянулся и, подобрав горсть перьев, стал бросать по одному на пол, будто пересчитывал.

Новый взрыв хохота вывел его из забытья.

Иляна в очередной раз подшутила над Бужором, надела ему тихонько на голову венок из перьев, задом наперед, а Бужор притворялся, будто ничего не заметил и даже не догадывается. Он любил слушать смех Иляны, смех ее похож на звон колокольчика. Бужор вертел головой, как бы недоумевая, почему все смеются, даже Марта, заглянув в комнату и увидев брата в смешном венке, не выдержала и приснула. Вдруг Иляна оборвала смех, посерьезнела, почти посуровела:

— Дурачок, не видишь, над тобой гогочут.

Бужор спохватился, хотел снять венок, но Иляна не дала, сама так же осторожно, как надела, сняла его и извлекла из волос застрявшие перья, потом любовно дернула парня за ухо, а Бужор от этого прямо-таки

расцвел и пожелел, что работе конец и надо расхотиться.

Дядя Митря поглядел на него, усмехнулся.

— Эй, парень! — окликнул он Бужора.

От неожиданности Бужор даже подскочил.

— Волон пойди напои!

Бужор пожал плечами и сел.

— Не слышишь, что говорю?

— Опомнились, дядюшка Митря! Ночь на дворе. Поил, когда еще курей загоняли. А то вы не знаете!

— А лошадей? — не унимался Митря.

Бужор оскорбился:

— Дядюшка Митря! Или нынче день особый какой?

Все сделано, свиньи накормлены, заперты, коровы подоены, волон и коней напоили, плуги на возах, семена в мешках, бороны на месте. Завтра, как займется заря, волон напоим и к солнцу уже в поле будем.

— А ты чего зубоскалишь с девками? Дел мало?

— Каких дел? В конюшне? Там Тоадер и один управится.

— А тебе языком трепать? — продолжал ворчать Митря. — Беспутевым растешь.

— Пропавший, что ли, совсем? — спросил Бужор, пытаясь обратить все в шутку. — Вам бы волю, всех бы стариками обрядили. А мы еще молодые, нам повеселиться охота, верно, Гицэ?

Гицэ, робкий паренек, решил не вмешиваться, его дело сторона, а то чужую бороду драть — свою подставлять, дядюшка Митря мог накинуться и на него, мало, что сосед. А Митря продолжал свое:

— Ты на Гицэ не пеняй, он сосед, а ты работник в доме!

Бужор опешил, думал, что ослышался: какой же он работник? Вот тебе и на. Он же сосед. Удивленно взглянул на Митрю, недобро покосился на Гицэ и с надеждой поискал глазами Ияну, но и она не поддержала. Тогда Бужор поднялся, нашел на лавке шляпу; Ияна ухватила его за подол, попыталась расшевелить, но он высвободился, ушел, не сказав даже «Доброй ночи!», — так уходят, чтобы тут же вернуться. Уходят, чтобы проветриться, когда становится невмоготу, жарко, душно.

Ияна повременила немного, потом тоже вышла, узнала, скоро ли будет готова плачинта, и вернулась в дом.

Отец нагибаясь, подбирал разбросанные по полу перья.

— Поддай-ка мне огонька, дочка! — попросил он.

Иляна опять вышла, кося глазами по сторонам в поисках Бужора, выбрала из печки полупогасший уголек, отнесла отцу. Вечер был бесповоротно испорчен. Плачинту ели без Бужора. Тетушка Флоаре трижды о нем справлялась: без Бужора и разговор не клеился, и веселье заглохло. Иляна пошла было его позвать, сказать, что «мама кличет», но позвать не решилась.

Он сидел в одиночестве посреди двора на тележном дышле. Может, ему хотелось, чтобы Иляна вышла, утешила его, повинулась, но когда она в самом деле скрипнула дверью, он поднялся и стал что-то ворошить в телеге. Иляна постояла в нерешительности и ушла в дом, она еще задержалась в сениях, раздумывая, не кликнуть ли парня, но так и не осмелилась, лишь подсадовала на отца: «Вечно его заносит. Вот и Бужора зачем-то обидел!»

Да, нехорошо получилось. Бужор не был вовсе батраком у Митри Боарула, хотя и работал на него. С самого детства хаживал он в этот дом. Учась в школе, каждый день водил он и маленькую Иляну. Тетушка Флоаре одну ее никогда не отпускала. Поначалу Иляну провожал брат Паскуцэ, но он умер, и тогда ее стал водить Бужор. Он переводил ее через мост; берег как зеницу ока. Без Бужора Иляна отказывалась идти, а с семнадцати лет Бужор стал помогать Митре, стал своим человеком в доме, так длилось уже шесть лет. Митря знал, что оба его батрака не делают и половины того, что делает Бужор, знал и все же обидел парня. Зачем? Не злой человек Митря, но порой находило на него что-то. И добро бы один на один сказал, а то при всех, при Гицэ, при Иляне. А она не вступилась, промолчала, могла ведь сказать: «Не слушай ты его, Бужор, он нынче не в духе». А она промолчала, повела себя так, будто ничего не случилось. Может, и в самом деле ничего не заметила? Может, и он ей безразличен и безразлично, уйдет он со двора или нет? Ну и пускай!

Бужор вскочил, опять сел. Обида грызла его и все росла, росла. Он опять поднялся и решительно направился к забору, отделявшему двор дядюшки Митри от отцовского.

Подошел к окну своего дома.

Отец Бужора Стан нынче дотемна засиделся у священника. Стан был причетником в церкви, второй человек после батюшки. Весь вечер они проговорили, советуясь, какой колокол отлить на деньги, пожертвованные Митрей Боарулом в память о своем отце. Вернулся Стан домой поздно, зашел глянуть на спящих детей, послушать их дыхание, задул лампу и лег спать. Только засыпать начал, в окошко стук.

— Кто там? — спросил он.

— Я.

— Кто я?

— Не узнаешь, батя?

— Бужор? Так поздно? Чего тебе?

Бужор помялся, не зная что ответить.

— Ну, что молчишь? Разбудил уже.

— Пусти, батя, разговор есть.

— Говори, я и так слышу.

— Я вот что... как бы сказать...

— Прямо и говори.

— Ушел я от Митри.

— И хорошо.

— Слышь, батя! Я совсем ушел.

— Вот и славно. Давно бы так.

Стан и в самом деле обрадовался возвращению сына. Соседа он недолюбливал. С тех пор, как Митря Боарул разбогател, он заважничал, загордился, считал Стана чуть ли не ниже себя, а Стан считал себя выше; хоть бедней, зато ученей.

Бужор все еще стоял у окна, не уходил. Знал наперед, что отец одобрит его, и все же на что-то надеялся, а вдруг осудит, посоветует не уходить.

Скрипнув дверь, во двор вышла мать, отошли они к калитке, сели на камень и заговорили вполголоса. Бужор не стал объяснять, как да почему он уходит от Митри, никому бы он этого не сказал, а сказал попросту, ушел, мол, и ушел. Мать завздохала, молвила: «Может, лучше остаться, а, сынок? У Митри богатый дом, а нас много на малое». Думала отговорить, а вышло наоборот, — подхлестнула, разохотила.

— Мало оттого, что работать некому, а вернусь, заживем по-другому, — пояснил он. — И Марте хорошо бы вернуться. Небось у малышей куска не отберем. Скоро Юрьев день, всем уговорам конец.

Но Бужор не стал дожидаться Юрьева дня, на-

завтра же объявил Митре, что уходит, мол, отец просит, пора горячая, не управляется.

— Верно, пора горячая, раз решил, уходи,— согласился Митря Боарул.— Я в твои годы давно свое хозяйство вел, двадцати лет оженился.

Ни о чем не спросил и удерживать не стал, будто так оно и уговорено было заранее.

Зато тетушка Флоаре отвела душу, стоя у забора. Честила на чем свет, упрекала, грозила. Такой, мол, сякой, бросает в самую горячую пору. Его поили-кормили, как сына держали, а в ответ черная неблагодарность. И завершила свою отповедь угрозой: «Чтоб ноги твоей на моем дворе не было!»

Одна Иляна знала, почему уходит Бужор. Но что с того, что она это знала? Могла ли она удержать его? Весь день ходила она, не зная, как к нему подступиться, а заговорить так и не осмелилась. То слова ей казались неподходящими, то робость одолевала. Вроде бы и решилась, а подойдет, не идут слова с языка, молчит, как немая. Да и на сердце смута. То Иляна оправдывала Бужора; правильно уходит, раз не ценят его по достоинству; то осуждала за излишнюю чувствительность и ранимость. Но он все же ушел, и Иляна в отчаянье сорвала зло на Марте, разумеется, ни словом не упомянув ее брата, а придравшись к пустяку: Марта не так, как надо, затворила дверь. Марта и не удивилась. Женщины легко ссорятся из-за пустяков. Недаром говорится: одна баба — рынок, а две — базар. На самом деле сердилась Иляна лишь на отца. Ну за что, за что на Бужора накинулся? Кто за язык тянул? Вот и согнал со двора человека...

II

Бужор ушел, и Иляна его не удерживала. Даже не глянула в его сторону, даже не сказала на прощание: «Бужор, ты к нам заглядывай!» Ни слова она не сказала, и так тяжело было у него на душе, так скверно, что и не расскажешь.

Много попреков услышал он от тетушки Флоаре, но на нее зла не таил, а сердился на Иляну за молчание. Все время о нем думал, ни о чем другом думать не мог, и чем больше думал, тем обидней ему

становилось. Все время мерещилась ему Ильяна, а если взаправду появлялась она во дворе или где-нибудь мелькала, Бужора кидало в дрожь, мурашки бежали по всему телу. Будь у него в этот миг в руках чаша с причастием, он бы наверняка ее выронил. Ему хотелось высказать Ильяне всю свою обиду, может, тогда легче бы ему стало? А виноватыми оказывались два его братца да сестра Антица, набрасывался он на них, а потом пытался загладить вину и вырезал Антице куклу, а братцам мастерил: Тодорике ветряную мельницу, а Мариану лук со стрелами.

Целыми днями слонялся Бужор по двору как потерянный. Неделя прошла, а на родном дворе все казалось ему чужим, ни к чему не лежала душа, ни за что не хотелось браться. Настоящее дело было там, где провел он прежние шесть лет. Туда и стремился.

В непогоду, в дождь беспокоился Бужор, не зальет ли поле на склоне холма, да не прорвет ли плотину на пруду,— хотя то и другое было не на отцовской земле, а на земле Митри Боарула. Мало-помалу стал он оглядываться и вокруг, делал одно-другое, шел в конюшню, в сад, в огород, в поле. Постепенно удостоверился, что и тут найдется для него дело, было бы желание; многое хотелось ему переделать, исправить по-своему. Он втянулся в работу, уже не слонялся без дела и даже стал говорить про отцовское хозяйство «наше», а про боаруловское «ихнее». Такие люди, как Бужор, если втягиваются в работу, то втягиваются накрепко, бесповоротно...

Не сидела сложа руки и Ильяна.

Ткацкий станок и пальцы — вот два дела, в которых ей не было равных на селе. Никто не мог лучше Ильяны подобрать цвета, и руки у нее быстрые, ловкие. Правда, было ей у кого учиться. Тетушка Флоаре тоже слыла большой мастерицей ткать ковры с узорами и ткани, разными цветами расшитые, из которых можно шить юбки, кофты, платья, безрукавки. Умела она ткать и тонкие материи. Все девушки в Везуре старались залучить тетущку Флоаре на свою свадьбу, потому что у нее всегда про запас подарок для невесты. Но Ильяна даже превзошла мать. Вот уж кто был умелицей из умелиц: глаз точный, руки искусные, аккуратные. Дело у нее спорилось. Бывало, так подберет цвета, что диву даешься, тут красный, там зеленый, тут черный, там белый — и все так ладно, красиво,

пестро, цветисто. Каждый цветок на полотне, будто живой, а не вышитый.

Тетушка Флоаре хлопотала у станка, подвижные пальцы мелькали — не уследишь. Она приготовила и натянула основу, заправила нить в челнок, подняла ремизки на нужную высоту, раскрыв зев — и приступай!

— Иди, Иляна, садись!

До пасхи оставалось две недели, а на пасху в церковь Иляне хотелось пойти в новой безрукавке. Времени оставалось совсем ничего. Еще ведь шить. А главное, ни разу она не ткала такого сукна: в основе густо рассыпаны тонкие нити, а в уткѣ одна толстая. Выйдет, нет ли, она не знала. Еще зимой Бужор сделал по ее просьбе новое бердо для станка.

Ох, и пришлось ему поломать голову, в станке, почитай, главное бердо. Если нити плохо идут по пазам или неплотно прибывает утѣк, то образуются узлы, да и сама ткань получается рыхлой, корявой. Все зависит от берда, какие на нем зубья, да как оно прибывает уток на основе. Бужор придумал бердо с острыми как бритва зубьями и закрепил их конским волосом. Сделал на удивление красиво, все из любви к Иляне, даже боковинки берда сделал с резными узорами, чтобы станок выглядел нарядно.

Иляна села за станок, глянула на бердо и невольно перед ней возникло лицо Бужора. Ну, что это за работа?! Все должно идти ровно, гладко, плавно. А она то рывком пускала челнок, то резко поднимала ремизки педалью, а нити-то натянуты до предела, того и гляди, порвутся. Сама того не ожидая, она слишком сильно двинула бердо, прибывая уток, раздался треск, то ли основу порвала, то ли на берде зубья пообломались. Нет, не работа это!

Слава богу, зубья остались целы и основа не порвалась, порвался тонкий конский волос, которым были зубья привязаны. Ах, будь оно неладно! Ткацкая работа не для грубых рук.

Иляна застыла с челноком в руках — вот беда, так беда, хуже не бывает.

Тетушка Флоаре, услышав, что станок молчит, заглянула в комнату.

— Волос порвался, мама, зубья сыпятся, — сообщила Иляна.

— Надо было тихонько, не дергать.

— Не дергала я.

Обе они завозились, стараясь примотать оборванным волосом зубья, и так и этак пробовали, но ничего у них не выходило. Ткань была только-только начата, аккуратно натянута, как ее снимать, — слезы наворачивались на глаза от обиды. Если снять, полдня пропадет, а то и больше — можно и бердо снять, не снимая основу, но тут нужны умелые руки мастера.

— Зови Бужора! — сказала тетушка Флоаре, понимая, что самим им не справиться.

Иляна пошла звать. В голове у нее зубья, нити, ремизки — забыла она, что ушел от них Бужор, что придется за ним к Стану в дом идти. Пошла она было, а потом остановилась посреди двора, покраснела, как мак, постояла в нерешительности и вернулась в дом.

— Мама, позови ты, а то он не пойдет.

У тетушки Флоаре дел было по горло, и все же пошла она звать Бужора.

Иляна осталась ждать у станка. И всякий раз вздрагивала. Ей все чудилось, Бужор идет. Неужто и впрямь пришел? О господи, сделай так, чтобы он все не приходил! Пусть его не окажется дома! Пусть он откажется прийти! Нет! Как можно! Нет, такого не должно быть! Да и знала она наверняка, придет он сразу, как только узнает, что порвалась завязка на зубьях берда.

Услышав привычный скрип калитки, Иляна всполошилась, кинулась в дверь, будто ей смерть угрожала. Вмиг полетела по лестнице на чердак — ей, видите ли, срочно понадобился старый челнок, что давно был выброшен как негодный.

Бужор порог переступал, Иляна за скобу чердака взялась. На миг взгляды их встретились, оступился Бужор и упал.

В горнице он остановился перед станком, рукавом вытер пот со лба, хотя жарко ему не было. Все плыло перед глазами: натянутые нити, ремизки, бердо с отставшими и болтающимися зубьями.

Долго не мог понять Бужор, что от него требуется.

— Бужор, — сказала чуть погодя тетушка Флоаре, — а почему ты к нам не заходишь?

Вот тебе на: видать, напрочь забыла, что сама предупредила, чтобы ноги его на дворе у них не было.

— Вот, пришел же, тетушка Флоаре!

«Сердится на меня! — огорченно подумала Ильяна, увидев, что он подходит к калитке. — Ни словом со мной не перемолвился!» Ее душили слезы.

— Ты что туда забралась, доченька? — спросила мать, заметив ее на чердаке.

— Челнок ищу, мама, — ответила она.

Бужор у калитки обернулся.

«Сердится на меня, — подумал он. — Убежала, чтобы не встречаться со мной».

Он огорчился. Всюду ему мерещилось бердо со сломанными зубьями, даже полуразвалившийся забор вокруг двора Петра Попа казался ему бердом, которое он взялся починить.

III

Просвиры были выпечены из белой пшеничной муки, уложены в узелок, приготовлены свечи и мята.

— Ступай, старик! Звони в колокол!

Стан взял просвиры, свечи и мяту в одну руку, надел шляпу, взял в другую руку палку и пошел в церковь. Был великий четверг. В этот день Стан всегда причащался. Санда проводила его до калитки.

— Господь защити! — напутственно сказала она.

И осталась стоять у калитки, глядя мужу вслед. Но направился Стан не в церковь. «Господь этого хочет», — пробормотал он тихо и свернул в сторону соседского дома, к Митре Боарулу, просить прощения. За что просить ему прощения у Митри, не было между ними ни ссоры, ни ругани. А все же таил Стан в душе недобрые чувства к Митре, за то ли, что разбогател он или из-за другого чего? Так что не мог Стан идти на исповедь с таким тяжким грузом на сердце. «Богачом Митря стал, потому что господу так угодно», — твердил он себе, и хотелось ему очищения. У самой калитки столкнулся он с Митрей, который шел к нему с такой же думкой, они молча пожали друг другу руки. Стан поздоровался еще и с Флоаре — и старики молча отправились в церковь.

— Господь защити! — говорили обе женщины, глядя, как мужья шагают по мостку.

Наступила святая пятница, а после и пасха.

Тетушка Флоаре хлопотала и запаздывала. Все давно были готовы идти в церковь, ждали ее. А она, так уж повелось у матерей, суежилась вокруг Ильяны,

хотелось ей, чтобы дочка выглядела нарядней всех. Новая безрукавка Иляне очень шла. Она и сама удивлялась, как у нее здорово получилось. Мать все суетилась, бегая вокруг нее, а Иляна была счастлива еще и потому, что бердо для станка, на котором она выткала полотно, сделал Бужор.

Колокола пока не звонили, в било тоже еще не ударяли, и все же Стану хотелось, чтобы его домашние первыми вышли на улицу; говорят, кто первый, тому и счастье.

А Санда мешкала, обряжая детей. Подняли их затемно, сон у них был в ту ночь легкий, не терпелось им получить свои пасхальные яички. Но собирались все же долго, то одно мешало, то другое, а тут еще заспорили, у кого яичко самое красивое. Пришлось признать лучшим яичко Антицы, а то бы она всю дорогу до церкви проплакала, а нынче праздник, всем надо быть счастливыми.

— Ну все, что ли? — спросил Стан.

— Все. Только метла в доме и осталась.

Ударили в било. Ветер донес его звуки, и все смолкли, прислушиваясь. Следом грянули и колокола. Звонили они то громче, то тише, будто преодолевая сопротивление ветра, лишь новый колокол, пожертвованный Боарулом, звонил ровно и четко. До церкви идти долго, но небо чисто, тумана нет, ветер хотя и задувал изредка, но было не зябко, пожалуй, даже приятно. На востоке ширилась тонкая полоска рассвета. Где-то пели петухи, щелкал соловей, лаяла собака, мычала корова; речушка плавно, почти неслышно катила воды до самого оврага, а там низвергалась на камни журчащим водопадом. Это журчание смешивалось с колокольным звоном и ударами била. Вдали ухнул пушечный выстрел, потом другой.

— Ну, с богом, пора!

Иляна раздала малышам по яичку, обменялась яичками с девушками, поцеловала Антицу и, взяв ее за руку, повела в церковь, чтобы весь день с ней не разлучаться. Ребятишки первыми пробежали по мостку, за ними последовали старики, затем девушки и остальные. Бужор пропускал всех вперед. Ему хотелось втайне от всех подарить Иляне деревянное яичко; три дня подряд трудился он, вырезал его для Иляны, но отдать так и не отдал, решил, что отдаст вечером на хоре.

Церковь была полна народом, все село собралось на службу, всем хотелось петь «Христос воскрес!». Отец Мариан читал Евангелие и пел тропари. Причетник Стан ходил с чашей, торжественный, важный, как и надлежит в праздник, и всякий раз останавливался, когда пели «Аллилуйя!». Остановился он и возле Иляны, поглядел на нее добрым, ласковым взглядом. Бужор пел ирмосы. Когда он пропел: «Светоносна Ангела, ясно глаголюща», трепет пробежал по всему телу Иляны, лицо ее запылало, сердце сильно забилося, и она не могла оторвать глаз от губ поющего. Бужор и прежде часто пел в церкви, у него был приятный, сильный голос, но сейчас Иляна почему-то тревожилась, как бы он не сорвался, не оплошал. Так оно и вышло, как только он дошел до слов «Ликуй ныне...» — в этом месте ирмос звучит особенно красиво — Бужор вдруг умолк, будто поперхнулся; сотни глаз были устремлены на него, а он словно онемел. И ведь много раз пел он ирмосы и пел замечательно, а теперь и слова забылись, и мелодия. Глаза его растерянно бегали по лицам прихожан, по иконам, по горящим громницам, скользнули они, не узнавая, и по лицу Иляны.

Слова бесследно вылетели у него из памяти, голос пропал. Иляна не знала, куда деться от ужаса, если бы она могла, она бы убежала. «Пой же! Пой дальше! Что же ты?!» — внушал ее умоляющий взгляд, и Бужор вновь обрел и голос, и уверенность в себе. Он запел с такой мощью и проникновенностью, будто всю душу вложил в это песнопение.

В жизни Иляна не испытывала большего наслаждения. И пока Бужор пел, и долгое время спустя, ей все слышался его проникновенный голос. Она смотрела на других людей, и на их лицах тоже читала восторг и удивление. А Бужор смотрел на нее, так смотрел, как никогда. Она готова была заплакать от радости, тут же в церкви, при всех. Сладостная боль и наслаждение пронизывало ее душу.

Ей казалось, что службе не будет конца. Пока она шла, Бужор смотрел на Иляну, а она на него, они переговаривались взглядами, обнимались взглядами. «Разок еще взгляну на нее и больше не буду!» — «Еще разок взгляну на него и больше не буду!» — «Она не сердится!» — «Он не сердится!»

Под конец богослужения Бужор с трудом пробился к выходу и стал ее дожидаться. Он видел, как она двигалась в толпе, их взгляды опять встретились, но чем ближе она подходила, тем уступчивее становилась, пропуская вперед других женщин, постарше. Да и Бужор, стоя у дверей, испытывал все большую неловкость, чем ближе она подходила. В церкви оставалось совсем мало женщин, а Ияна все медлила.

«Отойду от дверей, а то я мешаю выходящим, подожду ее поодаль», — решил Бужор, хотя Ияна была уже у самого выхода.

Марта, Гицэ и Анна стояли в стороне, тоже дожидаясь Ияну, но Бужор прошел, их не заметив. Обнаружил он их лишь тогда, когда они вместе с Ияной проходили мимо.

— А ты чего стоишь? — спросил его Гицэ.

— Батю жду! — ответил Бужор.

Они ушли без него, а он, недовольный собой, остался на месте.

Прежде, чем вернуться домой, Ияна заглянула во двор к Стану. Здесь было на что взглянуть: дом девушки побелили, окна обвели синькой и еще две красные полосы сделали. Красиво! Но Ияна решила, что у них будет еще краше. А потом пошла к себе в палисадник нарвать цветов, сажала их Марта, а забор вокруг палисадника и калитку смастерил Бужор. Ничего вроде бы особенного, а до чего красиво. Особенно удачно получилась обвязка калитки, четыре гладко оструганные доски, образующие рамку, и две в середине в виде креста. Но главное не это, главное не в калитке и даже не в обвязке, а в столбах. На каждом Бужор установил по ветрячку, и когда дул ветер на одном столбе, два деревянных солдата начинали рубиться саблями, а на другом деревянный кузнец стучал деревянной кувалдой по деревянной наковальне. Вот какое диво сотворил Бужор.

IV

Пообедав и поговорив вволю, сельчане опять потянулись в церковь на вечерню. Во дворе собралось почти все село: дети забавлялись игрушками; старики вели разговоры, девушки и парни теснились вокруг музыкантов.

Бужор не обедал, не было у него аппетита, и праздник ему был не в праздник. Досада его брала за то, что позволил он Иляне уйти, не подошел к ней. И принуждал он себя нынче же исправить ошибку.

«Пойду с ней вместе на вечерку», — решил он.

V

Как раз напротив Боаруловых ворот, возле оврага, стоял деревянный крест, а за ним ограда, чтобы не падала вниз, в ручей, скотина. Прислонясь к этой ограде, спиной к кресту, стоял Бужор и дожидался Иляну. От нечего делать набрал он пригоршню камушков и кидал их по одному в речушку, что превращалась как раз в этом месте из тихого ручейка в журчащий водопад. Всякий раз, когда сквозь шум воды Бужору чудился скрип калитки, он оборачивался, но все было тихо, и он опять отворачивался лицом к оврагу и снова кидал камушки. Время шло, но Бужор не замечал времени, он мог бы так прождать до утра.

Иляна все не шла, и Бужор, стоя один, мысленно вел с ней разговор. И хотя он ожидал ее, всякий раз, когда ему чудился скрип калитки, он пугливо оборачивался, но все, слава богу, было спокойно, Иляна не появлялась.

А Иляна тем временем смотрела на крест из полутемных сеней. Она было вышла из дому, хотела вместе с Мартой пойти на игрище, как вдруг заметила стоящего возле креста Бужора, и ей стало страшно.

— Ты почему не идешь на вечерку, доченька?

— Марту жду, мама.

А Марта давно шла по мостку, и за ней, чуть поотстав, вышагивал Гицэ. Когда они проходили мимо Иляны, она спряталась в тень, чтобы ее не заметили, и продолжала наблюдать за Бужором, который все так же стоял на краю оврага и бросал камушки в воду. Иляне тоже до смерти хотелось заглянуть в овраг, увидеть то, что видел он, и думать о том, о чем думал он. Но даже загорись у нее крыша над головой, она бы не сдвинулась с места. И все же, когда Бужор оглядывался на калитку, Иляна невольно отступала назад, прячась в тень, и следила за ним, глядя в щелочку.

Из горницы вышла мать; Иляна вздрогнула от неожиданности. Если бы в сенях было чуть светлее, мать

бы испуганно спросила: «Что с тобой, дочка?» Но в сенях было сумрачно; Иляна солгала, что вернулась за косынкой, хотя косынка была у нее в руке. Бедняжка, она так разволновалась, что можно было и впрямь подумать, будто она долго бежала и запыхалась.

Тетушка Флоаре сошла с крыльца, а Иляна заглянула в дом якобы для того, чтобы взять из шкафа косынку.

Выйдя из дому, она пугливо взглянула за ворота; остановилась, взгляделась — где Бужор? Бужора нет. Исчез, словно и не было никогда, словно он ей только привиделся.

— Бужор! — позвала Иляна.

Ее счастье, что крикнула она негромко и никто, кроме нее самой, не услышал ее голоса. Больше она звать не стала, а тихонько, осторожно, останавливаясь на каждом шагу, направилась к тому месту, где стоял Бужор. Отсюда он бросал камешки в воду, Илянаглянула вниз и ничего особенного не увидела. Все как обычно. За спиной у нее стоял крест и ничего больше. Иляне взгрустнулось, и она присела на камень у его подножия по левую сторону.

Камень камнем, но неподвижной камня сидела возле креста Иляна. И вдруг она вздрогнула, щеки у нее запылали, и будто хмель ударил в голову. По другую сторону от креста она увидела Бужора. Заметил и он Иляну, рука разжалась сама собой, камушки выпали, он вытер руку и тоже замер, будто окаменел, как она.

Так и сидели они у подножия креста, по обе стороны от него. Сидели и молчали, ни о чем не думая. Есть тайный язык, бессловесный, недоступный разуму, но понятный всем, даже немым. Каждый человек, разумеется, понимает его по-особому. Иляна вздохнула, да так глубоко, будто хотела вложить в этот вздох целых три вдоха: так вздыхают порой дети, проснувшись в испуге.

— Слышь, Иляна! Хочешь прыгну вниз? Не веришь, что прыгну? Ты только скажи!

Иляна ни словом не ответила. Она и сама готова была прыгнуть без страха вниз, если бы он пожелал. Смотрела она на него долго и нежно, и он таял, облаканный этим взглядом, и смотрел, как она разглаживает полу его сумана, будто изучает рисунок ткани.

— Какое ты красивое бердо мне сделал для станка.

— Нравится тебе?.. Я старался, очень старался, хотел, чтобы тебе понравилось.

Иляна рассказала Бужору, как ткала она сукно для безрукавки, сколько нитей запутала, сколько узелков развязала и что при этом говорила мать, потом рассказывала, как кот прыгнул на основу и чуть не порвал ее, испортил бы всю работу. Рассказывала она обстоятельно, по порядку, ей так хотелось поведать ему обо всем, а Бужор слушал и готов был слушать без конца.

Когда тени слились с сумерками, Иляна поднялась; надо было подоить корову, напоить волов.

— Спокойной ночи, Бужор!

— Спокойной ночи, Иляна!

Ночь будто по велению Иляны выдалась для Бужора и в самом деле спокойной. Но не потому, что спокойно ему спалось, а потому, что вовсе не хотелось спать. Мир казался ему прекрасным, как никогда. Он боялся закрыть глаза, чтобы не лишиться этой красоты. Не знал он, что с закрытыми глазами мир виделся бы во сто крат прекраснее.

Когда Бужор вошел в калитку, лохматый пес, лежавший на крыльце, вскочил и бросился бежать за дом, будто хотел спрятаться. Встреча была для обоих неприятна. Вернувшись с вечерни, расстроенный, досадуя на себя, Бужор вдруг увидел, что пес гоняет по всему двору кур, и тут же выместил на нем свою досаду. Теперь ему было совестно и больно: своя собака бежит от тебя, как от злодея.

Бужор позвал ее, она остановилась и, вздрагивая от страха, ждала приближения хозяина.

— Ты уж меня прости, дружище! — сказал Бужор и потрепал собаку по лохматой шерсти, потом взял ее за морду и заглянул в глаза.

Помирившись с псом, Бужор испытал еще большую радость и готов был всю ночь просидеть рядом с ним на корточках. Сзади на плечи Бужору навалилась Антица и стала просить:

— Братец, покатай меня на закорках.

Как же было отказать сестренке в такой малости, он готов был ее на руках носить. Бужор поцеловал ее, прижал к себе и несколько раз подбросил в воздух. Пес с лаем прыгал вокруг них, пытаясь допрыгнуть до

Антицы, и, когда ему это удавалось, девочка визжала от восторга.

— Еще, Бужор, еще!

Бужор поцеловал ее в глазки и стал опять подкидывать.

Еще раз, еще, еще... но все ниже, все медленнее, все тише, и кончилось тем, что он стал ее тихонько укачивать, пока она сладко не уснула у него на руках. Он унес ее в дом, передал Марте, они вместе осторожно раздели девочку, осторожно, чтобы не разбудить, уложили на кровать.

Бужор вышел во двор, остановился в задумчивости и вспомнил о своей дудочке, о флуере, давно заброшенном и забытом. И ему до смерти захотелось сейчас сыграть на нем, излить свою радость и печаль. Туда, где в самом конце села, в низине текла, журча между камнями, речушка, забрался он со своей дудочкой. Сел на траву, прислонился к молодому ореховому дереву и заиграл протяжную грустную дойну. Справа от него, положив голову на передние лапы, улегся пес и сочувственно глядел на музыканта, будто понимал, о чем повествует его дойна.

Тихонько дул ветер, тихонько струился ручей, тихонько звучала дойна, навевая тихую истому.

Она звучала все тише и тише, пока не стихла совсем. Бужор отложил флуер, и сидел, уставившись на свою шляпу, черневшую на заборе.

Полная луна выплыла на ясное небо, и Бужор стал смотреть на нее, но когда луну проглотила тучка и на небе от нее остался лишь серебристый след, Бужор зажмурился, и перед его глазами поплыли картины того, что происходило днем. Сон, видение, а казалось, происходит все на яву, и сердце его трепетало от волнения. Снова увидел он наполненную людьми церковь, Иляну, смотревшую на него с нежностью и тревогой, видел себя, ожидающим ее у выхода из церкви, а потом убежавшим от нее; сгорая от стыда, вспомнил, как ответил: «Я батю жду», когда она проходила мимо. Вспомнил, как стоял у креста, бросая камешки в речку, туда, где журчал маленький водопад, и как Иляна старательно разглаживала полу его сумана. Недоумевал и досадовал он на себя, зачем обидел Боарулов. И думал, как хорошо было бы помириться с ними. Поцеловал бы он виновато руку у тетушки Флоаре, и пусть бы Митря отвесил ему плюху, поделом, а потом бы и помири-

лись. Как же он мог уйти из их дома, ведь он был ему некогда ближе родного. Недавно проходил он мимо Митриных полей, как же плохо они возделаны, и волю совсем отощали, будто нет за ними хозяйского призора. Надо непременно сказать об этом дядюшке Митре, а то он, поди, и не замечает. «Завтра же с утра и скажу!» — решил Бужор и торопливо поднялся с земли.

— Что ты тут делаешь, дочка? — из-за забора послышался голос Флоаре.

— Ничего, мама, — пугливо ответила Ильяна. Чего она испугалась? Может быть, боялась, что он услышит?

Бужор чуть не заплакал, ему стало обидно до слез: Ильяна была совсем рядом, а он и не знал. Он подошел к забору и увидел, как она бежит к дому.

— Ильяна! Ильяна! — позвал он тихо, так тихо, что никто этого и не мог услышать.

VI

В то время, когда молодые люди молча сидели под крестом, старики вели свои разговоры.

Они вместе возвращались с вечерни; тут были не только Стан и Митря, но и Глигор, отец Гицэ, и еще один богатый и почтенный человек Пэвзлок Цэпэлоу. Говорили старики о том о сем, и вдруг Стан, указав на темную точку у самого краешка неба, сказал:

— Послал бы господы!

— Да, дождя бы нам не помешало. Больно нынче хлеба вялые, — согласился Глигор.

Пэвзлок, сельский казначей, слыл знатоком примет и поверий, и потому, напустив на себя важность, со знанием дела взглянул на небо и заявил, что раньше утра дождя не предвидится.

Стан с ним заспорил. Пэвзлок доказывал, что не раз предрекал дождь и ни разу не ошибся, даже порой пари выигрывал.

— Готов биться об заклад, что дождь будет ночью, — настаивал Стан.

— А вот и не будет ночью! — доказывал Пэвзлок.

— Брат Митря, — пытаюсь разрешить их спор, вмешался Глигор, — а ты как считаешь, будет дождь или нет? Скажи свое слово!

Митря шел чуть впереди. Он остановился, пожал плечами.

— Откуда ж мне знать?

— Тебе ли не знать! — возразил Стан. — Ты у нас самый большой мастак сеять. Солнце жарит, а если ты засеял поле, то засухи не будет.

— Да, это уж точно. У тебя как по писаному, — поддержал Глигор. — И я на тебя равняюсь, ты сеешь — и я начинаю, ты за прополку — и я за тобой. Тут ошибки не будет.

— Да на него все село равняется.

Митря слегка загордился и со значением глянул на небо.

— Не будет дождя, — сказал он весомо.

— Ну, а я что говорил? Сказал же ночью дождя не будет.

— Это я сказал, утром дождя не будет.

Опять заспорили. Потом разговор перекинулся к полям и посевам. Митря все больше отмалчивался, сохраняя важность.

— А что-то у тебя плоховато нынче хлеба взошли. Ты что, и на склонах посеял? — спросил Глигор.

Митря ничего не ответил, но почувствовал, что краснеет.

— Кукуруза там посажена, — сказал за него Пэвзлок, — да куца взошла кукуруза. Зато у тебя, Стан, кукуруза — хоть куда!

Стан подкрутил ус.

— Так трое ж сынов у меня стараются.

— Изрядно сказано, — одобрил Пэвзлок, — во всем селе другого такого работника, как Бужор, не сыскать.

— Да, жилка у него имеется особая, — согласился Глигор. — Лад у него с землицей, понимание. Запрошлым летом собрался я сеять овес. Он поглядел, говорит: не сей, земля жирная, зачахнет. Я не послушал. Засеял, и вправду зачах на корню овес. Большой мастак твой Бужор.

Все трое стали расхваливать Бужора.

— Да он не только с землей, он с любым делом в ладу, — продолжал Пэвзлок, указывая на деревянную резьбу палисадника и играющих под ветром кукол.

— Золотые руки! Золотые!

— Это еще что! — загордившись, расхвастался Стан. — А какие он телеги делает, куда там каретнику!

Митря позвал стариков к себе, еще посидеть, поговорить, а сам задержался возле играющих ветром бужоровских кукол. Вспомнилось ему, что и он, Митря,

когда-то вырезал для Пэскуцу всякие игрушки из дерева, да помер сынок, восемь лет тому назад.

И как всегда при мысли о сыне, защемило у него сердце, и печальным вошел он к себе во двор.

Флоаре расставляла на столе стаканы. Любила она гостей в доме. Веселая сама, общительная, любила послушать разговоры и ввернуть иной раз словечко шутовское или умное. Теперь разговор вертелся вокруг бужоровских кукол. Стан, увлекшись, стал нахваливать и дочку, и двух других своих сыновей, а Флоаре возразила, что против Бужора они все никудышники.

— А ты как считаешь, Митря? Ты-то лучше всех Бужора знаешь. Как-никак шесть лет он у тебя за управляющего был и лучшего хозяйства на селе не было. А как ушел, все пошло кувырком.

Все ждали, что Митря ответит. Он был задет за живое и не столько похвалами Бужору, парень был достоин всяческой похвалы, сколько хвастовством Стана.

— Да,— заявил он суховато,— работающий парень.

Подняли стаканы. Выпили за здоровье всех собравшихся. Стан предложил тост за новый колокол, отлитый на пожертвования Митри. Умел Стан вовремя подольститься к человеку, вовремя похвалить его, недаром же всю жизнь якшался с попами. Хотелось ему чем-нибудь и Митрю утешить.

Пэвэлок случайно выглянул в окно. Увидел он стоящих возле креста Бужора с Иляной и, дернув Митрю за полу, как бы пригласил и его глянуть в окошко. Митря выглянул. Бужор высокий, стройный, и Иляна, под стать отцу, тоже высокая, всего на ладонь меньше Бужора. Чем не пара? А ведь прежде никому и в голову не приходило, что подходят они друг другу.

Пэвэлок развеселился и поднял стакан.

— Ну, брат Митря, скоро свадьбу играть! Сестра Флоаре! Сосед Стан! Погуляем, что ли, на свадьбе?

Глигор тут же предложил тост за будущих сватъев.

Митря нахмурился, не по душе пришлась эта шутка, а Флоаре не знала, как и отнестись к ней. Давно уже мечтала она, что дочь станет женой священника. Видалась ей Иляна статной матушкой-попадъей. Однако и Бужор Флоаре нравился. И подумала она, что хорошо бы Бужору священником стать, тогда бы и

Иляну можно с легкой душой за него выдать. Она чуть было не предложила выпить за это.

Стан никогда не подумывал о такой невесте для сына, и ему было неприятно, что за него что-то решают другие. Был он человек небогатый, совсем иного круга, но язык у него был подвешен как следует. И сказал он, подняв стакан:

— Больно тороплив ты, брат Пэвзлок. И дом перепутал. Вот у брата Глигора для Иляны подходящий жених, сынок у него молодец. А Бужору уж мы как-нибудь сами невесту поищем. Да ему лишь одним пальчиком поманить, на каждый палец по семь красавиц найдется.

— Эх, жаль у меня дочки нету! Было б семь, любую за Бужора отдал,— сказал Пэвзлок.

Стан опять стал подкручивать ус и горделиво поглядел на Митрю.

Митря еле сдерживал гнев, вдруг вскочил, стукнул кулаком по столу.

— Разрази меня гром, коли смолчу! Я ли не хозяин в своем доме!

Всех удивила его внезапная вспышка.

— На что ты обиделся, дорогой? — старалась успокоить его Флоаре, сроду она не видела мужа в таком гневе.

— А чего он хвастается. Его, что ли, заслуга? Я из Бужора человека сделал: мне честь, мне заслуга!

— Вон ты как?! Может, он не мой сын, а твой?!

— Может, и мой! В моем доме жил. Я его человеком сделал!

Стоит ли долго рассказывать о том, что длилось совсем недолго. Оба соседа разгорячились, обиделся Митря, обиделся Стан, и расстались они не по-хорошему. Флоаре была вне себя от горя и бросилась искать Иляну, а догадавшись, что та в саду, позвала ее в дом. Иляна сызмальства не слышала от матери упреков или ругани, а тут тетушка Флоаре не стерпела, накинулась на дочь: не пристало-де взрослой девушке по ночам в саду бродить.

— Ты девушка на выданье и должна свою честь блюсти.

Слова матери больно задела Иляну, и она долго потом не могла уснуть.

Митря же остался собой доволен, будто клад нашел. Доволен он был, что осадил Стана, не дал по-

куражиться. Был и он по-своему прав. И впрямь Бужор ему был вместо сына. Только сейчас ощутил Митря по-настоящему, чего ему не хватает. Сердился он на Бужора за уход и готов был тут же среди ночи пойти и вернуть его в дом.

Вечер был весенним, прохладным, а Бужора и Иляну бросало в пот то горячий, то холодный. Бужор все еще стоял у орехового дерева, а Иляна ворочалась на постели не в силах уснуть. Флоаре тревожно прислушивалась к метаниям дочери, чувствовала, что неспокойно ей, но и матери было неспокойно, были у нее свои страхи.

Иляна приподнялась, опустила ноги с постели, встала и вышла тихонько из дому. Флоаре, затаив дыхание, насторожилась, но больше не услышала ни звука.

Иляна вышла, чтобы успокоиться. Дома ей было душно. Она уселась на порог и просидела так долгое время, покусывая губы и теребя поясok платья. Вдруг она порывисто поднялась, бросилась к калитке, открыла и выбежала вон, не закрыв ее.

Тетушка Флоаре тревожилась все больше и больше, не выдержав, поднялась и она.

— Иляна, доченька! Иляна!

Тишина.

Флоаре вышла на крыльцо. Иляны нигде не видно. Испугавшись не на шутку, Флоаре кинулась будить мужа, прервав его крепчайший сон: так спят дети, когда их выкупают или побьют.

— Ты что? — всполошился Митря.

— Иляна пропала!

— Как пропала?

— Вышла куда-то и пропала.

— Ты в своем уме?

— Час тому ушла и нигде нету. Я искала.

На дворе только собаки вышли Митре навстречу, виляя хвостами и слабо поскуливая. Он огляделся. Иляны и впрямь нигде не было. Хотел было окликнуть ее, но вспомнил, что не годится звать дочь среди ночи на слуху у соседей. Все же тихонько, шепотом позвал один раз, другой — никакого ответа. Если бы не охватившая его тревога, заметил бы он распахнутую настежь калитку и пошел по верному следу. Но он не заметил и свернул за угол к саду.

— Иляна!.. Иляна!..

Тишина. «Вот горе-то! — Беспокойство его росло. — Где же она?» Он свернул за другой угол; чья-то тень метнулась у забора, отделяющего его двор от становского.

— Ильяна, ты?

Опять никакого ответа. Тень затаилась, перестала шевелиться.

— Кто тут?! — крикнул Митря, шагнув навстречу тени.

— Я это, дядюшка Митря! — откликнулся Бужор дрогнувшим голосом, он поначалу не узнал соседа.

— Какого черта ты тут торчишь середь ночи?!

Бужор помялся, не зная, что ответить, он никак не мог унять дрожь, наконец чужим голосом стал лепетать:

— Дядюшка Митря, отдай Ильяну? Замуж за меня, а? Ведь плохо будет, коли не отдашь...

Митря опешил, поразила его не столько просьба, сколько тон сказанного.

— Ты что же, среди ночи пришел свататься? — удивленно спросил Митря.

— Не-е... не свататься я пришел... я пришел... — совсем запутался Бужор, трясло его как в лихорадке, и готов он был повернуться и уйти. — Так что же... не отдашь, выходит... Ну и ладно, ну и держи при себе...

Он и в самом деле повернулся, Митря шагнул к нему.

— Эй, Бужор, — произнес он ласково, — я ведь тебе не отказал, не сказал, что не отдам.

Он придержал Бужора за руку, так и стояли они вдвоем молча долгое время.

— А Ильяна где? — спросил наконец Митря.

— Ильяна? А дома ее нету?

— Вышла и как сквозь землю провалилась.

Бужор испугался. Он давно заметил распахнутую калитку. Ему даже показалось, что и прежде он слышал, как она скрипнула. Только теперь он догадался, что это была Ильяна, вышла она на улицу.

Вышли на улицу и они. Бужор вел Митрю прямо к кресту.

— Стой! — сказал Митря. — Бери правей!

Ильяна сидела на завалинке становского дома, обняв тетушку Санду, мать Бужора.

ЛЮДСКАЯ МОЛВА

I

Ох до чего же бывают злые люди, такие злыдни, что не приведи господь. Правда, и у самого доброго человека бывают минуты, когда лучше его не трогать, а то и он совершит злое дело или обругает кого. Но дядюшка Миху был поистине добрейшим человеком, другого такого добряка, может, во всем мире не было.

Но и доброму человеку приходится иной раз ловчить да подлаживаться, а то пойдет о нем дурная слава. Словом, быть начеку или, как говорится, не ходить пехом, а скакать на коне. В особенности на глазах у людей.

А какой ты там у себя дома — дело твое.

Хотя и тут не убережешься от людской молвы, все люди видят, обо всем ведут разговоры. Вот и про Миху, хотя был он добрый человек, всякое болтали на селе. Да и называли его не дядюшка Миху, а все больше Сафтин Миху, будто он подкаблучник у жены своей. А ведь никогда не говорили Сафта Миху. Вот они злые языки, что творят. Не дай бог, попасться им на поживу.

Сафта и вправду иной раз крик подымала, но Миху тут же хватался за голову и умолял ее:

— Умолкни, женщина, зачем же ты меня перед всем селом позоришь?

И старался ей уступить, лишь бы спастись от сплетен, ведь у соседей ушки на макушке. Вот и пошла молва, будто Миху у Сафты под каблуком.

Будто она главная в доме.

Но дело все же не в ней было, не она была главная.

Были у дядюшки Миху два сына, — могучих, здоровых парня, — и дочка Марта, красавица писаная, таких еще поискать.

К сыновьям-то в доме относились, как и положено к детям, они у родителей в подчинении, под строгой, значит, опекой, а вот у дочери, можно сказать, на поводу ходили, потому что одна она у них и росла любимицей.

С самых пеленок весь дом вертелся вокруг нее, все прихоти ее исполняли, словом, любили без памяти.

Бывало, заплачет она, Миху бежит со всех ног в дом, где бы ни находился, из сада, со двора, из конюшни, да и Сафта мчится и кричит: «Ой, доченька моя плачет, ой, беда стряслась!»

Так что не Сафта была главной в доме, а Марта, дочка, так уж повелось сызмальства.

И чем старше она становилась, тем больше ей было внимания и любви, да и было за что — красавица, умница.

Но не одним домом мир полнится.

Есть еще и село, в доме-то она королева, а как на миру?

Когда Марта шла на игрище, все бабы, молодые и старые, спешили к плетням и провожали ее глазами. Ах, какая статная она была, да как гордо держала голову, да как легко и независимо вышагивала, да как красиво лежали у нее на лбу волосы колечками, да как ярко светилось ожерелье на шее, да как пестро и густо расшиты по краям кофта и по подолу юбка, — загляденье да и только! Смотрели ей вслед бабы, ахали и удивлялись — до чего хороша девка!

— А он-то кто будет? — спрашивали они друг друга.

— Кому ж и быть, окромя Тодерике, — отвечали знающие.

Тодерике? Вот до чего бестолкова молва людей! Вот как плетет она напраслину.

По правде говоря, Тодерике, или вернее Тоадер, а по-деревенски просто Тодарашка, был вылитый отец, а уж отец его Козьма Флорий Казакул был поистине вылитый Тоадер. Словом, были они похожи друг на друга как две капли воды, а на кого же и быть похожим сыну, как не на своего отца, — под обоими прогибались и скрипели доски на мостке через речушку недалеко от Воронова колодца.

На игрищах Тодарашку чаще называли Тодерике, нежели Тоадером. Бывало, подхватит он девушку, уж он ее крутит, уж он ее ломает, и так и этак, аж дух захватывает гляючи. Об заклад можно побиться, что поставь его на ткацкую основу, он и там так же спляшет ловко, ни одной нити не спутает.

Хороший он был парень и плясун знатный, хороший товарищ, ни перед кем нос не задирает, душа

парень, а уж с девушками всегда веселый, обходительный, разговорчивый.

Бывало, завидит издали Марту, плечи расправит, приосанится, волосы приглаживает и с улыбкой мчится ей навстречу, и развлекает таким вот разговором:

— Как поживаешь, Марта? — спрашивает.

Девушка отвечает:

— Спасибо, неплохо живу.

Он помолчит и опять спрашивает:

— А как дядюшка Миху поживает?

— Спасибо. Дядюшка Миху, слава богу, жив-здоров.

Он опять помолчит и опять спрашивает:

— А тетушка Сафта?

Тут уж Марта не выдерживала.

— Дома сидит, — отвечала.

И пока он ошарашенно моргал глазами и раздумывал, о чем бы ее еще спросить, Марта сама начинала задавать ему вопросы:

— А как твои домашние поживают, Тодерике?

— Мои? Как поживают? — ухмылялся он в ответ. — Хорошо поживают. То одно у них, то другое.

Так по очереди перебирали они всю свою родню: и шуринов, и зятьев, и двоюродных да троюродных братьев и сестер вспоминали, и дядей, и крестников — в конце концов до такой дальней родни добивались, прямо-таки седьмая вода на киселе. А Марта начинала подробно рассказывать Тодерике, кто у них был на этой неделе, да что сказал, а чего не говорил.

Кончалось тем, что оба замолкали, не зная о чем говорить дальше. Тоадер во все глаза пялился на Марту, а Марта усмехалась вполне любезно, хотя без всякого пристрастия, тогда он, по-своему истолковав ее улыбку, предлагал:

— Марта, а может, нам станцевать разочек?

И она весело откликнулась:

— Почему же не станцевать, Тодерике?

Тоадер запускал левую руку в карман, вытаскивал горсть монет и, швырнув музыкантам, приказывал:

— А ну-ка жарьте мою любимую!

И музыканты тут же заводили хору, а уж если Тоадер с Мартой, дочерью Сафтиного Миху, пускались в пляс, то все старики и бабы выползали из тени на

свет божий, прервав тары-бары, и глазели на эту ладную да стройную парочку.

Вот оно как бывало! Но людская молва любит сгущать краски, делает из мухи слона. Тоадер с Мартой любезничали просто так, лишь бы не молчать, а охочие до выдумок люди видели в этом невесть что и болтали всякую чепуху.

Но, как говорится, нет дыма без огня. Разговоры имели под собой некоторую почву. Парочка эта весьма подходила друг другу и по росту и по достатку своих уважаемых родителей — на семь деревень округ не было более достойной пары.

А уж коли речь зашла о родителях, то надо сказать, что Казакул, иначе Флорий Казакул, а еще точнее Козьма Флорий Казакул, родитель Тоадера, был по всем статьям ровня дядюшке Миху. На семь деревень округ нельзя было найти более подходящих сватов. Это любой младенец скажет. Хотя дядюшка Миху кичился не своими волами да плугами, а многочисленной родней.

Оба они были самыми видными людьми в селе. Убери из села одного либо другого — и осиротеет село. Вот оно как! И самое время было бы им на деле породниться, о чем каждый из них и мечтал.

А Тоадер с Мартой? О чем думали они? По правде сказать их еще с сопливого возраста нарекли женом и невестой. И за все годы люди так утвердились в своем предположении, что скажи им кто-нибудь, что это не так, они бы рты раскрыли от удивления.

Но был ли кто сомневающийся в этом? Был! Да, да был один такой человек. Никак не связывал он Марту с Тоадером, даже в помыслах такого не держал. Ни за что не хотел он связывать Марту с Тоадером, не считал их нареченными, хотя и молчал скромно.

По воскресеньям и праздникам приезжал этот молодец верхом невесть откуда с гор, все знали лишь, что он пастух и зовут его МIRON, а об остальном и не спрашивали. Был он в дружбе с сельскими парнями, а уж девчата гурьбой теснились вокруг него, когда начинал он что-нибудь рассказывать или балагурить, а в особенности любили его славные протяжные песни. Уж если брался он за флуер, что торчал у него за широким кожаным ремнем, то все примолкали и в упоении слушали его игру.

Но играл он редко, да и то, если об этом просила Марта. Стоило ей случайно взглянуть на ремень, за которым торчал флуер, как Мирон, перехватив ее взгляд, прикладывал руку к сердцу и исполнял тотчас ее желание.

Что и говорить. Любая девушка сочла бы за счастье сидеть рядом с таким парнем, послушать его красивую цветистую речь да грустные прекрасные песни. И если девушкам хотелось послушать его песни, они всегда просили об этом Марту, зная, что Марте, дочери Сафтиного Миху, он никогда не откажет. Правда, сама Марта порой говорила, что Мирон не станет играть, потому что он не в духе. И только изредка соглашалась попросить Мирона.

А танцевал Мирон, словно шутя. Тут уж было на что поглядеть. Высокий, гибкий, широкоплечий, он так начинал танец, что никто другой так не умел, ступая легко и широко, так что все тело у него ходуном ходило, раскачиваясь то вправо, то влево. А когда, бывало, приостановится, поднимет высокое чело да взглянет из-под густых бровей, у девушек аж дух заходится от восторга. Светлые волосы его ниспадали на плечи, лицо было белое с легким румянцем, глаза голубые, лазурные, будто в них застыли две крупницы чистого неба, когда смотришь на него с высокой горы. Было в этом лице нечто такое, чего нет в других лицах, печальное и задумчивое, когда он задумывался, а уж когда он улыбался слегка тонкими губами, казалось, вся душа его светится в этой улыбке.

Редкостный был он парень, и не удивительно, что все к нему тянулись.

К ночи, когда кончалось гулянье и молодежь разбредалась в разные стороны по своим домам, Марта тоже шла домой в сопровождении целой гурьбы парней и девчат. Тодерике вскоре, попрощавшись, сворачивал в свой переулок, а остальные шли дальше. И среди них находился, разумеется, и Мирон, и шел он рядом с Мартой.

В конце улицы все перебирались через лаз и шли дальше более коротким путем, по тропинке, петляющей между виноградниками, мимо Воронова колодца с чистой, родниковой, студеной водой.

Тут Мирон останавливался, дальше он не шел. Иной раз все тут останавливались и просили Мирона сыграть что-нибудь.

Густо, ароматно пахла свежая трава, едва заметно проглядывали во тьме очертания окрестных хат. Все усаживались наземь и слушали грустное и протяжное пение Миронова флуера.

Как-то раз, еще в самом начале их знакомства, слушатели тихонько разошлись, оставя Марту одну наедине с Мироним.

— Все ушли,— обеспокоенно сказал Мирон, заметив, что они остались одни.

— Ну и что ж, что ушли,— ласково ответила Марта.— А ты мне одной сыграй.

— А не поздно ли?

— Играй,— опять повторила девушка.

Мирон, опьянев от счастья, стал изливать свою душу в печальной и завораживающей дойне, что растворялась в таинственной ночной тиши.

Марта задумчиво и зачарованно слушала, потом вдруг поднялась, медленно подошла к срубу, на котором сидел Мирон, присела рядышком и голову положила ему на плечо. Парень замер, боясь шелохнуться, он ощущал ее горячее дыхание, от которого колыхалась ее упругая грудь, ощущал каждый удар ее сердца — дойна, замерев, оборвалась.

— Ну, что же ты? Играй, играй! — сказала Марта, коснувшись рукой его плеча.— Мне так нравится, как ты играешь.

— Не могу! — признался он и тут же поднялся.

— Ну ладно! — утешила она.— В другой раз еще поиграешь.

Мирон как замороженный смотрел ей в лицо, потом взял за руку и говорит:

— Ах, Марта! Знала бы ты, как хорошо мне, когда вижу тебя, когда слышу твой голос, когда ты вот так на меня смотришь. Уж так хорошо, что сказать не могу. Когда я остаюсь один, все время думаю о тебе, и слезы наворачиваются на глаза, сам не понимаю почему.

— Знаю, Мирон! — ответила девушка.— Потому что и мне хорошо, когда ты рядом.

Так и стояли они, не зная, что еще делать, и, смутившись, девушка убежала домой, оставив Мирона одного, а он долго смотрел ей вслед и не уходил.

С той первой встречи прошло много дней, и больше Марта не оставалась с Мироним наедине.

В тот же вечер, вернувшись домой, она вздох

рассказывала матери про парня, какой он славный да обходительный, и как красиво играет на флуере, и сколько песен знает.

Сафта слушала дочку, охая и ахая, а Марта все рассказывала о Мироне и прибавила в конце, что ничего он не делает без ее повеления, и как девушки просят ее, чтобы Мирон что-нибудь сделал. И мать радовалась, что ее дочь пользуется таким почетом среди всех.

С того дня Марта частенько рассказывала матери про вечера на гулянье и про свои разговоры, и все расхваливала Мирона.

А как же людская молва?

Работая, девушки пели песни, которым выучил их пастух Мирон, вспоминали его красивое лицо, красивые слова, им сказанные, и очень завидовали Марте, что она ему нравится.

И только-то? Конечно, больше ни о чем не говорилось, потому что все знали и завидовали, что скоро станет она невестой такого видного и богатого парня, как Тодерике.

II

Ничего не поделаешь! Так уж повелось искони — перебродившее вино становится прозрачным, а парни, перебесившись, женятся, а уж про девок и говорить не приходится, тем изначально не терпится замуж выйти.

Козьма еще загодя, с весны стал подумывать о женитьбе сына, потому как стукнуло Тоадеру двадцать годков и нечего ему было по гульбищам да посиделкам шляться, и Симины, жена Козьмы, давно мечтала о невестке в доме, чтобы стать ей бабушкой будущим внучатам.

Вино все еще бродило, и Симины похаживала вокруг бочек и без умолку твердила: «Что ж это оно все играет, все никак не уgomонится!»

Так проходили за днями дни, и наконец наступил заветный час, когда работники по толстым доскам скатили бочки в погреб и, посмеиваясь, спрашивали, скоро ли, мол, можно будет промочить горло из этих бочек, а в особенности из той, что хранится с того самого года, когда Тоадер родился.

В конце концов время пришло, Козьма уселся за стол и многозначительно поглядел на Симины.

— Что скажешь, женушка? — спросил он.

Сими́на передернула плечами.

— А что мне сказывать? — спросила она. — Ты у нас хозяин в доме, твое и слово.

Поскольку между родителями царили мир и согласие, то дело оставалось за малым, завершить надуманное и сделать это как можно лучше и обстоятельнее.

Завершить! Миху с Сафтой давно знали, что рано или поздно придется принимать им дорогих гостей в своем доме, об этом трезвонила людская молва всеми своими колоколами, кто прямо, кто криво, кто обиняками да намеками, а кто шуточками да прибауточками, но им-то хотелось узнать о таком событии честь по чести, по всем правилам, как повелось с дедовских времен, чтобы никаких сомнений у них не оставалось.

Согласие-то согласием, а кому поручить решенное между собой важное дело? Об этом подумали? Не всякий для такого поручения годен, будь он и семи пядей во лбу. Тут нужен человек почтенный и уважаемый в селе, чтобы умел и слово молвить, и слово выслушать, а не какой-нибудь шалопут; чтобы все вышло чинно, степенно, с толком, но и не без лукавинки, как принято при сватовстве. А где найти таких умелых сватов, чтобы и от людей им почет был и от них почет всякому дому.

Мечталось Козьме, чтоб сельчане, привечая идущих мимо посланцев, говорили уважительно: «Вот, мол, идут почетные гости от Козьмы Флория Казакула!» И чтобы Миху с Сафтой со всей уважительностью, когда уйдут от них сваты, успешно завершив дело, говорили с гордостью: «Нынче у нас побывали именитые да почетные люди».

Разве такое дело любому да всякому поручишь? Тут и прикинь, и скумекай прежде, чем решить, а то, не дай бог, ошибешься — все дело загубишь.

По мнению Козьмы Флория Казакула, подходящих людей на селе было раз-два да обчелся, но и среди тех, самых что ни на есть отборных, трудно было сыскать годящего; один чересчур горласт да говорлив, другой, хотя и хорош, да питает слабость к шуткам да прибауткам, понесет, не остановишь, третий, хотя и видный мужчина, и умом, и статью подошел бы, как, к примеру, шурин Стан, но под кличкой в селе ходит — Роторотый, — как такого пошлешь?

Особенно привередливой в выборе оказалась Сими-

на, один ей нехорош, другой ей непригож, наконец поладили, сошлись, что пошлют сватами Симиона, мужа Анны Поп, и Митрю Подарула, оба они люди в летах, но не старые, и весельчаки в меру, и рассудительны в меру, свое дело знают, как никто, а главное, справные хозяева и всеми уважаемые на селе.

Как только пришли к согласию, Козьма надел сюртук и велел позвать сына. Тодерике явился, отец надел шляпу и уселся за стол.

— Вот какое у меня до тебя дело, Тодерике,— после глубокомысленного молчания произнес Козьма.— Пора нам тебя женить!

— Коли пора, так жените,— отвечал Тоадер.— На то ваша родительская воля.

— Добро! — порадовался за сына Козьма.— А как, сынок, глянется ли тебе Марта, дочка Сафтиного Мihu?

— Очень глянется,— бодро откликнулся Тоадер и даже головой мотнул.

— Добро! — еще больше обрадовался отец, поднялся, взял свою палку в углу и пошел договариваться со сватами.

Если Козьма был готов к сватовству, то и Сафта не сидела сложа руки.

Марте скоро исполнялось семнадцать, стало быть, по сравнению с Сафтой, выскочившей замуж пятнадцати лет, она уже два года, как заневестилась, но и два года назад была готова принять сватов. Ей еще не было и пятнадцати, как принялась она за работу — ткала, шила, плела кружева,— и набрала приданого на семь невест. Сундуки из липы с резными узорами и цветочками на крышках и по бокам ломились от всякой всячины — расшитых кофт, юбок, кусков полотна, домашнего и готового белья — все это добро лежало в сундуках, прикрытое сверху домоткаными ковриками, сделанными тоже с большим мастерством. Но как ни много было этого приданого, его могло и не хватить: ведь, как известно, невеста на свадьбе всегда одаривает своих подруг, и чем больше подарков, тем почетнее для невесты.

Задул ветер и в другую сторону: Сафта послала Станку Кырчока разведать у Симининой соседки Тудоры, что там готовится, и Станка принесла тетушке Сафте весть, какую услышала, а именно, что не далее, как нынче, кое-кто за чем-то нагрянет в дом всенепременно. Сафта важно подбоченилась и озабоченно

спросила себя: «Батюшки мои! С чего же начать?»

На дворе стояла сухая солнечная погода, и Сафта надумала первым делом выпотрошить содержимое сундуков не столько для проветривания, сколько для покая. Велела она вынести сундуки во двор, по ее приказу между двумя бочками протянули две широченные доски.

Сундуки из липы с вырезанными узорами и цветочками вынесли во двор, и Сафта с Мартой принялись выкладывать на доски коврики, юбки, кофты, полотно: белье же как более легкое вешали на веревку, что тянулась между галерейкой и беседкой в глубине двора.

Ах, как пестро смотрелось на дворе все это невиданное богатство. Сафта и сама готова была заморожено любоваться им, если бы не была занята другим, не менее важным делом: смотрела на улицу, кто идет, останавливается ли, разглядывает ли приданое ее дочери?

Вернулись с поля возы с тремя плугами, с четырьмя волами, въехали на широкий двор. Позади всех ехал на гнедом иноходце Василий, старший хозяйский сын.

Работник хотел было закрыть за ним ворота, но Миху, стоя посреди двора, поднял руку и сказал:

— Оставь!

Ворота остались открытыми.

Работники хотели унести плуги в сарай и отвести волов на задний двор, поставить возы под навес, но Миху опять поднял руку и опять сказал:

— Оставьте! — И еще сказал: — Привяжите волов головами к возам да подсыпьте им по охапке сена.

Все было исполнено.

— Завтра поедem на мельницу! — подумав, сказал Миху, расхаживая по двору широкими шагами. — Соберите зерно в мешки да поставьте во дворе.

Василий смотрел, слушал и мотал на ус; он слез с лошади, привязал ее к одной из повозок, снял кэчулу, пригладил волосы на лбу и снова надел ее.

— Эй, Петря, — окликнул он брата, — выводите коней поить.

Медлительный Петря вывел из конюшни двух лошадей, стройных, с крутыми боками и за узду повел их к колодцу в глубине двора.

Вскоре пригнали с пастбища тучных коров, жирных свиней, неугомонных коз и кротких овец.

Когда ввечеру Симион и Митря неторопливо и сте-

пенно входили в раскрытые ворота, двор кишел жизнью, слуги укладывали в кучу мешки с пшеницей, волю, привязанные мордами к возам, сосредоточенно жевали сено, работницы доили коров, свиньи, хрюкая, разгребали кукурузные кочерыжки, козы, безобразничая, ошалело носились по двору, овцы смиренно забились в угол, а Петря воевал с норовистыми лошадьми.

Миху разгуливал по двору, наблюдая за всем, а дочка его Марта всеми командовала.

Перед воротами на улице стоял мальчонка и во все глаза таращился на все, что происходило на дворе.

Завидев сватов, входивших во двор, Миху приосанился и, гордо запрокинув голову, двинулся им навстречу.

— Здоровья тебе, хозяин, и семейству твоему! — сказал Митря, разулыбавшись.

— И вам здоровья, гость в дом, бог в дом! — ответил Миху, привечая их. — Куда и зачем путь держите?

— Ходим мы, бродим, ищем — не находим, — начал Симион. — Зашли и в твой дом, авось тут найдем.

— Нам бы ваше участие, чтоб найти его — счастье, — добавил Митря, пристально взглянув на Миху.

— Счастье, оно от бога! — сказал Миху.

— Амины! — ответили сваты.

Обменявшись так любезностями положенными, все трое направились к крыльцу дома. Митря как человек обходительный остановился, оглядел широким взглядом двор и сказал:

— Вижу, вы только недавно с поля вернулись, — и как бы невзначай спросил: — А где пахали?

— Точно и не отвечу, потому как не знаю, — отвечал Миху, так же оглядев двор. — Когда у хозяина сыновья подрастают, едва усы пробьются, они в хозяева стремятся, вот и не знаешь, что делается в хозяйстве. Эй, Василе! — подозвал он сына. — Вы где нынче пахали?

— В Досул Популуй, батя, — отвечал сын, приближившись.

— Хорошая там земля! — одобрил Митря. — И родит всего вдоволь, родящая земля.

— Хорошо родит! — согласился Миху с улыбкой. — Да не лучше, чем в Татарской Долине.

И тут же стал пояснять и рассказывать, сколько у него земли и где она: какую от деда унаследовал, а какую от отца, а какую и сам приумножил своим стара-

нием да трудом, потом поведал гостям, сколько получил он урожая в этом году да сколько в прошлом и позапрошлом.

Как только он кончил, тут же подоспел Симион и, глядя на волов, жующих сено, похвалил волов, все втроем подошли они к волам и стали их разглядывать да похваливать.

От волов перешли к коровам, к свиньям, к овцам и лошадям. И про все находились у них добрые слова, а Мihu рассказывал, когда он и где купил, нахваливал породу и хвастался богатым приплодом.

Подошли они к мешкам. Мihu развязал горловину одного, взял из него горсть пшеницы, показал гостям, — налитое зерно, отборное. Он бросил зерно наземь и завязал мешок.

Симион тоже взял горсть зерна и подал волу, а Митря положил несколько зерен в рот и разжевал зубами, а остаток, что был в руке, высыпал между мешками, чтобы и птице было что поклевать.

— Плохо же ты видишь, — пожурил Митрю Симион. — Тут птица и сама находит предостаточно.

Когда они опять приблизились к крыльцу, навстречу им вышла, будто случайно, хлопотавшая по хозяйству Сафта.

— Боже мой, вот уж не ждали гостей! — всплеснула она руками. — Вы уж простите нас. Все при хозяйстве, да при хозяйстве. Сколько ни старайся, за день не управишься.

— Старательна ты, хозяйюшка, слухом земля полнится, — похвалил и ее Митря. — А что там за коврики проветриваются? Где ж такие красивые-то продаются?

— Бог мой! Мне ли покупать? — воскликнула Сафта. — Да накажи меня бог! Все своими руками сделано!

— Ох, не верю! — сердито насупился Митря. — Тут молодые пальцы сработали.

— А разве нет у меня взрослой дочери? — напомнила тетушка Сафта.

— Э-эх! — укорил друга Симион. — Оконфузился ты, брат, Митря! Оконфузился!

— Ах, вон оно что! — нашелся тут же Митря. — Коли есть у тебя взрослая дочь, то счастья ей!

— Счастье, оно от господа! — ответила тетушка Сафта.

— Амины! — сказали оба гостя и переглянулись. Затем тетушка Сафта провела их к галерейке и к

беседке, показала все, что висело и лежало на перекинутой между двумя бочками доске. Тут и расшитые узорами юбки, и простроченные разноцветными нитками кофты, и белье всякое, дареное родней из семижды семи деревень и сшитое своими руками, а также доставшиеся в наследство вещи от бабок и даже прабабок.

Когда поднялись на крыльцо и пошли в горницу, тут-то увидели настоящее богатство: все стены были завешаны цветистыми коврами и ковриками, полы устланы половиками, а на столах и столиках, застланных скатертями, стояла обливная и расписная посуда, большая и маленькая, лаская взор. Вошла Марта с двумя свечами, потому что стало смеркаться, и поприветствовала гостей.

— Будь счастлива и ты, доченька, — ответили гости.

— Счастье, — отвечала, зардевшись, Марта, — оно от бога.

— Амины! — откликнулись оба и на этот раз.

Теперь сомнений не было, что дело идет на лад. Ни отец, ни мать, ни сама девушка ни разу не сказали: «Даст счастья бог в положенный срок» — что означало бы отказ. Отказа не было, и гости исподволь и ненавязчиво выходили на прямой разговор о том, с каким поручением прибыли. Сафта и Миху поначалу делали вид, что не понимают, о чем идет речь, потом стали заверять, что недостойны оказанной им чести, и наконец стали жаловаться, что не готовы еще к такому и трудно им будет расставаться с единственной дочерью... И это была правда, но, однако, гости по-своему расценили сказанное, и Митря, поднявшись, заявил весело:

— Значит, пришли мы к соглашению, теперь лишь бы девушка согласилась.

— Э-эх! От судьбы не уйдешь! Согласится! — разудавшись, заверил Миху.

Тетушка Сафта, поджав губы, промолчала.

— Все же спросить бы ее надо. Узнать, что у нее на уме. Нынче девушки нравные, не больно-то слушают родителей.

Она позвала Марту и велела ей принести графин вина.

— Эх, девушка, что-то чересчур скоро ты нас покидаешь, — сказал Симион, удерживая ее. — Мы даже и разглядеть тебя не успели.

Марта смутилась и потупилась.

— Прошел по селу слушок, будто ты замуж выходишь, — сказал Митря шутливо.

— Может, и выхожу, — улыбнувшись, ответила девушка. — Вот только не знаю еще за кого.

— А коли мы подсказем?

— Подскажите, окажите честь, — уже более смело попросила Марта.

— Глянь, глянь, да она и вправду не знает, — сказал Симион. — А откуда ж нам знать? Мало ли что болтают, вот об этом как раз мы толковали с дядей Миху. А знаем, что хочет тебя сватать Тодерике, да не решается, робеет...

Хотел еще что-то добавить, но умолк, плотно закрыв рот, молчала и Марта, не зная, что сказать, молчали и родители. Но следующее слово было за матерью, и Сафта, подойдя к дочери, тихо спросила:

— Желаешь ли, Марта, идти за Тоадера?

Марта пожала плечами и так же тихо ответила:

— Как батя решит, так и сбудется.

— Счастья тебе! — сказали разом оба гостя, поднявшись, а у Миху сразу отлегло от сердца и приятный холодок пробежал по спине: все шло как и положено в благопристойном доме.

Уладив дело, условились, что через три дня, в воскресенье, Козьма и Симион с Тоадером придут просить руки Марты, и тогда молодых обрuchат.

Марта поцеловала руку тому и другому из гостей, а Миху с Сафтой проводили их до калитки.

III

Село волновалось в ожидании свадьбы.

Наконец-то осуществлялось то, о чем давно судачили неугомонные языки; через неделю Тодерике должен был стать нареченным Марты. Уже в четверг люди прослышали о готовящемся сватовстве и посланцах Козьмы Флория Казакула к дядюшке Миху. Одержимые любопытством кумушки как бы невзначай шастали мимо раскрытых ворот невестиного двора, пытаясь разглядеть, что там делается.

Вечером во всем селе ни для кого не было секретом, что посланцы побывали у Сафтиного Миху. Знали подробно, что сказал хозяин, да что сказала хозяйка, и как отнеслась к сватовству сама невеста, и как вели се-

бя в порученном деле Симион с Митрей. Рассказывали, как Марта была одета, когда вышла к гостям, и как кротко и ласково отвечала на их вопросы, во всем покорная отцовской воле, как и надлежит дочери в благопристойном семействе. Нашлись и свидетели, видевшие, как Миху с Сафтой проводили гостей до калитки, и слышавшие, что они сказали на прощание и что велели передать будущим сватам. А потом видели веселой и довольной Симиону, когда посланцы вернулись с доброй вестью.

Людская молва, как всегда, скакала впереди событий, на много их опережая. Не было в селе ни одного человека, который бы остался равнодушен к предстоящему сговору, да и не диво — кругом жили родственники, друзья, соседи, кумовья да крестники обоих семейств, а если кто и не был с ними в родстве и соседстве, то просто был их односельчанином.

Свадьба обещала быть богатой, такой, чтобы навек запомниться всем, кто на ней побывает, чтобы слава о ней гуляла по свету века, переходя от дедов к внукам. Вот какая ожидалась пышная свадьба. Вино на ней обещало литься рекой, столы ломиться от угощения, гостей на ней должно было собратся из семижды семи деревень вокруг, не считая близкой и дальней родни невесты и жениха. Семь дней и ночей предполагалось длиться свадебное пиршество. Шутка ли сказать, если такой знаменитый хозяин, как Сафтин Миху, выдавал свою единственную, любимую, ненаглядную доченьку замуж? Только раз в столетие, а то и реже случаются такие свадьбы.

Сельские модницы горели желанием скорее увидеть свадебное платье невесты, когда встанет она перед аналоем, окруженная разнаряженными подружками. А жених-то каков будет со стройными, празднично одетыми всадниками, когда приедет он за невестой? Словом, мороз по коже пробежал от одного лишь предвкушения предстоящего празднества.

Было ясно, что подружками у жениха будут парни как на подбор, а лучшим из лучших среди них будет Мирон, который и жениху был близким приятелем и к невесте питал особое расположение. Но говорили об этом вскользь да полунамеками, потому что нельзя о таком говорить вслух, пока не состоялось обручение, да и говорили-то только в доме невесты.

Но и тут все как бы оставалось тайной для всех, чтобы при встрече гостей хозяйка могла, всплеснув руками, воскликнуть: «Застали вы нас врасплох! Ох, не ждали! Никак не ожидали мы таких гостей!»

И хотя весь дом пребывал в хлопотах и приготовлениях, но и это как бы происходило тайком, хотя самое деятельное участие во всем принимала Сафта.

Уж как она была горда, что выдает дочку замуж, что сможет показать гостям роскошное приданое дочери, какого не было ни у какой другой невесты. Но порой и ее вдруг охватывала тоска. Сиделась она тогда у окна, слезы бежали по ее лицу и вид у нее был такой несчастный, будто приключилась с ней неслыханная беда, а если рядом оказывалась Марта, она обнимала, обцеловывала дочь, будто прощалась с ней на вечную разлуку.

Миху, хотя и не плакал, не бросался обнимать и целовать свою ненаглядную красавицу-дочь, переживал свое горе молчаливо и глубоко. Ему бы радоваться, но мог ли он радоваться? Порой его охватывало такое отчаянье, что он метался по двору, как свирепый медведь, не зная на кого наброситься. Сам себя лишал он единственной утешы в жизни, кого же было винить? Он бродил по двору, угрюмый и несчастный, и никто не знал, как к нему подступиться и чем угодить. Казалось, никто ему больше не был нужен, ни сыновья, ни жена, ни соседи, ни родня, если у него отнимали единственную его радость.

Отнимали? Как бы не так! Разве ее отнимали? Разве кто-нибудь принуждал его к тому силой? Это была его добрая воля. Самолично готов он был вручить свое сокровище в руки молодому человеку да еще сказать в напутствие: «Бери! Владей! Уноси в свой дом. Отныне она твоя, и ты волен поступать с ней, как тебе вздумается. Отныне не я, а ты ей хозяин!»

Как же так? А не предательство ли это? Не предает ли он самого себя и дочь? Предательство?! В чем? Выдавать дочь замуж? Испокон веков поступали так отцы — растили, пестовали, холили своих дочерей, а потом и сбывали с рук долой: улетай, доченька, из родного гнезда и прости-прощай! Не он первый, не он последний. Так было, так будет. Все так! Но разве от этого легче? Разве от этого боль меньше?

А что же Марта? Рада ли она?

Рада? Она и сама не могла разобраться в своих

чувствах. То в жар, то в холод бросало ее при мысли, что она, вчерашняя девчонка, вступает в настоящую взрослую жизнь. Замужество манило ее и отпугивало своей неизвестной таинственностью.

Эта таинственность пьянила, наполняла сердце какой-то чудесной тревогой, а ум — радужной надеждой и мечтами. Вдали маячила новая жизнь, незнакомая, красочная, исполненная блаженства. И вдруг радужные надежды и мечты разом исчезали, сменялись страхом: как же она покинет отца, мать, братьев, родительский дом, где все ее любили, где она купалась в любви, — как же вот так одним махом лишиться всего этого? Она вспоминала ласковый, добрый взгляд Тодерике. Сызмальства они оба привыкли к мысли, что созданы друг для друга и станут мужем и женой. Марте хотелось, чтобы часы убыстрили ход. Ей казалось, что дни волочатся еле-еле, слишком медленно тащится время, и будто, по ее велению, они убыстрили бег, помчались бурной чередой, еще сильнее испугав ее. Она готова была броситься к матери, кричать, просить, умолять: «Мамочка! Не отдавай меня замуж!»

И как спасение, как защита от нависшей над ней угрозы, возникал в душе образ Мирона; будто наяву стоял он у Марты перед глазами, светящийся весь, словно озаренный ярким солнцем, улыбался и завораживал своей упоительной речью. Так тепло, так уютно становилось ей, что чудилось, будто прижимает он ее к сердцу крепкой мужской рукой и шепчет: «Марта!»

Одно только слово и шепчет он ей, как тогда, в тот памятный вечер: «Марта!» И не нужно ей было никаких других слов, все в одном этом слове и сказалось — и пылкая любовь его, и доброта, и нежность, — сладостное блаженство растекалось по всему телу от одного лишь произнесенного слова: «Марта!»

Но суббота близилась, близилась неотвратимо. Марта в беспокойстве металась, не зная, как быть и что делать? Она точно обезумела.

Завтра должна она была обручиться с Тодерике, с человеком, назначенным ей судьбой, оговоренным молвой, выбранным родителями, — она и сама привыкла смотреть на него, как на своего суженого и будущего мужа. И ведь она по-своему любила его, да, да, любила! Что же теперь противилось в ее душе? Почему хотелось ей отдалить, отодвинуть, отменить этот день? Она еще сама не понимала — что, но теперь она никак

не могла обручиться с Тодерике, не могла идти с ним под венец. Может быть, когда-нибудь, после, со временем, успокоившись, она бы и согласилась, но теперь ни за что, ни за что!..

Впервые в жизни она вдруг ощутила, что ей некому поведать свои мысли, свою боль, свое отчаяние, некому пожаловаться, не к кому припасть на грудь и выплакаться всласть. Она метнулась в сад, где под пожелтелой грушей притулилась одинокая лавочка, села на нее и разрыдалась.

Сафта издали заприметила, как дочь бежит в сад, поспешила за ней, обеспокоенная, почуяв материнским сердцем, что неладное творится с дочерью, но, увидев ее плачущей, тихонько ушла: пусть выплачется вволю, и сама, уйдя в дом, дала волю слезам.

День постепенно облачался в ночь; летучие мыши и осенние жуки черкали воздух крыльями; круглая луна показала свое сонное лицо из-за лесистого холма и тут же ткнулась в облачную подушку. Тихий вечер лишь изредка нарушал ветерок, ворошивший осеннюю листву на деревьях, да уныло промывала чья-то корова и тявкнула несколько раз собака.

И опять все стихло... И вдруг, пронизывая плотную ткань вечерней тишины, издалека донесся трогательный печальный голос флуера; дойна кого-то звала, волнуясь и захлебываясь тоской; звуки ее то налетали, то отступали, будто разорванная нить ожерелья роняла в глубь тишины один драгоценный камешек за другим.

Марта встрепенулась, словно вспугнутая лань, и замерла, прислушиваясь. Ей ли было не узнать эту дойну, что однажды тронула и сокрушила ее девичье сердце. Она вся просияла, крикнула: «Он!» и, сама не зная, что делает, как зачарованная, кинулась навстречу доносившимся звукам; она легко перескочила через колючую изгородь, окружавшую виноградник, и двинулась извилисткой тропкой, возбужденная, с распущенными волосами и пламенным взглядом. Щеки ее горели, губы дрожали. От быстрого бега, а может, и от горячего тока крови, грудь высоко вздымалась; девушка уже не разбирала дороги, бежала сквозь кустарник, сквозь благоухающее разнотравье, опьяненная, взволнованная счастьем предстоящего свидания.

Наконец она увидела пасущегося коня и увидела Мирона, он сидел, прислонясь головой к одинокому дубу, и играл на флуере.

— Мирон! Мирон! — окликнула она, остановившись в растерянности.

Он узнал ее голос и оторопело огляделся: как она очутилась здесь? Не сон ли это? Не почудилось ли ему? Нет! — она была рядом, только протянуть руку, в двух шагах от него.

— Марта! Марта! — вскричал он радостно, бросился к ней и заключил в свои крепкие объятия.

— О господи! — вздохнула девушка, блаженно закрывая глаза. — Как я люблю тебя, Мирон! Так люблю, что и не сказать!

Их губы слились в долгом упоительном поцелуе; слезы счастья хлынули у нее из глаз и побежали по смуглым щекам. Так и стояли они обнявшись возле одинокого дуба, обласканные лучами сонной неженки-луны.

Очнувшись от забытья, Мирон печально взглянул на девушку.

— Марта, — признался он горестно. — Один раз живет человек, и привык он дорожить своей жизнью, а я не дорожу ею, ей-богу, рад умереть. Сколько мук я выстрадал, сколько дум передумал из-за тебя, бродя с отарой в горах... Знала бы ты, как прекрасен оттуда мир, когда на небе ни облачка и ветры улеглись, а из долины доносится говор ручья, тоскливый и певучий, беру я тогда в руки флуер и играю, чтобы выплакать в тягучей дойне свою живую боль. А сердце разрывается от муки, вот-вот разорвется, а я думаю: пускай разорвется, я буду счастлив!.. А то, бывает, ураган налетает и рушит, и крушит деревья, вырывая их с корнем, и дыбится горный поток, несется вниз лавиной, сметая все на своем пути, а мне не страшно, потому что разлука с тобой страшней, и только в смерти вижу я избавление от моих страданий. Да будь у меня и сто жизней, я бы ими не дорожил, не задумываясь пожертвовал ими за один такой миг с тобой. И сгорай тогда мое сердце от любви, сгорай дотла! Вот держу я тебя в объятиях и не верю, сдается мне, что я сплю и вижу прекрасный сон, — и я таю, таю, таю...

Он умолк.

— Милый ты мой, — нежно проговорила девушка.

— Зачем ты пришла! — вдруг вскинулся он на нее. — Зачем? Неужто приятно тебе мучать меня? Ведь теперь совсем не будет мне покоя... Так я тихо смирился со своей печалью, а ты пришла и опять взбудо-

ражила мне душу. Что тебе от меня нужно? Раз в год доброе слово, раз в год ласковый взор или тихое пожатие руки,— и я бы утешился. Мне кажется, что я рехнусь от любви к тебе. Я как неприкаянный брожу по своей земле, и нет мне ни в чем утешения. Совсем я забросил свою отару, оставил ее на своих подпасков, и все брожу тут возле села да гляжу на ваш двор.

— И мне нет покоя, Мирон! — вздохнула горестно Марта. — И мне страшно подумать, что исполню я волю отца.

— Волю отца? — вскричал Мирон. — Нет! Не бывать этому никогда! Никому я тебя не отдам! Слышишь, никому! Либо ты станешь моей навсегда, либо... — ох господи, избавь меня от грешной мысли! — либо... я убью тебя своими руками. Нет у меня сил совладать с собой.

Марта хотела прижаться к его груди, но вдруг он произнес тихо и властно:

— Уходи! Зачем ты пришла сюда? Зачем ты мучаешь меня? И так я с ума схожу!

— Мирон! Милый! — ласково промолвила девушка, обвив его шею лебяжьими, легкими руками. — И я люблю тебя. Как же ты меня прогонишь? Я тоже не чаю жизни без тебя, мне бы только видеть тебя, посидеть с тобой рядом, общие у нас радости и общее горе, — вдруг чуть ли не вскрикнула: — Мирон! Не отталкивай меня, ведь я без тебя умру!

Мирон стоял, потрясенный ее словами, тягостная борьба происходила в его душе. Он понимал, что жестоко обходился с ней. Лицо его разгладилось, стало спокойным и строгим.

— Не гоню я тебя, Марта! — произнес он тихо. — Все же должны мы расстаться. Не приходи сюда, не мучь меня. Расстаться нам нужно. Видно, ты забыла, что ты дочь Миху. А я кто? Что скажут люди, если увидят тебя со мной тут?

Марта опешила и огляделась испуганно, она отпрянула от него, но все еще не уходила.

— Да, ты прав, уходить мне надо, знаю, — сказала она. — Но не будет мне жизни без тебя.

— Да благословит тебя господь, Марта. Да освятит он каждый твой шаг по земле, — тихо сказал Мирон, обнял ее на прощание и легонько оттолкнул от себя. — А теперь уходи.

Марта ушла, а пастух все еще стоял у дуба и смотрел.

рел в ту сторону, куда она скрылась, где темнело окутанное мраком село, озорно подмигивая несколькими светящимися окошками. Вдруг Мирон очнулся от забытья, достал из-за пояса флуер, сломал его о колено и выбросил обломки в разные стороны, потом вскочил на коня и направил его по тропинке в горы.

IV

Пели на заре петухи, мычал скот, чистили перья и гомонили птицы; день все упорней прояснялся, все настойчивей сбрасывал с себя покров ночи.

Миху заворочался в постели; никак он не мог взять в толк: спал он или провел всю ночь без сна, чувствовал он себя разбитым и усталым, в душе царили разброд и неуверенность; вставать ему не хотелось, так бы и пролежал весь день, не поднимаясь, если бы не тревожная мысль о том, что нынче ему принимать у себя в доме гостей, с терпением и учтиво выслушивать их разговоры, во всем угождать и за собой строго следить, чтобы случайно не ляпнуть чего-нибудь неурядице или обидного.

Все же он поднялся. Сам не свой бродил по дому, не зная к чему приложить руки, и даже вздохнул с облегчением, когда к нему ворвалась Сафта, охваченная тревогой, и стала ему что-то говорить.

— Михуле! — крикнула она с порога. — Не пойму я, что творится с нашей Мартой. Вчера она просидела допоздна на скамейке под грушей в саду, плакала, а вернулась и вовсе не в себе, грустная, ни кровинки в лице и всю ночь металась во сне, кричала, плакала, чуть не задохнулась плачем. Не захворала ли? Не пойму, что с ней! — закончила Сафта свою тираду, вытирая слезы передником.

— Не понимаешь? — язвительно и горестно переспросил Миху. — Оно и видно, что не понимаешь. Видать, радуется она, что уходит из дому, вот и плачет. И по мне видать, что радуюсь я, и по тебе! Знай, жена, ежели уйдет Марта из дому, не останется у нас ни кошки, ни собаки, уйдет от нас радость, уйдет вместе с ней...

Тяжко у Миху на душе, не хотелось ему выказывать перед женой свою слабость, да что поделаешь.

— Ох, уж и не говори,— всплакнув, сказала Сафта.— Нынче утром подхожу, спрашиваю у нее: «Марта, радость моя, что с тобой?» А она молчит, не отвечает. Смотрит на меня затравленным зверьком, будто хочет о чем-то спросить и боится, не может. А у меня аж сердце зашлось. Наконец решилась и говорит: «Мама, со мной ничего, только тяжело очень. Попроси отца, чтобы не было нынче обручения». — «Ты что? — спрашиваю.— Передумала выходить за Тодерике?» — «Не знаю,— говорит,— может и передумала. Не могу я теперь за него выходить». Слушай, Миху, сердце у меня не на месте. Может, и вправду упредить Козьму, чтобы не ходили нынче сватать, сказать, будто больна Марта, не может... Ну, что же ты молчишь, скажи что-нибудь!..

Миху с болью в сердце выслушал жену, но когда она заговорила об отмене сватовства, ужаснулся.

— Сафта! Опомнись! — вскричал он.— Ты что, спятила? Как же можно отменить уговор. Принимали мы посланцев от Козьмы, весьма уважаемых и почтенных людей, дали согласие, велели прийти в воскресенье. Об этом все село уже знает, как же нам теперь отказаться от своего слова? Ведь это же срам! Гром среди ясного неба! Кто ж после этого уважать нас станет? Обсмеют. Скажут, что не хозяева мы своему слову!..

— Передумала Марта,— напомнила Сафта.

— Понимаю, что передумала,— с грустью согласился Миху.— Может, я и сам передумал, но слово-то дадено... как же отменить сватовство? Никак этого нельзя... никак...

— Что же делать, Миху!..

— Жена! — вскричал в сердцах Миху.— Оставь меня! Что ты такое говоришь! Не посыпай мою голову пеплом, не насылай позора на мои седины! Бог свидетель, сокрушу я весь дом, ежели... ежели не будет, как должно... Уйди, прошу!..

Сафта ушла, а Миху в беспокойстве заходил по комнате.

«Закачу такую свадьбу, что чертям тошно станет! Надолго меня запомнят люди во всей округе,— думал Миху, шагая из угла в угол.— Внукам и правнукам рассказывать будут, как Миху выдавал свою дочь замуж, как породнился с Козьмой Флорием Казакулом!»

Он выбежал во двор, направился в конюшню, но был раздражен и придиричив, все было не по нему, выговаривал всем, кто попадался ему под руку, словом, был

совсем не похож на того уравновешенного и спокойного Миху, каким все его знали.

— Что-то нынче с хозяином неладное делается,— сказал батрак Марку,— рыщет по двору, ищет с кем повздорить.

Но и на дворе не было Миху покоя: он помчался в примэрию, а оттуда в церковь.

Держа в правой руке длинную палку, шагал он широким шагом по самой середине улицы, шагал, высоко поднимая голову. Все встречные по обочинам улицы слева и справа сторонились, давая ему дорогу, мужчины вежливо снимали шапки, бабы почтительно раскланивались, а молодые женщины, девки и ребятишки считали для себя долгом коснуться лбом его руки.

Как ни скверно было у него на душе, все же он чувствовал удовлетворение от почета, оказываемого ему людьми. Отвечал на поклоны легким кивком, иной раз останавливал прохожего, спрашивал, как дела, девушек, взяв за подбородок донимал вопросом, скоро ли они выйдут замуж, а ребятишкам, достав из кошелька, раздавал мелкую денежку, детям побогаче оказывал почтение тем, что нахваливал их наряд, вид и красоту. Шагая так вдоль улицы, он чувствовал, что люди смотрят ему вслед, восхищаются и с нетерпением ждут предстоящей свадьбы, которая обещает быть такой, каких еще не знали в селе.

При мысли о свадьбе, сердце у него невольно сжалось, вспомнилось, что Марта просила отменить или хотя бы отсрочить нынешнюю помолвку. И опять у него кошки на сердце заскребли, но утешился он мыслью о предстоящем замечательном родстве.

«Да! — внушал он себе.— Большая честь породниться с Козьмой Флорием Казакулом, но и ему я честь оказываю, отдавая за его сына такое сокровище, как моя Марта».

Поуспокоившись, он так в раздумьях дошел до Воронова колодца.

Шел он вниз, а на горке возле ворот белевшего дома пять-шесть женщин о чем-то громко судачили.

Завидев Миху, они разом примолкли и вежливо ему поклонились.

Миху улыбнулся в ответ и, кивнув им, пошел дальше.

Ручей за лето почти начисто пересыхал и лишь в пору дождей наливался водой, превращаясь в узкую

неглубокую речушку, так что подводы ее преодолевали без труда, и люди переходили запросто по камням, не замочив подошв. Миху и сам всегда переходил ее как все, по камням, но года два назад, когда у него дочь стала невестой, надумал он перекинуть через речушку мост в узком ее месте: негоже девушке ходить по камушкам да юбку задирать. Мост был в две буковые доски шириной и двух с половиной сажень длины, посажен на два бревенчатых столба и скреплен железными гвоздями. В сухую пору люди по нему не ходили — зачем, коли и так по камушкам можно, — а когда ручеек набухал от дождей и превращался в речушку, мостом пользовались все без исключения.

Не успел Миху спуститься к мостику, как с другой стороны речушки, вынырнув из-за забора, вышел высокий плотный человек с тяжелой грузной походкой, так что казалось, земля у него должна трескаться под ногами.

Человек этот был не кто иной, как Козьма Флорий Казакул.

Хуже встречи и не придумать. Ох, как не хотелось Миху нынче сталкиваться со своим будущим сватом; еще кабы издали, поздоровался и прошел мимо, а тут нос к носу: придется останавливаться, руки жать, да разговоры разговаривать, и прикидываться, будто ничего не ведаешь про нынешнее сватовство.

Миху даже помрачнел от огорчения.

Сверху в спину ему палили пять-шесть пар глаз собравшихся возле дома лопотуней, а внизу торчал узкий мосток, где вдвоем и разойтись неспособно, разве что впритирку. Нет, непременно кому-то надобно уступить дорогу другому. Но кому?

Оба будущих свата сближались осторожно и неуверенно, будто боялись наступить на змею, и оба разом подошли к мостку — вот тут и должно решиться, кто из них главнее.

Миху поначалу заколебался, но потом, подстрекаемый острыми глазами кумушек, сверливших ему спину, неохотно ступил на край мостка.

И Козьма, побуждаемый теми же внимательными наблюдательницами, тоже вступил на мосток, доски слегка скрипнули и прогнулись под его тяжестью.

Где-то на полдороге будущие сватья сошлись грудь в грудь, лицо в лицо, хмурые и недовольные.

— Доброго тебе здоровья! — произнес приунывший Козьма.

— И тебе дай господа! — в тон ему ответил поскучневший Миху.

Они пожали друг другу руки, постояли чуток молча и хотели было разойтись и следовать своим путем, как вдруг наверху среди кумушек вспыхнул и тут же угас приглушенный смешок.

— Какой болван соорудил этот никудышный мост, — буркнул недовольный Козьма.

— Обидно мне такое слышать, — обозлился Миху. — Потому как я его и сделал.

— Плохо сделал, — ворчливо сказал Козьма, — что за дело, ежели два почтенных человека на нем разойтись не могут.

— Проходи, коли тебе дороги мало, — предложил Миху и прыгнул с мостка направо.

— Нет уж, ходи себе на здоровье. Мост-то твой! — почему-то обиделся Козьма и прыгнул налево, угодив прямо в воду.

Бабы наверху, не удержавшись, прыснули.

— Коли мосток твой, то должен был ты мне уступить дорогу! — прокричал, раскрасневшийся от обиды, Козьма и удалился, что-то ворча под нос.

— Фу-ты ну-ты! — гневно ответил Миху. — Палки гнуты! Ишь какой! Что ты за барин, чтобы тебе дорогу уступать? Чем я хуже тебя?

И Миху заторопился скорей уйти от этого проклятого места, опустив стыдливо глаза, ему казалось, что бабы хохочут ему вслед, бегут за ним, рассказывают всем встречным и поперечным о случившемся, за его спиной строят рожи и показывают рожки, словом, стыдят перед всем селом.

Конечно же, ни в какую примэрию или в церковь он не пошел, а задами да виноградниками, мимо Воронова колодца, вернулся прямо на свой двор.

— Что это ты, Миху? — удивилась его возвращению жена и пытливо посмотрела на него, почуяв недоброе.

— Ничего, — буркнул в ответ Миху и ушел в дом.

V

К обеду все село знало про ссору Миху с Козьмой, а пополудни люди, мужики и бабы, собираясь кучками, только и делали, что толковали о случившемся.

Кто-то, будто бы из самых посвященных в тайны обоих семейств, шепнул близкому приятелю на ухо, что Тодерике стоял в пятницу вечером у калитки Аники Подарул и та попрекала его женитьбой на Марте и честила невесту на чем свет стоит, называя ее трухлявой доской, которую и обнять-то боязно, как бы не переломилась надвое, и Тодерике вроде бы Анике поддакивал, посмеивался над невестой. Аника обо всем поведала Флоаре Чиукур, а та, в свою очередь, своей подруге, пока слух не докатился до Сафты, а Сафта пришла в ярость и велела Миху идти к Козьме и сказать, чтобы ноги их на дворе не было и не видеть им невесты как ушей своих. Миху с Козьмой встретились на мостку и повздорили так, что ажно страшно, а все из-за Тодерикиного легкомыслия.

— Да уж, какое после того сватовство,— соглашались мужики, качая головами.— Срам один!

Но горделивая и расторопная женская половина села, особенно из молодых да незамужних, никак не желала примириться с таким обидным для женского полу толкованием. Одна из самых бойких молодиц Тица Колак объявила, что все это брехня собачья, а как было на самом деле она знает чуть ли не от самой Марты. Отказывалась Марта выходить за Тодерике, потому как без памяти любит Мирона-пастуха, а Сими́на про то узнала и послала мужа к Миху узнать, так ли это, и ежели так, то не желают они сватать своего сына за нечестивую девку, а встретились старики на мосту, да и повздорили, и много обидных слов друг дружке наговорили.

— Вот оно как было взаправду! — закончила Тица свой рассказ.

— А я что говорила? А? Какая из них пара? — поддержала кто-то из девок.— Какой из Тодарашки жених! Ему на посиделки с соплюхами ходить.

— Вот и я такого мнения! — поддержала другая.— Но Марта-то! Марта! А ведь я сразу заметила, что она на Мирона зарится. Срамница! Ежели ты дочка почтенного хозяина, то нешто на пастуха пристало глаза пялить? Какой он тебе муж?

Так вот пошла и поехала по селу гулять разноречивая людская молва, разукрашенная мельчайшими подробностями, столь же достоверными, как и все остальное. Ясно было лишь одно, что Миху теперь ни в жизнь не расстанется со своей любимой дочкой.

А когда речь заходила о Мироне, люди вздыхали горестно и говорили:

— Жаль парня! Скорее Воронов колодец высохнет, нежели Мihu выдаст свою дочку за пастуха.

Но бабы не сомневались, что придет и его час.

А Тоадеру хоть бы хны, ходил себе розовенький да веселый, Сими́на откровенно горевала, Козьма был молчалив и хмур, Марта вся в слезах исповедовалась матери, у Сафты сердце заходило́сь от горя, а Мирон бродил где-то в своих горах, скрытый лесами и туманами.

С тех пор, как сжимал он Марту в объятьях, с тех пор, как целовал ее, с тех пор, как открыл ей свое сердце, бурлила в нем разгоряченная кровь, не было ему ни сна, ни покоя. Он избегал встреч с Мартой, прятался от нее, старался подавить в себе вспыхивавшие все с новой и новой силой чувства. Но порой им овладевало настоящее безумие, он готов был убить всех подряд — и Тодерике, и Мihu, и Козьму — всех, кто мешал его счастью, — потом, ужаснувшись, спохватывался; тоска гнала его в низину, и в голову лезли мысли одна другой безрассудней. «Возьму Марту! — внушал он себе. — И умчу в горы, от людей подальше, и дело с концом!..» Но мог ли он лишить ее родителей последней утехи на старости лет?

Тихо плыли по небу белесые пушистые облака, тихо скользила, прячась за ними, бледноликая луна, тихо мерцали звезды Большой Медведицы и Плеяд и тихо, как сверкающие осколки битого стекла, рассыпанные на дороге, сияли неисчислимые мириады звезд Млечного Пути. Мирон лежал на спине, запрокинув голову и глядя в спокойное и знакомое небо, такое привычно знакомое с детства, как бывает для иных место их игр или свой двор. Вид неба всегда утешал его, успокаивал, врачевал его душевные раны; небо было для него тайной тайн, сокровенной книгой, по которой учился он мудрости и спокойствию. Вот и теперь, устав от дневных трудов, он находил в нем успокоение. Отдыхали душа и тело. Помыслы устремлялись ввысь, как устремляются ввысь горячие языки пламени. И великое утешение снисходило на душу.

Ох, и удручен был дядюшка Миху.

Часами сидел он, поникнув головой, думая об одном и том же.

И не размолвка на мостке печалила его, размолвка постепенно бы изгладилась в памяти, забылась навсегда, удручала его людская несправедливость, не знающая ни жалости, ни удержу. Так и виделись ему собирающиеся кучками люди, хохочущие и злословящие. Порой он готов был надеть шапку и мчаться к Козьме просить прощения, чтобы люди устыдились своей неумной клеветы. Не вина перед Козьмой побуждала его на такой шаг, а душевный неуют, который он чувствовал. Они были в равном положении, а точнее сказать, товарищами по несчастью, жертвами одного наговора, сплетен, рожденных пагубной человеческой слабостью.

Пополудни к Сафте неожиданно явилась посланная от Симины Барбура Корбея и предупредила, что у Козьмы заболела дочь и сватовство откладывается.

— Что ж! — промолвил бесстрастно Миху, когда Сафта сообщила ему новость.

Кровь ударила ему в голову, его чуть удар не хватил от возмущения, но вида он старался не показывать, даже старался внушить себе, что доволен, раз для отмены обручения нашлась такая подходящая причина.

Но как только Сафта вышла, заходил обеспокоенно из угла в угол по комнате и растревожился: «Неужто из-за пустяшной ссоры на мостке Козьма решился отменить помолвку? Разве так среди почтенных и достойных людей делается? Совсем Козьма с ума съехал, коли так поступает!»

В понедельник утром, увидев его успокоившимся и обычным, Сафта заходила возле него кругами, желая порасспросить о вчерашнем. Марта весь день только и рассказывала ей про Мирона, какой он славный да обходительный, красивый да умный, что и самой Сафте чем-то стал нравиться этот незнакомый ей парень. Однако она сильно сомневалась, что он придется по душе Миху. Сафта и сама издавна привыкла считать законным женихом дочери только Тодерике, так повелось искони, с самого рождения Марты, и трудно ей было представить себе кого-нибудь другого вместо него. Но Марта так жалилась и плакалась ей, что Сафта поду-

мала, а не открыться ли во всем мужу, авось и его проймет?

— Пойдем, доченька, к отцу, повинимся и все ему расскажем,— предложила она дочери.

— Что ты, мама! Что ты! Да он и слушать не захочет!

Сафта, вздыхая, ушла, а Марта, догнав ее, умолила ничего не говорить отцу.

— Миху! — заговорила теперь с мужем Сафта.— Потолковать нам надо.

Миху согласно кивнул, пошел за ней в дом и сел на стул молчком.

— Видать, расстроилась Мартина помолвка,— начала она грустно.— И, как я понимаю, не наладится.

— Как так совсем расстроилась? — насторожился Миху.— Теперь слово за Козьмой.

— За Козьмой,— согласилась и жена.— Да вчера-то он не пришел сватать. Может, совсем передумал?

— А передумал, так то его дело,— стараясь держаться спокойно, продолжал Миху.— У людей как делается, надо прислать людей, упредить, вернуть данное слово и сказать, какая тому причина. А то ведь так и девушку опозорить нетрудно.

— А ежели Тодерике отказывается брать ее в жены? — заюлила, не зная, как половчее сказать, Сафта.

— Что значит, отказывается? — совсем разгорячился Миху.— Как так отказывается! Нешто девушек так можно позорить?

— Ты не горячись, муженек,— еще больше заволновалась Сафта.— Я ведь к чему говорю, может, сплетня какая по селу ходит, а Тодерике услышал да поверил...

— Сплетня?! — испугался не на шутку Миху и даже побледнел.— Какая-токая сплетня?!

— Да ты не горячись, муженек,— опять заволновалась Сафта.— Никогда я тебя таким разволнованным не видала... Ведь у молодых всякое бывает, кровь горячая... Может, Марте другой парень по сердцу, а Тодерике про то узнал и отступился.

— Какой еще другой парень?! — оторопев, спросил Миху.

Сафта поникла головой и всплакнула.

— Миху,— призналась она.— Не гадали, не чаяли мы, а беда случилась, девушка наша умирает, тает,

сохнет! Вчера вечером только о нем и говорит... и плачет, плачет... У меня сердце разрывается глядячи...

— Ах ты, бедняжка,— расжалелся и Миху.— Что ж вы мне раньше-то ничего не сказали.

— Да я и сама не знала,— разоткровенничалась Сафта.— Вот уж год, как Марта мне рассказывает об этом парне, расхваливает, какой он сильный да красивый, как славно песни поет и говорит так, что заслушаешься. А я и в ум не брала, что влюбилась она в него. А вчера она мне призналась, что любит его без ума... Вот дело-то какое. А еще тебе скажу, ты только потерпи, не серчай, парень этот... пастух...

— Пастух?! — холодея от ужаса, шепотом переспросил муж.

— Пастух,— со вздохом подтвердила Сафта.

— И, говоришь, Марта его любит?

— Жить без него не может,— подтвердила Сафта, опять всплакнув.

Миху вскочил со стула, потом опять грохнулся, схватился за голову и так просидел долгое время, поеживаясь и вздрагивая.

— В гроб она меня вогнала,— глухо пожаловался он.— Как же это?! Да ее убить мало! Совсем меня опозорила перед людьми. Как же я теперь им в глаза глядеть стану?

— Миху, дорогой. Утешится она, успокоится, забудет его,— утешала Сафта мужа плачущим и жалобным голосом.

— Она-то, может, и успокоится, забудет! — вскричал, вскакивая, Миху.— Одного забудет, другого полюбит. А люди-то никогда такого не забывают!

Он закрыл лицо руками, сел, нахохлившись, сидел и молчал. Помолчав, вдруг поднялся, выпрямился и сказал тихо, но требовательно:

— Позови дочь!

— Миху! — вскрикнула вконец перепуганная Сафта, прочитав в его лице жестокую решимость.

— Приведи ее сюда! А то я сам за ней пойду и приведу на виду у всего дома! — веско заявил Миху.

Сафта ушла, а Миху так и остался сидеть неподвижно за столом, обхватив голову руками и уставившись в одну точку. Марта вошла вслед за матерью, бледная, но спокойная.

— Марта,— произнес он отчужденно и глухо.—

Уж и не знаю, как с тобой разговаривать. Что ж ты безобразишь и своевольничаешь?

— Нет, отец,— ответила девушка.

— Как же нет? Ежели хочешь выйти по своей воле и встречаешься с кем хочешь?

— Не собираюсь я замуж, отец,— твердо отвечала Марта.

— А зачем же ты с ним, подлецом, встречаешься? — вскинулся на нее, потеряв терпение, Мihu.

Марта задрожала всем телом, щеки у нее вспыхнули, глаза загорелись, губы дрогнули, она сделала шаг вперед и холодно ответила:

— Отец! Не называйте его подлецом, вы меня обижаете!

Она произнесла это с таким чувством, что Мihu растерялся и не нашелся что ответить.

Марта приблизилась к нему, ткнула лбом ему в плечо и руку на него положила.

— Не тревожьтесь, отец, не думайте об этом. Я его больше не увижу, хотя и не забуду вовек, и никогда вы больше о нем от меня не услышите. Он ушел навсегда и не вернется. Но если бы вы хотели, если бы вы его знали, то переменили бы свое мнение о нем, потому что он самый лучший на свете и не тосковать о нем невозможно. Если бы вы, не я, а вы сами повидали его разок... а там ваша воля, выдавайте меня за кого хотите, я противиться не стану...

— Ласточка ты моя,— растроганно произнес Мihu.— Лучше ни тебе, ни мне не видать его. Сердце у меня разрывается от боли, когда ты говоришь о нем.

— Я ведь сказала, отец, как вы решите, так и будет! — твердо повторила Марта и вышла из комнаты, а Сафта поспешила за ней.

Мihu опять уселся за стол и долго просидел так, обхватив голову руками. Трудно передать, что творилось у него на душе. Казалось, жизнь его сломалась; все то, что происходило за последние дни, совершенно выбило его из колеи, и он сам запутался и не знал, что же теперь ему делать и как быть. Он не сомневался, что спустя какое-то время Марта забудет своего пастуха и утешится, но ему не хотелось быть причиной ее, пусть недолгих, страданий. Но поступить иначе он не мог, что бы сказали люди? Всю жизнь,— уж так он привык,— люди говорили о нем только хорошее, так уж повелось искони, от отца, от деда, что люди об их

семействе отзывались всегда с почтением и даже преклонением, каково же было бы вдруг испоганить свое доброе имя, отдать его на поругание злым языкам.

Вдруг он потерял лоб, будто его осенила светлая мысль, и он проговорил вслух, хотя и с опаской:

— А какое мне дело до людской молвы?

Высказав такие слова, он будто преобразился: это уже был не прежний Миху, боязливый и осторожный, зависимый от людей, это был иной, уверенный в себе, сильный, твердый человек, которому ни до кого не было никакого дела.

Вдруг со двора донесся лай собак.

Миху вышел на крыльцо.

Во двор к нему входили Симион и Митря.

Хозяин встретил их как и подобает встречать знатных гостей, ввел в дом, усадил за стол и спросил, что привело их и с хорошими ли вестями они пожаловали.

— Чтобы не вихлять туда-сюда,— ответил Митря,— скажу напрямик, что пришли мы из-за тех дурных слов, что наговорили вы с Козьмой друг дружке при встрече.

— То пустяки, не достойные упоминания,— сухо возразил Миху.

— Нет уж, не скажи,— продолжал Митря.— Потому как первопричина той ссоры все же были дети, хотя вины ни на ком из вас нету. Однако по селу слух прошел, будто не хотите вы выдавать свою дочь из дому...

— То правда,— согласился Миху.— Тяжко нам расставаться с единственной любимицей нашей.

— Вот и сам говоришь, тяжело,— как бы обрадовался Митря,— а потому как ты есть покуда единственный полный хозяин своей дочке, то волен ты поступать, как тебе вздумается... Но в селе поговаривают, будто и дочь твоя не согласна выходить замуж, потому как хочешь ты выдавать супротив ее воли, а она у тебя единственная и любимица...

— И то правда,— опять согласился Миху, довольный, что разговор принимает такой оборот.— Мы ей желаем полного счастья.

— Поговаривают в селе еще,— несколько осторожней заговорил Митря,— будто решил ты взять все же зятя к себе в дом и построить ему отдельную хату близ своей, потому как не ищешь ты ни чужого богатства, ни чужой почести, и всего у тебя в доме довольно...

— То правда,— опять согласился Миху, слегка оторопев от неожиданности и слегка загордившись столь лестным о себе отзывом.— Господу ли не знать, кому счастье дать? От господа счастье!

— Счастье от господа! — согласился и Симион.

— Вот и решил Козьма,— заключил свою мысль Митря,— что обиды тебе никакой не будет, коли вернет он тебе данное тобой слово и попросит у тебя от всей души прощения, как принято среди добрых людей. И останетесь вы оба в чести и уважении друг к дружке и у людей, как было прежде завсегда.

Миху слегка затревожился и даже приподнялся.

— Постой, постой,— сказал он.— Хоть и по душе мне слова Козьмы, что вы передали, человек он почтенный и достойный всякой хвалы и уважения, но что-то я не пойму о каком замужестве идет речь?..

— Ах, брат Миху! — укорил его строго и даже резковато Симион.— Говорили мы с тобой откровенно, и тебе бы надо говорить, не таясь, как на духу. Нехорошо получается. Неуважение выходит дому, от которого мы сюда явились. Нехорошо. Слава богу, не вымерло у нас еще село. Знают соседи, что у соседей делается, живем мы на виду друг у дружки. Хвалят люди твою щедрость, говорят, что пришелся тебе Мирон по нраву, мало что простой пастух, и решил ты выдать за него Марту. А когда ты юлишь да увертываешься, выходит, что вся вина за несбывшееся обручение с Тодерике ложится на Козьму. Несправедливо так!

— Господь меня упаси! — воскликнул Миху.— Господь упаси валить на Козьму вину. Я готов перед всем светом признать, сами мы виноваты, потому как жалеем дочку замуж выдавать, а только на селе лишнее болтают о том, чего и в помине нету. Не было у нас решения выдавать дочку за кого, опричь Тодерике, хотя про Мирона разговор у меня с женой был. Так и передайте, ежели кто говорить непотребное станет...

— Все ж разговор был? — переспросил Митря.

— Нынче недавно разговор и был,— покайнным голосом сознался Миху.— Но не о женитьбе, а поглядеть хотим, какой из себя этот Мирон есть, что о нем слава такая. А уж глянется ли он нам или нет, то неизвестно. На все воля господня...

— Вот оно как? — изумился, разулыбавшись, Симион.— Это дело другое. Дай тебе бог. Хороший из

него был бы зять, парень он, хотя и небогатый, но видный да обходительный, всему селу по нраву.

— А мне он неведом,— сказал Митря.— Но и я слышал про него одно хорошее.

— Я видал,— опять подтвердил Симион.— От всей души желаю тебе такого зятя! И счастья дочери!

Миху стоял, растерянный, не зная, что отвечать, и смотрел, недоумевая, то на одного, то на другого, наконец, решившись, поблагодарил за пожелания, пожал им руки и проводил до калитки, но голова у него была как в тумане, сам себя не слышал и не понимал.

Мечталось ему, чтобы кто-нибудь заглянул к нему на двор и поинтересовался, зачем приходили Митря с Симионом, но никто даже мимо двора не прошел, и Миху, вернувшись в дом, стал ходить из угла в угол, а с души будто камень свалился.

«Хорошее у него имя — Мирон,— думал, улыбаясь, Миху.— В селе болтают, будто надумал я его взять в зятя да построить ему дом около моего. И чего только не наплетут люди? Чего только не выдумают!.. А почему бы не построить дом для Марты? Марта говорит, кабы я увидел его разок, то сразу бы и полюбил, как полюбила его она. Может, и так, но не так уж скор я на решение!»

Миху подумал, что, возможно, и впрямь есть в этом парне нечто такое, что заслуживает уважения, если Марта его полюбила, да и в селе о нем с уважением говорят. Ему как бы виделось, как мастера строят уже дом, а сам он ходит вокруг да около, отдавая распоряжения, а то и, что у Марты на руках ребенок... а люди говорят, это дом, что Миху для дочери построил. И много лет спустя внуки будут говорить про это время, было это, мол, тогда, когда Миху дочери своей в приданое дом построил.

Мечты радостно согревали душу.

Миху направился было к двери, даже приоткрыл ее, чтобы сообщить всем свое решение, но приостановился и задумался.

«Нет! Нет, не время еще! Зачем торопиться? Присмотрюсь сначала, поспрошаю у людей, погляжу на него, увижу своими глазами, тогда... быть может...»

Вдруг лицо его потемнело, будто легла на него густая тень.

Привиделось ему, что стоит перед ним Козьма Флорий Казакул, смотрит с укором и горечью и словно го-

ворит: «Каждому человеку надобно родниться с людьми своего круга».

«Он прав,— думает про себя Миху,— не могу я отдавать дочь за пастуха; пусть лучше остается старой девой».

VII

Тихим и печальным сделался дом Миху, будто ушли из него и веселье, и молодость.

Сафта, трудолюбивая хозяйка, часами сживала теперь, молчаливая и задумчивая, ничего не делая, забросив все свои домашние заботы. Господь дал ей достаток, дал ей детей, и не боялась она, что останутся они голодные, без куска хлеба.

Однако Миху, хотя и был доволен своим достатком, неустанно трудился с утра до ночи, наряду с батраками, не принуждая подросших сыновей: пусть живут себе вольной жизнью, нечего им раньше срока спину гнуть, и на их век работы достанет.

Марта почти не изменилась, такая же была она добрая, красивая, ласковая, трудолюбивая, уступчивая, улыбающаяся всем, кто бы на нее ни взглянул, и все же, что-то прежнее веселое, задорное, озорное, заставлявшее всех молодостью, исчезло в ее лице. Казалось, и румянец сошел с него, щеки покрыла бледность, а на белой коже рук выступили натруженные синие вены.

О том, что было пережито, никто не заговаривал, все хранили упорное молчание, упорное и нарочитое, и эта нарочитость безмерно угнетала Миху. В глазах всех, на кого бы он ни взглянул, он читал укор себе. Под крышей собственного дома чувствовал себя чужим, а когда выходил на люди, казалось, и с ними не находил общего языка, лишился он прежнего душевного равновесия, ясности ума, чудилось ему, что люди осуждают его втайне и о чем-то умалчивают. Было бы ему легче, если бы кто-нибудь заплакал или упрекнул его открыто. Но, увы, все кругом молчали, будто окружал его заговор молчания. Ему порой хотелось, чтобы случилось что-нибудь из ряда вон, но все шло, как обычно, по накатанной колее, по заведенному порядку. И это тоже его раздражало. Он и сам не мог дать себе отчета, что его тревожит и что вызывает в нем

глухую ярость. В доме словно все переменялось, но что, и как, и отчего это произошло, он понять не мог. Сердце обливалось горечью при мысли, что никто с ним теперь не откровенничает, как прежде, что всем он стал чужим в стенах собственного дома.

Иной раз он подолгу наблюдал за кем-нибудь из домашних, потом, тяжело вздохнув, опять принимался за работу. Должны же были когда-нибудь кончиться эти затаенные обиды.

Шли дни, но в доме ничего не менялось.

День ото дня портился у Мihu характер, был он нетерпелив, сердился на всех, сам не понимал из-за чего. Он словно потерял что-то такое, к чему привык и без чего обойтись не мог, но не знал, что потеряно, где эту потерю теперь искать. У него пропал вкус к жизни, и из-за этого он лишился каждодневного покоя.

Втайне он во всем винил Козьму. Это из-за него в доме у него все пошло кувырком и творилось невесть что. Но Козьма, где он, Козьма? — а сломанная жизнь осталась и беспокоила каждодневно.

Как-то в воскресенье, вернувшись из церкви, Мihu застал Сафту, сидевшую задумчиво у окна. От неожиданности она вздрогнула; его приход почему-то испугал ее, хотя она даже не повернула к нему головы.

Мihu, не выдержав, заговорил с ней.

— Что же такое делается? — спросил он жену. — О чем ты все думаешь?

— Ни о чем не думаю, — бесстрастно ответила Сафта. — Думы как непрошенные гости приходят и как непринятые уходят. Не держатся они у меня в голове.

— Та-а-ак! — со вздохом произнес Мihu и опустил голову.

Когда он поднял ее, он заметил на глазах жены слезы.

— Сафта! — сказал он строго. — Зачем же ты меня обманываешь. Нешто я не вижу, что печалишься ты о дочери.

— А ты, словно ослеп, не видишь, какой она стала? — горестно пожаловалась жена.

— Какой была, такой и осталась, — возразил Мihu.

— Ой ли?! Все ходит, молчит, сама не своя. В лице ни кровиночки, и о нем ни слова не скажет.

Мihu нахмурился, ничего не сказал, потом вдруг, будто его осенило.

— Сафта! А может, нам и вправду оженить их, а?

— Поступай, как знаешь.

— Как знаешь! — передразнил Миху. — С вами тут с ума спятишь. Будто я не вижу, что в доме делается. Ходите, как привидения, молчите все. И год пройдет, так же будет И два пройдет... Уж лучше уступить, будь по-вашему.

— Нет, Миху! — заупрямилась жена. — Негоже по-нашему. Ты хозяин в доме, тебе и решать.

— Вот наказание! — крикнул он. — Ну! — качнул он недовольно головой. — Вот и решай тут с вами!

Ему хотелось, чтобы Сафта хоть словечком подтолкнула его, хоть намеком дала понять, как ему поступить, но она упорно молчала, будто рот у нее на замок заперли. Так они сидели каждый на своем месте, погруженные каждый в свои думы, и молчали. И это отчужденное молчание прервала Марта, позвавшая их обедать.

Тяжкий груз давил на плечи Миху, и никак не мог он сделать решительного шага ни в ту, ни в другую сторону. Если бы кто-нибудь хотя бы легким движением пособил ему, чуточку подвинул; пусть бы это был сынок младшенький или даже батрак, лишь бы кто проявил участие, кинул свое драгоценное слово на чашу застывших в равновесии весов. Но Сафта молчала как проклятая, не произносила даже своей прежней коронной фразы: «Уж не знаю, как ты поступишь, ты хозяин, а я бы на твоём месте вот как поступила...» Сафта молчала.

В душе Миху происходила борьба, тяжкая, бестолковая, и длилась она много дней и довела его чуть ли не до истощения. И вдруг в среду он решился. «Перво-наперво, — подумал он, — надо познакомиться с этим Мироном». Рано утром в четверг он, оседлав лошадь, отправился в горы якобы проверить свою отару, которую отправил на пастбище месяц тому назад.

К вечеру он вернулся, усталый, хмурый, конь был весь в мыле. Миху медленно спешился, а когда Сафта спросила, где он таскался весь день, он ответил: «Овец проверял, все хорошо».

Нашел он Миронову отару, но самого Мирона и след простыл. Ушел парень недели три назад, продав часть овец и прихватив лишь телят да бычков, а куда, зачем — неведомо, — никому он ни слова не сказал. Ушел, будто сквозь землю провалился.

И жалость одолевала Миху к дочери. Жалость и

досада на себя. Хотелось ему всегда ее радовать, да и господь его для того и создал, чтобы радовать того, кого любишь, а на деле — что получилось? К сыновьям он не был совсем привязан, и он был им чужой, и они ему как чужие.

Марта же у него ничего никогда не просила. Вот и теперь не мог ей ничего принести, даже утешения.

Еще печальнее сделался дом Миху, печальным и холодным.

VIII

Время проходит и все уносит, время врачует раны, и время приносит забвенье. Время — хозяин всему, что есть на свете.

Два года прошло с того рокового часа, когда все случилось. Время притупило память и боль притупило, но вернуть сердцу прежние надежды и радости время было не в силах. О Мироне в селе почти не заговаривали, будто забыли о нем начисто, разве что иной раз на посиделках, коротая скучные зимние вечера, кто-нибудь из ребят или девчат заводил речь о нем. Да и вспоминали его, как давно забытую легенду, рассказанную дедами или отцами. Все знали, что ушел он неведомо куда, может, бродит где-нибудь по свету, но где он и что с ним, никто не знал. Одни считали, что он завербовался в солдаты, другие уверяли, будто перешел он горы и подался в туретчину, чтобы вернуться с полным кошельком денег. Одна Марта никогда о нем не говорила, будто знала и утаивала, где он, а спрашивать у нее никто не решался, зная наперед, что не скажет, а то и так отбреет, что не зарадуешься. И в доме Миху про Мирона вроде бы забыли. Сафта и вправду перестала о нем думать, а Миху вспоминал о нем лишь тогда, когда кто-нибудь из приятелей исподволь затевал с ним разговор о Мартином замужестве и начинал нахваливать какого-нибудь очередного парня, годящегося в зятя. Миху, вспоминая, как глядела на него дочь, если заходила речь о ее замужестве, замолкал и скорей торопился домой, угрюмый и озабоченный.

Прошло еще какое-то время.

Миху построил рядом со своим другой дом, высокий и красивый на загляденье. К тому времени женился Василе, родился у него сын, и теперь с отцом жили

они соседями, двор ко двору. У Сафты появилась невестка, но ее как бы и не было, хотя они ладили. Но с внуком нянчились все: и бабушка, и мать, и тетка, все его любили и баловали. Всем успевал он задать работу, и с ним молодели они душой.

И Тодерике приспела пора жениться.

— А не говорила ли я,— хвастались друг перед другом бабы,— что он давно тайком обручился с Аникой Подарул. Только слепой мог такого не заметить.

Поговаривали, что Мihu собираются звать посаженным отцом, потому как таким знатным хозяевам надлежит быть если уж не сватями, то кумовьями. Но Козьма, говорили, не уверен, окажет ли ему честь Мihu, потому как сильно обижен он за прошлое и желания не выказывает.

Однако Мihu и всей его семье была оказана большая честь, их и в гости зазвали, и стакан вина поднесли, словом, встретили как нельзя лучше, так что грех было отказать. А уж на свадьбе мало-помалу и совсем оттаяли сердца, под вечер Сафта уже целовалась с Симиной, а ближе к полуночи Мihu, прощаясь, долго тряс руку Козьмы и говорил растроганно:

— Бывай здоров, кум! Пускай мы с тобой и не совсем кумовья, но всенепременно надо нам стать кумовьями с божьей помощью. Уж Тодерике постарается.

— Для меня это большая честь! — отвечал Козьма, выпрямляясь и расправляя гордо плечи, высокий и толстый.

Изменился дом Мihu, изменилось село, изменились люди, только Марта оставалась такой же кроткой и трудолюбивой, всегда со всеми одинаковая и ровная. Марта давно уже была такой, и все забыли, какой она была прежде задорной и веселой, все только и помнили ее тихой, почти не приметной, молчаливой, доброй, постариковски мудрой и всегда улыбчивой. Где бы она ни была, дома, в церкви, на игрище, на миру, на свадьбе, она была одинаковой — такой знали ее Мihu с Сафтой, такой знали ее и люди.

Редко она раздражалась или выходила из себя.

Хотя Мihu с некоторых пор донимал ее своей настойчивостью. Как только стал он дедушкой, казалось, появились у него и старческие замашки: постоянно говорил о своей ранней седине, постоянно ругал свою загубленную под корень жизнь и говорил, что

лишь одна у него осталась заветная мечта, и сразу же с места в галоп начинал нахваливать Марте то Лэпэда-та, сына Петри Догарула, то поповича из Бэлэшень, сына священника Никиты, то еще кого-нибудь.

С наступлением осени Марта и сама стала как будто задумчивей и печальней, искала она уединения и потеряла, казалось, душевный покой. Чаще всего, если стояли теплые и солнечные вечера, забиралась она в глубину сада, садилась на свою любимую лавочку под грушей и сиживала там часами, о чем-то грустя и вздыхая.

— Марта! — воскликнула как-то невестка Флоаря, жена Василя, застав ее в саду задумчивой и печальной. — Что ж ты все убиваешься? Губишь ты себя. Один раз человеку жить, один раз и молодым быть.

— Об чем мне убиваться? — удивленно спросила Марта. — Вроде бы не об чем.

— Ой, так ли? — засомневалась Флоаря. — А то я не вижу? Бродишь как в воду опущенная.

— Что ты!.. Какая же ты, право, выдумщица!.. — откликнулась весело Марта, но веселья ее ненадолго хватило. — Знаешь, — призналась она тут же, — сама не пойму, что со мной. Вот сижу я здесь, закрою глаза и ничего мне на свете не хочется. И так на душе хорошо, так светло. Так бы и сидела век, ни о чем не думая. Место, что ли, тут заколдованное какое, волшебное?..

Флоаря усмехнулась и плечами пожала.

— Небось о нем и мечтаешь! — выпалила она просто душно.

— Об ком это о нем? — опешила Марта, широко открыв глаза.

Но тут же догадалась, на кого намекает невестка, и, спохватившись, сказала:

— Ах, вот ты о ком, — усмехнулась и она. — Иной раз и вспоминаю, но редко... Сколько лет прошло, сколько лет... будто и не было вовсе...

— Ах, Марта, Марта! Коли так, отчего ж ты замуж не идешь? — сочувственно заговорила она.

— Думаешь, из-за него? — испуганно спросила Марта.

— А то из-за кого же?

— Ох, не трави мне душу, давай поговорим о чем другом, — отмахнулась Марта. — Ты пойми, мне так спокойней... ни о каком замужестве и думать не хочется.

Флоаря опять пожала плечами, но, взглянув в лицо Марте, не решилась продолжать столь болезненный для

золовки разговор. Они еще поболтали о пустяках и вместе дружно вернулись во двор.

В ту ночь Марта долго не могла уснуть, все думала о Мироне. Где он теперь? Что с ним? Вспоминает ли о ней или забыл совсем? Но и эти мысли, такие пламенные когда-то, заставлявшие кровь кипеть в жилах, а сердце дрожать от волнения, сейчас вызвали лишь тихий, едва уловимый трепет в душе, похожий на трепет тополиной листвы при дуновении слабого ветерка... Лежа без сна, Марта блаженно закрыла глаза, вызывая в памяти образ возлюбленного, но лицо его забылось, да и сам он будто растворился в памяти, помнился ей лишь тот восторг и счастье, которые вызывали его прикосновения, его слова, его нежный обволакивающий взгляд; она чуть не плакала от обиды, ей становилось страшно при мысли, что и эти жалкие крохи изгладятся из памяти, не оставив по себе и следа, — и сердце ее превратится в глухую, безмолвную, безответную степь, опустошенную всепожирающим временем.

В воскресенье, вернувшись из церкви, Марта наскоро отобедала и ушла за околицу с девушками. Она пробыла там дотемна, а возвращаясь домой, задержалась с подружками возле Воронова колодца, присела на сруб, где когда-то сидела с Мироном.

— А помните, девчата, как Мирон играл нам на флуере? — спросила она, впервые за два с лишним года упомянув его имя.

Домой она вернулась, когда зажигали огни.

В доме были гости.

Еще в четверг давний отцовский знакомый Пинтя Дубэул, ехавший на базар продавать волов, задержался у них со своим приятелем Мирчей Вэтавулом. Вот и теперь, на обратном пути, заехали они к Миху, чтобы переночевать и утром пораньше отправиться дальше, потому что путь предстоял во весь день, шутка ли сказать, до самой Валя Сэратэ, через горы.

Но Марта понимала, что задержка вышла не только из-за этого. Еще в пятницу мать завела с дочерью разговор о Мирче, какой он хороший, да обходительный, да грамотный человек, хотя и несчастный, потому как в прошлом году умерли у него жена и двое детей.

Сели ужинать по-праздничному. Словоохотливый и расторопный Пинтя умело вел беседу то с Миху, то с Сафтой или Василе, при этом не забывал и Марту с Флоарей; он много шутил, сравнивал свое село с их селом,

говорил «а у нас», «а у вас» и кончил тем, что признался, мол, будь он помоложе да будь он человек несемейный, враз бы присватал себе невесту, никуда бы не уезжал...

Мирча же, тридцатилетний, низкорослый и широкоплечий мужчина, с толстыми усами, большеглазый и коротконосый, сидел, откинувшись на спинку стула, и смущенно, виновато улыбался и помалкивал.

Сафта с Флоарей весело хохотали, слушая Пинтю, Василе держался в стороне, давая понять, что все происходящее его не касается, а Миху беспокойно ерзал на стуле и поминутно посматривал на дочь. Марта, как всегда, была ласковой, кроткой, улыбчивой, пожалуй, улыбчивей, чем когда-либо.

Поужинав, гости поднялись из-за стола. Сафта с Флоарей пошли готовить им постель, увязался за ними и Василе; Миху остался наедине с дочерью. Против обыкновения она не убежала, а терпеливо ждала, что отец ей скажет.

Миху мялся, не зная с чего начать, и думал, может, вовсе не стоит затевать никчемный разговор.

— Ну, что скажешь, Марта? — спросил он, пересилив неохоту.

— А что говорить? — спросила девушка в свой черед. — Как ни времени, а рано или поздно все одно придется...

— Так-то оно так... — согласился Миху и, помолчав, махнул рукой и вышел вон.

Марта стояла не в силах сдвинуться с места. Из глаз у нее хлынули потоком слезы, и она, рыдая, размазывала их по щекам.

— Господи! Сколько времени прошло! Сколько времени! — бормотала она.

IX

На Сэратэ готовились к осенней ярмарке. В эту пору сюда съезжались люди из тридевятых царств, тридесятих государств, чтобы принять участие в ярмарке.

К дню святого Димитрия с гор и из низин, из лесов и степей, отовсюду, где только имеется жильё человеческое, поспешал народ, кто купить, кто продать, кто прикарманить чужое, а кто просто так поглазеть на других и себя показать, словом, весело провести время — ярмарка есть ярмарка!

Сэрятинская ярмарка начиналась на берегу маленькой речушки, разделявшей огромную равнину, изборорожденную проселками, из которых одни уводили в горы, другие огибали их у подножия. Здесь на подступах к горам еще с четверга стали располагаться пестрые лавчонки торговцев всех мастей, палатки трактирщиков, украшенные броскими вывесками и многоцветными флажками, телеги мужиков с разными товарами. А с пятницы к подножию большой горы, где обособилась ярмарка, стали стекаться люди со всех сторон, по всем дорогам и тропкам.

Ярмарка — это ведь праздник! Праздник веселья и встреч, шутовства и перебранок, плясок и пения; сюда стремятся все, от седовласых стариков до безусых мальцов, девки, молодницы, бабы, расфуфыренные как на свадьбу, ловкие и бравые парни, кто пехом, кто верхом. Шум, гам, смех стоял невообразимый.

К воскресенью народу набралось видимо-невидимо, а людской поток все не убывал, притекал с долин и гор.

На самом краю ярмарки, у подножия горы, еще с субботнего вечера остановился воз, запряженный четверьмя волами и навьюченный сеном. Утром в воскресенье сено уже лежало, переброшенное на дышло, а вокруг него расположились четыре жующих вола с пятью бычками.

На возу остались лишь лемех для плуга, несколько кос, мельничный жернов и несколько вил и грабель без черенков.

На возу сидел хозяин всего этого добра, пастух Мирон, и то и дело посматривал на дорогу, что уходила за гору, где находилось село.

От кого-то Мирон узнал, что дня четыре назад обручилась Марта с Мирчей Вэтавулом и нынче собирается с родителями на ярмарку за свадебными подарками, и захотелось Мирону хоть одним глазком взглянуть на Марту, когда еще такой удачный случай выдастся.

Время шло, солнце поднималось все выше, а брички Сафтиного Миху было не видать: уж не передумал ли он?

Неспокойно было Мирону, усталое лицо его выражало крайнее напряжение, тревожным взглядом смотрел он то в одну сторону, то в другую. Потом поднялся на ноги, стоя во весь рост, всматривался в дорогу, хотя она и так была как на ладони. Бричка не появлялась.

Узкие, облегающие шерстяные штаны, длинная полотняная почти до колен рубаха, расшитая по низу желтой шелковой ниткой и перетянутая в талии узким ремненным поясом, из-за которого торчала рукоять ножа с широким лезвием; торчащие из голубой безрукавки с пятью плоскими латунными пуговицами широченные рукава рубахи, расшитые по краям желтым шелком, широкополая шляпа, заломленная на стриженный затылок и открывавшая широкий, гладкий, покатым лоб — все это придавало еще большую суровость его умным и внимательным глазам. От нетерпения он иногда нервно прихватывал нижней губой кончик густого уса, поглаживал и тут же отпускал, потом опять прихватывал.

Марта выходила замуж! А почему же ей не выходить? Вполне привычное и естественное дело девушке выходить замуж. Так уж повелось на свете, что парни женятся, а девушки выходят замуж... И почему ему вдруг втемяшилось в голову повидать ее? Зачем? Он и сам не знал — зачем. Хотелось — и все тут!

Однако не в ту сторону был обращен его пламенный взгляд. Мihu с семейством поначалу заехал к Пинте Дубэулу и потому подкатил к ярмарке со стороны леса. Обе брички, выехав на опушку, остановились на стоянку в тени высокого граба. Мihu с Пинтей молодцевато спрыгнули на сухую траву, а женщины неторопливо спешили, отряхнув свои юбки от пыли и охорашиваясь.

Спешились, завели обычные в таких случаях разговоры про то, как много собралось на ярмарку людей, да какое славное место выбрали, да хорошо, что погода стоит сухая и теплая, и так далее и так далее...

— Вы, бабоньки, ступайте сами по себе, — предложил Мihu. — Поглядите на то, что вам по нраву, а мы с Пинтей пойдем сами по себе, а встретимся опосля тут же, под деревом.

Мihu с Пинтей тут же и отправились, а бабы еще остались охорашиваться да приводить себя в порядок. Пинтя втайне надеялся встретиться на ярмарке с Мирчей, хотя было оговорено, что вечером они и так сойдутся в доме Мihu, но Мирча был где-то здесь и Пинтя надеялся его разыскать.

Они, не торопясь, вклинились в толчею. Не так-то просто было продвигаться в толпе, где на каждом шагу встречались знакомые, родня, близкие приятели; с од-

ними просто здоровались, с другими обменивались двумя-тремя фразами, а с третьими почитали за честь и своим долгом потолковать по душам, и на это уходило немало времени. Пинтя пошучивал да посмеивался, рассказывая всем и каждому, зачем Миху прибыл на ярмарку, а Миху, хотя и был не в духе, улыбался, раскланивался и принимал поздравления, как подобает доброму человеку.

Так и шли они от ряда к ряду, останавливаясь возле мешков с пшеницей, разглядывая откормленных волов, любуясь красавцами конями, перебирая руками всякие деревянные и другие поделки,— и так дошли до самого края ярмарки.

Пинтя все оглядывался по сторонам в поисках Мирчи, а Миху остановился возле Миронова воза и стал разглядывать трехлеток-бычков.

— Хорошая порода! — одобрил он товар и многозначительно поглядел на хозяина. — Сколько просишь-то?

— Не продаю, — хмуро ответил МIRON.

— А сам-то сколько платил? — поинтересовался Миху, понимая, что раз человек не продает, то должен был их купить.

— Не покупал, не знаю, — так же неохотно ответил МIRON.

Миху удивленно пожал плечами и хотел уйти прочь, но МIRON усовестился, прыгнул с воза наземь прямо перед оторопевшим Миху.

— Я их сам вырастил, мои это бычки, — улыбаясь, стал пояснять он, стараясь загладить свою вину перед столь почтенным стариком. — Но такому почтенному хозяину могу и продать.

Миху тоже заулыбался.

— Всех не куплю, да ты и не назвал свою цену, — напомнил он и еще раз похвалил: — Хороши бычки! А откуда прибыл-то?

— Из Вадул Рэу, — ответил МIRON.

— Из такой-то дали?! — удивился Пинтя и поцокал языком. — Из самой степи? А породы они вроде бы горной...

— Так оно и есть, — подтвердил МIRON. — В горах я ее вывел, а уж потом в степь подался.

— Таких и продавать жалко... Удачи тебе, сынок! — сказал Миху и вместе с Пинтей отправился дальше по базару. МIRON сел опять на свой воз, поглядел им

вслед, и Миху почему-то обернулся и поглядел на него.

И вдруг сердце Мирона будто кто булавкой кольнул. Что-то знакомое почудилось ему во взгляде старика, в посадке головы, да и во всем облике. Вспомнилось Мирону сразу то село, где проводил он года два тому назад время, может быть, лучшее время в своей жизни: в том селе в церкви, да и на улице он часто встречал этого человека.

«Да это же Миху!» — чуть не вскрикнул он и вздохнул горестно. — «Как поседел, как состарился человек, не сразу и узнаешь!»

Выходит, и Марта была где-то здесь рядышком, а Мирон от усердия ее и проворонил. Может, ходит она давно вокруг него, да поглядывает на него издали, а ему и невдомек.

Холодный пот прошиб его от такой догадки, он готов был тут же запрячь волов и бежать не оглядываясь. Как — бежать? Разве для того он проделал такой дальний путь? Нет, он должен, он обязан повидать Марту. Мирон поднялся на возу во весь рост и посмотрел через головы сотен людей в ту сторону, куда ни разу за все время так и не взглянул. И вдруг застыл, похолодел, будто окатили его ведром воды на морозе: впереди шагах в ста от себя он увидел Марту.

Она шла своей обычной легкой неторопливой походкой, высокая, стройная, но голову держала не прямо, как прежде, а чуть опустив, будто высматривала что-то у себя под ногами. Волосы, прическа, все было прежнее, только ожерелье на шее не столь яркое, как бывало, да и юбка с кофточкой, не так пестро расшита синей и красной ниткой. И все же это была Марта, прежняя Марта!

Он смотрел на нее с грустью, почти с сожалением, лицо его омрачилось, словно горечь коснулась его сердца.

Вдруг Марта исчезла, затерявшись в толпе, Мирон испугался: потерять ее после стольких ожиданий, потерять так нелепо, глупо, нет, такого он не мог допустить. С быстротой молнии прыгнул он с воза и устремился туда, где ее только что видел.

На его счастье, она остановилась поглядеть, как танцуют хору. Мирон настиг ее, но не стал показываться ей на глаза, а остановился поодаль, прячась за спины людей, и оттуда разглядывал ее.

Он всматривался в черты ее бледного, усталого лица, в большие печальные, если не сказать скорбные, глаза, тонкую с прозрачной кожей руку, беспрестанно поправлявшую волосы; увидел две складки в уголках губ — раньше их не было.

«Неживая она какая-то сделалась», — подумал он с тоской.

Но несмотря на это, она была такой же красивой, как прежде, даже, пожалуй, еще красивей. Глаза ее, внимательные и печальные, смотрели так проникновенно, так мудро... Он собирался только разок, мельком, тайком взглянуть на нее, и тут же уйти, уйти навсегда; лишь безмолвно, не обнаруживая себя, распрощаться с ней и исчезнуть, но не мог оторвать от нее глаз, не мог на нее наглядеться. Он испытывал какое-то мучительное наслаждение, разглядывая ее лицо, — и это было счастье. Теперь ему хотелось, чтобы это счастье длилось вечно, никогда не кончаясь.

Но не прятаться же было за спинами людей, не ловить свое счастье украдкой, воровски, трусливо, унижительно, — он смело вышел вперед, растолкал людей и очутился с ней лицом к лицу: она должна его видеть так же, как он видит ее!

Их взгляды встретились. Нет, сцепились, слились — и разъять их было уже невозможно. Оба будто окаменели, глядя друг на друга, забыв, что они не одни, что кругом люди — никого и ничего они не замечали.

Это было настоящее чудо. Давно омертвевшие сердца будто ожили, затеплился, оживев, и разум, весь разрушенный мир, казалось, стал возрождаться из руин.

А ведь не было произнесено ни слова, все сказалось лишь в одном проникновенном взгляде: им хотелось тут же уединиться, обнять друг друга, высказать все, что наболело на душе, может быть, поплакать, пожаловаться на предстоящую по вине людей новую горькую разлуку.

Марта мгновенно поняла, что выражал этот взгляд, не медля ни минуты, она сказала Сафте: «Я сейчас, мама!» и направилась в конец ярмарки, миновала граб, где приютились две брички, и углубилась в лес.

И Мирон не заставил себя ждать, решительно, — пусть бы кто только попробовал ему помешать, он по-

ложил ладонь на рукоять торчавшего за поясом ножа,— и торопливо направился вслед за девушкой.

Марта вошла в лес и остановилась с замирающим сердцем, поджидая его. Увидев его среди деревьев, она словно испугалась, ноги сами собой стали подкашиваться, даже земля под ногами будто сделалась мягкой и вязкой. Мирон подошел к девушке и остановился в двух шагах, устремил на нее пристальный, горящий взор. Марта выпрямилась, сделала над собой усилие и вдруг ни с того ни с сего зашлась плачем. Ком подкатил у Мирона к горлу, глаза заблестели слезами, Марта сделалась ему будто сквозь дымку.

— Не плачь, Марта, голубушка,— попросил он.

— Ах, знал бы ты, сколько я выстрадала! — пожаловалась девушка.

Он подошел, взял ее за руки, разнял и внимательно заглянул ей в лицо, мокрое от слез. Бережно, бережно привлек к себе, обнял правой рукой и прижал ее голову к своей груди. Так и стояли они обнявшись неведомо сколько, не смея шелохнуться, боясь разрушить охватившее обоих блаженство.

Марта уже не плакала, она стояла тихая, спокойная, готовая подчиниться любому его желанию, готовая исчезнуть в нем.

Он ласково взял в ладони ее лицо.

— Глупенькая, мне ли жилось легко? — молвил он. — Думаешь, я не мучался? Ни одной минутки не забывал я о тебе, места себе не находил, изнывал от тоски. А сердце болело так, будто нож у меня торчал в груди. Я даже привык к этой боли, боялся ее лишиться, кажись, исчезни моя боль, я бы тут же и умер, потому как осталась бы в сердце пустота. Но больше я не хочу мучаться, Марта! — заявил он с мужской решительностью. — Больше этому не бывать!

— Да, Мирон, ты прав! С этим надо покончить! — согласилась Марта и жалобливо улыбнулась.

Мирон опять схватил ее за плечи, крепко обнял.

— Марта! Убежим! Убежим, радость моя! Чтоб никто нас вовек не нашел!

Марта вздрогнула, удивленно, испуганно взглянула на него и медленно покачала головой.

— Нет, Мирон! Так нельзя! — сказала она раздумчиво. — Лучше умереть!

— Значит, тебе замуж хочется? Замуж?! Да? — вскричал он в бешенстве.

— Нет! Что ты, милый! — она гордо вскинула голову. — Я смерти хочу!

Она смотрела с такой отчаянной решимостью, что, не выдержав, опять залилась слезами. И бросившись к нему, крепко обняла.

— Убей меня! Прошу тебя! Убей меня, Мирон! — кричала она, рыдая. — Делай со мной что хочешь! Мне ничего не страшно!

— Голубушка, какая же ты красивая! — произнес он восторженно и, опять взяв в ладони ее лицо, заглянул в глаза.

И вдруг его будто осенило, он быстро схватил ее за руку и потащил прочь из леса.

— Идем, Марта! Идем! — кричал он упирающейся девушке.

— Куда ты меня тащишь? — испуганно лепетала она.

— Идем! Не бойся! — повторял он и не отпускал ее руку. — Где твой отец?

Марта остановилась, тихонько отняла руку.

— Да, ты правильно решил, Мирон, — сказала она. — Отпусти меня, я сама пойду.

Они вышли из леса, пошли к грабу, где стояли брички. Миху с Сафтой и Пинтя с женой давно были тут и уже начинали тревожиться, потому что пора было ехать домой, там мог дожидаться Мирча, а Марта куда-то запропастилась.

— Да вот и она! — обрадовалась Сафта, и бросилась ей навстречу, и вдруг замерла на полпути, будто ее жгутом приторочило к земле: рядом с дочерью стоял какой-то незнакомый высокий, широкоплечий парень, с мужественным и прекрасным лицом.

«Мирон!» — определила сразу Сафта и не могла больше произнести ни слова.

Миху тоже бросился навстречу дочери и тоже остановился в недоумении.

Рядом с Мартой был тот самый парень, у которого он совсем недавно торговал бычков. Парень был не местный, пришел он из далеких степей, каким же образом мог он быть знаком Марте? Тут было о чем поразмыслить.

Марта подошла к отцу, бледное и как будто слегка испуганное лицо ее выражало решимость, она старалась говорить спокойно.

— Это Мирон! — объявила она.

Мирон кивнул и так и остался стоять, опустив голову, выражая тем и покорность, и согласие. Стоял он молча перед отцом Марты, перед этим столь рано составившимся человеком.

— Вот и хорошо, вот и хорошо,— растерянно пробормотал Мihu, сжав руки и поглядывая то на Марту, то на Мирона, то на Сафту, казалось, пришедшую наконец в себя и выразительно глядевшую на мужа. Только Пинтя стоял на том же месте поодаль и ошарашенно хлопал глазами, не понимая, откуда взялся этот степняк-парень и какое отношение он имеет к Марте.

— Дядя Мihu,— прервал тягостное молчание Мирон.— Вы знаете, я люблю Марту. Отдайте ее мне в жены.

— В жены? — еще больше испугался Мihu.— Что ты, Мирон. Сколько тебя не было, пастух Мирон, ушел ты и никому не сказал куда... Где тебя было искать?.. Как же просишь ты Марту в жены, если она помолвлена. Никак нельзя...

— Отец! — в отчаянии вскричала Марта.— Тебе решать! Жить нам или умереть! Решай! От твоего слова все зависит!

— Мihu! — взмолилась и Сафта.— Вспомни, сколько мы выстрадали! Вспомни, как жили все эти годы!

Мihu стоял ошарашенный, не зная на что решиться.

Пинтя понял, в чем дело, он решительно положил руку на плечо Мihu.

— Брат Мihu! — проникновенно заговорил он.— Не поддавайся уговорам баб. Марта обручена с Мирчей и обратного хода теперь нет. Ты дал слово. Как же так вот ни с того ни с сего отказываться? Навек обесчестишь себя. Подумай, что люди скажут! Перед всей ярмаркой опозоришься!

Мihu опустил голову, задумался, потом поднял ее, взглянул на Пинтю и усмехнулся. Что происходило у него в мозгу за это время, и отгадать невозможно.

— Э-эх! Пускай опозорюсь! — решительно заявил он.— Перед ярмаркой! Перед всем миром! Пускай! — По мере того, как он говорил, голос его креп.— Что мне на людей оглядываться? Одна у меня дочь, и никто мне не указ, лишь бы ей хорошо было!

Он подошел к Мирону, взял его за руку и соединил с Мариной рукой.

— Бери ее, МIRON! Бери, сынок, и прости за все!

У Мирона зачесались глаза, в порыве благодарности он схватил руку старика и прикоснулся к ней лбом.

— Ну, не говорила ли я, чем дело кончится? — подбоченься, спрашивала у сельских шепотуний Флоаря Чиукура, когда узнала, что быть на селе свадьбе.

ПРОПАВШАЯ ЖИЗНЬ

I

Гудит, свистит, неистовствует северо-восточный ветер, раскручивая и швыряя во все стороны хлопья мокрого слепящего снега. Все покрылось сверкающей ледяной коркой: стены и окна домов, оголенные стволы деревьев, плетни и загородки.

По дорожкам церковного сада, по площади перед храмом, по улицам и закоулкам, кутаясь от пронизывающего ветра, торопятся люди, кто в пролетках, кто пешком — все спешат в теплые, уютные уголки.

К вечеру пурга усиливается: разгулявшийся ветер, словно вырвавшись на свободу, крепнет и свирепеет. Извозчики один за другим выбираются из прижавшейся в саду корчмы, в которой пережидали ненастье, бросаются в свои повозки, трогают вожжи — и каждый направляется к себе домой.

В конце концов, остается лишь одна пролетка и один извозчик: старик Мэриан.

Вот уже почти два часа как он вернулся сюда и спрятался от ветра, притулился к пролетке. Вначале думал заглянуть в трактир, но он не пьет, а без нужды заходить не хотелось. Обветшалый зипун, кэчула, жидкие, выбившиеся из-под нее волосы и длинные усы запорошены мокрым снегом, но он стоит, прижавшись к пролетке, спокойный, с отрешенным и безмятежным выражением лица. Словно именно это и приносит ему удовлетворение.

Уже давно зажглись фонари, а старик все так же неотрывно следит за тем, как ветер играет со светящимися снежинками, как подхватывает и раздувает игривую искру, будто силясь вырвать и загасить. Вот уже почти затушен фонарь, остается только зернышко света... но оно вновь, упорствуя, ширится и растягивается. Старик Мэриан продолжает пристально наблюдать, на глазах у него выступили слезы, они замерзают на ресницах. Стало совсем темно, но он продолжает всматриваться в одну и ту же точку, словно пытаясь уяснить себе тайну жизни в игре фонарного огня.

Наконец он шевельнулся. Спокойная улыбка тронула его губы.

— Э-ге-ге! — говорит он. — Ветер-то дует... дует, но погасить огонь не может.

В это время Кырлан, почувствовав, что его хозяин шевельнулся, стянул попону с ушей, поднял голову и фыркнул.

— Бедная скотина! — произнес старик, — даже ты был рожден не в добрый час.

Сказав это, он подошел к коню, почесал ему за ушами, стянул попону, швырнул ее в пролетку, затем забрался в нее сам и поехал домой.

II

Дом старика стоял неподалеку... Как раз за скотным двором, в двух шагах справа от Каля Мошилор. Просторный двор, посередине его дом, от которого до улицы тянутся оголенные садовые посадки, сбоку сараюшка... Все кругом сникло, обветшало, как на заброшенном пустынном островке. Старик въехал в ворота, скрипевшие ржавыми петлями. Опираясь о стенку сарая, вылез из пролетки, распряг коня и подтолкнул его. Кырлан, тихонько заржав, остановился перед дверями конюшни.

— Постой, приятель! — сказал старик, не выпуская сбруи из рук. — Всему свое время.

В конюшне находился еще один конь, и пустовали два стойла. Дремавший там парень при виде Мэриана встрепенулся ото сна.

— Добрый вечер, Костан! — поздоровался старик. — Как дела? Удачный ли денек выпал сегодня?

— Все во власти божьей, дедушка Мэриан, и хорошие дни и плохие... — отвечал парень, торопясь принять хомут из рук старика.

Однако тот отмахнулся и сам, перехватив упряжь, собирался повесить ее на гвоздь, что был прибит справа от входа. Но там уже висел другой хомут. Мэриан с упреком посмотрел на Костана.

— Опять ты повесил свою сбрую на чужое место! — добродушно проворчал он. — Плохой хозяин выйдет из тебя! У кого нет твердых привычек, кто не держится своей стороны, тот попадает на плохую дорогу.

— Ну вот! — заторопился парень, перевешивая упряжь в другое место. — Опять я забыл! Просто опять этот гвоздь попался мне на глаза...

— И я так подумал, что он попался тебе на глаза, — сказал старик. — Но в мире не так все просто. Надобно об этом помнить и не всегда тянуться за вещами, которые попадают на глаза.

Костану хотелось проявить заботу о Кырлане, помочь старику. Но он давно был предупрежден, что Кырлан признает только одного хозяина.

В то время, как старик возился с конем, парень нетерпеливо переминался возле него с ноги на ногу. И в этот вечер, как и прежде, его вновь охватывали какая-то боязливость и досада. По милости Мэриана, его приютили в этой конюшне, и ему хотелось чем-нибудь за это отслужить. Но сколько он ни пытался что-либо сделать, старик останавливал его ласковыми, но решительными словами, так что Костан не смел без спроса переложить даже соломинку с места на место, и сейчас стоял как на иголках.

В этот вечер старик был еще более замкнутым, чем обычно. Делая свое дело, он лишь изредка ронял какие-то слова Кырлану и еще реже Костану — а парень все мучился, спрашивая себя, о чем же думает старик.

— Дедушка Мэриан! — окликнул он, увидя, что тот собирается уйти.

— Что, Костан?

Парень с трудом подыскивал слова, чтобы выразить свое намерение.

— Хотел сказать тебе, — выдавил он наконец, — что больше не вернусь сюда.

— Не вернешься? Почему же?

Костан потупился, ему нелегко было сделать это признание, тревожащее душу.

— Дедушка! — выговорил он наконец. — Почему ты не разрешаешь мне заботиться о Кырлане?

Старик обхватил паренька и положил ему руки на плечи.

— О-хо-хо! Как тебе сказать, внучек? — тяжело вздохнул он. — Есть у меня давние привычки. Сорок один год я возвращаюсь этой дорогой... Что же ты хочешь, чтобы я свернул с нее? Бедная моя седая головушка. Что с ней будет, если не останется заботы даже о Кырлане? Вот видишь, — он показал на загород-

ку перед лошадьми,— здесь место для четырех коней. Разве было бы не грешно, если бы остался всего один? Присядь-ка лучше сюда. Я знал твоего отца. Вместе с ним приехали из Ардяла. Мы были друзьями...

Голос старика задрожал:

— Он вернулся к своей нищете, а я остался, чтобы купить эту конюшню и этот дом. Работал я каждый день, без отдыха, копейку откладывал к копейке, и вот видишь... в конюшне гуляет ветер, и если бы не было тебя с твоим конем, Кырлан давно перестал бы есть. Оставайся здесь в утешение моей старости. Но после того, как накопишь денег,— непременно возвращайся к себе домой, потому как этот мир не для нас с тобой.

С этими словами старик вышел из конюшни и неторопливо поплелся к дому.

III

Дом старого Мэриана был большой. Крыльцо возвышалось на шести опорных столбах, искусно отделанных по старинному обычаю. Когда-то это были просторные сени с двумя дверьми слева и справа и одной в глубине. В сенях было сумрачно, из комнат сюда не доносилось никакого шума. Справа устроен отдельный вход на крытый балкон. И оттуда из замочной скважины этой двери пробивался пучок света. На этот светлый луч и направился старик.

Комната наверху была большая, с тремя окнами,— двумя в глубине и одним справа. Мебель добротная, хорошо подобранная и аккуратно расставленная. Полы застланы коврами; занавески, кружева, покрывала — все словно только что вытаснено из сундуков.

У левой стенки стояла кровать, застланная крестьянским ковром, а рядом примкнут большой сундук, расписанный цветными узорами, так не гармонировавшими со всей обстановкой.

Севаста, дочь старика, сидела за маленьким столом справа у окна. Столик завален шерстью и нанизанными на тонкую проволоку искусственными цветами. Сейчас она заканчивала голубка, у которого не хватало только крыльев,

На окошке, обложкой вверх, лежала открытая книга. Лучи от лампы бросают на Севасту слабый мер-

цающий свет, отчего ее полное лицо и ловкие оголенные руки кажутся словно вылепленными из серого полированного камня. Лицо бледное, темно-синие вены четко проступают на кистях натруженных рук. Поглощенная работой, она непрестанно покусывает тонкие, резко очерченные губы; время от времени вскидывает большие, сверкающие глаза на окно, потом снова опускает их. Наконец, заслышав шаги старика, откладывает работу и прячет лицо в ладони, как будто хочет охладить горящие щеки.

Когда же поднимает лицо, на щеках остаются глубокие синие полосы.

— Добрый вечер, Севаста,— ласково говорит старик, направляясь к своей постели, сбрасывает на нее кэчулу, всю залепленную снегом и льдом.

— Добрый вечер, тятя,— отвечает дочь, не поднимая головы.

— Все работаешь, работаешь... это хорошо... такая уж жизнь...

Говоря это, старик останавливается у пышащей жаром печки и начинает отряхивать полы своего извозничьего зипуна.

Севаста испуганно вскрикивает.

— О господи, тятя! — не удерживается она.— Ты же так загрязнишь весь дом.

— Да-а,— протягивает он.— Только сейчас ведь заметил, что весь в снегу... Пойду вернусь во двор и все стряхну.

Старик напяливает кэчулу и выходит.

Оставшись одна, Севаста вновь прячет лицо в ладони и садится за стол.

— Вот так-то вот,— заключает старик, возвращаясь.— А поесть что-нибудь найдется?

— Сейчас приготовлю мамалыгу,— отвечает Севаста, сворачивая свою работу.

— И стаканчик ракии отыщешь?

— Сейчас сбегаю, куплю.

— Нет, не надо. Думал, что у тебя дома имеется.

— Да откуда ей взяться, тятя? — начинает волноваться Севаста.

— Думал, что где-то здесь... так считал. Погоди-ка, pošлю я лучше Костана... он только обрадуется... уж так заведено у меня в доме: стаканчик утром, два вечером, хорошо и полезно... Так готовь мамалыгу, а я спущусь к Костану.

Костан в это время, прислонившись к воротам конюшни, стоял потерянно и наблюдал за освещенным окном, надеясь увидеть в нем хотя бы отражение Севасты. Ему было тоскливо, и, сам не все еще сознавая, он чувствовал, какой трогательной необъяснимой нежностью он был охвачен. Парень томился в одиночестве, и казалось ему еще, что его словно пронизывает свистящий ветер, о котором говорил дед Мэриан.

Заметив спускающегося по лестнице и направляющегося к нему старика, он почувствовал, как его охватила дрожь, словно старик был не живым существом, а каким-то привидением, от которого не спастись.

— Как хорошо, что я тебя еще застал, что не ушел ты спать,— говорил, подходя к нему, Мэриан.— Хочу попросить тебя об одном деле, которое надо сразу сделать.

— Да я сейчас же! — ответил Костан, готовый опрометью броситься куда угодно.

— Сбегай за ракией,— продолжал старик, давая ему деньги и большой графин,— только возьми там, где сегодня утром покупала ее моя дочь, и вчера и позавчера тоже. Лишь там ее хорошо готовят! Непременно вначале спроси,— слышишь,— не забудь! И скажи, что это для меня. Объясни, что иначе не могу успокоиться и заснуть, пока не выпью этой хорошей ракии, которую приносит дочка. Купи полграфина, даже литр... Да, главное, не забудь сказать, как я велю, иначе могут налить какой-нибудь мешанины.

— Хорошо, дедушка Мэриан, скажу,— ответил Костан, удивляясь настойчивости, с которой тот его предупреждал. Потом, не мешкая, отправился куда был послан.

Старик же медленно вернулся в дом.

Севаста вышла готовить мамалыгу. Поднявшись в комнату, он остановился посреди нее, устало опустил руки и долго молчал не в состоянии поднять голову. Взглянул вверх, огляделся вокруг. В ногах ощущалась слабость, губы слегка подрагивали, а в лице затаилось выражение глубокой, затаенной печали.

Он тяжело вздохнул, покачал головой, подошел к кровати Севасты. Ощупал изголовье, перину, подушки. Ничего.

Опустился на колени, поискал в ногах под кроватью, вытащил круглый графинчик, в котором плескались остатки желтоватой ракии.

Держа в руке графинчик, задержался на нем долгим взглядом, в котором отражалась все возрастающая тяжелая боль.

Наконец поставил графинчик с ракией на столик, посмотрел на него с содроганием. Сцепив руки, замер. Глаза его налились влагой, из-под ресниц скатилось по крупной четкой слезинке.

Но только по одной. И в каждой было тяжелое страдание. Потом спокойно, как и раньше, осторожно, боязливо взял графинчик и трепетно, будто святой сосуд, поднял и спрятал на прежнее место.

— В конце концов и она должна как-то жить,— утешаясь, проговорил он.— Можно существовать и жить по-всякому, и таким образом тоже.

V

Севаста вернулась, держа в одной руке разогретую мамалыгу, в другой кусочек соленой брынзы и тонкий маленький графин с ракией, прикрытый стаканчиком. Отца она увидела возле постели, когда он прятал деньги в сундук.

Поставив мамалыгу и брынзу на стол, достала скатерку, накрыла стол. А взгляд ее скользил по всем предметам и скрытно, как-то по-воровски, ловил выражение лица старика.

— Тятя,— выговорила она наконец вполголоса,— мне нужны деньги.

— Хорошо, я дам,— ответил тот, не поднимая глаз,— а сколько надо?

— Четыре-пять лей,— нерешительно назвала она.

— Четыре-пять лей! То есть полфранка?

— Да! Я хотела купить угля. Нечем уютю разжигать.

— Ну, купи угля,— тянул слова старик,— стало быть, для уютюга уголь.

Он закрыл сундук, запер его, ключ спрятал в шкаф и поднялся с колен.

— Послушай-ка,— сказал старик, подходя к ней,— я тебе дам целый франк! — Отдавая деньги, он строго взглянул на нее.— Купи самый хороший уголь, самый

дорогой, а не дешевую мешанину.— В эти слова он вложил особый смысл, потом с горькой усмешкой сел за стол.

Севаста уместилась позади него и молчаливо уставилась в спину.

Он налил стаканчик, выпил, снова наполнил, отставив его в сторону. Проглотив несколько кусочков мамалыги, вновь налил до края. Так, молча, продолжая жевать, опустошал стаканы один за другим, дойдя до пятого.

Севаста с тревогой следила за отцом. С каждым стаканчиком черты лица его заострялись, грудь вздымалась, а глаза хмурились.

— Севаста! — выговорил он наконец.

— Что, тятя? — вздрогнула она.

— Завтра утром ты отдашь мне что-нибудь, из того, что уже сделано?

— Цветы и поднос...

— Вот и ладно. Я продам их. А какую цену просить?

— Не надо спрашивать. Она сама знает, сколько платить.

— Хорошо, Севаста! — произнес старик и снова протянул руку к графину.

Но в этот раз рука его дрожала, он оттолкнул стаканчик так, что ракия расплескалась по столу.

— Б-р-р! Убери это отсюда! — сказал он с отвращением.— Меня мутит от нее! И графин прочь! Отвратительная ракия!

Севаста вспыхнула, как пион, и поспешила к столу.

— Ты много выпил,— проговорила она,— больше, чем обычно.

— Нет, не то! — сердился старик.— Ракия дрянная, слизь какая-то. Похожа на то пойло, чем лечат лошадей.

Он продолжал ужинать, но уже молча, не произнося ни единого слова.

Севаста убрала графин и стаканчик, поставила их в сторонку, а сама заняла прежнее место.

Напряженное молчание, спокойствие, с которым отец пережевывал еду, все его поведение в этот вечер, зарождали в сердце безотчетную тревогу. Его слова все еще отдавались в ушах, и она все еще видела отвращение на его лице. Думы эти терзали, тревожили, бередили душу. И все, что происходило с ней, смутно

напоминало ей о чем-то; ей казалось, что все это уже было,— будто весь мир, слова старика и даже ее собственные переживания виделись ей через какую-то пелену, пробивались сквозь завесу густого тумана.

Она приложила правую руку ко лбу и долго держала ее так, пока несколько не успокоилась. Волнение понемногу улеглось, мысли выстраивались в ровный ряд. Выражение ее лица смягчилось, и вся она стала выглядеть по-другому. Взгляд светлеющих глаз задержался на старике, на его длинных, седых волосах... а он медленно дожевывал мамалыгу.

«А вот нарочно, назло!» — сказала она про себя, тяжело вздохнув.

Старик повернулся, услышав этот вздох, но продолжал есть.

Севаста испуганно вздрогнула, потом потихоньку поднялась, подошла к отцу и положила ему руку на плечо.

— Тятя! — прошептала она.

Старик поднялся из-за стола и повернулся к ней.

Теперь они стояли друг перед другом, лицом к лицу.

Высокий, широкогрудый, грузноватый, сильный старик с густыми свисающими усами и молодая, круглолицая, с гибкой, тонкой талией девушка; они всматриваются друг в друга, возбужденные, взволнованные, каждый пытается проникнуть в тайну, скрытую в глубине глаз другого.

Так они долго стоят, понимая и чувствуя друг друга. Однако сейчас это был не тот старый возница, бесстрастно взирающий на разъяренную пургу, это был отец семейства, который одним взглядом оглядывает и жалеет всю прожитую жизнь, жалеет утраченное сокровище своей судьбы. Он схватил и сжал руку дочери.

— Я знаю, понимаю,— тихо говорит он.— Знаю и понимаю. Все понимаю, Севаста! Есть вещи, которые хорошо знаешь, о которых много раз слышал, и все-таки я не назову их тебе. Когда я приехал сюда из деревни, я не был уже ни ребенком, ни юношей, и даже не парнем, я был сложившимся человеком. И я приехал не за тем, чтобы не возвращаться. Меня все время что-то звало, какой-то голос, скрытая в сознании дума. И не было с тех пор ни одной осени, когда бы я не говорил себе, что вернусь зимой, а зимой твердил себе, что возвращусь весной.

И все-таки я не вернулся, Севаста! Вот видишь, волосы мои седые, за плечами семьдесят три года, а я не вернулся. Ибо сам по себе человек ничего не знает, Севаста,— все решается без него, помимо него.

У меня были уже две лошади и повозка. И всякий раз, когда я перевозил ремесленных мастеров, когда откладывал деньги и запирали их в шкаф, сознавая, что они есть, меня охватывало необыкновенное чувство удовлетворения, но, однако, хотелось иметь еще больше и больше. Было уже скоплено пятьдесят золотых франков, я был счастлив и собирался было вернуться домой. Но в кармане звенел пятьдесят первый золотой, я не вернулся, так как захотел скопить сто.

Через шесть лет у меня скопилось четыреста золотых, четыреста шестьдесят. Я уже не был молодым парнем, Севаста, я был зрелым человеком, мне перевалило за тридцать. Я уже решительно было настроился возвратиться, чтобы приобрести кусочек земли и зажить той жизнью, которая мне дарована судьбой и в которой я вырос. И отделяли меня всего лишь несколько дней от этой жизни, от родной земли, от гор, в которых прошло мое детство и моя юность. Вдали от них я не знал счастья и лишь видел все это во сне... И я не вернулся, Севаста.

Глаза его заблестели, лицо озарила вспышка молодости.

— Родительница твоя была в той же поре, что и ты сейчас,— высокая, стройная,— только тебе двадцать девять годков, а ей шел лишь двадцать первый. Она была веселым, разговорчивым, взбалмошным ребенком, как и ты когда-то.

«Мэриан! — говорил мне ее родитель, оставляя ее в Бухаресте,— позаботься об этом дитяти, будь ей в чужом для нее мире отцом вместо меня, ибо молодость беспечна и опрометчива. Она нуждается в добром совете и заботливой руке».

И я по воскресеньям и в праздники надевал нарядную белую рубаху, безрукавку на меху, подпоясывался широким кожаным ремнем, украшенным жестяными цветами, шел к ней, провожал на хору, и пока я покуривал свою трубку, она веселилась и танцевала. Итак от воскресенья к воскресенью, от праздника к празднику, прошли три года. Когда, чуть позже, я сказал ей, что возвращаюсь в деревню, она не стала меня отговаривать, а лишь заплакала, сокрушаясь по

одинокости. Мне хоть и не особенно хотелось оставаться, но я не возвратился. Меня донимали грустные, невеселые думы, от которых мне было совестно. Севаста, я был уже деловым человеком, а она — ребенком. Напрасно человек противится своему существу. Так вот, однажды вечером Аникуца, твоя мать, пришла ко мне. Это было впервые, когда она пришла ко мне, а не я к ней, чтобы проводить на танцы. И я не знал, куда ее посадить, что ей сказать, что сделать. «Дядюшка Мэриан! — сказала она. — Я пришла просить тебя о том, что если будешь уезжать, возьми меня с собой».

Старик обхватил голову руками и возвел глаза к небу.

— Господи! — громко воскликнул он, — какие то были волшебные дни! Жизнь полна прелестей, она прекрасна, чудесна, и нельзя считать достойным того человека, который сетует на ее тяготы. Я ведь понимаю тебя, Севаста, — продолжал он, сжав руки дочери. — И я был охвачен таким же огнем, который сжигает тебя сегодня, и был бы просто безумцем, если бы попытался смирить свои желания. Человек живет на земле только раз, и грешен и несчастен тот, кто не берет всего, что ему даруется небом. Ты любишь его, ибо ты так создана, чтобы любить его, и ты любишь его потому, что он наполнил твою жизнь сиянием. Дорогое, любимое мое дитя!.. Я старик, позабытый смертью, и — видишь ли это — я люблю его. Мне жаль и моей жизни, и твоей, но я люблю его, и не спрашивай почему.

Глаза Севасты залили слезы. Рывания сотрясали ее.

— Какой прекрасной выпала жизнь моим родителям! — выговорила она. — А я должна была появиться на свет, остаться живой, вырасти, чтобы разрушить творение, созданное с такой заботой. Ах, да будет неладен час, в который я появилась на свет, и пусть будет проклят тот миг, в который мои глаза встретились с его взглядом.

— Не смей произносить подобных слов, — прервал ее старик. — И я, и твоя мать благодарим бога, и сегодня я благословляю час, когда глаза мои увидели тебя. Ах, Севаста, ты была источником нашей радости, основой нашей жизни. И сегодня, даже в своем несчастье, ты — утешение моих стариковских дней. Отку-

да тебе знать, что значит ребенок, видеть, как он растёт, как входит в жизнь? Нет, ты не знаешь этого! Ведь и сегодня, когда я вернулся домой и поднялся залепленный мокрым снегом в эту чистую, светлую комнату, стряхнул с себя воду и лед, а ты устремилась ко мне, можешь ли ты понять, что я перечувствовал?!

Больше он не мог говорить. Потянувшись к дочери, обхватил ее голову, прижал к себе и прильнул губами ко лбу.

— Дорогое мое дитя! Моя милая Севаста!.. Несчастный мой ребенок!

Голос его прерывался, горячие слова срывались с дрожащих губ. Обхватив непослушными руками ее голову, всматривался в ее родное, расстроенное лицо. Посветлевшие глаза еще были полны слез, но по губам пробежала радостная улыбка, щеки запылали.

Севаста не удерживала рыданий. Вдруг бросилась ему на грудь, обхватила голову и стала целовать его длинные седые волосы.

— Тятя! Тятя! Почему так все случилось, почему? — всхлипнула она и с плачем замерла на груди.

Старик ласково поцеловал ее глаза, нежно расправил спутавшиеся на затылке волосы.

— Прости меня, дитя мое! Так уж случилось по глупости моей, что я виноват перед тобой. Недоўки мы были, и я и твоя мать, и поступали мы так только потому лишь, что без ума любили тебя,— в этом ты не сомневайся. Посчитали мы, что проложили тебе дорогу к счастью, жертвовали всем, не считаясь ни с какой усталостью, а на самом деле уготовили тебе беду... Жалкими, неразумными мы были людьми, надеясь, что все тебе приготовили, дабы ты могла радоваться жизнью, хотели вырвать тебя из того гнезда, где ты появилась, оторвать от родного дома, а сотворили существо, которому трудно обрести себя. И небо покарало нас за неумеренные желания. Ты была одета в роскошные, богатые платья, а мы носили одежду, присущую нашему брату, ты употребляла высокие, красивые слова, мы говорили, как и все невежественные люди, простым и грубым языком. Ты была для нас не дочерью, а хозяйкой, а мы для тебя не родителями, а слугами. Тебе было тяжело приходить домой, тяжело сознаваться друзьям, что мы твои родители.

— Тятя, тятя, оставьте это,— пыталась Севаста

прервать его умоляющим голосом,— не говори так об этом.

— Не говорю, не говорю! Но в душе ношу эти мысли. Видишь ли, Севаста, я немного утешаюсь, когда сознаю, что именно я виноват в твоих ошибках, в твоих заблуждениях, ведь именно я видел, как они рождались и какими стали сегодня... Послушай меня, доченька. Я мало учился, но много видел и много передумал за свою долгую жизнь: человек счастлив лишь тогда, когда может взглянуть в свою душу, умеет всмотреться в себя.

— Так, так, тятя! — согласилась Севаста, светлея лицом.— Если в мире этом или в самих нас есть что-то, что заставляет скрывать свои мысли от самих себя, это значит, что мы не так живем. Но когда такого рода мысли...

— Когда ты была ребенком,— перебил ее старик,— я все время терзался о тебе...

— Так ты и сейчас терзаешься,— вновь огорчилась она.

— Да! Терзаюсь. Но не знаю, что было бы со мной, если бы не было тебя. И даже поняв, что ты несчастлива, я почувствовал, что жизнь моя стала более нужной и ценной. Сегодня, когда я пришел домой, на душе было тягостно от беспокойных дум... Ты знаешь, я не умею складно говорить и всегда боюсь, как бы не ранить тебя моими терзаниями... Вот, полюбуйся,— продолжал он, с нежностью прикасаясь к ее щекам.— Какая нежная у тебя кожа, какие красивые брови, губы, глаза, посмотри, какие они большие, опущенные густыми ресницами, и волосы — волнистые, пышные, красивые, но сегодня, когда я вошел в дом, ты сначала не взглянула на меня. А я знал почему, знал, и оттого у меня болела душа. А потом, когда взгляделся в твое лицо, заметил на нем нехорошую синеву, и когда увидел это, почувствовал, как будто кто-то твердо сжал мне сердце, и я не мог и слова вымолвить. А думал лишь о твоей красоте и о людской молве.

— Прости меня, тятенька, прости,— вскрикнула Севаста, хватая его за руки,— я ненавижу сама себя, но ничего не могу поделать!

— Да! Что поделаешь! Действительно, ничего не поделаешь! — сокрушенно повторил старик.

— Я и сама не понимаю, как втянулась в этот омут,— продолжала она,— но, когда в твою душу слов-

но закрадываются сумерки, мне ни о чем не думается, а порою становится даже весело... Однако я думала, что ты ничего не замечаешь и не знаешь...

— Я-то могу знать, моя дорогая, лишь бы люди об этом ничего не знали. Ты помнишь, когда в первый раз это заметил, я ничего тебе не сказал, лишь попросил не выходить из дома. А тех, кто у нас жил, поторопил выехать, дабы никто не увидел тебя такой, и с тех пор в этом доме стало, как в пустыне. Я понимаю, Севаста, что ты ничего не можешь поделать с собой, но поймей жалость к моей старости, спрячь свою беду от людей, проникнись жалостью и не растрачивай своей красоты, ибо она целитель моей души, отрада для моих глаз.

— Тятюшка! — вскричала она, — я больше никогда не буду пить. Пусть отсохнут мои губы, если я хоть раз притронусь к этому зелью.

— Не говори так. Не давай подобных клятв, — умиромирно сказал старик, — не забудь, что мне семьдесят три года и что я не вернулся домой. Я был уже женат, и у меня уже была ты, но будто какой-то тайный голос упраскивал меня вернуться. Никогда не тянула меня так родная земля, как в то время. Три дня я не появлялся в городе со своей лошастью и чувствовал себя больным. Я уже втянулся в эту жизнь, привык к ней и не мог из нее вырваться. Было выше моих сил представить, что я не увижу людей, вечно куда-то спешащих впереди меня, не буду больше грузить людские пожитки, что не будет больше этих легких на ногу коней, этих богатых и красивых дрожек. Было выше моих сил подумать, что я больше не возчик. И я купил себе этот дом, которому так не подходила эта телега, и у меня была ты; — телега же моя вызывала у тебя беспредельную злость, но я не мог с ней расстаться. И потому ты не говори, что сумеешь расстаться с привычкой, которая является самой приятной привычкой среди всех человеческих увлечений.

— Я расстанусь с этим злом, тятя! — решительно заявила Севаста. — Мысль о том, что я скрашу дни твоей старости, придаст мне твердости и заставит меня забыть о тягестях моей жизни. О господи! Тятя! — продолжала она, целуя его руку. — Почему ты давно не поговорил со мной так, как сегодня. Твои слова пролили свет в мою душу. Не знаю, как это выразить, но я словно обрела счастье в своем несчастье. Разве

не сыщется какой-либо слепой, калека, человек, потерявший, как я, всякую надежду в этой жизни, какой-нибудь несчастный? Я могу найти такого человека и буду счастлива, если скрашу его дни... Найду брошенного, бездомного ребенка и выращу его, пожертвую своей жизнью для более несчастных, чем я.

— Да благословит тебя господь бог, и пусть встретится такое создание на твоём пути,— выговорил старик,— поступай, как знаешь сама и как подсказывает тебе твой разум. Но только, Севаста, не пей больше этой скверной ракии. Даже если ты захочешь отравиться, не бери этой страшной отравы, лучше уж поищи что-нибудь получше, что навеки успокоило бы тебя в приятном сне. Не покупай сама больше никакого питья, позволь лучше мне это сделать самому.

— Нет, тятя, никогда! — прошептала она, затихая и опускаясь на стул,— лучше умереть!

— Смерть сама приходит в свое время, дочь моя,— проговорил старик.— А в жизни мы не должны думать о ней. Жизнь заставляет нас думать о другом.

VI

Когда, на другой день, старик Мэриан вышел из дому, небо было ясным, осеннее солнце поднялось над крышами домов, а деревья, покрытые сверкающим снегом, блестели в утренних лучах.

Этот просветленный мир радовал старика. На душе его становилось легче еще и от того, что произошло вчера вечером. День этот он, как всегда, провел, по своему обычаю, в наблюдении за прохожими, пытаясь по лицам людей разгадать и понять смысл и тайну жизни, успевая тем временем загружать и разгружать поклажу. А когда вечером вернулся к себе, ему показали и двор, и конюшня, и самый дом менее опустелыми, а дочь выглядела веселой и жизнерадостной.

Графин с ракией, которую он купил сегодня утром, стоял там же, где он его и оставил. При взгляде на него, его даже беспричинно бросило в дрожь. Но говорить он мог о вещах, которые не касались бы дочери.

И все же неодолимая сила притягивала его взгляд к графину. Как бы ни огорчала и ни расстраивала его эта слабость дочери, он представлял себе ту невероятную трудность, которую Севаста должна преодолеть,

как перебороть себя, чтобы расстаться с пороком, к которому человек так легко привыкает. С одной стороны он страстно об этом мечтал, а с другой и не хотел бы... Он опасался, что старания ее будут тщетны.

Весь вечер и последующее утро старика терзали эти размышления. Напрасно он старался от них отвязаться. Поглощенный тревожными думами о своей дочери, он все время пытался представить себе ее участь, всю ее судьбу.

К вечеру Севаста выглядела усталой и осунувшейся. Большие опавшие глаза в синих полукружьях светились грустным огнем, щеки приобрели нездоровый зеленоватый оттенок. Казалось, что время от времени ее передергивает холодная дрожь, а по лицу пробегает какое-то волнение.

Увидев ее такой, старик даже вздрогнул.

— Севаста,— проговорил он озабоченно.— Ты такая грустная и потерянная. Тебе нехорошо?

— Все хорошо,— ответила она, сясь улыбнуться,— но этой ночью я не могла заснуть.

— Вот это плохо, дочь моя. Это самая тяжкая болезнь,— ответил старик.

И как бы ни хотелось ему продолжить этот разговор, он побоялся это сделать. Достаточно было уловить взгляд дочери, чтобы увериться, что он только расстроит и рассердит ее.

И все-таки каждый раз, как он посматривал на графин, наполненный ракией, его губы были готовы произнести проникновенные слова.

Он молча опустил на свою постель, затих. Чуть спустя, Севаста подошла к нему, уселась рядом, припала головой к его плечу, взяла руку старика, поцеловала ее, потом вдруг замерла с потерянным, отрешенным взглядом.

Даже будучи маленьким ребенком, она никогда так не ласкалась к своему отцу, и старик расстрогался этой ласковостью.

— Тятя,— тихо спросила она,— поведай мне, что ты видел сегодня?

— Сегодня, дочь моя? Я много видел,— он ненадолго задумался, потом продолжил,— а увидел и то, о чем сразу же тебе хотел рассказать, как вошел в дом. Я видел Касандру с ребенком.

— Несчастная Касандра! — воскликнула Севаста.

— Я поговорил с ней,— продолжал старик,— и уж не знаю, правильно ли сделал, сказав, что ты навестишь ее.

— Да, тятя, я схожу к ней, ведь ты этого хочешь.

— Не так, доченька: ты этого хочешь. Ты же вместе с ней бегала в школу, она была твоей близкой подругой... Она и сейчас живет в школе, где и обучает своих девочек.

— И что, до сих пор не помирилась с ним?

— Даже не заговорила об этом. Несчастный у нее муж.

Какое-то время оба помолчали.

— Как раз сегодня,— начала Севаста,— я подумала, не сходить ли к Анике.

Аника была подругой, у которой Севаста познакомилась с Иоргу. Услышав это имя, Мэриан вроде бы даже нахмурился, но потом сказал:

— Сходи, дочь моя, сходи. Покажись на людях, узнай, что делается в городе.

— Да ты ведь и сам хорошо знаешь, что там происходит,— проговорила Севаста, заглядывая старику в лицо.— Если я наведаюсь к ней, глядишь, и она ко мне пожалует. И тогда, смотри,— ласково продолжала дочь, показывая на постель старика,— для этого понадобится новая кровать, и если ты не рассердишься, эту перетащим в соседнюю комнату или даже на кухню. Ты не сердись, что я тебе так говорю? Это не для меня, а для них.

— Да, понимаю, дорогая моя, понимаю,— сказал старик.— Пусть же будет так! И сейчас! Сразу же!

— Ну, тятя, это можно сделать и завтра,— заметила дочь, хотя в душе была благодарна ему за столь скорое согласие.

— Сейчас! Немедленно! — решительно настаивал Мэриан, сдерживая вздох.— Для людей надо делать все, не раздумывая.

И он переселился в самую дальнюю часть дома, на кухню.

VII

Было уже далеко за полночь, а старик Мэриан все сидел в темноте на своей постели. Он очень хорошо сознавал, что дочь отделила его от себя далеко не только ради людей, и потому все спрашивал себя, а

для чего же? Одна догадка следовала за другой, но ни одна не задерживалась надолго. Одна, правда, беспрестанно возвращалась, и она потрясала все его существо. Зачем она отдала его от себя? Что раздражало ее? Что она делает в его отсутствие? Один из ответов, которые он искал на эти свои вопросы, вынужденно подсказывался ему страстью самой молодости. Было тревожно и боязно, а вдруг Севаста, стремясь избавиться от одного порока, станет жертвой другого, еще более опасного?

После долгих тягостных раздумий, он вдруг быстро поднялся и направился к Севасте.

В ее комнате было темно.

Старик потихоньку, крадучись, поднялся по лестнице, осторожно подошел к двери, опасаясь рассердить ее, если она не спит.

Глубокая тишина... Он прижался ухом к двери и ничего не услышал. Кровь ударила ему в голову... Вновь прислушался, но не услышал ее дыхания.

«Ее нет дома!» — проговорил он, сверкнув глазами и сжав до боли кулаки.

И в это мгновение он уловил тяжелый вздох, услышал, как качнулся стул и послышались легкие шаги Севасты.

Старик прижал руки к вспыхнувшему лицу.

«Слабость моей старости, — признался он огорченно. — Напрасные старания». Однако он не смог отойти от ее двери. Стоял, замерев, затаив дыхание, словно врос в землю. Он слышал ее шаги, улавливал вздохи, душа его готова была вырваться, как будто дочь шагала по его груди, будто ее вздохи были его вздохами. Он шарил рукой, чтобы отпереть запор, но не мог, не в состоянии был этого сделать. Так стоял, прижавшись к косяку. Слезы застилали ему глаза, текли по лицу, по щекам, но он не поднимал рук, чтобы стереть их.

Вдруг в замочной скважине вспыхнул луч света. Старик вздрогнул и, не раздумывая, приткнулся к ней, чтобы увидеть, что там происходит.

Севаста склонилась над столом, и казалось, что она читает лежащую неподалеку на подоконнике книгу.

«Не может заснуть, — с умилением подумал старик, — и не хочет дать себе передохнуть».

Через какое-то время она подняла глаза, откинулась на спинку стула, достала спрятанный на груди маленький портрет, долго вглядывалась, поцеловала и, не

отрывая от него взгляда, тихонько положила на стол. Грудь ее тяжело вздымалась, щеки пылали.

Потом внезапно вскочила со стула и заметалась по комнате.

Мэриан почувствовал, что у него кровь стынет в жилах. В этот момент старик перестал быть самим собой, он уже не был мягким, спокойным, неизменно терпеливым человеком. Вместо того, чтобы дернуть ручку и ворваться в комнату, он боязливо и смиренно попятился от двери, словно кто-то толкал его в грудь.

«Она не может, не в силах унять жажду,— подумал он, сокрушаясь,— а я тот, кто заставил ее это пережить, кто разжег этот пламень».

Он опустился на ступеньку лестницы и вдруг, услышав за спиной, как стукнула дверь, окаменело замер. Его дочь в наспех наброшенной одежде быстрыми шагами проскочила мимо него. Он отшатнулся, сунул руку в голенище, потом в кожаный пояс, нащупав, выхватил нож и поторопился вслед за нею. Севаста пошла не на улицу, как вначале ему показалось, а на конюшню. Увидев это, старик с трудом перевел дыхание и снова последовал за дочерью. И уже хотел было сразу же войти в конюшню, но остановился.

— Нет, нет, не могу! — промолвил он, не в состоянии унять дрожь, и схватился за нож. — Ведь одно дело, когда речь идет о людях, которых не терплю, с которыми никогда не примирюсь, и другое — то, что у меня сейчас.

Замерев, затаив дыхание, он прижался к воротам конюшни; большие глаза его сверкали, кровь отхлынула от лица, а в руках был крепко зажат нож.

— Костан,— услышал он,— ты спишь?

— Кто там?

— Это я, Севаста.

— Севаста?! Что случилось, госпожа? Ради бога, скажи скорее!!

— Ты умеешь молчать, Костан? — приглушенно спросила Севаста.

— Умею,— ответил Костан.

— Поклянись, что никому ничего не скажешь!

— Да, клянусь тебе. Только лишь дядюшке Мэриану.

— Вот именно ему-то и нет!

— А почему же?

— Потому что огорчишь и расстроишь до конца его дней.

— Я?! Никогда, ни за что в жизни! Но что ты хочешь?

— Никому не скажешь, что я приходила к тебе!

— Не скажу,— вымолвил Костан.

— Костан! Я тебе не противна?

— Мне? Противна?!

— Тогда пойдем со мною,— сказала она,— пошли, пошли скорее! Пойдем поговорим!

Услышав это, старик отпрянул на три шага и камнем свалился на землю.

Севаста прошла, не заметив его. Резко остановилась в дверях, схватив Костана за плечи.

— Хочешь,— заговорила, будто во сне,— быть моим мужем?!

Костан всмотрелся в ее горящие глаза и, чувствуя, что она не в себе, ответил ей пугливо, но без колебаний:

— Хочу, даже если это будет последним днем моей жизни,— и потом, не спрашивая согласия, заключил ее в объятия.

— Оставь меня в покое! Оставь! — вскричала Севаста, оттолкнув его изо всех сил, потом как безумная бросилась в дом.

Когда старик Мэриан пришел в себя и поднялся с земли, уже никого не было видно.

Ноги едва держали его, голова была свинцово-тяжелой, и нож выпал из разжатой руки. Он тихонько вошел в конюшню, подошел к Кырлану, обхватил его морду обеими руками и так стоял, плача как ребенок, а конь тихо постанывал, отзываясь на боль своего несчастного хозяина.

VIII

На следующий день старик Мэриан застал свою дочь спящей глубоким, безмятежным, детским сном. Тихонько, на цыпочках, он подошел к постели, но не смог поцеловать ее, как того хотел, а лишь поправил спутанные на лбу волосы.

— Иоргу!.. О, как я счастлива,— прошептала она, не просыпаясь.

Какое-то время старик всматривался в ее спокойное,

бледное лицо, потом, тяжело вздохнув, вышел и сел на ступеньки крыльца.

Солнце уже высоко поднялось, когда Севаста появилась в дверях. Увидев отца, она стремительно подошла к нему.

— Ты сердит? — спросила его, взяв за руку и утаскивая в комнату.

— Нет, не сердит, дочь моя, — ответил тот, — я очень рад, что ты смогла заснуть.

Больше он ничего сказать не смог.

— Да, я очень хорошо спала, чувствую себя бодрой, и мне весело, — продолжала Севаста взволнованно. — Но ты ведь, наверно, голоден.

— Нет, я поел, — сказал он, усаживаясь.

Их взгляды встретились, но говорить он не мог. Севаста начала прибираться, а он, не успокоенный, продолжал сидеть.

— Ты не едешь в город? — чуть погодя спросила дочь.

— Нет, — ответил старик через силу, — что-то мне нездоровится, да и Кырлан захромал на одну ногу.

— Вот и хорошо! — неожиданно воскликнула она и, подойдя к нему, положила руки на плечи. — Тогда ты сможешь пойти со мной?

— Я? С тобой? — изумился и обрадовался старик. — А куда?

— Сначала к Касандре и Анике, потом отнесем цветы и голубка в лавку.

— Хорошо, доченька, очень хорошо! — проговорил он, оглядывая ее просветленными глазами.

После обеда Мэриан с дочерью отправились в город.

Никогда старик не ощущал себя таким гордым и счастливым, как в то время, пока шел с нею рядом по улицам города.

На нем была чистая рубашка, меховая обтягивающая безрукавка, широкий кожаный пояс, расшитый цветами из жести; она была одета во все темное, лишь на голову накинута белая шаль; со вкусом и умением скроенное платье, коротенькая шубка облегла ее стройную, влекущую фигуру, которая не могла не привлечь внимания каждого прохожего. И не было ни одного встречного, кто проходя мимо этой пары, не задержал бы на ней своего взгляда. Он — седой старик с озорным, веселым взглядом и раскрасневшимся лицом, она — молодая, черноволосая женщина с глаза-

ми с поволокой на белом, как полированный мрамор, лице.

Севаста, взяв под руку своего старого отца, склонилась к нему, и так вот, локоть к локтю, они прошли по улице, заглянули к Касандре, к Анике, а потом в лавку, где продавался сделанный ее руками товар. И всюду старик чувствовал себя счастливым и радовался тому, как люди их разглядывали.

Все это время как Севаста, так и старик Мэриан были веселы и разговорчивы.

Однако возвратившись к своему дому, оба внезапно смолкли. Когда вошли в него, в комнате уже стемнело. Севаста, утомленная, в изнеможении, повалилась в кресло; старик же, пристально вглядываясь в нее, подошел к ней, обхватил ее лицо.

— Невинный мой ребенок! — выдавил он, едва сдерживая рыдание.

Дочь испуганно посмотрела на него.

— Севаста! Выходи замуж! — выговорил он. — Выходи замуж!

Та стремительно поднялась, не отрывая от него широко раскрытых глаз.

— Выходи замуж за Костана! — боязливо продолжал он, испугавшись вырвавшихся слов.

Севаста с криком бросилась к нему на грудь, пряча лицо в бороде.

— Прости меня, тятя, прости! — шептала с плачем она. — Прости за стыд и позор, который я тебе причинила.

— Стыд? Стыд?! — подавленно повторял старик. — Мне стыдно за тебя? — он покрыл ее лицо поцелуями. — Теперь я могу умереть, потому что боюсь, что больше такого дня, как сегодня, у меня не будет. А может, буду жить вечно, ибо сегодня был награжден такой лаской, которой хватит на всю жизнь... Но я боюсь, Севаста! Я все время боюсь.

Потом стремительно шагнул к подоконнику, схватил графин с ракией и подошел к дочери.

— На, Севаста! Прошу тебя, выпей! И возврати мне давний покой.

Она испуганно взглянула на отца, выхватила графин из его рук и, швырнув на пол, вдребезги его разбила.

— А теперь оставь меня одну, — попросила она, обессиленная. — Прошу тебя, оставь меня!

На этот раз старику Мэриану даже подуматься не могло, что он причинил огорчение своей дочери, и он, словно столб, замер посреди комнаты.

Севаста крепко сжала его пальцы.

— Обними меня, тятя! — прошептала она, прильнув к нему, — поддержи меня, чтобы я не упала.

Старик обхватил ее дрожащими руками и так держал, не в силах прийти в себя от пронизывающей боли, а она, как березовый лист на ветру, трепетала в его объятиях.

— Мне теперь все ясно, — чуть помедлив, проговорила она, — я давно все поняла. Бедный Иоргу! Ведь и он не более счастлив, чем я... И ему никого не найти на этом свете. Но я так хочу его увидеть, тятя, — продолжала Севаста, чуть успокоившись, — только бы взглянуть на него. Уже целый год, как мы не встречались.

— Забудь его, моя прелесть! — проговорил старик, перебарывая себя.

— Тятя! Тятя! — вскрикивала она, обнимая отца. — Я хочу видеть его!

— Да успокойся же, моя красавица! — шептал старик, осторожно, но настойчиво отстраняя ее от себя. — Выпей, как выпивала до сих пор, лишь бы только не хотелось его видеть. Разве ты не видишь, как кипит в тебе кровь и что ты не в себе.

Севаста откинула голову, но взгляд ее светился и строптиво, и упрямо.

— Не хочу так больше! — вскричала она. — Ты же сам говорил, что человеку дается жизнь только раз, и ничто не помешает, чтобы у меня ее не было.

— Я заставляю забыть тебя *это*! — гневно вскипел старик. — Уж лучше я сам тебя убью, чем увижу еще более несчастной, чем ты есть.

Она рухнула на колени и обхватила его ноги.

— Пожалей меня, тятя, пожалей!

— Теперь ты оставь меня! — выговорил старик, освободившись от объятий дочери, и быстро вышел из комнаты.

IX

На другой день было воскресенье. Севасте захотелось вместе с отцом пойти в церковь.

Возвратившись из нее, оба — и отец, и дочь, — были грустными и молчаливыми.

Утомленная Севаста села в пролетку.

— Тятя! — чуть спустя начала она, заглядывая в лицо отца, — как было бы хорошо, если бы я умерла.

— Умерла? Ну, нет, — ласково проговорил он, прижался к ней и поправил распутившиеся по мокрому лбу волосы.

— Знаешь, отец, — продолжала Севаста, — мне становится страшно, когда я подумаю, что я еще молодая и мне нужно долго жить на этом свете. Ты стар и с большой легкостью переносишь тяготы и неудачи, у тебя есть утешение старости и сознание того, что все равно жить осталось недолго. Это придает тебе силы и умение встречать спокойнее и горести, и невзгоды.

— Это так, дочь моя, — отвечал старик, — старость — необыкновенный дар, и поэтому человек уже не просит и не ждет много от нее. А ты ведь молода и должна сохранять надежду молодости.

— Я давно ее потеряла!

— Ты обретишь ее вновь.

— Никогда! — заявила она. — Я чувствую себя такой слабой, что не в состоянии пройти жизнь так, как я задумала и мечтала. Да и потом, разве ты сам не говорил, что скорее захочешь видеть меня мертвой, нежели более несчастной?

— Да, я так сказал, — согласился растроганный старик. — Но боюсь, что сказал это в злой час, в тот миг, когда сам себя не помнил.

Какое-то время они молча смотрели друг на друга.

— О господи! Как я хотела бы его увидеть, — тихо произнесла она.

— И ты его увидишь! Да, увидишь! — заявил старик, поднялся и вышел.

Х

Оставшись один, Мэриан почувствовал себя как будто немного успокоенным.

Но всю вторую половину дня он не вставал с постели и был настолько погружен в свои невеселые думы, в свои переживания, что даже не отдавал себе отчета

в том, что с ним происходит сейчас и о чем он думал раньше.

Он был словно во сне, будто бредил. В его растрепанном мозгу чередой возникали видения, в которых возникала его дочь, то трепещущей в объятиях возлюбленного, то, казалось, потеряв всякое самообладание, она становилась жертвой слабости. Ни о чем другом он думать не мог. Она вспоминалась ему малым ребенком, в то время не терзавшейся за совершенные проступки, и такой, какой была она десять лет назад, и также не казнящейся за совершенную ошибку, но сегодня... сегодня?!

Глаза его заволакивались слезами, кровь прихлынула к голове.

«Да! — твердил он, — лучше смерти!! Нет! — тут же разрыдался, скрипя зубами. — Нет! Не смерти!.. А все же смерть лучше раньше, чем позже... Почему же я тогда не раздавил того человека, не уничтожил его!.. Да, лучше, если бы он был убит, и не было бы сейчас ни человека, ни закона, по которому судили бы меня!.. О, не могу больше! И единственное, с чем я не в состоянии смириться, — так вот «это»!

Он решительно поднялся и направился было в комнату дочери. Но, пройдя несколько шагов, вернулся, огляделся. Тщательно осмотрел все вокруг. Наконец нашел то, что искал, — вытащил из-за полки длинный, в две ладони, и широкий, в два пальца, нож. Костяная ручка блестела, как воск, однако само лезвие потемнело, и на острие его были две зазубрины. Старик придиричиво осмотрел нож, вытер его полкой своего суконного зипуна, потом пренебрежительно швырнул на стол, а сам, усевшись на кровать, погрузился в невеселые мысли.

Снова поднялся. В углу у стены увидел тяжелый колун, взял его, положил на стол, потом вернулся, прихватив несколько кусочков стекла. Снял с гвоздя маленький топорик и стал дробить стекло на обухе колуна. Это было неприятное, нелюбимое дело, но старик старательно и тщательно его проделал, пока не стер стекло в порошок.

Теперь он сбросил с себя зипун на стол, насыпал на полу стеклянной пыли, взял нож и, крепко ухватив за рукоятку, стал оттирать лезвие.

Постепенно ржавчина очищалась... Наконец на лезвии не осталось ни одного пятнышка. Старик, удовлет-

воренный, осмотрел нож, несколько раз провел лезвием по рукаву, взял точильный брусок и стал выправлять зазубрины.

Все это время он был спокоен и, казалось, думал только о своей работе. Когда нож был наточен и отполирован, старик еще раз осмотрел его, вполне довольный работой, положил его на стол и, отряхнув зипун, надел его.

В этот момент вошла Севаста. Тяжелый колун, топорик и нож еще лежали на столе.

Ее взгляд задержался на них.

— Нечем было заняться,— горько усмехаясь, сказал старик,— вот и привел в порядок этот нож.

— О, какой красивый,— проговорила Севаста и, взяв нож, потрогала пальцем лезвие.

Старика Мэриана передернула дрожь. Отобрал у нее нож и положил на ту полку, где он и раньше лежал.

— Так-то,— продолжал он,— это сделано. А в следующее воскресенье примусь и за топорик.

Он повесил маленький топор на гвоздь, колун поставил в угол, собрал осколки стекла, выбросил их, потом вернулся к дочери.

Войдя, тяжело опустился на кровать, к Севасте. Та прижалась рядышком, склонила к нему голову на плечо, подняла глаза и всмотрелась в него.

— Какой ты печальный, тятя! — прошептала она.

— Да нет, дорогая моя.

— Печальный, печальный...— повторила она несколько раз.— В эти дни ты настрадался больше, чем за всю жизнь... Знаю! Я доставила тебе столько огорчений. Прости меня, тятя! Ты простишь, не правда ли?

Старик ничего не ответил. Но ответ она могла увидеть в его глазах.

— Эх, Севаста, ступай наверх! — проговорил он, поднимаясь,— уже темнеет, а мне еще надо кое-куда сходить сегодня. И вернусь, должно быть, поздно... Иди наверх, а я пойду и велю Костану позаботиться о коне.

Она медленно поднялась и пошла, старик же Мэриан, оставшись в комнате, долго смотрел ей вслед.

Костан, пригорюнившись, сидел в темноте конюшни. Заслышав шаги старика, вскочил и поспешил к воротам.

— Костан! — сказал старик, устало усаживаясь, — сходи и принеси мне ракии.

— Зачем, дедушка Мэриан? — нерешительно спросил тот. — Иду! — тут же согласно произнес он, вернулся в глубину конюшни, разыскал графин, взял деньги и пошел.

Старик Мэриан и сам последовал за ним к воротам, однако остановился в отдалении.

— Костан! — позвал он, когда увидел, что тот вернулся. — Поставь графин на землю и помоги мне запереть ворота.

Парень поставил графин у столба, оба взялись за скрипевшие ворота, поднатужились и закрыли их.

Покончив с этим, направились в конюшню.

— Внучек, — говорил старик, глотая водку прямо из горлышка, — когда я выпью, у меня развязывается язык и я уже не могу следить за собой. А как хорошо иногда поболтать и дать себе волю.

— Да, наверное так, дедушка Мэриан, — с беспокойством согласился Костан.

— А теперь я попрошу тебя об одном очень важном деле, — сдержанно сказал старик.

— Важном?

— О таком важном, что от него зависит вся жизнь.

— Слушаю, дедушка Мэриан, — вымолвил Костан, приблизившись к нему.

— Ты знаешь господина Иоргу?

— Иоргу Строинеску? Капитана Строинеску? Нет, его не знаю. Но знаю его дом.

— На улице Херестреу?

— Да, дедушка.

— Хватит ли у тебя умения привести его сюда?

— Как привести?

— Ну, скажешь ему, что его очень просит прийти Сезаста и сейчас же, сразу, а меня, мол, дома нет, я не приеду сегодня. Она одна, мол, спит в доме. Не тревожься, я его встречу более ласково, чем тебя.

Костан словно окаменел.

— Я приведу его, дедушка Мэриан, даже если придется тащить на руках.

— И ты сумеешь все это ему сказать?

— О господи! господи! Дедушка Мэриан,— приглушенным голосом заверил Костан,— оставьте его мне.

— А если все-таки он не захочет пойти?

— Это моя забота. Пойдет! Я хорошо знаю таких господ, знаю, что они представляют из себя и что говорят.

— Слушай, Костан,— опасливо продолжал старик,— если все же он не захочет пойти, то возвратись к Севасте и скажи ей, что случайно встретился с ним и он хотел бы к ней прийти, если она попросит его об этом в записке...

— Понял, понял, дедушка Мэриан! — сказал Костан, уходя.— Это уж моя забота.

Старик какое-то время смотрел ему вслед, потом, остановившись, помедлил в воротах конюшни. Только сейчас он почувствовал всю трудность и тяжесть дела, к которому готовился. И он решился на него.

Тяжело вздыхая, вошел в конюшню. Кырлан потихоньку заржал, потом повернулся к хозяину, и старик увидел влажный желтоватый блеск его больших глаз.

— Кырлан! — произнес он. И в этом одном слове была высказана вся его боль.

Конь вышел из стойла, подошел к старику и склонил свою голову к голове хозяина.

Мэриан не мог унять дрожи. Ему вспомнилась та ночь, когда он также с ножом в руке стоял в то время, как его дочь разговаривала с Костаном, он, как и тогда, заплакал, понимая, что не в его силах успокоить дочь в тот момент, когда на нее находит приступ страстного, неумолимого волнения.

— Это невозможно! — воскликнул он испуганно.— Я не могу его убить! Да помоги же мне боже!

И, сказав это, он как безумный помчался вслед за Костаном.

XII

Выскочив на улицу, старик Мэриан на минуту задумался, потом заспешил самой короткой дорогой, он перебежал улицу за улицей, и казалось, будто кто-то гонится за ним или он сам кого-то гонит на смерть. С каждым поворотом он ускорял шаги и вместе с тем

с каждым шагом чувствовал, как усиливалось ощущение безнадежности.

Наконец он очутился у дома Иоргу, куда примчался раньше, чем Костан. Но не вошел ли уже тот? Или не успел еще? Может, что-нибудь случилось? Что-нибудь произошло?.. Он осмотрел все вокруг, наконец различил в темноте, а потом в свете фонаря фигуру Костана.

— Что случилось, дедушка Мэриан? — испуганно спросил парень.

— А вот и хорошо! — сказал старик. — Оставь капитана. Завтра заberi коня с телегой и отправляйся в деревню.

— Я?!

— Ты, Костан!

— Да почему, дедушка?

— Не спрашивай! — огорченно выговорил старик. — Делай так, как я говорю.

— Хорошо, дедушка! — согласно ответил тот и долго смотрел в спину уходившему старику.

XIII

Возвращался дед Мэриан к себе так же поспешно, перебегая улицы, как стремился сюда. Охваченный тяжелым предчувствием, тревогой, опасением неожиданного несчастья, он торопился, торопился домой. Ему не терпелось скорее увидеть дочь, сказать ей что-нибудь, поплакать в молчании, а потом вновь отдаться своим думам и переживаниям.

Нож, который он так остро наточил сегодня, блестел перед его глазами, и старик все больше тревожился, что в какой-то момент Севаста может взять его в руки.

Придя домой, он зашел в комнату дочери. Но дверь была заперта. Он прислушался, однако ничего не услышал. Ухватил за ручку двери и стал трясти ее.

Ничто в доме не шевельнулось. И лишь теперь только он заметил пучок света, пробивавшийся сквозь замочную скважину. Кровь застучала в висках, он схватил колун и закричал:

— Севаста!.. Севаста, открой!

Изо всех сил ударил в дверь. Никакого ответа.

Тогда, не помня себя, ударом колуна вышиб замок, дверь с шумом распахнулась.

Колун выпал из его рук, а сам он замер на пороге. Посередине комнаты на спине лежала Севаста. Отточенный отцом нож был еще зажат в руке, а кровь, вытекшая из груди, словно дымилась в утренней прохладе. Грудь уже не шевелилась, дыхания не было.

Недвижно смотрел на нее старый родитель, без вдоха, без единого стога.

Затем, словно очнувшись, сделал несколько шагов, закрыл дверь и, подойдя к ней, склонился на колени.

— Мертвая! Мертвая! — промолвил он с какой-то улыбкой. — Убита своей рукой, ножом, который приготовил я, ее отец! Мертвая! Севаста! Невинный мой ребенок!

Он взял нож из ее рук, разрезал платье на убитой. Поднялся, принес холодной воды, смыл кровь, вытер бездыханное тело дочери. Потом поднял его на руки и положил на постель. Раскрыл шкаф, достал чистую рубашку и, сделав на спине вырез, одел в нее дочь. Расплел волосы, тихонько сел в ноги и, вглядываясь в черты ее лица, надолго застыл в молчании.

Просидев так какое-то время, поднялся, поцеловал ее лоб, глаза, губы, рану на груди и ноги, потом рухнул на колени и вымолвил, перекрестившись:

— Отец ты наш небесный.

Когда вновь поднялся на ноги, лицо его было уже суровым и решительным.

Он вышел за вязанкой дров, которую аккуратно сложил под кровать. Чуть помедлив, принес вторую вязанку и ее также разложил под кроватью. Взял нож, соскреб кровь с пола, все вытряхнул на дрова.

После этого вышел, плотно закрыв за собой дверь, спустился в кухню. Там в углу стоял украшенный вырезанными из дерева цветами сундук, старик взвалил его на спину, вынес и поставил посередине двора. Осмотрелся вокруг. Всюду было пусто.

Вновь вернулся в дом.

Все то время, как он взял нож из рук своей мертвой дочери, его терзала глубокая скорбь, но он был спокоен и тверд. А сейчас наверху расплакался. И, обхватив руками мертвую, надолго припал к ней.

.

Было уже далеко за полночь, когда старик Мэриан поднялся, взял зажженную лампу и, чуть помедлив,

опрокинул ее на кровать, на которой лежала мертвая.

Пламя вспыхнуло. Мэриан стал раскидывать огонь во все стороны так, что вскоре огнем была охвачена вся комната.

Потом, пошатываясь, спустился с крыльца, сел посередине двора на сундук и стал озабоченно наблюдать.

Языки пламени стали вырываться из окон, крыша начала стрелять красными стрелами, а огонь быстро охватывал его дом.

Пока испуганные люди сбегались на помощь, старик Мэриан сидел на сундуке, сожалея о пропавших сорока и одном годе своей жизни.

.

Через три дня из Бухареста выехала пролетка, запряженная одним конем. Спокойный старик с ясным, равнодушным, отсутствующим взглядом сидел на сундуке, украшенном деревянными цветами, и безвольно держал вожжи, предоставив коню Кырлану самому выбирать себе путь.

Ни разу старик Мэриан не оглянулся.

ЛЕСОВИЧКА

ПОВЕСТЬ





I

Всякий раз, какходишь ты в дом или выходишь из него, трижды осени себя крестом да скажи: «Храни нас бог!», ибо не знаешь ты, удача тебя ждет впереди или неудача, исполнишь ты задуманное или нет, дойдешь ли туда, куда шел? — ничегошеньки наперед тебе неизвестно.

Но Бусуйок жил без оглядки, жил, как ему того хотелось, и делал, что считал нужным, и у него все складно выходило, потому и разбогател он: четырьмя плугами целых десять дней пахал свою землю и засеивал самым отборным зерном.

А когда среди лета вдруг нагрянула холера, он и не думал о ней. До холеры ли человеку, если у него сорок югеров¹ земли под пшеницей и колосья набухли, того и гляди зерно осыплется. Холера холерой, а ему, Бусуйоку, в три дня управиться надо, снять урожай, иначе беда: много добра пропадет, не приведи господь; бедняк что теряет? — ничего, а богач — все. И осыпалось бы зерно, если бы не выручали Бусуйока оголодавшие за зиму лесные жители.

В конце лета покидали лесовики хаты, спускались на равнину, шли и шли бесконечными толпами, и было их так много, будто шли они на великий праздник. А чем не праздник — страда?

От Муреша до Оради и далее до самого Кришу Алба пустели деревни; одни лишь старухи с малыми ребятами да неспособные старики оставались в дому.

А тут нá тебе, по случаю холеры власти отменяют праздник. Глашатаи под барабанную дробь, попы с амвона оповестили народ, чтоб сидели безвылазно по своим деревням, не смели носа высовывать, и чужих к себе не принимали, и в работники не брали, потому как холера!

— Да кто ж мне воспретит убрать мой хлеб? — негодуя спрашивал Бусуйок. — Очумели они, что ли?

¹ Югер — 5575 м² земли, сорок югеров около 10 гектаров.

Да и кто сумеет людей в дому удержать? Привяжут их, что ли? Нешто человек не сам себе хозяин? Нет, не властям решать, кому от холеры дохнуть, а кому с голодухи! Не властям! Одному богу ведомо, к кому когда смерть придет.

И запряг Бусуйок лошадей в две подводы, чтобы ехать за людьми. И никто во всем Куртиче не осмелился бы ему поперек дороги встать. Никто. И все же нашелся такой человек...

— Давай, батя, я вместо тебя поеду,— предложил ему сын Йоргован.

Сроду Бусуйок не терпел над собой наставников, а уж родного сына и подавно не стал бы слушать.

Но Йоргован, мало что молод, был парень хоть куда, плоть от плоти и кость от кости отца своего, а по учености учение, и сам об этом знал, и Бусуйок тоже знал это и втайне гордился сыном.

Целых пять лет обучался Йоргован в Араде всяким умственным наукам и весьма преуспевал, люди говорили, мол, «стать ему большим барином», и Бусуйок так думал, да нежданно-негаданно вернулся Йоргован домой, бросил учение.

— Буду землю пахать,— коротко объяснил он отцу.

Бусуйок глянул на него исподлобья, помолчал и спрашивает:

— Мужиком, значит, хочешь быть? А правильно ли рассудил ты, сынок, меня не спросив?

— Правильно! — смело ответил сын.— Стал бы я раздумывать да у тебя спрашивать, может бы и сам передумал, а тут разом и решил и сделал, как отрубил...

«Может, и верно говорит,— подумал Бусуйок и удивился рассудительности парня.— Добрый мужик лучше худого барина».

Но Бусуйок был не бобыль, а женатый человек, и у жены была куча родни, брат попом в Сокодоре, сестра попадьей в Отлаке, да еще видимо-невидимо двоюродных да троюродных братьев и сестер, не говоря о тетушках и дядьках, и боялся Бусуйок: как бы среди жениной родни кривотолки не пошли, мол, не сумел Бусуйок своего щенка в послушании удержать, вышел Йоргован из-под воли отца. Такое мнение — ему нож острый.

За свою родню он был спокоен, своя в обиду не даст. Своя горой за него стоит. Не раз приходилось

ему свою с чужой, жениной, замирать, бывало, целый год они в ссоре жили, а все из-за него...

И решил Бусуйок посоветоваться с умным попом, жениным братом.

— Ты его не трожь, — решительно заявил шурин. — Йоргован тебя не глупее!

И Бусуйок внял совету, оставил сына в покое, только поглядывал со стороны, как хозяйничает сын, смотрел и нарадоваться не мог.

Все же отпустил он Йоргована не сразу.

Сын, хотя и умен, но молод, неопытен в таких делах, да и не знает его никто, а Бусуйока знала вся округа, стоило ему сказать: «Я Бусуйок из Куртича» — и к нему бы сразу прислушались, за ним бы пошли. Но ведь и Йоргован мог назвать себя, был он сыном Бусуйока, а это ничуть не меньше. И Бусуйок отпустил его.

— Добро, сынок, — сказал он, — поезжай ты, только подбирай людей с умом.

Но мог ли Йоргован думать о жатве, так как отец, — разве не был он молодым двадцатилетним парнем? Плох тот парень, что не ищет, как бы повеселиться.

Йорговану жатва виделась торжеством, праздником, весельем, а для праздника нужны были парни веселые, задорные, затейливые, чтобы работа спорилась и не скучно было. И девушек, что идут за жнецами, подбирают колосья, надо было найти подходящих: ловких, крепких, голосистых.

В прошлом году с людьми повезло, парни подобрались на редкость работающие и, можно сказать, бесшабашные. Был среди них один волынщик и двое скрипачей, а один такой забавник, что всех смешил до упаду. Да и девчата подобрались под стать парням — ладные, бойкие, певучие.

Но вспоминая прошлогоднюю жатву, Йоргован видел одну лишь Симинову, лесовичку, дочь пономаря из Зимбру. Проработала она у Бусуйока до поздней осени, и на жатве, и на уборке винограда. Нашлась в доме Бусуйока работа и для нее, и для отца ее, и для еще двух-трех работников.

Но с Симиной Йоргован решил больше никогда не видаться. Запала она ему в душу так, что он покой и сон из-за нее потерял. Жалко только, что ни разу ее не поцеловал! И добро был бы он какой-нибудь пентюх, так нет же. Парень он был хоть куда, а вот

сплоховал. Как-то раз решился было ее поцеловать, обнял крепко.

— Разве пристало тебе силком меня целовать? — с улыбкой пожурила его Сими́на. — Коли я и так рада буду?

Он опешил и отступился. И больше ни разу не пробовал с ней заигрывать. А потом всякий раз, вспоминая, жалел. А чего жалеть? Можно подумать, что так он бы ее скорее забыл. Должно, еще больше присох к ней сердцем... Как бы то ни было, жалел он, что не поцеловал ее.

Бусуйок, думая о жатве, только о жатве и думал, ни о чем другом. И не мог он знать, какие мысли роятся в голове сына. И когда Йоргован сказал: «Храни нас бог!» и трижды перекрестился, то и отец сделал то же, но думали они о жатве каждый на свой лад.

— Бог помочь! — в свой черед произнес за хозяевами работник их Шофрон, но уж он-то думал лишь о деле, как бы половчей управиться с поручением да поскорей вернуться домой.

II

Бусуйок как в воду глядел.

Власти, конечно, ничего не могли поделать с народом. Да и мудрено бы! Лесовики, почитай, всю зиму только о лете и вспоминали, а как подошло время жатвы, у всякого встречного-поперечного спрашивали, как, мол, там внизу хлеба созрели или нет? Год выдался на редкость урожайный, и людям не терпелось дожидаться жатвы.

И настала пора, вызрели колосья, пришел час уборки.

В горах ни про какую холеру и не слыхивали. Да и слыхали бы, разве бы стали сидеть по избам? Хотя начальство и запугивало народ болезнями и мором, но разве кто послушает? Разве кого-нибудь этим удержишь? Рассуждали так: пусть, мол, власти себе пугают, на то они и власти, чтобы пугать, а мы поступим так, как нам ловчее и сподручней!

Пустели хаты горцев, струился поток людей вниз на равнину. Сельские заправи́лы, — в сущности, те же крестьяне, — смотрели на все сквозь пальцы и только, когда людей стало видимо-невидимо и лавину было не

остановить, доложили высшему начальству, мол, так и так, валом валит народ, нету сил с ним справиться.

По горной дороге, что бежит вниз обок реки Кришу-Алб, лилась людская река и разливалась по всей низине; часть направлялась в Пынкоту и дальше, другая, оставив позади себя село Ширию и город Арад, переправлялась через Муреш и заполняла широкие просторы Баната.

Путь вел через Ширию прямо посреди села и выводил за околицу, туда, где начиналась Кымпия.

Отсюда она простиралась.

Село Ширия раскинулось вдоль гряды гор, на которых внизу тянулись виноградники, чуть выше дикий кустарник, а у самых вершин начиналась темная полоса леса. На самой высокой горе из тех, что глубже всего вклинилась в Кымпию, виднелись развалины старинного замка Вилагэш, а уж оттуда можно было увидеть Кымпию во всю ее ширь.

Йоргован выехал из Куртича засветло, держа путь на видневшуюся сквозь дымку крепость Вилагэш, и то и дело понукал лошадей, будто куда-то опаздывал.

Шофрон в душе чертыхался: «Куда спешит? Куда торопится? На пожар?» Но ехал следом, стараясь не отстать от хозяйского сына.

И все же отстал.

Стемнело, Шофрон тащился где-то далеко сзади, а Йоргован все гнал и гнал лошадей.

Он словно старался настигнуть темные очертания гор, а они пятились, отступали; по бокам от дороги пылали костры выехавших в ночное мальчишек.

Была уже полночь, когда кони Йоргована достигли большого проселка, обок которого тянулись распаханые поля Ширии.

Пустился он в путь с думой о долгой дороге, с той же думой и ехал; перед глазами была все та же полуразрушенная крепость, и ему казалось, что он не двигается с места, поэтому-то все погонял и погонял коней.

Но ведь и он человек — устал, начал клевать носом, ослабевшие руки выпустили вожжи, и утомленные кони, почуяв свободу, поплелись шагом.

А возле села сонную одурь будто рукой сняло.

Еще дорогой чудились ему пенье, смех, музыка. И вдруг он увидел горящие повсюду огни и множество людей, сгрудившихся вокруг костров.

Он вскочил на ноги, чтобы лучше видеть, и хлестнул лошадей; кони, не привычные к кнуту, понесли, закусив удила. Люди у костров, испугавшись бешеной скачки, бросились коням наперерез, но Йоргован, слава богу, сам справился, остановил коней.

Он еще озибался, не понимая, куда попал. Что там за сборище? Ярмарка? Непохоже. Не было ни телег, ни балаганов, ни лавчонок. Лишь костры да люди. Солдатский привал? Тоже навряд ли. Откуда же столько женщин? Люди стояли, сидели, лежали, развалившись на траве. Вся округа полнилась голосами и пиликаньем музыкантов.

Вот так-так!

Несся Йоргован сломя голову, думал, придется ехать невесть сколько, а прибыл на место за два часа. Все оказалось рядом, под носом. Нанимай людей сколько хочешь! Он был разочарован.

Не торопясь, слез он с облучка, отстегнул постромки и намотал на торчащий в борту гвоздь ременные вожжи.

Он направился к ближайшему костру поглядеть, что там за праздник.

«Деньги у меня есть? — рассуждал он. — Есть! Знает меня кто? Нет! Да хоть бы и знали! Вот и погуляю на славу! Нельзя упускать счастье, если оно само плывет в руки. Дождусь вот только Шофрона, его с лошадьми на постоянный двор отправлю, а сам попозднее приду».

Шагнул и оказался в самой гуще народа, — кто на корточках, кто стоя, — люди слушали старика, что сидел на перевернутом бочонке, спиной к огню, где, потрескивая и вспыхивая, как порох, горели сухие сучья, старик пел о Новаке, пел по-своему, и Йоргован, любивший эту балладу, пожалел, что не может как следует расслышать ее из-за шума и гвалта. У соседнего костра под веселую игру двух скрипок, флейты и бубна какой-то ухарь-парень с пятью девушками лихо отплясывал «Арделяну», при этом он без умолку отпускал остроты и развлекал народ, так что это сборище всякий раз раздражалось громовым хохотом и тут же умолкало, боясь пропустить очередную шутку.

Йоргован пошел прочь от веселой компании и вдруг в одной из плясуний узнал Симину.

Нет! Не Симина! Тоже лесовичка, молоденькая, хорошенькая, а все хорошенькие лесовички к полуночи похожи друг на друга.

Не было здесь Симины, но она могла быть в другом месте, у другого костра.

Щемящее чувство горечи, тревоги, тоски, блаженства охватило его. В этом чувстве была терпкость перебродившего и еще не отстоявшегося вина.

Более полугода Йоргован заглушал в себе память о Симине, что преследовала его, не давала ему покоя, в конце концов ему удалось слегка успокоиться. Вспоминал он о ней без всякой тревоги, образ ее не вызывал в сердце сладостного и мучительного томления. Но сейчас все разом переменялось, и владело им то же чувство, что и в прошедшее лето и еще долгое время спустя.

Тогда он места себе не находил, плохо спал, лишился аппетита, не улыбался, не смеялся и работой не мог заглушить свою душевную муку. И все же был счастлив, что она рядом, и как только заходила речь об ее уходе, ему делалось во сто раз хуже и страшней. До чего же тяжело, когда хочешь не хотеть, чего хочется, и чувствуешь, что не хватает сил, потому что приходит то, с чем ты не в силах справиться.

И теперь все опять повторялось.

Его бил озноб.

Он не хотел с ней увидеться, он хотел ее видеть, смотреть на нее издали, тихо, неприметно, чтобы она его не заметила. Душа его была переполнена только ею, глаза узнавали ее — вот она. И он бежал туда, где она ему померещилась, но поняв, что обознался, опять видел ее чуть поодаль.

Он гнался за ней все быстрее, настойчивей, расталкивая людей локтями, пробиваясь через толпу.

— Ты кого ищешь, степная душа? — схватил его за плечо какой-то парень.

Йоргован оторопело остановился.

— Никого. Просто гляжу! — оправдывался он.

И ругал себя нещадно за проявленное малодушие.

Но как же в нем признали степного жителя?

Как? Да по одежде.

«Балда я, балда! — укорял он себя. — Ведь все горцы одеты каждый по-своему. Надо найти кого-нибудь из Зимбру и спросить, тут ли Симина».

Симина была далеко. Она осталась дома и не собиралась идти на жатву.

Выходит, искал он ее зря, догадаться бы сразу, не пришлось бы так долго бегать. И все же она продолжала ему мерещиться всюду, куда бы он ни взглянул;

будто насмотрелся на солнце, и оно, как ни жмурься, все еще слепит глаза.

На этом свете жила Сими́на, и забыть об этом он уже не мог; только что он боялся с ней встретиться, а теперь, узнав, что ему ее здесь не встретить, готов был скакать в Зимбру.

Подъехал Шофрон, увидел брошенную посреди дороги подводу, увидел взмыленных лошадей, оставленных зябнуть в ночи, и, чертыхаясь, отвел их в конюшню на постоянный двор, старательно обтер, задал корму и направился за околицу искать хозяина.

— Ну что?! Гуляем? — недобро спросил Шофрон, зевнув.

— Какое уж там гулянье? — буркнул в ответ Йоргован.

До чего же медлительными казались ему горцы! Веселы, слов нет, пляшут, гикают, хохочут, но Йорговану хотелось веселья неистового, безумного, сродни тому безумию и неистовству, что завладело им самим.

Напрасно! Нет вина, и веселья настоящего не дождешься.

— Эх, гулять так гулять! — внезапно крикнул он. — Тащи, Шофрон, ведро вина! А компания сама отыщется!

Не одно ведро, а два и три и больше ведер вина мог выставить сын Бусуйока. А что желающие отыщутся, сомневаться не приходилось — отыщутся желающие.

В серых рассветных сумерках продолжали плясать парни, а Йоргован, сидя на бочонке спиной к костру, хлопал в ладоши и покрикивал:

— Хоп! Хоп! Давай! Давай!

Раз, от силы два, приложился он к стакану с вином, но был пьянее пьяного.

Вдруг к горлу подступил комок, глаза наполнились слезами.

— Все! Баста! Погуляли! — резко выкрикнул он, вскочил и ушел.

III

В свои тридцать лет Шофрон повидал всякого: служил он солдатом императорской армии, служил в батраках у разных хозяев — и усвоил одно золотое правило, делай, что прикажут, и помалкивай.

Пока в ведре оставалась живительная влага, он пил свою долю, пил, что ему причиталось, и выпить ему

пришлось немало. С виду неказистый, и роста далеко не богатырского, был он, однако, крепкий, кряжистый, и принадлежал к той породе людей, которых ни вином, ни дубинкой с ног не собьешь. Однако когда возвращался он в село, на постоялый двор, земля под ним качалась, накрываясь то влево, то вправо, и дорога казалась ему узковатой.

У конюшни он остановился, стараясь держаться, как можно прямее.

— Кажись, перебрал я малость, — признался он себе. — Перебрал и даже не малость, но чтобы пьяным быть, ни боже мой!.. Хороший хозяин Бусуйок, и Йоргован парень правильный, а уж хозяйка, дай ей бог здоровья, добрая душа... и все же... осенью уйду я от них... женюсь и уйду... Это как штык!..

Шофрону и впрямь пора бы жениться. Он и денег поднакопил, и попросил Бусуйока отдать их в рост. И место для дома купил в Куртиче. Все у него было на мази. Бусуйок даже соглашался быть посаженным отцом на свадьбе, одного недоставало, пустяка, малости — подходящей невесты. С пьяных глаз он теперь готов был жениться на первой встречной, весь мир был ему люб, и невеста подходила ему всякая.

— Доброй ночи! Как поживаете? — спросил он, войдя в конюшню.

— Спасибо! Помаленьку! — ответил он сам себе, поскольку лошади, как известно, не слишком словоохотливы.

— А жевать у вас есть что?

— Это уж вы сами поглядите.

— Что ж и поглядим! Полный порядок! — отрапортовал он по-военному, убедившись, что корма достаточно.

Но порядок был не совсем полный, так как коренной по кличке Лисун из упряжки Йоргована захандрил и отказывался от еды.

Шофрон было взял его за уши и хотел насильно подтянуть к кормушке, но тут же и окоротил себя:

— Эй, Шофрон! Ложись-ка спать! Для такого дела нужна ясная голова! Нечего горячку пороть! Утром поглядим!

Он улегся прямо у дверей конюшни головой на приступок и тут же заснул, и разулыбался во сне.

Казалось, спать ему до второго пришествия без пробуждения, но лишь выглянуло из-за гор румяное

солнце, он как ни в чем не бывало поднялся, напился воды, напоил лошадей и отправился за околицу поглядеть, какой-такой народ там скопился и годится ли он внаем.

Шофрон был и сам родом горец, умел с горцами разговаривать и думал, что быстрее Йоргована столкнется с ними. Однако не столкнулся.

Одни, — а таких было большинство, — налаживались идти до Баната, где нехватка рабочих рук и потому платят больше, другие просили погодить, покуда они узнают, сколько денег запрашивать; третьи, хоть и соглашались тут же взяться за работу, но заломили такую цену, что уму непостижимо: им и за издержки уплати, и за дорогу, и за «рыск», потому как кому охота задарма околевать от холеры. Они упирали на то, что урожай нынче богатый, так что скупиться нечего.

Может, Шофрон и столкнулся бы с ними и цену слегка сбавил, да не было подходящей артели.

Бусуйок строго определил, сколько ему требуется жнецов, сколько вязчиков и других рабочих, чтобы в три дня управиться. Наметить-то он наметил, да лесовики-то все по-своему раскладывали. Артели их были большие и малые, в одних было человек пять, а в других доходило до ста. На артель из восьми человек приходился один волынщик, один скрипач и один мальчишка подручный, что носит за работниками воду для питья. Над каждой артелью стоял выборный, он за всех и решал, наниматься им или нет, а найти людей вразнобой было хлопотно и невозможно. Никто из работников выходить из артели не хотел, все привыкли держаться со своими сельчанами вместе. Понапрасну Шофрон уговаривал одного, другого, битый час потратил, так ничего и не выторговал. А нанять целую артель купно тоже не получалось, поскольку в одной избыток жнецов, в другой излишек вязчиков, а то и слишком много музыкантов да подручных. Словом, никак по-намеченному не получалось, а Бусуйок строго-настрого наказал взять на всю артель только одного волынщика, одного скрипача и двух подручных. Шофрону же попадались артели с двумя-тремя волынщиками, двумя-тремя скрипачами да еще кучей подручных из пяти-шести человек, никак не меньше.

«Йоргован — хозяин, ему и решать», — досадливо отмахнувшись, подумал Шофрон и ни с чем вернулся на постоянный двор.

Однако Йоргован еще спал, и Шофрон окончательно раздраженный ушел в конюшню. Тут его ожидала новая неприятность. Лисун, заскучавший, стоял, понутив голову и опустив уши, изо рта у него шла слюна.

«Ах ты, беда какая! — Огорчился Шофрон. — Загубил лихач коня, и какого коня! Мало того, что загнал скотину, еще и оставил взмокшего посреди дороги! Хозяин называется! А теперь, чай, дрыхнет без задних ног!»

Но высказать все это вслух он бы не посмел, потому как Йоргован не потерпел бы, чтобы какой-то работник смел ему указывать, как поступать. Но Лисуна Шофрону было жаль до боли, и он отправился будить Йоргована.

Йоргован и не спал, и не дремал, и не бодрствовал; он лежал с закрытыми глазами, но сна не было ни в одном глазу, лежал и думал. Проснулся-то он по привычке рано утречком, вместе с Шофроном, но не встал — муторно было на душе, не хотелось видеть тех, с кем гулял ночью, хотелось бежать и от них, и от себя, и он старался закрыть глаза, никого не видеть, ничего не помнить.

Он сердито глянул на Шофрона и промывчал недовольным голосом:

— Чего тебе?.. Коня? Какого коня? — процедил он сквозь зубы, узнав в чем дело. — Ну а тебе-то что? Тебе, что ли, убыток? Без тебя на душе тошно! Ну и бог с ним, с конем! Видно, судьба у него такая посередь дороги околеть...

Он опять глаза закрыл, будто хотел спать вечно и белого света не видеть.

Но не мог он больше спать!

Не из-за коня! Большое дело — конь! Не в коне дело! Но начиналось все с невезенья. Хотя Лисуна было по правде жаль и виноватым он себя чувствовал.

Но признаваться Шофрону, что виноват, ему не хотелось. И вставать не хотелось. Говорить тоже не хотелось. А Шофрон стоял над душой и не уходил.

— Ну, чего ты там высмотрел? — спросил Йоргован, повернув голову к Шофрону и приоткрыв щелочки глаз.

— А ты поди и сам погляди.

— Есть люди или нету? — враз посуровел Йоргован.

— И есть, и нету.

— Коли дело спрашивают, отвечай толком! — не на шутку рассердился Йоргован и приподнялся на локте. — Был ты там? Разговаривал с людьми?

— Вроде был, а мог бы не ходить, — опять уклончиво ответил Шофрон. — Нету подходящей артели, какая Бусуйоку надобна, по селам искать надо.

Йоргован неожиданно обрадовался. Еще минуту назад вставать ему не хотелось, а тут враз оживел, вскочил на ноги, — готов ехать в любую даль, хоть к черту на рога.

— Запрягай! Сейчас и тронем! — сказал он работнику и пошел расплачиваться за постой.

Шофрон запряг в свою телегу трех, а в телегу Йоргована двух лошадей.

Йоргован и с парой сидел так, будто у него тройка. Или он не сын Бусуйока, чтобы из-за коня терять голову? Но человек, он человек и есть.

— А со шкурой как же? — спросил он.

— На обратном пути заберем, — деловито ответил Шофрон.

— Ладно! Поезжай вперед!

И Шофрон съехал со двора первым, а уж Йоргован после него.

«Ну дела, — удивлялся, пожимая плечами, батрак. — Сглазили его, что ли?..»

IV

К вечеру, в сумерках прибыли в Чилу и остановились у местного знакомого мужика Юцы. Йоргован все у него повыспросил и просил нанять для него работников, а Шофрон уже спал у дверей конюшни, положив голову на приступок.

— Постарайся, чтоб завтра люди все были, — сказал Йоргован мужику.

— К завтраму и будут, — пообещал Юца. — А не найду у нас, в Чиле, подамся в Дулчелу или Зимбру. Будут к утру люди.

Йоргован обомлел.

— В Зимбру? — недоверчиво переспросил он. — Не далеко ли?

— Почему ж далеко? Рукой податы! — отозвался Юца. — Проселком до Иосаша, а там через долину и в Зимбру. За час управлюсь.

— Ну ладно, тебе видней. Поезжай! — поторопил Йоргован, охваченный нетерпением.

Оставшись один, он заходил по огромному пустынному двору.

Если до Зимбру всего час пути, кто мешает ему отправиться туда немедленно? До утра бы обернулся, и Шофрон бы не узнал. Правда, лошади сильно притомились, надо бы дать им отдых. И так он одну уже потерял. Да и Шофрон поперек дороги у дверей разлегся.

Наваждение какое-то! Куда несет его? Куда несет среди ночи? Зачем? Чтобы только ее увидеть? Да что она ему? Ничего! Несчастье на его голову эта лесовичка и ничего больше! Но встретилось ему это несчастье, и он беззащитен, надумал в путь пуститься и раздумать не может — все, все кругом — зеленоватый свет луны, ночная прохлада, тени облаков, блуждающих по небу, тени деревьев, стелющихся по земле, — все торопит его скакать сломя голову в Зимбру...

«Спать ложись, спать!» — внушал он себе и твердой походкой зашагал к высившейся в глубине двора копне сена, подгрел под голову охапку, лег и закрыл глаза.

Столько опасных обольщений готовит для нас по временам сон.

Измученный донельзя Йоргован заснул, но сон повлек его сморенного на давно чаемый путь. А кому не ведомо, что во сне все пути вдесятеро короче: не успеешь выехать, глядь — приехал... Йоргован вскочил и в недоумении огляделся — нет, приснилось ему, что и в самом деле прибыл он туда, куда собирался. Встал и пошел на конюшню.

Сон все томил, не отпускал, и сам Йоргован не понимал хорошенько, во сне это все с ним или наяву.

Шофрон всполошился, схватив вора.

— Очумел ты?! Спи! — оттолкнул его Йоргован.

— Ты что? Никак собрался куда?

— Спи! Уезжаю жнецов нанимать.

Он вывел лошадь из стойла; Шофрон опять улегся головой на порог и заснул безмятежно и крепко.

«Никогда еще ни за какое дело я не брался с такой охотой», — подумал Йоргован, выехав из села.

Путь до Йосаша и при свете дня чарующе красив, а ночью при лунном свете, будто волшебный сон. А за Йосашем Йорговану, выросшему среди голых равнин, открылась страна, полная чудес.

Узкой ложиной бежала веселая горная речушка, а за ней темнели пашни, сады, луговины, а еще дальше начинался лес, глухой, плотный, дремучий. Над самою дорогою, что струилась по-над речкой и лепилась к крутизне, нависали порой замысловатые скалы, отливающие синевой с одиноко торчащими на них вкривь и вкось редкими березками.

Светало. Проснувшиеся птицы перепархивали с ветки на ветку, гомонили, щебетали, свистели; всполошилась пугливая птаха-сойка, оглашая окрестность паническим криком, и, успокоившись, хитро подладилась под чоканье дрозда; ворковали горлицы; деловито и неторопливо постукивал дятел, и, радуясь утру, затоковал не в пору тетерев; а соловей, то ли щеголяя перед пришельцем, то ли вдохновленный наступающим рассветом, сопровождал Йоргована, показывая свое не сравнимое ни с кем певческое искусство.

Если бы Йорговану, исконному жителю однообразных степей, стали рассказывать про все эти красоты, он счел бы их небывальщиной да еще посмеялся бы над рассказчиком, впрочем, и теперь, глядя по сторонам, он не верил самому себе — такое великолепие открывалось его взору. Дорога, вопреки посулам Юцы, протянулась не в час длиной, а в два, а то и в три часа, хотя Йоргован беспрестанно погонял коня, будто дал себе зарок попасть в Зимбру до света.

Лощина все ширилась, раздвигаемая отступающей темнотой.

Обозначилась впереди гора Мома, сплошь поросшая лесом по крутизне и усеченная справа скалистым утесом, а слева на плоском отлогом холме раскинулось село с церковью и притулившимся возле него кладбищем.

Йоргован остановил коня и готов был повернуть обратно.

Вот она Симиная, рядом!

Но что сказать ей? Как повести себя с ней? Как объяснить свой приезд?

Не мальчишка же он, чтобы сказать, что проделал такую дальнюю дорогу из любви к ней? А может, соврать, что очутился в этих краях случайно?

Он терялся в догадках, что говорить и чего не говорить.

Симиная давно уже сидела за ткацким станком и водила туда-сюда челнок без остановки, ведь не секрет,

что усердие ткачихи измеряется лишь локтями вытканного суровья.

Някшу, отец девушки, с самого утра подался в лес, поискать подходящего деревца для ярма, а дочка одна-одинешенька сидела за ткацким станком во дворе под навесом.

О смерти скорее думала Симиная, нежели о Йорговане. Слов нет, было время, когда думала она о нем дни и ночи, и в то время, думая о нем, она плакала. Но девушка не парень, не скачет сломя голову на край света вслед за шальной мыслью, а сидит себе в уголке потихоньку, ждет и плачет, а мысль, коль не гнаться за нею следом, улетает, а как улетит, то и не плачется больше. Глазки высыхают: все прошло, быльем поросло.

И у Симиной так было, хоть была она красавица. И знала сама об этом. С самого детства она свою красоту чувствовала, а когда выросла, то и слышать стала, до чего хороша. Ей и в зеркальце незачем было глядеться: хватало восхищенных взглядов. Такие красавицы сами обычно выбирают себе парня по вкусу, однако не Симиная выбрала Йоргована.

А случилось это вот как! Все парни увивались вокруг Симиной, а Йоргован в стороне держался. Редко-редко когда обронит два-три слова, и по этим случайным словам она одна могла догадаться, нет, не о любви вовсе, а о глухой затаенной боли, которую носит в себе человек и скрывает от всех. Так это и шло все три летних месяца, а перед ее отъездом он и вовсе три дня домой не показывался, только бы с ней глаза в глаза не прощаться.

Так что, увидев, как он открывает калитку, она оставила работу, потихоньку положила челнок на ткань, встала и, не отрывая глаз от Йоргована, перекрестилась.

Будто вспышка молнии,— и она та же, что и год назад,— готова закрыть глаза и припасть к его груди.

А он шел спокойно и улыбался, словно они только вчера расстались.

— Что? Нежданный гость? — спросил он, остановившись в двух шагах от нее и на нее не глядя.

— Нежданный,— пробормотала она, а сама вся дрожмя дрожит и никак унять дрожь не может.— Однако милости просим...

— Приехал на жатву тебя звать...

— На жатву? — как эхо повторила она.— Не собирався батя в нынешнем году на жатву...

— Может, ты собиралась? — спросил он.

— И я не собиралась, — твердо сказала она.

— Счастливо тогда оставаться, — глухо произнес Йоргован. — Может, так оно и к лучшему...

— Может, и к лучшему, — опять как эхо повторила она и вдруг заплакала.

Йоргован закусил губу и отвел глаза в сторону — разбить бы сейчас чего, сломать, сокрушить, только бы не видеть ее заплаканного лица, он закрыл глаза, чтобы его не видеть, потому что чувствовал — увидит и зайдется от жалости, обнимет, подхватит на руки, только бы не плакала.

— Не смотри, дома нет никого, — сказала она, — а и был бы, мне не стыдно плакать.

— Чего ж ты плачешь? — ласково спросил он и подступил вплотную к ней. — Нешто я приехал глядеть на твои слезы?

— А почему мне знать, зачем ты приехал? — ответила девушка, садясь за станок и отворачиваясь.

Йоргован стиснул руки так, что костяшки побелели, потом, решившись, тихонько тронул ее за рукав.

— Сими́на! А Сими́на! Успокойся ты. Я и так голову потерял. А так!..

Она вытерла слезы и повернулась к нему.

— Я все спросить тебя хотела, — начала она, — и не знаю, почему не спросила, — что же все-таки тебе от меня надо?

Он пожал плечами.

— Ничего не надо! Знаю только, что полюбил я тебя и свет мне больше не мил...

— Скаредная у тебя любовь, — покачала она головой. — Меня любишь, и мне же от тоски сохнуть?..

— Выходит, что так... — согласился Йоргован. — Да, так оно и выходит...

— Коли так, оставь меня в покое.

— А ты меня в покое оставишь? — в свой черед спросил он.

Она долго смотрела на него, но сказать ничего не сказала.

— Чудно как выходит, — смущенно проговорил Йоргован. — Не у тебя во мне нужда, а у меня в тебе, но, может, это и к лучшему...

Он бы и больше сказал, и она бы больше спросила, но не хотелось ему разговаривать, а ей слушать, — хотелось почувствовать... Так и молчали оба: она, сидя

за ткацким станком, он, прислонясь к стояку навеса. И было им о чем молчать друг с другом. В таком виде и застал их вернувшийся домой Някшу.

«Это еще что?» — подумал он недоуменно, поглядывая на Йоргована и не зная радоваться ему или огорчаться.

Но ни о чем другом не было речи, кроме как о том, чтобы вместе с Симиной отправиться в Кымпию на жатву.

Някшу задумался.

Дочка у него единственная, и если ей не потакать, то кому же? А с другой стороны, как одному в такой долгий путь пуститься? Сроду он в одиночку в чужие края не хаживал, а теперь и подавно не время. Кто знает, что может с человеком приключиться дорогой? Да видно, именно в этот путь идти ему одному без сотоварищей из села.

С грустью оглядел он свое небогатое привычное хозяйство: дом, двор, ткацкий станок под навесом и верстачок с плотничьим инструментом, служивший ему многие годы, сливовый сад, посаженный и выращенный собственными руками.

— Придется идти! — сказал он сыну Бусуйока. — Нужно и это сделать, чтобы не упрекнули, что не сделал, — добавил он совсем тихо, уже для самого себя.

Йорговану стало не по себе; чувствовал он себя, как поп, надевший епитрахиль, да вдруг забывший какую литургию служить.

Хотелось ему сказать: «Ежели не можется, не езжайте!»

Но и на такое у него не хватило духу.

Он вскочил верхом и умчался обратно в Чилу, уговорившись, что они доберутся туда своим ходом, только до Чилы, разумеется.

По дороге Йоргован не раз останавливался в раздумье, готовый скакать обратно в Зимбру. В Чиле нетерпеливо прохаживался по двору, беспокойно посматривал в ту сторону, откуда только что прибыл, и опасаясь, как бы его нетерпения не приметил Шофрон.

Будто у батрака только и делов, что за хозяином присматривать.

Шофрон и на Симины поначалу внимания не обратил, лишь потом разглядел, ахнул и понял, что навек погублена его молодая жизнь, и ничего больше ему не

хотелось, как только спрятать ее подальше от глаз людских и одному на нее любоваться.

— Ты, сестричка, садись ко мне на облучок,— предложил он, когда стали рассаживаться, вылез из подвоты, достал из-под лавки кусок дерюги, расстелил на доске рядом с собой, чтобы девушке было мягко сидеть.

Симина замялась было в нерешительности, покосившись на Йоргована, но потом влезла в телегу Шофрона и села с ним рядом на дерюгу.

Йоргован видел и это, сердце у него упало, но не перед слугами же свою слабость показывать. Весь путь до дому он утешал себя тем, что она неподалеку и он может смотреть на нее, сколько захочет.

Симине же хотелось забиться куда-нибудь в уголок и выплакаться всласть.

V

Была у Бусуйока, доставшаяся ему от отца в наследство, ветряная мельница. Мельница всегда дело доходное, а уж в Куртиче, откуда и за сутки ни до какой речки не доберешься, и подавно. Но со временем ветряк пришел в негодность, расшатало его ветрами, развалило дождями. Бусуйок и чинил его, и латал, да все без толку. Спасибо, шурин надоумил купить маленький паровой моторчик. Паровичок работал на соломенном топливе, летом его можно было приспособить к молотилке, а в остальное время исправно служил на мельнице, обновленной и переделанной из прежнего ветряка.

Истопником при паровичке был мужичонка лет сорока по прозвищу Удод; маленький, тщедушный, с большой головой и глубоко посаженными глазками. Был он не то, чтобы совсем дурак, но с изрядной придурью, языком молот без усталости и все глупости, ходил, переваливаясь с ноги на ногу, ровно утка, словом, самый что ни на есть — Удод.

Был он подкидыш. Родила его какая-то незадачливая мамаша на мельнице и бросила; тут он и вырос, но об этом в селе давно забыли и поговаривали, будто приходится он Бусуйоку родней, чуть ли не братом родным. Вел он себя с хозяином и вправду запанибрата, чего Бусуйок ни от кого бы другого не потерпел. Все прощал он Удоду, и капризы, и дурь. Для мельницы Удод был работник незаменимый, привязан к ней был

как к дому родному, жить без нее не мог, да и Бусуйок не представлял себе мельницы без Удода.

Да и кто, кроме Удода, прижился бы на мельнице: ел он что придется, спал на чем ни попадя. Однако стоило Бусуйоку справиться себе новые штаны или жилетку из темно-синего сукна, как Удод требовал и себе точно такую же, а иначе грозил уйти.

Но до щегольства ли на мельнице, где кругом пыль да мука, копоть да мазут, и Удод был замурзанный до ужаса — словом, черт из-под печки и то краше.

Понятное дело, работы у него непроворот, и не до этих ему глупостей, однако нет-нет, да и найдется кто-нибудь, кому делать нечего, и примется над ним потешаться, зля его до крайности.

Только Йоргован съехал со двора, Бусуйок принялся готовиться к жатве: приказал смолоть остатки прошлогоднего зерна, расчистить место для нового в амбарах и на гумне, приготовить заранее молотилку, ведь молотить придется не только для себя, но и для людей. На мельнице круглый год былолюдно, мужики из всех окрестных деревень мололи у Бусуйока зерно.

Среди этого люда и терся постоянно Удод, от него выучился всяким непотребным словам, от него набрался забавных историй и потом, сияя от удовольствия, по нескольку раз на день пересказывал их приезжающим на мельницу, щеголяя своей осведомленностью и словесным богатством. Истории бывали порой преглупые, но слушатели хохотали до упаду, посмеиваясь не столько над самой историей, сколько над безмозглым рассказчиком, однако слушали, одобряли и похваливали, умирая со смеху, а он, бедный, принимал их похвалы за чистую монету и пыжился от удовольствия.

Но вот как-то Вэригэ, свой же куртичский мужик, дожидавшийся своей очереди на мельнице чуть ли не два дня и несколько раз слышавший одну и ту же дурацкую историю, не выдержал и накинулся на несчастного истопника.

— И не надоело тебе, Удод, ерунду пороть? Глянь, на кого ты похож!

На Удода Удод не обиделся, кличка у него была вместо имени, а рубаху свою принялся разглядывать и сильно засмущался.

— На кого похож? — жалобным голосом спросил он, оглядев собравшихся и надеясь, что кто-нибудь за него заступится.

Мужики силились не засмеяться, но как удержишься, когда стоит Удод и свою линялую, промасленную и грязную рубашку разглядывает, а рубашка у него на голое тело надета, и все на него стоят и смотрят, нет, не удержались и прыснули неудержимым смехом.

— Ах, вот вы как! — в бешенстве закричал Удод, отряхнул руки от мучной пыли, выскочил на двор, уселся на чурбан и надулся как мышь на крупу.

А уж если Удод обижался, то крепко и надолго.

Мужики, памятуя о своих интересах, бросились его утешать и улещивать, уверяя, что Вэригэ ляпнул, не подумав, в шутку, и что нельзя, работая на мельнице, не испачкаться, но Удод и слушать не хотел и отвечал, что у него своя голова на плечах и он лучше понимает, где шутка, а где сурьез: больше он Бусуйоку не слуга, ежели тот не может его одеть по-людски. «Работаешь, работаешь как вол, а тебе даже подходящей одежки справить не могут». Вот уйдет он с мельницы и тогда видно будет, сможет ли Бусуйок без него управиться?

И пошел он в село, стал бродить по дворам, жалуясь всем встречным и поперечным на несправедливость, и клялся, что ноги его больше не будет на мельнице Бусуйока.

Так бывало всегда: обидевшись до смерти, Удод убегал в село, ходил по дворам и жаловался на хозяина, потом, поостыв и изголодавшись, возвращался в дом Бусуйока с повинной головой. Вот и теперь бродил он по улицам, заходил то в один двор, то в другой, объявляя всем, что окончательно рассорился с Бусуйоком, и люди, зная его дурь, молча кивали и поддакивали, чтобы утешить его, только ребяташки, беспощадный народ, понимая, что голоден он, бегали за ним по пятам и громко дразнили: «Удод, хлебушка хошь?» И знали наперед, что скорее околеет он с голоду, чем возьмет незаработанный кусок хлеба.

Так и бродил он по селу, пока раскаянье окончательно не овладевало его душой, а голод не сосал так, что сил не было терпеть.

А Бусуйок в это время ходил мрачный и насупленный, не зная на ком сорвать зло, и изо всех сил сдерживался, чтобы в самом деле не сорваться. Он, хоть и негодовал на Удоду, все же жалел его, как жалеют неразумных детей, и готов был с кулаками защищать его от обидчиков.

Но приходилось терпеть и ждать, пока несчастный сам явится.

Целую ночь таскался упрямец по улицам, бормоча свои обиды, а к обеду другого дня стал ходить кругами около дома Бусуйока, стыдась и не решаясь войти во двор. Пополудни наконец калитка тихонько приоткрылась и беглец явился, жалкий, потерянный, как побитая собака.

— Вика! Иди привечай гостей! — крикнул Бусуйок жене, отвернувшись досадливо и боясь неосторожным словом сделать несчастного еще несчастнее.

Вика вынесла из дому каравай хлеба и пошла навстречу Удоду.

Удод при виде ее всплакнул, плюхнулся на колени и стал бить головой поклоны и целовать землю. Потом он чуть ли не вырвал из рук хозяйки каравай и радостно засемянил к себе на мельницу.

Не успел он скрыться с глаз, как ворота распахнулись и во двор въехали две подводы с нанятыми работниками — вернулся Йоргован.

Бусуйок было поспешил ему навстречу, но застыл на полдороге. Порадовал сынок отца, нечего сказать! В Йорговановой упряжке вместо трех лошадей было две, Бусуйок как увидел, муторно на душе сделалось, хотя он и старался виду не подавать.

Ладно! Будет одной лошадей меньше!

Не ссориться же с сыном из-за какой-то лошади! И все же...

Как мог такой благоразумный хлопец, как Йоргован, остаться без лошади? Лошадь просто так не теряют. Без причины ничего не случается. На все есть ответ. И Бусуйоку страсть как хотелось разгадать этот секрет, ведь не случайно же человек потерял крепкого, выносливого коня?

И Бусуйок мигом разгадал причину: причина, можно сказать, сама лезла в глаза. Не такая девка была Симина, чтобы остаться незамеченной. Как только Бусуйок ее приметил, его бросило в жар и холод.

Мигом он все понял и все упорядочил. Лишь человеческий разум способен мгновенно распутать такой сложный клубок нитей и ухватить за ту одну-единственную ниточку, которая помогает распутать весь клубок. И Бусуйок за нее ухватился.

Еще в прошлом году приметил он, что Йоргован поглядывает на смазливую зеленоглазую лесовичку, и

было бы странно и огорчительно для отца, если бы сын этого не делал. Девка была хоть куда — истинная при-манка. Но что сын целый год будет о ней помнить и думать, не пожалеет коня из-за нее, такого Бусуйок пред-ставить не мог. Ведь Йоргован, пожалуй, и за жнецами вызвался поехать, лишь бы прихватить и эту кралю.

Тут было о чем задуматься.

Целых два дня ухлопал, чтобы привезти лесовичку.

Ай да молодец! Ничего не скажешь, обвел отца вок-руг пальца.

Бусуйок чувствовал себя обманутым, и досаднее все-го было то, что обманул его не кто-нибудь, а собствен-ный любимый сын.

Удружил родному отцу, порадовал старика.

Как назло все неприятности навалились разом в один день. То Удод, то Йоргован. Недаром люди гово-рят, беда одна не ходит, другую приводит. Ну, беда не беда, а огорчение все же изрядное: загубить такого ко-ня. И было бы из-за чего, из-за девки! Тьфу ты, будь она неладна!

Ай да сынок, ай да Йоргован!

Бусуйок поманил к себе Симины.

Симина отряхнула платье, пригладила волосы и по-дошла к Бусуйоку, гордая, статная, красивая, она слегка поклонилась хозяину, поцеловала ему руку.

— Здравствуй, здравствуй! — остался ею доволен Бусуйок. — Давненько не виделись. Ну зайдй в дом, по-радуй хозяйку! Вика! — крикнул он жене. — Глянь, кто приехал!

Он поздоровался за руку с Някшу, спросил о здоро-вье, а Симина той же горделивой походкой направи-лась в дом.

Йоргован, казалось, ничего не замечал или не обра-щал внимания, зато Шофрон даже весь затрясся при виде такой картины.

За семь лет работы сколотил он небольшой капита-лец и препоручил Бусуйоку отдавать в рост надежным людям. Кроме того, были у Шофрона два югера земли, купленные по случаю, один под пшеницей, другой под кукурузой. Шофрон весьма гордился своим достатком, но по сравнению с тем богатством, которое явилось в лице Симины, все его сбережения были ничто, и он готов был бросить их к ногам этой девушки, сжечь все, как пук соломы, вели она радоваться с ней вместе тако-му костру.

— Коней выпрягай! — приказал ему походя Йоргован, удивляясь, что стоит он разинув рот и сам не догадается приступить к своим обязанностям.

Шофрон даже не удостоил его взглядом.

— Сам выпрягай! — огрызнулся он. — Мои, что ли, лошади?

У Йоргована глаза на лоб полезли, он даже по сторонам огляделся, не слышит ли кто?

— Недосуг мне с тобой лаяться, — сказал он достаточно миролюбиво, сам выпряг лошадей и повел на конюшню.

— Стой! — резко остановил его Шофрон, вырвал из рук поводья. — Не видишь, запарились кони, остудить надо.

Он повел их по двору, норовя пройти перед крыльцом дома.

Лошади были хозяйские, а Йоргован — сын хозяина и волен был поступать с лошадьми, как ему заблагорассудится, никто не мог ему указывать, но батрак был прав; лошади запарились, и Йоргован уступил, выпряг из Шофроной повозки коней и тоже стал их водить перед домом, как это делал Шофрон.

Так и ходили они кругами, один за другим, ведя под уздцы лошадей и поочередно поглядывая на крыльцо, где должна была с минуты на минуту появиться горянка. Йоргован молил бога, чтобы случилось это как можно позже и не вышла она прежде, чем поставит он в стойло коней; Шофрон был готов прогуливаться до темноты, до утра, лишь бы дожидаться Симины: не хотел он дать возможность Йорговану уйти в дом, увидаться с ней наедине. Йоргован нервничал, выказывал нетерпение, Шофрон же был спокойней спокойного и давал понять, что спешить некуда. В конце концов не выдержав, Йоргован первым повел лошадей в конюшню.

Шофрон хотел было опять воспротивиться, но на этот раз правда была не на его стороне, и он смолчал, уступил воле хозяина.

Из конюшни крыльца видно не было, Шофрон торопливо привязал лошадей, задал им корму и тут же вышел во двор.

Батраков у Бусуйока было предостаточно, было кому коней распрягать, кому их выгуливать, кому в стойло ставить. Сыну Бусуйока незачем всем этим заниматься, но делал он это по своей охоте. Симины все еще оставалась в доме, все еще разговаривала с хозяйкой, и Йорго-

ван помог батраку поставить подводы под навес. Мог еще осмотреть хлев, навестить волов, да и мало ли какая работа могла найтись для умелого хозяина в таком большом дворе, каким был двор Бусуйока. Мало ли как можно было скоротать время, покуда выйдет из дому зеленоглазая дочь лесов — Сими́на.

Стало быть, ошибся Шофрон, не торопился Йоргован уйти в дом.

Но как бы ни были неотложны дела хозяйские, главным все же оставался долг перед отцом и матерью. Целых два дня не было Йоргована дома, целых два дня не видался он с родителями и, вернувшись, даже не поздоровался толком, не перемолвился с ними ни словечком. Как ни тяжело ему было, а пора было идти в дом.

Ох, и тяжело давалось ему это возвращение.

Опасался он, как бы родители не подумали, что привез он в дом невесту, будто так он ее крепко любит, что, ни с кем не посоветовавшись, привез и хоть завтра готов под венец. Но все же зачем-то привез же он ее?..

Эх, лучше бы он этого не делал!

Но Йоргован не хотел, чтобы о нем подумали, будто он не хозяин своим поступкам, будто прячется от родителей, боится теперь показаться им на глаза, и скрепя сердце твердым шагом отправился он в дом.

Шофрон поглядел ему вслед, так затравленно смотрит человек, когда несется на него лавина, а ему податься некуда, и спасения нет. Так он и остался стоять в дверях конюшни, прислонясь к косяку, будто ждал, не загорится ли над ним крыша, не рухнет ли кровля...

«Что же ты со мной творишь, господи!» — взмолился он, вошел в конюшню и взялся за вилы.

Но руки тряслись, работать не было сил.

Впервые случилось с ним такое, не иначе, как приворожила его лесовичка. Он отшвырнул вилы и опять вышел во двор, но в безделии еще большая тоска овладевала сердцем. И была она такой мучительной и тяжелой, что, казалось, по воздуху подкрадется к той, что сидела в доме, подкрадется и выманит ее на двор, чтобы спасти человека от боли.

И впрямь, будто на зов его тоски, Сими́на вышла из дому, задержалась на крыльце, огляделась, словно искала кого-то. Двор был пуст. Разбрелись по углам работники, приехавшие вместе с ней.

На сердце у Шофрона полегчало, тревожиться ему больше вроде бы не было причины. Сими́на была тут, и то,

чего он боялся, не случилось: не осталась она там вместе с Йоргованом. Шофрон и глядеть-то на нее не старался, слава тебе господи, насмотрелся за долгую дорогу, пока сидела с ним рядом лесовичка на облучке, мягко застеленном сермягой. Видя, что ищет она своих, Шофрон молча указал ей, махнув рукой в ту сторону за конюшню, где у стога и под навесом располагались на ночлег прибывшие работники. И она даже не поблагодарила человека, с которым ехала всю дорогу, пристроившись на его сермяге, теперь будто чураясь его, так же молча пошла, куда он указал.

Ничегошеньки не спросила, так молча и ушла.

Шофрон облегченно вздохнул, поднял голову и постоял еще чуток, всматриваясь в заволоченное тучами небо, на котором блекло обрисовывался контур месяца, но вскоре месяц совсем спрятался, стало темно, а батрак все стоял, не уходил и глядел на светящиеся окна дома: на душе у Шофрона все же было беспокойно.

Все ожидал он чего-то и сам не понимал — чего? Может, боялся, что выйдет во двор Йоргован и направится в тот угол, куда ушла девушка? Вот и караулил хозяйского сына?

Сам Шофрон гнал от себя эту мысль, старался думать о прошлом и постепенно отвлекся, замечтался.

Да и как мог бы он помешать Симиной встречаться с Йоргованом?

Не было у него для этого никаких возможностей! От одной лишь мысли, что они могут встречаться, Шофрона знобило и по спине пробегал неприятный холодок. Но все же Йоргован был сыном Бусуйока и хозяином в доме, а Шофрон слугой Бусуйока, и где уж ему с Йоргованом тягаться?.. Пока ехали, Симиная рассказала Шофрону, что в прошлом году чуть ли не три месяца она провела в доме Бусуйока. И в нынешнем могло случиться такое. А уж как остаться с Симиной, Йоргован сообразит: ушлет Шофрона по какому-нибудь делу и все.

«Надо мне с ним по-хорошему потолковать!» — решил Шофрон.

Дважды щелкнул ключ в замке: Бусуйок всегда запирает двери на ключ, когда в доме ложились спать, была у него такая привычка.

Шофрон мог теперь тоже преспокойно отправляться спать.

Мог? Легко сказать!

Весь вечер караулил он Симинову во дворе, потом следил, как бы Йоргован не вышел, и теперь, когда дверь была заперта и беспокоиться было не о чем, в голову закрадывались подозрения, а вдруг Симинова тайком пробралась в дом и находится там?

Нет, покуда он не убедится, что она здесь, Шофрон не успокоится, а чуть что, возьмет головешку да и подпустит Бусуйоку красного петуха.

Под навесом было тихо, все, по-видимому, устав после долгой дороги, улеглись спать, только три человека сидели у маленького костерца, обложенного камнями, и среди тех троих был и отец лесовички — Някшу. Был он вовсе не стар, но выглядел стариком, все лето мучила его проклятая лихоманка, а как известно, одна болезнь всегда ведет другую. Чах он с каждым днем, плохо ел, плохо спал и беспрестанно донимал его кашель. А больному человеку ни о чем, кроме как о болезнях, не думается. Вот и теперь, сидя у костра, говорил он о холере, что боится ее до смерти, холеры этой, не к ночи будь она помянута.

Дочка у Някшу была красавицей, и привык он, что вертятся вокруг него женихи дочери. С Шофроном они едва словом перемолвились, как Някшу понял, куда тот метит — выложил ему Шофрон все до точки, и что есть у него, и чего нету, что может он и чего не может, стараясь ему понравиться, да вроде бы и понравился. Однако, увидев Шофрона, Някшу пожалел, что не улегся пораньше спать, — и он человек, сердце у него не камень, кому в радость видеть, как человек понапрасну мается.

И Шофрон почувствовал, что не по себе с ним Някшу. Спасибо, удостоверился он, что Симинова легла спать и беспокоиться ему больше не о чем. И делать ему здесь больше нечего. Самое время подняться и уйти. Решить-то он решил, но решиться не мог, все сидел он, все медлил, все не уходил.

Разговор с его приходом разладился, люди посидели-посидели, зевать начали да и разошлись.

Оставшись с Някшу наедине, Шофрон и вовсе не мог уйти.

Так молча и сидели они у костра, изредка поглядывая друг на друга, и каждый молчал о своем.

— Вот она какая история-то со мной вышла, дядя Някшу. В мои-то годы! — выдавил из себя Шофрон и, вздохнув, добавил: — Прямо сказать — незадача.

— Знамо дело,— посочувствовал Някшу и тоже умолк.

О чем еще толковать? Все в двух словах и высказалось. Шофрон подумал-подумал, поднялся и, не прощаясь, ушел. Някшу тоже поднялся, подобрал несколько щепок, подбросил в огонь и сел на камень.

А в доме все еще светились окна, в доме все еще не спали. Бусуйок шагал из угла в угол, насупленно поглядывая на младшего своего отпрыска Филиппа, восемнадцатилетнего верзилу, сидевшего за столом перед чистым листом бумаги и нетерпеливо покусывавшего перо, что держал в руке.

— Так вот пиши! — наконец набрел на мысль Бусуйок. — «Горячо почитаемый наш шурин...»

— Батя, а батя, может, я сам, как умею, напишу? — спросил Филипп.

— Не умничай у меня, а пиши! — осадил его отец. — «... завтра с божьей помощью начинаем мы жатву и наняли для того людей числом пятьдесят два человека, чтобы в самый раз управиться в срок. А как тебе ведомо, какой запрет имеется от властей насчет болезни, потому прошу немедленно запрягай лошадей в тарантас и скачи ко мне, поскольку нуждаюсь я в твоём совете... и помощи...» — добавил он, подумав. — Все! Написал? Давай печатку поставлю, — он достал из крошечного холщового мешочка маленькую круглую печать, подышал на нее и приложил к письму.

VI

Как ни коротки летние ночи, а все же успевают они разделить долгие летние дни. И если печаль у тебя на сердце, щемит оно, ложись поспи; авось, за ночь печаль твою как рукой снимет, проснешься ты здоровым и бодрым, недаром и в сказках пишут: утро вечера мудреней. А если и утром не полегчает у тебя на сердце, значит, пропащий ты человек и доля твоя на веки вечные мучаться и печалиться. А лекарства от этого нету.

С первыми петухами, заря только-только занималась, во дворе Бусуйока все были на ногах. Скрипач наладил свою скрипочку, волынщик надул свою волынку, все было готово к веселью. Мужики с косами, бабы с серпами ждали, чтобы открылась дверь и вы-

шел на крыльцо хозяин, поздравил работников с началом жатвы и выпил чарочку за их здоровье.

Дважды щелкнул ключ в замке. Заиграл волынщик, скрипач ударил смычком по струнам.

Но не радуется волынка, не радуется и скрипка, если музыка их пропадает впустую, а люди стоят серьезные и молчаливые, не танцуют, не поют, не хлопают в ладоши. Кажется, что не летнее утро теперь наступает, а близится серый осенний вечер, тягостный и унылый.

А люди потому серьезны да молчаливы, что стоят они на чужом дворе, а какое же веселье на чужом дворе без хозяина? Что же медлит хозяин? Что же не выходит он поздравить людей, благословить их на слаженный и добрый труд, как принято у христиан? Ну, не хозяин, так хоть хозяйка?

Если бы спросили Симину, нравится ли ей первый день жатвы, она бы удивилась и плечами пожала. А кому же такой праздник не нравится? Ей, как птичке небесной, хотелось порхать и кружиться. И если вела она себя тихо и скромно, стояла потупившись, так лишь потому, чтобы не обидеть кого своей неумемной радостью. Знала она: многие глаза пристально следят за ней, и боялась она неосторожным поведением опечалить чье-нибудь сердце, испортить кому-нибудь праздник. А во время праздника, если бы кто-нибудь даже ткнул ее ножом под ребра, она бы тихонько зажала рану, виду бы не показала, что ей больно, чтобы не нарушить общего веселья, не омрачить людям праздник. Пусть завтра хоть смерть, а нынче держись и не показывай виду, что плохо тебе, веселись со всеми, пой, пляши, как и положено на празднике.

И для Шофрона это бывал самый радостный день. Если человек трудится круглый год, изо дня в день, не разгибая спины, пристало ли ему скупиться в праздник жатвы? Жатва — не крестины и не свадьба, — где хошь веселись, а хошь так сиди, тут надо выложиться до конца, до донышка. И Шофрон выкладывался, не скупясь. Улыбался во весь рот. Он вообще был добряк. Бывало и сердился, даже крепко сердился, но был отходчив, оглянуться не успеешь, он опять улыбается, все простил, опять весел и добр.

Пока Шофрона не было, работники Петра и Матей, что присматривали за волами, наготовили вдоволь перевясел, смочили их водой и погрузили на телегу.

Много наготовили, работали, не зная ни сна ни отдыха, ведь надо их было для нивы в сорок югеров.

Перевясел они наготовили и телегу нагрузили, а развернуть ее передом к воротам не догадались, вот и возились теперь и пыхтели, пытаясь развернуть, а она ни с места. И так и этак пробовали, вокруг телеги сустились, задами трясли и друг на дружку тихонько ругались.

Шофрон как раз спускался с чердака с полным мешком кукурузы на спине, увидел их возню, так и застыл посреди лестницы с раскрытым ртом — смешно!

Сими́на обомлела, увидев, как лестница под Шофроном прогнулась, того и гляди, переломится. Бабы все от природы пугливы.

— Спускайся скорей, а то помру от страха! — сказала она, подойдя поближе. — Чем лыбиться, лучше бы спустился да помог.

Шофрону будто душу медом помазали, сладостно ему стало, что Сими́на за него беспокоится, сама подошла, сама заговорила. Спустился он вниз и мешок с плеча скинул.

И порадовался, как хорошо утро-то началось: и захотелось ему Сими́ну тоже чем-нибудь порадовать.

Да не все выходит по-задуманному.

Взял он ее за руки, заглянул в глаза и говорит:

— Эх, девушка, хошь не хошь, а я тебя расцелую!

Восемнадцать лет было Сими́не, и, верно, целовали ее — много ли мало, кто считал? — но чтобы был это не безусый паренек, а взрослый мужчина тридцати лет, такого не бывало. И оробела Сими́на.

— Коли надумал, так, верно, поцелуешь, — ответила она. — Вон ты какой медведь, мне тебя не осилить. Только что за радость девку насильно целовать!

— А это уж мне судить, есть радость или нету, — отвечал Шофрон, взял в ладони ее лицо и поцеловал в самые губы.

Сими́на губы-то и поджала.

Нет, не этого хотел Шофрон, не этого ему было надо: когда мучает тебя жажда, что тебе роса на листике?

Взял он ее тогда за плечи, притянул к себе, покрепче обнял и стал целовать в шею, в глаза, в губы. И чем крепче Сими́на их поджимала, тем дольше он целовал их.

Положила она ладони ему на лицо, оттолкнула.
— Хватит,— резко и тихо сказала.— стыдно мне и плохо.

— Поцелуй меня, тогда отпущу,— потребовал он.— Не отпущу, куда не поцелуешь.

Зажмурилась она и коснулась его губ губами.

Урвал он все же у нее поцелуй, хоть и силком, но урвал. Сладко на душе стало.

— Дай тебе бог, одарила ты меня,— благодарно сказал Шофрон и отпустил ее.

— Мужик взрослый, а без ума,— укорила она Шофрона, не оправившись от смущения.— Что ж ты стоишь? Помоги людям, обещался!..

Шофрон мигом подскочил к телеге, поднял ее за задок, как пушинку, развернул передком к воротам, хоть сейчас выезжай со двора.

«Куда мне с этакой силищей сладить,— тешила себя Симиная.— И не такой это страшный грех! От поцелуя небо не обвалится».

Йоргован, хоть и делал вид, что глядит в сторону и ни до чего ему дела нет, однако все видел, а дела ему впрямь не было. Он знал, что Симиному против ее воли поцеловали, по принуждению, и этого ему было довольно. Зато не знал он другого, что хоть и против воли, а поцелуи Шофрона Симине были приятны. Скажи Йорговану кто-нибудь такое, он бы в жизнь не поверил, но Симиная-то знала, потому и задрожала, встретившись взглядом с Йоргованом.

На Шофрона она и в самом деле не сердилась и перед Йоргованом не чувствовала вины; с гордо поднятой головой поглядела она ему прямо в глаза, направляясь к дому, будто говорила: «В твоей воле сделать так, чтобы до меня и пальцем никто не смел коснуться!» Йоргован понял ее безмолвный упрек и почувствовал себя виноватым, но не хотел признаться в этом и сделал вид, будто ему все село.

А вот узнай о случившемся Бусуйок, он бы не стерпел обиды; такое бы учинил — небу жарко бы стало. Рассвирепел и тотчас бы выгнал Шофрона: чтобы батрак посмел приставать к девушке, из-за которой его сын загубил доброго коня! На сына глаза б не смотрели! И батрака выгнать мало!

Но Бусуйок ничего не знал и не видел.

Думал он лишь о жатве, о ней одной были его

помыслы и думы, и радовался, что нанял работников и выходят они в поле в самый срок.

— С богом, мужики! С богом, бабоньки! — попри-
ветствовал он собравшихся во дворе и поднял чарку. —
Ну-ка, Симины! Шофрон! Йоргован! Поддержите честь
дома! Начинайте, с богом!

И пошло веселье. Парни подхватили девушек, за-
топали ногами. Раздулись куполами у девушек юбки.
Вышли во двор и хозяйка Вика и ее сын Филипп
с ружьем на плече, набежали ребятишки из соседних
дворов. И все вместе пестрой толпой двинулись с пе-
нием в поле.

Коль пошло веселье, закружило человека, то легко
оно его не оставит.

Вот Шофрон и веселился. Уж так радовался —
огорчаться забыл, что Йоргован возле Симины. Петь
Шофрон не умел, плясать тоже и шутить как другие
тоже не научился, даже рассказчик из него был ни-
кудышний, но все же он тихонько подпевал поющим,
радовался чужим шуткам и, открыв рот, слушал не-
былицы любого пустобреха. Шел Шофрон последним
и составлял снопы в кресты, чтобы колосья ветер не
растрепал и дождь зерно не вымочил. На трехзубые
большие вилы поднимал он по два, а то по три снопа
сразу, играя своей силой и радуясь как малое дитя.
Иной раз попадалось ему перепелиное гнездо, откуда
выпархивала с криком птица, и Шофрон, бросив рабо-
ту, гонялся за перепелкой, пытаясь поймать ее руками.

И Симины с Йоргованом с поющими не пели, с
балагурами не смеялись, баек и побасенок не слушали,
перепелок не ловили — они были счастливы.

Первыми шли косари и каждым взмахом косы ва-
лили на землю ряд срезанных колосьев — взмах!
взмах! взмах! — порой будто по команде останавлива-
лись, отбивали оселками лезвия кос, и по всей долине
разливался мелодичный звон.

За косарями торопились девушки с серпами, и ловко
подхватывали скошенные колосья, и складывали в охап-
ки; за девушками шли парни и вязали снопы, прижимая
охапку коленом и крепко скручивая перевяслом. За
вязальщиками шли волынщик и скрипач, неустанно
играя что-то веселое, залихватское, чтобы веселей шла
работа, за ними с ведерком питьевой воды тащился
мальчонка-подручный, а уж напоследок, ставя крестцы,
вышагивал Шофрон.

Так вот дружно и слаженно шла работа, и все поле за людьми было установлено крестцами, похожими на тесно расположенные маленькие хатки золотистой деревеньки.

Йоргован отправился в поле, чтобы присматривать за работниками, но иной раз, не удержавшись, помогал кому-нибудь из вязальщиков, если тот не поспевал.

Как бы случайно все время оказывался он за спиной у Симины и, увязывая в снопы колосья, собранные ею, казалось, ощущал тепло ее рук и радовался безмерно, что она рядом и шагают они по одному полю. Порой украдкой взглядывал он на нее, и она так же мельком поглядывала на него из-под руки, и будто вели они между собой нескончаемый сердечный разговор.

— Рассерчал?— первой нарушила молчание Симины.

— Из-за придурка-то?— переспросил Йоргован, и они разошлись с тем, чтобы вскоре опять оказаться рядом.

Взгляд Симины следовал за ним, звал, не отпускал, и они снова шли молча один вслед другому, передавая из рук в руки охапки тяжелых колосьев.

— Выходит, кто безобразник, тому и праздник,— опять первой заговорила Симины.

Йоргован выпустил перевяско из рук и посмотрел на нее с недоумением:

— Неужто понравилось бы тебе, если бы и я, как он...

— Нет! — засмеялась она.— Понравилось бы, если бы я, как он...

Йоргован вдруг стал алее пиона, ему стыдно сделалось, а отчего он и сам не знал,— то ли своей неслемелости, то ли ее откровенности, то ли любви своей к девушке, которая такое сказать может. Впрочем, чего определять, стыдно и все тут. Он довязал сноп и ушел на другой конец поля.

Теперь и Симины, как пион, покраснела. Не маленькая, понимала, какие слова сказала, и с болью не могла справиться, что оттолкнул он ее за эти слова,— мрачнела все больше и больше. Не искала его уже глазами, догнала девушек и зашагала с ними в ряд, слушая их девичий разговор.

Йоргован смотрел, на нее, а она на него нет; не выдержал он и подошел к ней.

Сими́на затылком почувствовала, что он подходит, поотстала от подруг и из рук в руки передала охапку тяжелых колосьев, но не взглянула, не заговорила.

— Серчаешь? — услышала она его голос.

Сими́на подняла голову и спокойно посмотрела ему прямо в глаза.

— Не серчаю. А впредь знай, коли и жизнь мою разобьешь, то и тогда сердца на тебя держать не стану.

— Не знает сердце, что с ним будет завтра! — взволнованно отозвался Йоргован.

— Знает!.. — твердо сказала она, берясь за следующую охапку. — Знает! — повторила, подняв с земли серп. — Потому что чувствует то, чего и знать нельзя.

И не береглась она, не шептала, не таилась, не думала, слышит ее кто или нет, все готова была перенести, только не сомнение Йоргована в верности ее сердца.

— Я-то знаю, — сказала она без упрека. — Вижу, чувствую всякий час, что стыдишься ты своей любви ко мне. Боишься, как бы люди про нее не прознали, и коли за это я на тебя не сержусь, Йоргован, то что же другое меня обидеть может?

Взвять захотелось Йорговану.

— Не говори больше таких слов, — сказал он сумрачно. — Удавиться хочется! Хватит! Вообще говорить не будем. Мне довольно и того, что ты где-то поблизости, пусть не вижу тебя, пусть не слышу; земля, по которой ты прошла, кажется мне теплой, а колосок — этот вот колосок, что у тебя в руках побывал, чудом кажется. Господи боже! Не жизнь у меня, а мука, но и ад готов вытерпеть я за один такой день, как нынче...

— И я! — в лад ему, просияв, произнесла Сими́на.

— Вот и будем с тобой молчать, — повторил он. — Слова для обихода надобны, а тут и слов нет ни чтоб назвать, ни чтоб высказать, значит, не надо их. Посмотри мне в глаза, как я в твои смотрю, и если не поняла меня, значит, нет в тебе того, кто меня слышит.

— Я поняла, Йоргован, — ответила девушка. — Только смотри! — и она указала на Шофрона, который, ничего кругом не замечая, пытался голыми руками поймать птицу. — И мне хотелось бы, чтобы ты летящую птицу ловил.

Долго смотрел Йоргован на Шофрона.

— Олух, он и есть олух! — сказал он и улыбнулся. — Перепелку надо птенцом из гнезда брать, а начала летать, либо не ловить вовсе, либо придушить, когда поймашь.

— С чего начали, тем и кончили! — огорченно протянула Симиная. — У тебя одно, у меня другое... Да у него душа радуется!..

— Значит, на то причина имеется, — тихо сказал Йоргован.

Симиная обернулась и пристально посмотрела ему в глаза. Но Йоргован говорил без намека на утреннее происшествие.

— Не причина у него, надежда, — краснея, пояснила она.

— У кого надежда, у того и причина.

— И ты надейся, — сказала она.

— Когда малого хочешь, надеешься, — пояснил он. — А я больно много захотел и надеяться боюсь...

На это что ответишь? Ничего, так опять слово за слово добрались они до молчания.

А Шофрон? Видел Шофрон, что нет-нет и окажутся они рядышком и словом перемолвятся, но что ему за дело до Йоргована — молокососа!

Он, Шофрон, голову бы Йорговану оторвал, осмелся тот на его глазах поцеловать Симинову, а Йоргован даже не рассердился.

Того же мнения был и Някшу: несерьезный Йоргован парень и главное Симинову не любит. Так, дурь в башку себе вбил. На красивую девку кто ж не позарится? Несерьезно у него это! Нет, несерьезно!

Любовь дело серьезное. А таких ухажеров у Симины пруд пруди. Да и у нее, видать, не большой о нем интерес, если позволила себя поцеловать другому, да и сама, вроде бы нехотя, но поцеловала.

Так говорил Някшу, так он думал, а значит, и надеялся. А раз надеялся, то и радовался. И хоть кашлял он, и холодным потом покрывался, но все равно на душе у него целый день было радостно и спокойно.

Стемнело. Все разбрелись по своим углам укладываться спать, один Някшу медлил, хотелось ему поговорить с дочерью.

И он ведь любил Симинову, любил бы и кривую, и горбатую, и невзрачную, а уж такую красавицу-то полюбил бы и не приходись она ему родной дочерью.

Никогда не ощущал он так явственно, что любит ее,

как сегодня, когда еле-еле притащился с поля, ломило кости, тело ныло от смертельной усталости, он сидел на камне, прислонившись спиной к столбу навеса, и поглядывал на Симинову.

С головой он ушел в свои мысли, а глазами все смотрел на дочку.

Затосковалось ему что-то по дому — потянуло в горы, в свою деревню, к людям, с которыми жизнь прожил; захотелось побывать в церквушке, где он — и не сосчитать сколько раз — причащался; захотелось сходиться на погост, где в поминальные дни всегда ставил он свечи на могилах — сам отливал из воска со своей пасеки... Много воды утекло с тех пор, как разбил он последний горшок о порог своего дома, забылись и самые лица погребенных, давно похоронил он родителей, братьев, жену, детей, умиравших в младенчестве, и лишь одна Симинова выжила, и теперь, вглядываясь в ее лицо, он видел и вспоминал всех.

«Боже праведный! Она же вылитый батя, упокой его душу господи! Вылитый! Правда, не было у него таких длинных ресниц, да и глаза были не зеленые, а темно-карие, но тем же живым блеском искрились они», — и в памяти как живой вставал родитель.

«И на мать свою Симинова похожа. Как наяву вижу перед собой Совету, царствие ей небесное! — так же откидывала она волосы со лба, так же наклоняла голову и усмехалась лукаво», — еще шибче и жадней потянуло его в родной дом, словно там ждала его встреча с покойницей женой.

И хотя больше всего Симинова походила на него самого, на Някшу, но этого он, казалось, не замечал; впрочем, нет, порой узнавал он в ней свой упорный и настойчивый характер, прямоту, упрямство. Много тайлось в нем и дурного, и хорошего — и все это передалось дочери, да и как же иначе, если была она его кровиночка. И, узнавая в ней самого себя, Някшу таял от умиления.

Он улыбнулся и поманил Симинову рукой.

— Тебе чего, батя? Нездоровится? — всполошилась девушка.

— Есть маленько. Но не в том дело, доченька, — успокоил он ее и чуть отодвинулся, освободив местечко рядом, — ты присядь. Когда ты рядышком, легче мне становится, ей-богу. Прямо душой молодею.

Симинова вдруг почувствовала себя маленькой девоч-

кой, ей захотелось склонить голову ему на плечо, хотя такие нежности между ними не были приняты.

— Осунулся ты и кашляешь сильно, — с горечью призналась Сими́на. — Может, передохнешь несколько дён, а я одна за двоих управлюсь, — и подумала: «За-чем потащила я его за собой, хворого?» — но вслух ничего не высказала.

— С непривычки и устаю, — оправдывался Някшу. — Пройдет. Ты за меня не беспокойся. Попривыкну и оклемаюсь. Застудил я грудь, вот и кашляю. Но ты не бойся, мне еще не скоро помирать — поживу!

— Что ты, батя! Какой, право! Да разве ж такие мысли у меня про тебя? — проговорила девушка, а сердце у нее защемило.

— Ну, прости, не серчай. Это я так, сболтнул к слову, — успокоил он.

Помолчали. После его слов Сими́на невольно подумала о его смерти; болен он и не приведи господь умереть ему на чужбине среди чужих людей, даже похоронить будет некому, да и каково ей без него будет.

Про Йоргована у них ни разу не заходила речь, оба как бы, молча, соблюдали негласный уговор. И вдруг Някшу его нарушил.

— Думаешь, женится он на тебе? — спросил он, твердо поглядев в глаза дочери. — Я про Йоргована толкую.

Дыхание у Сими́ны перехватило, сердце застучало гулко-гулко, и, хоть трудно ей было ответить, она обрадовалась, что есть на белом свете человек, с кем можно говорить и об этом, и кому не безразлична ее судьба.

— Навряд, — ответила Сими́на.

— Ты у меня умница! — одобрил ласково Някшу. — Плохо было бы, если б надеялась, а того хуже, если бы на деле случилось.

— Почему так? — удивилась девушка.

— Потому что на таких, как ты, нельзя жениться неволею, — объяснил Някшу.

— Какой же неволею? — изумилась Сими́на. — Кто приневолит?

— Слабинка его, — коротко пояснил отец. — А на слабине всю жизнь не продержишься, да и не защита тебе его слабость. Тебе ли жить в вороньем гнезде кукушонком? Они на пуховых перинах почивают, а ты и на сене выпишься сладко. Да не забудут они, что спала ты на их сене.

— Ну и пусты! Мне все едино.

— Сейчас, может, и едино, а потом по-другому покажется... Ничего знать не будешь — ни как за стол с ними сесть, ни как ложку взять, ни как платье надеть, ни как слово сказать...

Никогда Сими́на и не думала, что женится на ней Йоргован, во всяком случае, так она говорила, но отцовская забота навела ее на другие мысли: а что, если и впрямь Йоргован захочет на ней жениться? И тогда принялась она доказывать, как хорошо им будет — и Йорговану, и ей.

— И я, батя, обо всем передумала, в служанках у него и то буду счастлива, — сказала, — не гневлив он, и сердце у него доброе.

— Мягко́к он больно, точно воск, — возразил Някшу. — Шофрон — вот подходящая тебе пара, за ним была бы, как за каменной стеной, а в одной упряжке быть с человеком, что не вперед смотрит, а по сторонам, — заботясь, как кто на него посмотрит — тяжело, доченька, — помолчал и добавил, — говорить-то я говорю, да тебе выбирать свое счастье. А мне бы только на твое гляючи порадоваться.

Сказал и умолк, что еще скажешь?

Разве дано им знать, что будет с ними и чего не будет.

Някшу хотелось бы не говорить того, что пришлось сказать, а Симине поплакать, а не решать.

— Поступай, как бог подскажет, — сказал Някшу и поднялся.

— Постой, батя! Не уходи! — попросила Сими́на. — Посиди со мной. Может, вместе чего надумаем...

Някшу снова уселся с ней рядышком и спросил, чего ей самой-то хочется.

— Ничего не хочется! — и припав головой к его плечу, заплакала.

— Доченька ты моя, доченька... Ну поплачь, коли плачется... — говорил он, ласково вытирая огрубелой, шершавой ладонью ее слезы.

VII

Сокодорский поп Ярый приходился Бусуйоку шурином. Конечно, Ярый было прозвищем, но не зря окрестил так народ отца Иоанна — он и был ярый.

Получив письмо от зятя, поп Ярый улыбнулся.

«Знать, лихо стряслось, коль зовут так спешно!»

Нет, не холера тому причиной. Доктора заверяли, что от холеры гибнут только чахлые да слабосильные, а таких Бусуйок на работу нанимать не стал бы. Да и от властей поуменьшились претензии, предупреждали они только, чтобы не ел никто немых овощей и фруктов, огурцов ли, помидоров... А главный приказ властей сводился теперь к тому, чтобы хоронили покойников поглубже в землю вершка на три, а то и глубже. За этим шел строгий надзор. Нет, с холерой Бусуйок бы управился и сам, тут холерой не пахло. Тогда что же? Поп нетерпеливо теребил бороду, так он всегда делал, когда задумывался.

И у него было югеров двадцать земли под пшеницей, и ему надобились жнецы, не кланяться же прихожанам. Лучше всего было взять работников у Бусуйока, потому и решил он ехать в Куртич. Но помимо всего, он обожал куда-нибудь мчаться. Быстрая езда доставляла ему великое удовольствие. Мчался он по дорогам, поднимая пыль, и его бричку знали по всей округе.

— Матушка! Матушка! — прокричал он жене, а сам шнырял глазами по сторонам, ища свое охотничье снаряжение — патронташ, ружье, рожок с порохом, складной трехногий стульчик и столовый дорожный прибор, без которых никогда не пускался в путь, потому что был еще и охотником. И каким еще заядлым! Даже уезжая после обеда и собираясь вернуться к ужину, и то брал с собой все свое снаряжение, не поповское вроде дело ружье да порох, но поп Ярый, запрети ему охотиться, скорее бы из попов вышел, как Йоргован из своей школы, чем отказался от собак да пальбы — не мог жить поп Ярый без охоты.

— Что, батюшка? Опять пожар? — спросила попадьа, появившись в дверях.

Поп взглянул на нее с важностью.

— Пожаловала! Зовешь не дозовешься, — заговорил он скороговоркой, продолжая сборы. — А теперь уж и нужда отпала, сам собрался. Куда же ты, постой! Что же мне еще-то надо было?.. — Он остановился посреди комнаты, в недоумении потирая лоб.

— Куда собрался-то? — с улыбкой осведомилась матушка.

— В Куртич! — сообщил походя поп. — За жнецами.

Письмо вот прочитай. Дело до меня есть какое-то. Туда-обратно, мигом обернись.

На ходу ласково потрепал матушку за ухо и — нет его. Выбежала попадья на крыльцо, а батюшка уже в бричке сидит — по правую руку у него ружье, по левую — охотничья сумка, а в ногах легавая.

— Гони! — кричит поп кучеру. — Заснул, болван?

— Куда гнать-то, батюшка?

— В Куртич!

Покуда ехали селом, священник сидел по-священнически чинно и важно, раскланивался со всеми встречаемыми и поперечными, но стоило бричке выехать за околицу, как поп вскочил, выхватил из рук кучера вожжи, чтобы научить его лихой езде, и пустил лошадей вскачь. Поп стоял, а Вихрь, пес охотничий, на его место уселся и сидит чинно и важно, глядит прямо перед собой и лишь изредка нервно вздрагивает, если вспорхнет всполошенная птица.

Стоит попу сесть, собака уже у его ног пристроилась; встал поп — собака на его месте сидит, и так это она быстро туда-сюда сигает, за всю дорогу ни разу один другому не помешал.

Бусуйока о приезде шурина известили сельские дворняги. Огромной сворой с залиvistым лаем выскочили они из подворотен и устремились за бричкой. Поп велел кучеру огреть их, как следует, и сожалел, что не может этого сделать сам, поскольку он священник, зато весьма обрадовался, когда две или три шавки, отведав кучерского кнута, скуля и визжа, повернули обратно, а за ними трусливо поспешила вся стая.

— Ну что у тебя там? Выкладывай! — спросил поп Ярый, выпрыгнув из брички.

— Всему свое время, — отозвался Бусуйок. — Благодарствуем, что не позабыл о нас.

Но нетерпеливому попу хотелось узнать немедленно, зачем зять его вызвал. Войдя в дом, он наскоро поздоровался с сестрой, сунул руку для поцелуя племяннице Персиде и увлек Бусуйока в сторону.

Бусуйоку было лет за сорок, а сокодорскому батюшке едва минуло тридцать, но был он священником и не просто священником, а священником с головой, и поэтому родня его ничего не делала без поповского совета. И отец Иоанн никогда для своей родни на совет не скупился. И хоть был горяч и скор, в деле никогда не спешил. Вот и теперь слушал он внимательно, вхо-

дил во все подробности, время от времени улыбался и недоверчиво покачивал головой.

— Жаль коня! — с грустью вздохнул он. — Говорил я тебе, уступи мне Лисуна, не послушался. Вот и пропала лошадь зря. У тебя и конюха стоящего нету, чтобы за конями смотреть.

— Причем тут конь? — возмутился Бусуйок. — Разве ж мне коня, сына жалко! С ним-то как быть?

— А никак! — коротко отрубил поп. — Не маленький, сам во всем разберется.

— Вот тебе и раз! — опешил Бусуйок. Для того ли я тебя звал? С той минуты, как девка у меня во дворе, верчусь, как уж на сковородке, как обходиться с ней, в толк не возьму. А ну как Йоргован рехнется с ума? И под венец ее поведет?

— Плохо ты своего сына знаешь, — усмехнулся поп.

— А ты эту девушку не видал! — оборвал его Бусуйок. — Кабы не в снохи, а был я, к примеру, вдов, то и стариком, не раздумывая, на ней женился! Такую девку поискать! Всем взяла и лицом, и статью... и умом!..

— Ишь, страсти какие, — стал потешаться поп. — Да только нешто я Йоргована нашего не знаю? Девка и впрямь должна быть хороша, чтобы он за ней в такую даль отправился. А жениться, не женится. Ты бы женился, потому как стар, а он не женится, потому как молод и нужды в этом не чувствует. Оставь его в покое, пусть живет умом своей молодости...

— Да я что, я ничего, — вдруг разом успокоился Бусуйок. — Я про то, что... снохой мне ее в дом брать стыдно. А еще, — добавил он быстро, — прямо не знаю, как быть, сажать ее с нами за стол или нет?..

— Не сажай, коли в снохи не берешь.

— А ежели Йоргован захочет?

— На своем стой.

— Не могу, — не согласился Бусуйок. — Он сын мне, и не буду я на своем стоять, не зная хорошо поступаю или плохо. Ты бы лучше порасспросил Йоргована, невеста она ему или как?

— Говорю же тебе, что твой сын головы не потеряет, — разозлился поп. — Чего тебе своей тени бояться? Оставь его в покое, и он свои глупости оставит.

Бусуйок внимательно поглядел на священника и с сомнением покачал головой.

— Погляди сперва на девуку, — сказал он. — Поговори с ней, а потом и потолкуем.

Священнику и в самом деле уже не сиделось на месте, надоело слушать воркотню Бусуйока, схватил он свое снаряжение, кликнул племянника Филиппа, и вместе они отправились на охоту, а верный пес весело вприпрыжку бежал рядом.

Мрачен был Йоргован, жизнь ему опостылела; молчаливая Симиная все больше возле отца держалась, к ним Йоргован не подходил.

А завидев издали своего дядюшку попа Ярого, и все отошел в сторону, чтобы, не дай бог, он ничего не заподозрил, потому как знал его характер и робкое почтение к нему питал.

Поп поздоровался с работниками, пожелал доброй работы и тут же принялся придирается: девица криво серп держит, парень слабо сноп увязывает, мужики косят нечисто; словом, никто батюшке не угодил.

Йоргован тащился вслед за дядей, с покорностью ожидая своей участи.

— Чья такая? — спросил поп у стоящей ближе всего девушки.

Та поцеловала у него руку, ответила, как ее зовут, откуда она родом и кто родители.

— Умница, — сказал поп и другую спросил то же самое.

Симиная много была наслышана про попа Ярого, люди про него говорили невесть что, и видела она его разок, правда, мельком, в прошлом году, когда прикатил он в своей бричке к Бусуйокам, но тогда толком не разглядела, а теперь по виду и голосу сразу угадала в нем, несмотря на грозный вид и громовой голос, добряка. Она взяла в руки, выбрав из кучки, несколько самых красивых колосьев, распушила веером, обломила стебли и дожидалась, когда дойдет до нее очередь.

Поп приблизился к ней и тут же получил в руки букетик колосьев.

Йоргован почувствовал, что краснеет.

— Это что такое?! — недоуменно пророкотал поп Ярый.

— В честь жатвы, батюшка, — ответила без страха девушка.

Отец Иоанн улыбнулся, снял шляпу и воткнул за околышек пучок колосьев, потом взял Симинову за руку и спросил ласково:

— Откуда ж такая взялась?

Сими́на поцеловала у него руку.

— Кровиночка моя, дочка, — ответил за нее Някшу.

Голос шел из-за спины, отец Иоанн обернулся, охватив взглядом неприглядного, скрюченного, иссушенного болезнью и солнцем тощего старика.

— Твоя дочка? А ты кто таков?

— Пономарь из Зимбру, — ответил Някшу.

— Из Зимбру? Вот это ладно. Как там жив отец Теодор?

— Хорошо. Слава богу. В нынешний год о великом посте прибавил ему господь семейство.

И поп двинулся дальше, расспрашивая то одного, то другого, и вел с собой за руку Сими́ну, в другой руке держал он шляпу, а за ними следом шел Йоргован вместе со своим братом Филиппом.

Но не дело, если кто-нибудь хватает тебя за руку и зачем-то тащит за собой: Симине было только смешно, и она еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться, а вот Йоргован готов был провалиться сквозь землю от стыда.

Так обошли они всех и очутились у последнего крестца.

— Ну, скажи-ка что-нибудь, ласковая, — пророкотал благодушно поп.

— Скажу, батюшка, — улыбнулась Сими́на, сверкнув белыми ровными зубками, — надо бы тебе шляпу-то надеть, а то как бы солнышком голову не напекло.

Поп быстро нахлобучил шляпу и отпустил Сими́нину руку, чертыхнувшись в бороду.

— А перепелки тут имеются? — как бы спохватившись, спросил он Йоргована.

— Да сколько еще! — поспешно ответил племянник.

— Чего ж мы стоим? Бери и ты ружье и пойдем с нами! — призвал поп и зашагал от людей в сторону.

Охота на перепелок была его любимым занятием.

Йоргован хотел было отговориться нечищенным ружьем, сказать, что и стрелять-то толком не умеет да и за жатвой ему надо приглядывать, но с попом Ярым не очень-то поспоришь: силком за собой потащит или вовсе слушать не станет, хошь не хошь, поплетешься следом. Поп зашагал прочь, и племянники за ним двинулись, а Сими́на одна осталась стоять у края поля на колком жнивье.

Йоргован оглянулся разок, не знал идти ли ему или остаться, но Симины уже не было.

— Иди, иди, нечего оглядываться! — поторопил его отец Иоанн. — Сдается мне, голова у тебя не пойми чем забита. Послушай меня, Йоргован, не заигрывай с чертом. Ты знаешь, не стал бы я тебя упрекать за шашни с девками. Хочешь жениться, свадьбу тебе справим такую, что по всей округе звон пойдет. Батька твой не поскупится. И невесту тебе приглядим подходящую. А эта девка, хоть с виду смазлива, да коварна, ровно змея со змеенышами, того и жди от нее баловства.

Что было отвечать попу? Разве не знал он своего дядюшку, разве не знал, что его не переубедишь? Но не знал Йоргован, что тот думает о нем. Баловства? Неужто она лишь на одно баловство и способна? Неужто она заслуживает лишь баловства?

«Не моя ли вина в таком мнении?» — подумал он горько и поплелся за дядюшкой охотиться.

Все три охотника были мрачны и недовольны собой, только четвертый охотник, поповский пес Вихрь, весело вилял хвостом и нетерпеливо дожидался, когда же кончатся бесполезные человеческие разговоры и начнется настоящее дело. С первого же выстрела поп промахнулся и понял, что нынче ему ни в чем не будет удачи.

— Все из-за тебя! — попрекнул поп Йоргована, закинул ружье за спину и зашагал обратно в село, ворча и негодуя, но уже не на Йоргована, а на Филиппа, чествуя его и сосунком, и молокососом, и размазней.

— Ну узнал чего? — спросил Бусуйок, как только они остались с попом наедине.

— Узнал-прознал, — сердито передразнил поп, швыряя на кровать ружье, сумку, патронташ, рожок и прочие охотничьи принадлежности. — Тут такое дело, враз и не осилишь.

— А я что тебе говорил, — огорченно протянул Бусуйок.

Отец Иоанн еще пуще обозлился.

— Говорил! Говорил! — взорвался он. — Девка-то оказалась не простая, с закавыкой. Крепко она его заарканила; втюрился он в нее по уши.

— Ну, а я что говорил? Это самое и говорил, — развел руками Бусуйок. — А порасспросил ты у него? Что да как? Надо же мне знать...

— Чего тебе еще знать? Сказано: не суйся! Сами промеж себя разберутся! — опять разгорячился поп. — Расшибет она себе о стену лоб.

— Ну, а как он расшибет? Что тогда?

— Тогда режь мне бороду! — запальчиво возразил поп.

Хоть и дорого ценилась борода православного священника, все же родной сын показался Бусуйоку дороже, и он вконец расстроился.

«Нет, никакого толку шурин не добился. И советы его ни к черту», — заключил Бусуйок и поглядел на шурина, который сам не свой расхаживал по комнате, натываясь на столы и стулья.

— Черт вам подsunул эту лесовичку! — рявкнул он, начиная собирать свои вещи.

— Я ее привез, — удрученно признался Бусуйок. — Хотел как лучше. Думал, такая красавица на радость всем: веселей пойдет работа на поле.

— Вот и повеселились, — ответил с грустью поп и, вздохнув, кликнул кучера, велел закладывать бричку.

— А завтра приезжай за людьми с телегой! — крикнул вслед Бусуйок.

— Приеду.

— Завтра и поговорим.

— Не о чем и разговаривать!

Как же это не о чем? Для родителя дети до старости лет и остаются детьми, малыми, неразумными. Сын, вымахавший под потолок, все еще для отца дитя. Но не знал Бусуйок, как к этому дитю подступиться, потому и позвал на помощь попа, а теперь и в поповском уме разуверился.

«Я бы смолоду на месте Йоргована сделал эту глупость — женился, — думал про себя Бусуйок. — Но он же телок, у него молоко на губах не обсохло».

Бусуйок забыл, что и он для своего отца всегда оставался неоперившимся птенцом; спасу не было от отцовских нравоучений и надзора. «Это сделай так, а то этак», — теперь все повторялось и у него с сыном.

Йоргован возвращался с охоты спокойным, размеренным шагом. Казалось, за эти несколько дней прожил он большую долгую жизнь. Ночь, когда гулял он в Ширии, и другая, когда мчался сломя голову из Чилы в Зимбру, и встреча с Симиной — все казалось ему далеким, а главное, неважным. Далеким, далеким прошлым все это ему казалось.

Симина к вечеру совсем запечалилась, и печалиться ей было от чего. А Йоргован был беспечен, ибо печалиться ему было не с чего.

Еще утром ему и подойти к ней было боязно, а теперь и дела нет, близко она или далеко, смотреть на нее или не смотреть, говорить или не говорить.

Симина нет-нет да и поглядывала на него, и видела, что уже он не тот, и нечего ему больше в себе перебарывать.

— Йоргован, мне бы поговорить с тобой сегодня,— тихо сказала она ему, возвращаясь с поля в село.

— И сейчас не завтра,— отозвался он.

— Сейчас не могу,— сказала девушка.

— Как хочешь,— безучастно согласился Йоргован.— И когда хочешь,— добавил он,— чтоб не говорила, будто стыжусь говорить с тобой на людях.

— Я стыжусь,— прошептала, погрузнев, Симина, и всю остальную дорогу прошли они бок о бок молча; позади них тащился Някшу, а Шофрон то вперед забегал, то отставал от них.

VIII

Свечерело. Усталые работники разбрелись — кто на сеновал, кто в сарай, кто под навес, только Някшу остался сидеть на своем излюбленном камне и во все глаза следил за дочерью, будто чуял, что с ней творится неладное, и всеми силами старался уберечь ее от грозящей опасности.

— Уйти я должна, батя, ненадолго,— выдавил наконец Симина.

Някшу вцепился ей в руку крепкой крестьянской хваткой: куда это ей на ночь глядя идти?

— С Йоргованом встретиться уговоришься, разговор у нас будет,— сообщила она, прямо взглянув отцу в глаза.

Някшу еще жестче сжал ее руку, не то удерживая, не то собираясь отпустить. Сам того не ожидая, он проникся всеми ее чувствами, страхами и надеждами — будто превратились они оба в единое нераздельное существо, и Симина почувствовала это и не отнимала руку, хотя он давно отпустил ее, понимая, что не может она противиться своему желанию, нет у нее для этого сил. И в благодарность за его понимание,

выраженному молча в крепком пожатии, она наклонилась и нежно поцеловала прядь волос у него на лбу.

Но успокоилась ли его душа на самом деле? Куда там! В напряжении замер весь мир вокруг, застыл, будто жизнь приостановилась и должно было свершиться нечто непредставимое.

А вот Йоргован был и впрямь спокоен. Хотя и он ждал, но ждал, как человек, знающий, что ждет не понапрасну и время ждать у него есть.

Не спеша, занимался он во дворе хозяйственными делами.

Шофрон возился в конюшне,— где же ему еще находиться? — и тоже ждал, но дорого бы дал за то, чтобы не дожидаться. Он первый и заметил Симинову, заметил и кашлянул.

Симина вздрогнула, остановилась, но в темноте не могла различить неясную фигуру у притолоки и усомнилась, видит ли он ее, и все же сочла благоразумным остановиться.

Йоргован же, как только приметил Симинову, пошел ей навстречу.

Симина подала ему знак стоять.

Он застыл, недоуменно оглянувшись.

Шофрон с вилами наперевес вышел из конюшни, шел он к копне за сеном для лошадей.

Ах вот оно что! Нет! Не хотелось Йорговану, чтобы отцовский слуга видел, как разговаривает он в потемках с Симиной.

Шофрон с огромным клоком сена на вилах вернулся в конюшню, а Йоргован повернул к дому. Шел, раздумывая, что ему делать, и сердился. Повернуть обратно, а ну, как Симина, увидев его спину, уйдет и не вернется больше. Или вернется, а его нет, еще того хуже. Да и как быть с батраком? Что ни говори, добрые-то люди при свете дня друг с другом разговоры разговаривают. Сердился он на Симинову, и на Шофрона сердился, да и на себя тоже — словом, на весь мир сердит был. И не только сердит был, но и стыдился того, что собрался сделать и сделать не мог.

Бусуйок своим отцовским нутром почуял неладное. Сроду такого не водилось за ним, чтобы спрашивать сына, куда он идет, или подсматривать, а тут будто толкнул его кто в спину: ну-ка поди погляди, где Йоргован, что-то долго замешкался он во дворе.

Сидел Бусуйок за столом, мирно разговаривал с женой и вдруг забеспокоился; Вика сразу заметила, насторожилась, и, чтобы ее не тревожить своими предчувствиями, Бусуйок вышел в другую комнату, плотно прикрыл за собой дверь и тут же прильнул к окну: двор был залит лунным светом.

Бусуйок видел, как Шофрон пошел за сеном, как вернулся, видел, как Йоргован повернул к дому, различил и притаившуюся в потемках за конюшной стройную фигурку Симины.

Стыдно было и Бусуйоку стоять и смотреть в окно, но не мог он не смотреть, потому как кому, если не хозяину, знать, что у него во дворе деется. Лишился покоя Бусуйок, и Йоргован, и Шофрон лишился, а всему причиной была Симины.

Но всех беспокойнее было Някшу, не сиделось ему на месте, притаился он за углом и смотрел, как дочка его потихоньку идет по двору.

Шофрон кашлянул.

«А он ведь Симины подкарауливает!» — догадался Йоргован и, не раздумывая больше, двинулся к ней.

Шофрон как был с вилами в руках, так и пошел ему навстречу.

Йоргован на него и не глянул.

Шофрон отшвырнул вилы в сторону и пошел на сына своего хозяина, что остановился и поджидал его.

Симины ни жива ни мертва от страха, замерла на месте, зато Някшу потихоньку направился к парням.

— Чего ты от нее хочешь? — спокойно, даже слишком спокойно спросил Шофрон.

— А ты чего? — поинтересовался Йоргован.

— Хозяйкой хочу в дом взять!

— А я не хочу в дом! — твердо ответил Йоргован.

— Тогда оставь ее в покое!

— Она меня в покое не оставляет.

Шофрон отступил на шаг. Неужто правду он говорит, как с такой правдой совладать?

— Врешь ты все! — закричал он. — Врешь!

— Не врет, Шофрон, — сказала девушка, выступая из темноты. — Сколько мир стоит не было большей правды.

Шофрон опустил голову: как же земля не разверзнется, не поглотит его?

Потом поднял глаза, долгим взглядом изучал Йоргована: что же в нем такого, из-за чего любит она его так сильно? Потом перевел взгляд на Симины: а чего ей не хватает, что не готов Йоргован за нее пойти хоть в огонь?

— На том дело и кончим...— пробормотал Шофрон и, повернувшись, пошел прочь.— А там проживем— увидим, что дальше...

Някшу стоял между Симиной и Йоргованом.

Ушел Шофрон, наверное, насовсем ушел, Симины его прогнала, а назад позвать некому.

Долго смотрел Някшу на Йоргована. Много хотел сказать ему, но одного слова Симины достало, чтобы снять с него всю вину.

— Коли не хочешь, по какой причине не хочешь? — наконец спросил он.

Йоргован знал причину, но горька была бы она этому слабосильному, измученному болезнью старику.

— Отчего ты не хочешь, когда ничего бы больше так не хотел? — настойчиво допрашивал Някшу.

— Оттого, что жене моей придется быть не только женой мне, но еще и снохой свекру со свекровью и родней всей моей родне, а это прямо-таки беда и гибель...

Симины заплакала.

Горько было бы Бусуйоку услышать жестокий сыновий приговор, но он, слава богу, его не слышал.

Как только он увидел из окна, что батрак идет на сына с вилами, он заметался в поисках чего-нибудь подходящего, но, так ничего не найдя, выскочил на крыльцо с голыми кулаками.

Шофрон уходил, а те трое стояли поодаль друг от друга.

Бусуйок наказал сыну запереть дверь, когда пойдет спать, и отправился в дом.

Вскоре и Йоргован вернулся.

Бусуйок слышал его шаги в сенях, слышал, как дважды повернулся ключ в замке, но спать ему все равно не спалось.

Подумать только, его сын с батраком чуть не подрался из-за какой-то девки. И недостало у его сына гордости плюнуть на эту девку, когда узнал он, что облюбовал ее для себя батрак и даже надумал на ней жениться!..

Но поп смотрел на все это куда проще.

— На моей стороне правда оказалась,— торжествовал он, когда Бусуйок поведал ему о ночном событии.— Все так и идет, как я тебе говорил, хотел бы жениться, не стал бы прятаться. Оставь его, пусть молодости порадует.

— Не оставляю! — отрубил Бусуйок.

Стоило ему только подумать о сыне, перед глазами у него вставал униженно кланяющийся Удод.

— Забирай с собой эту девку! — потребовал он у шурина.— А я уж позабочусь, чтобы ноги ее больше у меня на дворе не было.

IX

Поп пошел в поле отбирать людей; Бусуйок проводил его до околицы и свернул на зады, где шло приготовление к молотье.

Молотилку давно поставили на место, за гумном, и несколько мужиков с криками и руганью — без этого ни одно дело не обходится,— перетаскивали паровик с мельницы.

— Чего орете как оглашенные? — напустился на них Бусуйок.— Нечего горячку пороть, полегче! Татары, что ли, за вами гонятся?

Шум утих, но работа шла живо.

Не зря же говорится, тише едешь — дальше будешь; горячку и впрямь пороть не следует, надо проявлять осторожность, когда имеешь дело с машиной.

Больше всех суетился Удод, хотелось ему загладить недавнюю свою вину, вот и старался он изо всех сил, по-собачьи заглядывал в глаза то Бусуйоку, то машинисту при молотилке. Прикажи они ему броситься в горящую печку, он бы, слова не сказав, бросился. За то, что Бусуйок простил его, слова худого не сказал, он готов был теперь разбиться в лепешку, исполнить любое их желание.

Общими усилиями паровик подтащили к молотилке, залили котел водой и разожгли топку. Тут настал черед Удоды отличиться.

— Накидывай привод! — крикнул ему машинист.

Три года служил Удод при паровике, три года исправно подкармливал топку соломой, это было по-сильное ему занятие, но чтобы хоть раз приблизился он к колесам или шестерням, упаси бог! Сердце у него уходило в пятки при виде этой адской механи-

ки. Но желание угодить было даже сильнее страха. Зажмурясь, подошел он к молотилке, издали накинуд на колесо приводной ремень и отскочил назад.

Накинутый бестолково ремень, как ни странно, обхватил колесо и заставил его сделать два-три оборота, но тут же поехал на сторону и слетел.

— Болван! — ругнулся в сердцах Бусуйок и сам направился прилаживать привод.

Такого Удод допустить не мог. Пересилив себя, он опять подступил к адской машине, набросил ремень на колесо и стал выравнивать, но в спешке не заметил, как ремнем ему прихватило рукав, мгновенно защемило руку и бросило его на верхние колеса. Дикий крик огласил округу. Искромсанное тело тут же швырнуло наземь.

Паровик, будто осознавая, что случилось с его истопником, отчаянно взвизгнул на все село. Бусуйок в ужасе отвернулся и закрыл лицо руками.

— Стой! — закричал он машинисту. — Проклятая машина! Зачем только я купил ее.

Он склонился над окровавленным телом, судорожно бившимся на земле в предсмертной агонии. Губы несчастного лепились в какую-то жалкую и зловещую улыбку, он еще дышал, но глаза уже подернулись мутной пленкой.

— Свечку! — крикнул Бусуйок, но никто кругом даже не шевельнулся. — Свечу! — еще громче повторил он, и досада его брала на людей за их нерасторопность: не могут выполнить простой просьбы!..

Но откуда было взяться свече? Откуда? Кто носит при себе свечи? Каждому человеку ведомо, что он умрет, знает он, что кончина может настигнуть его в любую минуту, и все же разве носит он при себе свечу?

Удод умер, умер без свечи, без свечи и без причастия. С тяжелым сердцем возвращался Бусуйок в дом.

Что за дикую, невероятную смерть посылает иной раз человеку судьба. Отродясь такого не слыхивали ни в Куртиче, нигде в округе, чтобы молотилкой искромсало человека. В один миг облетела эта весть все село, и люди сбежались на задворки бусуйокского дома.

Вот и умер человек. Умер, но ведь душа его еще пребывает среди людей, бродит она от одного к другому, утешая тех, кто был к ней добр, и негодуя на того, кто наносил ей обиды. И каждый держит ответ

перед ней, ибо недолго час, когда держать ему еще больший...

— Был человек — нет человека, — со вздохом произнес старик Фуштей. — Да разве ж можно было такого неумеху у машины ставить? Сплоховал Бусуйок, ох сплоховал...

— Да ведь справлялся Удод! — поспешил заступиться за Бусуйока сын Фериги Петру. — Три года проработал на паровике, и ничего. Видно, прогневил он чем-то господа.

Чем же мог он прогневить господа? Чем?

Комара и того в жизни не обидел, никому ничего худого не сделал.

Знали Удод все. По-своему любили этого простодушного и никчемного бедолагу, посмеивались над его неумелостью и хвастливостью, потешались кто как мог, но скорбью и болью пронизало сердца, когда прослышали о его смерти.

Умер Удод, умер без свечи и покаяния.

Савета, жена Шорика, знающая про покойников все, чего другие не знали, припугнула, что станет теперь Удод кружить вокруг двора Бусуйокова, как кружил он давеча, раскаявшись в своем бегстве, и никому от него не будет покоя, потому как помер он без свечи у изголовья.

И Вика, жена Бусуйока, поверила такому предсказанию и всполошилась: казалось ей, что стоит Удод перед ней, целует землю и бьется головой оземь.

Но Бусуйок никого не слушал, был он полон решимости похоронить Удод, как положено у христиан, положить на стол в своем доме, устроить бдение и поминки по всем правилам и законам.

Вика плакала, говоря, что пристало покойнику лежать там, где он помер, ничего у нее не вышло. Боялась она, что в дом, где она была полновластной хозяйкой, станет ходить Удод оборотнем и принесет несчастье.

И поп ее поддержал.

Жалел отец Иоанн, что был об ту пору в поле, не видал, как все случилось, и знал все лишь по рассказам.

— Не гневи бога! — кричал он Бусуйоку. — Смирись! Хоть тысячу свечей поставишь по усопшему, хоть на подушки пуховые положишь, а коли помер он без покаяния и без свечи у изголовья, не примет его душу господь. Не будет его отпевать ни один поп

и не положит в освященную землю. Никто не придет на бдение и на поминки, никого не заманишь ты ни водкой, ни калачом.

— Это моя забота! — отмахнулся Бусуйок.

— Неужто не понимаешь, — настаивал поп, — кабы на то не воля господа, разве ж помер бы Удод нераскаянным? Нет, умер бы, как умирают все люди, своей смертью.

— И без воли господа, бывает, что-то делается, — отрезал Бусуйок и не стал больше слушать ни шурина, ни жену.

Коли Бусуйок заупрямился, поди его переломи.

Но и попа тоже не переупрямишь.

— Пусть делает, как знает, — сказала Вика. — Уйду я на время из дому, пускай без меня хоронят. И покуда не подметут полы, не вернусь.

— Нет, ты в доме останешься! — решил поп и хлопнул дверью в знак того, что не бывать тому, что Бусуйок задумал.

Час спустя все село знало о раздоре у Бусуйоков, о том, что поссорился Бусуйок с Викой, а поп Ярый отказался отпевать покойника и хоронить в освященной земле, поскольку помер Удод без причастия.

Х

В поле шла уборка. Ровными валками из-под кос ложились колосья. Вязались снопы, и вставляли один за другим крестцы, похожие на маленькие хатки.

Об ту пору и приехал поп договариваться с людьми.

Йоргован, до того спокойный и деловитый, злобно усмехнулся, узнав, что среди нанятых людей оказалась и Сими́на. И она согласно закивала головой.

Тут вдруг нагрянула весть о смерти Удоды.

— Затянуло в молотилку Удоды и... страшно подумать, что с ним сделало...

— Как так? — спросил Йоргован.

Не верилось ему, чтобы из-за такого, можно сказать, пустяка, человек жизни лишился.

Он последовал за попом, желая все увидеть своими глазами, а Сими́не хотелось позвать его, остановить, она и сама не знала, чего боялась, места ли, где человек умер не своей смертью, машины ли, которая

может убить, или того, что, засмотревшись на крутящиеся колеса, Йоргован бросится в пасть машины.

Неведомо от чего, но боязно было Симине.

Йоргован пришел на место, стоял спокойно и смотрел.

Лежал перед ним Удод, тот самый, что в детстве таскал его на закорках, тешил и смешил, как мог, и ни разу ничем не обидел, хотя сам многожды бывал обижаем. Не помнил он зла, прощая Йорговану мальчишескую бессердечность.

Посмотрел Йоргован и на молотилку.

Приводной ремень, барабан, колеса,— такие будничные и привычные; если бы не кровь на них, кто бы догадался, что час назад искромсали они насмерть человека. И все же никак не мог взять в толк Йоргован, как это случилось, как сумели они полного жизни человека превратить в грудку неживого мяса. Ведь казалось, что жизни в этом человеке сносу нет.

Машинист показал Йорговану, как приводом прихватило у несчастного рукав, потом руку, как швырнуло на шестерни и размолотило насмерть.

Теперь Йоргован будто воочию все увидел, он опять приблизился к мертвому посмотреть на смерть, которой как бы был свидетелем.

Лежал Удод, и он был мертв, стал мертвецом, а ведь был живой. И такое случается каждый день, и такое случается с каждым!..

Он еще раз взглянул на колеса и ушел, чтобы их больше не видеть, но они все время были перед глазами,— неподвижные, залитые кровью и манящие своей железной безжалостностью.

С тревогой ждала Симина возвращения Йоргована.

Шел он твердо, высоко подняв голову, и больше не прятал под густые ресницы глаза — они бестрепетно и прямо взирали на мир; шел сын богача Бусуйока, гордый и уверенный в себе человек, который уже не отступит и не оробеет ни перед чем.

«Не могу я уехать,— простонала Симина.— Жить без него, вот такого, не могу...»

Больно ударил ее этот человек, но чувствовала она, что если бы он даже топтал ее, она целовала бы ему ноги и была счастлива.

Она смотрела на него, как смотрят на человека, когда хотят, чтобы он стал послушен.

— Йоргован,— тихо сказала она.— Ты ведь мне неправду вчера сказал, может, сегодня правду скажешь?

— А я неправду больше правды люблю,— с усмешкой ответил Йоргован.— Хоть черт меня седлай, скажу, что сам на нем верхом катался. Только вот беда, нет чертям до нас дела.

— А вот и есть! — возразила Сими́на.— Завтра меня увозят от вас, а ты и не знаешь.

— Знаю,— отозвался Йоргован.

Сими́на смолкла. До того равнодушно он это сказал, что ей захотелось и впрямь уехать.

— Йоргован,— помолчав, сказала она с горечью, но ровно и спокойно, как говорила обычно.— Тебе виднее, как поступать, а я даже и не спрашиваю, случилось ли что, отчего ты так поступаешь. Только, может быть, и это можно было бы по-другому делать? Неужели ты не чувствуешь, сколько я стыда терплю?

— А мне только этого и надо,— ответил Йоргован, рассмеявшись.

— А что ты скажешь, коли я не уеду? — продолжала она настойчиво.

Йоргован удивленно взглянул на нее.

— А если отец тебе прикажет?

— Он не прикажет.

— Но он же хочет.

— Верно, хочет, а я поступлю по своему разумению и по сердцу,— ответила Сими́на.— Как сердце велит, так и поступлю, от этого жизнь моя зависит, счастье мое от этого зависит. Уж лучше буду потом клясть себя, чем винить кого-то другого.

— Ну, оставайся, сестрица,— сказал он с улыбкой,— я тебя привез, мне и ответ держать. Каждый несет тот крест, какой сам выбрал...

— Эх! — проговорила она и отвернулась в отчаянии.

В отчаянии была Сими́на не от него, от себя, а он ей внушал ужас.

XI

Всю ночь у Бусуйоков шло бдение, а где бдение, там и шум.

Да и что за бдение без шума?

Бусуйок задумал справить Удоду пышные похороны, показать всему селу, какой он есть хозяин, как ценит своих людей, а заодно и шурина нос утереть. Два попа согласились служить панихиду, а уж что касается поминок, тут слово за хозяином — это его забота.

Стало быть и попы в стороне не остались.

Бусуйок своего добился, могилу согласились рыть хотя и не среди других могил, но в ограде кладбища. Покойника положили в доме тоже не в горнице, а в боковой комнате для слуг. Вика забилась в спальню и ни во что не вмешивалась. Плакальщиц и вовсе не нашлось, бабы народ пугливый, ни одна не согласилась прийти, и все же дом кишел людьми, мужики сидели за столом в горнице, играли в карты, били друг дружку тряпичной плеткой по рукам и чесали языки, рассказывая всякие небылицы. То и дело дом сотрясался от громкого хохота. Поп грозил, что все это добром не кончится. Но чего и ждать от попа? И люди, хотя и вели себя бесстрашно, все же нет-нет да кто-нибудь поглядывал с опаской на окно или дверь, не покажется ли там сам сатана или оборотень, недовольный ночным шумом.

Тягостно было на душе у Бусуйока, он и сам не понимал, отчего ему так тягостно, и бродил туда-сюда, удрученный, подавленный, будто убитый горем. Взглянув на него, Някшу и в самом деле заподозрил, что Удод приходился Бусуйоку братом, уж больно он печалился.

Исполнившись сочувствия, Някшу снял кэчулу, положил около дверей на пол, вытер ноги и вошел в комнату, где на столе покоился умерший.

Лежал он в полном одиночестве, никого не нашлось, кто бы оплакал его смерть.

— Упокой его душу, господи, — произнес скорбным голосом Някшу и широко перекрестился. — Помилуй и меня, господи, коли согрешил я в чем.

Не мог Някшу допустить, чтобы покойник оставался один без людей, и решил заменить ему всех родных, которых не было у бедного Удоды.

Сими́на в дом не входила, сидела она на приступке около крыльца, время от времени тихонько смахивала с лица набегавшие слезы.

Так и коротали ночь. Покойник в одной комнате,

Бусуйок в другой, Вика в третьей. Только Йоргована нигде не было.

Как вернулись с поля, он был, а потом исчез. Говорили, будто пошел он на мельницу поглядеть, как там идут дела. Симиная ждала его, и чем больше ждала, тем сильнее щемило сердце и тем больше она тревожилась. Куда пошел? Почему так долго не возвращается? Уж не стряслась ли беда какая? Надо было глаз с него не спускать.

Симиная утерла слезы и поднялась.

Но уйти, не сказав отцу, она не могла, а войти в дом, где лежал покойник, никак не решалась. Вот и приходилось ждать, пока Някшу сам выйдет, а он все не шел и не шел.

Вдруг она заметила в дверях конюшни Шофрона. Задумчиво стоял он, прислонившись к косяку спиной.

Симиная обрадовалась и бросилась к нему.

Шофрон вздрогнул, увидев, что к нему идет Симиная.

— Шофрон,— попросила она.— Если батя меня искать станет, скажи, я сейчас вернусь.

Шофрон взял ее за руку, крепко сжал.

— Куда это ты? — спросил.

— Ты ж знаешь. Чего спрашиваешь? Зачем меня отвечать принуждаешь? — сумрачно ответила девушка.

Шофрон пристально поглядел на нее.

— Я с тобой груб был, ты прости. Вот заговорила ты со мной, и я как дитя малое радуюсь. Позволь, я сам за ним схожу, приведу его к тебе. Уж я-то знаю, каково тебе приходится.

Симиная закрыла лицо руками и, рыдая, убежала в конюшню.

Шофрон ушел и вскоре вернулся.

— Уперся и не вытащить! — хмуро заявил он.

— Откуда? — спросила Симиная, вытирая слезы.

— А то не знаешь?

— Не знаю.

— Правда, что ли, не знаешь? А и верно, ваш брат там не бывает.

— Да где он, говори толком! Где?

— В шинке! Вот где! — выпалил он с досадой.

Симиная распрямилась и горделиво, и недоверчиво глянула на Шофрона, но тут же, поняв, что говорит он правду, погрузнела.

— Вот он куда ходит...

Умом Шофрон был не слишком скор, но чего ум ему не подсказывал, говорило сердце.

«Ходит, ходит, да еще как часто! Любит он в шинке сидеть, как уйдет, и не вытащишь его оттуда»,— вот какой ответ подсказало сердце.

— Неправда это! — крикнул он.

— Что неправда? — переспросила удивленно Симина.

— Не пьет он, за тот год, что я у них в работах, один раз только и видел его пьяным, и вот сегодня второй.

— Пойдем со мной, Шофрон! — вдруг решительно заявила девушка.— Не одной же мне туда идти!..

Шофрона дважды просить не пришлось, тут же последовал он за ней.

Йоргован гулял.

В задней комнате шинка на столе громоздилась батарея бутылок, пузатых и длинных, пустых и полных, стаканов, стаканчиков, рюмок, кружек и всякой другой всячины; за столом, развалясь, сидели пятеро. Йоргован полулежал на диванчике, справа от него писарь Василике, известный выпивоха, а слева, примотившись на столе, местная гулящая девка Шарика. У дверей цыганский оркестр из скрипок и гитар наяривал чардаш, а посреди комнаты бывший однокашник Йоргована, а ныне офицер, прибывший домой на побывку, Арпад Бучи с другой куртичской девицей Бришкой лихо отплясывал.

Йоргован весело смотрел на них, хлопал в ладоши.

Вошел половой и шепнул ему, что отец прислал за ним человека.

— Скажи, я занят! — громко заявил Йоргован и отмахнулся от полового, как от назойливой мухи.— Занят я!

Половой пожал плечами, повернулся и ушел. Но тут же вместо него появился Шофрон.

Йоргован рассвирепел, да так, что Шарика в испуге соскочила со стола и шарахнулась в сторону, а Бучи, звякнув шпорами, резко остановился.

— Сказано было, никуда не пойду! — яростно заорал Йоргован.— Гуляю я! Понял? И убирайся к черту!

— Мне только два слова тебе сказать, а там гуляй, сколько влезет,— настойчиво сказал Шофрон и, на-

клонившись, шепнул ему на ухо, что во дворе его ждет Сими́на.

Йоргован замер, открыв рот, такого он не ожидал.

— Славно! — вскричал он радостно и грохнул кулаком по столу. — Славно! Нашего полку прибыло! Где она?

— Кто? Кто? — засуетились и его собутыльники.

— Сейчас увидите! — объявил Йоргован и ринулся, шатаясь, к дверям.

Поняв, что он еле держится на ногах, Сими́на оробела и сникла.

— Идем к нам, девонька! Выпьем! Повеселимся! — заплетающимся языком позвал он и, ухватив ее за локоть, потащил за собой. — Ох, и гульнем на славу!

Что было делать, уйти, зачем тогда было и приходить? Сими́на была в растерянности. Сердце у нее билось, как пойманная перепелка.

Шофрон чувствовал, что словами с Йоргованом не сладить, тут сила нужна, душевная сила.

— Оставь ее! — твердо произнес он. — Не бери греха на душу! Не про тебя она!

— Не про меня? — изумился Йоргован, оборачиваясь. — Вот, значит, как? А тебе что от нее надо? Ты зачем вокруг нее увиваешься? Забыл, кто я такой?

— Подлюга ты, вот кто! — обозлился и Шофрон.

— Шофрон! — Сими́на мигом бросилась их разнимать. — Йоргован! Пойдем в шинок! Пойдем гулять! Пойдем в шинок!

— Я подлюга?! Ну, погоди! — буркнул Йоргован, отстраняя ее. — Я?

— Йоргован! Нашел время ссориться! Идем в шинок! Гулять будем! — настаивала Сими́на.

— Да неужто ты с таким пойдешь? — сурово спросил Шофрон.

— Пойдет! — отозвался Йоргован и потянул ее за руку.

— Шофрон! — полуобернувшись, кликнула Сими́на. — Прости. Сам видишь, нельзя его оставлять...

Но то, что она увидела, войдя в комнату, заставило ее съежиться в испуге: она очутилась среди подвыпивших цыган, разгульных накрашенных девиц и гогочущих Йорговановых собутыльников; стол был заставлен бутылками и стаканами, в воздухе — дым коромыслом. Голова у нее пошла кругом от увиденного, она даже отшатнулась назад, будто стояла на

краю пропасти и боялась свалиться в нее. Зловещие лица цыган, ухмыляющиеся парни, разнузданные девки напугали ее еще больше, чем пьяный Йоргован.

— Если тебе тут весело?...— боязливо озираясь, спросила она,— то что ж... давай веселиться...

Йоргован, казалось, на мгновение протрезвел, мутным взором обвел он комнату с сотрапезниками, залитый вином стол, взвизгивающих девиц, испуганное лицо Симины и мрачного Шофрона, вставшего как грозный страж у нее за спиной,— и стало ему до ужаса тошно от всего этого.

— Не хочу! — сказал он и шатаясь вышел.

Симина догнала его на крыльце, взяла под руку и повела по дороге к дому, а Шофрон шел за ними следом, чуть не на цыпочках, чтобы не слышно было.

На сердце у него было горько, и все же ему было хорошо.

— Пусти! — внезапно вырвал руку Йоргован.— Сам пойду!

— Если хочешь,— согласилась Симина.

— Хочу! — запальчиво крикнул он, сделал несколько шагов и вдруг заплакал.

Симина закрыла лицо руками, и ей бы выплакаться всласть. Но сухими оставались глаза, ни одной слезинки не могла она из себя выжать.

И вдруг Йоргован молча рухнул перед ней на колени, стал целовать ей ноги и землю вокруг нее.

— Что ты! Что ты! — испуганно встрепелась она и заломила в ужасе руки.— Пойдем! Пойдем домой! Дома спать ляжешь.

Выйдя на крыльцо, Някшу оглядывался во все стороны — где? Где его дочка? Чем занята?

Когда подходили Симина с Шофроном, он стоял уже у калитки.

— Покарауль, отец, пока мы его по двору проведем,— попросила Симина.

И Някшу караулил, пока батрак и горянка укладывали хозяйского сына, сына самого Бусуйока, в конюшню, чтобы никто его не видел.

— Видишь, батя,— грустно сказала, вернувшись из конюшни, Симина.— Никак нам нельзя отсюда уходить.

Някшу покачал головой.

Он видел, что дочке его никак нельзя здесь оставаться,— бежать надо ей из этого дома, где покой-

ника бросили одного в пустой комнате, где хозяйка поступает наперекор хозяину и хозяйский сынок в ночь бдения гуляет в шинке.

— Доченька, — проговорил он ласково. — Никогда я не мешался в твои дела, полную волю тебе давал, но теперь послушай меня, старика. Уйдем отсюда, нельзя нам тут оставаться.

— Нет, батя, — возразила девушка, коли уйду, всю жизнь потом себя клясть буду. Пропадет он, видишь, до чего дошел.

Някшу видел. Да только, что за дело ему до сына Бусуйока, первого богатея в Куртиче? Разве нет у него дочки — одной-единственной, его кровиночки — нельзя ей было здесь оставаться.

— Уйдем! — твердо сказал он, теребя седую прядь и проклиная свою старость.

— Останемся, — твердила Симина.

«Не останется она, коли я уйду», — думалось ему.

«Не уйдет он, коли я останусь», — решила она.

Всегда понимали они друг друга с полуслова, всегда бывали в ладу и согласии, а тут разошлись на развилке двух дорог.

XII

«Человеку иной раз на пользу покуражиться да пофордыбачить, чтобы кровь у него в жилах не застаивалась».

Так подумал поп Ярый, решив помириться с Бусуйоком.

Чуть свет выехал он в Куртич в своей щегольской бричке, но отправился он не за работниками: они и сами доберутся, и матушка с ними вполне управится, кто как не она голова хозяйству, а он как-никак священник, и, взяв с собой епитрахиль и требник, он отправился в Куртич, так как вознамерился вместе с двумя другими попами отслужить заупокойную службу по новопреставленному Удоду, потому как Бусуйок был попу Ярому зять, и оба они теперь одно семейство.

Бусуйок, зная отходчивость и совестливость шурина, ничуть не удивился его приезду, но в душе был ему признателен.

Вопреки обыкновению поп не выпрыгнул из брички, а вышел степенно и чинно, как и надлежит священ-

нику, отряхнул подрясник от пыли, потопал ногами, как делал только перед домом благочинного.

Бусуйок поглядел на него с опаской — а ну как начнет расспрашивать да травить ему душу, только зря растревожит, а тревог у Бусуйока и так хватало.

Но отец Иоанн был не из тех, кто молчит, когда ему поговорить хочется.

— Ну, а что я говорил? — спросил он, будто продолжая начатый разговор.

— Что говорил-то? — опасливо насторожился Бусуйок.

— И к нам холера пожаловала. Вчера двое умерло, а сегодня, поди знай, сколько умрет.

Бусуйока будто колом огрели.

Первой мыслью его было тут же избавиться от работников, прогнать их долой со двора, пусть убираются домой. Но легко сказать, избавиться, если у тебя в доме покойник и предстоят похороны да поминки. Кто ж людей гонит? Да и шурин, покуда не скосят у него ниву, а нива немалая, двадцать югеров земли, никого не отпустит. Скажет: «Свой хлеб небось скосил, не страшился холеры...»

— Храни нас бог! — сказал Бусуйок и больше ничего не стал говорить.

И без того ему тревог и забот хватает.

Помрачнел он, посмурнел, и попу с сестрой захотелось его утешить. Вика предложила перенести покойника в горницу, а поп посулил, что отпевать Удоду позовет он семь иереев и могилу ему велит вырыть не на краю кладбища, а в самой середке, но Бусуйок помотал указательным пальцем и не велел ничего переиначивать, пусть остается как есть. Плохого он не делал, упрекать ему себя не в чем.

Йоргован как спрятался в свою комнату, так и не показывался на глаза ни родителям, ни остальным, стыдно ему было за вчерашнее.

Шофрон вчера назвал его подлюгой и правильно назвал, подлюга он и есть.

Один за другим уходили со двора работники, нанятые попом, растянулись они длинной цепочкой по дороге на Сокодор, а Някшу все медлил и не уходил.

Что же его держало? Чего он выжидал?

Сими́на как села на приступок возле крыльца, так с места не двигалась, не собиралась она идти в Сокодор.

Видела она все, что делается на дворе и в доме. Видела, как приехал поп Ярый, как чинно вылез он из повозки, видела перепуганное лицо Вики, озабоченного и растерянного Бусуйока. Йоргована, когда шел он из конюшни в дом, пряча глаза от стыда, — все она видела. Но ничто не задевало ее, досада ее брала на отца, что уперся он и не хочет остаться вместе с ней.

Някшу больше не пытался ее уговорить, но втайне надеялся, что она одумается и последует за ним.

«А может, и впрямь мне остаться?»

У него не было сил даже взвалить мешок на спину.

И все же он решил уйти, уйти во что бы то ни стало, дать Симине возможность сделать выбор между ним и этим неприятным ему человеком.

«А коли она предпочтет Йоргована? Что тогда?»

«Тогда у меня нет больше дочери!» — отозвалась в душе затаенная обида.

Нет, нет! Так не годится! Что же ему отказываться от дочери?

«Пусть поступает, как ей лучше, — казалось, произнес он вслух, — ей виднее».

Болезнь изнурила его, смерть могла его настигнуть в любую минуту — и стоило ли себя истязать, не лучше ли было остаться? Нет, он нутром ощущал, что ему надо уйти.

Он заглянул в конюшню, попрощался с Шофроном.

— Ну, прощай, Шофрон! Авось еще свидимся! — сказал он, протягивая руку. — Храни тебя господы!

Шофрон придержал ее, будто собирался и никак не решался сказать что-то весьма важное.

Наконец решился и передал то, что шепнул ему на ухо поповский кучер, — страшную весть. Но начал исподволь.

— Значит, в Сокодор уходишь? — спросил он.

— Ага, в Сокодор, — ответил Някшу.

— А знаешь ли, что там холера? — спросил Шофрон, все еще не выпуская его руки. — И люди мрут от нее.

Някшу высвободил руку, постоял чуток, раздумывая, высокий, прямой, нестарый человек с изможденным от болезни лицом.

— Дай мне свечку, — тихо попросил он.

Шофрон ушел в дом и вынес ему свечку и калач из тех, что раздадут на поминках: калач — на долгую

жизнь, а свечка — на случай, если настигнет в дороге смертный час.

— Упокой его душу, господи, — промолвил Някшу и поклонился дому.

— Амины! — со вздохом отозвался Шофрон.

Някшу сунул свечку за пазуху и с калачом в руке направился туда, где так же неподвижно сидела Сими́на.

— Ухожу я, — будто впервые сообщил он ей.

Сими́на оживела и поднялась, поправила мешок у него на плече. Отец с дочерью вышли за ворота, молча прошли по улице, он чуть впереди, она — поотстав на полшага.

Потом Сими́на остановилась, поцеловала у него руку, а он поцеловал ее в темя, провел нежно ладонью по лицу, заглянул в ее лучистые, ясные глаза.

— Ежели худо тебе будет, — сказал он, — доверься Шофрону, он завсегда подмогнет, человек надежный...

— Я знаю, — ответила девушка тихо.

Някшу повернулся и неожиданным для него быстрым, почти молодым шагом стал нагонять остальных. Сими́на долго глядела ему вслед в надежде, что он передумает и вернется, но он даже ни разу не оглянулся и вскоре скрылся из виду. Сими́на все еще стояла посреди улицы, словно не хотелось ей возвращаться во двор богатея Бусуйока, но другого пути у нее не было.

XIII

Дорога на Арад вела через широкую Товисегихазскую равнину. При дороге стоял двухжуравельный колодезь с глубокой студеной водой, а подле колодезного сруба две долбленные колоды, одна на козлах для крупного скота и лошадей, другая — для овец. Ведерко одного журавля было погружено в колодезь, другое поскрипывало и качалось над землей высоко в воздухе.

День был воскресный. Убранные хлеба давно покоились в амбарах и закромах; над жнивьем колыхались волны полуденного зноя. В мутном мареве возникали странные видения одиноких деревьев, колодезных журавлей, деревенских хат или церковных колоколен, они то будто погружались в призрачные воды, то вновь возникали, отраженные шиворот-навыворот в зеркальном отражении.

Порой налетал смерч, подхватывая со сжатых полей все, что попадалось на пути, — пучки соломы, листья, дорожную пыль, — поднимал высоко в воздух и крутил, крутил, крутил, а наигравшись вволю, разбрасывал по сторонам. Выбежала из норы ласка и, привстав на задние лапки, долго завороженно всматривалась в приближающийся столб пыли, потом быстро спряталась обратно в нору — только ее и видели.

На макушку колодезного журавля присела шумливая ворона и громко каркала, накликая беду; а возле колодезного сруба стоял воз, запряженный парой волов в ярме, уныло жующих кукурузные листья.

Воз, по-видимому, стоял тут давно, потому что волы успели съесть почти все запасы еды и даже подобрать языками разбросанные по сторонам листья и теперь тоскливо поглядывали на воз, груженный кукурузой, и на колоду с теплой от солнца водой.

На возу лежал человек, рядом с ним опрокинутое ведро — он не то спал, не то валялся пьяный или хворый, не то совсем умер.

Бусуйок с сыном возвращались из Арада в параконной повозке, Йоргован сидел на облучке, нахлестывая и без того ретивых лошадей; неслись они так, что клубилась за ними пыль хвостом в полверсты.

«Тпру!» — крикнул было Бусуйок, заметив при дороге упряжку волов, но тут же разглядел недвижно лежащего на возу человека и крикнул:

— Гони, сынок! Гони, не останавливайся!

Какого страха натерпелся Бусуйок в дороге, каких ужасов насмотрелся, словами не передать, и теперь мечтал лишь скорей добраться до дому.

Смерть и сама по себе страшна, а смерть от мученической болезни и того страшнее. Посередь дороги, на чужбине, на солнцепеке умирали люди — ох, не приведи господь!

И вольно же ему было, опытному и бывалому человеку, не подумав отпустить сына из дому чуть ли не в двухдневную поездку, когда всюду свирепствовала холера и косила без разбору всех, кто попадался ей под руку, богатого ли, бедного ли? Как же мог так рисковать сыном? Теперь в дороге нагледевшись ужасов, он удивлялся своему легкомыслию.

По приезде домой обухом по голове его оглоушила черная весть, примчавшаяся из Сокодора: поп сообщил о смерти Някшу.

Йоргован стоял как громом пораженный.

— Ах ты, беда-то какая! — с горечью запричитал Бусуйок. — Как же так! Вот уж оглоушил, так оглоушил! Ох, беда! Добралась, значит, проклятая хворь и до нашего порога. А первым в этом череду, выходит, судьба помереть бедному Някшу, царствие ему небесное!

Он забегал, растревоженный, не зная, что делать, а поп глядел чуть ли не довольным, а довольным он бывал всегда, когда случалось что-то особенное.

— Ну что ж! Раз помер человек, похоронить его требуется по чести и совести, — выдохнул наконец Бусуйок и, заглянув в лукавые, смеющиеся глаза шурина, спросил: — Вот только, как же теперь с девкой быть?

— А я почем знаю? — отмежевался сразу поп. — Твое дело решать! Не моя это забота. Я, что ли, привозил ее? Тебя про холеру упреждали, а ты соблюл свой интерес, и правильно соблюл, потому как ты хозяин и тебе без людей нельзя. Все мы в руках божьих. Кому господь черед назначит, тот и помирает.

— Да ладно тебе! — сердито отмахнулся от него Бусуйок. — Я тебя дело спрашиваю: как с девкой быть? Не могу же я ее теперь из дому отпускать. Куда она денется?

— А я, что ли, знаю? — продолжал ухмыляться поп. — В таком деликатном деле я не советчик. На то у тебя своя башка на плечах имеется. Сам решай!

Бусуйок опять забегал взад-вперед.

Трое мужчин было в доме — Бусуйок, Йоргован и Шофрон, но только один знал, чего он хочет. Знать-то Шофрон знал, да боялся сделать, чего хотелось, а другие два боялись, как бы по слабости не сделать того, чего не хочется.

— Йоргован! — Бусуйок вдруг остановился и взглянул в упор на сына. — Не потому, что ты хочешь, и не потому, что я не хочу, а потому, что так, видно, богом заповедано. Понял ты меня?

Йоргован вздрогнул.

— Нет, — сказал он умоляюще. — И не заговаривай об этом.

Но Бусуйок его уже не слушал, приняв решение, он торопился сообщить о своем решении Вике.

Вскоре весь дом уже знал о случившемся, только одна Симиная оставалась в неведении. Вика решила, что

Сими́на, ничего не зная, спокойно будет жить в Куртиче, а там, как бог рассудит; поп ей от отца поклон передал, и кто решился бы объявить ей, что батюшка неправду сказал.

Четыре дня прошло с тех пор, как ушел Някшу, и все четыре дня она мучилась и страдала, грызла ее совесть, что пошла она против воли отца, ослушалась его, да еще и отпустила хворого. От всех этих мыслей сделалась она тихой и покорной, куда, кажется, девалась, ее бывая веселость и прыть? В какой-то миг она было надумала уйти, даже вещички свои собрала в узелок, но вмешалась Вика. «Из моего дома девушку гонят!» — кричала она. А стоило Йорговану удрученно повесить голову, она кричала: «Губят моего сына!» И Сими́на теряла последние крохи решимости, оставалась, боясь принести людям огорчение.

Хотя об отце тревожилась она не меньше, все же присмирела, притихла.

И вдруг стала она замечать, что люди сторонятся ее, в глаза ей не смотрят — с чего бы это? Она еще пуще растрожилась. Так уж разок было, когда в первый день жатвы приехал сокодорский батюшка, увел от людей подальше, допытывал да испытывал, а потом середь поля и оставил одну. Тогда люди тоже ее сторонились. И теперь после приезда попа, все от нее отворачиваться стали.

Хоть Вика запретила людям рассказывать Симине о случившемся, был один человек во дворе, который ослушался запрета, не мог не ослушаться по своей честности и прямоте.

Узнав о смерти Някшу, Шофрон обнажил голову, повесил шляпу на гвоздь и пошел разыскивать Симину.

Он нашел ее, стирающей белье, окликнул, а она, думая, что зовет ее хозяйка, вытерла руки и пошла за ним.

Отойдя в сторону, Шофрон прокашлялся.

— Сими́на, — сказал он. — Есть ли у тебя родня?

— Как не быть? — недоумевая, отвечала девушка. — Есть у меня двоюродный брат и тетка в Зимбру, есть дядька в Кереке. Правда, я его никогда не видывала, но батя завсегда рассказывает... А еще... А тебе зачем моя родня понадобилась?

— Преставился батя твой, — с трудом выговорил Шофрон.

— Как преставился? — упавшим голосом переспросила девушка.

Нет-нет, она знала, что это значит и не сомневалась, что Шофрон сказал ей правду, но слово «преставился» никак не вязалось в ее сознании с отцом. Она никак не могла поверить, что отец ее вдруг ни с того ни с сего взял да и умер.

— Как так преставился? — недоумевая, переспросила она, все еще не в силах уяснить смысл этих слов.

— От холеры.

— Как от холеры?

— Не знаю, — ответил Шофрон. — Знаю только, что свеча у него при себе была.

Симина все еще терла лоб, будто пыталась втереть в голову эту никак не дававшуюся ей мысль, что отца ее больше нет в живых.

Тут, на чужбине, один, без родных, не мог он умереть.

И все-таки умер.

— Что же мне теперь делать? — пробормотала она растерянно.

— Да я и сам несведущ, — отвечал Шофрон. — Ты порасспроси какую-нибудь бабку. Знаю, что надобно тебе расплести косы и не заплетать их, кажись, недели три... Ты отправляйся в Сокодор, а я поскачу верхом в Керек, авось к ночи привезу твоего дядю. Обмоем покойника, на стол положим, а там и тебе оплакивать его возможно будет...

— Оплакивать? — переспросила Симина.

— Ага, — кивнул Шофрон и ушел к Бусуйоку просить лошадь и денег.

Симина все еще стояла в растерянности посреди двора.

Как же так? Неужто положат отца на стол, и ей одной-одинешеньке причитать над ним и плакать. И кроме нее, не будет ни одной живой души.

Только теперь она ощутила нестерпимую явь своего сиротства, только теперь поняла всем своим существом, что ее отец умер, и даже воочию увидела его лежащим мертвым на столе.

— Шофрон! — крикнула она. — Не оставляй меня! Бога ради, не оставляй! Пусть в Керек едет кто-нибудь другой!

Шофрон остановился.

В самом деле, нельзя ему оставлять ее.

Она кинулась ему навстречу, но, пробежав несколько шагов, резко остановилась и зарыдала в голос, закричала истошным криком:

— Куда мы положим его? Где станем отпевать?

— У меня, — ответил тихо подошедший священник.

Симиная, рыдая, поцеловала у него руку, рыдая, расплела косы и, рыдая, поднялась на крыльцо дома.

XIV

Девять недель ходила Симиная нечесаная, распустив волосы, девять недель подряд вечерами повторяла одну и ту же молитву: «Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная!»

Отец Иоанн сделал все, как обещал, похоронил Някшу честь честью, устроил поминки в своем доме, сам калачи раздавал, сам и сироту приютил у себя. Впрочем, нет, больше пеклась о ней матушка, привязавшаяся к славной девушке, поп в это не мешался, занимаясь своими делами.

Сколько ни уговаривали Симинову Вика, жена Бусуйока, и тетюшка из Зимбру, и дядюшка из Керека, никуда она не переехала, а осталась жить в поповском доме, в селе, где скончался ее отец и где еще витал дух его. Она уже не плакала, как прежде, ни на людях, ни тайком и на кладбище не ходила лить слезы над могилой, но все же осталась жить в Сокодоре. Порой вдруг возникало у нее желание уйти отсюда куда глаза глядят, но тут же ей вспоминался тихий погост на холмике за церковкой, куда привел ее однажды батя в поминальный день и, указав на голое, ровное место, сказал: «Вот тут, доченька, покоится прах твоего деда, тут была его могилка, да осела земля, затоптали ее люди, и бабкина могилка тут была, и тоже не осталось от нее следа. Так и об отце твоём память изгладится». И вспомнив эти слова, никуда она уже не могла уйти.

Да и ни за что не отпустила бы ее попадья, прикипела к ней душой. Прежде попадья одна коротала дни, пока батюшка служил в церкви или ездил по всяким своим многочисленным делам, и думала, что так оно и должно, а как отведала она сладость дружества, не хотелось ей больше оставаться одной.

Все же именно попадья первая исподволь намекнула Симиной, что пора бы ей забыть о своем доме, пусто в нем, а пора приискать себе другое, более подходящее пристанище.

Симина с трудом расчесывала волосы, а матушка на нее глядела.

— Больно мне, очень больно, — пожаловалась девушка, и глаза ее наполнились слезами.

Матушка кинулась ей помогать, и обе они вдруг ни с того ни с сего расплакались навзрыд.

— От Сокодора до Куртича рукой подать, — утешала Симиной матушка, улыбаясь и всхлипывая. — По воскресеньям будем в гости друг к другу ездить.

«Не жить тебе кукушонком в вороньем гнезде», — вторгся вдруг другой, до боли знакомый голос.

— Нет, матушка, не решусь я, погодить надо, — с грустью возразила Симина попадье и поняла, что на самом деле готова согласиться.

— Бусуйок обещался в воскресенье навестить.

— Как в воскресенье? В нынешнее? — не на шутку испугалась Симина.

Она мысленно покорила неизбежности, но не понимала, зачем Бусуйок так торопится? Чего ему неймется? Он не давал ей даже времени опаматоваться от своего недавнего несчастья. Целых два месяца ею владело чувство потерянности и сиротства, она жила, не помня себя от боли, ничего кругом не замечала — горе застило глаза.

Ночью она долго не могла уснуть, вспоминалось прошлое, смутно рисовалось будущее.

Прежде она жила беспечно, жила, как хотела, и за свои промахи расплачивалась сама огорчениями и разочарованиями, но теперь она взглянула на прошлое взором, омытым слезами настоящего горя, и минувшее предстало перед ней совсем в ином свете. При мысли о Йорговане краска стыда и возмущения заливала щеки, и досадой полнилась душа.

Так весенний разлив очищает поле от всего лишнего и негодного, что мешает зарождению нового. В просветленном сердце ее все былые чувства виделись такими же засохшими и увядшими травами. Но как на очищенной земле после половодья зеленеется свежая травка, так и в сердце, очищенном от сорняка, пробивались первые ростки новой тяги к жизни.

Безумие и боль отошли в прошлое. Симина будто

избавилась от наваждения и обрела трезвый разум, но боль все же еще гнездилась по закоулкам, не давала ожить по-настоящему. Не могла она сломя голову бросаться в неизвестное, как прежде, что-то сдерживало ее, а если она пыталась освободиться от этих пут, чей-то внятный голос тихо напоминал: «И окажешься ты кукушонком в вороньем гнезде!»

Нет. Надо было повременить еще. Подумать. Отой-ти.

Слишком свежа еще рана, слишком остра еще боль.

Она теперь твердо знала, что рано или поздно уступит настойчивости Бусуйока, но знала также, что произойдет это не скоро, во всяком случае не завтра, как предполагал он.

«Поеду погостить к тетушке или к дядюшке, а там пусть сватают. Будет мне с кем душу отвести, у кого совета попросить».

XV

Отца Иоанна будто подменили.

Нет, нет, все в его жизни оставалось как прежде, охотился он на перепелок, гонял лошадей вскачь по дорогам, холил свою гончую собаку, но что-то в душе надломилось, ничего не приносило ему радости.

А виной всему была смерть Някшу.

Не из-за батюшки помер Някшу, батюшка тут был ни при чем, и все же лучше умирал бы он где-нибудь в другом месте, дома, у себя в горах.

Присутствие в его доме Симины всякий раз напоминало о том, что хотелось бы скорее забыть.

Он лишился покоя, ворчал, придирался, стал забывчив, а тут еще к нему стали приставать с расспросами, правда ли, что Бусуйок решил женить сына на лесовичке? Бусуйока знала вся округа, а поп приходился ему шурином.

Слухи усилились, растревожив бесчисленную родню Бусуйока, разбили ее на два враждебных лагеря.

Одни одобряли Бусуйока, говорили, что богатому хозяину не в ущерб взять в дом невестку без приданого, главное, чтобы молодые женились по любви да невеста была пригожа, а уж такая девушка, как лесовичка, и впрямь послужит украшением дому.

Другие сетовали, что ходит Бусуйок на поводу у сына, во всем ему потакает; вот и женит его против своей воли, боится, как бы тот не осерчал. Уже давно пляшет Бусуйок под его дудку, все стало наперекосяк в доме, что сын скажет, то и делает. А почему? Бог весты! В чем причина такой перемены? И было бы кого слушаться! Его и мужиком истинным не назовешь, и барина настоящего из него не вышло! Пять лет только зазря потерял. Взялся за хозяйство, а уж какой из него хозяин! Плунуть да растереть! Нет, оплошал Бусуйок!

Некоторые почему-то жалели Йоргована и винили во всем Симину, будто она приворотом приворожила его, потому как лесовички на колдовские снадобья большие мастерицы. Вот и вертит она теперь бедным парнем, а Бусуйок ничем помочь ему не может.

А то еще сказывали, что из жалости женится Йоргован, не может девку оставить после смерти отца.

Поп слушал всю эту брехню молча, не моргнув глазом, и уходил, пожимая плечами. Безмолвно соглашался он со всеми, лишь бы избежать лишних расприсов.

Он и сам думал, что не умри Някшу, никогда бы не стал Бусуйок сватать сына своего за нищую лесовичку, а Йоргован ни за что бы не отважился поступить наперекор отцу.

Говорливый поп молчал, в рот воды набравши не только с чужими, но и со своими: с Бусуйоком, с Викой, с Йоргованом.

Бусуйок хотя и замечал необычную перемену, но про себя думал, что так оно, может, и лучше, но вскоре все же не выдержал:

— Ну, а ты чего молчуном заделался? Скажи свое слово, мы послушаем.

Поп в ответ ухмыльнулся и sluкавил:

— Знаю я твое послушание. Ежели ты во что упрешься, тебя и колом не своротишь. Раз ты надумал женить Йоргована, так и будет. Не родился еще человек на свете, который бы тебя своротил.

— Ладно. Помалкивай. Чему быть, того не миновать, — заключил Бусуйок.

Йоргован сам не знал, чего ему хочется. У него семь пятниц на неделе, то в одну сторону его клонило, то в другую. И досада брала на себя за такую неустойчивость. Еще в Зимбру заметил он такое за собой.

Позвал Сими́ну с отцом на жатву, полночи гнал коня и тут же пожалел. Нет бы сразу решить, подумать сначала. И все время так. Мотало его из одной крайности в другую.

И с Симиной ночью говорил он не так, как хотел. Только Шофрона зря раззlobил, чуть до драки у них не дошло. Симине ни за что обиду нанес — а разве того он хотел? Сам же потом пьяный возле шинка валялся у нее в ногах, прощения просил, землю целовал. И теперь попросит, а все одно сидит в нем ненависть к ней, а вдруг она заметит по глазам?

Да что же это за напасть такая? Спятил он, что ли?

Ведь знает заранее, что стоит Симине отвернуться от него, побежит он за ней, стоит с укором покачать головой, он не выдержит, опять кинется ей в ноги или прибьет до смерти.

Да что это он все о ней да о ней думает, будто ни о чем другом и подумать нельзя.

Вот Шофрон, позавидуешь мужику, ей-богу, работает себе как ни в чем не бывало и хоть бы что.

А ведь и он любит Сими́ну. Любит безответно. И надежды у него никакой добиться от нее любви. Почему же он спокоен, почему же ему не лезут в голову дурацкие мысли убить Сими́ну? Он наоборот ходит около нее, как нянька. И она его уважает. Советуется с ним. Скажет он ей: «Остерегайся Йоргована, никудышный он человек, ненадежный! Нынче землю у ног твоих целует, а завтра, глядишь, в землю тебя живьем втопчет!»

И она послушает. И будет права. Так и есть!

В Сокодор Йоргован ехал с пустым сердцем, все равно ему было, женят его или не женят — безразлично. И сердил своим безразличием Бусуйока, хотя тот и молчал.

Но как только въехали в поповский двор и Йоргован увидел Сими́ну, он весь затрепетал, его бросало то в жар, то в холод. Бусуйок и это заметил и опять разозлился.

А тут еще попадья, отозвав Бусуйока в сторону, стала нашептывать что-то про Сими́нину родню — ду-ду! ду-ду-ду! — совсем его вывела из себя.

Какое ему дело до чужой родни?! Что у него, своей мало?

Бусуйок полагал, раз такой девке, как Сими́на,

честь оказана выйти за его сына замуж, то она должна руки целовать и богу молиться — вот уж повезло так повезло. Выйти за сына Бусуйока — бесприданнице!

А эта дура-баба: ду-ду-ду!

— Покличь ее сюда, — буркнул он попадье и стал нетерпеливо расхаживать из угла в угол.

«Не стану вола вертеть! Надо все одним махом и кончить!»

Симиная вошла, кроткая, безмолвная, стала перед ним, потупив глаза.

— Слушай, девонька, — начал он раздумчиво, чтобы не выглядеть в ее глазах заинтересованным, а то она невеста что о себе возомнит, — пришел час решать тебе свою судьбу, хочешь, поезжай к своему дядюшке, а хочешь, переходи ко мне жить, будешь в моем доме, в моей семье молодой хозяйкой, где тебя все станут любить и жаловать, как положено снохе. Решай!

Симиная подняла взгляд, отвела со лба прядь волос и ничего не отвечала.

Она понимала, что теперь все зависит от одного ее слова, но как ни тяжело ей было уезжать отсюда, совершить над собой насилие и выйти за Йоргована она была не готова.

— Я уж решила, — сказала она тихо и снова потупилась. — Я поеду жить к дядюшке.

Бусуйока будто колом шибанули по башке.

Такого он никак не ожидал.

Как же он теперь родне на глаза покажется?

Он готов был метать громы и молнии.

Симиная опять подняла глаза, посмотрела на него, будто спрашивала: окончен ли разговор и можно ли ей уходить?

— А ты, девонька, хорошо подумала? — с угрожающей мягкостью спросил Бусуйок. — Не с плеча ли рубишь? Как бы потом не пожалеть. Ты как следует подумай!

— Я уж подумала, — спокойно отвечала Симиная, поклонилась, поцеловала у него руку и тихо удалилась.

Йоргован поджидал ее у крыльца.

Она хотела пройти мимо, не останавливаясь, о чем ей было с ним говорить, все уже решилось само собой.

Но он загородил ей дорогу, пытливым взглядом посмотрел ей прямо в глаза. Она не отвела взгляд.

— Ты чего? — спросил.

— Ничего,— спокойно отвечала она.

— Ничего... думаешь, не вижу? — возразил он.— Избегаешь ты меня. Раньше другая была. Ты меня не щади, я не слабже Шофрона, выдержу. Валяй, выкладывая все начистоту. Сдюжу...

— О чем это ты? Не пойму...— прикинулась она непонятливой.

— Выходит, я хуже Шофрона, коли не доверяешь?

— Ты Шофрона не трожь. Он тут ни при чем.

Она выпрямилась, холодно глянула на него и вдруг усмехнулась.

— Ведь боюсь я тебя,— призналась она тихо,— пригрозишь порешить себя — с тебя станется,— я и поверю. В ногах у тебя ползать стану. Опутал ты меня; чего не захочешь — все по-твоему сделаю.

Сказав, повернулась и ушла.

— Может, мне и впрямь покончить с собой? Тебе-то как лучше? — спросил он вдогонку.

— А мне все едино! — сказала она, полуобернувшись.— Умрешь-то ты всего раз, а я тебя хоронить каждый день буду. А так ты меня все одно изведешь. Все одно изведешь,— повторила она и добавила зло:— А еще с Шофроном себя равняешь! Шофрон — человек!

И испугавшись сама своих слов, ушла.

— Увидишь, что и я человек,— проговорил Йоргован, будто проснувшись.— И я смогу без тебя прожить! — И со стоном рухнув на скамью возле крыльца, прошептал:— Нет, не могу! Не могу без тебя!

XVI

Весь Куртич понимал, зачем Бусуйок отправился в Сокодор.

И Шофрон понимал.

Все же он безропотно запряг лошадей, безропотно распахнул настежь ворота, безропотно вручил Йорговану кнут и даже пожелал удачи. А что ему еще оставалось?

Рано или поздно Симине быть за Йоргованом, Шофрон с этим давно примирился и не сетовал.

Хозяева уехали; он вернулся в конюшню и вдруг охватила его гнетущая тоска — с чего бы? — и не просто тоска, а лютая кручина. Голова сделалась сразу

чугунно-тяжелой, сердце ныло так, что мочи не было терпеть.

Одно дело знать да думать, другое видеть и мучаться.

Если бы мог он остановить их, сказать: погодите, мне еще подумать надо!

Он присел на мешок с овсом и сидел, понурившись. Совсем пропащий человек!

Ведь было все предрешено, он ни на что не надеялся. Думал, какой он жених для Симины? Она красавица, ей особенный жених нужен, королевич! Вроде бы смирился со своей долей, и вдруг на тебе! — опять втемяшилось ему в башку, будто именно такой муж ей и нужен, потому что никто на свете не способен ее любить больше, чем он.

Если бы он был более скор на решения, вывел бы из стойла коня, вскочил верхом и помчался прямо в Сокодор, чтоб поспеть туда прежде Бусуйока. Из-под самого носа увел бы у Йоргована свою любимую. Но согласилась ли бы Симиная бежать с ним? Один раз уже осрамила она его да так, что лучше не вспоминать, до сих пор краской заливается, как вспомнит, а кто поручится, что и в другой раз она так не поступит?

«Все же я ей нужен! Нужен!» — убеждал он себя, памятуя, как вместе они вели из шинка пьяного Йоргована, как упрасивала она Шофрона побыть с ней, когда узнала о смерти отца. И все дни до самых похорон был он с ней, не отпускала она его ни на шаг. «Я ей нужен!» — повторил он опять, но уже без прежней уверенности, в сердце закрадывалось сомнение.

Если и был он нужен, то не так, как хотел.

Не такой привязанности ждал он от нее.

А какой же еще?

Такой, какой не дожидаться ему вовек, потому что не любит она его.

Так и вековать ему бобылем. Ни дома у него не будет, о каком он мечтал, пропадет зря купленный участок!

А что же будет? А ничего не будет. Никаких утех не получит он теперь от жизни. Да и не к чему теперь ему стремиться. Разлетелись в прах его мечты. Встреча с Симиной все обратила в прах, разлетелись они, развеялись по ветру.

— Что же, кончена моя жизнь? Совсем кончена? — крикнул он во все горло, и сам испугался своего крика.

Будто сорвавшись с привязи, выскочил он из конюшни и заспешил вон со двора. Шел он в сторону Сокодора, шаг его постепенно становился умеренным, спокойным, как у человека, знающего куда и зачем он идет и не сомневающегося, что поспеет он вовремя. Но дорогу все же он выбрал короткую — через пашни, жнивье, луга. И без конца повторял, но уже совсем по-другому, с верой в лучшее: «Неужто кончена моя жизнь?!»

Но оказавшись на поповском дворе, он остановился; пыла в нем поубавилось.

Решительность сменилась неуверенностью.

Двор был пуст. Бусуйоки давно укатили восвояси, слуги отправились на игрище.

Шофрон постоял у ворот, словно не решался идти дальше, на самом деле он обдумывал, как вызвать Симинову и как спросить у нее: что ему делать дальше?

Он пересек двор, подошел к крыльцу и тихо кашлянул, давая о себе знать и надеясь, что Симинова догадается, кто пришел, и выйдет.

Но, увь, услышала и вышла попадья.

Напуганная до смерти приходом незнакомого мужчины, ничего не сказав Симинове, она с опаской выглянула в дверь и тут же узнала бусуйокского батрака.

— Это ты, Шофрон? — вздохнув с облегчением, спросила она. — За чем прислали?

— А я того... — сбивчиво стал объяснять батрак, конфузясь и оттого еще больше путаясь. — Я того... своим ходом... то бишь... сам по себе... не от хозяина... не от них... Хочу Симинову на два слова кликнуть... вызови ее, а?..

Попадья, удивленная и даже несколько озадаченная его взбудораженным видом, поостереглась отпустить Симинову одну и вышла вместе с ней.

Может быть, смекни попадья, о чем Шофрон собирается говорить, она бы не учиняла столь ревностный надзор над Симиновой.

Но не мог же Шофрон сказать хозяйке, уходи, мол, мне нужно потолковать с Симиновой с глазу на глаз.

При виде его Симинова улыбнулась и позвала в дом. Симинова и попадья уселись на лавку у окна, а Шофрон остался стоять у дверей. Переминаясь с ноги на ногу, он никак не мог извлечь из себя ни звука. И так был он не слишком словоохотлив, а тут от неловкости и

смущения да еще присутствия неожиданной свидетельницы совсем все слова растерял.

— Ты сядь, Шофрон, чего стоять? — предложила Сими́на, желая хоть чем-нибудь его поддержать.

Шофрон сел на отчаянно скрипнувший под ним стул, но разговорчивей от этого не стал.

— Я того... — начал он и тут же осекся, не зная, как продолжить.

А ведь как складно все выходило у него дорогой, и слова находились подходящие, а тут словно застопорило. В голове царила неразбериха, и он молчал, будто губы у него слиплись. Растерянный, удрученный, он попытался улыбнуться, но вместо улыбки по его загорелому выдубленному лицу вдруг потекли слезы.

Были они и ему самому в диковинку, и потому он с испугом и ожесточением утирал их кулаком.

Сими́на с ужасом глядела на него, силясь понять, что с ним такое, лицо его таило такую скорбь и безнадежность, что и у нее зачесались глаза, и она молча прижала руки к груди.

Попадья с изумлением и страхом наблюдала за ними и в напряжении морщила лоб.

— Я хотел того... — виновато улыбаясь, бормотал Шофрон. — Сказать... а тут слезу прошибло... но ты того... правильно рассудила... хорошо, что выходишь за Йоргована... — он перевел дыхание. — Очень верно... потому как... хорошо... молодой еще и...

Он умолк на полуслове, заметив в глазах Симины слезы. Да и у попадьи глаза были полны слез.

— Гадкая я! — неожиданно шепотом произнесла Сими́на. — Подлая! Сколько горести тебе принесла... Подлая!..

— Да что ты! — испуганно возразил Шофрон и взглянул почему-то на матушку, то ли ища у нее поддержки, то ли призывая в свидетели.

— Знай, Шофрон, — проговорила Сими́на уже окрепшим голосом. — Что было, миновалось. Разлучил он меня с батей и с тобой разлучил, но вместе нам уже не бывать, разошлись наши с ним дороженьки на веки вечные... а ты мне друг верный, и хочу я тебя вот об чем просить, поживи тут в Сокодоре, близ батиной могилки, потому как любил он тебя и уважение к тебе имел. Будь ему другом и после смерти, а за то господь тебя наградит. Все одно не жить тебе у Бусуйока, уйдешь ты от него, чует мое сердце...

Сказала и поднялась со скамьи.

— Я с дорогой душой... я для тебя, что хошь... я тут же, завтра, нынче же...— говорил он и, взяв ее за рукав, неожиданно поцеловал край прозрачной ткани.

И так легко сделалось ему, и так сладостно, теперь у него было занятие, было что делать, чем жить: переедет он в Сокодор, чтобы ухаживать за могилкой Някшу, чью дочь он любит больше жизни...

XVII

Хотелось Бусуйоку ответить Симине ударом побольнее, но недосыгаема она была для него.

Не было у нее никакого интереса к богатству.

И сам он, богатейший человек, был для нее никем.

— Все хорошо! — успокоил он жену, встретив ее настороженность.

— Как же! Рассказывай! — сразу заподозрила она недоброе.— А то я не вижу ваши кислые рожи? Да вас словно друг о дружку лбами стукнули!

— Все хорошо,— упрямо повторил Бусуйок.— Лучше и быть не может. Все идет как по писаному. Не пристало мне брать девуку так вот прямоком с улицы. У нее своя родня имеется. Пушай к родне съездит, поживет там, посоветуется, какое-никакое приданое себе справит, чтобы не совестно было перед людьми, все же войдет она в богатый дом, полный достатку, нельзя ей голодранкой... это понимать надо... Я ей сам посоветовал, поезжай, говорю, к дяде, поживи у него, а там тебя и посватаем...

Вика и сама считала, что так правильной, и порадовалась, что послушалась Симины совета, бедняк всегда должен знать свое место и считаться с богатым.

— Обживется она, и чин чином зашлю к ней сватов,— рассуждал, войдя во вкус, Бусуйок.— Родителей у ней нету. Так что дядя ей теперича заместо отца родного...

Вика успокоилась и больше о Симине не заговаривала. На другой день слух о решении Бусуйока разнесся по всему Куртичу, а еще через несколько дней докатился и до Керека.

Симина ничего не отрицала, не переиначивала.

Пусть оно будет как есть. Ей ли невдомек, почему Бусуйок даже родную жену вынужден был обмануть.

Мало-помалу все утрясается; время лечит все обиды, забудется и его стыд. Так думал Бусуйок, и того же хотела Сими́на.

Если приставали к ней с расспросами, так ли все было на самом деле, как рассказывает Бусуйок, она покорно отвечала: «Все так». На людях она порой принималась что-нибудь шить-перешивать, чтобы видели проходящие, что готовит она себе приданое, потом распарывала сшитое, и опять шила заново при новых посетителях, и так по нескольку раз. Иной раз кто-нибудь ее научал поторопиться, а то не ровен час передумает Бусуйок, с него станется, найдет для сына богатую невесту, но и тут удивлялись ее покорности — и пусть находит, на то его воля. Насильно мил не будешь.

И Бусуйок, будто подслушав ее речи, твердил то же, заверял, что женитьба шаг серьезный, не дай бог ошибиться, тут крепко поразмыслить надо, чтобы потом не жалеть.

А недели три спустя пошла молва, что Бусуйок передумал, да и Йоргован вроде бы расхотел Сими́ну сватать.

И Йоргован, как ни чудно, потакал подобным разговорам.

Но не потому вовсе, что и впрямь раздумал — отказаться от Сими́ны ему бы не достало духу, а потому, что знал в глубине души, что она раздумала, а зная, хотел, чтобы для людей было, будто не она, а он.

А уж кто был сломлен, смят и подавлен ходившими сплетнями, так это Шофрон, и похож он был на человека, что всю ночь под дождем навстречу ветру шел.

Шофрона многие считали остолопом, но никто бы не мог вспомнить ни одной сказанной или сделанной им глупости. Был он, правда, тугодум, из тех, что пыхтит и кряхтит, прежде чем сказать свое слово, но такое никому в упрек не поставишь. Скажем, если бы его спросить: «Ты кто, Шофрон, мужик или баба?» Он задумается, прежде чем ответить, а может, и вовсе не станет отвечать, почуяв в самом вопросе какой-нибудь подвох.

Во всем старался он проявить основательность, взвешивал каждое сказанное слово. Поймай он и черта за ногу, не стал бы говорить, что это черт, а не собака, прежде, чем не убедился.

Такой уж он был человек.

И все же, осмотрительный и осторожный, он допустил такое, чего простить себе не мог.

«Дубина!» — ругал он себя весь обратный путь в Куртич. Ни о чем другом, как о своей оплошности, думать не мог, так бестолковая лошадь упрямо шагает напрямик и никак не своротить ее ни вправо, ни влево.

И дернула же его нелегкая ляпнуть Симине, будто он рад, что она выходит за Йоргована!

В Сокодор ведь он помчался, чтобы удержать ее от опрометчивого шага, помешать хотел сватовству, а брякнул прямо-таки обратное. Ну не дубина ли?

А все из-за того, что балдеет он при виде Симины, дурак дураком делается. Ляпает все, что на язык просится, не подумав! Ну, что ты скажешь! Самая настоящая дубина!

Хорошо, хоть Симины сообразила отказать Бусуйоку.

Отказать. Может, она тоже ляпнула, не подумав, сгоряча. Одумается и все сделает по-другому. А ведь сказала, разошлись наши пути-дорожки на веки вечные. Мало ли что сказала? Может и передумать. А вот он не передумает, как сказал, что переедет в Сокодор, так и сделает. Будет ухаживать за могилкой. Так-то оно спокойней...

Хоть и убеждал он себя, что совершенно успокоился, но вернулся в Куртич взбудораженный.

Ходил он насупленный и мрачный, сам себя боялся, людей сторонился.

Бусуйока видеть не мог, трясучка с ним делалась, а уж Йоргован лучше бы совсем ему не попадался, боялся его схватить за горло и придушить без зазрения совести. Помешанный, да и только!

Пусть он Симине негодящая пара, но и им нечего заманивать ее к себе в дом снохой: какой из Йоргована муж для Симины? Тьфу!

«Да и что она им? Как жили, так и станут жить! Только девку загубят!» — И от этих навязчивых мыслей нехорошо ему сделалось, отчаянье брало и хотелось ему закричать: «Вяжите меня, люди! Прибейте кольями, как бешеную собаку! Я преступление совершить могу!»

И вдруг поползли толки, что Бусуйок передумал брать Симины в снохи и Йоргован вроде бы отступился.

У Шофрона ум за разум зашел.

Что ж это такое?

Значит, правду она сказала? «Разошлись наши пути-дороженьки на веки вечные».

Шофрон все еще не верил, и досада его брала за свое недоверие, а еще за то, что зря злобился он на Бусуйока. Словом, он и сам себя не понимал, такая в голове пошла неразбериха.

Но и радость тоже свила в душе махонькое гнездышко: больше не смотрел он на Бусуйока волком и Йоргована не собирался придушить, гуляй себе живой-целехонький. Но и Симинову он враз перестал бояться, только жалел ее, бедняжку.

Теперь ни за что бы не оробел он перед ней, высказал все свои соображения напрямую, не утаивая, потому как был он старше и опытнее, да и любил ее всем сердцем. Оставалось ему взять расчет у хозяина и тихо-мирно перебраться в Сокодор. Не сомневался он, что именно так и поступит. И ни с кем бы спорить не стал, если бы кто засомневался. Вот только дожждаться Дмитриева дня.

Но кому бы пришлось в голову сомневаться в его намереньях, кроме него самого? Кому до всего этого дело?

Однако прежде, чем уехать, требовалось продать купленный полтора года назад участок для дома. На что он был теперь ему?

Полтора года лелеял он мечту о своем доме, где проживет до конца дней своих в кругу семьи, среди своих ребятишек — детей, внуков — и вот лопнула мечта, как мыльный пузырь. Продаст он свой участок и останется ни с чем. Жить без мечты!

Потому он и колебался, медлил, когда находились покупатели, говорил, что тут дело непростое и крепко подумать надо.

До Дмитриева дня оставалось всего ничего, а он все еще колебался, раздумывал и был далек от отъезда.

Недели за две до Дмитриева дня Бусуйок отправился в Сокодор на ярмарку и там дознался о разговоре Симины с Шофроном.

Это как ни странно вселило в него надежду, что девка теперь станет покладистой. Всю дорогу в Куртич и после — дома, шагая от окна к двери и обратно, он подкручивал усы, прикидывал в уме, как ему половчее сосватать переборчивую лесовичку и не получить щелчка.

С Шофроном управиться не составляло труда. Были

у Бусуйока на хранении Шофроновы деньги, и отдавал их Бусуйок в займы разным людям под проценты. Последний срок отдачи долга истекал как раз в Дмитриев день, но, как известно, всякий должник норовит оттянуть срок выплаты, ни один еще не отдавал деньги раньше времени, всегда позже.

Бусуйок зазвал к себе должника Оаню, сына Тоадера, и тот, как и надлежало ожидать, тут же попросил отсрочки.

Жаловался он, что пал у него весною вол, да и хозяйство в разоре, никак он концы с концами не сведет, словом, слезно умолял повременить месячишко-другой.

— Да мне хоть цельный год держи,— схитрил Бусуйок.— Только деньги, видишь ли, не мои, а Шофрона, не худо бы тебе у него испросить отсрочки.

Понадеялся Бусуйок, что Шофрон — добряк, и не достанет у него духу отказать просителю, а без денег куда ж ему деться? Останется жить на дворе. Бедняк, своим горбом наживший небольшой капиталец, обеими руками за него держится.

Шофрон был спокоен за свои сбережения, отдал он их Бусуйоку на хранение и предполагал, что для такого богатого хозяина отдать такую малую толику денег — дело плевое.

Вот почему, когда должник пришел к нему просить об отсрочке, он весьма удивился.

— Ты что ж меня спрашиваешь? — пожал он плечами.— Ты Бусуйока попроси. Я свои деньги ему отдал, а уж как он с ими распорядился, не моя забота.

Был он прав и рассуждал здраво, но и должник не дурак, сразу догадался, зачем Бусуйок направил его к Шофрону, хотелось ему таким образом удержать работника в дому, знал он, что без денег не сдвинется он ни на шаг, но должнику это было на руку, и он промолчал, только ухмыльнулся в усы.

— Ну что ж, бывай здоров,— сказал он, повеселев.— Ты правильно рассудил; деньги я брал у Бусуйока, с ним и уговариваться.

Наступил долгожданный Дмитриев день. Шофрон принарядился, надев чистую рубаху, и пошел к Бусуйоку за расчетом.

Бусуйок принял его ласково.

Выдал ему деньги, какие причитались за работу, все, до единого грошика, пожелал Шофрону здоровья

и счастья, лишь о тех деньгах, что взял он прошлой осенью на хранение, умолчал, даже не заикнулся, будто их и в помине не было.

Шофрон удивился: «Запамятовал он, что ли? Ну да ничего, сейчас вспомнит!» — и продолжал он стоять, выжидая.

Время шло, говорили они о том о сем, только о деньгах не заходило речи.

Шофрон забеспокоился, подождал еще немного, но Бусуйок так и не упоминал о деньгах, а Шофрону спросить неловко, он и ушел.

Вышел он из дому, остановился на крыльце, почесал затылок: вот незадача! Что ж это он какой забывчивый? А может, у него свободных нету? Ну, верно, так и есть! Авось появятся — отдаст!

И стал он дожидаться, когда Бусуйок сам его позовет, и все дни думал только об этом.

Прошел день, прошло два, прошла долгая неделя, Бусуйок молчал, в рот воды набравши. И жил теперь Шофрон в доме на птичьих правах: и не работник, и не жилец, но не мог он сидеть сложа руки, даром хлеб есть, работал по-прежнему. Все дни думал он, как бы заполучить свои деньги. Хоть и решился он заговорить о них с Бусуйоком, да никак не удавалось, то у него гости, то повздорил он со своей Викой из-за горшка, разбитого служанкой, то еще что-нибудь...

Каждый день намеревался он подойти к Бусуйоку, и каждый день что-нибудь да мешало, и сделался Шофрон мрачный и угрюмый, ходил, ни с кем не разговаривая, ни о чем другом думать не мог, как о своих деньгах — помешанный да и только!

В конце концов не выдержал, опять пошел к Бусуйоку требовать свои деньги. Угрожающе насупленный вошел в дом Бусуйока, прикрыл за собой дверь; Бусуйок сразу понял, за чем пришел Шофрон, другой это был человек, не тот, к которому привык Бусуйок, и вспомнилась почему-то хозяину та ночь, когда шел Шофрон с вилами на Йоргована.

— Я вот чего пришел,— начал Шофрон,— того... за деньгами... Какие, значит, осенью тебе дал...

— Мне? — прикинулся непонимающим Бусуйок. — Мне в твоих деньгах никакой нужды нету. У меня своих хватает. Ты просил дать людям под проценты, я и отдал.

— Нет, я тебе дал,— настойчиво повторил Шофрон.— Я их никому не ссужал, они моим потом, кровью заработанные. Я искал богатого человека, чтобы деньги ему на хранение, а ежели захочет и под проценты, а сам в работники, и ты согласился. А не согласился бы, я бы... другого хозяина нашел... Вот как оно было. Отдавай деньги!

С каким удовольствием Бусуйок бы прогнал настырного работника, но, зная с кем имеет дело, поостерегся, он— богатый человек, а поостерегся.

— Ну, допустим, так,— согласился он.— Взял я деньги, но ведь отдал в долг. Нету их теперь у меня. Стребовать надо. Не знал же я, что они тебе понадобятся. Судом придется стребовать...

— Мне деньги отдавай,— долбил свое Шофрон.— А как требуешь судом или еще как, не моя забота. Бусуйок опешил, такой наглости он не ожидал.

— Так прямо тебе и выложи? — усмехнулся он.

— Прямо и выложи! — сумрачно повторил Шофрон.

— А коли неспособно мне? Нету у меня сейчас денег! — заявил Бусуйок.

— Неспособно или нету? — поднатужился понять Шофрон.

К такому обороту дел он не был готов.

Ему и в голову не приходило, что Бусуйок может зажать его кровные денежки и не отдавать.

— Как же так? — недоумевая спросил он.— Я тебе дал, как богатею, думал ты вернешь, когда ни попрошу, а ты вон как... Что же я их бахвалу отдал? Стяжателью?.. Богатей ты или не богатей?...

— Ты не кипятись! — успокоил его Бусуйок и даже дружески положил ему руку на плечо.— Верну я тебе денежки, никуда они не денутся, только повремени малость. Может, через денек-два, а может, и через недельку-другую. Ты думал, ежели я богатей, так могу сразу стребовать с должника? Так, что ли?

— Ну так! — не очень охотно согласился Шофрон, не понимая куда тот клонит.

— Вот и дожидайся. Я требую. Но раз человек просит отсрочки, не судом же мне у него отрывать деньги. За что ж я его разорять стану? И деньги невелики, а хозяйство с молотка уйдет. Что люди обо мне говорить станут? Да и судом-то, пожалуй, не сразу и вернешь. Поди год ждать придется.

— А ты свои отдавай! — подсказал Шофрон.—

А с должника и получишь. Мне ждать несподручно.

— Нет, милоч, так не поступают. Так негоже! — стал изворачиваться Бусуйок. — Должник теперича знает, что деньги твои, он и отдаст, как сможет, потому как ты для него человек неимущий, нуждающийся в своей малости. А ежели он узнает, что деньги мои, не станет торопиться. Скажет, у Бусуйока денег куры не клюют, ему не к спеху. Так что лучше сообща с него стребуем. Так быстрее толку добьемся. Верно?

— Может, и верно, — нахмурясь, нехотя согласился Шофрон.

XVIII

Уныло на душе четырех людей. Станным образом связаны они между собой, куртицкий богатеи Бусуйок и его сын Йоргован, дочь зимбрувского пономаря Симина и батрак Шофрон, все еще не ушедший в Сокодор, потому что не возвращает ему хозяин взятых на хранение денег.

Спросить бы Бусуйока, отчего он куражится над бедным работником, за нос водит, не отдает деньги, со дня на день откладывает, он и сам толком не объяснит. Хочется ему, чтобы не выполнил Шофрон данное Симине обещание и тем досадил ей, причинил боль.

«Конечно, ежели уйдет он без денег, отдам я ему», — решает про себя Бусуйок.

Знает он, что поступает худо, грешно, порой известно ему и страшно, что так поступает, но отказаться от желания проучить гордячку Симину не может.

Мерещится ему, будто стоит она перед ним прямая, высоко подняв голову, прямо в глаза смотрит и легким движением убирает со лба упавшую прядь, стоит себе, неприступная и независимая.

Кажись, прикажи она, зарезал бы, утопил бы хоть кого, дом свой и то спалил бы безжалостно, и хочется Бусуйоку вырваться из-под ее воли, оттого и Шофрона не отпускает, чтобы пришла она на поклон, просила, унижалась.

Но не придет она к нему просить, не придет кланяться, оттого и бесится, сам терпит унижение и обиду от нее.

Одно может служить ему утешением, что и до Шофрона Симине нет никакого дела, все едино ей,

перейдет он жить в Сокодор, как обещал, или останется жить в Куртиче.

А ведь порой чудилось Бусуйоку, что Симины готова полюбить Шофрона и замуж за него пойти. Нет, такого быть не могло!

Но так думал не только Бусуйок. Так думал и Йоргован. И даже Шофрон тоже так думал.

После позорного сватовства уныло на душе у Йоргована, но не винит он ее нисколько, она правильно рассудила: кто же за подлого и никчемного человека замуж выходит?

С некоторых пор Шофрон перестал ходить за деньгами, и Бусуйок был озадачен: почему?

А зачем ходить?

На что ему деньги теперь? Поначалу он ходил чуть ли не каждый день, а потом и перестал, махнул на все рукой. Он было даже в суд собрался подать на Бусуйока... Он — на Бусуйока! Курам на смех! Хорошо, что вовремя опомнился. Судиться с Бусуйоком то же, что лбом стенку прошибать.

А то еще хотел он ославить Бусуйока на все село, раззвонить, что хозяин прикарманил его кровные; только сам бы дурнем и прослыл. Бусуйоку бы уважение от людей не убавилось, он человек известный, а уж про него точно сказали бы, что повредился Шофрон в уме.

Хотел он даже угрозой вытребовать деньги, прийти к хозяину и сказать: «Отдавай деньги, а то пристукну в темном уголке или красного петуха подпущу!» Ну, а если бы угроза не подействовала, что же ему, и в самом деле убить человека или поджечь его хозяйство? Нет, такой грех кто же на душу возьмет?! Злодей какой-нибудь, разбойник с большой дороги!

Ах, как тяжело на душе, когда чувствуешь себя бессильным.

И Симины наверняка об этом давно догадалась. Поняла, почему он не перебрался в Сокодор. Слабинку дал, кто ж этого не понимает. Обещать-то всякий горазд. А он участка своего не продал, денег у Бусуйока не получил — слабак и есть!

Тяжко, тошно у него на душе... и стыдно перед девушкой.

А может, зря он стыдится? Может, не знает она о его муках страшных. Он ходит как чумной, а ей и горя мало. Никакого ей до него дела, хоть волк травку

еще! Может, она и не знает о нем ничего, перебрался он в Сокодор или нет — наплевать ей...

Может, одна у нее мечта о Йорговане? А о нем, Шофроне, и забыла.

А он-то, дуралей, мучается, жизнь свою наизнанку выворачивает, с ума сходит!

И не надо ему в Сокодор перебираться, незачем.

Давно отказалась она от него, даже от дружбы его отказалась, пора и ему за ум взяться, поставить на этом точку и дело с концом.

И у Йоргована на душе кошки скребли: «Забыла она меня, забыла напрочь. С другим каким небось забыла».

Бусуйоку до смерти хотелось повидать Симинову, узнать, раскаялась она или нет, сожалеет ли, что отказала Йорговану. И Шофрону ужасно хотелось ее повидать. Но больше всех, конечно же, страдал и мучался Йоргован. Адский огонь горел у него в груди!

«Это она от горя столько дурного мне наговорила. Поуспокоится и вернется прежняя, тихая, ласковая», — так утешал себя Йоргован.

И что бы он ни делал, куда бы ни шел, она была неотступно рядом, следила за каждым его шагом, оценивала его поступки.

«Я ей докажу, что и я настоящий человек!» — говорил он себе.

А что, если и впрямь забыла она о нем? Девичья память коротка: с глаз долой — из сердца вон.

Никто никогда еще не терпел такие муки и такую тоску. На всем белом свете не найти было несчастнее человека.

Нет, нет, был на свете человек и более несчастный. Человек этот — Симинов.

Одиноким, брошенной, незащищенной чувствовала она себя: все от нее отступились. Даже друг верный, Шофрон, и тот оставил ее — а не сама ли она его оставила?

Конечно, сама. Отвернулась от него, оттолкнула от себя, да еще и посмеялась над его сердечной бедой.

Каждую ночь снился он ей, обиженный, грустный, а еще снился отец, босый, оборванный, отошавший от голода, стоял он в отдалении и грозил ей пальцем.

Просыпаясь, она горько плакала, шла в церковь и одаривала нищих всем, что у нее было, до последнего ломтя хлеба.

А муки ее душевные не случайны — наказание ей за то, что ослушалась она отца, бросила перед смертью и волю его не исполнила, отвергла человека, которого полюбил он и прочил ей в мужья, да еще посмеялась над ним. Вот и осталась она теперь одна-одинешенька, потеряла друга преданного.

И виделось ей прошлое совсем по-иному.

Вспомнился тот день, когда впервые увидела она Шофрона, как посадил он ее с собой рядом на облучок и дерюжку подстелил для мягкости; вспомнилось, с какой лаской и нежностью говорил он с ней, хотя тогда она оставила все без внимания.

А как вынудил себя поцеловать! А потом в поле гонялся за перепелками... Сурово, несправедливо обошлась она с ним. Осрамила тогда ночью при Йорговане и при отце, причинив ему боль.

Пасть бы ей на колени, целовать землю у него под ногами, как целовал Удод или Йоргован.

В ушах у нее явственно звучали последние слова отца: «Коли худо тебе станет, доверься этому парню, он поможет».

Но нет рядом с ней Шофрона. Сама она прогнала его от себя.

Уныло тянутся дни, уныло тянутся ночи, нещадные снятся сны.

Невозмогу становится жить.

Как-то в воскресный день, поздней осенью, когда костлявыми стали сбросившие листву деревья, Симиная повязала платок и пошла пешая в Сокодор.

Долго шла она. Много часов сряду. Ни о чем не думала, только тихонько утирала слезы, бежавшие по лицу. Пришла она прямехонько на кладбище, к могиле отца, упала на землю и зарыдала в голос. Потом утихла, но так и лежала, не шевелясь, будто мертвая.

Свечерело, а она так и не вставала.

Вдруг, будто сквозь сон, услышала она, как хор мальчиков поет: «Святой боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас». По кладбищу шла похоронная процессия. Симиная быстро поднялась.

Хоронили молодую женщину Станку, жену Мартина. Симиная ее знала, была она красивая, бойкая на язык, ловкая в работе, каких мало, да вот умерла в одночасье, оставила сиротами четверых детей мал мала меньше. Шли они сейчас за гробом вместе с отцом, и шли две его сестры, Анна и Мария, и шла сестра

покойной, Флоря, и подруги ее, и плакальщицы, и много других людей — все плакали, а когда гроб опускали в землю, криком голосили.

Симина держалась в стороне, она не родня, и тоже плакала, но тихо, неприметно. И горсть землицы, как другие, бросила она на гроб, потом священник пропел вечную память, и люди стали расходиться, а Симина осталась.

Она долго смотрела им вслед, смотрела на свежую могилку, одна-одинешенька, как прежде.

И вдруг ее словно озарило.

Симина знала покойницу, знала и мужа ее, Мартина, кроткого, болезненного, сорокалетнего человека, медлительного и безропотного.

И подумала, что остался он при большом хозяйстве один, без жены, с четырьмя малыми ребятишками.

Симина и сама росла в доме вдовца, был отец мастер на все руки и хозяйство вел небольшое, а все равно жалился, что трудно ему без женских рук. Как же управиться бедному Мартину, одному-то?!

И подумала Симина, что не иначе, как сам господь свел ее с этим человеком.

И обрадовалась Симина и поняла: здесь ее место.

И пошла она с кладбища на двор Мартина.

И решила попроситься к нему в дом в услужение, чтобы печь ему хлебы, обшивать его, и обстирывать, и присматривать за его ребятишками.

И не было ей дела, что подумают люди, что говорить станут.

Пускай думают, что хотят.

Никому она не подневольная, сама себе хозяйка.

Мартин слышал про Сими́ну и видывал ее не раз, да и как было не знать, если прожила она два с лишним месяца в поповском доме, и много ходило про нее толков. Знал Мартин, что умер у нее отец и хоронил его священник из своего дома, будто брата родного; встречал Мартин лесовичку и в церкви по воскресеньям, куда приходила она вместе с попадьей.

Вдруг кликнула Мартина соседка и шепнула, что пришла лесовичка и просит его выйти и поговорить с ней с глазу на глаз. Мартин растревожился и засуетился, и не знал он, куда увести Сими́ну для такого удивленного разговора, — дом его был полон людьми, и даже во дворе накрыли три стола для молодежи и всякой голи перекатной, всегда охочей до поминок и свадеб.

Стояла Симиная потупившись у ворот, и все присутствующие разглядывали ее с интересом и бесстыдством.

Мартин подошел к ней и повел за копну сена, что стояла в глубине двора, ближе к саду.

Впервые приходилось Мартину говорить с Симиной, ни разу не перемолвились они до этого ни единым словом, и полагал он, что прислала ее матушка звать домой по па, который зашел благословить стол.

Батюшка с епитрахилью и требником под мышкой как раз вышел на крыльцо и заметил уходящих за копну Мартина и Симины.

Еще раньше на кладбище показалось ему, что мелькнула она в стороне между деревьями, но он решил, что ошибся. Он и теперь не был уверен в своих догадках и потому направился туда, куда удалились эти двое.

Приблизясь к копне, он остановился в нерешительности.

— Мартин,— узнал он голос лесовички.— Лишился ты жены, царствие ей небесное, трудно тебе придется с четырьмя ребятишками без женщины в доме. Захочешь, верно, ты взять служанку, чтобы вела твоё хозяйство?

— Взял бы, да как бы не обкрадывала меня,— вздохнул Мартин.

— Я тебя не стану обкрадывать,— тихо сказала Симиная.

Некоторое время длилось молчание, потом удивленный голос Мартина произнес:

— Ты? Меня?.. Ты ко мне в служанки?..

— Возьми меня,— попросила Симиная.— Не пожалеешь. Ребятишки твои забудут, что нет у них матери. А нет, гони меня тогда в три шеи.

Мартин долго молчал.

— Нет,— решительно высказался он,— нельзя мне взваливать на тебя такую обузу! Бог накажет! Мало тебе своего горя? Еще и со мной делить? Ты погляди, что с тобой случилось? Была как румяное, крепкое яблочко, а теперь осунулась, исхудала... Смотреть жалостно! Нет, не носить мне рубах, стиранных тобою, и не есть хлеб, замешанный твоими руками.

— А ты не смотри! Это тоска да чужбина меня иссушили,— тихо пояснила Симиная.— Не соблюла я завет покойного бати, за то и горюю... но в руках моих крепость осталась, и справлюсь я с любой рабо-

той. Ты не обо мне, о ребятишках своих подумай! Им будет радость и мне утешение. К тому ж буду жить близ могилки батиной...

Отец Иоанн не выдержал, вышел из своего укрытия.

Оба вздрогнули при виде попа, да и он, казалось, поначалу смутился.

— Голубушка, ты? А я думал далеко ты, у дядюшки,— ласково проворковал священник.

Симина всхлипнула, поцеловала у него руку и вдруг зашлась плачем.

— Ах, батюшка, нету мне никакого покоя! — сквозь рыдания бормотала она.— Постигла меня кара божья за послушание мое... Никому я не нужная живу...

Поп заклокотал гневом, чуть не шмякнул оземь епитрахиль и требник. Он грозно сопел, не зная на ком излить гнев.

— Ох, бедная ты моя! Страсти какие! — громыхал он.— Идем, голубушка! Идем ко мне! Не перевелись еще на свете добрые люди!

XIX

Куртицкий богач Бусуйок, и его сын Йоргован, и Шофрон, все еще бывший у них в работниках, все трое ахнули, прослышав, что лесовичка Симина вернулась в Сокодор и живет в доме овдовевшего Мартина, чтобы печь ему хлеб и смотреть за его ребятишками.

Бусуйок делал вид, будто ему все равно.

Он и впрямь не знал, как отнестись к такому событию. Вроде бы надо ему радоваться, что лесовичка вернулась, значит, худо ей пришлось у родни, осталась без пристанища, впредь будет покладистой, и была бы, но как на грех подвернулся ей дом Мартина, вот и есть у нее крыша над головой — и с этим ничего не поделать. А как было бы славно, найти ее бездомную, несчастную, униженную, поднять с земли, очистить от грязи и ввести в свой дом, все богатство положить к ее ногам — владей! Стыдился Бусуйок своего такого чувства, но противиться ему не мог.

Шагая из угла в угол, раздумывал он, как же ему теперь быть и что делать? Как вдруг, откуда ни возмись, вырос перед ним Шофрон.

Поглядели они друг на друга, хмуро и неприязненно.

— Все! Завтра ухожу в Сокодор... насовсем...— решительно заявил батрак.— Так что... деньги... верни беспременно... Я упредил...

Ясно было, что теперь он от своего не отступится и никакими силами, уловками, соблазнами его от задуманного не отвадишь. Тут требовалось употребить власть, другого ничего не оставалось. И Бусуйок вознамерился ее употребить: мог он заявить, что Шофрон обворовал его или пригрозил зарезать. Шофрона посадят под стражу, а пока суд да дело, время и уйдет.

— Ладно... упредил...— многозначительно ответил он батраку.— Ладно... верну я тебе положенное...

Шофрон стал еще мрачнее, подошел вплотную, заглянул ему прямо в глаза.

— Ты того... не балуй! — страшным шепотом проговорил он.— Ты шибко головастый, но я думку твою разгадал... Ты того... не доводи до греха! Мне терять нечего, а у тебя дом, семья... Ты меня боись... я сам себе страшен...

Он повернулся и ушел. Стоило ли разговаривать с человеком, сулившим и приносящим ему одни беды.

Бусуйок оцепенел и задумался.

Он как бы только сейчас вспомнил, о чем напоминал ему Шофрон, что есть у него дом, хозяйство, семья — каково все это разом потерять?

Но ведь есть у него и сын, и сыну, может быть, тоже позарез хотелось мчаться в Сокодор.

Так ли это?

Йоргован, казалось, напрочь забыл о лесовичке, преспокойно таскал он мешки из амбара, укладывал на телегу, собираясь в Арад.

По четвергам Бусуйок обычно отправлял кого-нибудь в Арад продавать накопившуюся за неделю муку. Пятница — день базарный, на вырученные деньги можно было приобрести все необходимое для хозяйства.

Погрузив мешки, Йоргован зашел на мельницу.

Все здесь шло по старинке. Грохот, шум, гам, толкотня. Всюду люди, люди. Одни засыпали зерно, другие, получив свой помол, уезжали восвояси, третьи, дожидаясь своей очереди, скучали или о чем-то судачили. Не было теперь на мельнице Удада, некому было веселить и смешить их.

Слева от входа стоял стол с раскрытой амбарной книгой, Йоргован стал в нее что-то записывать.

— Сказывают, от вас Шофрон уходит,— осторожно

осведомился мельник, заглядывая через плечо Йоргована.

— Уходит,— безучастно подтвердил Йоргован, продолжая писать.

— Упорственный мужик, глядишь, и добьется лесовички-то.

Йоргован вздрогнул и макнул перо мимо чернильницы.

— Зараза! — сквозь зубы ругнулся он и принялся вслух подсчитывать записанное.

Но все время сбивался со счета, и мельник его поправлял.

Покончив с подсчетом, он поднялся, прошелся по мельнице и остановился перед вертящимися колесами, следя за их быстрым бегом.

— И как только его угораздило?

— Удада-то? То ж на молотилке,— напомнил мельник.

— Ах да, я и забыл,— спохватился Йоргован и повторил: — На молотилке, верно. Тут бы такое не случилось.

— Почему ж не случилось? — словно обиделся мельник.— Очень даже запросто, тут еще пошибче...

Он стал поспешно и старательно втолковывать Йорговану, как легко может ремнем прихватить руку и бросить человека на верхние колеса, и размолоть так, что от него одни ошметки останутся.

— Избави господь,— пробормотал Йоргован и вышел.

Торопился он засветло поспеть в Арад.

Ездил он туда не только по делам, был у него и свой интерес. Почти шесть лет проучился он там и, приезжая, встречался со старыми приятелями, весело проводил время. Да и они были заинтересованы в нем, потому что приезжал он не с пустым карманом.

Останавливался Йоргован обычно в доме, где квартировал его, учившийся в школе, младший брат. Наказав работнику присмотреть за лошадьми и подводой, Йоргован отправился пошляться по городу и поискать каких-нибудь увеселений.

После попойки в куртичском шинке он несколько месяцев в рот не брал хмельного, без стыда не мог вспомнить о печальном завершении тогдашней оргии, избегал встречи с прежними собутыльниками.

Но сейчас его вдруг опять потянуло на гульбу, и он жадно высматривал, куда бы ему податься.

К счастью, в маленьком кафе на улице Домняску он случайно наткнулся на бывшего однокашника Вардилию Бэргэуца, шалопада, каких свет не видел, маленького, кругленького, толстенького, двадцатитрехлетнего прожигателя жизни, из тех, что живут случайными заработками, переписывая бумаги в какой-нибудь конторе, а гуляют на чужой счет.

— Что это мы торчим посреди улицы как изваяния! — радостно возмутился Бэрг. — Махнем куда-нибудь?

— Куда? — поинтересовался Йоргован, хотя отлично понимал, на что намекает этот выпивоха.

— Слушай, ты ведь еще не был на «Чертовой мельнице».

— Это еще что за диво?

— Новый кабак. Роскошный, где можно отлично провести время, и выпить, и потанцевать, и в картишки перекинуться, и девочек потискать. Развлечения на любой вкус, махнем?

— Как-нибудь обойдусь, — отказался Йоргован.

Хотя, собственно, почему бы и не пойти? Почему не повеселиться? По какой такой причине?

Правда, не был он охотником танцевать и петь, и в карты не играл, такие занятия ему претили, зато с удовольствием смотрел, как занимаются этим другие.

Сам он считал такое недостойным, и потому не давал себе волю, был скромен в поведении, в словах, но любил, когда такое позволяли себе другие.

Вот и хотелось ему шума, гама, гульбы, питья, чтобы люди ссорились, обнимались, веселились, словом, пустились в настоящий разгул.

И хотя стыдился он своих желаний, противиться им не мог.

— Одежонка у тебя найдется? — неожиданно спросил он.

— Какая одежонка? — не понял тот.

— Городская, — ответил Йоргован. — Не могу же я идти в мужицкой одежде. Что дозволяется вашему брату, городскому, никогда не простится крестьянину.

Деятельный и предприимчивый поп Ярый обладал, как ни странно, чувствительным сердцем и был раздумчив и внимателен к тем, кого любил. Встретив Симинову, несчастную и неприкаянную, он глубоко запечалился и пожалел, что отказался участвовать в сватовстве. Тогда все кончилось бы благополучно. Зная хорошо свою сестрицу Вику, и зятя, и сына их Йоргована, он не был вполне уверен, что Симине хорошо жилось бы в их доме. Может, и жалеть-то было не о чем, но он все же жалел.

Сейчас лесовичка решила еще на более худшую долю, чего никак нельзя было предусмотреть заранее, потому что тут все решил случай, поп вознамерился повлиять на Бусуйока, чтобы опять посватали Симинову.

— Ты почему ж отказала Йорговану? — спросил он лесовичку, усаживая ее за стол в своем доме.

— По велению сердца, — торжественно объявила вместо нее попадьа.

— Я не отказывала, — мягко поправила Симина. — Я только просила погодить... повременить малость.

— Выходит, теперь согласна? — спросил поп.

— Нет. Теперь и вовсе ни к чему.

— Что-то не пойму!

— Невмоготу мне.

Попадья, предполагая истинной причиной ее отказа отношение к Шофрону: давешний разговор, которому она была невольным свидетелем, а еще больше некоему заподозренному умолчанию между лесовичкой и Шофроном, — повела дело круто.

— Чего огород городить, говори прямо, за Шофрона собираешься, вот истинная причина.

Поп оторопел, он захлопал глазами и даже лишился языка, да и Симинову в жар бросило.

— Что ты, что ты, матушка! Не собираюсь я! — заговорила она торопливо. — Да разве ж я ему враг! Покою бы не было ни ему, ни бате на том свете, коли я бы за Шофрона вышла.

— А я говорю, собираешься! — стояла на своем попадьа.

— Бог его избавь! — опять повторила с ужасом лесовичка. — За что ему такая кара? Не согрешил он!

«Тыфу, будь они неладны! — с досадой подумал поп. — Ну да ничего, как-нибудь помаленьку разберусь».

Попадья была уверена в своей догадке.

Сими́на же и подумать о таком не могла.

Мучили ее другие мысли, почему Шофрон не перебрался в Сокодор, как обещал? Что помешало? Передумал? Или изменилось что-то? Может, судьбу свою решил он переменить?.. Говорил же он тогда, что рад, что она выходит за Йоргована, а она сдуру и не поняла... Нет! Нет! Говорить-то говорил, а у самого в глазах слезы стояли. Небось собственные слова были ему как нож в сердце. И ей были как нож в сердце ее слова, когда она сказала, что разошлись ее пути-дороженьки с Йоргованом на веки вечные.

Нет, не выйдет она за Шофрона, ни за кого не выйдет. Видать, судьба ее такая старой девой оставаться.

И вдруг два дня спустя после ее приезда в Сокодоре объявился Шофрон, пришел прямиком на двор Мартина.

Встретились они, и замерли оба: она, не веря своим глазам, он, будто увидел перед собой не живого человека, а привидение.

Всю дорогу от Куртича до Сокодора думал он и передумывал, как покажется ей на глаза, что ответит, если спросит она, почему не исполнил своего обещания.

Но увидев ее, онемел, как бывало всегда, когда он ее видел, не мог выдавить из себя ни словечка, только улыбался. Да и к чему были слова? Сими́на ни о чем его не спросила, будто сама поняла, что раз он не перебрался сюда, значит, что-то помешало. А что — не ее забота.

В один миг прониклась Сими́на к нему прежним доверием, да и он готов был сделать все, чего она ни попросит.

Шофрон подал ей шершавую огромную ладонь.

— Вот и свиделись,— радостно сообщил он.— Думал, тяжело мне будет тебя увидеть, а вышло хорошо...

— Может, и хорошо,— отозвалась Сими́на.— Здорова ли тетушка Вика? А Бусуйок? А Йоргован?

— Все, слава богу, в полном здравии,— заверил ее Шофрон.— А Йоргован-то молодчага! Думал я, он того, свихнется с прямой дорожки... Помнишь, как мы его волокли из шинка?!

— Как не помнить!..

Двое ребятшек, мальчик лет трех и девочка лет пяти, стояли рядом с Сими́ной, держась за ее подол.

— Те самые детки-то? — спросил Шофрон. — Славные! Жалко гостинчика я им не того... не сообразил...

— Ничего. В другой раз, — успокоила его Симиная и стала рассказывать, как живет ей в доме Мартина, чем она занята день-деньской, что делают и говорят ребятишки; перечислила все мелочи и все подробности по своему бабьему обыкновению.

Не смущаясь его присутствия, Симиная принялась за привычную домашнюю работу, а он, усевшись на бочонок под навесом, наблюдал за ней со стороны.

«Ты меня не стыдись, — бормотал он про себя. — Я ведь того... я человек легкий. Знаю, по чем фунт лиха. Я тебя не попрекну и никому другому не позволю».

И вдруг, будто спохватившись, сообщил:

— Похудала ты! А может, так мне показалось?

— Нет, вправду, отошала я, — призналась Симиная.

— То-то я гляжу. Но ничего, что похудала.

А про себя подумал: «Да, здорово исхудала. Но красы не лишилась, глаза еще ярче светятся! Еще даже краше стала!»

— Симиная! — опять будто вспомнил он. — А давно ты такая... ну, похудала давно ли, спрашиваю?

— Давно.

— Оголодала, что ли? — огорчился он.

Она лукаво усмехнулась, напомнив прежнюю дерзкую девушку.

— По тебе сохла! — и тут же серьезно добавила: — Знал бы ты, каких мук я натерпелась. Совесть меня грызла беспрестанно. Зачем тебя растревожила, зачем велела в Сокодор перебираться, а сама... к дяде. Все время попрекала себя...

Он смутился, помолчал.

— Да я бы того... приехал, ей-богу, да все неладно было... Не мог я. Да и зачем, думал, тебя-то нету там... тут, значит. А как узнал, что ты тут, враз примчался. Да я за тебя, да я за тобой, куда хочешь, отца родного непохороненным на столе бы оставил. Ей-богу!

Он вскочил, взял ее за руку и посмотрел ей прямо в глаза.

— Исхудала ты, — опять, будто спохватываясь в своей забывчивости, сказал он. — Но это ничего. Не в обиду говорю тебе. Я ведь за тебя в огонь и в воду! Веришь?

— Как не верить? — улыбнулась девушка.

И по лицу ее потекли слезы.

Он стоял смущенный, опустив глаза.

— Ну, чего ты? — спросил он ласково и дружески положил ей руку на плечо, улыбнулся и долго смотрел в лучистую зелень ее глаз. — Ну, чего ты?

— Сама не знаю! Слезы так и текут, так текут. Все дни и ночи плакала, вот и привыкла. Ничего, может, теперь отвыкну. А то и не замечаешь, когда они течь начинают.

— Бывает, — поддержал Шофрон.

— Кто послал! Кто послал! — слышался разъяренный голос попа Ярого, вошел он во двор в сопровождении двух жандармов. — А я за него головой ручаюсь!

— Да мы бы рады, батюшка, — оправдывался один. — Да начальство велело. Приказ сполняем.

Шофрон и Сими́на испуганно переглянулись.

— Ты что натворил, Шофрон? — насупившись, спросил поп.

— Ничего... — ответил Шофрон, пожимая плечами, и посмотрел на Сими́ну. — Ты не пужайся! Со мной должны по всей справедливости, потому как я в императорской армии служил. Как-то на службе унтеру так врезал, что два зуба вышиб, он потом две недели в госпитале отлеживался. Мне капитан наручники надевал, а сам говорит: «Правильно ты ему мозги вправил! Скотина он!» Да я ежели что до самого императора дойду! Пускай хоть в тюрьму, а деньги мои верни.

— Что за деньги? — допытывался поп.

— Кровные, заработанные. Ровно девять сотен серебром, — ответил Шофрон. — Я ему на хранение дал, а он не отдает, говорит, нету у меня денег.

— Ну, я с ним поговорю! — расшумелся поп. — Поглядим еще, чья возьмет!

— Ты того... Сими́на, не горюй! — утешил Шофрон и ушел вслед за попом и жандармами.

Сими́на ни жива ни мертва смотрела им вслед.

«Из-за меня на нем злость Бусуйок изливает, — догадалась Сими́на. — Злопамятный он. Теперь не успокоится. И Йоргован, видать, такой же, придет его черед, пожалуй, и бить меня станет».

Но и самого Бусуйока ожидал крепкий удар, и нанес его не кто иной, как брат его жены, разлюбивший шурина: поп Ярый неожиданно встал на защиту батрака.

Но идти на попятную Бусуйоку не позволяла гордость.

— Не отдам я ему денег, и не проси! — упрямо заявил он попу. — Пускай на меня в суд подает! Посмотрим, кто кого! Ишь пристал с ножом к горлу!

— Не стану я с тобой судиться! — спокойно возразил Шофрон. — Выйду на волю и прирежу в темном углу, а то дом спалю. Не век же мне за решеткой сидеть.

— Нигде ты сидеть не будешь, — заверил его поп. — Не будешь! Вернет он тебе денежки как миленький! Мне вернет. А я тебе из своих верну. Тоже мне, тяжбу завел! Постыдился бы! Ну да я разберусь, где тут собака зарыта. Чует мое сердце, что тут не в деньгах дело.

— Ни гроша и тебе не отдам! — продолжал разоряться Бусуйок.

Распаясь, он готов был на все, пропадай хоть все его богатство.

В пятницу вечером, вопреки обыкновению, из Арада не вернулся Йоргован с работником. Прошла ночь, а сына не было. Вике, как всякой бабе, мерещились всякие ужасы: посадили Йоргована в кутузку за какие-то провинности, ограбили и зарезали его разбойники на дороге...

Утром вернулся на подводе работник и рассказал, что Йоргован как ушел вечером в четверг, так и не появлялся больше. Батрак прождал его до утра субботы, а потом решил ехать один. Ушел Йоргован с каким-то приятелем Бэргэуцем, а куда — работник не знал.

Зато знал Бусуйок, знал он и Бэргэуца, отпетого пьяницу и гуляку, и куда он повлек сына, не трудно было догадаться.

— Загулял, стервец! — огорчился Бусуйок. — Хоть бы совсем мне на глаза не показывался.

Нет, нет, это сказано было сгоряча. Бусуйок готов был выместить зло на работнике, почему, мол, не дождался Йоргована, хотел послать его обратно на поиски, и сам готов был скакать сломя голову в Арад, но боялся своим появлением осрамить, унижить Йоргована перед товарищами.

Потому и бегал по дому, натываясь на стулья, кровати, столы, чертыхался и места себе не находил.

В конце концов, не выдержав, послал он за шурином и ждал его, решив одним махом повиниться за прежнее и испросить совета.

Но подумав, решил:

— Баста! Сам за ним поеду.

XXI

— Хватит! — прогромыхал поп в ответ Бусуйоку. — Оставь его в покое. Он и без тебя образумится. Занимайся своими делами, будто ты ничего не видишь и не знаешь. Такой парень, как Йоргован, ни в жизнь с колени не съедет.

И Бусуйок его послушал.

А в субботу блудный сын вернулся.

Ходил он, опустив голову, стыдясь глядеть людям в глаза, тошно ему было так, что впору повеситься. Уж лучше бы попрекнул его отец, изругал на все корки, чем вот так ходить, ничего якобы не замечая и ничему не удивляясь.

Но во всей этой печальной истории была одна горчайшая подробность. Возвращая отцу выручку за муку, Йоргован умолчал, что деньги прокутил, а взамен занял у кого-то под большие проценты и клятвенно обещал к пятнице вернуть.

А откуда взять деньги?

Обмануть отца на мельнице.

Но не проще ли попросить у него? Бусуйок с дорогой душой даст, сколько требуется, столько и даст, но просить-то Йорговану как раз и не хотелось. Зачем огорчать старика? Все равно те же деньги.

Первый раз с ним вышло такое, ничего страшного.

И в четверг Йоргован, забирая муку с мельницы, обманул отца.

Бусуйока даже в дрожь кинуло, когда увидел он, что Йоргован опять собирается в Арад.

Удерживать сына он не стал, помня наказ шурина, и правильно сделал.

Йоргован дал себе зарок не влезать в новые долги, и вернуться из Арада вовремя.

Целую неделю терпел он муки раскаянья и не хотел подвергаться им опять.

Он и в самом деле вернулся вовремя и новых долгов не наделал.

Но все же, как в прошлый раз, гулял он всю ночь напролет, переодевшись в городское платье, и не с Бэргэуцем, а с какими-то пришлыми оголтелыми кутилами, которых не знал никто ни в Араде, ни в Скеле за Мурешом. И они Йоргована не знали.

Он с ними плясал и пел, чего не делал никогда. И совесть его не грызла больше.

Да, гулял он, ну и что? С людьми, которых он знать не знает и никогда больше в жизни не увидит? С проходимцами? А кто про них что знает?

Бусуйок был счастлив: сын вернулся вовремя, был он весел и даже слегка навеселе, и все же это лучше, нежели ходил бы он мрачный и насупленный, ни с кем не разговаривая; кроме того, примирился Бусуйок с шурином, а за такое дело готов он был вернуть Шофрону и вдвое больше денег против требуемого. Из-за такого-то пустяка чуть не рассорился с попом. С единственным человеком, что оказывал на него благотворное влияние и советы дельные давал, как поступить с Йоргованом, который, что греха таить, вел себя никудышним образом...

«А кто виноват? Я и виноват!» — укорял себя Бусуйок.

И Йоргован во всем винил отца.

Даже в том, что плутовал он на мельнице, гулял с пройдохами — во всех, во всех прегрешениях был виновен отец: так легче было жить, не чувствуя угрызений совести и укоров стыда.

Да и не было их вовсе.

Гулял он напропалую, катился вниз как по ступенькам, даже перестал снимать с себя стыдливо крестьянское платье. А кончилось тем, что не понадобилось ему и в Арад ездить, вполне обходился он местным шинком.

Бусуйок был в отчаянии и бросился за помощью к шурина.

— Надо женить парня! — заявил авторитетно поп. — Немедля. На ком попало!

— Да я бы с дорогой душой, — испуганно бормотал Бусуйок. — Пробовал ведь, ничего не вышло. И теперь попробую, да будет ли толк?

— Будет! — уверенно заключил поп. — Не по-хорошему ты сватал, не так у людей порядочных-то делается. Я по-другому сделаю, и лесовичка враз согласится. Тут деликатный подход нужен.

— Сделай милость, поучи, как знаешь. Я на все согласный! — заверил Бусуйок.

— На все ли?

— На все! — твердо повторил Бусуйок.

— Тогда смирись навеки! — торжественно призвал поп.

— Смиряюсь! — покорно согласился Бусуйок.

— Ладно! Только помни свое слово! — наказал поп. — А теперь я за дело примусь.

Вероятно, довел бы поп дело до желанного венца, если бы не всякие непредвиденные причины.

С тех пор, как перебрался Шофрон в Сокодор, купил он волов, воз, плуг и обрабатывал землю исполу, готовя пахоту к осеннему севу.

Впервые работал он на себя, впервые ощутил сладость такого неподневольного труда.

В Сокодоре для всех был он всего-навсего новым поселенцем, никто его тут не знал, кроме попа, но все знали лесовичку, а он был при ней; знали, что приходится он ей не то родней, не то земляком, бывал в доме Мартина запросто, да и лесовичка его навещала запросто, мыла у него полы, стирала ему белье, и заботилась о нем ничуть не меньше, чем о Мартине и его ребятишках. Вот и прозвали Шофрона на селе «лесовичкин Шофрон».

А Йоргован пил беспробудно, безвылазно проводил он время в шинке, и некому было его оттуда вытащить.

— Помнишь, Йоргован, лесовичку? — спросил как-то у него завсегдатай шинка, товарищ по пьянкам, писарь из примэрии. — Хороша была девка! Красотка!

Йоргован пристально посмотрел на него.

— Как не помнить? — ответил он. — Очень даже помню! Девушки такой... такой девушки на всем белом свете не сыскать!

— Спуталась с Шофроном, черт ее побери!

Йоргован поднялся из-за стола, поглядел на писаря и стал шарить глазами по столу в поисках чего-нибудь поувесистей, но ничего, кроме бутылки вина, не обнаружил и потому швырнул бутылку прямо в голову оторопевшему писарю.

— Это кто же путается?! Кто путается? — заорал он и бросился к писарю, который упал на пол, обливаясь кровью.

Люди схватили Йоргована, скрутили его для его же блага.

Двое здоровенных парней вывели его из шинка во двор. Набежала толпа поглазеть, что случилось и почему шум. Йоргован дергался и ругался, пытаясь освободиться от цепких рук.

Увидев собравшуюся толпу и улюлюкающих мальчишек, он тут же, несмотря на хмель, пришел в себя и обмяк.

— Пустите меня,— тихо попросил он.— Я сам пойду...

— Куда ж ты повернул-то... Ты домой шагай!..

— Ладно, можно и домой,— согласился Йоргован.

Нет, куда угодно готов он был шагать, только не домой, но толпа с таким упорным любопытством смотрела на него, что он повернулся и, шатаясь, направился по дороге домой. Он шел, не оглядываясь, но спиной чувал, что толпа идет за ним следом. К идущим приставали все новые и новые люди, все спрашивали друг друга, что случилось. Ах, как не хотелось Йорговану, чтобы кто-нибудь узнал, из-за чего ударил он писаря. Если бы писарь умер, ему, кажется, было бы легче.

Так и притащился он домой, сопровождаемый целой свитой. Провинившимся мальчонкой стоял он перед отцом, пока люди, путаясь и перевирая, рассказывали о пьяной драке.

— До чего же дошло, сынок? Что же ты натворил-то? — горестно спросил Бусуйок, когда они остались вдвоем.

— Я ничего,— ответил сын.— Все твоих рук дело!..

Он повернулся и пошел прочь, не мог он видеть отца, тошно ему сделалось — так, что впору все бросить и уйти куда глаза глядят, уйти, чтобы ни одна живая душа не разыскала его следов.

Отчаявшийся Бусуйок опять помчался за советом к шурину.

— Теперь и подавно надо оставить его в покое,— раздумчиво произнес поп.— Ежели он сам собой не образумится, считай, что никто не образумит. Потерпи чуток. А с писарем дело надо уладить. Это я беру на себя.

И он в самом деле все уладил, задоблив несчастного писаря, который надолго слег. Йоргован мог разгуливать спокойно.

Но какое спокойствие, когда сердце разрывается на части?!

Тоска и отчаяние грызли его.

Тягостные картины волновали его воображение: то виделся ему спокойно и уверенно работающий Шофрон, то окровавленное лицо писаря, то еще того хуже, будто он, Йоргован, избивает жестоко Сими́ну, измывается над собственной любовью, а потом, раскаиваясь, валяется у нее в ногах, прося прощения. Но тягостнее всего было, когда вспоминал он, как жульничает на мельнице, обкрадывая отца, и в ушах звучали слова Симины: «Ты себя с Шофроном не равняй! Шофрон — человек!»

Да, Шофрон и впрямь человек...

Но больше всего мучал Йоргована разлад с отцом.

«Твоих рук дело!»

Эти слова крикнул он в приступе ярости и простить их себе не мог. Как у него язык повернулся сказать такое? Сказать-то недолго, а как потом вернуть сказанное? Какой камень бы свалился с души, если бы не было этого разговора с отцом.

«Вот соберусь и поговорю с ним, повинюсь во всем», — думал он, встречаясь с отцом взглядом.

Но оба они молчали, ни один не решался заговорить первым.

Бусуйок боялся, как бы Йоргован сгоряча опять не наговорил лишнего, и выжидал, думал: пусть он окончательно поостынет.

В следующий четверг, Йоргован как ни в чем не бывало спросил у отца, ехать ли ему в Арад.

— Повременить надо с неделку, — отвечал Бусуйок, пряча глаза.

«Ну вот, теперь и в Арад не пустит!» — обиделся Йоргован, и, ничего не сказав, круто повернулся, и направился прямо в шинок.

Посетители, казалось, и не замечали его прихода, сидели, уткнувшись в свои кружки, будто его и нет.

Йоргован направился на свое любимое место в углу, потребовал вина, а ему не принесли.

Он нетерпеливо постучал по столу.

— Сей минут! — отозвался расторопный слуга, но и на этот раз словно забыл о посетителе.

Йоргован рассердился не на шутку и еще громче стукнул по столу, но на этот раз и вовсе никто не отозвался, тогда он вышел из-за стола и подошел к стойке; рядом за столиком сидели четверо крестьян и мирно потягивали вино.

— Ты что это, братец, оглох или придуряешься? —

сердито спросил он у вжавшегося в стенку за стойкой шинкаря.

Шинкарь выскочил из-за стойки и, обращаясь не столько к Йорговану, сколько к тем четверым за столиком, пояснил:

— Бусуйок не велел ему отпускать вина.

Йоргован побледнел и вдруг разразился громовым хохотом.

— С каких пор Бусуйок распоряжается в шинке? — спросил он. — Живо тащи вина, а то я такое учиню, век меня помнить будешь! Я таких шуток не потерплю! Тебе не Бусуйок, а деньги указ!

Он вернулся в угол и уселся за стол, грозно подперев кулаками подбородок.

— Вот люди хорошие, сами видите! Я не виноват! — пожаловался шинкарь посетителям и мигом послал слугу за вином.

Йоргован, наливая из бутылки, опорожнил четыре стакана вина сряду, швырнул на стол деньги и, ни на кого не глядя, вышел из шинка. Но направился он не домой, а повернул к мельнице.

На мельнице, как всегда, толпился народ. Несколько человек, примостившись на мешках вокруг мельника, слушали, что он им рассказывает вполголоса. Тусклый свет висевшей на гвозде керосиновой лампы озарял их коричневые, дубленые на солнце и ветру лица.

При виде Йоргована крестьяне разом поднялись.

Йоргован поздоровался и направился в угол к столу, сел, раскрыл амбарную книгу и стал что-то спешно записывать, бормоча себе под нос.

Пьян он не был, но все заметили, что малость под хмельком.

— На мельнице ничего не случилось? — спросил он мельника, закончив писать.

— Ничего! — отвечал мельник.

— Так ли? Ну-ка давай поглядим, — сказал он, поднимаясь из-за стола. — Завтра утром повезу муку в город, надо поглядеть все ли на месте и сколько. Батя велел.

Мельницу освещали всего три лампы. Одна висела над ящиком, куда ссыпался помол, другая повыше, где зерно засыпали, и третья в углу над столом.

А там, где тарахтели, не смолкая, мельничные жернова, где вертелись, весело гудя, мельничные колеса, была непроглядная темень.

Йоргован двинулся именно туда, мельник нехотя снял с гвоздя лампу, пошел ему посветить.

Обойдя мельницу, Йоргован задержался возле вертящихся колес, оглядел их, деловито тыча в них пером, которое все еще держал в руках. Как бы удостоверившись, что все в порядке, он выпустил из рук перо и, даже не заметив своего упущения, направился обратно к столу.

Мельник повесил лампу на место.

И тут Йоргован, спохватившись, стал искать пропавшую.

— Перо,— бормотал он.— Куда ж оно девалось? Видать, там оставил...

Мельник хотел пойти искать, но Йоргован его придержал за плечо.

— Сиди, я сам. Я знаю, куда его положил,— и он опять нырнул в темноту.

Мельник опять нехотя снял лампу с гвоздя и поплелся вслед.

Этого Йоргован не стерпел.

Он остановился.

— Дай сюда! — приказал он дрогнувшим голосом.

Он чуть ли не силой вырвал из рук оторопевшего мельника лампу и быстрым шагом двинулся в глубь мельницы. Лампу он, как схватил повернутой блестящим жестяным щитком вперед, так и держал; свет бил прямо в лицо и слепил глаза.

Было совсем тихо. Лишь мерное гудение колес и хряхтение жерновов сливались в непрерывный и привычный гул — и сквозь него отчетливо звучали удаляющиеся вправо, к паровику, шаги Йоргована.

Вдруг дикий нечеловеческий вопль огласил мельницу, казалось, земля раскололась надвое. В темноте Йоргован натолкнулся на столб, лампа ударилась о деревянный брус и раскололась вдребезги, вспыхнув, брызнули во все стороны осколки, и вся мельница мгновенно озарилась ярким пламенем.

Полусонные люди, дремавшие на мешках, мигом вскочили на ноги и ринулись туда, откуда донесся вопль, и ужас объял их: Йоргован катался по земле, охваченный пламенем.

Всякий раз, когдаходишь ты в дом или выходишь из него, трижды осени себя крестом и скажи: «Храни нас бог!», ибо ты не знаешь, удача или неудача ждет тебя впереди, исполнишь ты задуманное или нет, дойдешь ли туда, куда шел? — ничегошеньки тебе наперед неизвестно.

Великое несчастье случилось с Йоргованом, в один миг произошло оно, в один миг был он охвачен огнем.

А с кем такое не может случиться? Кто заговорен от смерти? Никто! И никто не знает, какая смерть кому уготована.

Все, кто стал свидетелем несчастья, оцепенели от ужаса и жалости. В один миг здорового, красивого, молодого парня превратило в живую кровоточащую рану.

Все село сбегалось к дому Бусуйока, как только прослышали о случившемся, никому и в голову не пришло тушить пожар на мельнице, никому не пришло в голову спасти мешки с зерном и мукой, машины и прочее...

— Вот и Удода также суродовало! — вздохнул кто-то.

Разноречивые ходили в толпе слухи, по одним, Йоргован там же на месте помер, по другим, наоборот, отделался легкими ожогами и через неделю будет как огурчик. Но большинство отмалчивались, не зная, что и подумать.

Наконец прибыл вызванный из города лекарь, толпа устремилась во двор, но лезть в дом поостереглась.

Йоргован лежал не шелохнувшись, как покойник, изнывая от боли.

Лекарь осмотрел его, покачал головой и пошел мыть руки.

— Тяжелый случай! — вздохнув, сказал он. — Но кто знает, парень молодой, крепкий, авось выкарабкается. Во всяком случае я сделаю все, от меня зависящее.

— Уж вы постарайтесь! Ничего не пожалею! Все отдам, лишь бы увидеть, как он опять в шинок идет, — чуть не плача, причитал Бусуйок.

— Не хочу больше! — тихо произнес Йоргован, открыв глаза. — Ничего не хочу, отец.

Лекарь подошел к нему. Йоргован сделал попытку улыбнуться, тихо взял врача за руку, испытующе посмотрел ему в глаза.

— Терпи, парень! — ободряюще произнес лекарь, как бы отвечая на его безмолвный вопрос. — Может, и поправишься.

— Терплю... видите, терплю... — ответил Йоргован.

Он и в самом деле терпел. Ни одного стога от него не слышали, ни одной слезинки он не проронил. Лежал он, вытянувшись на постели, и если кто-нибудь подходил к кровати, кротко и виновато улыбался одними глазами.

Лекарь наказал ему хранить полный покой, и Йоргован старательно выполнял этот наказ, лежал не шелохнувшись, и покой медленно проникал в его душу, ибо телесная боль избавляет человека от любых чувств, делаясь ему полной хозяйкой.

Услышав о случившемся, Симиha вскочила, встрепетнулась.

«Неправда это! — решила она. — Нарочно! Он и теперь соврал! Несчастье это сам над собой учинил!»

Она кинулась к Шофрону.

— Поезжай! — незамедлительно решил Шофрон. — Увидит он тебя, легче ему станет.

Симиha застыла, прижав к груди руки и не отводя от него глаз. Она закрыла лицо руками и вздохнула глубоко и горестно.

— Ну чего ты? — удивился Шофрон.

— Шофрон! — вскричала девушка в порыве покаяния. — Бусуйок хочет сватать меня! Вчера мне об этом сказывала матушка. Боюсь, не достанет у меня сил противиться. Я люблю Йоргована! Так люблю, что моченьки нет! Никакая мать так не любит свое дитяtko! Жизнь за него готова положить!

Шофрон опешил.

— Ну, не езжай! — передумал он. — Как бы ни любила ты, а не любишь так, как я тебя!

— И то верно, Шофрон, и то верно, — вздохнув, согласилась Симиha. — Так, как ты, никто на всем белом свете любить не может, потому что ты человек, Шофрон. А я всего лишь слабая, бестолковая баба, и сама себя понять не могу.

— Я за тебя решу, я! — твердо произнес Шофрон. — Нельзя тебе пропадать зазря... Хотя люблю я тебя — а как люблю, только один господь и знает! — а замуж не зову, потому не будет тебе со мной счастья... знаю!.. Но и другим тебя сгубить не дозволю!.. Конечно, неволить тебя не могу, ты вольный человек, посту-

пай, как знаешь... Твоя жизнь мне дорога, а до прочих мне дела нет!..

— Что же мне делать?! — в отчаянии спросила Сими́на.

— Что делать? — задумчиво переспросил Шофрон.— Да я об этом все дни и ночи думаю. Сколько уж передумал. Веду борозду в поле, а сам только про тебя и думаю. Я ведь работу эту как никто знаю, с завязанными глазами прямую борозду проведу. Руки, кажись, сами видят, что им делать. И знала бы ты, какие у меня тогда думки про тебя бывают хорошие, может, и полюбила бы меня. Хотя бы так полюбила, как я своего пегого Коарнеша люблю за то, что работается нам вдвоем ладно, за то, что узнает он меня за версту, как завидит издали, вскинет голову да заржет радостно. А коли печалится он, то и мне работа в тягость. Вот как! А коли не можешь ты меня хотя бы так полюбить, то, право, скотине и той лучше живется, чем человеку...

— Не могу, Шофрон,— пожаловалась Сими́на.— Суди меня, а никак не могу... Только ты меня, прошу, не бросай!..

— Да я-то тебя не брошу,— со вздохом произнес Шофрон.— Бог тебе судья. И ты во мне не сомневайся. Я тебя никогда не оставлю.

И Сими́на ушла в Куртич, потому что не могла доле оставаться ни одной минуты.

Все добро отдал бы Бусуйок, лишь бы увидеть сына своего живым и здоровым. Потому скрыл он от лекаря, что пришла к больному лесовичка Сими́на, боясь, как бы лекарь не воспротивился. Но что мог знать городской врач о лесовичке Симине? Ничего. А все же мог он воспротивиться, сказать, никому, мол, не следует тревожить больного, нарушать его покой.

Сими́на тихо, почти неслышно вошла в комнату, где лежал Йоргован, уставив глаза в потолок.

С трепетом и страхом подошла она к кровати, и Йоргован неведомым чутьем угадал ее приближение. Взгляд его огромных ясных глаз просиял, заставив ее оцепенеть под этим лазурным взглядом.

— Сими́на! Ты пришла? Боже! Видишь, совсем я плох! — прошептал он и протянул к ней руки.

Она бросилась к нему; он обнял ее за плечи, привлек к себе и поцеловал в губы, глаза, щеки, потом отстранил, разглядывая, не веря своим глазам, опять привлек и опять целовал.

Сими́на легонько отстранила его руку, легла рядом, положив голову к нему на подушку. Так и лежали они молча, не говоря ни слова и не шевелясь.

— А Шофрон как? — внезапно спросил Йоргован.

Сими́на вздрогнула, только, приподнявшись, взяла в ладони его лицо и поцеловала.

— Хорошо, здоров он, — ответила она.

Йоргован собрал последние силы, то ли желая подняться и обнять ее, то ли просто повернуться на бок, чтобы все время видеть ее перед собой, и вдруг судорожно дернулся, упал навзничь головой на подушку, руки его безвольно замерли вдоль тела. Он не дышал.

Сими́на вскочила, наклонилась над ним и замерла, на него глядя, потом очнувшись, подошла к двери и, приоткрыв ее, громко и внятно потребовала:

— Свечу!

МАРА

Роман





Глава I ГОРЕМЫЧНЫЕ ДЕТИ

Осталась бедная Мара вдовой с двумя малыми детьми еще молодой и статной, хозяйкой рачительной, так что господь бог оставил и ей надежду на счастье. Что и говорить, покойный Бырзовану, покуда был жив, скорее годился латки ставить, чем сапоги тачать, и сидел с бóльшим удовольствием в корчме, чем дома; однако осталось от него детишкам две сотни сливовых деревьев в долине Муреша, виноградничек на холме в сторону Пзулиша да дом, который еще его мать получила в приданое. А для торговли это великое дело — Радна есть Радна, Липова рукой подать — через Муреш, а до Арада всего два часа ходьбы.

Во вторник утром Мара раскидывает палатку и расставляет полные с верхом корзины на площади на правом берегу Муреша, куда собираются на еженедельный торг все, кто живет по реке, начиная с самого Совыршина и Соботелиу, и виноградары от самого Ковина. С утра в четверг она переправляется через Муреш и ставит палатку на левом берегу, где собираются банацане¹ и из Фэджета, и из Кэпэлнаша, и из Сан-Миклуэуша. В пятницу, еще затемно, стоит только петухам прокричать, отправляется она в Арад, чтобы день застал ее уже в палатке, раскинутой на огромном торжище, куда народ собирается со всех семи волостей.

Но самое-то главное — Мара никогда не сидит с пустыми руками: продает она все, что можно, и покупает все, что найдется. Из Радны она тащит то, чего нет в Липове или в Араде, а из Арада несет, чего не сыщешь в Радне и Липове. Для нее самое главное — не нести товар обратно, и она рада продать с меньшей прибылью, лишь бы не сидеть на нем «наседкой».

И только ко дню Святой Марии Мара с опустошенными корзинами возвращается домой.

¹ Банацане — жители Баната (область в Трансильвании).

Вверху, на склоне холма по правому берегу Муреша видна знаменитая Мария Радна, монастырь францисканцев. С башен красивой главной церкви можно видеть вниз по Мурешу холм с покрытыми мохом развалинами крепости в Шоймош; перед монастырем раскинулось красивое село Радна, а за Мурешом — Липова с блестящей и гулкой колокольной румынской церкви, а вниз по Мурешу простирается бескрайняя равнина Страны венгерской. Однако Мара ничего этого не замечает, для нее существует лишь широкая луговина перед монастырем, где собирается народ, просто ужас сколько народу.

Ведь в монастырском храме находится чудотворная икона Пречистой девы Марии, которая плачет настоящими слезами, и при виде их больные становятся здоровыми, бедные чувствуют себя богатыми, а несчастные — счастливыми.

Мара как истая христианка тоже иногда заходит в храм, но преклоняет колени, крестится, кладет поклоны и молится она самому господу богу. В то, что икона творит чудеса, она не верит; кому как не ей знать, что немецкая Пречистая дева не настоящая Пречистая. Но дело не в этом. Монахи, что ходят с бритыми, гладкими, словно ладонь, лицами и так противно кривляются, знают тайную науку и владеют кое-каким колдовством, чтобы болезнь пошла на поправку, бедняк нашел себе поддержку, а несчастный почел себя осчастливленным. Так что люди правильно поступают, когда приходят поклониться Марии Радне, и у Мары сердце так и радуется, если на Святую Марию стоит хорошая погода и люди целую неделю могут ходить крестным ходом с хоругвями, развевающимися на ветру, крестами, украшенными цветами, распевая псалмы и литании.

Вот теперь, когда народ валит сотнями, а на широком лугу перед монастырем собрались его тысячи, теперь для Мары время жатвы, и она выходит с утра с полными корзинами, а вечером возвращается с опустевшими. Поэтому Мара и преклоняет колени перед иконой, а потом подталкивает к ней и своих детей, которых всюду таскает за собой, шепча им: «Помолитесь и вы, горемычные вы мои!»

Они бедные горемыки, потому что нет у них отца, горемыка и Мара, потому что осталась вдовой с двумя детьми. На кого же, о господи, ей их оставить, когда

отправляется она на базар? И как можно провести целый день, не увидев их? Как можно оставить их, если так удобно иметь их перед глазами?!

Так и мыкается Мара по свету, бегают бегом, торгует и с людьми ругается, так что порой даже голова кругом идет, плачет, жалуется, что осталась вдовой, а потом посмотрит вокруг, увидит своих детишек и вновь смеется.

«Ни у кого нет таких детей, как у меня!» — говорит она себе, и никто этого лучше знать не может, потому что она день-деньской видит перед собой и детей и разный люд и не может взглянуть на человеческое существо без того, чтобы не сравнить его со своими детишками. Много доводится ей видеть здоровых и румяных, крепких и живых, умных и красивых; и дурные встречаются, ничего удивительного нет, ведь дело известное, что люди, с которыми не дай бог и повстречаться, из дурных детей и вырастают.

Они и оборванные, и босоногие, и нечесаные, и немытые, и нахальные, ее горемычные дети, но ведь такая же у них и мать. А какой ей и быть, бедной вдове? Какими быть ее бедным детям, если живут они на базаре у добрых людей под ногами? Женщина крупная, широкоплечая, плотная, с загорелыми, обветренными и умытыми дождем щеками, Мара стоит целый день под навесом за столом, заваленным фруктами и сладкими пряниками. Слева от нее корзина с рыбой, а справа котел с кипящей водой, где варятся «колбаски» — и она время от времени натирает для них хрен, что лежит подле нее на столе. Дети бегают, у них свои дела; проголодавшись, прибегают, а насытившись, убегают опять, то они играют, то дерутся то друг с дружкой, то с другими ребятами. Так незаметно и проходит день.

По вечерам Мара чаще всего ест одна, потому что дети, набегавшись за день, засыпают, пока она готовит ужин. Но мать ест и за себя, и за детей, потому что оставить что-нибудь на завтра — грех.

Выпив под конец кружку доброй воды, она вынимает мешочек и начинает считать. И никогда она при этом не считает только за минувший день, а непременно за всю свою жизнь. Выделив из «капитала» прибыль, она откладывает деньги на завтрашний день и приносит три чулка: один на старость и похороны, другой для Персиды, третий для Трикэ. И не проходит дня,

чтобы она не положила в каждый чулок хотя бы крейцер, уж лучше она урвет из денег, предназначенных на завтрашний день. Когда есть возможность отложить флорин, она обязательно поцелует его, а потом так и застынет, задумавшись, одна-одинешенька перед деньгами, рассыпанными по столу, и в конце концов заплачет.

И не потому вовсе, что ей станет вдруг тяжело: когда Маре жизнь кажется в тягость, она не плачет, а бьет горшки или переворачивает столы и корзины. Она плачет потому, что припоминает, сколько у нее было денег, когда она овдовела, подсчитывает, сколько их у нее теперь, и соображает, сколько будет через несколько лет. И нужно быть Марой, чтобы размякнуть от того, что чувствуешь, как приятно быть человеком в этом мире, крутиться как белка в колесе с раннего утра и до позднего вечера и знать, что это не напрасно.

На следующий день, если попадется ей в толпе женщина, которая понравится ей и лицом, и одеждой, и поведением, она скажет про себя с тайным удовлетворением: «Вот такой будет моя Персида!» Если же ей понравится мужчина, непременно подумает: «Вот таким станет мой Трикэ!»

Была одна такая, попадья из Печики, женщина видная и обходительная, богатая и красивая. Мара перебила бы все горшки, если б кто-нибудь дерзнул сказать, что ее Персида не станет такой же, как эта попадья, да еще и не превзойдет ее. Но эта попадья провела четыре года среди монахинь в Орадя Маре, значит, решено: Персиде тоже надлежит лет пять, по крайней мере, прожить у монахинь в Липове.

Мара сделала все, что могла, и мать Аеджидия, экономка, пообещала ей, что возьмет девочку к себе и всего лишь за шестьдесят флоринов в год, потому что Мара — вдова с двумя горемычными детьми. Однако с той поры миновало уже два года, Персиде исполнилось девять лет, а Мара все не могла решиться выложить такую сумму ни за что ни про что. Заплатить-то она могла, деньги у нее были, уж кому-кому, а ей это было лучше всех известно, но вся ее природа противилась тому, чтобы вынуть из чулка хоть одну монетку.

Из-за Трикэ не приходилось так трудно ломать голову.

В Липове был один человек, Бочьоакэ, староста

кожевников, которому летом помогали четыре, а зимой десять подмастерьев. На всех ярмарках он продавал самые лучшие кожухи, снимал в аренду мясную лавку, а женой у него была Марта, дочь священника из Кладовы. Замечательный человек! Вот таким будет и Трикз. Но для этого никакой особой школы и не надо: достаточно того, чтобы Бочьоакз взял его в ученики.

Мать же Аеджидия запрашивала слишком много — шесть флоринов в месяц, а сверх того еще на разные расходы.

— Гм! — хмыкала Мара, нахмурив брови, и принималась про себя считать: сколько примерно людей переходит за год по наплавному мосту через Муреш. Никто в мире не смог бы посчитать это лучше, чем она, которой доводилось столько времени проводить то на одном, то на другом берегу Муреша.

— Так значит, что получится, если из чулка Персиды взять деньги на аренду моста?— Она могла бы дать за аренду и побольше, чем другие, потому что хотела получать всего только шестьдесят флоринов, ну и еще какой-нибудь там доходец. К тому же вместе с арендой она получала право поставить свой стол и корзины у начала моста, в том месте, которого ни одна душа не минует.

Мара сидела, сидела и считала в уме деньги: по два крейцера с человека и по десять крейцеров с пары лошадей или волов. Она все время занималась подсчетами, и деньги перед ней громоздились кучей, так что в конце концов глаза ее застилали слезы.

Разве это возможно: быть бедной вдовой, видеть свою дочь попадшей, а сына старостой кожевников и не растрогаться от полноты чувств?!

О том, что дела могли повернуться вовсе не так, Мара даже и думать не хотела, поскольку видела словно наяву, как все у нее прекрасно получается.

Глава II МАТЬ АЕДЖИДИЯ

Мать Аеджидия роста была небольшого, ходила мелким шагом, говорила отрывисто и внушительно, нос имела маленький, а взгляд суровый и испытующий, но как только видела вдовьи слезы, так тут же и обмякала. Это она добилась того, что мать-настоятельница приняла

Персиду в монастырь всего лишь за шестьдесят флоринов в год, а кроме того, бегала еще к господину Хубэру, эконому города, ради того, чтобы Мара обязательно получила в аренду мост.

Все это были истинно христианские поступки, но Мара никак не могла ими удовольствоваться.

Сиди, по правде говоря, и оказалась очень разумной девочкой, и с того момента, как разлучилась с Трикэ, стала молчаливой, сдержанной, послушной, почти ласковой, хотя и не было никакой возможности отучить ее от дурных привычек, заставить ее причесываться, мыть руки, быть вежливой. А Мара то и дело появлялась в монастыре, чтобы пожаловаться на людей, которые перестали ходить по мосту из Радны в Липову и из Липовы в Радну, так что мать Аеджидия, растроганная ее слезами, стала довольствоваться четырьмя флоринами в месяц, добавляя пятый от себя. Наконец зимою, когда Муреш покрылся льдом и никто уже не платил двух крейцеров, мать-монахиня с суровым взглядом все пять флоринов стала платить из собственного кармана и была весьма довольна, что хотя бы одежду ребенку Мара справляет на свои деньги.

Зимние вечера Мара обычно проводила, строя разные планы, и чем обширнее они становились, тем тверже смотрели ее глаза, хотя и наполняли их слезы умиления.

Лишь одно заставляло ее порой призадуматься. Слишком уж нежной становилась Персида: не монахиня ли приманивает ее, чтобы обольстить и сделать из девочки тоже монахиню. Лучше умереть! Да нет! это невозможно: во всем Марином роду не было ни одного смиренного человека. Все были настоящими христианами! Вот и Трикэ стал рассудительным, послушным мальчиком и прилежным учеником. У детей, которые с малолетства были сорванцами, все это проходит с возрастом.

Вот так порой и Маре приходили на ум думы о минувшем времени.

В один прекрасный весенний день господин учитель Блэгуцэ явился в школу позднее обычного. Он до страсти любил рыбную ловлю. Снега в тот год растаяли дружно, Муреш вышел из берегов, и вода была мутная, что рыбной ловле благоприятствует. По заведенному обычаю, в отсутствие господина Блэгуцэ для поддержания порядка в классе розгу брал в руки Кости Балакович, возможно, вовсе не из-за того, что был старше всех среди школьни-

ков, но он хорошо учился и был к тому же сыном пирожника из Радны.

Но одно дело Блэгуцэ, а другое дело Кости, пусть он и сын пирожника. Перед господином Блэгуцэ Трикэ сидел смирно. А с Кости он частенько дрался на базаре в те лучшие времена, когда набрасывался на него не один, а вместе с Сиди, и тогда Кости редко удавалось удрать от них неисцарапанным, потому что у Сиди были когти, как у кошки, а за своего младшего брата она готова была кинуться даже в огонь.

Наверное, из-за этого Кости так сурово и обращался с Трикэ, который был теперь с ним один на один.

— Трикэ!— прикрикнул он строго.— Сиди спокойно!

Трикэ вызывающе вскочил на ноги: его задела несправедливость.

— Сядь!— крикнул Кости.

— Захочу — сяду, захочу — буду стоять,— ответил Трикэ.— Кто ты такой, чтобы мне приказывать?!

Остальные школьники принялись улыбаться, растягивая рты до ушей, потому что и дети — люди и им тоже приятно видеть унижение того, кто слишком быстро возвысился. Но и Кости был человеком и не желал, чтобы его унижали.

— Вон!— крикнул он, как кричал учитель.— На колени!

Выкрикнув приказ, он направился к Трикэ, чтобы схватить его за шиворот.

Трикэ был на три года моложе Кости и не считал возможным мериться с ним силами, но чем меньше человек, тем больше его решимость: ведь и Трикэ умел кусаться, царапаться и лягаться. И то, что Кости приводило в слепую ярость, заставляло других школьников, вскочивших на парты, корчиться от смеха, особенно когда удары Трикэ достигали цели. Таким образом победа могла быть только на стороне Трикэ: трепку, что и говорить, он перенес изрядную, волосы у него вроде бы поредели, шея была в царапинах, но из-за парты он не вышел, а на колени его смог поставить только сам господин Блэгуцэ, который счел, что авторитет Кости нужно поддержать.

Выйдя из школы, Трикэ, как и обычно, направился прямо к мосту, где его мать собирала крейцеры и торговала своим товаром. Пока он дрался с Кости и стоял на коленях, он не проронил ни слезинки, и только теперь, оставшись один, Трикэ стал вытирать навертывающиеся на глаза слезы. Эх! как ему хотелось впиться в Кости

зубами, чтобы след от укуса остался у того на всю жизнь! Но Кости был сильнее его.

«Вот скажу маме,— угрожал про себя Трикэ,— пусть он тогда пройдет через мост!» Однако слово словом, а дело делом. Напрасно стал бы он рассказывать что-то матери: она, как и обычно, принялась бы причитать, что она вдова и каждый волен издеваться над ее детьми, у которых нет отца, чтобы защитить их.

— Эх!— вздохнул Трикэ.— И почему нету Сиди?

Да! Только она одна может понять, что значит быть избитым Кости.

Трикэ, укрывшись за возом, незаметно перебрался по мосту на другой берег и бросился со всех ног к женскому монастырю, подергал колокольчик у входа, а когда открылась калитка, сказал, что мать его послала отнести кое-что сестре.

С монахинями в Липове нельзя было разговаривать кому угодно, когда угодно и о чем угодно. Но Сиди не была монахиней и суровая мать Аеджидия, которая вместе с тем была и мудрой, не желала, чтобы возмущился весь монастырь, что непременно бы случилось, запрети она Сиди, которая уже начала всхлипывать, повидаться с братом во время обеда. Таким образом, Трикэ не пришлось долго ждать.

— Ну что?— спросила резко Персида.

— Знаешь,— ответил тихо Трикэ, чтобы не услышала сестра Марта, находившаяся в соседней келье.— Меня отколотил Кости.

— Он тебя поколотил, а ты, дурак, это дозволил.

— А что, если он сильнее меня.

Персида задумалась на некоторое время, затаив дыхание и пристально глядя в угол.

— Пошли!— сказала она, хватая брата за руку и толкая его к двери, где в замке торчал ключ.

— Сиди! Сиди!— воскликнула сестра Марта и поспешила, чтобы задержать девочку.

— Пошли!— еще решительнее повторила Персида.— Она не имеет права идти за нами.

Выбежав на улицу, брат с сестрой направились к мосту.

Да, но там Мара, а она-то не должна их видеть, не должна ничего знать.

На том берегу, где была Липова, между мостом и холмом стояла Солоница, дощатый сарай, где хранилась соль, которую на баржах привозили из копей Илиоары,

чтобы продать в окрестных селах. Перед Солоницей зимой и летом, ночью и днем — всегда было много телег, а вверх от Солоницы вдоль берега стояло несколько плавучих мельниц. Персида и Трикэ пробрались между телегами, обогнули Солоницу и направились к мельницам. Сколько раз доводилось им летом переправляться через Муреш на лодчонке, которую они брали на какой-нибудь мельнице.

Но сейчас было не лето, а весна, и Муреш разлился широко-широко. Вода шла мутная и желтая, с пеной над крутящимися воронками. Мельницы, которые обычно стояли рядом с берегом и были связаны с ним мостками, теперь находились почти на середине реки, и оттуда едва доносился монотонный стук жерновов. Как им добраться до мельницы, чтобы попросить какого-нибудь подручного переправить их через Муреш?

Добраться до мельницы не было никакой возможности! Но белоголовые, румяные брат с сестрой были ребятами отчаянными. Красиво и величественно катились тяжелые волны вниз по долине. От них веяло весной, а дальше, по берегам, где располагались и Радна, и Шоймош, то здесь, то там пробивалась зеленая трава и набухали почки на ветлах и ракитах.

— Погоди!— вдруг воскликнула Персида.— А мельники? Как они попадают к себе на мельницы? Должна же быть здесь, у берега, какая-нибудь лодка. Ты не бойся! Ты же знаешь, что я умею грести.

— Это я боюсь?— отозвался Трикэ.— Разве летом я сам не гребу?

Совсем нетрудно было летом, упираясь веслом в дно, направлять лодку куда заблагорассудится, теперь дна у Муреша не достать, и волны оказались куда выше, чем казалось с берега, так что лодчонка понесла детей полностью по воле божией.

Карие глаза Персиды пылали огнем. Путешествие казалось ей прекрасным, чудесным, особенно когда лодка кружилась, попав в водоворот. Люди на берегу, заметив легкую лодочку, а в ней двух беспомощных детей, перепугались и стали метаться между Солоницей и мельницами, пытаясь найти лодку и вызволить их из беды.

Ну, а что же все-таки могло с ними случиться? Волны несли себе лодку и несли, и должны были в конце концов выбросить ее на берег, как выбрасывает на сушу река все, что плывет по ней.

Правда, на пути был еще мост, о который не однажды разбивались плоты, что сплавляли из Ардяла. И поэтому люди бросились к мосту, чтобы с него оказать помощь детям.

В это время по Липове пронесся слух, что от монахинь вместе с парнем сбежала девица. Девица вместе с парнем! А разве в воображении людей эта девица могла не превратиться в невесту, раз уж она сбежала с парнем. Напрасно было доказывать им, что никакая она не невеста, напрасно было бы показывать им на пару, плывущую в лодке, все равно никто бы не поверил. Были, правда, и другие люди, которые стояли на мосту перед монастырем и видели собственными глазами, что это было за бегство.

Мара, взымавшая мостовину, заметила необычное движение от Солоницы и от монастыря к мосту. Она вскочила со своего места и заспешила к Липове. Глянув в ту сторону, куда смотрел весь народ, она сразу же увидела лодочку, которая неслась по волнам, и еще две лодки, в которых сидели здоровые гребцы и торопились ей на помощь.

— Горе мне! — воскликнула Мара в страхе.

У нее мелькнула мысль о возможном несчастье, но ей и в голову не могло прийти, что в лодке, стремительно приближающейся к мосту, находятся ее дети.

Мара забегала, скликая людей помочь ей развести мост, как это обычно делалось, когда с верховьев шли плоты или баржи с солью.

С противоположного конца моста, со стороны Липовы, двигался сбежавшийся народ. Впереди всех выступала мать Аеджидия. Она спешила, изо всех сил семеня ногами, словно ее, как куклу, дергали за веревочки. Воздевая глаза к небу и заломив руки, она, не переставая, молила Пресвятую Деву прийти на помощь детям.

Увидев мать Аеджидию, Мара замерла на месте.

От монахини мысль ее тотчас же перекинулась на Персиду, а глаза стали пристально разглядывать обоих детей.

Мара стояла как вкопанная, глаза ее округлились, губы плотно сжались, а уголки рта опустились вниз.

— Святой архангел! — воскликнула она, осеняя себя крестом, — Святая Мария, Дева пречистая! Чтоб вам ни дна, ни покрывашки, — дети! Нет! — произнесла

она, утешая себя.— Таких, как мои дети, ни у кого нету!

А раз так, то что же может с ними случиться? Между понтонами моста достаточно места, чтобы проскочила не одна, а десяток лодок. Правда, правда! С ними ничего не может случиться, иначе она бы видела страшные сны, мучили бы ее дурные предчувствия.

Но как могла Персида попасть из монастыря на стремнину Муреша?

Мара двинулась навстречу матери Аеджидии, чтобы узнать, что же все-таки произошло, и по мере того, как она приближалась к монахине, вид у нее становился все суровей. Она знала одно: просто так, ни с того ни с сего, Персида не могла убежать от монахини. Значит, дело тут не чисто!

Мара как-никак была женщина тертая и знала, что все получается куда лучше, если брать вожжи в свои руки.

— Хорошо, хорошо, матушка! — закричала она. — Так-то вы присматриваете за детьми?!

А что могла ей ответить мать Аеджидия, когда она одна со своей великой слабостью была во всем виновата.

Монахиня ломала руки и возлагала надежду на милосердие божие.

— Пронеси! Пронеси, господи! — приговаривала она покаянным голосом. И вот мать божия пришла на помощь: лодка приняла нужное направление, приблизилась к проему между понтонами, стала исчезать под мостом и вот — вынырнула из-под него!

Народ бросился смотреть, как лодка проплывает под мостом, потом отхлынул и, толкаясь, побежал на берег, чтобы перехватить ее ниже по течению.

Персида и Трикэ скрючились и сидели молча, потому что понимали, что утонуть они не утонут, а вот сухими из воды, после того, как они перебаламутили столько народу, им не выйти, как ни крути.

Через некоторое время лодку поймали мельники, путившиеся за ней в погоню. Один из них схватил цепь, за которую привязывали лодку, и они стали подгребать к берегу, на котором стояла Липова.

Весь народ, вместе с Марой и матерью Аеджидией, хлынул в обратную сторону.

Много бы дала мать Аеджидия, чтобы весь этот

взбудораженный народ остался где-нибудь позади, чтобы она могла поговорить с Персидой с глазу на глаз. Но люди были не только взбудоражены, но и куда легче ее на ногу, так что семенившая мать Аеджидия сама далеко отстала от толпы.

Персида же совсем не знала, что ей сказать, кроме правды.

Выйдя из лодки, она быстро и смело, гордо подняв голову, на виду у людей, собравшихся по обеим берегам, направилась прямо к матери Аеджидии.

— Он его поколотил,— зататорила она,— повывергал волосы, сунул кулаком под ребра, порвал ворот рубахи и исцарапал шею.

— Кто его побил?— спросила монахиня, у которой отлегло от сердца.

— Кости Балакович,— ответил Трикэ солидно, с расстановкой.— Господин учитель пошел на рыбалку, а Кости Балакович стал нахальничать, но я ему не поддался.

— А я,— добавила Персида,— хотела ему показать, что нельзя колотить моего брата, потому что он маленький и некому его защитить.

— Сердечные вы мои! — воскликнула растроганная Мара.— Матушка,— продолжала она, вытирая слезы,— ведь они любят, любят друг друга как два горемычных дитяти.

Мать Аеджидия тоже была растрогана и не только видом вдовьих слез и благородным движением души Персиды, но и тем, что добрая репутация монастыря не пострадала.

— Значит, так,— произнесла она со зловещим спокойствием,— вместо того, чтобы надзирать за школой, он ходит на рыбалку, а в это время дети колошматят друг друга. И сколько же несчастий могло бы произойти, не храни нас всевышний. У нас ничего подобного не случается.

— Конечно, конечно! — подтвердила Роза, жена сапожника Ханслера, жившего через дорогу.— У нас всегда все в порядке! Это у румын все идет через пень-колоду.

— Правда! Правда! — стали поддакивать одни, в то время как другие принялись смеяться.

Все бы обошлось как нельзя лучше, не окажись тут несколько румын, чьи щеки мгновенно покраснели то ли от гнева, то ли от стыда.

— Я этого вовсе не хотела сказать,— произнесла мать Аеджидия.— У румын тоже есть порядок, но не везде, как видно.

— Это все Блэгуцэ, греховодник,— поддержала Мария Чьондря, которая терпеть не могла учителя из Радны.

Мара стояла словно на иголках.

Она знала, что католики — народ злобный, и больше держала сторону Блэгуцэ, который так хорошо пел на клиросе. Потом вдруг будто раскаленным железом пронзили ее тело: она увидела, как идут по мосту люди и никто не платит положенных крейцеров. Ну, и в конце концов, монахиня не могла быть правой.

— А как моя дочка вышла из монастыря? — спросила Мара, отчеканивая каждое слово.— Опять наш учитель был бы виноват, если бы дети утонули в Муреше?

Мать Аеджидия перепугалась и задрожала. Она не привыкла к людям, среди которых теперь оказалась, и у нее холодные мурашки побежали по спине при мысли, что люди эти начнут браниться. Она чувствовала себя так, словно там, на холмах за Радной, разразилась гроза и вот с минуты на минуту молния ударит и здесь.

— Сиди, моя девочка, пойдем! — торопливо проговорила она.— Поцелуй матери ручку и пойдем!

Ох как Маре хотелось иметь под рукой хотя бы горшок и расколотить его на тысячу кусков.

Вы только послушайте! Кто-то является, берет ее дочку и уводит, а она, Мара, ничего не может сделать, а через мост все идут люди, идут и ни крейцера за это не платят.

— Девочка останется со мной! — проговорила она, почти не разжимая губ.

— Нет, мама! — воскликнула Персида, которая готова была провалиться сквозь землю от стыда, если ей не разрешат вернуться в монастырь.— Что скажут другие девочки? Я,— заключила она,— должна вернуться на занятия.

Мать Аеджидия была самой счастливой монахиней на левом берегу реки.

— Верно, верно,— подтвердила она.— Прошу,— обратилась она к Маре,— пойдем и ты вместе с нами.

Четыре телеги, груженные солью, вдруг повернули к мосту, направляясь в Радну, а другие громыхали по мосту в сторону Липовы.

— Теперь я не могу! — ответила Мара и побежала к мосту, чтобы собирать крейцеры, в то время как мать Аеджидия вместе с Персидой направились в монастырь, а Трикэ бросился вслед за матерью, проталкиваясь через расходящуюся толпу.

Глава III ВЕЛИКАЯ БУРЯ

Нет ничего быстрее мысли, а слово переносит мысль от одного человека к другому.

Через полчаса вся Радна и вся Липова знали, что произошло на берегу Муреша, и даже больше того. Это было что-то невероятное! Настоящий мятеж!

Монахиня заявила, что румыны — негодяи. Нет, негодяй — это Блэгуцэ, которого нужно с позором изгнать из Радны. Нет, негодяйки — это монахини, они не могут присмотреть за девочками, которых родители отдают им на попечение. Нет, негодяйка эта Мара, которая продала свою дочь. Монахиня знала, по какому праву не оставила дочку матери, а увела с собой.

Так говорили и в Липове, и в Радне и говорили не тихо, осторожно взвешивая слова, а страстно, разжигая один другого.

Из-за пустячного дела неожиданно прониклись враждой друг к другу тысячи людей, которые до того жили в добром согласии, на следующий же день эта вражда растеклась еще шире, потому что в Радне была ярмарка, и укрепилась еще больше, потому что порыв страстей идет от человека к человеку, все нарастая.

Самым огорченным из всех, кто был огорчен подобным течением дел, был Блэгуцэ, злосчастный рыбовод. У него тоже были враги, завистники, он, как и любой человек, имел злопыхателей, которые злорадствовали, видя, в какой он попал переплет. Были у него и друзья, и доброжелатели, которые попрекали его за то, что он натворил. Все село переругалось из-за него, и он сам не знал, что делать.

И все это произошло из-за детей Мары, о которых столько раз все спотыкались на базаре.

Но Блэгуцэ тоже был человек, и ему нужно было на ком-то сорвать свое зло. Вот он и выгнал из школы Трикэ за то, что он лентяй, неслух и драчун, подающий дурной пример всем детям.

Трикэ не плакал, а стоял прямо, высоко подняв голову и держа руки по швам, потом вышел из школы и зашагал размеренным шагом прямо к мосту.

— Бедненький ты мой! — воскликнула Мара, сидевшая у моста.

Что, однако, могла она сделать? Чем помочь ему? Будто небо упало им на головы, но кто бы стал выслушивать Марины жалобы?

— Ничего, мой родной, — заговорила она в конце концов, воспрянув духом, — отдам я тебя в другую школу, получше, чем эта. Я из тебя сделаю человека, будешь ты и видным, и солидным, не то что твой отец или мать. Постоят они и их детки перед тобой, как мы теперь стоим перед ними! Я могу, у меня есть на что, — продолжала она с жаром, — господь бог дал мне и еще даст, потому как различия между людьми не делает!

Лицо у Трикэ прояснилось. По правде говоря, он не очень понимал, о чем это говорила мать, но до него дошло, что теперь он будет ходить в другую школу, а Кости Балакович останется таким образом посрамленным.

Однако именно в этот момент Мара не могла отдать его в школу. Она была полна решимости завтра или послезавтра свезти его в Арад и сделать все это как можно скорее, сразу же, как только она покончит с этими крейцерами. Но сейчас по мосту тянулись вереницей и возы, и люди, потому что в Липове была ярмарка, и у Мары минутки не было о чем-либо другом помыслить.

По ночам мало кто перебирался из Радны в Липову и обратно. И вечерами Мара оставляла мост на попечение своего племянника Георге, которому выдавала банкноты по два и по десять крейцеров, чтобы хоть как-то уследить за ним. Но Георге все равно мог ее обмануть, и днем она никогда не оставляла его собирать крейцеры. Но сейчас ее решимость отправиться завтра в Арад была столь велика, что она крепя сердце заговорила с Георге о том, чтобы он во время ее отсутствия заменил ее на мосту.

Вечером же, когда осталась одна и закончила все подсчеты, Мара долго сидела задумавшись.

Великое дело задумала она совершить, великое и тяжелое. Что и говорить, мост приносил доход, которого хватало, чтобы заплатить за Персиду, и еще

оставалось на расходы, которые Мара задумала в связи с Трикэ. Да что там, и сверх этого у нее кое-что остается.

Но мост она взяла в аренду на деньги Персиды, так как же из этого дохода брать деньги на содержание Трикэ? Это значит обездолжить девочку!

Что там говорить, она могла бы арендовать мост на деньги и дочери, и сына... но это было бы слишком сложно. И почему она должна терпеть столько горя из-за денег, которые нужно потратить на дело, которое не увидишь и не пощупаешь?

Господи, сколько на белом свете людей, которые превзошли всякую грамоту, а живут так, что их только пожалеть можно: и в нужде они бьются, и никто-то на них и не взглянет, а то даже и презирают их те, кто неуч неучем, да зато с деньгами. Не в коня корм. Все напрасно! Ничего нет превыше денег, разве только здоровье да добрая воля. И как это можно отдать грош, зажатый в собственном кулаке, не за что-то ошутимое, весомое, несомненное, а за какой-то дым, надежду, мечту, которая сейчас веселит тебя, а вот сбудется или нет — неизвестно.

— Избави бог! — произнесла решительно Мара. — Что в кармане, то не обманет.

Но нет, и от мечты своей отказаться она не в силах.

На следующий день она не поехала в Арад, но приодев Трикэ поаккуратнее, повела его за Муреш к Бочьоакэ.

Грамоте парнишка довольно знает, чтобы стать учеником кожевника, к тому же у него он сможет и учиться по воскресеньям и по праздничным дням.

Однако Мара выбрала не тот день и не тот дом.

По правде сказать, сам Бочьоакэ, человек солидный и немногословный, с радостью взял бы Трикэ, чьи глаза ему показались, как говорил он. Парнишка здоровый, сметливый, рассудительный и быстрый. Но вот жена Бочьоакэ из поповен, и как она могла в своем доме терпеть после всего, что произошло, сынишку Мары, который с немытым своим лицом и нечесаными волосами мог быть только сорвиголовой.

— О, господи! — вздохнула Мара, когда Бочьоакэ всякими окольными путями дал ей понять, что не может взять мальчика в ученики. — О, господи! — повторила она еще раз, не в силах произнести что-либо другое.

И снова как будто небо упало им обоим на голову, и снова Трикэ стоял, вытянувшись, подняв голову и руки по швам.

Значит, даже и учеником у кожевника не может быть этот горемычный ребенок?

И во всем этом виновата Персида! Нет! Это не Персида виновата, виновата одна только мать Аеджидия, монахиня-католичка! Ой! Нет! Нет! Это господь бог повелел так. И Мара вновь вернулась к добрым мыслям.

— Пойдем, дорогой мой, — обратилась она к мальчику, — я все равно тебя отдам, все равно отдам, именно из-за этого я и отдам тебя учиться грамоте.

Про себя она была полна решимости даже Персиду не оставлять в монастыре. Из головы у нее не шли людские толки, будто она продала девочку, забыла про нее, совсем забросила.

Отвратительно это было и не переносимо, но что потом делать с девочкой? Куда ее отдать? Как ее воспитывать? Что из нее выйдет?

Направляясь вместе с Трикэ к монастырю, Мара постепенно смягчалась.

Что же еще может случиться после стольких несчастий, ведь мать Аеджидия соизволит содержать Персиду совсем бесплатно, а шесть флоринов останутся для Трикэ? Ведь она так любит девочку, и где просяживаешь сотню, там можно спустить и грош, а там, где нашли приют сто человек, найдется место и для одной бедной девочки.

Мара совсем расчувствовалась, когда вошла в монастырские ворота, но еще более размякшей оказалась мать Аеджидия, когда увидела заплаканные глаза вдовы, с которой рассталась в столь тяжелых обстоятельствах и которую с тех пор побаивалась.

— Я поговорю с матерью-настоятельницей, — проговорила она нерешительно. — У Персиды бывают дикие выходки, но она добрая девочка, очень добрая. Мать-настоятельница ее тоже любит.

«Я поговорю» звучало для Мары как «дело сделано».

— Потом, — продолжала монахиня, — я дам тебе письмо к отцу Гардиану из монастыря в Араде. У отцов-монахов живут и бедные мальчишки, которые ходят из монастыря в школу. Если я напишу отцу Гардиану, то они примут и Трикэ.

Мара была счастлива и торопилась не на шутку, а то, не дай бог, монахиня передумает.

Выйдя от матери Аеджидии с письмом, она бросилась искать телегу, чтобы не потерять еще и завтрашнего дня, потому что ей нестерпимо было знать, что крейцеры на мосту собирает Георге.

К полудню она была уже в Араде.

Мара думала, что без всякого промедления побегит к отцу Гардиану; однако, очутившись в Араде, исполнить это показалось ей не так-то просто, и она призадумалась.

Она представила себе Трикэ примерным учеником, увидела, как он окончил школу, потом представила его большим человеком, имеющим свой дом, свой стол и свой смысл в жизни. А она все оставалась прежней, неизменной Марой.

— Нет! Нет! — сказала она себе. — Я не оттолкну от себя ребенка, ведь он у меня единственный.

И в Араде есть кожевники, да еще и получше, чем Боцьоакэ из Липовы. Она направилась с Трикэ к Стеве Клаичу, богатому сербу, у которого зимой работало двенадцать, а летом восемь подмастерьев и который был известен на ярмарках в Араде своими прекрасно расшитыми кожухами.

Итак, Трикэ было суждено стать кожевником, наподобие Боцьоакэ, старосты кожевников в Липове, только побогаче, поскольку Мара никогда не забывала копить деньги.

Глава IV ВЕСНА

Человек видит глазами, слышит ушами, но подумав и поразмыслив, сообразит в конце концов, каков ты есть на самом деле, как бы не старался ты казаться не тем, кто ты есть.

Так вот, напрасно жаловалась Мара, что осталась вдовой с двумя детьми, горемычными сиротами.

Дети, не беднее, чем при отце, росли, как растет ракита на песчаной отмели, а мать все молодедела, будто помогали ей собранные на мосту крейцеры.

Что ни говори, но Мара, какой была, такой и осталась, ходила по-прежнему засаленная, растрепанная, как будто по-другому и быть не могло. Зато говорить

она стала солиднее, ругаться меньше, топтать ногами совсем редко и держаться прямее, чем раньше. Чувствовалось, что она человек с достатком, который изда-лека видит того, кто этот достаток уважает.

И сложились бы все по-иному, все равно в подлунном мире не избежать ни плохого, ни хорошего. Пока человек варится в своем котле, не очень-то он ломает себе голову о соседе, случись же ему попасть в стеснительное положение, тут же начнет внимательно оглядываться вокруг, нет ли кого поблизости, кто мог бы его выручить.

И все, попавшие в затруднительное положение, нюхом чуяли, что Мара, стоит ей только захотеть, могла бы протянуть им руку, ну там с сотней-другой, кому, чтобы купить пару волов, кому на ремонт дома, или потому, что подошел срок платить аренду за виноградник, или потому, что объявили торги на земельный участок, — всего лишь до осени и под хорошие проценты, вполне понятно.

— Нету у меня, — отказывала Мара. — Откуда мне взять?

На этом можно было бы разговор кончить, но проценты... Пусть и небольшие, а все-таки польза.

— Слушай! — продолжала она. — Кое-что у меня найдется, но не столько, сколько просишь. Но я знаю человека с деньгами. Займи половину у меня, половину у него.

Этим человеком был господин Антон Хубэр, городской эконом в Липове, добрый приятель всех чиновников, друг немецкого пастора и матери Аеджидии.

Хубэр был мясником, но давно уже не знал, что творится в мясном деле. Это была забота его жены и сына Нацла, еще юноши, но благоразумного и трудолюбивого, который вел все хозяйство с помощью двух работников. Сам же Хубэр проводил целые дни или в городском управлении, или в казино, или играя в карты с пастором и господином Любичеком, директором школы из Штайеранта.

Будучи женщиной рассудительной, Мара знала, что никогда не потерпит урона в деньгах, если будет водить дружбу с господином Хубэром. Зарабатывала она при этом, что греха таить, меньше, чем можно было, но от этого голова у нее не болела, потому что все равно ей что-то перепало за заботы, когда должник являлся рассчитываться, а самое главное

потому, что она не боялась, что Хубэр отнимет у нее аренду моста.

По мере того, как росли дети, увеличивались и чулки.

О, господи, как же все растет в этом мире.

Как будто вчера только отдала она Трикз на четыре года в ученье, и вот он уже подмастерье. Парню пятнадцать лет, он немного расхлябанный, зато высоченный, как гренадер, немного леноват, зато преисполнен других достоинств. Один только грех: неделя минует прежде, чем он соизволит умыться и причесаться: слишком твердо себе усвоил, что делается это только по воскресеньям и королевским праздникам после обеда и то в тех случаях, когда погода не позволяет выкупаться в Муреше.

Бедная Персида приходила в ужас, когда встречалась с братом на пасху или на рождество.

У себя в монастыре она настолько привыкла, чтобы все вокруг, до чего ни коснется взгляд, блестело чистотой, что с ней приключалось что-то вроде болезни, когда она на праздники приходила домой и три дня подряд без передышки занималась уборкой, наводя в доме чистоту от чердака до погреба.

Эта болезнь привязалась к ней потому, что в монастыре она жила не вместе с другими девушками, а с матерью Аеджидией, у которой начиналась мигрень, когда она видела пыль на столе или стул, стоящий не на своем месте.

Пока дочка жила дома, Мара, сама не зная почему, все время ходила с мокрыми глазами.

Уж слишком не похожа на нее была дочка, так что Мара и не знала, что с ней делать. Персида выросла высокая, широкая в плечах, полная, а вместе с тем стройная и тонкая в талии. Круглое, как полная луна, лицо ее было чистым, словно цветы черешни, и белым той белизной, сквозь которую редко-редко проступает чуть заметный румянец.

Нет! надолго это не останется! Мара знала, что красота приходит и уходит и что минует она со вздохом сожаления, и ей бы так хотелось заколдовать свою дочку, чтобы она осталась навек неизменной, а люди при виде ее всегда поражались и восклицали: «Была некогда Мара, а это ее дочь; таких детей, как у нее, ни у кого не было».

И все же она хотела бы скрыть Персиду от людских

глаз и часто вздрагивала при мысли, что кто-нибудь умыкнет ее, возьмет ее за руку, уведет ее, заставит забыть мать, сделает своей женой.

Думай не думай, а иначе и быть не может — такой уж смысл жизни в этом мире.

И другие страхи мучили ее, заставляя среди ночи вскакивать с постели и думать: не побежать ли за Муреш, не привести ли дочь домой.

Она наслушалась разных историй о красивых девушках, соблазненных монахинями постригом и проводших всю свою жизнь среди стен, скрывающих разные тайны. А ведь Персида любила мать Аеджидию, Персида чувствовала себя в монастыре как рыба в воде, Персида чувствовала себя несчастной, когда приходила в ее бедный дом.

Несчастливая мать!

И как она будет держать в своем доме такую девушку?

Во время всего великого поста перед пасхой Мара наводила в доме порядок, мыла, чистила, белила и перебеливала. Она выскребла весь дом, переменяла перед ним ограду, купила сначала стол, потом стулья, после этого разорилась на две новые кровати, приобрела шкаф и даже три иконы. Сердце у нее обливалось кровью, когда она выбрасывала скопленные с таким трудом деньги на все эти безделки, в которых не чувствовала никакой необходимости. Но ее сын стал уже подмастерьем и намеревался отпраздновать пасху вместе с сестрой и матерью, а она, в свою очередь, поджидала детей, которые уже не были горемыками, как некогда, и надеялась, что Персида будет чувствовать себя хорошо в родном доме.

Бедная мать!

Пока она с волнением готовилась к встрече с детьми, волнение жизни охватило ее дочь.

На углу улицы, напротив монастыря, располагалась мясная лавка Хубэра.

Хубэроайя, женщина маленькая и полноватая, обычно сидела на стуле в глубине лавки, а ее сын Хубэрнацл, рубил и взвешивал мясо, потом получал деньги и передавал матери, у которой была касса.

Когда поток покупателей редел, Хубэрнацл занимался уборкой, сметал веничком мясные и костные крошки и, если погода была хорошей, выходил на улицу, чтобы лучше рассмотреть, каков он, белый свет.

Хотя Хубэрнацл и был мясником, на вид он выглядел хрупким и был похож скорее на девушку, чем на юношу.

Было ему около двадцати одного года, усики едва пробивались, румянец пылал во всю щеку. В чистом фартуке, легко смущающийся, он был похож скорее на пирожника, чем на мясника. Трудно было поверить, что он сможет свернуть шею живому воробью.

Впрочем, так оно и было.

Если он валил быка, ударив его обухом по лбу, и вонзал нож прямо в сердце, то таково было его ремесло. Однако он не был в состоянии произнести дурное слово и расстраивался до слез, если видел свою мать огорченной.

Таким вырастила его Хубэроайя, у которой он был единственным сыном, единственным близким человеком на свете.

Швабка¹ из Буды, она рано вышла замуж за Хубэра, венца, человека деятельного, веселого, но вспыльчивого. Вскоре после свадьбы они перебрались в эти места, где у них не было ни единой родной души. Пустив в дело приданое жены, Хубэр за несколько лет, а особенно во время революции 1848 года, сколотил кругленькое состояние. Но еще лучше дела у него пошли после революции, когда Хубэр как немец, да еще из Вены, оказался в чести и дом его стал считаться в городке одним из первых. Но именно это и послужило причиной несчастья Хубэроайи: в мясной лавке осталась она одна с приказчиками, а мужа стала видеть едва лишь по праздничным дням, когда он приглашал к себе в дом местных чиновников. Одним утешением для нее остался Нацл, который и вырос возле вечно грустящей о чем-то матери, и с раннего детства ощущал, что в доме не все благополучно.

А если бы все было по-другому, то он не стал бы и мясником.

Отец его отдал в гимназию в Тимишоаре, где он проучился четыре года и все время шел одним из первых. На пятый же год, после пасхальных каникул, он не вернулся в гимназию, а остался дома в мясной лавке при матери. Так он сделался мясником, хотя вовсе не огрубел от этого, и когда в чистом фартуке выходил на угол улицы, то невольно думалось, что фартук этот он надел, чтобы просто его примерить.

Год за годом стоял он здесь, на углу, и никто не смотрел на него из окон через дорогу. И верхние, и нижние

¹ Швабы — здесь: немецкие колонисты, поселившиеся в Банате и Трансильвании в XVIII в.

стекла этих окон были побелены известкой, так, чтобы через них ничего не было видно. Впрочем, через них никто и не смотрел, никто и не открывал их, поскольку было известно, что и смотреть-то не на что.

Само здание монастыря кончалось как раз напротив мясной лавки, а дальше, в левую сторону, начинался монастырский сад, окруженный высокой каменной стеной. Окна, выходившие в сад, открывались, а уж весной так и оставались распахнутыми целыми днями. От лавки, по правде говоря, этих окон не было видно, но Нацл мог бы их увидеть, если бы сделал несколько шагов влево и встал перед садом.

В один прекрасный день, когда окна были распахнуты, вдруг поднялся ветер, окно угловой кельи, где сидели мать Аеджидия и Персида, с треском захлопнулось и посыпались стекла.

Нацл пошел взглянуть, что там произошло, и увидел, но не осколки стекла, а девушку, которая показалась ему необычайно красивой.

Что и толковать, красивой она могла и не быть, достаточно, что таковой она показалась юноше, а все, что видится сквозь окна женского монастыря, окружено тайной и обладает особым очарованием. Сквозь них и старуха кажется молодой, и уродина красавицей, а вещи, как известно, всегда такие, какими мы их видим.

Но случилось так, что Персида, подбежавшая к окну взглянуть, что же там случилось, была и моложе, и красивей, и очаровательней, чем Нацл в состоянии был вообразить.

Он застыл пораженный, сердце его замерло, глаза заволокло туманом.

Ему показалось, будто что-то сломалось, лопнуло, оборвалось и вдруг, словно огромное несчастье, обрушилось ему на голову.

Персида, совершенно растерявшись, стояла перед разбитым окном и даже не заметила, как подошла мать Аеджидия, чтобы посмотреть, какой урон причинил ветер.

Женщина более опытная и умная, к тому же монахиня, мать Аеджидия вздрогнула, увидев через дорогу Нацла, сына Хубэроайи, который не сводил глаз с окна. Она знала его почти с пеленок, всегда считала самым разумным мальчиком, и вот на нее нашло как бы затмение, когда она увидела, что юноша ведет себя неподобающе дерзко.

— Сиди! — недовольно произнесла она и схватила девушку за руку, чтобы увести ее от окна.

Но этим она только испортила дело, потому что теперь и Персида заметила юношу в чистом фартуке, краснощекого, с маленькими усиками, и поняла, из-за чего этот юноша стоит на тротуаре.

Кровь прилила к ее лицу, а сердце словно пронзила стрела.

Только всего и было, ни больше ни меньше, а девушка уже не могла вновь стать такой, какой была до этого.

Великая и непостижимая для человеческого ума тайна!

Только всего и было, а мысли девушки все время обращались к разбитому окну, к тому прекрасному весеннему дню и к юноше, что стоял там, через дорогу, и смотрел такими удивленными глазами, что казалось, забыл дышать. Она теперь боязливо входила в келью, вздрагивала, когда приближалась к окну, и тяжело вздыхала, если никого не видела на улице, она потеряла покой, нигде не находила себе места и все время отыскивала себе такие дела, чтобы не выходить из кельи.

Никто ей ничего не сделал, никто ничего не сказал, ничего она не знала и ни о чем не думала, и все же, словно громом в нее ударило: душа у девушки вдруг забилась, будто сама она захотела от чего-то спрятаться, убежать и скрыться на дне моря.

Спустя два дня, когда она вновь увидела юношу там же, через дорогу, она застыла и не могла отвести от него глаз. Казалось, что нашел на нее какой-то морок.

По улице шли люди, и если бы они на него удивленно не поглядывали, то она так бы и осталась стоять у окна и смотреть на него. Но юноша повернул назад, к той части здания, где никогда не открывались окна.

Не открывались, но могли открыться. Да! Да! Если не разрешается открывать, то это не значит, что открыть их невозможно!

— Захочу и открою, — твердила Персида про себя. — А до остального мне дела нет!

А в чем же все-таки дело? Разве она делает кому-нибудь плохо? Или это грех — открывать окна?

— Пусть он знает! — сказала она и, решительно повернувшись, распахнула окно, выходившее прямо на мясную лавку, и застыла в нем, высокая, стройная, с ясным лицом.

У Нацла, который стоял у дверей лавки, даже мурашки побежали по спине, так он разволновался.

Он невольно поднес ко рту левую руку и сделал ей знак, чтобы она закрыла окно, потому что прохожие смотрят.

Он побаивался молодой женщины, стоявшей там, наверху, в окне.

Никакого греха в этом не было, и зла Персида никому не причинила, и все же ей было чего-то стыдно, и не могла она смотреть в глаза матери Аеджидии, не могла и не хотела больше приближаться к окну.

Она чувствовала себя так, словно лишилась ума, но это вскоре прошло.

Конечно, это была неслыханная шалость, которой она стыдилась, и многое бы дала за то, чтобы и юноша не заметил, как она раскрывала окно.

Но, в конце концов, зачем же она его открывала? Ведь только ради того, чтобы показать, насколько он ей безразличен, что если она захочет, то может открыть окно, а если захочет, то и закрыть, ради того только, чтобы посмеяться над ним.

Ей бы хотелось написать все это на клочке бумаги и бросить ему эту бумажонку, когда он будет стоять против ее окна.

Но Персида не посмела это сделать.

Жизнь в монастыре стала невыносимой. Здесь Персида была одна-одинешенька, и сердце у нее билось быстрее и громче при мысли, что через несколько дней она выйдет отсюда и снова будет дома вместе с братом, ее Трикэ, который теперь уже не ученик, а подмастерье и вообще настоящий мужчина, с которым можно поговорить.

Как радовалась Персида страстной субботе, когда должен был прийти Трикэ и отвести ее домой.

Как он вырос! Волосы он только что подстриг, а одет был с головы до пят во все что ни на есть новехонькое. Правда, костюм ему был широковат, а рукава сюртука доходили до самых пальцев, но зато совершенно не пахло барахолкой, как это бывало раньше.

Трикэ, хотя и был облачен в новый костюм, чувствовал себя перед сестрой стесненно, она была и старше его, и красивее, и вообще чем-то превосходила Милену Клаич, которую уже просватали за студента-теолога.

Трикэ не видел Персиду целый год и теперь как-то не решался признать ее за сестру.

— Трикэ, дорогой! — воскликнула она, протягивая ему руку.

— Я,— запинаясь пробормотал он,— я пришел, чтобы мы пошли домой.— Он не знал: поцеловать ей руку или нет и можно ли говорить ей «ты». Когда они вышли на улицу, он постеснялся идти с ней рядом и шел чуть-чуть позади нее.

К мосту вели две дороги: можно было повернуть налево, а можно было и направо.

Персида знала, что дорога налево короче, но она даже и не задумалась, а как-то сама собой повернула направо, в сторону мясной лавки.

Еще одно озорство!

Прямо перед лавкой Персида перешла улицу, чтобы повернуть за угол. В этот момент глаза у нее заволкло туманом, и она почувствовала что-то вроде легкой тошноты. Ей было стыдно, стыдно-престыдно. Казалось, ее собственные глаза видят, как вся кровь бросилась ей в лицо.

Нацл в это время рубил бычьей ногой, но когда Персида появилась на улице, а потом свернула прямо к лавке, взгляд его стал растерянным и топор в руке дрогнул. Хубэроайя поднялась со своего места и даже подошла к двери. Служанка, которая явилась с корзинкой за мясом, тоже удивилась, а на другом углу, на противоположной стороне улицы, разинув рот, застыл какой-то старик.

Персида шла словно сквозь полыхающее пламя. Трикэ же в двух шагах от нее шел совершенно спокойно, подняв голову.

— Трикэ! — попросила она, когда они миновали мясную лавку.— Иди побыстрее, не оставляй меня одну.

— Красивая, змея! — произнесла Хубэроайя.— Чья же это будет? Мне кажется, что я ее где-то видела.

Нацл пожал плечами. Что и говорить, он-то знал, где он видел девушку, но вот чья она, этого он не знал.

— Она из монастыря,— отозвалась служанка.— Наверно, в окошко ее и видали.

Щеки Нацла, и так румяные, покраснели словно пионы.

— Нет,— возразила Хубэроайя,— окна там не открываются.

— Вы видели? — воскликнул господин Береки, старичок с противоположного угла, который успел перейти улицу и теперь стоял перед входом в лавку.

— Чья она?

— И вы еще спрашиваете? Да она вылитая мать!
— Правда, правда! Это дочка Мары! — проговорила Хубэроая сначала удивленно, а потом разочарованно.

Ей хотелось сказать: «Какая жалость!», но она промолчала. Она даже слегка растрогалась при мысли, какое это все-таки несчастье: быть такой красивой и свежей и быть дочерью Мары, торговки и арендаторши моста.

Совсем по-другому подумалось об этом сыну. Сначала и он был поражен, но потом ему захотелось бросить топор куда подальше, оставить лавку на попечение матери, а самому бежать за дочерью Мары и свернуть шею любому человеку, если он осмелится к ней приблизиться.

Но в этом не было необходимости, потому что Персида была не одна и молодой человек, шагавший с ней рядом, прекрасно все видел и при необходимости сам бы сумел свернуть шею кому угодно.

Одного только никак не мог взять в толк Трикэ: почему женщины, мимо которых они проходили, все без исключения, даже самые маленькие девочки, искоса смотрели на его сестру, а потом поворачивали головы и смотрели еще и в спину.

Зато все это прекрасно понимала его мать, которая так и горела нетерпением отправиться завтра вместе с дочерью в церковь, а после обеда прогуляться по Липове или, ей пришла в голову блестящая мысль, проводить Трикэ в Арад и погостить там день-другой у Клаича.

Что поделаты! Тяжкое это дело, иметь дочь на выданье, особенно если целый день торчишь на мосту и собираешь для нее же крейцеры. Девушки хотят, чтобы их выводили на люди, чтобы они были на виду, чтобы шла о них молва, чтобы можно было поймать свое счастье. И Мара как будто чувствовала, что здесь, где Персида выросла, где все знают ее с пеленок, здесь-то ей своего счастья и не сыскать.

Но девушка пришла домой, и мать уже не знала, что и думать.

Все было совсем не так, как ей представлялось.

Персида радовалась, что она снова дома, была ласкова, но не заметила никаких перемен в доме и вокруг него.

Напрасны были траты, напрасны усилия и хлопоты, потому что Персида как будто только и видела что развалившийся сарай да навоз на дворе, а на прибран-

ный, аккуратно огороженный двор, на только что побеленные стены даже и не взглянула. Когда же Персида вошла в дом и увидела мебель, купленную только из любви к ней на скопленные с таким трудом деньги, она только нос сморщила, как будто ее это и не касалось.

Еще больше она скривилась, когда Мара заговорила о церкви.

— Господи! — воскликнула она. — Да что нам делать в церкви?

Сердце Мары словно сдавили ледяные тиски.

В ее представлении воскресенья и праздники всегда были днями, когда люди ходят в церковь. А теперь, когда установились немецкие порядки, и подавно: с первым ударом колокола при входе в монастырь корзины нужно было убрать, палатки свернуть, площадь очистить. А с третьим ударом только тот, кто дышал на ладан, мог отсутствовать в церкви.

Что и говорить, Персида тоже пошла в церковь, но была она какая-то задумчивая и вела себя стесненно, словно чужая среди чужих, и все окружающие смотрели на нее как чужие, от чего у Мары вновь заledenело сердце и радость больше к ней не возвращалась.

Все угнетало ее, порождая нестерпимую мысль, что монахини переманили дочь на свою сторону.

А Персида испытывала непреодолимый страх перед людьми. Она видела, вернее чувствовала неуловимым чутьем, что люди, глядя на нее широко открытыми глазами, судят ее, и сердце ее сжималось, словно она стояла перед дверьми в лавку Хубэра. Ей было стыдно, как будто по лицу ее можно прочесть все, что с ней произошло, она боялась неведомо чего и не знала, как ей поступить, как держать себя, как нести голову и что делать с собственными руками.

С таким же чувством отправилась она после полудня в Липову. Она шла словно осужденная на казнь, но шла и улыбалась, потому что воспитала ее мать Аеджидия, которая не уставала повторять:

— Смейся, когда тебе хочется плакать, и плачь только тогда, когда видишь, что плачут другие.

С тяжелым сердцем, вздрагивая на каждом перекрестке, где могла бы столкнуться с человеком, которого ей не хотелось бы встретить, Персида шла выпрямившись, высоко подняв голову, готовая встретить холодным взглядом любого, кто осмелился бы взглянуть на нее.

Из-за всего этого Персида пришла домой усталой. И хотя она так боялась, как бы не повстречаться с Нацлом, дома она была вне себя от того, что его не встретила, а стало быть, не прошла мимо него равнодушно, выпрямив стан и гордо подняв голову.

Она чувствовала себя разбитой, раздраженной и не знала, что ей делать дома.

Была лютеранская страстная суббота, через неделю начиналась лютеранская пасха, и только через две недели должна была наступить православная румынская. Персиде даже дурно стало, когда она подумала, что только в четверг после пасхи она вернется снова в монастырь. А что же ей делать до той поры здесь, где ей вовсе нечего делать?

Мара видела, что дома девушке делать нечего и что она томится от этого. Она ходила с ней и на вечернюю службу, и к заутрене, но напрасно стала звать дочь к ранней заутрене в субботу или в Липову и в церковь Марии Радны: девушка пожелала остаться дома.

Дни, однако, стояли ясные. Муреш, как и в былые времена, наполнился от талых снегов и медленно тек вниз по долине. Леса еще не зазеленели, но сливовые сады стояли в цвету, трава курчавилась, а вербы, ракиты и ивы были усыпаны «кошачьими лапками». С гор дул весенний прохладный ветерок.

— Пойдем собирать фиалки,— предложил Трикэ, которому обидно было терять такой прекрасный день, тем более, что это был первый день немецкой пасхи.

— Если возьмешь...— нехотя ответила Персида.

Они отправились в сторону Шоймоша, где на холме высились развалины старинной крепости, в те места, которые были знакомы им с детских лет.

День был и в самом деле прекрасный. Сердце ширилось при виде брызнувших листьями почек, а от ласк ветерка, пробегавшего над юными цветами, в жилах быстрее струилась кровь.

— Знаешь что? — предложила вдруг Персида. — Давай пойдем к Липове. Помнишь, как красиво было там, повыше виноградников? А сколько фиалок там было!

Уж если говорить по правде, то красивее было здесь, хотя и там тоже было красиво, впрочем, сейчас красиво было повсюду.

— Пойдем, если хочешь,— согласился Трикэ и повернул в долину. Потом они перебрались через Муреш, не подвергая как когда-то свои жизни смертельной

опасности и даже не заплатив ни крейцера, и направились к Солонице, чтобы оттуда подняться над Липовой.

— Давай пройдем через город,— предложила Персида,— так быстрее.

Конечно, так было не быстрее, но, в конце-то концов, и через город можно было выйти туда же.

Бедная девочка!

С замирающим сердцем шла она по городу и окончательно потеряла всякую надежду, увидев перед собой последние домики. Ей так хотелось сказать, что они выбрали неверный путь и нужно вернуться обратно, чтобы выйти на дорогу у Солоницы. Но это было невозможно.

— Да, — проговорила Персида, когда они поднимались среди виноградников,— все-таки у Шоймоша красивее.

— Конечно, красивее, и я так думаю! — отозвался Трикэ, который всем сердцем тянулся к тем местам, где он провел лучшие дни своего детства.

Да! А на лугу выше виноградников было много других людей, которые тоже явились сюда за фиалками и ради того, чтобы полюбоваться с холма Мурешом и широкими просторами. Персида отважно стала карабкаться еще выше.

Она забралась на самую вершину, нарвала цветов, потом опять через город вернулась к мосту, смертельно усталая.

Хубэрнацл, тоже смертельно усталый, возвращался из Радны, где всегда было красиво, а особенно весной.

Если бы он шел не по мосту, он мог бы свернуть вправо или влево; но здесь можно было идти только вперед, прямо в огонь, который совершенно неожиданно вспыхнул на его пути. Этого только ему и не хватало! Как ему теперь идти? Как ступать? Куда девать свои руки? Как смотреть на нее? Снять ли шляпу или сделать вид, будто он ее вовсе не знает?

Увидев Нацла, Персида вздрогнула, выпрямилась и гордо подняла голову. Усталость как рукой сняло; она почувствовала себя такой легкой, что могла бы и полететь. У нее кружилась голова при мысли, что и он ходил в Радну за весенними цветами. Проходя мимо Персиды, Нацл повернул к ней свое открытое лицо и улыбнулся, словно давним и добрым друзьям, и Персиде, и ее брату, потом приподнял шляпу и поклонился как благовоспитанный молодой человек, на что Персида, хотя и чувство-

вала себя уязвленной, вынуждена была ответить кивком головы.

— Кто это такой? — спросил Трикэ приглушенным голосом.

— Кто такой? — ответила Персида. — Хубэрнацл.

— Откуда ты его знаешь?

— Я его не знаю, это мама знает.

Трикэ обернулся.

— Так! — произнес он. — Значит, это Хубэрнацл.

Мара тоже почувствовала себя чрезвычайно польщенной, когда Хубэрнацл дважды поклонился ей, идя в одну сторону, а потом обратно, и не так, как делал это обычно. Польщенной она себя почувствовала и сейчас, когда увидела, как учтиво сын Хубэра приподнял шляпу, встретив ее детей.

Но по-настоящему порадоваться всему этому ей не пришлось, потому что вечером Персида вновь была беспокойна, опять не находила себе места и в конце концов глубоко о чем-то задумалась.

В душе у Персиды творилось что-то такое, о чем она не могла рассказать никому, и вовсе не потому, что стеснялась, а потому, что сама не знала, что же с ней происходит. Она боялась сама себя, чувствуя, что порой на нее находит непреодолимое желание бежать неведомо куда и сотворить неведомо что. Тысячи и тысячи препятствий, несчастье за несчастьем, потрясение за потрясением, жизнь, полная нужды и горя, — все это она предчувствовала и как будто знала, как это бывает.

— О, боже! — вздохнула она растроганно. — Как хорошо в монастыре! Как счастливы монахини!

Мару даже затрясло от этих слов.

— Тебе там нравится, потому что ты привыкла к монахиням, — заговорила она. — Но ты еще увидишь, что и за монастырскими стенами тоже неплохо.

Больше Мара ничего не сказала, но твердо решила отвезти девушку в Арад, отвезти обязательно и держать там, как можно дольше, чтобы она привыкла к людям.

Глава V МОЛОДЫЕ ГОДЫ

— Снова что-то случилось! — сказала про себя Гретл, служанка Хубэроайи.

Хозяин ее не встал сразу же из-за стола, как это обычно бывало, а сидел и разговаривал с хозяйкой,

и разговор этот длился уже давно, что ничего хорошего не сулило.

Служанка несколько раз входила в дом, чтобы убрать со стола, но каждый раз заставляла одну и ту же картину: хозяин с трубкой во рту сидел на одном конце стола, хозяйка на другом.

Хотя Хубэру исполнилось сорок шесть лет и был он человеком деловым, однако вид у него был такой, что его никак нельзя было признать за отца Нацла, дело не в том, что белокурый, худощавый и краснощекий, он выглядел куда моложе своих лет, а в том, что во всем его облике было что-то легкомысленное, почти озорное. Рот у него был выкроен специально для улыбки, глаза лукаво поблескивали, и многое, что для остальных людей представлялось важным, ему казалось пустяком. И хотя он очень дорожил дружбой со священником, с чиновниками и офицерами, однако частенько позволял себе выпивать и с людьми, не имевшими никакого веса, даже с собственными работниками, чего его сын никогда бы себе не позволил. Это и было, пожалуй, главной причиной того, что у Хубэра не было доброго взаимопонимания с супругой, женщиной твердой, немного заносчивой и непреклонной.

Сказать, что они часто ссорились, было нельзя, потому что он смеялся и отпускал шуточки, когда она пыталась его уколоть. Она, вполне понятно, раздражалась еще больше, и кончалось все это обычно слезами. На этом прекращались всякие разговоры, потому что он подходил к ней, начинал ее ласкать и уговаривать, чтобы она не делала глупостей, поскольку такой жены, как у него, нет ни у кого на свете — и мир сразу же восстанавливался. Редко случалось так, что он, выйдя из себя, бил посуду или колотил жену. Но после этих случаев он всегда умел ее утешить и все уладить миром. Хубэр никогда не выходил из дома, прежде чем не убеждался, что там все в порядке. Потому что не мог спокойно развлекаться, если знал, что придется возвращаться домой раньше времени.

И на этот раз Хубэр смеялся, а жена еще не дошла до слез, хотя ей и очень хотелось разрыдаться.

У нее было сразу два несчастья.

Накануне, в вербное воскресенье, мать Аеджидия собственной персоной остановила ее при выходе из

церкви и рассказала, — какой позор! — что Нацл стоял разинув рот перед окнами, глаза на дочку Мары.

Это показалось ей настолько важным, что она не сразу решилась рассказать самому Хубэру, который уделял столько внимания монастырю и особенно матери Аеджидии. Целый день после обеда она просидела в доме одна и все думала, какое сделать сыну внушение.

К ее великому удивлению и страху, который все рос и рос, сын ее не вернулся ни в сумерки, ни вечером, ни ночью, а только на рассвете будущего дня.

Она сидела, ждала его, волновалась, думала и передумывала невесть что и плакала, как плачут матери, когда видят, как их дитя вступает на греховный путь, и не знают, как остановить его и вернуть обратно.

А ее муж, отец мальчика, солидный мужчина, смеялся и только приговаривал, что все правильно, и хорошо, что сын их будет человеком, как все люди.

Разве могла бедная женщина удержаться и не рассказать и о другом несчастье?

И она упорно втолковывала мужу, что смеяться тут вовсе не над чем.

В конце концов он, действительно, перестал смеяться.

Можно понять, что Хубэра не вывести из себя тем, что его сын глазеет в чужие окна. Девицы есть девицы, — как он говорит, — а парни для того и существуют, чтобы за ними бегать. Но эта-то девица, — дочь Мары! Ах, и это его не трогает! В конце концов причиной всему безумие молодости. А оно уходит неведомо когда и почему так же, как и приходит. Но что их мальчик, может быть, и не станет никогда рассудительным человеком? Такое ему в голову не приходит.

Мальчик вынужден думать о доме, и поэтому он всегда такой мрачный.

А сам Хубэр чувствует себя спокойно и беззаботно с тех пор, как все заботы о лавке переложил на сына. Но хозяином-то все равно остается он, потому что Нацл считается приказчиком, хотя отец и многое бы отдал за то, чтобы избавиться от всяких забот и сделать сына хозяином мясной лавки.

Однако пока это невозможно.

Поскольку в Липове было всего два мясника, они входили в цех кожевников, которые тоже резали вес-

ной ягнят, осенью баранов, а зимой от случая к случаю кололи свиней. А по цеховым правилам никто не мог стать мастером или хозяином, не проходив несколько лет в учениках, не отработав год у хозяина, который давал звание подмастерья или приказчика, и не совершив после этого двухгодичного путешествия.

Что и говорить, будь староста человеком сговорчивым, то дело, особенно для Хубэра, могло бы быть слажено и без всех этих проволочек. Но Боцьоакэ весьма гордился своим званием цехового старосты и ни за что не согласился бы на то, чтобы кожевники оказались ниже мясников, чтобы в угоду какому-то там мяснику были нарушены цеховые правила, которые так свято блюли кожевники. Да и Хубэр был не из тех людей, кто стал бы ломать шапку перед Боцьоакэ.

А парню, действительно, не мешало бы побродить по белу свету, посмотреть, поучиться и стать человеком с собственной головой на плечах. Хотя и Хубэру, а особенно Хубэроайе было бы очень тяжело расставаться с сыном, однако не оставалось ничего, как согласиться на это.

Хубэроайя даже обрадовалась. У них были друзья в Араде, Тимишоаре и в Лугоже; были родственники с ее стороны в Буде и в Познани, а у мужа — в Вене: куда бы ни отправился их сын, всюду для него найдется гостеприимный дом, а может быть, и невеста, соответствующая их состоянию.

На этот раз разговор закончился полюбовно, ибо муж и жена хотели одного и того же.

Нацл же был молодым человеком, а в молодости нет ничего более привлекательного и соблазнительного, как возможность погулять по белу свету, как душа захочет. Только теперь он по-настоящему почувствовал, что значит быть подмастерьем или приказчиком, а потому, не мешкая понапрасну, отправился сразу же после румынской пасхи к Боцьоакэ за разрешением на путешествие, чтобы, положив его в ранец, немедленно пуститься в путь.

В четверг после пасхи Боцьоакэ приложил цеховую печать к разрешению. Худой, высокий, он выпрямился перед юношей во весь рост и торжественно произнес:

— Вот, парень, бумага, подтверждающая твои права, и не забывай никогда, что ты должен беречь честь своего цеха. Будь усердным и послушным, честным и достойным доверия. Путешествуя, не теряй времени

даром, потому что в наш цех принимают только достойных людей. Да поможет тебе бог!

Так должен был говорить цеховой староста; так говорили ему, когда он получал разрешение на путешествие; так говорил и он всем, кто получал это разрешение из его рук.

Хубэр был этим весьма недоволен: как это какой-то Бочьоакэ смеет говорить подобные слова его Нацлу, сам же Нацл стоял перед Бочьоакэ смиренно, словно хотел поблагодарить за благожелательные советы, в которых он вроде бы действительно нуждается.

Но миновало и это, и на следующий день Нацл отправился в Арад, поглядывая на путников так, словно большой мир, куда он направлялся, принадлежал ему одному.

Был разговор о том, что пока он остановится месяца на два в Араде, здесь неподалеку, чтобы привыкнуть к жизни на чужбине.

Денег у Нацла было достаточно. Он и сам кое-что скопил, и отец ему дал, да и мать кое-что тайком вручила. Он бы мог выбрать любую гостиницу и жить по-барски.

Но Нацл был не таков.

Он считался подмастерьем, помощником мясника и был горд, что может поселиться в цеховом доме, где останавливаются только мясники, а не разный сброд — кто откуда.

В доме он встретился еще с тремя подмастерьями: один был немец из Тимишоары, другой — венгр из Дебрецена, третий — словак из Бикиша, а подмастерья из одного цеха, где бы они ни встретились, всегда приятели.

А когда встречаются приятели, они всегда рады посидеть, поговорить, пропустить рюмочку; Нацл же и по натуре и по обличию очень располагал к душевной беседе.

Новые друзья потягивали вино и разговаривали как люди, пустившиеся посмотреть свет, рассказывали, как живется в родных краях, и старались доказать друг другу, что нигде не живется лучше и приятней, чем «у нас».

Было уже поздно, когда Нацл, который выпил немного, но для него вполне достаточно, подпер голову рукою и задумался, в то время, как его друзья про-

должали разговор. Потом глаза его наполнились слезами.

— Эй, что с тобой?— спросил венгр.

— Вам этого не понять,— отвечал расчувствовавшийся Нацл.— Говори вам, не говори, вы все равно не поймете! Я и сам не в силах вам объяснить. Даже знай вы мою матушку, представляй, что она за мать, и тогда бы вы меня не поняли. Когда я уходил, она говорила, что рада этому, а я знаю, что теперь она плачет и будет плакать, не переставая.

Нацл сам всхлипывал, произнося эти слова.

— Это правда,— поддержал растроганный немец,— трудно расставаться с матерью!

— Особенно, если отец такой, как у меня — бессердечный человек! — совершенно невольно вырвалось у Нацла.

— Ничего, все пройдет! — пробормотал словак.

— А что мне говорить,— перебил его венгр,— если я оставил дома зазнобу, такой бутончик, что голова кругом идет, как только ее увидишь.

Нацл поднял голову и посмотрел на венгра. Ему хотелось взять графин и стукнуть его по голове. Зачем нужно еще и об этом напоминать?

— У меня,— медленно заговорил он,— никакой зазнобы нет, но девушки и у нас водятся. Нужно увидеть собственными глазами, чтобы понять, что такое девушка. Понял? У нас тоже девушки есть! — крикнул он и, схватив графин, грохнул его об пол.

Отпрыск Хубэроайи вошел в раж.

Что бы было, если бы ему стало ведомо, что по той же дороге и в тот же самый час прибыла в Арад и Мара со своими детьми.

Разница заключалась только в том, что остановилась она не в доме мясников, а в доме Клаича, где была очень радушно принята.

Голова у Мары была забита мыслями о дочери.

Отдавать Персиду к монахиням она уже не хотела, а дома ее держать не могла. Великое было бы дело, если бы удалось оставить ее в доме Клаича, конечно за небольшую плату.

Милена была невестой семинариста. Персида была девушкой более красивой и куда более умной, чем Милена, а что до приданого, то при необходимости она могла бы иметь и приданое побогаче, чем у Милены.

Никто не знает, где его подстерегает счастье!

У жены Клаича никаких соображений не было, но одна мысль пришла и ей в голову.

В Сан-Миклуэуше, здесь, за Мурешом, освободилось место священника, и Мунтяну, жениху Милены, делал все возможное, чтобы получить его. И вот теперь, до троицына дня, они должны были сыграть свадьбу. Милена вместе со своей сестрой Анкой работали не покладая рук, чтобы вовремя покончить с приданым, а Персида была настоящей мастерицей, когда брала в руки иглу и ножницы.

Было бы очень хорошо, если бы она осталась в городе до свадьбы и помогала девушкам.

— Боже ты мой! Это невозможно,— запричитала Мара,— ведь ей нужно возвращаться в школу.

То же самое говорила и Персида.

Но зачем возвращаться в Радну, если девушки так неотступно уговаривают остаться, а их мать даже проронила, что будет весьма признательна Персиде.

Мара вернулась в Радну, но вернулась одна, прихватив с собой, вполне понятно, чрезвычайно вежливое письмо для матери Аеджидии.

Теперь Персида пусть не плачет, что ей нечего делать. Кроме дочерей в доме Клаича жили еще четыре ученика, а из семи подмастерьев только двое жили своим домом. При этом Лена не держала служанки, а прибегала к помощи учеников и собственных дочерей.

В доме Клаича было так приятно, что Персиде, которая долгое время была правой рукой монастырской экономки, захотелось принять участие в общей жизни: она сновала везде и всюду, всем помогала, наводила порядок, поддерживала монастырскую чистоту.

Не нравилось Персиде только то, что за столом она должна была сидеть с подмастерьями, которые все время пялили на нее глаза. Однако таков был обычай в этом доме, и никому даже в голову не могло прийти, что может быть как-то по-иному. А если бы хозяин отказал подмастерьям в чести сидеть с ним за одним столом, то подмастерья вообще могли уйти от него.

Из-за Персиды и подмастерья чувствовали себя за столом несколько стесненно, и Бодрочану, самый толковый из них, прежде чем появиться за столом, вымыл руки, причесался и сменил сюртук. Другие последовали его примеру, словно это был праздничный день, и с тех пор так это и повелось.

Один только Трикэ не принял нового обычая.

Он прекрасно понимал, из-за чего так стараются все остальные подмастерья, и был чрезвычайно горд за сестру. Но вот поступать, как все, он не считал нужным, ведь он и без этого оставался братом Персиды.

Но по воскресеньям мылся и он.

Он знал, что Мунтяну приходит с кем-нибудь из приятелей и ведет девушек в церковь, и не мог позволить, чтобы сестра одна пошла вместе с ними.

Что и говорить, люди ходят в церковь, чтобы молиться, но, оказавшись там, глазают по сторонам, раскланиваются со знакомыми и ведут разговоры. Трикэ знал, что дочери Клаича из церкви никогда не возвращаются одни, и старался тоже быть среди тех, кто вместе с ними направлялся к дому.

О, боже! Какой счастливой чувствовала бы себя Мара, если бы видела свою дочь в окружении семинаристов, которые не решались даже приблизиться к ней, а уж если говорили, то говорили вполголоса. Но несмотря на это, Трикэ так и кипел про себя: хотя Персида и шла стыдливо рядом с братом, семинаристы вели себя чересчур нахально.

Если бы Хубэрнацл увидел ее сейчас, он был бы того же мнения, что и Трикэ. Однако он ходил в другую церковь и не знал, что стоило бы ему попристальнее оглядеться вокруг и он увидел бы ту, о которой страдало его сердце.

Дочери Клаича, хотя и были сербиянками, предпочитали ходить не в сербскую церковь, где не было семинаристов, а в румынскую, где так хорошо пели молодые богословы. Кроме того, румынская церковь, бывшая одновременно и кафедральным собором, находилась за городом на берегу Муреша. Таким образом, возвращаясь из церкви, можно было пройти через городскую рыночную площадь, а уже этого было вполне достаточно, чтобы проделать длинный путь до румынской церкви.

Здесь, возле рынка, находился францисканский монастырь с красивой церковью, единственной католической церковью в городе. После полудня, когда кончалась служба, площадь, на которой собирался весь город, просто расцветала, и стоило только посмотреть, как люди выходят из церкви, чтобы почувствовать, что сегодня праздник.

И на этот раз девушки остановились на площади, а Персида почувствовала себя как в Радне, где она так

часто наблюдала за людьми, толпившимися перед входом в церковь.

— Гляди-ка! А вон Хубэрнацл! — воскликнул Трикэ, как обычно восклицают, когда видят неожиданно человека, которого вовсе не думали встретить.

Персида вздрогнула.

Кто ей был этот Хубэрнацл? Человек, которого она видела мельком, да и то случайно, всего три раза в жизни, но сейчас, здесь, в толпе людей, которых она не видела никогда, он показался ей старым и добрым другом. Ей хотелось расплакаться, когда она заметила, что он уходит, удаляется, исчезает. Ей бы так хотелось окликнуть его, позвать назад, послать за ним Трикэ.

Она не сделала ни того, ни другого, но взгляд ее, растерянный и умоляющий, был устремлен ему вслед, и Трикэ, взглянув ей в глаза, растрогался, заметив, как они наполняются слезами.

— Побегу, — торопливо сказал он, — скажу ему, что мы здесь!

— О, господи! Ты с ума сошел? — ответила она. — Какое нам до него дело?

Боже милосердный! Если бы он шел ей навстречу, он бы почувствовал, что она на него смотрит, он бы наклонил голову и поздоровался с ней как тогда, на мосту, почтительно и вместе с тем весело.

— Кто это такой? — спросила Милена.

— Мясник из Липовы, — ответила Персида несколько пренебрежительно. — Сын одного маминого знакомого. А мы даже не знакомы, просто знаем друг друга в лицо.

Ну, какое ей до него дело?! Ведь пути их такие разные!

Так она думала, но не так чувствовала сердцем.

Этот юноша завладел ее сердцем в минуту слабости. Он знал что-то такое, чего никто, кроме него, не знал, и она всякий раз, когда думала о нем, испытывала жгучий стыд. Ей были ненавистны молодые люди, сопровождавшие ее. Ей хотелось, чтобы они оставили ее в покое, оставили совсем одну: ни до кого ей не было никакого дела.

Однако другим было до нее дело, а дом Клаича всегда был полон друзей Мунтяну, что нисколько не раздражало ни Лену, ни Мару, которая питала пристрастие к семинаристам.

Разговоры шли о свадьбе, о развлечениях, о счастливых днях, а по вечерам девушки и молодые люди танцевали, к великому неудовольствию Трикэ, который вынужден был принимать участие и в танцах.

Епископ решил, что в троицын день состоится рукоположение Мунтяну в дьяконы, значит, свадьба должна была состояться в воскресенье перед троицыным днем.

Анка и Персида были подружками невесты, и Лена сшила им одинаковые платья.

Дружками у жениха были: Кодряну, самый аккуратный из приятелей Мунтяну, а другой — о, господи! — другой был Трикэ! Он этого вовсе не хотел, но так пожелала Милена, так пожелала Лена, так повелела ему Персида, а Мара, узнав об этом, несмотря на всю свою бедность, купила ему черную пару и перчатки цвета голубиноного зоба.

Бедный парень, увидевший себя одетым таким образом, расхохотался как безумный. Ему захотелось скрыться с глаз людских, чтобы никто его не видал.

И Мара тоже начала, но не хохотать, а рыдать как безумная.

О, господи, как же не плакать, когда видишь своих детей взрослыми, такими красивыми, такими ухоженными, такими приличными, а Бырзовану, да простит ему бог, лежит в земле и не может взглянуть на них.

— Бедняга! — вздохнула Мара, вытирая слезы. — Добрый и достойный был человек! Теперь таких уже нету! Не по нему был этот свет!

И разве могла одна Персида оставаться неизменной и представлять, что весь мир — это ее отец Бырзовану, мать Мара, брат Трикэ и все прочие, кто повинутся ей?

Юное сердце создано для того, чтобы быть открытым, а сердце Персиды было юным. Да! Но дерзкой, словно избалованный ребенок, с улыбкой на устах и сияющими глазами, видел ее однажды один-единственный человек, Нацл, когда она стояла перед распахнутым окном.

Разве не побежал бы он в церковь на берегу Муреша, если бы знал, что снова сможет увидеть ее, как и тогда?

Но откуда ему было знать об этом.

Только после того, как окончилось венчанье и

длинный свадебный поезд тронулся с городской площади к дому невесты, Нацл, как и другие прохожие, остановился поглазеть, и первый, кого он увидел, был Трикэ. Потом он увидел Мару, Персида же в это время давно ушла вперед.

— Извините,— обратился он к стоявшему рядом господину,— кто здесь венчается?

Тот пожал плечами.

— Простите,— обратился он к другому,— куда направляется свадьба?

И этот пожал плечами.

Больше Нацл никого не спрашивал, а словно сам не свой поплелся, опустив голову, вслед за пролетками. Там, куда направлялись пролетки, он все узнает, все увидит собственными глазами.

И он, действительно, все узнал. Пока он брел, люди все уже вылезли из пролеток, а пролетки выстроились вдоль улицы, чтобы дать лошадям передохнуть, и в открытые ворота валом валил народ, которому все было известно.

Свадьба была в доме Клаича.

На широком дворе был раскинут шатер, крытый дубовыми листьями, украшенный при входе гирляндами цветов.

В шатре, во дворе и перед домом толклись пока еще трезвые гости.

Одни усаживались за столы, покоем поставленные в шатре, другие разговаривали, стоя посреди площадки между столами, но большая часть гостей, в основном молодежь, толпилась перед шатром, где оркестр играл традиционный свадебный марш.

Здесь был и Трикэ, все такой же долговязый, нескладный, но какой-то уже и другой: руки у него как будто стали еще длиннее и он все время задевал ими то одного соседа, то другого.

Мара собственной персоной восседала за столом в глубине шатра, но Персиды не было видно нигде.

И все же она должна была быть!

Нацл уже знал, что замуж вышла дочь Клаича, что Трикэ у него в подмастерьях, а до этого у него же ходил в учениках. Было бы вполне естественно, если бы Персида не приехала на свадьбу, она ведь жила в монастыре.

Однако вполне возможно, что и она была на свадьбе.

Но Нацл не мог больше задерживаться: хозяйка ждала его с обедом. Вот ведь досада: ему обязательно нужно уходить.

А Персида может быть здесь!

Нет! Это невозможно. Он обязательно должен по-пасть к обеду.

Ага! Все повернулись к дому. Идут невеста с жени-хом, а за ними...

Нацл отступил в сторону, чтобы его не было видно. Все-таки неудобно стоять, разинув рот, перед воротами чужого дома.

— Гм! — хмыкнул он.

Персида выглядела вовсе не такой, какой он встречал ее, гордой и несколько хмурой. Она была очень милой, застенчивой, беспомощной, она не знала, как держать за руку юношу, шедшего рядом с ней.

Она была сама красота, которая показалась всего на мгновение: Персида тут же скрылась в глубине шатра.

Нацл повернулся, бросился к уже свободным про-леткам и еле уговорил извозчика отвезти его, чтобы хозяйка не гневалась за опоздание.

А после обеда? — Ну, конечно, какие могут быть сомнения! — Ему хотелось получше рассмотреть ее. А между прочим, зачем? Какой в этом смысл? Нет! У во-рот он не может стоять.

Но и дома сидеть он тоже не мог.

Нацл, как обычно, отправился гулять.

А что будет, если он как бы случайно окажется перед домом Клаича.

Вот это верно!

Боже, какой шум, какое столпотворение, какое возбуждение: людей как будто стало больше вдесятеро. Одни танцевали во дворе, другие в шатре, всюду было полно народу, и Нацл ничего не увидел.

Он прошел мимо и через некоторое время вернулся обратно, и снова прошел мимо, и опять вернулся.

Больше так невозможно! То ему казалось, что на перекрестке стоит его мать, наблюдает за ним и хму-рится. То ему представлялась Персида, которая тайком посматривает, как он мечется, и смеется над его глу-постью.

Нацл зашагал решительно и быстро, но чем дальше он удалялся от дома, тем медленнее становились его

шаги, а на углу он и вовсе повернул обратно, но этот раз будет последний.

Музыка смолкла, танцы прекратились. Пожилые люди ублажали себя за столами, а молодежь толпилась во дворе: молодые люди вытирали платками пот, а их дамы обмахивались всем, что попало им под руку.

Персида все с тем же молодым человеком прогуливалась среди гостей, но теперь уже она не стеснялась держать его за руку и была смелой и оживленной.

Хубэрнацл почувствовал, что что-то в нем перевернулось: он одернул сюртук, подкрутил усики, потом, совершенно забыв о своей матери, протолкался сквозь толпу, собравшуюся у ворот, и, улыбаясь, предстал перед Персидой.

Персида, лишь только увидела его, выпрямилась, как свеча.

Ей почудилось, что Нацл вырос прямо из-под земли, и вместе с тем она чувствовала, что это так естественно, что он явился и стоит перед ней с дружеской улыбкой, как тогда на мосту.

Для нее все происходило как будто в другом мире, словно во сне, где все само собой разумеется.

— Я вижу, ты удивляешься? — спросил он, не поднимая больше шляпу. — Я увидел, как возвращаются из церкви твой брат и твоя мать, и решил, что ты тоже должна находиться здесь. Мы знакомы, — добавил Нацл, поворачиваясь к Кодряну, который смотрел на него несколько удивленно, — еще по Радне.

— О! — воскликнула Персида, смешавшись. — Один раз, это было давно-давно, я тоже видела, как ты выходишь из церкви, но ты даже не взглянул в нашу сторону и нас не заметил.

— Вот несчастье! — огорчился Нацл. — Я очень сожалею! Значит, вы не сегодня приехали.

— Я здесь с самой пасхи и останусь до осени.

— Как? Ты больше не вернешься в монастырь?

— Мы этого не позволим! — вставил Кодряну, чтобы что-то сказать.

Нацл никак не мог понять, хорошо он поступает или плохо. Сейчас, среди всей этой суеты, он чувствовал, что что-то нарушает, и потому ощущал себя чрезвычайно стесненно.

Трикс, который не сводил глаз с сестры, был необыкновенно весел. Заметив Нацла, он тут же побежал к матери: «Мама! И Хубэрнацл тоже пришел!»

Мара была весьма оживлена, но не понимала, то есть вроде бы понимала, но не желала знать, как это Хубэрнацл появился здесь и как это он ни с того ни с сего заговорил с ее дочерью. Значит, они были знакомы без ее ведома, у нее за спиной.

— Несчастье моей души! — произнесла она и встала, высокая, широкоплечая, тяжелая, и посмотрела в сторону молодых людей, как смотрит клуша на цыплят, чувствуя, что им грозит опасность.

Но Мара была из тех людей, которые говорят не только ртом, но и глазами, бровями, морщинами на лбу и руками. Взоры всех присутствующих сразу же обратились туда, куда смотрела она, и Нацл оказался раздавленным множеством взглядов, которые вопрошали: «Как ты посмел никем не приглашенный явиться сюда?»

Не хватало только, чтобы его увидела родная мать!

Какое невиданное нахальство. Он говорил неслыханные глупости.

Чего ему здесь надо? Чего он хочет? Каким ветром его занесло? Что, он придет сюда и завтра, и послезавтра?

Нацл выпрямился, выдержал все взгляды, устремленные на него, и направился прямо к Маре, которая не могла шагнуть ему навстречу, находясь по ту сторону стола.

Встав перед нею, Нацл с улыбкой приподнял шляпу.

— Случайно проходя по улице, — заговорил он, — я увидел вашу дочь и решил, что вы тоже должны находиться здесь. Я бы хотел обратиться к вам с просьбой.

Мара вся просветлела.

— Я слушаю! — отвечала она.

Все было так естественно! Как это сын Хубэра мог не знать ее дочери?

— Это, — продолжала Мара, обращаясь к отцу жениха, который сидел третьим от нее, — сын одного нашего хорошего знакомого.

Отец жениха кивнул, Нацл поклонился, потом снова обратился к Маре.

— Мама, — заговорил он, — должна приехать сюда на будущей неделе, потому что я после троицына дня собираюсь отправиться в Буду. Я вас прошу, если вы будете возвращаться домой, скажите ей, пусть она не приезжает, потому что я отбываю завтра. Я ей сам напишу, но лучше будет, если кто-нибудь ей скажет

об этом живыми словами. Скажите ей, пожалуйста, что вы видели меня, что у меня все хорошо, только я не могу больше ждать!

— Хорошо, хорошо! — заговорила Мара. — Я все передам. Как жаль! Она так будет жалеть! Что ж! — произнесла она после паузы. — Тяжело матери расставаться со своим ребенком, особенно если он один!

— Благодарю вас! — тихо произнес Нацл, потом пожал Маре руку, поклонился и, высоко подняв голову, снова вернулся к Персиде, которая разговаривала с Кодряну, словно ее ничего не касалось.

— Разрешите с вами попрощаться, барышня, — проговорил Нацл, протягивая ей руку. — Завтра я отправляюсь дальше путешествовать.

Ее похолодевшая рука застыла в его ладони.

— Куда?

— Сначала в Буду, потом в Познань, Вену и бог знает еще куда. Два года без пяти недель я должен бродить по свету.

Персида кивнула головой. Что она могла на это ответить? Очень жаль, что он явился сюда сегодня!

Персида даже в глаза ему не взглянула, не посмотрела и вслед.

И он тоже ушел и не оглянулся.

И что, в конце концов, связывало их между собой?

Глава VI ИСПЫТАНИЕ

Судьба не ползет, а летит на быстрых крыльях. Она подхватывает тебя, когда наступает срок, ни о чем заранее не предупреждая. Тщетно искать свою долю, ведь ее не найдешь. И напрасно бежать от нее, если она гонится за тобой; твоя судьба принадлежит только тебе, и если ты не знаешь ее, она тебя знает и никогда с тобой не расстанется.

Только смотри не прозевай, откуда появится твое счастье, будь всегда наготове, чтобы поймать его, как ласточка ловит мошку.

«Ну-ну-ну!.. — говорила про себя и Мара, замечая, что Кодряну непрерывно крутится вокруг Персиды. — А что? Девушка девицей, а парень аккуратный и сметливый, отец у него поп, дед протопоп, а через несколько месяцев и сам в попы выйдет».

Мара уже не была ни арендаторшей; ни торговкой, ни вдовой, оставшейся с двумя горемычными детьми. В праздничном наряде, надетом ради свадьбы, она держалась строго, говорила сдержанно и солидно, но, чтобы люди знали, кто перед ними такая, обмолвилась несколькими словами о хлопотах, какие доставляют ей ее обязанности.

Примерно как Мара думали и все остальные.

Люди видят, потом прикидывают и, сообразив, что к чему, составляют, в конце концов, мнение, которое и заменяет им истину: так единодушно было решено, что Персида и Кодряну подходят друг другу, словно один для другого и родились.

Ну кому же могла подойти Персида, как не Кодряну?

Как приходы не похож один на другой, так и духовные лица тоже разные люди. Большинство из них было бывшими певчими в церковном хоре, и они приехали в духовное училище, чтобы стать дьячками. Из духовного училища кое-кто попадал в духовную семинарию. Другие, уже получив сан дьячка и женившись, теперь явились с женами, чадами и домочадцами в Арад, чтобы подготовиться в священники и получить приход своего тестя. Немногие из них учились в гимназии, да и то лишь год-два. Будущие протопопы все кончали по восемь классов. Однако для всех самым важным было освободиться от военной службы, которая в те времена длилась двенадцать лет.

Что и говорить, можно было, конечно, откупиться или заплатить какому-нибудь добровольцу, чтобы он занял твое место, но это годилось для людей богатых, бедные же решали, что куда лучше поступить в духовное училище.

Кодряну стукнуло двадцать лет, когда он перешел в шестой класс, и ему ничего не оставалось, как с шестиклассным образованием вступить в ряды богословов, освобожденных от военной службы.

Хотя он и не был среди семинаристов одним из первых, все-таки тянулся к ним, недаром же он был внуком протопопа, на что и возлагал все свои надежды. Парень заносчивый и порядочный гуляка, он не ломал себе особенно голову, какое будущее его ждет.

Люди таковы, какими их создал господь бог, а поскольку священник есть душа, и власть, и честь села, то люди хотят, чтобы священник был из их круга.

И само собой понятно, что, когда умирает священник, его место занимает либо сын, либо зять, либо племянник.

А кто же лучше протопопы знает, где умер священник и оставил не сына, а дочь, к тому же красивую и с хорошим приданым!

Два года подряд Кодряну проводил каникулы и праздники в Бутень, где читал Апостол, пел на клиросе, чтобы местные жители признали его, а квартиру снимал у попадьи, где чувствовал себя прекрасно.

Это было известно, но человек предполагает, а бог располагает, и что поделаешь, если Кодряну чувствовал себя лучше рядом с Персидой, чем вдали от нее.

Странное дело!

Персида, девица юная, которую только что вывели в свет, смотрела на Кодряну с некоторой робостью и чувствовала себя весьма польщенной, когда он подходил к ней и затевал разговор. Хотя ему было всего двадцать три года, он представлялся ей человеком взрослым, весьма солидным, очень умным и чрезвычайно образованным. Она превозносила его в своем воображении столь высоко, что могла бы даже поцеловать ему руку.

Кодряну видел это и чувствовал себя польщенным. Хотя он вознесся в собственных глазах, к Персиде он приближался с некоторой опаской. Он видел, какая она высокая, видная, красивая и разумная. Он порой даже удивлялся, насколько она верно судит о людях, и не сомневался, что рано или поздно она оценит его совсем по-иному, чем сейчас. Но все-таки его влекло к ней. Три недели подряд, пока шла подготовка к свадьбе, их видели все время вместе, и люди воспринимали их как пару, без которой все дело не смогло бы идти как следует. А теперь, во время свадьбы, благодаря тому, что собралось так много народа, они частенько оказывались одни, поскольку на них никто не обращал внимания, а молодые люди, молодой человек и барышня, никогда не знают, куда они зайдут в своих разговорах, если оставить их одних.

Позднее, около полуночи, когда стало прохладно, они сидели под чистым небом на лавочке в палисаднике перед домом по другую сторону зеленого шатра. Танцы прекратились, танцоры остывали, прогуливаясь по двору, музыканты отдыхали, а в шатре продолжалась веселая и шумная суета.

Персиде хотелось плакать. С тех пор, как спустились сумерки, она все время страдала о Нацле. Кодряну тоже страдал, потому что Персида в своем страданье была несказанно очаровательна. При всем этом Персида никак не могла сдержать себя и все время отыскивала предлоги, чтобы как можно чаще быть наедине с Кодряну: она ощущала какое-то опьянение, от которого все ее существо как бы перевернулось, и ей хотелось, чтобы так это и осталось навсегда.

— Я заметил,— сказал, улыбаясь, Кодряну,— как ты изменилась в лице, как задрожал и прервался твой голос, как ты растерялась, не зная, как поступить и что сказать.

— Господи,— ответила она,— я так испугалась. И как тут не испугаться, когда вдруг как из-под земли является человек, с которым я в жизни ни разу не разговаривала, подходит прямо ко мне и затевает разговор, будто мы знаем друг друга с детства.

Кодряну это показалось совершенно невозможным.

— Я не верю, что вы между собой ни разу не разговаривали.

— Что поделать, если ты не веришь? — ответила Персида, пожимая плечами, и вновь представила, как она стояла перед распахнутым окном и дерзко, словно избалованный ребенок, смотрела на Нацла. Но об этом она никому на свете не могла бы рассказать.

Кодряну взял ее за обе руки и почувствовал: Персида не хочет этого. Руки были будто деревянные, холодные, безжизненные, так что ему захотелось как следует встряхнуть их.

— И несмотря на это, ты сожалеешь, что он ушел,— сказал он.— А когда он был здесь, ты совсем растерялась.

— Зачем мне отрицать? — отозвалась она.— Сама не знаю почему, но мне, действительно, жалко. У меня с ним ничего нет, но мне как-то грустно, потому что он выглядел таким огорченным, а я вроде была тому причиной.

Кодряну почувствовал, что дрожит.

— И ты говоришь так, словно мне до этого нет никакого дела!

— А какое тебе до меня дело?

— Мне больно! — воскликнул вдруг Кодряну с чувством, какого до сих пор не испытывал. Ему захотелось привлечь Персиду к себе, сжать ее в объятиях,

взять на руки и унести туда, где ее никто не увидит.

«Мне больно». Эти слова были произнесены так, что любая женщина, даже ребенок, поняли бы их смысл. Персида почувствовала себя страшно неловко. Ее руки начали дрожать. Ей хотелось высвободить их, но она боялась огорчить Кодряну.

— Господи! — произнесла она. — Что мне делать, если я не могу выразить то, что мне хочется, и говорю только глупости. Давай не будем больше говорить про него. У меня ничего с ним нет, и я не хочу знать про него! Говорю тебе — не хочу, поверь мне!

Кодряну растаял и растерялся.

Он вовсе не думал, что все примет такой оборот. Он начал ухаживать в шутку, чтобы провести время, но от шутки к шутке оказался в конце концов в таком запутанном положении, что не знал, как из него выбраться. Он уже сожалел, что взял ее за руку, ему было стыдно за свои собственные слова, но взять их обратно он не мог. В ее словах прозвучало такое искреннее сожаление, что Кодряну почувствовал себя глубоко растроганным и в чем-то виноватым. Не отдавая себе отчета, что делает, он поднял ее руку к губам и поцеловал.

— О господи! — испуганно воскликнула она. — Как вы можете так поступать?

Ей показалось, что звезды посыпались с ясного неба, ее душили рыдания, но встать и покинуть Кодряну она была не в состоянии.

— Это ты виновата! — глухо проговорил он.

Персида, хотя и совсем юная, была женщиной, а потому уловила смысл этих слов.

— Прошу тебя, пойдем, — сказала она тихо и настойчиво. — Пойдем! — повторила она, полная решимости никогда больше не оставаться наедине ни с Кодряну, ни с кем другим.

Вернувшись во двор, Кодряну тоже решил не оставаться наедине с Персидой. Он чувствовал себя так, словно играл с огнем и чуть было не сгорел.

Наедине они больше не оставались, но волей-неволей были все время вместе, постоянно думали друг о друге, чувствовали себя очень близкими и не могли помириться с мыслью, что вскоре, возможно завтра, им придется расстаться.

Персида была всем этим огорчена, особенно когда узнала, что Лена и Мара договорились, что Персида

останется до рукоположения Мунтяну, а потом на две недели с молодоженами отправится в Сан-Миклуэуш. Дома же, в Радне, делать ей было совершенно нечего.

Итак, она осталась, уехала в Сан-Миклуэуш, вернулась и снова стала жить в доме Клаича.

Ничего более худшего Мара придумать не могла, потому что таким образом молодая девушка, оказавшись в доме молодоженов, слишком часто оставалась одна и слишком много думала.

А потом явился Кодряну навестить своего друга, и Персида никуда не могла от него деться.

Нужно сказать правду, что она уже не превозносила его столь высоко в своих мыслях, как раньше, но все равно он для нее оставался выше других. Она чувствовала, что может сделать с ним все, что угодно, она знала, что он очень чувствителен, и ни за что не смогла бы ни сказать, ни сделать что-то такое, что рассердило бы его, она бы очень страдала, если бы его огорчила.

О боже, разве мог он остаться совершенно равнодушным к Персиде, видя ее такой разумной, такой хозяйственной, с таким покладистым характером, и чувствуя, как она жаждет полностью подчиниться его воле?

В его голове не могла даже зародиться мысль, что он может не посчитаться с волей родителей и особенно с волей деда, протопопы. У него не могло появиться никаких колебаний (и Персида тоже знала это) в отношении того, что осенью он должен будет жениться, получить сан священника и стать самостоятельным человеком. Ну, а до того? Почему бы не испытать удовольствия, какие только сейчас и можно получить, а потом они на всю жизнь станут запретны! Что их потом ему сможет возместить? А она что потеряет?

Ничего! Так думала и Персида. И хотя дело это было несомненным, Персида сомневалась день ото дня все больше и больше в том, что Кодряну осенью женится, о чем ей было хорошо известно. Она судила не умом, а сердцем, и ей казалось невозможным, чтобы Кодряну поправил это сердце.

Другие же, кто судил умом, тоже придерживались такого мнения, потому что люди судят так, как видят их собственные глаза. Общественное мнение не питало никаких сомнений, что Кодряну не станет зятем попадьи из Бутень, и Мара каждый вечер строила планы,

непрерывно торговалась сама с собою и соображала, как выйти из положения с наименьшими потерями.

Но разве могло случиться так, чтобы никакой слух не достиг деда-протопопа?

Окончились экзамены, миновали две недели каникул, а юноша все не возвращался домой. Именно теперь, когда нужно было торопиться, как торопятся другие, которые знают, что такое промедление, именно теперь Кодряну и мешкал.

Дед-протопоп был низенький, сухонький, с вьющейся, совершенно белой бородкой, быстрый, решительный и чрезвычайно подвижный для своего возраста. Он не знал, что такое терпение. Всю свою жизнь он торопился и только сейчас стал спокойно посиживать в своем кресле и почесывать время от времени за ухом. Ему так хотелось отправиться в Арад и привезти оттуда внука, как он это делал не раз, но он никак не мог решить, как лучше поступить. Ему было тяжело, очень тяжело, уже сколько раз он приходил к какому-то решению и приподнимался в кресле, и тут же вновь откидывался на спинку.

«Как все случится, пусть так и будет! — думал он. — Всего мне знать не дано, и как будет лучше, не знаю!»

Ему бы хотелось взглянуть на девицу и убедиться, что за ней, действительно, как говорят люди, дают хорошее приданое.

Но нет! Как случится, так и будет!

Так оно и вышло.

Парень вернулся в конце концов домой, и все пошло, как и раньше, словно ничего и не было. Однако в Бутень он не торопился и ни поп, ни протопоп его не подгоняли. Он вроде бы хотел поехать, но прошли три недели, а он никуда не ехал. Наконец на четвертую неделю он отправился, но не в Бутень, а к своему деду, а потом в Арад.

«Что тут сделаешь!» — повторял про себя протопоп, человек старый и немощный.

Однако поп, который был куда моложе и отважней, вспылил и хотел было броситься за сыном вслед, но его удержала попадья, которая была матерью парня и дочерью протопопа.

Да и надобности не было ездить.

Сын их пробыл в Араде всего лишь день, откуда он совершенно размякший снова вернулся к деду, где он был все равно как дома.

Кодряну отправился в Арад потому, что хотел по-видать Персиду и сказать ей, что в Бутень он не бывал и ехать не намеревается. Однако, повидавшись с Персидой, он ничего не сказал ей.

Персида знала, что он должен приехать. Она ждала его, а ему, после того, как он посмотрел ей в глаза, стало стыдно, что он не побывал в Бутень, и он решил, что съездит туда. Поэтому-то он так скоро и вернулся. Но по дороге он снова почувствовал, что ехать в Бутень не в силах.

Сам Кодряну тоже не знал, чего же хочет и что должен делать. Ему хотелось, чтобы взяли его в ежовые рукавицы и разлучили с Персидой, которая была для него слишком волевой женщиной и слишком хорошо умела держать в руках и саму себя, и его волю.

А Персида действительно была хозяйкой положения. Еще с той ночи, когда Кодряну поцеловал ей руку, она считала его человеком слабым, которым можно вертеть как угодно, и в то же время человеком редкого добросердечия, который расположен к ней. Мало-помалу она прониклась мыслью, что он не может жить без нее. Она испытывала сладостное душевное удовлетворение, когда представляла, как она может его осчастливить, в сущности, без всяких усилий. Поэтому она знала, что он придет к ней, и снова придет, и снова, и снова... и ждала совершенно спокойно, как ждут восхода солнца и созревания плодов, согреваемых солнечными лучами.

Как-то поздней осенью, когда утренние заморозки стали покусывать листву, Персида и Анка сидели у окна с вышиванием.

Триэ дважды появлялся в комнате. Ему было не по себе. Он хотел сказать Персиде что-то важное и как можно скорее, но только ей одной, не при Анке.

Персида как бы случайно вышла из комнаты за братом.

— Приехал Нацл! — зашептал Триэ. — Я его видел! Он снова здесь!

— А мне что за дело? — недовольно ответила Персида и вернулась в комнату.

Несмотря на это, она стала почаще выглядывать в окно, выходящее на улицу.

Если Нацл приехал, он не может не пройти по этой улице.

Ей бы тоже хотелось увидеть его.

Но Нацла не было и не было. Уже приближалось время обеда, а он не появлялся ни справа, ни слева.

Может, он не знал, что она живет в том же доме.

Когда позвали обедать, Персида нехотя, через силу оторвалась от окна. За столом она сидела как на иголках, потому что Нацл мог пройти мимо именно сейчас, когда ее у окна не было.

Все это было совершенно непонятно!

Какое ей было дело до него? После обеда, вновь стоя у окна, она вспоминала все, что было. Она видела себя перед распахнутым окном, переходящей через улицу напротив мясной лавки, вспоминала встречу на мосту, разговор среди свадебных гостей и вновь чувствовала дрожь, сладкое головокружение и такую слабость, что сама не могла разобраться, что она делает и о чем говорит. Персиде стало страшно самой себя.

«Господи,— подумала она,— и зачем только ветер захлопнул тогда окно?!»

Ничего бы не произошло, не разбейся тогда окно.

Но это было выше всякого понимания!

Однако Нацл не появлялся ни справа, ни слева, и чем ближе был вечер, тем большее нетерпение ощущала Персида.

«Значит,— размышляла она про себя,— вот так же, как я сейчас, должен чувствовать себя Кодряну, когда он является, чтобы взглянуть на меня. О, господи! Что бы должен чувствовать он, если бы знал, что чувствую я?!»

Нервная дрожь пробежала по всему ее телу. Она встала и отошла от окна, чувствуя себя глубоко виноватой.

— Не хочу! — решительно произнесла Персида, выпрямляясь и гордо поднимая голову.

Она больше не желала видеть Нацла, она не хотела знать, придет он или нет. Ей было непросто овладеть собой, но та боль, которую она пыталась подавить, казалась ей сладкой, как жертва искупления. Больше Персида к окну не подходила.

И все же душа ее была полна тихой и глубокой печали. Как будто она потеряла самое прекрасное в жизни — уверенность, что Нацл не может не прийти. Оказывается, все может быть!

Вечером, когда все отошли на покой, Персида никак не могла заснуть. Ей бы так хотелось поплакать, но, собственно, из-за чего лить слезы, когда ничего не произошло, когда между ними ничего не было и не может быть.

Это так, ни с того ни с сего, вспыхнуло ее воображение, вспыхнуло и потухло.

На следующий день было воскресенье.

Утром выпал густой иней, после восхода солнца поднялся туман, а к полудню солнце рассеяло мглу и погода прояснилась. Был один из таких осенних дней, когда людям почему-то хочется плакать. В прозрачном свежем воздухе плавали, медленно спускаясь на землю, длинные нити паутины, а с шелковичных деревьев время от времени падали обожженные инеем листья.

— Давай сходим в Рошу! — предложила Анка после обеда. — А то мы в этом году там не были.

— Давай! — согласилась Персида. — Только, — помедлив, выдавила она из себя, — пойдем вдвоем с тобой.

До Роши было довольно далеко. Нужно было пройти через весь город, потому что городской лес находился как раз на противоположном конце.

И Анка, и Персида хотели только прогуляться, а для прогулки вполне достаточно пройти туда и обратно.

Народу в лесу было не меньше, чем и в прохладные летние вечера. Под ногами грустно шуршали опавшие тополевые листья.

Нацл тоже пришел в лес и прогуливался в одиночестве по одной из боковых тропинок.

Он был таким же, как раньше, разве только лицо его обветрилось и слегка припухло, длинные волосы спутались, и одет он был в старый залоснившийся сюртук.

Персида заметила его издали и узнала по фигуре и по походке.

Она видела его не таким, каким его видели ее глаза, а другим, каким знала. На мгновение сердце ее сжалось, но в следующий же миг она гордо подняла голову и проследовала по дорожке так, как будто ничего на пути ее и не было. Ее мало трогало, увидит он ее или нет, и все-таки ей хотелось, чтобы он заметил ее и понял, что ей нет никакого дела до него.

Однако, продолжая идти по дорожке и видя, как Нацл становится все ближе и ближе, Персида помягчала, стала снисходительнее к нему, в конце концов расчувствовалась и многое дала бы за то, чтобы быть одной, без подружки.

— Ах, несчастный! — воскликнула она наконец. — Бедная мама, что бы она сказала, если б увидела, до чего он дошел?!

И Персиде казалось, что она, только она всему виною.

— Я так больше не могу! — проговорила она и вновь вскинула голову.— Смотри-ка! — продолжала она, обращаясь к Анке,— это же наш Нацл здесь объявился.

Анка прекрасно знала, кто такой Нацл, потому что о нем много толковали и в день свадьбы, и после нее, но ни за что не узнала бы его и страшно удивилась, что Персида может вступить в разговор с человеком, выглядевшим так, как выглядел сейчас Нацл.

Нацл отступил на шаг назад, когда совершенно неожиданно оказался вдруг перед Персидой, смотревшей на него большими, удивленными глазами. Ей хотелось провалиться сквозь землю, и вместе с тем она чувствовала себя на седьмом небе, ей хотелось скрыться с глаз, и на глаза ей наворачивались слезы.

— Прямо комедия! Не правда ли, комедия? — заговорил по-немецки Нацл, и его изменившееся лицо расплылось в улыбке.

— Я тебя увидела издалека,— отвечала Персида тоже по-немецки,— и сразу же узнала.

— Если бы я тебя увидел, я бы узнал тебя на любом расстоянии.

Дальше они не знали, о чем говорить, и смотрели — она на него, а он в землю.

Господи! Если бы они оказались вдвоем!

Персида смотрела на его всклокоченные волосы, которые казались ей гладко причесанными, и на его сюртук, представлявший ей не таким уж засаленным, и понимала, почему Нацл не появлялся под ее окнами.

— Ты теперь здесь будешь? — спросила Персида.

— Конечно, конечно! — ответил он.— То есть нет, я отправляюсь в Тимишоару, но здесь еще побуду.

О, боже! Почему они не были вдвоем.

— Прощай! — произнесла она и протянула ему руку.

Нацл, несколько смущенный, повернулся к Анке, которая, как это можно было понять, не знала немецкого языка, и, вежливо приподняв шляпу, сказал по-румынски:

— Извините, барышня! Мы с барышней познакомились еще дома, и я очень удивился, встретив ее здесь.

— Прощай! — повторила Персида и еще раз протянула руку.

Нацл взял ее, сжал в своей руке и застыл, молчаливый и неподвижный, как соляной столб. В конце концов они расстались, но Нацл невольно последовал за Перси-

дой и Анкой, словно прикованный взглядом к высокой и гибкой фигуре девушки.

Переходя через большую торговую площадь, Персида еще издалека обратила свой взор на церковь. В это время отправляли вечерню.

— Прошу тебя, давай зайдём на минутку! — попросила она Анку.

Они вошли в церковь. Персида окунула кончики пальцев в святую воду. Потом оставила подругу сидеть на скамье, а сама смиренно встала на колени перед одним из малых алтарей, где священник служил мессу, и покаянно склонила голову.

Нацл же, увидев, что Персида входит в церковь, не решился следовать за ней.

Глава VII ВОЛНЕНИЕ

— Чего стоишь понурый, словно Иоан Столпник? Или иди спать, или садись пить, раз пришел в пивную!

— За меня пусть у вас голова не болит! — отвечал Нацл. — Гляжу я на вас: ребята вы все что надо и время проводите весело... Хотел бы и я выпить с вами, ведь вино, как я вижу, доброе, да вот не могу. Что делать, если натура не принимает? Только вы пейте, пейте: я за все заплачу. У Хубэра из Липовы денег хватит и у Хубэроайи тоже! — добавил он вполголоса, как бы для самого себя.

Жаль, что поблизости не было музыкантов, а то он пригласил бы и их: веселиться так веселиться. Нет ничего более прекрасного, чем сидеть и смотреть, как пируют люди! И так легко развеселить людей! Бокал вина, потом еще один... несколько бокалов и уже довольно!

К сожалению, и веселье не у всех бывает одинаково. Глядишь, один совсем размяк, другой принимается плакать, а третий стал дебоширить и переворачивает столы... К полуночи Нацл уже не мог сидеть за столом, но и последовать совету приятелей и отправиться спать тоже не мог.

Ох уж эта тихая ночь, это звездное небо с полной луной, ох уж эта молодость, разве от нее можно забыться во сне! Нацл ощущал в душе какое-то сладостное нетерпение, а если отправиться спать, то утратишь его, а завтра, возможно, снова и не найдешь.

Уж слишком прекрасна была та ночь.

А сколько всего переменялось в мире!

И в день свадьбы ночь была прекрасной, но тогда его душа страдала от жестокой боли. Он вздрагивал и сейчас, вспоминая о том, что он тогда пережил. Глупости все! Разыгравшееся воображение глупого ребенка!

Она казалась такой красивой, такой обольстительной, такой желанной его сердцу, что им овладела единственная мысль: душевное спокойствие он обретет только рядом с ней, но зная, что он не может быть постоянно подле нее, что должен оставить все свои помыслы о ней, он превозмог сам себя и уехал в дальние края, чтобы не видеть ее, чтобы затеряться в огромном мире и забыть про нее.

Несчастный Нацл! Как он страдал и терзал сам себя!

Сердце его сжималось от боли каждый раз, когда он вспоминал о разрешении на путешествие.

Перед ним стоял высокий и худой Бочьоакэ с разрешением в руке и произносил с отеческой суровостью: «Не теряй времени даром! Береги честь своего цеха!»

Так же было написано и в его бумагах. А он переезжал с места на место, больше развлекаясь, чем работая.

Нет, не был он рожден, чтобы стать мясником. И уж если говорить по правде, то и нужды в этом не было. Он как-нибудь по-другому мог бы заработать себе на жизнь. Великую несправедливость совершили родители, когда забрали его из школы. Так кем же он теперь был?

Несчастный сын! Бедная Хубэроайя!

Он, действительно, хотел по желанию матери отправиться к родственникам, но никак не мог одолеть своего сердца. И что общего было у него с родственниками? Зачем нужно быть связанным с людьми, когда так хорошо было жить по своей воле?

Так ему трудно было раньше и так легко стало теперь. На колокольне католического собора и в крепости за Мурешом давно пробило час ночи, а Нацл все гулял по берегу. Он брел по течению воды, которая переливалась волнами в лунном свете и неустанно плескалась в ночной тиши.

Так все было красиво и хорошо!

«Да,— рассуждал он про себя.— Она даже похорошела, повзрослела, уж не знаю как, но стала какой-то иной. В конце концов она женщина, которая тебе нравится, потому что она родилась, чтобы нравиться тебе».

И Нацлу было совершенно непонятно, как это можно было относиться к Персиде свысока.

«Ты принесла мне несчастье! Из человека ты сделала меня нечеловеком!»

Сколько раз, блуждая в полном одиночестве, Нацл мысленно повторял Персиде эти слова. Нет! Это не она принесла ему несчастье! Она была исполнена сочувствия и смотрела на него глазами, полными слез, а ее полуоткрытые губы словно хотели сказать: во всем виноват случай!

Вот так он и должен ей сказать.

Мать, что греха таить, дала ему деньги на проезд через Сегед в Тимишоару, но если случилось так, что он в Араде, то может же он, путешествуя, провести здесь несколько дней. Он обязательно должен увидеть Персиду. Но как и когда? На это могла ответить только она.

Во втором часу Нацл прогуливался перед домом Клаича. В воздухе разливался такой аромат, что юноша никак не мог отойти от дома. Ему казалось, что девушка знает о том, что он рядом, и вздрагивает в постели, словно птичка, попавшая в силки.

Но нет! Персида спала спокойно, убаюканная летними снами.

И было бы лучше, если бы она так и спала, не просыпаясь, до тех пор, пока все не минует.

Не потому, что она сама была несчастной, а потому, что была несчастьем для других — это мучило ее, когда она поняла, что оказалась вдруг между двух людей, которые достойно прошли бы по жизни, не встань у них на пути она.

Персиде хотелось бы убежать, скрыться, чтобы и следов не осталось, но она вновь видела Нацла с длинными волосами, с курчавой, спутанной бородкой, одетого в зашпаленное платье, и сердце ее обливалось кровью.

Она знала, что нужно делать, потому что знала, чего хочет Мара, ее мать!

Но ей хотелось провалиться сквозь землю, когда она замечала, что Анка понимает, какие чувства она испытывает, и смотрит на нее осуждающим и снисходительным взглядом. Она покрывалась холодным потом, когда думала, что от Анки люди могут узнать то, чего никто в этом мире не должен был знать.

И чем больше она старалась упрятать свои чувства, тем явственнее проступали они наружу.

— Что с тобою, Персида? Что случилось? — спрашивал, недоумевая, Трикэ.

— А что может быть? Ничего! — испуганно отзывалась она.

Брат пристально посмотрел в глаза сестре.

— Ты видела Нацла, Персида, ты разговаривала с ним, — тихо произнес он потом.

Девушка выпрямилась и гордо вскинула голову.

— Да, — ответила она, — я видела его и говорила с ним, но это ничего не значит.

— Да брось ты к черту этого немца! — воскликнул Трикэ. — Ты же знаешь мать! Лучше бы она не видела его здесь, а то недолго и до греха.

— Ты что, рехнулся?! — отвечала Персида. — Какое мне до него дело?! Пусть себе гуляет, а ты делай вид, что не замечаешь его. Ну, заглянет один, два раза и перестанет ходить, когда увидит, что никто на него и внимания не обращает.

Так должно было быть, так думала и Персида. От одного слова Трикэ сердце ее укрепилось, и в мыслях наступила ясность. Теперь она могла спать совершенно спокойно, ведь она прекрасно знала, что ее брат и мать следят за нею и не позволят ей сбиться с пути праведного.

Несмотря на это, на следующий день Персида была объята тревогой. Ей хотелось знать, пройдет ли Нацл мимо дома или нет, и ее охватывала глубокая печаль, когда вдруг начинало казаться, что он может отправиться путешествовать дальше, не пройдя по этой улице. Ведь Нацл был упрям, настоящий мясник, который в состоянии отхватить кусок собственного мяса и похвалиться, что ему не больно. Как она могла перестать о нем думать, если для нее было бы великой радостью, если бы он прошелся под окнами? Да, да, пусть придет, пусть пройдет мимо, но только так, чтобы ни Анка, ни Трикэ не видели его, и он сам не заметил, что она на него смотрит.

И Нацл прошел мимо.

Утром, часов около девяти, он появился на улице и, не торопясь, прошествовал с сигаретой во рту, сдвинув шляпу на затылок и глядя прямо перед собой, словно шел не мимо того дома, где жила Персида.

А через час он вернулся и опять прошествовал с таким же видом.

Потом он не появлялся до трех часов пополудни и еще раз вернулся уже в сумерках.

Так сегодня, и так же завтра, и послезавтра точно так же, как и вчера, и так день за днем. Персида знала, когда и с какой стороны он появится, когда и в какую сторону скроется, знала, что он бедняга, несчастная его душа, только о ней и думает, только любовью к ней и живет, и денно и нощно страдает только ради того, чтобы иметь возможность четыре раза в день пройти перед домом, в котором она живет.

До каких же пор может это длиться? Как, о господи, из человека он превратился в нечеловека?! И как он до сих пор вообще-то дышит?!

Четверг есть четверг, а в пятницу с раннего утра Мара, как и обычно, должна явиться на базар.

«Трикэ, миленький, умоляю тебя, пойди и скажи ему, чтобы он не ходил по улице, особенно завтра».

С такой просьбой хотела Персида обратиться к своему брату в четверг после обеда, но Трикэ был занят упаковкой товара к завтрашнему дню, и сестра никак не могла улучшить минутку, когда он останется один, а когда наконец улучила, то ничего не могла сказать.

В четверг к вечеру, совсем не так, как бывало раньше, явилась Мара, чрезвычайно бодрая, очень высокомерная, задрав, как говорится, нос. По всему было видно, что произошло что-то такое, чем она может гордиться.

Вполне понятно, что девушек она несколько сторонилась, но Лена могла и даже должна была знать, как обстоят дела с протопопом и что совсем уже немного осталось до того, как начнется сговор. Поп, честно надо сказать, не желает разом положить этому делу конец, но она, Мара, добавит еще тысячу, другую, и упрямство поппа будет сломлено, тем более, что все остальные уже согласны. Как раз вчера был у нее отец Исайя, священник из Шоймоша, старый друг протопопы, еще с юношеских лет.

О! Крепко любила свою дочь Мара!

Дочь ее, горемычная!

В пятницу утром Мара, Клаич и Трикэ с двумя другими подмастерьями отправились на базар. Немного погодя из дома вышла Лена с Анкой и двумя учениками, чтобы запастись на зиму капустой и другой зеленью.

Персида осталась одна, без всякого присмотра, без всякой помощи. Предоставленная самой себе, она слонялась по дому, пытаясь что-то делать, но все у нее валилось из рук, сердце билось все громче и громче, и кровь в жилах бежала все быстрее и быстрее.

Было восемь часов, восемь с четвертью, восемь с половиной, восемь и три четверти...

«Боже,— воскликнула Персида, вздымая руки,— ведь все мы люди. И страдания у нас одни и те же, так почему же мы не жалеем друг друга?»

Персида набросила на голову большой платок и, приняв строгий вид, решительным шагом вышла из дома, со двора и свернула налево, в ту сторону, откуда, как ей было известно, должен был появиться Нацл, чтобы перехватить его по дороге.

Выйдя на угол, Персида издалека заметила Нацла, приближавшегося с левой стороны по Мельничной улице, которая пересекала ту улицу, по которой ходила Мара, и дальше спускалась к Мурешу.

Заметив Персиду, Нацл обрадовался и ускорил шаг, но девушка повернулась и неторопливо зашагала к Мурешу, чтобы завлечь его в заросли лозняка в самом конце улицы, откуда слышался стук мельничных колес.

Его шаги все ближе и ближе звучали за ее спиной, потому что, чем медленнее шла она, тем больше прибавлял шаг он.

Он настиг ее у самых зарослей лозняка, взял за руку, и так, держась за руки, они вошли в безлистый кустарник.

— Я больше не могу! — произнесла она упавшим голосом.

— Чего ты не можешь? — весело спросил он.

Персида пристально посмотрела на него.

— Почему ты стал таким потрепанным? — спросила она, чувствуя, что ей становится почему-то страшно.

— Гм! — хмыкнул он, простодушно улыбаясь. — А разве так мне не лучше? Потрепанный! Так мне еще никто не говорил.

— Потому что никому до тебя дела нет.

— Вот именно,— подхватил он.— Какое мне дело до всего этого мира, которому нет дела до меня?!

— Да,— недовольно заметила она,— но человек должен следить за собой.

— А я не слежу! — легкомысленно воскликнул Нацл.— А зачем следить? До себя мне даже меньше дела, чем до других. Вот так я и брожу, одинокий, по белу свету, а люди, видя, какой я есть, проходят мимо, не обращая на меня внимания.

Персида снова пристально посмотрела на него.

— Зачем ты так говоришь? — ласково прозвучал ее голос. — Вот мне очень больно, когда я вижу тебя таким, и еще кто-нибудь есть в этом мире, кому это тоже больно!

— Моя дорогая! — растроганный Нацл принялся пожимать ее руку, а Персида еле сдерживала слезы.

Господи, сколько разных мыслей роилось в их головах, которые они не могли поведать друг другу.

— Все было так давно, — заговорил Нацл, спустя некоторое время, — я даже плохо помню, когда это я покинул родной дом, а на самом деле всего лишь полгода миновало. Еще целых полтора года я должен вот так, без толку, блуждать по свету, а все из-за того, что так хотят отец с матерью, если она, бедная, чего-нибудь еще хочет. Я ей написал, что поеду в Тимишоару через Сегед, потому что, узнай она, что я еду через Арад, она бы обязательно явилась сюда, чтобы со мной повидаться. А теперь я и в Тимишоару ехать боюсь, потому что она и туда ко мне приедет.

— Я тебя прошу, уезжай, как можно быстрее, — настойчиво стала просить Персида. — Знаешь, что! — Голос ее упал. — Я больше так не могу! Если я все время буду видеть, как ты бродишь возле дома, я этого не вынесу. И нехорошо все это! Это несчастье для всех нас!

— Я уеду, — торопливо согласился он, — но не в Тимишоару, а куда-нибудь подальше, или в Вырши, или в Сегед. Все это так продолжаться не может и не должно продолжаться, иначе я совсем пропаду. Все пройдет, и тогда я поеду в Тимишоару.

Персида почувствовала, как по ее телу пробежала дрожь.

— Я должна вернуться домой, — сказала она. — И, пожалуйста, не заставляй меня больше одну выходить на улицу.

Нацл был среднего роста, но тут он вдруг выпрямился так, что стал казаться на голову выше Персиды.

— Пожалуйста! Иди! — произнес он холодно и сухо, указывая на дорогу.

— Нет, нет! — простонала она. — Не надо так! Пойдем, если хочешь, со мной, мне все равно, что о нас скажут!

— Нет! Прошу тебя, уходи!

— Так я не могу уйти! — откровенно призналась она.

— А я знал, что ты не сможешь уйти! — улыбаясь, произнес Нацл.

Персида почувствовала, как у нее перестало биться сердце, кровь в жилах остановилась, а все существо ее стало прозрачным.

— Ты знал? — зазвенел ее голос. — Так ты ошибся! Что же ты думаешь и как намереваешься со мной поступить? Знай, что ты мне нравишься: ты это и сам можешь увидеть и я тебе говорю, потому что это не моя вина. Это свалилось на мою голову, как сваливается любая беда. И это все, а больше ты ничего не должен знать. Мне было жалко тебя, но если у тебя нет жалости ко мне, то поступай, как хочешь, потому что и я буду делать только то, что мне заблагорассудится!

Произнеся все это, Персида удалилась тем же спокойным, твердым шагом, каким она вышла из дома, а он остался стоять прямой, с гордо поднятой головой и взглядом, устремленным ей вслед.

Уходя все дальше и дальше, Персида ни разу не обернулась, хотя все время напрягала слух, желая услышать шаги, которые нагоняют ее.

«Потрясающая женщина!» — проговорил Нацл, приходя в себя.

«Отвратительный человек!» — подумала Персида, придя домой. Она закрыла лицо обеими руками, слезы брызнули из глаз, и она разрыдалась.

Потом она поспешно оделась и вновь вышла из дома, чтобы идти на рынок к своей матери и брату.

Глава VIII

ДОЛГ

Маленькая и легкая, кроткая, переступавшая мелкими шажками, словно ее вели на веревочке, резкая на словах, с суровым взглядом, однако ласковая и добрая по природе — такой все время вспоминала ее Персида, такой она видела ее перед собой и слышала ее голос:

«Нет, моя девочка, мир этот создан не для сердечных увлечений, а для исполнения долга».

И Персида знала, каков ее долг: ведь это знают все при любых обстоятельствах.

«Прежде всего — господь бог, потом родители, а после них все остальные твои благодетели».

Так говорила мать Аеджидия.

Все это Персида знала, но только трудно было исполнять свой долг, когда никто не помогает, никто не заставляет, никто постоянно не напоминает о нем.

Бедная девочка, среди этих людей, из которых никто ей не противоречил, она жила, объятая страхом. О боже, чего бы она не сделала, чтобы рядом с нею не было Трикз! А что бы она стала делать, окажись одна-одинешенька?

Нет, человек никогда не должен оставаться один!

Персида хотела уехать домой, где все ее знали, где все чувствовали себя вправе остановить ее по дороге, где каждый взгляд больно задевал ее, где она не могла делать все, что ей заблагорассудится.

Именно там, на базарной площади, Персиде хотелось высказать все это матери, чтобы та не принуждала и не уговаривала ее остаться здесь.

«Сейчас! Обязательно сейчас!» — твердила она. Сердце у нее сжималось, но шла она размеренным шагом. Сколько злобы было в сердце того человека, который нарочно остался там, на берегу реки. Ей хотелось, и она, казалось, могла бы подскочить к нему и впиться ногтями ему в лицо, чтобы по его щекам потекла кровь. И все же, если бы сейчас, в эти мгновения, она увидела его, то не впилась бы ему в лицо, а упала перед ним, виновником всего, на колени, чтобы просить прощения, потому что жалость к себе смягчила ее, а мысль о том, как он страдает, раздирала ей сердце на части и лишала сил.

Она должна была уйти отсюда, убежать, спастись.

Но мать ее, самодовольно и надменно, восседала за прилавком, заваленным гроздьями винограда.

Она могла быть и самодовольной, и надменной.

Мало того, что ее товар: два воза синих с изморозью слив, воз зимних груш, восемнадцать корзин винограда и девять бочек сливового повидла, весь был распродан, она нашла также покупателей на дрова и на баржи.

Хубэр поспособствовал, чтобы она взяла — слово-то какое! — в аренду королевские леса в Кладове. По правде говоря, Хубэр сам имел в этом деле компаньона, своего дружка Любичека; но, поскольку Хубэр состоял на службе, а Любичек был чиновником, они только и считались компаньонами, все же хлопоты падали на плечи Мары.

Что и говорить, Мара не сомневалась, что не пропадет, если Хубэр берет ее себе в компаньоны, а Люби-

чек так составил контракт, чтобы его легко было выполнить. За четыре года нужно было выплатить тридцать четыре тысячи флоринов. Десять тысяч выплачивались при заключении контракта, а остальные деньги должны были выплачиваться по шесть тысяч ежегодно. Но много денег требовалось на валку леса, на пилку дров, на то, чтобы доставлять дрова к Мурешу, на перекупку барж, прибывших с солью, чтобы отвозить дрова в Арад. Много денег и много хлопот для бедной женщины вроде нее, тем более, что Хубэр давал деньги только в долг и ей пришлось занять у него одиннадцать тысяч помимо семи собственных, которые она потратила.

Когда Мара попала в лес, ее охватило отчаяние. Там было столько деревьев, что за них можно было бы выручить четыре раза по тридцать четыре тысячи; но как эти деревья валить? как их перевозить? и кто, наконец, купит такую бездну леса?

И вот теперь, когда Мара нашла покупателей, она знала, как все делается и кто покупает лес.

Она свезла в одно место весь поваленный сухой, смешала его со свежеспаваленным лесом и получила таким образом ни больше ни меньше, как восемьсот тридцать саженей дров, которые на пятнадцати плотках были сплавлены в Арад. От Хубэра Мара получила письмо к капитану Мареку из Липовы, другое от Любичека к Штайеранту, третье было от матери Аеджидии к отцу Гардиану, четвертое — в консistorию — написал отец Исая. Мара продала дрова по восемь флоринов пятьдесят крейцеров за сажень, в то время, как остальные лесоторговцы просили по девять флоринов, и будь у нее еще хоть тысяча саженей дров, она бы продала и их.

А баржи? Какая досада, что у нее их было так мало!

«Есть у меня, чем расплатиться с Хубэром, — думала она. — Моя забота — как разворачивать дело дальше!»

Поэтому Мара была и самоуверенной, и оживленной.

Но брови ее сурово сдвинулись, когда она увидела свою дочь.

Она вовсе не желала, чтобы люди видели ее дочь на рынке, а потом, не в обычае Персиды было плестись еле-еле, опустив голову.

— Ты чего здесь забыла? Чего тебе надо?

— Мама, я хочу уехать домой.

— Как домой?
— Сегодня, вместе с тобой.
— Ты с ума сошла? Это невозможно. Зачем? Что случилось?

— Не спрашивай. Здесь я тебе не могу ответить. Так нужно, а остальное я расскажу тебе дома.

Даже если бы Персида выглядела не так, как она выглядела сейчас, все равно ей бы не удалось пройти через рынок без того, чтобы люди не смотрели ей вслед. Много было глаз, которые следили за ней, и все они теперь впились в прилавок, где Персида обменивалась сухими, сдержанными словами со своей матерью, которую многие тут знали.

— Иди отсюда! — сухо отрезала Мара. — Не видишь, что ли — все на тебя пялят глаза!

— Пусть себе смотрят, — отвечала Персида, — ведь на то и даны глаза людям, чтобы смотреть. Я должна уехать.

— Это невозможно. Ты что, поедешь в телеге вместе со мной?

— Поеду!

— А я тебя не возьму!

Персида наклонилась к матери и сказала тихо, но отчетливо и веско:

— Я сейчас уйду, потому что ты на меня сердишься. Я тебе скажу только одно: сюда вернулся Хубэрнацл и не дает мне проходу. Подумай об этом.

Сказав это, Персида повернулась, чтобы уйти.

Мара ухватила обеими руками за прилавок и так тряхнула его, что виноград посыпался на землю.

— Стой! — крикнула она. — Проклятый немец.

— Я не могу остаться: ты же сама видишь, что весь базар на нас смотрит.

— Одну я тебя не оставлю! — проговорила Мара и принялась приводить в порядок кучи винограда на прилавке.

И все же Мара не могла уйти вместе с дочерью. Было бы совершенно невероятно, если бы она ушла раньше, чем разойдется весь базар: все знали, что здесь ее место и здесь она находит то, что ищет.

Чуть-чуть подальше располагались палатки кожевников.

— Иди к Трикэ и скажи ему, чтобы он проводил тебя.

— За сколько отдашь эту кучу винограда? — спро-

сила хозяйка, кося глазом на Персиду, которая направилась к палаткам кожевников.

— За десять крейцеров, — ответила Мара.

— А за восемь отдашь?

— Давай деньги и забирай!

Маре было некогда торговаться. Еще тогда, на мосту, она почувствовала, что сыну Хубэра приглянулась ее дочь; еще на свадьбе сердце ее сжималось от предчувствия чего-то недоброго; а теперь ей хотелось выть от боли и несчастья, что она не может выговориться и излить всю свою горечь.

Поздно вечером, когда Мара вернулась домой и осталась наедине с Персидой, она принялась в раздражении ходить из угла в угол, пока дочь развешивала в шкафу платья.

— Лучше умереть! — воскликнула она, останавливаясь перед Персидой.

Персида вздрогнула, словно очнувшись ото сна.

Она уехала, так и не узнав, что же делает Нацл. Сердце у нее разрывалось, мысли в голове путались, всю дорогу от Арада до Радны она была в каком-то полузабытии, а теперь, оказавшись дома, не прочь была бы вернуться обратно и вообще не знала, чего ей нужно.

— Не думай плохо, мама, — заговорила она. — Не от чего быть дурным мыслям. Ничего не случилось, а если и была какая-то малость, то в этом я сама виновата.

— Неправда! — отвечала Мара. — Я хорошо знаю его отца. Он со мной водит компанию, чтобы делить доходы, а случись беда, он меня одну оставит. А ты дурочка, и он вскружил тебе голову.

— Нет, — отвечала Персида. — Будь это так, мне было бы тяжело, но мне сейчас тяжелее, потому что из-за меня он лишился разума. Я его ничем не утешила. А что у нас с ним?

Мара готова была разразиться бранью, но бранить было некого. Да, девушка была права: как он мог не потерять головы, если она была такой красивой, такой рассудительной и разумной?

— Завтра утром, — решила Мара, — ты отправишься к матери-экономке. Так нужно. Она тебя любит и много добра для тебя сделала.

— Да, мама.

— И ты ее слушайся.

— Да, мама.

— Я,— продолжала Мара, расчувствовавшись,— женщина простая и не знаю, как поступить, на какой путь тебя направить. Я сделала все, что могла по своему разумению. А теперь мой черед смотреть тебе в рот. У меня тоже есть свои расчеты, но ты-то не меня ублаготворить хочешь, а печешься о своем счастье, а оно для меня превыше всего.

— Не говори так, мама! — пробормотала растроганная Персида.

Ей хотелось броситься к матери, целовать ей руки, обнять и покрыть поцелуями щеки, но ни к чему подобному она не была приучена.

Ей хотелось поведать матери все свои мысли, все, что таилось на сердце, но она робела.

Эта женщина была ее матерью, но как будто только сейчас Персида сподобилась понять, что она вовсе не чужая ей и не только из чувства долга, но из самой чистой любви она, Персида, находится в ее воле.

— Я не могу сделать то, чего ты не хочешь! Даже если буду знать, что умру, все равно не смогу! — глаза у Персиды наполнились слезами.

— Не плачь,— проговорила Мара, ласково кладя руку на плечи дочери,— не плачь, не толкай меня на грех... Да будь он...

— Нет! Нет! — закричала Персида, хватая руку матери и целуя ее.— Не говори таких слов, ведь и он человек, и у него разрывается сердце, ведь и у него есть мать, которая тоже может произнести эти слова.

Персида закрыла глаза и несколько минут собиралась с мыслями.

— Однажды,— заговорила она, успокоившись,— порыв ветра захлопнул окно в келье матери Аеджидии и разбил стекло. Я подбежала к окну и увидела его, он стоял и удивленно смотрел на меня. Я тоже посмотрела на него, потому что никогда его не видала. Сначала мне хотелось рассмеяться, а потом заплакать от досады. Мать Аеджидия тоже подошла к окну и, увидев его, быстро оттолкнула меня в сторону. Теперь-то я знаю, почему она так сделала, а тогда я кроме хлопот по хозяйству ничего не знала. А когда мать Аеджидия вышла, я распахнула назло ему окно, которое выходило прямо на мясную лавку, и встала перед ним, чтобы увидеть его и чтобы он меня увидел. А он, мама,

махнул рукой, чтобы я закрыла окно. Ты понимаешь, что он не виноват?

— И ты не виновата! — пробормотала Мара. — Слишком ты несмышленная девчонка, чтобы понимать, что делаешь.

— Непонимание, — возразила Персида, — тоже вина, если от него страдают другие. Когда я увидела, что он разумнее меня, мне стало за себя стыдно. И я вопреки своему сердцу решила не подходить больше к окну. Но на пасху, когда пришел Трикэ, чтобы проводить меня домой, меня вновь взяла досада и я назло ему пошла не прямой дорогой, а перешла улицу перед самой лавкой, чтобы он увидел меня.

Мара рассмеялась. Все напрасно. Персида все такая же, как и в детстве; ей есть на кого быть похожей.

— На другой день после их пасхи, — продолжала Персида, — мы с Трикэ пошли собирать фиалки. Хотели идти на Шоймош, но я все перерешила и повела Трикэ на Липову, думая, не встретится ли нам где-нибудь Нацл. Мы его и встретили, как ты сама знаешь, на мосту, когда возвращались домой.

Мара начала беспокоиться.

— А как это вы договорились, — спросила она, — чтобы он тоже поехал в Арад?

— Мы не договаривались. Я даже не знала, что он в Араде, и он не подозревал, что я переехала туда. Он заметил тебя, когда мы со свадебным поездом возвращались из церкви, и решил, что я должна быть вместе с тобой, и пришел, как ты знаешь, незванным на свадьбу.

— Значит, все случайно! Бывает иногда и так, поначалу не заметишь, а потом спохватишься: дело-то оказалось нешуточным.

— Когда он увидел, что ты недовольна, он стиснул зубы и уехал из Арада.

— Бедный мальчик!

— Я про него почти забыла, как вдруг явился Трикэ и говорит мне, что он вернулся. Ты знаешь, он приехал не для того, чтобы повидаться со мной. Это я не могла удержаться и в воскресенье, когда был такой ясный день, пошла с Анкой погулять, потому что хотела увидеть его...

Мара встревожилась еще больше. Бедная девочка: какая напасть свалилась на ее голову.

— Откуда ты знала, где его можно найти? — спросила она.

— Откуда я знала? — переспросила Персида. — Ничего я не знала, я пошла просто так, наудачу, в Рошу и увидела, что он там гуляет совсем один. Он меня не видел. Я бы могла пройти незаметно вперед, но меня так и потянуло к нему, чтобы поговорить. Ты видишь, что я сама виновата!

— Не виновата! — отрезала Мара. — А как иначе? Выдался хороший денек, случилось так, что ты его повстречала; так все шло само собой, и ты ничего не могла поделать.

Персида отрицательно качнула головой.

— Нет! Это я сама всего хотела, — упорствовала она, — уж это я знаю лучше всех. Ты его видела, каким он был в родительском доме: румяный, с подстриженными усиками, гладко причесанный, так что пробор издалека сияет, и всегда в белоснежном фартуке. А теперь он весь зарос, волосы всклокочены, борода небритая, лицо опухшее, на голове помятая шляпа, а сюртук поношенный и засаленный, как будто он ночи проводит в пивной, а спит не раздеваясь.

— Бедный мальчик! — проговорила растроганная Мара.

— В понедельник, — продолжала рассказывать Персида, — он четыре раза прошел мимо дома Клаича, во вторник — то же самое, и в среду, и в четверг — тоже. Я хотела не обращать на это внимания, но сегодня, когда все вы ушли на рынок, я не могла совладать с собой и вышла на улицу, чтобы встретить его. Я не могла больше, мама: мне так было его жалко и меня мучила совесть!

— Бедное его сердце! — вздохнула Мара.

— Как он там остался? — в отчаянии продолжала Персида. — Что он теперь делает? Что он будет делать завтра? Как он будет жить дальше? Да будет проклят тот несчастный час, когда я встала на его пути, чтобы испортить ему всю жизнь!

— Нет, девочка моя, — заговорила, успокоившись, Мара, — так все и происходит в этом мире: идешь неизвестным путем и удивляешься, куда же ты попала; застигнет тебя что-нибудь врасплох, и только диву даешься, как же это могло случиться. У каждого человека своя доля, и ни в добре, ни во зле не избе-

жать ее. Что тебе написано на роду, то и случится. Божьей воли никто изменить не может.

Персида подняла голову, облегченно вздохнула и повеселевшими глазами взглянула на мать.

— Не нужно думать о нем,— продолжала Мара.— Не терзай свою душу из-за него. Как быть должно, так оно и будет. У тебя своя судьба, у него своя. Господь бог захотел, чтобы ты была такая, какая есть. И если господь не создал тебя для него, то это его несчастье, а не твое!

— А если я создана для него, мама? — воскликнула Персида.

— Нет! Нет! — решительно замотала головой Мара.— Этого быть не может! Господь бог знает,— продолжала она растроганно,— сколько я думала о вас, сколько я ради вас трудилась, сколько сердца вкладывала я в заботы, и он не может наказать меня так жестоко. Если я увижу тебя мертвой, исчезнет вся радость моей жизни, но и тогда я скажу, что это мне испытание от бога, но и меня, и других матерей, таких же, как я, ждет в конце концов утешение. Но никто еще в нашем роду не смешивал крови! — воскликнула она со слезами на глазах.— Жалко мне его и мать его жалко, но дорога мне только ты одна, а потому это невозможно!

Говоря все это, Мара обнимала дочь, целовала ей глаза, лоб и волосы на макушке, как это делала в давно минувшие времена, когда Персида была маленьким ребенком.

— Прости меня, мама, мама моя дорогая, драгоценная и добрая,— твердила Персида, захлебываясь рыданиями,— и скажи, что же мне делать?

Глава IX БЕДНОЕ СЕРДЦЕ

Великий хозяин стыд, так будь человеком и не беги его, если он тебе ведом.

Кодряну рос, как телок, который двух маток сосет. В родительском доме Павел, а у деда с бабкой Пэвэлуц, он нигде и ни от кого не мог научиться сдерживать свои желания, поступать так, чтобы приятно было другим. Его отец, священник, часто жаловался, что старики портят ребенка, но и сам потакал

ему, чаще всего, чтобы оправдаться перед самим собой в том, что слишком доверял сына воле деда и бабки.

«Ну что поделаешь, если так его старики испортили!»

Так он и сейчас говорил. Он был недоволен, но не столько своим сыном, сколько тестем и тещей, которые были слишком мягки характером, а если уж говорить всю правду, то и сам он не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы отучить Павла от дурных привычек. За это браться надо было бы куда раньше, а теперь было слишком поздно.

Но на этом свете и для Пэвэллуцава нрава была управа.

Протопоп, хотя и считался бутеньским протопопом, проживал не в Бутень, а в родном селе, где у него был дом и прекрасное хозяйство, с которым он бы не расстался за все блага своего чина.

В это село и нужно было отправляться, если было какое-нибудь дело к протопопу.

— Я предлагаю,— заявил Георге Балтэ,— как-нибудь собраться да съездить к протопопу, чтобы посмотреть, что там и как.

Георге Балтэ был присяжным в Бутень и человеком весьма солидным, так что, если он что-либо предлагал, на это были основания.

— Ну уж! — отвечал Иовицэ Борлеу.— Это чересчур, я так думаю. Ведь все мы люди и понятия должны иметь одинаковые.

— То ли брито, то ли стрижено! — прервал его Георге, произнося слова тихо, но отчетливо.

— Брито или стрижено — это мы узнаем,— продолжал Иовицэ.— Но не очень-то удобно вдруг ни с того ни с сего заявиться к человеку в дом.

— А почему я именно с тобой и заговорил? — спросил Георге.— Ты церковный ктитор, и у тебя всегда найдется о чем потолковать с протопопом.

— Что правда, то правда!

— А потом мы поглядим, как там и что,— продолжал Георге.— Главное: оказаться там вместе, а потом уж моя забота: гляди человеку в глаза, примечай, как он приглашает сесть, как расспрашивает про домашних, и слов не надо, чтобы все понять, когда есть голова на плечах, а если ее нет, значит, не твоего ума это дело и сиди себе тихо.

Так они и сделали.

Оба оделись по-праздничному, Георге отобрал двух откормленных индюков, а Иовицэ положил на дно тележки бочонок со сливовой водкой, но такой, какая только у него одного и делалась, и отправился к протопопу за разрешением на постройку вокруг кладбища дощатого забора.

Протопоп приветливо встречал людей в своем доме, однако если они были не из Бутень. Это сразу же почувствовал Георге, стоило только ему встретиться глазами с хозяином дома и особенно с хозяйкой, которая, будь на то ее воля, дала бы разрешение даже на каменную стену вокруг кладбища, лишь бы они поскорее отправились восвояси.

Уж больно солидными и сдержанными на слова казались эти люди, словно не в тележке прикатили, а в карете.

Они бы особенно и не мешкали и уехали вскоре, не оказись здесь внука протопоба.

Пэвэлук был собственной своей персоной и сидел как на иголках.

Георге никак не мог сдержаться, когда увидел его, а посмотрев ему в глаза, понял, что парень чувствует себя не в своей тарелке.

— А когда же мы увидим тебя у нас? — спросил он Пэвэлуца. — Давненько ты у нас не бывал, а люди по воскресеньям все поглядывают на клирос, думая тебя увидеть.

Пэвэлук был, как говорится в здешних местах, белообрый и с такой тонкой кожей, что, когда краснел, ему делалось очень плохо, чего он стыдился.

— Я приеду, — отвечал Пэвэлук. — Уж так случилось, что до сих пор я не мог приехать, но я обязательно приеду.

Он и в мыслях не держал, чтобы ехать в Бутень, но в этот момент, перед этими людьми было выше его сил заявить, что он к ним никогда не приедет.

— Смотри, — говорил Георге, — приезжай к нам. Послезавтра будет воскресенье, и все будут очень рады, если узнают, что ты приехал.

Все будут очень рады! Великое дело! Пэвэлук знал, что ему, действительно, будут рады; ему хорошо были известны эти люди, и сейчас, в этот момент, он не находил в себе сил заявить им, что он не приедет.

— Сейчас я не могу! — ответил он.

— Почему же ты не можешь, если хочешь? — спросил Иовицэ.

— Послушай,— подхватил Георге,— ты мне окажешь честь, если несколько дней проживешь в моем доме.

Пэвэлуц смущенно посмотрел на деда, словно желая, чтобы тот сказал, почему именно сейчас он не может отправиться в Бутень. Но если старик был слаб перед внуком, то как он мог быть сильным перед целым селом? Что ни говори, а разными мелочами сердце людей не завоеуешь. Протопоп понимал, что внучек достаточно погулял по собственной воле, и теперь никак не мог отворачиваться от людей, тем более, как он заметил, они больше держат сторону его внука, чем дочери попадьи.

— Поезжай! — решил протопоп.— Если такой человек приглашает тебя в гости, ты должен отложить все дела и ехать.

Георге усмехнулся в усы: по всему видно, что он вовремя начал и хорошо повел дело, а дальше — это его забота.

Пэвэлуц отправился с Георге и Иовицэ, приехал и поселился в доме у Балтэ, и все пошло так, словно иначе и быть не могло. Еще в дороге он свыкся с мыслью, что не может быть лучше прихода, чем в Бутень, в особенности потому, что селяне желают его иметь священником и без поповой дочки. Что и говорить, если у тебя дед протопоп, значит, ты не из захудалого дома и можешь стать попом, даже если село тебя не приглашает, но куда лучше, когда тебя зовут сами, ведь жить-то придется с селянами и даже сам владыка старается быть в ладу с народом.

Несмотря на это, тяжело было думать, что ты в одном селе с попадьей и Марией, ее дочкой, и Пэвэлуцу не раз приходило в голову бежать оттуда, как только он представлял, что придется ему в церкви встретиться с ними глазами.

Все это знал и Георге.

— Сердится на меня попадья,— заговорил он как-то в субботу после обеда,— за то, что оказал ты мне честь и поселился в моем доме. Я на это внимания не обращаю. Гнев придет и уйдет, а мы все людьми останемся. Но все-таки не худо было бы заглянуть к ней, что ты скажешь?

А что мог сказать Кодряну?

Он и сам знал, что нужно навестить попадью, но вот сам собой никак не мог на это решиться, ему все казалось, что будет лучше, если кто-нибудь приведет его с собою.

По правде говоря, ему-то стесняться нечего.

Попадья была всего лишь попадшей и с внуком протопопы могла разговаривать только подобострастно, а Мария, ее дочка, была еще несовершеннолетним, и не очень-то у нее болела голова из-за Пэвэлуца.

Правда, он ее не видел с рождества, но и с той поры до нынешнего дня настоящей женщиной она еще не стала. Девчушка вроде рослая, но тонкая, словно змейка, смугловатая с маленькими глазками, которые всегда были на мокром месте, а рот всегда искривлен плаксивой гримаской.

Что она знала и что могла понимать? Достаточно было взглянуть ей в лицо, как самому хотелось расплакаться, и Пэвэлуц не однажды посмеивался над ее слезами. Но теперь ему так не хотелось встречаться с ней, и, по правде сказать, он ее побаивался.

Да и смотреть-то там было не на что!

Когда Пэвэлуц с замирающим сердцем входил в дом попадьи, Мария весело распевала на весь дом и пела, между прочим, совсем неплохо. То ли ей что-то снилось ночью, то ли ничего не снилось, но Мария была такая веселая, словно весь мир принадлежал ей, а попадья чувствовала себя неловко, и ей очень хотелось сказать Кодряну: «Извини ее, ведь она ничего не понимает!»

Сказать она этого не сказала, а бросилась к дверям, в комнату, чтобы сообщить дочери, кто пришел, потом быстро привела в порядок платье и вышла на крыльцо встречать гостей. Лицо у нее было заискивающее, каким его и привык видеть Кодряну.

— Хорошенькое дело! — воскликнула Мария, выглядывая из-за материнской спины. — Мы тебя ждали с пирогами, а ты болтался неведомо где!

Попадья почувствовала, что вся кровь у нее приливает к лицу.

И Пэвэлуц со своей тонкой кожей вспыхнул до самых ушей.

Совершенно растерявшись, он не знал, что ответить.

— Что ж, — заговорил Георг, — добрых людей и здесь, и в других местах, везде пирогами встречают.

Все вошли в дом, начались расспросы о здоровье, а Мария выбежала за ракией и хлебом, чем всегда встречали гостей по местному обычаю.

Попадья никак не могла сообразить, как идут дела и в какую сторону нужно клонить разговор. Она знала, что Георге вместе с Иовицэ был у протопопа, она поняла, что это они привезли Кодряну, но никак не могла сообразить, как обстоят дела.

Кодряну, как и попадья, тоже ничего не соображал.

И глаза его, и разум были устремлены на Марию. Он удивлялся и изумлялся, как за такой короткий срок эта невзрачная девчонка могла так сильно измениться. По правде сказать, глаза у нее и сейчас были влажные и около рта была та же плаксивая складка, но никто, как казалось, не смог бы заставить ее заплакать. Слишком она была жизнерадостной и вроде бы не такой уж простушкой.

Дело известное,— женщины меняются очень быстро, и не только от рождества до осени, но и от одного мгновения до другого.

Когда Мария узнала, что Кодряну гостит у Георге, а к ним зашел только поздороваться, а жить у них, как это всегда бывало раньше, не будет, губы ее скривились, а глаза наполнились слезами.

— Этого быть не может,— сказала она.— Я тебя знаю. Снова ты меня обманываешь, чтобы я расстроилась и заплакала. Но ты не думай, что я такая же дурочка, как и раньше. Ладно! Я тебе не верю и плакать не буду! — вызывающе выпалила Мария, и слезы, злосчастные слезы, брызнули из глаз, так что ей ничего не оставалось, как с позором выбежать из дома.

Попадья готова была провалиться сквозь землю. Кодряну тоже.

Что и говорить, девушка была права: что скажут люди, если он будет жить не у попадьи?

Георге, прямой и неподвижный, сидел на стуле, ухмыляясь в усы и поглядывая то на Кодряну, то на попадью.

— Если на то пошло,— заговорил он наконец,— можешь меня покинуть. Ничего не поделаешь: за ними право первенства. Я тебя оставляю здесь.

Так и поселился Кодряну, как и раньше, у попадьи. Так и должно было случиться.

Нет ничего хуже плаксивой женщины. Если ты к ней с добром, она размякает и начинает плакать, если

же ей резать правду-матку в лицо, то не приведи господь. К такой не знаешь, как подойти, как с ней обходиться, да и сам, раскиснув от слез, теряешь себя.

Кодряну было стыдно от стараний попадья сделать все так, чтобы ему понравилось, и от детской радости, которая светилась в заплаканных глазах Марии, а на следующий день ему самому хотелось расплакаться перед церковью, полной народу, глядевшему на него с доброжелательными улыбками.

Господи, каким счастливым мог бы он быть, не будь той ночи после свадьбы. И однако...

Здесь, в церкви, битком набитой людьми, перед алтарем, которому он должен был посвятить свою жизнь, стройная фигура Персиды поднималась надо всеми, а ее большие и чистые глаза смотрели на него отовсюду. В этих глазах светилось такое спокойствие и ясность, такое откровенное доброжелательство, что под их взглядом должна была утихнуть морская буря и смириться таинственная стихия огня. Так как же он, беспомощный человек, мог избежать власти этих глаз?!

После херувимской, когда священник вышел со святыми дарами, Кодряну, умиленный больше, чем всегда, склонил голову к земле и стоял, закрыв глаза и погрузившись в глубь самого себя.

Он чувствовал острее, чем когда бы то ни было, что не может совершить ничего, если того не захочет Персида, и несказанная жалость охватила его, когда он подумал о Марии, такой хрупкой и свежей, такой нежной и обидчивой.

«Нет! — решил он про себя, — ты ни с чем не связан, ибо сам ни в чем не волен!»

Было подлостью приезжать сюда, когда знаешь, что связан и развязать ничего не можешь. Если бы Персида узнала, что в Бутень он поехал не по своей воле, а у него самого не хватило мужества все решить иначе, она стала бы его презирать, как негодяя.

И все-таки Мария была здесь, а Персида далеко, а он не имел никакой возможности немедленно уехать из Бутень, как ему этого хотелось, и поэтому сердце его обливалось кровью, когда он замечал, как дрожит Мария, стоя рядом с ним, как каждое мгновение глаза ее наполняются слезами и блестят от нежности.

«Человек я или нет?!» — сказал он сам себе в понедельник утром.

Нужно поехать в Арад.

Нет, не в Арад!

Через горы, разделяющие долину Криша от долины Муреша, нет проезжей дороги, но люди ходят по протоптаным тропам, и он на доброй лошади может часа за четыре проделать путь через Кисиндию и Вэсоайю на Коноп, в долину Муреша, откуда до Шоймоша всего лишь добрый час пути.

А лошадь он найдет в Бутень.

Если он человек, то нужно сделать так: поехать к отцу Исайе, с ним к Маре, а с Марой в Арад. Так разом все и решить.

Когда Пэвэлук выехал, до сумерек оставалось часа три. Но день был ясный, и луна, хоть и на ущербе, поднялась в небе и стала клониться к закату только после полуночи, а лошадь была выносливой и рысистой; настоящий человек Пэвэлук — задумал и сделал.

Вдохновляемый этой мыслью, Кодряну, подбадривая лошадь, скакал среди перелесков, тронутых первыми заморозками, тут зеленых — дубовых, там желтых — липовых, а потом — красных, как бычья кровь, а когда стемнело, то та же луна, при лучах которой по берегу Муреша гулял Нацл, освещала и его путь.

Длинный, извилистый и трудный путь.

Нет ничего более неприятного, чем ехать в одиночестве верхом на быстрой лошади среди полного безлюдья: незаметно начинаешь переворачивать все, что таится в душе, и в конце концов уже не понимаешь, на самом ли деле все это происходило с тобой или снилось тебе во сне. Усталый от дороги и одиночества, Кодряну перестал понимать, куда и зачем он едет, и все ему стало представляться сказкой. Он столько раз слышал рассказы о колдуньях, по воле которых волшебные кони летели по воздуху, унося человека за его судьбой, что ему стало казаться, будто он летит, а не скачет.

Охваченный этим чувством, он ощущал себя таким легким, что ему даже стало плохо, когда он услышал собачий лай в Шоймоше.

В себя он пришел только возле дома отца Исайи. И тут вдруг понял, что напрасно совершил весь этот долгий путь, потому что сам он ничуть не изменился и ему не хватает решимости постучать в ворота, и был рад, что вокруг темно и никто его не видит.

«Нет! — решил он про себя. — Все это я могу сделать и без отца Исайи».

Поехать в Арад без Мары он бы не решился, но вот поговорить с ней без отца Исаяи было вполне возможно. Не было никакой необходимости во все это посвящать и отца Исаяю.

Кодряну поехал дальше, в Радну, чтобы переночевать там на постоялом дворе неподалеку от монастыря, а рано утром отправиться к Маре.

На постоялом дворе, где его никто не знал, он мог без опаски поручить лошадь работнику и попросить что-нибудь поесть, потому что был зверски голоден.

— Ты Мару знаешь? — спросил он служанку, накрывавшую на стол.

— Как не знаты! Рядом живет, через четыре дома.

— Не знаешь, дома ли она?

— Позавчера вернулась с дочкой из Арада, — ответила служанка.

Кодряну почувствовал, как сердце у него сжалось и подкосились ноги.

Это была полная неожиданность: Персида здесь! Зачем она приехала? Почему она не осталась дома, а отправилась в монастырь? Что случилось?

Он был голоден, но встал из-за стола так и не съев ни кусочка. Он устал с дороги, но отправился бродить по берегу Муреша.

С той минуты, как он узнал, что Персида находится совсем рядом, он испытывал что-то вроде лихорадки и, расхаживая торопливыми шагами по берегу реки, ощущал то приятное чувство, какое испытывал вблизи нее. Ах, какая женщина!.. Какая фигура! Какая обворожительная улыбка, как она мило сердится, как легко срываются с ее губ слова, какая у нее глубокая душа! И вместе с тем только сейчас он вспомнил, что ни разу не поговорил с ней откровенно. Мало-помалу им овладевала мысль о том, что всю жизнь он проведет возле нее, — а иначе и быть не может, — и ему хотелось повторять ей это бесконечное число раз. Но было во всем ее облике что-то такое, что заставляло сдерживаться и говорить только то, что приятно ей. Она понимала все заранее и отвечала без всяких слов. Таким образом, Кодряну не сомневался, что и Персида хочет того же, что и он, и все же он не был в состоянии сказать ей об этом без всяких околичностей: ему был необходим посредник, который помог бы ему завести такой разговор.

У него были отец и мать, дед и бабка, родствен-

ники и приятели, все его любили, но сейчас он чувствовал себя таким одиноким и покинутым, что стоял испуганно на дороге, словно цыпленок, оставший от клуши: он сам оборвал все связи, отстранился от всех родных и никто не мог прийти ему на помощь.

Утром он вскочил, едва только забрезжило. Он знал, что Мара уходит очень рано, и хотел застать ее дома, но несмотря на это, мешкал, словно в глупине души желал опоздать.

Так оно и случилось: калитка была уже заперта.

С тяжелым сердцем он отправился к мосту, где, как он знал, можно было найти Мару. Но и там ее не было. Он увидел ее в сотне шагов ниже моста, там, где баржи грузились дровами, но не подошел к ней. Зачем? Будет гораздо лучше, легче и проще поговорить сначала с Персидой.

Кодряну заплатил человеку, стоявшему у моста, положенные крейцеры и перешел на другой берег. Но тут ему пришло в голову вернуться назад в Бутень.

Было чуть больше восьми часов. Как можно в такое неподходящее время звонить у ворот монастыря? А решиться на разговор с Персидой и того невозможно.

Но Кодряну стиснул зубы и позвонил.

— Что вам угодно? — спросила старая монахиня, высокая и худая, приоткрывая ворота.

— Не мог бы я, прошу прощения за беспокойство, поговорить с барышней Персидой Бырзовану? — спросил он.

— Сейчас это невозможно, сударь, — отвечала монахиня. — К тому же я не знаю, кем вы будете.

Он вынул из своего бумажника визитную карточку и протянул ей.

— Передайте, пожалуйста, барышне, — добавил он, — что я прошу ответить, возможно ли и когда возможно увидаться с ней.

Монахиня предложила ему присесть на скамью и подождать, а сама заперла ворота.

Персида была на кухне.

Когда она пришла в монастырь, у нее и в мыслях не было оставаться здесь. Но при виде матери Аеджидии, которая заготавливала на зиму компоты, нельзя было не надеть фартука и не помочь ей. Когда же вечером зашла речь о возвращении домой, Персиде не захотелось возвращаться: так хорошо ей было в мо-

настыре, где она выросла, где все словно бы улыбалось ей и придавало уверенности в себе.

Персида всегда любила мать Аеджидию, только не отдавала себе в этом отчета, а вот теперь ей хотелось сесть у ее ног и целовать ей руки. Все было не так, как раньше, и весь монастырь словно озарялся светом, когда они встречались взглядами.

«Истинное чудо!» — так шептала про себя мать Аеджидия. Укротилась детская необузданность и дикий нрав; ее девочка была сдержанной, послушной и ласковой, не женщина, а просто сокровище. Поэтому она не могла обращаться с Персидой так, как бывало раньше, Персида же чувствовала, как возвышается она в собственных мыслях, видя, что с ней обходятся словно с сестрой или подругой.

В субботу вечером обе они не спали до полуночи и говорили обо всем, кроме одного. А зачем говорить еще и об этом? Персида знала образ мыслей матери Аеджидии и сама здесь, среди монастырских стен, под взглядом монахини, не могла мыслить иначе. Само собой было понятно, что нет ничего превыше желания родителей, особенно если они, как Мара, живут только ради своих детей.

И все-таки Персида вздрогнула от испуга, когда прочла имя Павла Кодряну.

— Что это такое? — сурово спросила мать Аеджидия, чем напомнила былые времена.

Персида протянула ей визитную карточку:

— Он окончил духовную семинарию, я познакомилась с ним в Араде.

— А ты знаешь...

— Я должна увидеться с ним, — прервала монахиню Персида, — а то мама будет недовольна.

Щеки монахини покраснели. На ее голову как будто обрушилась крыша. Страшная мысль! Еще одна потерянная душа! Самая любимая из ее воспитанниц тоже уходит, чтобы провести жизнь среди человеческого греха... Однако со смиренной ласковостью она разрешила:

— Иди, дочь моя! Если это желание твоей матери, то ты должна повидаться с ним сейчас же.

Персида развязала фартук, поцеловала руку матери Аеджидии и удалилась. Держа фартук в левой руке, чтобы повесить его на место, она направилась в зал ожидания.

Персида шла нерешительно — все это было так неожиданно и ей хотелось оттянуть время и подумать.

«Нет! — решила она про себя и подняла голову. — Погляжу, что ему надо».

У двери в зал ожидания она остановилась и вновь задумалась.

— Прошу тебя, оставь нас одних, — попросила она, оборачиваясь к монахине, которая сопровождала ее и обязана была находиться в зале, когда Персида будет разговаривать с молодым человеком.

Монахиня смиренно потупилась.

— Этого я не могу! — ответила она. — Ты же прекрасно знаешь, что этого я не могу сделать, не приняв греха на душу, а за этим последует и наказание, и это ты тоже знаешь.

Персида схватила ее за руку и посмотрела пристально в глаза.

— Прошу тебя, перенеси наказание, за это господь бог простит тебе другие грехи. Очень прошу, — повторила Персида, — ведь мы не сможем поговорить откровенно, если не будем одни!

Монахиня еще более смиренно склонила голову и сделала знак, что удаляется.

Кодряну вздрогнул и вскочил на ноги, когда Персида бодро переступила порог.

— Ты очень удивилась? — спросил он, шагнув к Персиде навстречу.

— Нет, — ответила она, протягивая ему руку. — Увидев твою карточку, я тут же решила, что ты был у моей мамы и она послала тебя сюда.

— Я ее не видел, — пробормотал он. — Правда, я ее искал, но не нашел ни дома, ни на мосту. Но вчера вечером я узнал, что ты здесь, и вот — пришел.

— Так! — проговорила Персида явно облегченно. — Значит, с мамой ты не говорил!

— Еще нет!

Персида пригласила Павла присесть, села и сама. Некоторое время они молчали, чувствуя себя стесненно: он не знал, как начать разговор, она ждала, желая услышать, что ему нужно.

— Я очень удивился, когда узнал, что ты уехала из Арада, — наконец заговорил Павел.

Персида улыбнулась, немного подумала, потом щеки ее порозовели.

Она была готова рассказать ему без утайки, как

все произошло, почему она вдруг решила уехать: так нужно было и иначе она поступить не могла. Однако сейчас, оказавшись с Павлом с глазу на глаз, она чувствовала, что не в силах ничего поведать ему — лучше умереть!

Человеческая мысль в одно мгновение одолевает и время, и пространство, и теперь, в этот самый миг, Персида мысленно видела все, что произошло, видела и Нацла, как он, неприкаянный, бродит по белу свету, потеряв человеческий облик, несчастный не по своей вине. Она примирилась с мыслью, что не сможет помочь ему и им обоим остается только вспоминать то, что произошло, и что, в конце концов, было всего лишь безумием юности. И ей стало стыдно оттого, что она подумала, будто может посмеяться над ним, раскрыв перед другим мужчиной все, что было ведомо им одним.

— Мне опротивела людская суета и шум,— отвечала она,— я так стосковалась по тишине этого дома.

— И ты, конечно, останешься здесь,— усмехнулся Павел.

Персида немного подумала. Ее душа как бы немного возвысилась.

— Ты смеешься,— произнесла она.— Но не нужно забывать, что я выросла здесь и что я — женщина. Вы, мужчины, отважно устремляетесь в мирской водоворот, но и вас часто охватывает тоска по одиночеству. Что же делать нам, женщинам, которые без чужой помощи не могут пройти по жизни?

Кодряну снова усмехнулся:

— Тебе, чтобы найти опору, стоит только пожелать.

— Знаю,— отпарировала она, тоже иронически улыбаясь.— Я молода, красива, разумна. И не хватает только легкого сердца, чтобы выпорхнуть в мир. Но мне становится страшно, когда я думаю обо всех обязанностях, которые будут возложены на меня. Мне кажется, что, когда я выйду отсюда, я не смогу их все выполнить.

— У всех у нас есть обязанности,— возразил Павел.

— Но редко мы бываем довольны тем, что выполняем их,— прервала его Персида.

— Если б было так, то большинство из нас чувствовало бы себя несчастными.

— Мы и есть несчастные, только не чувствуем этого, потому что человек зависим ото всего. Вообрази, что я не останусь здесь. Не могу же я остаться старой девой. Значит, я должна выйти замуж. Скажем, я нашла мужа превыше всех моих ожиданий. Откуда я могу знать, что когда-нибудь не проявлю слабости к другому человеку? Что же тогда делать? Обязана я или нет признаться супругу?

— Обязана! — со всей решительностью заявил Павел.

— А если еще до свадьбы будет такая слабость? — продолжала она. — Опять я должна рассказать всю правду?

Павел вздрогнул.

— Да! — вновь подтвердил он, но на сей раз не столь убежденно.

— Для того, чтобы обрадовать мужа?

— Не только.

— Тогда, — рассмеявшись, сказала Персида, — умнее будет не выполнить своего долга. Зачем рассказывать, если это его огорчит? Мало-помалу я прихожу к мысли, что мой долг молчать, быть лицемерной и, насилуя себя, в меру возможности выполнять другие обязанности. Отвратительная жизнь!

Павел недоуменно взглянул на нее.

— Хорошо, — произнес он как-то неуверенно, — но ведь ты не сможешь остаться здесь.

— А почему нет?

— Потому что это невозможно.

— А почему невозможно?

— Потому, что если я не ошибаюсь, ты православная.

— Это можно изменить, — уверенно сказала Персида. — Когда речь идет о жизни и смерти, никто не посмотрит на такие пустяки. Все мы люди, в конце концов, и господь бог один для всех.

— А я вот не верю, что ты останешься здесь, — вновь насмешливо заговорил Павел.

— И я не верю, — согласилась Персида. — Но хочу только сказать, что, по крайней мере, сейчас нет для меня более соблазнительной мысли, чем остаться в монастыре, и я была бы очень несчастна, если бы мне пришлось его покинуть. Я чувствую себя здесь очень хорошо, а для житейских волнений мне еще хватит времени.

Кодряну начала бить лихорадка.

— Значит,— глухо проговорил он,— ты решила здесь остаться?

— Нет,— отвечала Персида,— я ничего не решила, и если мама мне скажет сегодня, чтобы я покинула монастырь, я его завтра же покину. Я только отвечаю на вопрос, который насмешливо задал ты. Я действительно была бы несчастлива, доведись мне теперь уйти из монастыря. Через год-два,— никто не знает, что будет человек чувствовать,— может быть, я уйду отсюда с легким сердцем, но сейчас это было бы тяжело!

Кодряну понял ее и, не зная, что сказать, пристально смотрел куда-то в угол.

— А если бы я тебя попросил? — робко заговорил он вполголоса.

Персида встала и, выпрямившись, застыла перед ним, опустив глаза.

— Ты ведь знаешь, что я люблю тебя и не могла бы ответить тебе — нет,— тихо проговорила она.— Но и ты меня любишь, а потому и не будешь заставлять меня делать что-то. Если только позже. Не так ли?

— Да,— согласился Павел, поднимаясь.

— Спасибо! — Персида протянула ему руку.

Он взял ее и поцеловал.

— Ты еще пойдешь к моей маме? — спросила девушка.

— Нет! — решительно ответил Павел.

— Спасибо! — поблагодарила она.— До свиданья.

Павел еще раз поцеловал ей руку. Персида вышла, а через некоторое время появилась старая, высокая и худая монахиня, чтобы отпереть дверь, через которую должен был выйти Кодряну.

Глава X КТО ЧТО МОЖЕТ

Великое событие — осенняя ярмарка в Араде!

В течение нескольких недель все проселочные дороги забиты возами, нагруженными богатствами всех семи волостей, чтобы раскинуть эти богатства по площадям, улицам и окружающим Арад луговинам, куда съезжаются телеги с плодами из долины Криша и Муреша, с деревянными изделиями с гор Абруда, с

дарами плодородных полей, где выстраиваются рядами бочки с вином с виноградников и ракией с берегов Муреша, где сбиваются в кучи отары овец, пригнанных из Ардяла, стада свиней из приречных лесов, табуны лошадей, выращенных на горных лугах, и стада скота, собранного прасолами, блуждающими по белу свету.

Какое множество людей, какое смешение лиц, нарядов и наречий! Как будто здесь центр Земли, где встречаются все народы. В сумерки вокруг города горят тысячи костров, возле которых ведут разговоры или веселятся под музыку здесь румыны, там венгры, чуть подальше швабы или сербы, а между ними словаки и даже встречаются болгары.

Но бедных румын здесь больше всего, потому что наступает морозная зима и теплые кожухи, которые никто так не любит, как румыны, поднимаются в цене.

И дело не только в том, что румын желает приобрести кожешок, он любит, чтобы кожух был красиво украшен цветами, вырезанными из сафьяна, и расшит синими нитками из крученого шелка. Не сам кожух, а его украшение — вот что приносит доход кожевнику: если кожух пышно украшен, за него платят щедрой рукой, перебивая друг друга.

Нет для знатока большего удовольствия, чем пройтись по палаткам трансильванских кожевников и перебрать один за другим все разукрашенные кожухи. Что красиво, — то всюду красиво, что и говорить, но таких красивых кожухов, как в Араде, не найти нигде, потому что в других местах редко найдешь человека, который может заплатить за такой кожух.

Трикэ уже давно отработал положенный год, но все еще оставался у Клаича, потому что нелегко ему было расстаться с хозяйским домом и начать свое двухгодичное путешествие. И вовсе не потому, что подмастерья кожевников могли наняться к хозяину только два раза в году: или на святого Георгия, или, чаще всего, на святого Димитрия, когда у кожевников работы невпроворот. Главное, что подмастерье, прежде чем отправиться бродить по свету, должен был показать свое искусство, чтобы хозяин знал, на что он способен и сколько ему можно платить. Поэтому Трикэ договорился с Клаичем, что к осенней ярмарке он сошьет длинный, до самой земли тулуп из белой овчины и украсит его цветами из крученого шелка.

Четыре месяца, не разгибая спины, трудился Трикэ над тулупом, зато и получился он таким красивым, что Клаич решил меньше, чем за двести флоринов, его не отдавать и всем хвастал, что это он вывел Трикэ в подмастерья.

А Трикэ, красный от смущения, прятался за свой тулуп, чтобы быть под рукой, если вдруг объявится хозяин, которому нужен подмастерье. Все такой же долговязый, нескладный и вялый ротозей, он был еще более немытым и нечесаным, потому что уже почти год, как сестра уехала из Арада, и он совсем оставил привычку причесываться, когда садился за стол.

Поскольку кожевнный цех в Араде насмерть стоял за правило, что только на третий день ярмарки кожевники из других мест могут раскладывать свой товар для продажи, Бочьоакэ и первый, и второй день держал свои сундуки на запоре и прохаживался между палатками арадских кожевников, приглядываясь, каков товар выставлен ими на продажу.

— Кто сработал этот тулуп? — спросил он, придирчиво рассматривая вышивку.

— Я! — ответил Трикэ, делая шаг вперед.

Бочьоакэ, такой же худой и высокий, осмотрел Трикэ с головы до ног. Ему казалось, что невозможно такими огромными лапами вышить такие аккуратные цветы.

— Хорошо, парены! А когда ты вышел в подмастерья?

— На святого Георгия.

— Хочешь переехать в Липову? Я — Бочьоакэ, староста цеха.

— Знаю, ведь я сам оттуда.

— Откуда же?

— Из Радны.

Бочьоакэ снова посмотрел ему в лицо.

— Уж не брат ли ты Персиды? Сдается мне, что и ты похож на свою мать.

— Похож! — улыбаясь, подтвердил Трикэ.

— А что было у твоей матери с немцем? — спросил староста, меняя разговор.

— С каким немцем?

— С Хубэром. С кем еще?

— Я ничего не знаю! — ответил Трикэ, очень удивленный тем, что мать, тоже приехавшая на ярмарку, ничего ему не сказала.

— Ну-ну! — пробормотал Бочьоакэ. — Он отобрал у нее мост и, думается мне, надул с лесом в Кладове.

— Я не верю, — улыбнулся Трикэ, — что кто-нибудь может обмануть мою мать.

Бочьоакэ опять взглянул на парня. До чего смысленные у него глаза.

— Ну, так пойдешь ко мне? — снова спросил староста.

— Пойду.

— А что просишь?

— Ничего не прошу, — ответил Трикэ. — Разве это мало — работать у вас? Сколько сочтете нужным, столько и заплатите.

Бочьоакэ был польщен.

— Когда придешь?

— Да сразу же после ярмарки.

— Слово — дело! — проговорил Бочьоакэ, пожал парню руку и отправился дальше.

Трикэ весь горел от нетерпения. Ему хотелось увидаться с матерью, узнать, что случилось с Хубэром, и рассказать ей, как он нанялся к Бочьоакэ, тому Бочьоакэ, который не взял его в ученики.

— Вы это слышали! — воскликнула Мара, упирая руки в бока.

Она была так рада, как давно уже не радовалась. Ей было лестно, что Трикэ поступил подмастерьем именно к Бочьоакэ, а кроме этого ей было так нужно, чтобы сын находился под рукой.

С тех пор, как она узнала, что Кодряну женился и получил приход, она решила, что Персида ни за что не останется у монахинь. Но пока еще не было никакого предложения, чтобы взять ее из монастыря. Персида, правда, сама говорила, что не останется там, но все старалась направить так, чтобы там остаться, и Мара не знала, что же придумать, чтобы забрать ее оттуда.

По воскресеньям и на праздники Мара брала ее домой и ходила с ней в церковь в Липову. Но часто случалось так, что Мара отправлялась на ярмарки, и тогда Персида сама брала кого-нибудь из румынских девочек, живших в монастыре, и шла в церковь. Монахиням это не нравилось, потому что они считали, — да это и на самом деле так было, — что монастырская церковь самая красивая, однако Персида любила ходить в свою церковь, и запретить ей это никто не мог. Постепенно вошло в обычай, что Персида ведет с собой

в церковь всех румынских девушек, и их процессия выглядела так красиво, что все жители Липовы одобряли дочку Мары.

— Очень даже хорошо! — говорила Мара Трикэ. — По праздникам и воскресеньям ты будешь ходить за Персидой в монастырь и провожать ее в церковь. А потом мы посмотрим, что можно сделать, чтобы совсем забрать ее оттуда.

— Ладно! — живо согласился Трикэ. — А с Хубэром что у тебя?

— Что у меня? — переспросила Мара. — Да что я, дура, что ли, чтобы бегать и трудиться, а потом делить с ними доход? Никакой прибыли нет и делить нечего!

— Хорошо, но я слышал, что Хубэр отнял у тебя мост.

— Не нужен мне больше этот мост! Торчи на нем целый день из-за нескольких крейцеров, когда у меня в другом месте столько дел.

Трикэ показалось, что во всем этом нет ничего хорошего. Он не мог примириться с тем, что мать его больше не хозяйка на мосту, хотя все ее звали «Мостовиной». Ему пришло в голову самому взять в аренду этот мост, потому что ему чрезвычайно нравились насыпанные кучей крейцеры и совершенно нестерпима была мысль о том, что впредь и он сам будет выкладывать эти крейцеры, когда доведется переходить мост.

— Знаешь, — обратился он к матери, — я подумал, а не лучше ли будет мне жить вместе с вами, по утрам уходить, а вечером приходить.

— Живи, дорогой! — воскликнула растроганная Мара, — хоть раз и мы заживем, как люди, семьею.

— Только не слишком ли дорого это обойдется?

— Об этом ты не думай, — понизила она голос, — все равно эти крейцеры будут наши. Георге арендовал мост в компании со мной.

После ярмарки по дороге из Арада в Радну Трикэ был посвящен и в остальные дела.

Мара жаловалась, что дела ее идут из рук вон плохо. Она готова была поклясться, что прогорела с лесом и осталась бы совсем на бобах, не выручи ее баржи, которые она выгодно продала после того, как с них сгрузили дрова.

— Только я знаю, дорогой, — рассказывала она, вздыхая, — сколько хлопот мне стоило свести концы с концами. Про меня говорят, что у меня куча денег, а

потому каждый норовит украсть, всякий тужится меня надуть. А тут еще явился поп Исая из Шоймоша и стал распространяться, что, дескать, я скупердяйка и сама виновата, что Кодряну не взял за себя Персиду. Дорогая моя девочка! Погоди, найдет она себе другого и еще лучше этого Кодряну. А он хотел из меня вытрясти всю душу и отобрать последнюю копейку. Неоткуда мне, дорогой, дать больше, чем я могу дать. Ты сам знаешь, что от вашего отца, да простит его бог, многого не осталось. Но не бойся, до вашего добра я даже не коснулась, а мало-помалу и приумножила его, как могла по бедности, чтобы и у вас что-то было. Есть у вас, есть! И ты имеешь, и Персида тоже. Только поп этот просил не одну рыбу, а все озеро!

Мара говорила, говорила без конца и без устали, так что Трикэ ничего не оставалось, как только слушать ее и всему верить. Но когда речь зашла о Кодряну, он тоже вставил свое слово, потому как знал его лучше матери и сочувствовал ему.

— Ты поверь мне, мама,— прервал ее Трикэ,— что Кодряну ничего не требовал.

— Избави бог! — воскликнула Мара.— Он-то нет, но тут вмешался поп Исая и все испортил. Может, оно и к лучшему! Не было и нет! Каждому свое счастье! Не пара он нашей Персиде! Такого, как он, Персида дважды на дню стала бы колотить.

Примерно так думал и Трикэ.

Что и говорить,— теперь, спустя год, сестра его стала еще стройнее и тоньше, так что можно было подумать, что от ветра она согнется, как камышинка. Но она ходила прямо, мелким шагом, как мать-экономка, так что земля, казалось, сама стлалась ей под ноги, а во взгляде и в складках ее рта было что-то упрямое, суровое, безжалостное, словно в любой миг она могла крикнуть: *нужно!*

При всем этом она была очень веселой, и ей бы хотелось собрать всех, всех, всех, чтобы сообщить, что ее брат пришел за ней и что теперь он будет жить в Радне.

— Давай пойдем в нашу церковь,— предложил Трикэ.

Персида немного подумала.

— Нет,— не согласилась она,— давай останемся в Липове, а после церкви пойдем домой.

Что поделаешь, женщина, она и есть женщина! Персида восторженно смотрела на своего высокого и широкоплечего брата, одетого в черную пару и побывавшего у парикмахера, прежде чем явиться к ней. Она поправила ему галстук на шее, одернула сюртук и сдула какие-то пушинки: она хотела пойти с ним в местную церковь, где все ее знали.

А он хотел того, чего желала она.

Но как когда-то, они свернули направо, чтобы пройти мимо мясной лавки.

Какая все-таки разница!

Тогда Персида знала, что Нацл обязательно будет смотреть, как она идет, и потому ощущала какую-то слабость, сейчас же она и не думала, что встретится с ним глазами, и даже не вздрогнула, когда увидела его в дверях лавки, а пристально и безо всякой робости посмотрела на него.

Какая перемена за такой короткий срок! Правда, фартук на нем и теперь был чистый и пробор на гладко причесанной голове белел, как и тогда, но выглядел он заправским мясником: лицо располнело и стало красным, а не румяным, грудь поднималась колесом, рукава на сильных руках были закатаны.

Нацл тоже пристально и безо всякой робости посмотрел на Персиду и ее брата, которому, как видно было, вовсе не хотелось с ним встречаться и он многое бы дал за то, чтобы его сестра не видела Нацла.

Одно только было Персиде не по силам: перейти улицу, чтобы свернуть за угол. Бодро улыбаясь, Персида кивнула головой и прошла дальше вдоль монастырской стены, так что Нацл растерянно посмотрел ей вслед и ответил на приветствие только тогда, когда она прошла мимо.

Все произошло так быстро и неожиданно, и Нацл был настолько растерян, что заметил только то, что раньше у Персиды на лоб и особенно на виски спускались кудри, а теперь она была причесана гладко.

— Когда Нацл вернулся домой? — спросила Персида, когда они отошли от лавки.

— Тебе лучше знать об этом, — недовольно пробурчал Трикэ.

— Почему?

— Ты же здесь уже давно.

— В прошлое воскресенье его еще не было дома. А ты его видел в Араде после моего отъезда?

— Не знаю,— еще более недовольно отвечал брат.— Не припомню. Нет, я не видел его. А тебе какое до него дело?

Персида, улыбаясь, взглянула на брата.

Длинный, как оглобля, ничего не скажешь, но еще подросток, которому через два месяца исполнится только семнадцать лет, ну, что он может понимать?

— Будь умным, Трикэ! Ты ведь знаешь, что с Нацлом у меня ничего нет и быть не может. Именно поэтому я и рада, что никаких глупостей он больше в голове не держит.

— Откуда ты знаешь?

— Сама вижу!

Так думала дочка Мары, но на деле все было не совсем так.

Нацл, правда, не побежал вслед за ней ни в церковь, ни в Радну, но гора с горой не сходятся, а человек с человеком — да; особенно осенью, когда собирают виноград.

Вверх от Радны по длинному ряду холмов раскинулись знаменитые арадские виноградники. На расстоянии целого дня пути до самого Мэдерата у самого подножья холмов село лепилось к селу, а по виноградникам было нарыто столько винных погребов, что никто даже и не пытался их сосчитать.

Что происходит в начале октября во время сбора винограда, это может знать только тот, кто все видел собственными глазами.

Если вечером идти в сторону Арада ровной долиной, перед тобой словно поднимается другое небо: на черном фоне сияет россыпь бесчисленных звезд, это горят костры у винных погребов, на межах и луговинах, уже скошенных и превращенных в выгоны. Время от времени слышится раскатистый ружейный выстрел, то здесь, то там взлетает в небо ракета, и все это заставляет чувствовать, что вокруг, и по холмам, и в долинах, находятся люди, очень много людей.

Неделю за неделей с холмов и из долин сюда непрерывно стекается народ: одни идут, чтобы поработать, другие — чтобы провести несколько приятных дней, все веселые и радостные.

Один раз в году бывает сбор винограда, и было бы грешно в это незабвенное время спать по ночам, когда эти ночи так тихи и прохладны, а луна никогда и нигде не льет так щедро своих лучей, чем в это

время, и кажется, что они стекают по склонам холмов в широкую, словно море, долину.

Здесь флуер, там волынка, чуть дальше гитара и скрипка, гармоника и еще один маленький оркестр, отовсюду слышны то ружейный выстрел, то шипение ракеты, а то и просто радостный вопль, сопровождающий каждое ведро, выливаемое в бочку, и все рассказывают друг другу истории, играют, танцуют, веселятся в озорной суете.

Можно было, не евши, не пивши, отшагать два дня ради такого веселья, а Нацл был и вовсе под боком, в Липове. Как тут сидеть на месте, когда у них у самих есть виноградничек в Пэулишь и сбор винограда пришел и к ним в дом?

В понедельник утром Нацлу стало известно, что Персида не вернулась в монастырь, и он не сомневался, что она осталась дома тоже из-за сбора винограда.

Остальное уже шло само собой.

Во время сбора винограда отправляешься с вечера с приятелем наудачу, куда глаза глядят, перебираешься от одного винного погребка к другому, и только милосердный бог знает, с кем и где ты в конце концов окажешься на рассвете, потому что, куда бы ты ни пошел, люди всюду рады гостям и полны хлебосољства; куда бы ты ни забрел, либо наткнешься на старых друзей, либо обретишь новых.

В понедельник после полудня Нацл уже знал, что и Мара с детьми отправилась на свой виноградник, примерно в полудне ходьбы в сторону Радны, а ближе к вечеру он вскинул на плечо ружье и бодро, по-козьему, взбежал на вершину холма, откуда мог увидеть, когда и в какую сторону направляется дочка Мары.

Он увидел ее и, о боже, чего бы не дал, если бы и она заметила, что это он стоит на холме!

Нацл разом разрядил оба ствола, но стоял он высоко на холме и звук выстрела, отнесенный ветром, прозвучал пустую.

Однако Персида и Мара, находившиеся возле погребка, крытого камышом, обернулись в сторону холма.

До вершины холма было очень далеко, но несмотря на то, что стрелка едва можно было различить, Персида узнала его и в знак того, что узнала, подняла руку.

— Кто это там? — спросила Мара, удивляясь, что дочка обнаружила знакомого.

Персида с улыбкой взглянула на мать. Она знала, что мать в ссоре с Хубэром, но сейчас был сбор винограда.

— Кто там может быть? — ответила она. — Конечно, сумасшедший Нацл!

Некоторое время Мара стояла как остоленелая. Нацл? Опять Нацл? Ей вроде хотелось рассердиться и вроде бы не хотелось. Да что там! Ведь мать тоже женщина и было бы последним делом, если бы она гневалась, замечая, что ее дочка на уме у парней!

— Воистину безумец! — подтвердила Мара, глядя на дочь прищуренными глазами.

— Все прошло, мама, — сказала Персида, догадываясь, о чем думает мать, — и у него все пройдет, когда он увидит, что и как.

Мара была счастливейшей из матерей: не сами слова Персиды, а то, как она их произнесла, убедили ее, что дочь ее самая умная из всех дочерей на свете.

— Вот увидишь, — сказала Мара, — что этот безумец проторчит на холме до самой полуночи.

Этого боялась и Персида.

Но обе они ошиблись.

Нацл действительно выстрелил из ружья для того, чтобы Персида обратила на него внимание. Когда он заметил, что Персида посмотрела в его сторону и махнула рукой и что Мара тоже посмотрела, он уже знал, что они разговаривают о нем и что добрым этот разговор быть не может, — и ему стало стыдно.

«Пустячный человечиска!» — пробормотал Нацл, презирая сам себя, забросил ружье за спину и зашагал дальше. «Чертова баба», — добавил он позднее.

Персида смотрела ему вслед пристальным взглядом и радовалась про себя.

Следующие три дня она его даже мельком не видала, хотя таким девушкам, как она, приходится встречаться со множеством народу во время сбора винограда.

В четверг к вечеру она с женой Бочьоакэ, его двоюродным братом Андреем, который служил писцом у нотариуса в Минише, с секретарем сельской управы из Шоймоша и барышнями Эмилией и Ниной, внучками отца Исаяи, отправились большой компанией на винный погреб отца Иоанна из Миниша.

Они шли от одного погребка до другого, останавливаясь то здесь, то там, так что на дорогу потратили

два часа, а компания за это время возросла до сорока человек.

Стоило посмотреть, с какой радостью, какими криками и каким тушем встретили их музыканты, без которых сбор винограда у отца Иоанна обойтись не мог.

И как же была удивлена Персида, когда среди всей этой толчеи вдруг обнаружился Нацл и с лукавой улыбкой, протягивая руку, направился к ней.

— А ты как здесь оказался?

— Не велико дело! Разве нет у меня друга, который тоже имеет друга, чтобы привести меня сюда? Уж не думала ли ты, что избежишь меня?

— Я вовсе не хотела избегать. Мне очень приятно посмотреть на тебя поближе.

— Да? Ну, это мы еще посмотрим! — с сомнением произнес Нацл и замолк, потому что в разговор вмешались другие.

Все это человеческому разуму неподвластно.

Персида была разумной девушкой и все в своем уме давно решила, но тут она непрерывно следила глазами за Нацлом и смеялась, когда их взгляды встречались. Как будто он был ей братом, словно он был ребенком или частью ее души, так она радовалась, видя, какой он жизнерадостный, разговорчивый, и сердце у нее дрогнуло, когда он пригласил ее танцевать. Он танцевал прекрасно, а она не умела танцевать вальс.

Перед погребом не было площадки для вальса, да и танцующие не очень-то умели танцевать на немецкий манер, но во время сбора винограда люди танцуют и прямо на лугу, а потому восемь пар порхали как им бог на душу положит, словно на вощеном полу.

— Какая ты легкая! — сказал ей Нацл через некоторое время.

Когда-то, на свадьбе, Персида училась танцевать вальс, но с той поры прошло много времени.

— Ты же видишь, что я не умею танцевать! — отвечала она.

— Совсем не умеешь, — согласился он, — но ты такая легкая, что все идет прекрасно.

— Ведь это ты меня ведешь! — настаивала Персида.

— Послушай, что я скажу! — прошептал он. — Я буду тебя вести, если ты это позволишь... Я тебя обниму, чуть-чуть приподниму и поведу тебя, чтобы ты не сбивалась и не отставала!

Персиде хотелось вырваться из объятий Нацла, ударить его так, чтобы он отлетел в сторону. Его наглость была совершенно невообразимой.

Однако Нацл держал ее словно в железных клещах и вращал ее все быстрее и быстрее, так что на них было приятно смотреть, и вскоре все взоры были устремлены только на них.

— Ты меня закружишь, и я упаду! — прошептала Персида, недовольная тем, что стала центром всеобщего внимания.

— Неправда! — отвечал он. — Ты до завтрашнего утра не упадешь. Просто тебе неприятно, что люди видят, как ты танцуешь со мной.

Потом Нацл остановился на том же месте, где пригласил Персиду, вежливо поблагодарил ее и отправился искать другую пару.

Персида, покраснев как маков цвет, хотела было убежать, куда-нибудь скрыться, исчезнуть из этого шумного общества, но только она собралась ускользнуть, как три молодых человека подскочили к ней, приглашая танцевать.

Ох уж эти танцы: кто протанцевал хоть один танец, тот пропал, и чем больше танцуешь, тем неутолимее становится желание танцевать и танцевать. Персиду тоже мучила эта своеобразная жажда, и если раньше ей хотелось убежать отсюда, то вскоре ее стала беспокоить мысль, что Марта, жена Бочьоакэ, может подать знак возвращаться назад.

Однако Марта была не из тех, кто торопится домой.

Правда, у нее было трое детей, но она была красивая, пухленькая и еще молодая, так что явилась сюда вовсе не для того, чтобы стоять в сторонке. Со своим Бочьоакэ, человеком богатым и добропорядочным, но бывшим старше ее лет на двенадцать, да к тому же любившим поучать, она находилась рядом изо дня в день, с писарем же, который был не в пример моложе и куда более разговорчив, умел и шутку подпустить, и словечко на ухо шепнуть, она виделась куда реже. Вне сомнений, она была порядочной женщиной, но если посмотреть на нее со стороны, то вряд ли можно было поверить в это, уж очень она любила сидеть и даже дурачиться с молодежью. Было бы грешно и ей не принять участия в танцах, хотя и она не очень хорошо умела танцевать вальс.

«Грешно!» — говорила про себя и Персида, которая,

в конце концов, была молодой и жизнерадостной девушкой. Правда, танцевать было не так приятно, как вначале, но голова кружилась и глаза ее время от времени обращались в сторону Нацла, который был по-прежнему веселым и неутомимым, но не смотрел на нее, не смотрел и все тут...

Понятное дело! В конце концов, он был прав: она вела себя как избалованная, плохо воспитанная девочка.

Когда танцы кончились, Персида хотела как бы случайно подойти к Нацлу, сделав вид, будто ничего и не произошло, но никак не могла избавиться от господина Брэдяну, молодого адвоката.

Господин Фери Бодьо, королевский лесничий, побился об заклад с отцом Иоанном, что поднимет бочонок с мустом из отборного винограда, стоявший под навесом, и погрузит его в телегу. Ко всеобщему удивлению он это сделал.

— Подумаешь! — пробурчал Игнат, сосед отца Иоанна, вытащил бочонок из телеги и взвалил на плечо к еще большему удивлению всех присутствующих, собравшихся вокруг спорщиков.

Нацл не толкался среди тех, кто разевал рот и ахал от удивления, хотя бочонок был совсем не легонький.

Он нагнулся, схватился за бочонок, чтобы попробовать, каков он, потом поднял его до колен. Потом он поднял его до пояса и, напрягая все силы, взвалил, как и Игнат, себе на плечо.

Персиде стало страшно, она содрогнулась и шагнула к Нацлу, но сердце у нее сжалось, и она остановилась.

— Какая глупая шутка! — сказала она для себя, но не так тихо, чтобы не слышали те, кто был рядом. Все невольно посмотрели на нее.

Нацл снял бочонок с плеча и, постепенно опуская его на землю, поставил к ногам Персиды.

— Попробуй, — обратился он к ней, — и убедишься, что не такой уж он тяжелый, чтобы бояться за меня, будто я его не удержу. Бьюсь об заклад, что и ты его поднимешь на четверть от земли.

Персиде вновь захотелось бежать куда глаза глядят: она оказалась в плотном кругу и устремленные на нее взоры так и жгли ее.

— Какое мне дело, тяжелый он или нет! — строптиво произнесла она.

Нацл, улыбаясь, посмотрел на окружающих.

— Слышали? Говорит, что ей дела нет! Почему говоришь неправду? Скажи лучше, что не хочешь поднять бочонок.

Персида чуть не плакала. Нацл вел себя нахально, но правда была на его стороне, и Персида чувствовала себя униженной.

— Ошибаешься! — заносчиво сказала она, потом шагнула к бочонку, обхватила его обеими руками и напрягла все свои силы, чтобы поднять. Многое бы она дала за то, чтобы поднять бочонок на плечо.

Этого она не могла, но на две четверти от земли все-таки подняла и даже сделала три шага с этим бочонком.

— Bravo! — закричали вокруг.

— Все равно очень тяжелый! — перевела дух Персида.

Во всем этом не было ничего особенного, но все же окружающие, а особенно девушки ощутили, что между Нацлом и дочерью Мары, которая чувствовала себя весьма неловко, что-то есть.

Лаутары¹ заиграли «дробилочку», танец, к которому виноградари имели особое пристрастие. Господин Брэдяну быстро вскочил, чтобы не опоздать и пригласить Персиду на танец.

Нацл, выросший среди румын, говорил по-румынски так же хорошо, как и по-немецки, но дробилочки он не танцевал, потому что в тех местах, где он жил последние два года, ее не танцевали.

Он отошел в сторону, чтобы посмотреть, что это за танец. Дробилочка показалась ему даже не танцем, а каким-то подпрыгиванием, но по мере того, как танцующие входили в раж, все приятнее становилось смотреть на Брэдяну и Персиду. Брэдяну, невысокого роста и полноватый, немного семенил, зато Персида, высокая и статная, подпрыгивала, как трясогузка, держась прямо, а голову откинув чуть назад.

Дробилочка была замечательным танцем, и, в конце концов, ноги Нацла мало-помалу задвигались сами. Он сожалел, что не пригласил Персиду на танец, и ему захотелось поддеть Брэдяну, который не отходил от нее, словно прилип. Когда они проходили мимо, Нацл, чуть склонившись, сказал:

¹ Лаутары — музыканты.

— А потом ты меня научишь танцевать.

Он выпалил это неожиданно для самого себя и тут же себя возненавидел, поскольку Персида, вновь покрасневшая как маков цвет, посмотрела на него так сурово, что у него задрожали колени.

Однако, повернув голову к Брэдяну, Персида улыбнулась: ведь он слышал дерзкие слова Нацла, но истинный их смысл он не должен был знать.

— Он учил меня своим вальсам,— пояснила она.— А я ему пообещала научить нашей дробилочке.

— Значит, я слишком поторопился,— ответил Брэдяну, намереваясь подвести Персиду к Нацлу.

— Не нужно,— остановила его Персида.— У нас будет время и сегодня, и в другой раз.

Они продолжали танцевать, но не так весело, как раньше. Персида, хотя и улыбалась, но была страшно зла. Она твердо решила про себя, что впредь будет остерегаться как огня быть с Нацлом в одной компании. Уж очень бурным и безрассудным был этот молодой человек, она боялась его, но не решалась противопоставить себя ему. Брэдяну, в свою очередь, чувствовал, что она скованна. Через некоторое время, вновь оказавшись на том месте, где Брэдяну пригласил Персиду, он поблагодарил ее и удалился.

Персида направилась прямо к Нацлу.

— Спасибо, барышня,— проговорил пристыженный Нацл,— но я пошутил.

— А я эту шутку принимаю всерьез! — ответила Персида и, взяв его за руку, как ребенка, ввела в круг танцующих.

— Какой осел! — прошептал он по-немецки через некоторое время.— Ужасный осел! Всем ослам осел!

Персида растаяла, как воск на солнце, и ласково взглянула на него.

— Нет,— ответила она тоже по-немецки,— ты только избалованный и капризный ребенок.

— Это все ты виновата,— помолчав, сказал Нацл.— Сам дьявол и тот стал бы тихим как овечка, если бы ты посмотрела на него так, как глядишь на меня. И почему ты всегда так на меня не смотришь? Я просто выхожу из себя, когда ты смотришь на меня сурово.

Персида опять почувствовала себя хозяйкой положения. Она стиснула руку Нацла, пристально посмотрела в глаза и попросила замолчать.

— Всем ослам осел! — вновь пробурчал Нацл и принялся раскачиваться в танце, в то время как Персида подпрыгивала словно на иголках.

Когда танец окончился, Персида попросила Марту пойти назад, потому что было уже поздно.

Нацл тоже увязался за ними. Персида, правда, не приглашала его, но он, посмотрев ей в глаза, понял, что она хочет ему что-то сказать.

Девушки пошли вперед вслед за Брэдяну, а Марта с писарем и Нацлом отстали. Но Марта прекрасно знала, что вовсе не из-за нее Нацл отправился с ними, а потому, спустя некоторое время, подозвала к себе Персиду, как бы желая ей что-то сказать. Поначалу они шли все четверо в ряд, но среди виноградников дорога иногда сужается так, что всем четверым не пройти, а потому Марта распорядилась:

— Молодежь, вперед! Как я вижу, вам только этого и нужно. Только смотрите, не целуйтесь на поворотах, все равно замечу.

Персида чуть не упала в обморок, но что ответить — не нашлась. Такая она и была! Ей действительно хотелось остаться наедине с Нацлом. Она чувствовала себя так, словно падала в глубокую и темную пропасть, однако она ускорила шаг, так что Марта все дальше и дальше оставалась позади.

Нацл, словно замороженный, шел рядом с ней, не зная, как поступить, что сказать.

На повороте дороги он взял Персиду за руку.

Она не выдернула своей руки, и некоторое время они шли, держась за руки, как дети.

— Что ты хочешь от меня? — в конце концов спросила она.

— То же, что и все, когда им нравится женщина! — живо ответил он.

— Ты думаешь, что можешь жениться на мне? — Персида строго посмотрела Нацлу в глаза.

Он пожал плечами.

— Это меня мало трогает, — ответил он, подумав. — Любить друг друга мы можем и без женитьбы, ведь любим же мы, даже не желая этого.

— Что же может выйти из этой любви?

— Не все ли равно! — отвечал Нацл. — Ради этой любви я отрекусь и от матери, и от отца, и даже от бога.

— А я не отрекусь! — решительно проговорила

Персида.— И не брошусь, закрыв глаза, в объятия несчастья.

— Потому что ты меня не любишь так, как люблю я тебя!

Персида еще раз строго взглянула ему в глаза. Она любила Нацла, но даже себе ни разу не призналась в этом и не пыталась даже понять, за что же она его любит.

— Кто это тебе сказал, будто я люблю тебя? Мне просто тебя жалко, потому что ты волнуешься из-за пустяков. Как я могу любить неразумного человека, за которого должна бояться каждый миг? Вот только что ты сказал, что отрекаешься от матери, от отца и даже от бога, как же я могу поверить, что ты не отречешься и от меня!.. Ты безумец и мне жалко тебя!

Нацл отпустил ее руку.

— Ты ошибаешься,— гордо заговорил он,— если я захочу, я тоже могу владеть собой, но желать этого — глупость, когда я знаю, что жизнь у меня одна и в этой жизни я уже никого не полюблю так, как я люблю тебя.

Дорога сделала еще один поворот, и они скрылись из глаз спутников.

— Разве я сейчас не владею собой? — продолжал Нацл.— Мы сейчас одни, нас никто не видит, а я все равно ничего не делаю. Мне бы хотелось взять тебя на руки и унести, куда глаза глядят. А там будь что будет. Кто знает, доведется ли мне еще раз в жизни быть с тобой вот так вдвоем! И все-таки я ничего не делаю.

Персида остановилась и замерла, словно выросла в землю. Она как будто попала в клетку ко льву, но она ощущала не страх, а какой-то безумный порыв.

Она схватила Нацла за руку и потянула вправо за виноградные лозы. Когда же Марта с писарем прошли мимо них, Персида выпрямилась перед ним, уперев руки в бока.

— Вот я,— тихо сказала она.— Видишь, я не боюсь тебя. Можешь убедиться, что я никого не боюсь. Можешь взять и унести меня, можешь сделать со мной, что хочешь. Ну, бери меня на руки!

Нацл стоял перед ней, понурившись как бык.

— Неправда, что ты владеешь собой,— продолжала спокойно Персида.— Ты знаешь, что я этого не допусчу,

и не решаешься приблизиться. Знай, что я возненавижу тебя, если ты надругаешься надо мной, что я буду проклинать тебя всю жизнь и господь накажет тебя, если ты возьмешь меня силой. Но также знай, что я всегда буду думать о тебе с признательностью и жалостью, если ты поймешь, что это господь бог не пожелал, чтобы мы принадлежали друг другу, и оставишь меня в покое.

— Что же я делаю, барышня? — проговорил Нацл, растроганный и униженный.

— Ты ведешь себя так, что встречаться с тобой на людях мы больше не будем. Я не хочу бояться за тебя, не хочу, чтобы из-за тебя люди судачили обо мне. У меня есть мать, и я не хочу омрачать оставшиеся ей годы жизни.

Нацл молчал, а Персида вновь схватила его за руку и увлекла за собой по меже, чтобы опять оказаться впереди Марты.

— Эх, барышня, барышня! — тяжело вздохнул Нацл, когда они выбрались на дорогу. — Ведь мне ничего не стоит умереть, только я очень опасаюсь, что то, о чем ты говоришь, сбыться не может.

— Прощайся со всеми и иди своей дорогой! — ответила Персида, когда они стали приближаться к девушкам и Брэдяну.

И все-таки на сердце у Персиды было тяжело. Когда Нацл удалился, она почувствовала себя несчастной. Ее снедало сомнение: а не умнее ли Нацл, чем она.

«Одна-единственная жизнь у человека, — размышляла про себя Персида, — и невыразимая боль охватывает тебя, когда понимаешь, что она проходит, а ты только терзаешь сам себя. Ах, бедная моя душа!»

Глава XI ДРУГОЙ МИР

Луна, вошедшая во вторую четверть, поднялась до заросшей лесом вершины холма и поблескивала то там, то здесь сквозь густые деревья. В долине же с правой стороны она светила уже давно, а вскоре и в селе у подножья холма встревоженные луной залаяли собаки. Ночь все больше и больше наполнялась лунным светом.

Именно в это время и раскрывалась вся красота осеннего вечера.

Марта поглядывала вдоль дороги, которая поднималась на холм: уже давно она не видела Персиду. Далеко впереди шевелилось, постепенно взбираясь на холм, черное пятно, это, конечно, был Брэдяну с девушками.

— Посмотри, как красиво! — воскликнула Марта, но в голосе ее чувствовалась тревога. — Наверное, Персида с немцем пошли другой дорогой.

Марта ускорила шаг, чтобы нагнать Брэдяну, и вскоре впереди вновь замаячила высокая фигура Персиды.

— Я так и думал, — пояснил писарь. — Они сначала догнали девушек, а потом опять отстали.

То же самое подумал и Брэдяну, когда Нацл с Персидой догнали их.

С левой стороны над холмом с шипением и треском поднялись одна за другой три ракеты.

— Что там такое? — крикнула Марта.

Брэдяну остановился и повернулся в ее сторону.

— Это на винограднике у Корбу, — ответил он. — Пойдемте и мы туда.

Марта и ее дочери знали Андре Корбу, дворянина из Кэрпиениша, который, по правде сказать, ничего из себя не представлял, но ездил в коляске, запряженной четверкой лошадей, а во время революции¹ сидел в тюрьме, но знакомы с ним не были.

— Ничего, — настаивал Брэдяну. — Я с ним знаком и смею вас уверить, что он будет весьма рад, если мы завернем к нему.

Марту соблазнила возможность познакомиться с семейством Корбу.

Персида, которая видела эти ракеты словно во сне, пристально смотрела туда, откуда они взлетали. Там, на холме, был виден свет и, как казалось ей, должно было быть много народа, шума и безудержного веселья.

— Вроде поздновато! — выразила она сомнение.

— Будто! Откуда же поздно? — возразил писарь, вынимая часы. — Еще нет и десяти, луна только что взошла. Во время сбора винограда даже полночь — это не поздно.

— Мне все равно! — согласилась Персида и стала подниматься вверх по склону холма. Ее прельщала

¹ Имеется в виду революция 1848 г.

мысль не спать до рассвета, веселясь вместе со всеми. Она была готова на все, что бы ей ни предложили.

Добравшись до широкой площадки перед винным погребом, она остановилась, задохнувшись от подъема.

Под виноградником, на самом берегу, стоял просторный дом с двумя лестницами вниз, в долину, и вышкой, откуда открывался широкий вид на просторную равнину. Вдоль дома тянулась открытая терраса, на которой горело две лампы: одна висела под потолком, другая стояла на столе.

Справа, в шагах двадцати от дома, пылал костер из сухой лозы, вокруг которого собрались сборщики винограда: мужчины, женщины, дети, кто лежал на земле, кто разговаривал.

С левой стороны, под большим навесом, открытым со всех сторон, стоял огромный чан, а рядом с ним кадь, в которой на мешке с виноградом танцевал здоровый парень. Чуть в стороне, тут же под навесом, двое парней крутили виноградный пресс, в то время как двое других переливали ведрами вытекающий сок в бочки, выстроенные в ряд позади навеса.

За столом на террасе разговаривали трое: пожилой был сам Корбу, из двух молодых людей один был Аурел, его сын, другой Самсон Бурдя, товарищ Аурела по венскому университету.

Госпожа Корбу уехала в Арад, откуда вместе с гостями должна была вернуться завтра.

«Здесь не очень-то повеселишься», — подумала Персида, когда Корбу, узнав голос Брэдяну, встал из-за стола и спустился по лестнице, чтобы пригласить всех пришедших наверх, которым ничего не оставалось, как присесть хотя бы ненадолго.

Бурдя, дурно одетый, приземистый и сутулый, с длинными всклокоченными волосами, безбородым лицом и курносом носом, даже не пошевелился, когда Корбу поспешил вниз по лестнице, но когда на террасе появилась Персида, он посмотрел на нее острым взглядом хорька, от которого ей стало не по себе.

Пока старик Корбу разговаривал с Мартой и ее дочерьми, приглашая их приходиться завтра вечером, когда ожидается нашествие молодежи из Арада, которая непременно захочет потанцевать, Бурдя шаг за шагом, словно паука, подобрался к Персиде.

— Барышня Персида, дочь Мары из Радны? —

спросил он каким-то душераздирающим, пронзительным голосом.

— Да! — ответила Персида.

— Жила у монахинь в Липове, а потом в Араде?

— Да!

— Я тебя знаю, и мне очень приятно, что выпал случай познакомиться.

— Откуда ты меня знаешь, позволю спросить?

— Еще с Вены!

Персида в недоумении пожала плечами.

Бурдя поднял левую руку, приложил указательный палец к губам и, сделав таинственный вид, бесшумно подошел к ней.

— Ты еще помнишь,— тихо проговорил он,— как ветер разбил одно из окон в монастыре?

Персида окаменела. Теперь она знала, кто рассказал о ней этому незнакомому человеку. Ей хотелось плакать от стыда и досады.

Это было непереносимо!

Великие тайны ее жизни были преданы гласности: этот человек знал о ней все и мог об этом рассказывать и дальше. А почему бы и не рассказать? Тщетными были бы все ее усилия воспрепятствовать этому: мысленно она уже представляла, как весь мир судачит только о ней, как люди раздувают из мухи слона, а потом издеваются над ней. Она чувствовала себя совсем пропащей, а Нацл представлялся самым подлым человеком на свете.

— Ты ошибаешься! — только и успела проговорить Персида, потому что Корбу обратился снова к ней, чтобы еще раз повторить свое настоятельное приглашение на завтрашний вечер.

Чтобы избавиться от него, Персида пообещала, что придет, когда же вся компания двинулась дальше, она позвала Бурдю с собою и сделала так, что осталась с ним вдвоем. Этот человек, которого она видела впервые в жизни, казался ей самым близким из людей, это было заметно и по ее взглядам, и по поведению, так что даже Марта, думавшая о чем-то своем, покачала головой и не преминула подтолкнуть писаря локтем, когда Персида с Бурдей пошли впереди них.

— Откуда ты знаешь Хубэра? — спросила Персида.

— Мы с ним друзья детства,— отвечал Бурдя.— В Тимишоаре мы с ним пять лет сидели за одной партией, а в Вене жили на одной квартире.

Персида успокоилась. Она поняла, как это Нацл мог рассказать обо всем, что произошло между ними, и решила, что он счастливый человек. Она тоже в течение многих лет сидела на одной скамейке с разными девочками, но ей ни разу не довелось хоть с одной из них остаться наедине хотя бы на полчаса, и не было среди них ни одной, с кем она могла бы поделиться тайнами своей жизни.

— Я незнакома с этим господином,— заявила Персида.— Несколько раз случайно я видела его, но разговаривала с ним только так, мимоходом. Он для меня, можно сказать, такой же незнакомец, как и ты, и я даже не представляю, что он мог вообразить насчет меня.

— Он истинный безумец, барышня,— отвечал ей Бурдя.— Несчастье его в том, что его родители не решили ему окончить школу. Он вовсе не создан для профессии мясника, но вместо того, чтобы найти для себя другое занятие, он, пользуясь тем, что родители у него люди богатые, стал проводить жизнь за чтением разных книг, которые затуманили ему голову. А ты его не видала после его возвращения из Вены?

Персида на некоторое время задумалась.

Нацл предстал перед ней совсем в другом свете, вовсе не таким, каким она его представляла.

— Я видела его год тому назад в Араде,— отвечала она.— Но разговаривала я с ним тогда очень мало. Он мне тогда показался,— продолжала Персида, искоса наблюдая за Бурдей,— уж не знаю почему, очень несчастным человеком, который ночи проводит в пивных, а днем спит не раздеваясь.

— Превосходно! — воскликнул Бурдя своим тонким голоском и от души расхохотался.— Ты права!.. Так мы и проводили жизнь: днем мы спим одетые, то есть не раздеваясь, как ты говоришь, а по ночам гуляем или сидим в кофейнях, если погода плохая. Но иначе и быть не может,— убежденно говорил Бурдя.— Дни отвратительны, полны шума и разных событий, которые отвлекают нас от самих себя, и только в сумерках жизнь начинает приобретать очарование.

— Но господь бог,— возразила Персида,— создал ночь, чтобы человек мог отдохнуть и набраться сил для завтрашнего труда.

— Глупости! — вспыхнул Бурдя.— Нету большей глупости, чем проспять лучшую часть своей жизни.

Посмотри вокруг, какая тишина, какая прохлада, какой таинственный и нежный свет! Разве тебе не хочется прогулять до самого рассвета? Разве не грешно отправиться сейчас спать?

Персида, воспитанная под неусыпным оком матери Аеджидии, не знала, что ответить, но про себя она была убеждена, что Бурдя не прав.

— Я чувствую этот соблазн,— задумчиво проговорила Персида,— но было бы грешно прогулять всю ночь, ведь тогда завтра я буду ни на что не пригодна.

— Глупости! — снова воскликнул Бурдя, который терпеть не мог мнений, расходившихся с его собственными, и чувствовал себя несчастным, если ему не удавалось убедить окружающих в том, чему он сам безоговорочно верил.

— Барышня,— продолжал он менторским тоном,— тебе известно, человек состоит из двух существ, из физического и духовного?

— Так я верю.

— Веришь, потому что тебе сказали об этом или ты сама думала о природе вещей?

— Этого я не могу сказать,— робко отвечала Персида,— такого вопроса я не задавала себе, но чувствую, что понимаю я иначе, я ничего бы не поняла.

— Превосходно! — удовлетворенно воскликнул Бурдя.— С меня довольно, ибо я вижу, что ты размышляешь. Скажи мне теперь, пожалуйста: что должно главенствовать в моей жизни, тело или душа?

— Конечно, душа.

— Но если она слабее тела?

— Ты должен напрягать волю! — смущенно проговорила Персида.

— Многого хотел бы человек, да немногое он может,— усмехнулся Бурдя.— Барышня,— продолжал он поучать,— утром, после хорошего сна, тело полно сил, оно хочет двигаться, работать, есть, переваривать пищу, иметь удовольствия, и тщетно желала бы ты противиться этому, потому что плоть владеет тобой и подчиняет тебя своим стремлениям. Однако к вечеру, когда тело устало, верх начинает брать душа, и ночь — это день для души, которую затмевает солнце. Ночью мы чувствуем себя легче, беззаботнее, словно освобожденные от тяжелого рабства. Ночью нам выпадают мгновения веселья, по ночам бывают у нас самые счастливые часы в нашей жизни. И если мы после бессонной

ночи действительно чувствуем себя усталыми, то так оно и лучше, потому что отдыха требует не душа, а мерзкое тело. Разве не так?

Персида была побеждена, но вся ее гордость противилась этому. Если даже Бурдя и прав, Персида ни за что не могла признать его правоты.

— Нет, не так! — упрямо проговорила она.

Бурдя, который не делал большого различия между мужчиной и женщиной, готов был дать Персиде пощечину, но сдержался.

— Барышня, ведь над тобой будут смеяться...

— Не будут, — с улыбкой настаивала Персида, — потому что все не так, как говоришь ты. Когда человек болен или устал, то он слабее и душой и не может владеть своими порывами. Человек должен быть здоровым, уравновешенным и всегда трезвым, если речь идет о возможности исполнять его долг, и самым большим удовлетворением в жизни есть исполнение долга.

— Какого еще долга? — воскликнул Бурдя, теряя терпение. — У человека единственный долг — не быть дураком.

— Как хотите, — настаивала на своем Персида, — но ваши бессонные ночи все равно что запой, который делает нас безразличными к завтрашнему дню и ввергает в распутство.

— Так оно и есть, — подтвердил Бурдя, успокаиваясь. — Ты рассуждаешь, как Хубэр, который всю свою жизнь скулит об обязанностях, которые не выполняет, и все время терзается угрызениями совести. Именно в этом запое и проявляется подлинная сущность человека.

— Это — да! — согласилась Персида. — Я признаю, что ночью можно лучше узнать человека, чем днем, потому что тогда сам собою проявляется его настоящий характер, и доброта его, но и зло.

Персида вдруг задрожала всем телом, вспомнив, что она совсем одна. Она почувствовала, что ничего хорошего нет в том, что она столько времени находится наедине с молодым человеком, которого видит впервые в жизни, и представила, как Марта, девушки, а особенно Брэдяну, будут воображать невесть что, но, несмотря на это, не могла расстаться с ним. Ей еще ни разу не доводилось разговаривать так, как сейчас, еще никто, как Бурдя, не затрагивал ее душу, и она чувство-

вала, как ее притягивает вся его манера поведения.

— Ночь — это день для соблазнов и греха, — продолжала она. — Я боюсь бессонных ночей. За все свои дни я готова нести полную ответственность, а за ночи я не решусь отвечать!

Они подошли к погребу, где Мара в полном одиночестве клевала носом в ожидании дочери, сидя перед огнем на мешке, набитом сеном.

Еще не было одиннадцати часов, но девушки и Марта уже думали о завтрашнем дне, а потому то-ропились, и вскоре Персида, Бурдя и Мара остались у огня втроем.

Было несказанное очарование у ночи, проведенной у потухающего костра, у большой кучи раскаленных углей, из которой время от времени вырывался сине-ватый язык пламени. Под лозами, шагах в десяти от костра, спали сборщики винограда, в селе у подножья холма лаяли собаки, а в полночь запели петухи, выше по склону играла шарманка, порой раздавались ружейные выстрелы, осенний ветер шелестел увядающими листьями, летучие мыши кружили над огнем, и в душе Персиды постепенно зарождалось беспокойство, свойственное юности.

Мара придерживалась того же мнения, что и Бурдя, однако она соглашалась и с дочерью. Конечно, ночь, это она сама могла подтвердить, куда приятнее, ведь ночью она родила своих детей. Но надо благословить и день, ведь днем она мало-помалу сколачивает состояние.

Так они разговаривали, и постепенно Мару сморил сон. Персида вновь осталась наедине с Бурдей. Она уже не могла быть с ним с глазу на глаз. Она поднялась и отошла от огня, давая Бурде понять, что ему пора уходить. Но тому уходить не хотелось, и они принялись медленно ходить перед погребом, разговаривая шепотом.

— Значит, вы встречались даже сегодня вечером?

— Да, случайно.

— Куда же он девался?

— Не знаю. Думаю, пошел на свой виноградник, который находится ниже виноградника Корбу.

— Не понимаю. Как же случилось, что он не проводил тебя?

Персида остановилась. Персиде было не по себе из-за всего, что произошло с Нацлом. В эту минуту она была готова броситься искать его, чтобы утешить.

— О, боже! — проговорила она. — Я его боюсь, он такой взбалмошный.

— Взбалмошный? — повторил как бы для себя Бурдя и задумался. — Конечно, он человек взбалмошный, — продолжал он, поглядывая на Персиду глазами хоряка. — Ты действительно думаешь, что встретились вы случайно?

Персида стала нервничать. Было уже за полночь, мать, уставшая от дневных трудов, заснула на мешке с сеном, а этот молодой человек вроде бы не хотел уходить, и она не знала, как избавиться от него.

— У меня даже в мыслях не было, что я смогу его встретить у отца Иоанна! — раздраженно ответила она.

— А он? Ты как думаешь? Он тоже не знал, что вы туда придете?

— Не знаю.

— Не знаешь. А что ты думаешь?

— Думаю, что он узнал, что мы пойдем туда, и пришел, чтобы увидеть меня.

— Прекрасно! — Бурдя иронически усмехнулся. — А ты, если бы узнала, что он тут явится, пошла бы или нет?

— Пошла!

— А говоришь, что боишься его.

Персида гордо вскинула голову. Ей хотелось повернуться к Бурде спиной.

— Ты можешь воображать все, что хочешь, но я боюсь его, потому что он взбалмошный и неуравновешенный. Я и пьяных боюсь, которые сами не ведают, что творят.

— А мне кажется, — с недоброй усмешкой возразил Бурдя, — что боишься ты не его, а собственной слабости.

Персида почувствовала, как вся кровь бросилась ей в голову.

— Нет! — отрезала она. — А что тебе кажется — это меня не касается.

— Отлично! — воскликнул Бурдя с какой-то дьявольской усмешкой. — Завтра вечером я приведу его на виноградник к Корбу. Посмотрим, ты придешь или нет?

— Я приду, словно мне вовсе неизвестно, что он будет там! — Персида была задета за живое.

— До свидания! — проговорил Бурдя, беря Перси-

ду за руку.— Завтра я получу большое удовольствие! Барышня, человек хочет иметь ту женщину, которую он любит, он хочет ее обнимать, целовать, ласкать: этого требует естество, и безумец тот, кто восстает против естества. А этого безумца, Нацла, я вылечу: или ты сдашься, или он тебя бросит. До свидания!

Онемевшая и неподвижная, Персида долго смотрела ему вслед, потом закрыла лицо руками.

Ей казалось, что она пала настолько низко, что больше уже не решится появляться на люди, и ее стала бить лихорадка, когда она вспомнила, что завтра ей во что бы то ни стало придется идти на виноградник к Корбу.

Идти придется обязательно!

А что она может сделать, чтобы не пойти? Что бы это могло с ней случиться? А почему, собственно, она должна бояться?

«Пусть он видит, что я вовсе не такая слабая,— думала Персида.— Пусть забудет все свои мысли обо мне и оставит меня в покое».

И все же...

Дочка Мары была весьма решительна, но она была женщиной и знала, что она любима так, как никогда больше не будет любима, а это совершенно непосильно — быть женщиной и мириться с мыслью, что любящий мужчина возненавидит тебя и полюбит другую...

Перед ее мысленным взором предстал Кодряну. Какая разница! Два человека, а какая разница! Нет! С Нацлом она не сможет поступить так, как поступила с Кодряну.

Луна, следуя своим путем по чистому небу, стала клониться к закату, но теперь, накануне рассвета, ночь уже не казалась такой благостной: стало холодно и порывистый ветер трепал осенние листья.

Персиде хотелось бы побежать, подняться на вершину холма, где Нацл выстрелил из ружья, ей бы хотелось ничего больше не желать, а, закрыв глаза, отдаться на волю другого.

Необычайно длинной, целой жизнью представилась ей эта ночь, и, поднимаясь по узкой тропке на холм, бедная девушка едва могла вспомнить, когда же это было, что она вместе с Мартой ходила на виноградник к отцу Иоанну и что когда-то на этой вершине стоял Нацл.

Не один раз в жизни доводилось Маре засыпать в телеге по дороге в Арад, и не один раз одолевал ее сон за прилавком с фруктами или за столом у моста. Так же сладко, словно в мягкой постели, спала она и сейчас. Однако предраcсветная свежесть и порывистый ветер спугнули в конце концов ее сон.

Мара потянулась, сонным взглядом посмотрела вокруг, потом, вспомнив, что дочка ее сидела и разговаривала с незнакомым молодым человеком, вскочила словно львица и бросилась в погреб, где расстелила сено для Персиды.

Персиды не было.

Нет, Мара и помыслить не могла о том, что Персида ушла с незнакомцем.

Это было невозможно!

Однако она ушла. Куда ушла?

Да куда угодно! Эх, если бы не было в голове этой сонной одури!

Мара вышла из погреба на свежий воздух и огляделась вокруг. Ей показалось, что на склоне холма, выше виноградника, что-то мелькает, туда она и направилась широким, решительным шагом.

— Что с тобой, дочка? — окликнула она Персиду, догоняя ее.

Персида вздрогнула и остановилась, поджидая мать, как спасения.

— Что с тобой? — повторила Мара тихо, прерывающимся голосом.

— Плохо мне, мама, — смиренно ответила Персида. — Не могу я больше здесь, лучше вернусь в монастырь.

— Почему?

— Лучше не спрашивай. Я сама не знаю, что сказать. Мне страшно и противно оставаться здесь.

Глава XII ДВА ЗАКОНА

Нельзя стать хозяином, если, кроме всего прочего, не совершишь двухгодичного путешествия. Так написано в цеховых правилах. И это правильно! Только исподволь, под бдительным надзором, пройдя через многие испытания, после того только, как собственной головой пробьешь многие стены и докажешь, что

способен сам себе прокладывать путь, сможешь наконец и себе головой стать, и учить других.

Хубэр все это прекрасно знал и настаивал, чтобы сын прошел через все испытания.

Но Хубэроайи не могла больше ждать.

Кроме того, что только один сын и был у нее на всем свете и жизнь без него была сплошной мукой, она видела собственными глазами, как портится он с тех пор, как неприкаянный блуждает среди людей. Он стал совсем не таким, каким был прежде, словно его подменили, утратил всякое доброжелательство, ночи проводил неведомо где и все делал только через силу. К тому же ее сыну не было никакой необходимости проводить дни своей жизни, работая на других, когда он мог работать на себя и быть в помощь родной матери. Небо не продырявится, если Бочьоакэ, староста, закроет глаза и не заметит, что до двух лет не хватает шести месяцев. Законы, если говорить по правде, людьми пишутся и выполняются, как люди считают нужным, и превыше закона императорского закон божеский, который предписывает, чтобы сын при необходимости шел на помощь своим родителям.

Достаточно было одного слова Хубэра, чтобы желание Хубэроайи исполнилось, но Хубэр этого слова произнести не желал.

Он считал это для себя неприличным, и все его существо противилось унижению перед Бочьоакэ, поскольку просьба сделала бы его должником. Кроме этого, он не мог смотреть на своего сына доброжелательными глазами. Он был им решительно недоволен, а порой даже стыдился такого сына. Он желал бы себе совсем другого наследника. Куда ни шло, что он был непригоден для профессии мясника, но когда Хубэру пришлось в голову взглянуть в книжку его путешествий, ему захотелось ее бросить в огонь, чтобы никто больше ее не видел. За полтора года своих странствий Нацл работал едва восемь месяцев. Остальное время он праздно шатался, тратя деньги, которые ему посылала мать. Как же мог Хубэр передать свое дело в руки такого человека? Нацлу нужно было еще побродить по белу свету, пообтереться среди людей, перебеситься, чтобы утихомирились необузданные порывы молодости, чтобы прийти в себя и стать уравновешенным человеком.

И все же отец есть отец! Парень был видный и разумный, даже слишком разумный, пока жил дома. Возможно, что, вернувшись домой, оказавшись среди своих, он вновь стал бы таким, каким был.

Унижаться Хубэр не хотел, но волей-неволей стал более снисходительным к кожевникам и даже бормотал что-то по-румынски, когда встречал Бочьоакэ, хотя Бочьоакэ говорил по-немецки куда лучше, чем Хубэр по-румынски.

А Бочьоакэ не достоин был бы быть старостой, не понимай он, куда клонит немец, и не знай, что нужно делать.

Хубэр был на дружеской ноге со всеми чиновниками и мог, если хотел, сделать много хорошего, но и много плохого. Значит, почему же кожевникам из Липовы не поддерживать с ним добрых отношений?

Если бы речь шла о ком-нибудь другом Бочьоакэ, наверное, еще подумал бы, но дело-то касалось сына Хубэра, а тут уж ни чиновники, ни кожевники не обратят внимания на какие-то недостающие полгода.

— Видел я вашего сына, — как бы невзначай сказал Бочьоакэ как-то раз Хубэру. — Видный из себя, хороший парень! Когда будем производить его в хозяева?

— Ему еще полгода странствовать, — ответил Хубэр.

— Ну кто там ведет строгий счет? Порядок этот установлен для подмастерьев, у которых нет ничего за душой, а не для таких людей, как ваш сын. За него стыдиться не придется, да и хлеба чужого он есть не будет, так что со спокойной душой поставим печать, и делу конец.

— Нет! — возразил Хубэр. — Пусть отбудет свой срок, как и все другие.

— Вам легко говорить, — заметил Бочьоакэ, — а вот матери трудно без него приходится. Я разговаривал со своими, хотите вы или нет, а мы его под новое вино произведем в хозяева.

На том и сошлись, а Бочьоакэ договорился с Гергице, самым задиристым из кожевников, что в следующее воскресенье, когда соберутся самые уважаемые члены их цеха, все это сладить. И Хубэроайе он тоже шепнул словечко, что, конечно, было уже лишним.

Бочьоакэ был не только старостой кожевников, но и известным певцом на клиросе и имел о людях понятие.

В четверг вечером вернувшись с прогулки на виноградник отца Иоанна, Марта, как обычно, рассказала ему, где она была, что видела, с кем и о чем говорила.

— Ну и девица эта Марина Персида! — рассказывала она. — Посмотреть на нее — святая, да и только, а как за мужчинами бегаёт, противно даже смотреть.

Бочьоакэ знал свою жену и не очень полагался на ее слово. Была она женщина и любила посудачить о других, скорее позлословить, чем сказать что-то доброе. Тут уж ничего не поделать — на другую колодку не переделаешь! Но на этот раз Бочьоакэ посмотрел на жену сурово. Большое сочувствие имел он к Персиде. И не в том дело, что на нее приятно было смотреть, когда она, такая смиренная, стояла в глубине церкви. После того, как народ стал поговаривать, что Мара, дескать, продала свою дочку в монастырь, Бочьоакэ задумал увести Персиду от католических монахинь и приобщить к православной церкви.

— Мне ты можешь говорить все, что только в голову взбредет, — спокойно заявил Бочьоакэ жене. — Но прошу тебя, перед другими этого не болтай.

— Слово я дура слепая, ничего не вижу и ничего не понимаю, — отвечала задетая Марта. — Издалека видно, что спуталась она с сыном Хубэра. Где уж они познакомились, не знаю, но спутались они так, что не распутаются.

— Это их дело! Тебе-то что! — отрезал муж. — Делай вид, что ничего не видела, ничего не понимаешь.

Бочьоакэ не поверил жене. Ему казалось невозможным, чтобы помыслы такой девушки, как Персида, не поднимались выше сына Хубэра. Совсем другой представлял себе Персиду Бочьоакэ.

И все-таки ничего невозможного в этом не было: Нацл был парень опрятный, рослый и статный, умом его бог не обидел и в школе он учился, а сам Хубэр был богат и других детей не имел. И не такое уж чудо, если дочка Мары и особенно сама Мара направят свои помыслы на доброе состояние Хубэра.

Уж не такое невозможное было это дело.

В субботу утром Бочьоакэ узнал от жены, что накануне на винограднике у Корбу было много разных людей и Нацл тоже туда пришел, но вот Персиды не было — она вновь вернулась в монастырь.

Тут Бочьоакэ почувствовал, что дело не совсем чисто, и потерял покой. Ведь и он был человеком, и совесть

не позволяла сидеть равнодушно, когда бедная вдова, просто на удивление, одолевала все свои невзгоды. Кто же ей придет на помощь, как не он, староста кожевников и вместе с тем хозяин ее сына? Он был ей самым близким человеком и имел право и даже был обязан во всем разобраться и сделать все возможное, чтобы эта женщина видела, что и она не одинока на белом свете.

После полудня он отправился, будто гуляя, на виноградник к Маре.

Мара отбирала виноградные гроздья, связывала их парами лыком и подвешивала на слеге, протянутые в винном погребе.

Достаточно было взглянуть на нее, чтобы понять, что она чем-то взволнована. Правда, она не знала, что произошло, почему Персида так неожиданно решила вернуться в монастырь: она не настаивала, чтобы дочь все ей рассказала. Однако подозревала, что Нацл и теперь не оставляет ее в покое, и была очень довольна решимостью и рассудительностью своей дочери.

Трудно ей будет? Пусть будет! Ничего не поделаешь. Нужно и через это пройти. Уж на то пошло, лучше потерять дочь, чем стать посмешищем в глазах людей!

И все же... время от времени Мара вдруг застывала, поднимала голову и засучивала рукава.

Мара чувствовала себя так, словно дочь ее страдала от тяжелой болезни, которую могли одолеть только время да здоровый организм, а ей самой оставалось только терпеть и ждать. Однако господь бог создал Мару не для ожидания. Деятельная натура всегда толкала ее вперед. Мара всегда должна была действовать, что-то делать.

А что делать?! Дочь ее просидит всю жизнь в монастыре, спасаясь от этого немца? Разве нет для нее другого спасения? Разве не может она, Мара, взять этого немца за грудки и научить уму-разуму? Разве не может поговорить с Хубэром накоротке, чтобы он приструнил своего сына?

Но виноград, разложенный на рогоже, не мог ждать, и Мара вновь принималась связывать гроздья парами и развешивать их на слехах.

— Бог помочи! — поздоровался Бочьоакэ. — Как же так? Ты одна? А где же твоя спорая дочка?

Мара всегда питала слабость к Бочьоакэ, которого считала самым рассудительным человеком во всей до-

лине Муреша. А теперь, когда он взял в свой дом Трикэ, она смотрела на него так, словно и ей он был хозяином. Но несмотря на это даже Боцьоакэ не мог задавать ей вопросы о Персиде, на которые она не могла ответить.

— У них и в монастыре дел хватает,— отвечала она, одергивая платье.— Нельзя же мать-экономку оставить одну, когда на нее столько всего навалилось.

Чувствуя, что Мара не желает говорить о своей дочери, Боцьоакэ переменял разговор.

— И много у тебя такого хорошего винограда?

— Есть,— отвечала Мара.— В этом году хороший урожай. Только изредка попадаются порченые виноградины. Потом я еще прикупила у соседей — на выбор. Тысячи две пар наберется, пожалуй, и бог даст, большая часть довисит до зимы.

— А с лесом как дела?

И это был не тот вопрос, на который Мара могла ответить четко и ясно.

— Тяжеловато. Не такой бедной женщине, как я, браться за такое большое дело.

— Говорят, что ты в компании с мясником,— проговорил Боцьоакэ, подчеркивая слова.

— Избави бог! — воскликнула Мара.— Потому как у меня не столько денег, чтобы войти в такую большую сделку, я заняла у него под десять процентов на три месяца. А теперь он недоволен, что я покрыла долг, а у него ничего не заняла. Он бы хотел, чтобы я бегала, несла убытки, если дела идут плохо, а если есть прибыль, то он тут как тут — мой напарник.

— Ну, к этому дела и идут! — пошутил Боцьоакэ.— Кто знает, что может случиться? У тебя дочь, у него сын.

Мара испуганно взглянула на Боцьоакэ, потом вновь склонилась над рогожей и стала связывать лыком виноградные гроздья.

Слышать это ей было очень тяжело, но что ответить, она не знала.

Если бы кто-нибудь другой сказал ей об этом, она, возможно, его тут же бы пристыдила, припомнив всю его жизнь. Но Боцьоакэ вроде бы имел право вмешиваться в ее дела, и ей было приятно, что он пользуется этим правом и не оставляет ее одну в беде. Однако ей было больно, что и Боцьоакэ, возможно, верит во все это. И все же Мара не могла сказать решительно: нет!

— Мне жалко,— мрачно проговорила она,— что ты считаешь меня за слабого ангела. Один господь бог знает, как он пожелает, чтобы мы утешились и как поругались, да исполнится его воля. О себе я не думаю: будь моя воля, я бы свернула ему шею, как цыпленку. Но хотя я и мать, мне не дано ее удерживать, потому что она умнее меня.

— Значит, это она его хочет? — спросил Боцьоакэ с сомнением в голосе.

Мара покачала головой.

— Нет! — твердо и решительно заявила она.— Со всем она его не хочет, это он бежит за ней. А ведь никто не знает, когда у женщины может наступить миг слабости. Вот я, бедняжка, и думаю,— добавила Мара со вздохом,— боюсь, ой, как боюсь, а что сделать, не знаю.

— Вовсе не так! — уверенно сказал Боцьоакэ.— Все ты знаешь, что нужно делать. Молодость, она шальная и слабая, за ней нужен глаз да глаз, ее нужно оберегать от беды. Положись на меня, я тут самый старший. А ему нечего делать в Липове: или он уезжает, чтобы окончить свое путешествие, как положено, или на всю жизнь останется в простых подмастерьях!

— Упаси господа! Не делай ты этого,— воскликнула Мара.— Как бы еще хуже не было!

— Мне тебя слушать нечего. Я — староста и исполняю свой долг. Хотел я было закрыть глаза,— Боцьоакэ понизил голос, говоря словно сам для себя,— видя, как томится его мать, но раз тут замешано другое дело, посерьезнее, я соблюду закон. Пусть себе отправляется, а наша забота — чтобы к его возвращению Персида была замужем. Жениха я ей найду. На каждый ее палец найдется мальчик!

Ничего лучшего Мара и желать не могла.

В воскресенье, когда собрались все доверенные люди цеха, староста молчал, когда же Гергице заикнулся о сыне Хубэра, он только и сказал:

— Оставим это дело! Есть еще время! Пусть себе созреет!

Примерно так же думал и сам Нацл.

Нечего ему было делать в Липове.

В ту ночь, когда он расстался с Персидой, он бежал по холмам, не чуя под ногами земли. Ему хотелось идти, все время идти, так, чтобы следы его затерялись и все на свете забыли о нем и только одна Персида помнила каждый миг, что он и хотел, и мог, но сдержал себя,

потому что так сильно любил ее, что пустился странствовать по белу свету, лишь бы она могла жить без всяких огорчений.

Так он чувствовал, так понимал, об этом были все его мысли.

После тяжелых и долгих переживаний он пришел наконец к решению, которое низвело на его мятущуюся душу ясность и спокойствие, ибо ничто так не возвышает человека, чем мысль о том, что он может преодолеть себя и отказаться от самого желанного в жизни.

Поэтому на следующий день, когда он встретился с Бурдей, он почувствовал себя так, словно на его пути встал сам демон-искуситель.

— Нет! — воскликнул Нацл, скрипя зубами. — Оставь меня в покое! Я знаю, что она придет, но я-то там не буду!

— И ты придешь! — усмехнулся Бурдя. — Я видел ее собственными глазами, разговаривал с ней и убежден, что ты тоже придешь. Наступает вдруг какой-то момент, когда вспоминаешь, что ты и на самом деле ее видел, и тогда перестаешь владеть собой. Я тоже человек, и ты не можешь быть иным, чем я, а я отдал бы все самое дорогое и святое на свете за один только миг, когда бы я мог поверить, не зная, а только поверить, что такая женщина, как она, меня любит. Если меня бросает в дрожь, то воображаю, какая лихорадка бьет тебя, когда ты думаешь: все равно она меня любит.

— Да не любит она меня! — закричал Нацл. — Не за что ей любить меня!

— Врешь! — спокойно возразил Бурдя. — Ты прекрасно знаешь, что она тебя любит, а ты обманываешь сам себя, лишь бы не признаться в этом передо мной. Невероятнейшая глупость! — продолжал он, усмехаясь. — Я видел ее и говорил с ней и теперь знаю, что она тебя любит. И все, кто видел вас вдвоем, тоже знают, что она любит тебя. А ты хочешь, чтобы я поверил, будто одни только вы, именно вы, ничего не знаете, во всем сомневаетесь и даже не верите, что любите друг друга? Знай, что она куда честнее тебя: она все знает и не стесняется в этом признаться. Но почему вы любите друг друга? Об этом лучше не спрашивать! Все в этом мире имеет свое «потому что», но любовь, она из другого мира, она является, как гром среди ясного неба, неведомо почему, захватывает, неведомо как, и исчезает, неведомо где. Сегодня вечером ты пойдешь со мной,

ты будешь просить, чтобы я повел тебя на виноградник к Корбу. Пойдешь, пойдешь! Сам увидишь, что тебе захочется, когда ты об этом и думать не будешь!

— Я тоже чувствую,— согласился Нацл,— что это вроде судьбы. Мне часто кажется, будто я стою на краю пропасти и погибну, если не отступлю назад, но меня притягивает бездна, голова кружится, и в любой миг я готов броситься вниз, закрыв глаза — будь что будет! Не для меня эта девушка, и я не для нее: это несчастье, что мы увидели друг друга, и единственное наше спасение в том, чтобы больше не видеться!

— Как будто это зависит от ваших желаний! — насмешливо возразил Бурдя. — Вы повстречались для того, чтобы страдать, и будете еще встречаться, пока не исчерпаете полную меру страданий.

Нацл упрямо покачал головой.

— Для того, чтобы правильно судить,— в голосе Нацла прозвучала глубокая горечь,— ты должен знать, что за люди мои отец и мать. Нет! — неожиданно воскликнул он. — Наше супружество может привести только к смерти моей матери. Слишком много страдала бедная моя мать, и мне будет невыносимо видеть, если она станет страдать еще больше. Знаешь, наступает такой момент, когда ты не знаешь, что делать, и будь в руках топор, раскроил бы сам себе голову. Не будь я таким, какой я есть, не нужно было бы мне бросать школу и тогда я мог бы стать ее мужем.

— Ты с ума сошел! — прервал его Бурдя. — Что ты городишь? Как будто только о супруестве вы и думаете?! Как будто поп и родители обязательно должны совать нос в ваши дела? Подлови ее как-нибудь за углом, люди вы или не люди?!

Нацл задрожал всем телом. Он хотел схватить Бурдю за грудки, тряхнуть так, чтобы лязгнули кости.

— Святая икона! — воскликнул он, поднимая руку. — Пусть лучше с меня сдерут кожу, чем я оскверню мое божество, которому поклоняюсь.

— Так все вы говорите до тех пор, пока не надоест поклоняться, а потом берете икону и оскверняете ее, чтобы спастись! — усмехаясь, проговорил Бурдя, в то время как Нацл отрицательно мотал головой: нет, нет и нет!

Вечером, однако, он отправился на виноградник к Корбу и бродил сам не свой, узнав, что Персиды не

будет, что она и приходить не собиралась, а вернулась в монастырь.

— И теперь скажешь, что не любишь ее? — зло спросил его Бурдя.— Да ты из черта четверых сделаешь, чтобы вызволить ее из монастыря.

Нацл ничего не ответил. Им владело одно желание: уйти отсюда, убежать, бродить одному по холмам и долинам.

Он все время видел перед собою мать, как она стоит одна-одинешенька посреди лавки, и сердце его обливалось кровью. Ему хотелось завывать по-звериному, чтобы эхо прокатилось по долинам и вздрогнуло все, что чувствует боль.

Нет! Он не мог уйти, не мог — и все тут!

Бедная мама! Только и оставалось у нее на всем белом свете одна опора, одно утешение, и мир перед Нацлом светлел, когда он думал, что может скрасить жизнь своей матери.

«А все остальное,— думал он,— приходит и уходит, и лишь порою всплывает, как воспоминание, и то, как во сне».

Но дни проходили за днями, а от Бочьоакэ все не было никакой доброй вести.

И по мере того, как утекали дни, Хубэр делался все мрачнее, а его жена беспокойнее.

Человек, достаточно поживший среди людей, Хубэр знал, как делаются дела, что Бочьоакэ сам не придет к нему. Но ему было бы легче получить при всем честном народе пощечину, чем запятнать себя поклоном, этого он боялся больше всего на свете. Однако он не сердился ни на Бочьоакэ, ни на кожевников: они были правы, они исполняли только то, что должны были исполнять. И все-таки жена заставила его унижаться, а сын сделал посмешищем перед людьми.

— Ты говорил с Бочьоакэ,— спросила в конце концов Хубэрзайя,— или просто мне голову морочишь?

Хубэр пристально посмотрел на нее.

— Я действительно сделал эту глупость,— ответил Хубэр.— Чтобы ты не приставала! — добавил он с горечью.

— Не знаю, как ты с ним говорил, только вижу, что толку нет никакого.

— А какой тебе нужен толк? Сама видишь, что вот уже несколько дней, как сын домой не приходит. Где он шляется, где проводит ночи, одному ему из-

вестно. А если ты видишь, то и другие не слепые. Как можно произвести в хозяева такого лоботряса. Стыд и позор!

— Если ты отец, то как не позаботиться о сыне?! — попрекнула расстроенная жена. — Ты все знаешь, но хоть раз бы поступил так, как все другие отцы, приструнил бы его и вернул на путь праведный. Не был он таким! Ты же прекрасно знаешь, что не был. А что может бедная женщина, как я, если...

— Замолчи! — резко оборвал жену Хубэр. — Это ты его испортила, набивая ему карманы деньгами! Я не так выбивался в люди. Таков, как я есть, со всеми моими грехами, я твердо стою на ногах, потому что не ждал, когда мне другие постелят постельку. Нужно, чтобы и он узнал, почем фунт лиха. Каким ты его сделала, таким и имеешь. А я и знать его не хочу. Глаза бы мои на него не смотрели.

Как бы там ни было, но Хубэр оставался отцом своего сына, а потому не мог успокоиться и жить как привык. В его душе что-то кипело, и он, сам того не желая, куда чаще, чем обычно, заглядывал в мясную лавку.

Наконец в воскресенье, зная, что в этот день всегда много покупателей, Нацл стоял на своем месте и отвешивал мясо какой-то служанке, когда отец, молча, вошел в лавку и сел на стул рядом с женой.

— А ты чего делал? — обратился он к сыну, когда служанка удалилась.

День клонился к вечеру. На колокольне еще не прозвонили, но люди уже направлялись к церкви, и Нацл принялся сметать с колоды крошки, чтобы выбросить, как обычно, в помойное ведро.

— Где ты был, что мы тебя несколько дней и в глаза не видели? — спросил Хубэр.

Нацл ссыпал крошки в ведро, потом взял тряпку и принялся вытирать ножи и класть их на место.

— Ты что, не слышишь меня? — раздраженно окликнул его отец.

Нацл воткнул в колоду топор, который он вытирал, потом с тряпкой в руках повернулся с улыбкой к отцу.

— Ты прекрасно знаешь, что я слышу. Но сказать, где я был и что делал, не могу.

— Это очень плохо!

— И я не говорю, что это хорошо! — согласился

Нацл и, снова отвернувшись, стал вытирать топор, чтобы положить его на место, как положено.

Очень трудно ссориться с человеком, который признает свою вину, но Хубэру хотелось выбрать сына, а равнодушие Нацла только подлило масла в огонь.

— Бездельник! — отец повысил голос. — Не ставляй меня на посмеище. Будь у тебя борода по грудь, все равно я могу надавать тебе пощечин и выгнать вон. Здесь я хозяин!

— Права отца и хозяина никто отобрать у тебя не может, — отвечал сын. — Но прошу тебя, не пользуйся ими здесь, потому что мимо идут люди и позор падет не только на меня.

— Позора от тебя и так не оберешься! — почти прошипел Хубэр.

— Именно потому, что позор этот от меня, не добавляй к нему и от себя.

— Добавлю! — сквозь зубы проговорил отец. — Пусть люди знают, что мне известны все твои мерзости, пусть знают, что я их тебе не спускаю.

— Отец, — спокойно возразил Нацл, — я знаю, что ты сердисься и ты прав. Завтра я уйду, а если хочешь, то и сегодня. И я не хочу, чтобы мы расстались поссорившись.

— Так знай, — сурово отчеканил отец, — если не станешь порядочным человеком, — нечего тебе делать в моем доме.

— Поступай, как знаешь! — ответил Нацл, вновь принимаясь убирать ножи. Через некоторое время он пробурчал по-румынски: — Немцы хмельные ругаются, как слепые. — Потом снова перешел на немецкий: — Да, они правы, когда смеются над нами.

Это задело Хубэра. Он вскочил, гневно посмотрел на сына, но не стал продолжать перепалку, а вышел из лавки, даже не оглянувшись.

Хубэроайя все время стояла рядом, и сердце ее сжималось от боли. Оставшись наедине с сыном, который продолжал прибираться в лавке перед закрытием, она принялась вытирать слезы, наворачивавшиеся на глаза одна за другой.

Нацл не видел, как плачет мать, но знал, что она плачет или должна плакать, и не решался посмотреть на нее. Заперев дверь на улицу, он сел, все так же спиной к матери, на табуретку, возле колоды и застыл, положив руки на колени, закрыв глаза и опустив

низко голову. Он ничего не ощущал, ни о чем не думал. Он был разбит, и все вокруг представлялось ему пустыней.

Мать глухо зарыдала.

— Мама! — Нацл наконец повернулся к ней. — Не плачь, тебе еще придется много плакать. Меня ты больше уже не увидишь! Не надо плакать, потому что случилось ужасное несчастье! Я не знаю, что сделаю, если встречу с отцом!

Хубэроайя вытерла слезы, встала и с опаской взглянула на сына.

— Нечистое это дело, — проговорила она сурово, — и господь знает, если никто другой здесь не замешан, чтобы нарушить покой моего дома, знает и не простит, потому что это великий грех!

Нацл, чувствуя, что его начинает бить озноб, пристально посмотрел на мать, потом взял шляпу и вышел. У него было такое чувство, что теперь он остался совсем один на всем белом свете.

Глава XIII СТАРЫЕ ДОЛГИ

Долг надо выплачивать вовремя, и в этом имеется свой смысл, потому что если даже пренебрегать им, то он вовсе не пребывает застывшим, а движется и растет так, что в конце концов с ним уже не совладать.

Нацл боялся, что ничего хорошего не произойдет, если он встретится с отцом, а потому все устраивал так, чтобы им не оставаться наедине. Приняв же решение больше не видеть его, он думал попросить денег на путешествие у матери и уехать как можно быстрее. Но ее слова о наказании божьем обрушились на него такой тяжестью, что он не мог оставаться наедине даже и с матерью. Он боялся, что не сможет сдержаться, и не хотел под самый конец произнести суровое слово.

Он вырос, как говорится, маменькиным сынком и даже помыслить не мог, что в жизни может быть что-то такое, о чем он не сможет поведать ей. Но на этот раз сердце его взбунтовалось. Нацл знал, что мать поймет его, утешит, придет на помощь в его тяжелой душевной борьбе. Но знал он и то, что мать все передаст отцу, а вот этого он не желал.

Ему было за что пожаловаться на отца. Однако в человеческой натуре не замечать грехи родителей, и Нацл не однажды говорил себе: «Он твой отец и ты не вправе судить его!» Поэтому он всегда испытывал угрызение совести, когда случалось проронить резкое слово о своем отце. И действительно, нет ничего больнее, чем не иметь хорошего мнения о своих родителях. Это и чувствовал теперь Нацл на каждом шагу.

Мало того, что отец, как представлял себе это Нацл, во всем виноват, но больше всего он боялся, что его упрямый отец, что-то узнав, учинит скандал: или поругается с Марой, или остановит на дороге Персиду. Так в сердце Нацла угнездилась настоящая вражда к отцу. Ему часто хотелось пойти и отыскать его, схватить его где бы он ни попался, а там будь что будет. Нацл чувствовал, что он уже не сможет сдержаться, если услышит еще хоть одно грубое слово. Он даже с матерью уже не мог встречаться глазами. Нацлу было безумно тяжело, но и сдерживал себя он через силу.

Но хуже всего было то, что таким образом не достигалось примирение, а все только откладывалось и еще сильнее запутывалось.

Поскольку уйти с пустыми руками он не мог, Нацл занял у Гринера, торговца кожами, триста флоринов. Еврей с радостью не только дал в долг, но и просил дать знать, если еще возникнет необходимость, он ведь знал, что Хубэроайя заплатит, только бы не узнал Хубэр, заплатит и сам Хубэр, лишь бы не узнали люди.

Так все оно и случилось.

Хубэроайя была безутешна, что сын ее может так сердиться на своего отца, но в конце концов признала, что он прав: все-таки разумнее было просто уйти, чем поссориться. А то, что он ушел, не попрощавшись и с ней, тоже было понятно: она не позволила бы ему уйти, не известив об этом мужа. Она даже поблагодарила Гринера, когда он явился через несколько дней и под полным секретом сообщил ей, что дал Нацлу денег на дорогу.

Хубэра словно обухом по голове ударили, когда он узнал, что его сын ушел даже без материнского благословения. Он знал, насколько Нацл привязан к матери, и из этого мог понять, как велико было его расстройство, что он мог оставить ее в такой печали. Что и говорить, но нет в этом мире сильнее боли, чем

страдания родителей. Хубэр ничего не говорил, не жаловался, но весь как-то размяк, и теперь, когда имел полное право укорять сына, сам испытывал угрызения совести, потому что все грехи, проявившиеся в сыне, ощущал будто свои собственные.

Хубэр мучился совестью и прилагал все усилия, чтобы утешить жену.

В глубине души он все время повторял слова, которые ему сказал Нацл. «Тебе-то легко,— как будто твердил Бочьоакз,— но тяжело твоей жене». Суровый упрек заключался в этих словах, но еще более суровое обвинение звучало, когда он вспоминал слова: «Они правы, когда смеются над нами».

Хубэру было тяжело глядеть в глаза людей. Ему казалось, что все знают, что произошло в его доме, и он боялся, что кто-нибудь спросит, что такого натворил его сын. Он предпочитал сидеть дома, искал себе какое-нибудь дело и даже взял на себя часть забот, которые до сих пор его жена несла в одиночку.

Так без долгих разговоров, как-то незаметно изменился дом Хубэра: все выглядело так, словно муж и жена встретились после долгой разлуки и вновь стали жить вместе, сблизившись еще больше, чем это было в юности. Поначалу это ощутили только две служанки и приказчики, но слух, как злой, так и добрый, переходит от человека к человеку, и вскоре вокруг узнали, что все переменилось в доме у Хубэра.

Миновало три недели, когда Хубэроайя получила наконец долгожданное письмо, в котором сын извещал, что он приехал в Буду и был у Ханслера, одного из ее двоюродных братьев. Нацл просил у матери прощения, что ушел не простившись и что занял денег у Гринера. Об отце же он не обмолвился ни словом.

Хубэроайя разрыдалась.

— Перестань! Так оно лучше! — утешал ее муж. — Перебесится и он, перегорит. А исподличаться — не исподличается, не в кого ему.

— Должно быть, есть у него какая-то слабость, какая-то женщина, которая свела его с ума, — пожаловалась огорченная Хубэроайя.

— В это я не верю. Такие дела рано или поздно всплывают.

— Возможно, что все люди знают, только нам никто ничего не говорит, — возразила жена.

Хубэр не верил, но вполне возможно, что здесь была замешана женщина, и он бы многое дал, чтобы узнать правду.

Но не от кого было узнать.

Прошло уже двадцать шесть лет, как он живет в Липове, но только теперь он почувствовал, что как был чужаком, так чужаком и остался. Имел он знакомых, были даже приятели, с которыми он играл в карты и которые с удовольствием принимали приглашения на обед, но среди них не было ни одного, с кем бы он мог поговорить по душам.

Вина, в конечном счете, была его, поскольку друзей имеет тот, кто сам умеет дружить; а Хубэр был зол на весь свет и все больше замыкался в себе.

Но больше всего Хубэр злился на кожевников и особенно на Бочьоакэ, который имел большой вес и при желании мог повернуть все так, чтобы Нацл остался дома.

Еще более расстроенным был Бочьоакэ. Мало того, что он пообещал сделать незаконное дело и не сделал, он еще не мог и оправдаться, почему он не выполнил того, что обещал.

Нет! Этого он даже своей жене не мог бы сказать.

Повесил с божьей помощью человек, себе хомут на шею.

Персида не отказывалась выйти замуж.

Зная, что мать хочет как можно скорее увидеть ее замужем, она, хотя ей исполнилось всего восемнадцать лет, считала себя старой девой и решила про себя, что пойдет под венец с первым, кто за нее посватается.

Случайно им оказался Брэдяну.

В один из дней, после того, как забродило вино, Мара взяла Персиду из монастыря домой. В течение целой недели, пока Персида жила в доме Бочьоакэ, она каждый день виделась с Брэдяну, а Бочьоакэ про себя только посмеивался. Потом Персида отправилась домой, к матери. Само собой было понятно, что предстоят приготовления к свадьбе.

Но вдруг неожиданно все переменялось. Неведомо почему, Персида вновь вернулась в монастырь, где мать Аеджидия ожидала ее с распростертыми объятиями.

Как и тогда, когда Кодряну приходил в монастырь, Персиду вдруг обуял страх, что она берет на себя

такие обязанности, какие, как она чувствовала, еще недостойна нести.

С этой поры так и пошла ее жизнь: то здесь, то там, сегодня она у матери, завтра в доме Бочьоакэ, потом опять в монастыре, все время в каком-то неопределенном волнении.

Порой ее охватывала безнадежность. Ей представлялось, что перед ней стоит Бурдя, издевается над ее тревогами и говорит о тщетности ее усилий. Она видела одинокого Нацла, который бродит по свету, и ей хотелось бежать за ним вслед, разыскать его и разделить с ним судьбу, затерявшись среди людей. В таких случаях Персида отправлялась в монастырь, где вновь обретала покой, опять решала поступить так, как того пожелает мать, снова овладевала сама собой.

Она бы и осталась сама себе хозяйкой, если бы люди оставили ее в покое. Но Бочьоакэ вошел в приглашение с Марой о том, что Персида любой ценой должна быть выдана замуж до возвращения в Липову сына Хубэра.

Но людская досада проходит так же, как и все в этом мире.

Уж как был раздосадован Хубэр, когда узнал, что Мара не хочет вступать с ним в компанию по вырубке леса в Кладове, что со зла решил договориться с Любичеком, чтобы ставить Маре палки в колеса. «Я ей покажу,— кипел Хубэр,— что без нас ничего у нее с места не стронется!» И уже договорились они между собой, как все это сделать, но прошел день, прошел второй, много их миновало, и в этом течении дней смягчилась досада Хубэра и он так ничего дурного и не сделал. Как будто ему вовсе не было дела до Мары...

Точно так же прошла досада и на Бочьоакэ. Сразу же после отъезда сына Хубэр был полон решимости показать кожевникам, что он многое может им испортить. Однако дни шли за днями, а он так ничего и не испортил, и чем ближе подходил срок возвращения сына, тем отчетливей он чувствовал, что это и к лучшему. В конце концов, все хорошо, как оно есть.

Мало-помалу и Бочьоакэ забыл свое обещание выдать замуж Персиду: в конце концов, какое ему дело, когда и за кого выйдет дочка Мары.

Даже Персида постепенно привыкла к своей бес-

смысленной жизни и ничего не желала, кроме того, чтобы ее оставили в покое.

Одна Мара не уgomонилась, всегда в заботах, она даже спать не могла спокойно, как прежде. Она чувствовала себя так, словно ее ожидало огромное, неслыханное несчастье, избежать которого она никак не могла. Дни бежали за днями, Мара ругалась и ссорилась с людьми, дни приносили и отнимали у нее деньги, дни давали ей какое-то удовлетворение, но вечерами, когда Мара заканчивала подсчеты, ее охватывала невыразимая жалость к самой себе. Казалось, что она не может больше радоваться плодам своих трудов. Какой толк копить деньги, если ее девочке не нужно никакое приданое, ради которого она так старается?

И Мара была права.

Воспитанная под заботливым надзором матери Аеджидии, Персида не знала, что такое иметь или не иметь деньги. В ее представлении все являлось в готовом виде от бога, а человеку оставалось только исполнять свой долг, трудиться и молить бога, чтобы он наделил всем, в чем есть насущная необходимость. Накопление же богатства казалось ей совсем ненужным или являлось доказательством недоверия к той заботе, какую бог проявляет к человеку.

Ценить богатство, сколоченное тяжким трудом, может лишь тот, кто познал жизненные невзгоды.

Персиде тоже нужно было познать их, чтобы постичь всю меру любви, с какой ее мать копила и продолжала копить богатство.

На пасху домой вернулся Нацл, бодрый, с высоко поднятой головой, полный уверенности в себе, как человек, чувствующий, что он достиг тихой гавани.

На самом же деле не было для него ничего сильнее привязанности к матери, и сердце его готово было выпрыгнуть из груди, когда он думал, как она будет рада, когда увидит, что он собственными силами вышел в хозяева и стал во главе дела.

И действительно, мать его была так безумно рада, как никто до нее еще не радовался. Уже с первого дня своего возвращения в Липову Нацл ощутил перемену в родительском доме: все в нем было так, словно жизнь никогда не нарушалась ни одной обидой, и просто невозможно было представить, что обида может возникнуть, — так хорошо все понимали друг друга.

Однако оставалось еще несколько старых долгов, о которых все позабыли.

После пасхи Хубэр вновь отправился к старосте цеха Бочьоакэ, но на этот раз не с черного хода, а через парадную дверь, как человек, знающий свои права.

Бочьоакэ, все такой же, как и раньше, был рад, что может ему воздать должное и на воскресенье назначил сбор всех доверенных людей цеха.

Но воскресенье воскресеньем, а в субботу после обеда Бочьоакэ послал Трикэ, ставшего его правой рукой, сказать всем, чтобы завтра после литургии собирались у него в доме.

А зачем? Этого Трикэ не должен был говорить.

Хубэр — это совсем не любой и каждый, и за три недели с тех пор, как его сын вернулся, одни сами прикинули, другие узнали с чужих слов, что закончились два года странствий Нацла, следовательно, вскоре должно состояться его посвящение в мастера.

А это было такое событие, какое не часто увидишь, для жителей Липовы — настоящий праздник.

Согласно цеховым правилам, подручный мясника, желающий перейти в разряд мастеров, должен был перед старостой и доверенными людьми цеха совершить мастерскую разделку туши.

В сопровождении бульдога и с помощью всего лишь одного ученика подмастерье должен был привести на убой бычка-трехлетку, украшенного цветами, лентами, тряпочками, которые потом староста и доверенные люди разбирали себе на память.

После того, как староста убедится, что бычка не подпоили спиртом, ученик наносит ему удар обухом по голове, а будущий мастер должен вонзить длинный нож так, чтобы бычок перестал дергаться, пока сосчитают до десяти, потом быстро и аккуратно содрать с него шкуру и достать еще теплые внутренности, и все это так, чтобы ни ленты, ни тряпки не запачкать кровью.

Затем следовала оценка и разделка туши.

Будущий мастер прежде всего должен был определить на глаз, сколько потянет мясо и сколько отдельно жир, который он извлечет, а потом разделить тушу в соответствии с шестнадцатью сортами мяса, не запятив рук и белого фартука, не оставив крошек на колоде.

Заключительной сценой было развешивание.

Первым подходил староста. Он выбирал кусок вырезки, а мастер должен был на глаз определить его вес. Вслед за ним подходили доверенные люди цеха, которые заказывали, сколько кому нужно, а мастеру надлежало, прикинув на глаз, отрезать каждому одним куском, сколько он просил.

Что и говорить, не всякий раз получалось так, чтобы кусок весил ровно столько, сколько было нужно. Иногда кусок получался меньше, и тогда покупатель жаловался, что его обвесили, в другой раз кусок оказывался больше, и тогда все покатывались со смеху. Иначе говоря, вся церемония заканчивалась весельем.

Однако подлинное веселье начиналось за обедом, который давал новый мастер, когда за длинный и ломившийся от закусок стол усаживались заранее приглашенные близкие и дальние родственники, друзья, приятели, уважаемые люди цеха и товарищи по ремеслу.

Это было великое событие, о котором говорили даже детишки на улице, к которому готовились все мало-мальски близкие люди.

Хубэроая только об этом и думала. Хубэр не сводил глаз с бычка, поставленного на откорм, а Нацл набивал себе руку на закалывании бычков и тренировался определять вес на глаз. Долгое время он жаловался, что родители сделали его мясником, а вот теперь с гордостью думал, что в Липове еще не бывало такого мясника, который бы колол, разделявал и взвешивал так, как он.

Нацл представлял перед собой целую толпу народу, потому что не только староста с доверенными людьми имели право присутствовать на церемонии. Мог явиться любой и каждый, ворота были распахнуты для всех, и у Нацла начинала дрожать рука, когда он думал, что Персида тоже может прийти на торжество.

О, господи! Сколь непонятна связь между всем, что существует в этом мире!

Прошел уже не один месяц, и Нацл постепенно обрел душевное спокойствие, так что мог встретиться с ней и не посмотреть на нее, пройти мимо и не оглянуться. Уже три недели, как он вернулся домой, но еще ни разу не видел ее, и даже не было необходимости принуждать себя не глядеть на нее. Ему было безразлично. Но вот теперь, когда он думал, что вместе

с остальным народом может прийти к ним на двор и Персида, по спине вдруг пробежали мурашки.

И прав был человек.

Он был в Липове, а Персида еще до вербного воскресенья переправилась через Муреш и жила в Радне. И хоть от Радны до Липовы довольно далеко, между домом Мары и домом Хубэра существовала какая-то связь, Персида, при мысли о которой по спине Нацла пробежали мурашки, ютилась в доме его родителей, а у Персиды тоже сжималось сердце, как только она вспоминала о Нацле. Однако после того, как девушка узнала, что Нацл вернулся домой, что он жив и здоров, она почувствовала себя легче, словно огромная тяжесть свалилась с ее плеч.

Она так боялась, что из-за нее, хотя и не по ее вине, этот молодой человек потеряет голову, станет несчастным, испортит жизнь родителям, и вот теперь все страхи миновали.

В субботу вечером, когда Трикэ сообщил, что на завтра назначено посвящение Нацла в мастера, Мара начала дрожать всем телом, а когда осталась одна, то расплакалась, упала на колени и возблагодарила бога за то, что все так хорошо кончается.

В этот миг облегчения и душевной благодарности Персиду полностью охватило чувство, что нету в мире никого, кого бы она смогла полюбить, кроме Нацла, что он человек слова, что он полон достоинства, за которое его следует любить. Она одна знает, какую трудную душевную борьбу он выдержал и вышел из нее целым и невредимым.

Какая ужасающая несправедливость, что она не может всего этого высказать Нацлу.

О, как бы ей хотелось пойти и найти его, увидеться с ним и рассказать, что она чувствует, о чем думает, поблагодарить его.

У Персиды замирало сердце, когда она думала, что все могут на него смотреть, каждый может пожать ему руку и только она одна ничего не может.

И все же какой бы радостью было и для него, и для нее, если бы на посвящении в мастера они бы смогли увидеть друг друга и пожать руки?!

Бурная натура Персиды все больше и больше давала о себе знать. Перед ее глазами все время стоял Бурдя и насмешливо улыбался.

«Какое ужасное коварство,— думала она,— в этой

единственной, данной тебе жизни отравить жизнь другому и самой не знать, что такое высокое и чистое счастье».

И все-таки она не могла ни увидаться, ни тем более поговорить с ним.

Ей хотелось закричать так громко, чтобы ее услышали в Липове. Персида не закричала, но ведь невозможно, чтобы такое горячее желание не одолело втайне любое расстояние, и в то время, как она металась на правом берегу Муреша, на левом Нацл ощутил внезапное волнение, явившееся вроде без причины.

Какой толк от удовлетворения, которое не можешь разделить с самым любимым человеком на свете: невыносимая боль — это радость, которую один только ты и чувствуешь: достаточно вспомнить обо всем, что было, и жизнь без любимой покажется пустыней, лишенной всякой привлекательности.

Сколько переживаний и все впустую!

Можно и не говорить, что не было никаких сомнений в том, что сын Хубэра выдержит испытание с разделкой быка. Староста, почтенные и рядовые члены всего цеха — все с нетерпением ожидали зрелища, а потом пиршественного стола. Но день пока еще не был назначен, а до той поры многое еще могло случиться.

В воскресенье после литургии в доме старосты собралось одиннадцать доверенных лиц кожевенного цеха. Случай совершенно небывалый: отсутствовало всего трое из четырнадцати, в том числе сам Хубэр.

Когда все расселись вокруг стола, Боцьоакэ, человек порядка, встал и выложил на середину книжку путешествующего подмастерья Игнатия Хубэра.

— Вам известно, ради чего мы сегодня собрались, — торжественно начал он, — и я не сомневаюсь, что совет наш будет краток. Я же, как того требуют правила, уведомляю вас, что один из почетных членов нашего цеха, мясник Георг Хубэр, просит, чтобы мы назначили день посвящения его сына Игнатия в мастера.

Все, улыбаясь, закивали головами, а Оанча, тоже мясник, не мог сдержаться и закричал: «Виват!»

— Все у него, как вам известно, в отменном порядке, — продолжал староста. — Ученичество он прошел в доме своего отца, где еще полтора года пребывал подручным. Срок же путешествия у него закончился как

раз в эти дни. Значит, нет никаких предлогов ему препятствовать; не прощать мы его ни в чем не должны и не замечать тоже не можем. Как вы считаете, когда назначить день?

Поднялся маленький Гергице.

— Чтобы полностью соблюсти порядок,— заговорил он быстро и не совсем внятно,— и чтобы ни тут, ни там не придирались к нам, пусть зачтут, по обычаю, его книжку путешествий, чтобы мы знали, где он был и у кого работал.

Высокий и худой Бочьоакэ стал меняться в лице. Он сам все это и подстроил.

Еще во время сбора винограда он говорил с Гергице о том, чтобы Нацла произвести в мастера, а потом сам же заявил, что слишком рано, потому что его книжка не совсем в порядке. Сам Бочьоакэ давно забыл о своей тогдашней досаде, но Гергице, человек подозрительный, не забыл этих слов. Что же оставалось делать Бочьоакэ?

— Можно и прочитаты! — сказал он и начал зачитывать удостоверения, занесенные в книжку хозяевами, и чем дальше читал, тем глуше становился его голос.

По правде сказать, удостоверения вовсе не были плохими, но парень больше четырех-пяти недель у одного хозяина не оставался, а потом проходило два, а то и три месяца, пока он поступал к другому хозяину.

— Сдается мне,— проговорил Гергице,— что ничего не заметить мы не можем.

Бочьоакэ поперхнулся, но тут вскочил Оанча.

— Ну и что? — воскликнул он.— Такое бывает. Нужно ведь время, чтобы переехать из города в город.

— К тому же,— поддержал Бырзэу,— у парня было на что жить.

Остальные закивали головами.

— Мы можем вызвать его сюда и сделать ему внушение,— предложил Бочьоакэ.

— Я думаю,— возразил Гергице,— что это не нужно. Парень он молодой, неженатый, отец у него не бедняк, может и подождать.

Бочьоакэ закашлялся. Что и говорить, он мог хоть сегодня произвести сына Хубэра в мастера, потому что все остальные были с ним заодно и потому смотрели ему в рот, однако он боялся длинного и злого языка Гергице. Что и говорить, разница не велика:

сегодня или чуть позднее произвести Нацла в мастера, но как говорится: дал слово — держись. И Бочьоакэ не был бы достоин ходить в старостах, если бы не нашел выхода из затруднительного положения.

Покровитель кожевников — святой Илья, и на его день у всех кожевников большой праздник: под цеховым знаменем и под музыку отправляются они в церковь, собираются за общим столом и танцуют до утра под зеленым навесом. Никто так не печется об этом празднике, как Гергице, и Хубэру должно быть лестно, если его сына посвятят в мастера как раз в тот день, когда весь цех празднует свой праздник.

— Знаете что? — голос Бочьоакэ зазвучал снова бодро. — Давайте-ка отпразднуем день святого Ильи в доме у Хубэра!

— Амины! — воскликнул Гергице и, вскочив, стукнул по столу кулаком.

Замечательно, лучше и не придумаешь! Слыхали? Немец устраивает пир в день святого Ильи!

— Амины! — воскликнули и все остальные. Решение было такое замечательное, что Бочьоакэ собственной персоной вместе со всей компанией отправился к Хубэру, чтобы известить его, как он умел это делать, на чем порешили доверенные люди цеха.

Хубэр, а особенно Хубэроайя ожидали, что день будет назначен поближе, но они сумели оценить ту честь, которую им оказывали, и были благодарны Бочьоакэ за ту весть, какую он им принес.

Так бы они и остались благодарными, не вмешайся людская молва и человеческое недоброжелательство.

Нужно прямо сказать, что добрые нравы требуют, чтобы никаких разговоров о том, что было на цеховом совете, не было. Но ведь так тяжело что-то знать и ничего не сказать своим ближним, так что еще в воскресенье после полудня не только Марта, но и жены других кожевников все знали и толковали во весь голос о том, как пришлось отложить посвящение сына Хубэра, потому что за время своего путешествия он больше бил баклуши, чем работал мясником.

Не далее чем в понедельник кто-то из злонамеренных людей все это передал Хубэру.

Уж лучше бы Хубэру получить пощечину перед своей лавкой.

Значит, вовсе не честь, а снисхождение оказали ему.

И все-таки кожевники были правы: сын его действительно больше бродяжничал, чем работал.

И вдруг, совершенно неожиданно, в его душе поднялась вся накопившаяся горечь, и если тогда, когда его сын, не попросившись, ушел из дома, он испытывал угрызения совести, то теперь он не мог ему простить позора, который тот навлек на его голову.

Хубэру нужно было дать выход своим чувствам, пристыдить сына, выполнить свой родительский долг.

Нужно было, но все-таки было бы лучше не выполнять этого долга именно сейчас, когда сын проявлял себя таким чувствительным.

Нацлу же, по правде сказать, никакого не было дела до того, какое мнение у доверенных людей в цехе да и у всех жителей Липовы о его поведении во время его двухгодичного странствия. Он-то знал, только никому не мог рассказать, как тяжело ему достались эти два года и что ему пришлось пережить за это время. Сердце его наполнялось самой черной горечью, когда он вспоминал обо всех страданиях, которые вынес, и когда думал, что все напрасно: ничего хорошего в том, что именно отец напоминает ему об этих двух годах.

В воскресенье утром Нацл уже не мог собой владеть.

Он знал, где может увидеть Персиду, и было бы самой большой подлостью, если бы он сам себя лишил великого удовольствия увидеть ее. Поэтому он отправился в румынскую церковь в Липове, но, не найдя ее там, пошел в церковь в Радну.

Он намеревался только взглянуть на Персиду, но так, чтобы она его не заметила. Он протолкался между людьми и встал позади одной из скамеек. Церковь в Радне не настолько велика, что можно войти в нее не обратив на себя внимания всех, особенно если ты немец.

Если бы Нацл не был так расстроен, он бы сообразил, что, как только он войдет в церковь, все взоры сразу же обратятся к нему и люди станут недоумевать: «Как этот немец забрел сюда? Что он ищет? Чего ему надо?»

Так оно и было! Больше того — люди сразу же сообразили, что ему нужно.

Войдя в церковь с бокового входа, Нацл стал всматриваться в ту сторону, где, как ему было известно, было место для женщин. Увидев ничего не подо-

зревавшую Персиду, он так и застыл, пораженный и растерянный.

И как тут было не поразиться и не растеряться?

Такой ее Нацл еще никогда не видел и даже не воображал, что увидит.

Это уже не была пухленькая девушка с круглым, как луна, лицом. Она похудела, лицо ее удлинилось, выступили скулы, кожа на щеках, казалось, стала еще тоньше и еще блее, брови стали длиннее и гуще, а глаза словно увеличились, и в них светилась такая тоска, что и все лицо казалось печальным.

Неожиданно ощутив, что все взоры обращены к ней, Персида испуганно поглядела вокруг, как человек, который спрашивает: «Что такое? Что случилось?» — и тут она заметила Нацла.

Есть такое, что можно заметить глазами, почувствовать сердцем, вообразить в помыслах, но нельзя выразить словом.

Представим, что на много-много дней небо было темным и хмурым, занавешенным густым туманом и вдруг совершенно неожиданно, неведомо как, солнце пробилось сквозь мглу, и на весь мир излился яркий свет и озарил все, и все живое вздрогнуло, пронизанное весельем.

Так просветлело лицо девушки и лицо молодого человека, когда они встретились глазами, так вздрогнули от внезапной радости все, находившиеся в церкви.

Казалось, что единая душа вселилась вдруг во всех присутствующих и единый порыв радости потряс эту душу.

Однако все это длилось лишь мгновение. В следующее мгновение, прежде чем люди осознали, что же произошло, Персида стояла набожно склонившись и опустив глаза в землю. И Нацлу было так совестно перед ней, что он смущенно потупил глаза и стал проталкиваться обратно к выходу. Только тут он понял, что зашел слишком далеко и нужно сделать вид, будто он сюда явился для встречи с кем-то другим. Добравшись до придела, он поздоровался за руку со стариком Блэгуцэ, а потом, спустя некоторое время, шепнул ему, что хотел бы поговорить с отцом Андреем. После службы, когда Бочьоакэ держал совет с доверенными людьми своего цеха, Нацл расспрашивал отца Андрея, у кого здесь, в Радне, можно купить телят на убой.

Нацл так хорошо все обставил, что даже сама Персида, вернувшись домой, начала сомневаться: ради нее ли явился он в церковь.

И сейчас только он и знал, чего ему стоило не пойти вслед за Персидой, чтобы полюбоваться ею хотя бы издали. Вернувшись в Липову, и он испытывал чувство величайшей несправедливости, когда приходится попирать собственное сердце, которое так жаждет счастья.

Какое ему было дело до решения цеха. Не все ли равно, когда произойдет его посвящение в мастера. Он знал только одно: какое это великое несчастье иметь таких родителей, как это ужасно, что счастливым он может стать только тогда, когда умрут его отец и ее мать.

Какая отвратительная мысль, какое нестерпимое чувство, но он от этого чувства никак не может избавиться.

В понедельник к вечеру Нацл точил ножи, когда отец с мрачным лицом вернулся домой.

— Ты слышал?! — спросил Хубэр сурово и холодно.

— Что я слышал?.. — в свою очередь, спросил Нацл, пристально глядя на отца.

— А то, что из-за тебя треплют мое имя. Ты меня выставил на посмеище! — отвечал отец. — На всех углах только и говорят, что все два года ты провел как бродяга и только из милости твое посвящение перенесли на день святого Ильи. Хотели тебя послать в новое путешествие. Позор! Стоило бы тебе морду набить!

Нацл сделался белым словно мел. Ноги его задрожали так, что он еле стоял.

— Ах, так! — промолвил он, напрягая все силы, чтобы овладеть собой. — Они правы! Я был отпущен жить по своему разумению и мог думать, что хочу. Я знаю, почему так получилось, но не могу все это им объяснить, а если бы я им все рассказал, то они ничего бы не ответили, только пожалели бы меня. Ты мне отец и должен иметь отцовское сердце и чувствовать, что на то была причина, ты должен простить меня, а не попрекать, тем более, что я сам каюсь в своей вине! Давай не будем, отец, говорить об этом. Что бы ни было между нами, — голос у Нацла смягчился, — давай жить в мире хотя бы из-за матери, которая для тебя добрая жена, а для меня добрая мать.

Хубэр был достаточно умен, чтобы понять, какой суровый укор таится в этих словах, и достаточно порядочен, чтобы ощутить его справедливость.

— Я полагаю, что как отец я могу знать, что происходит с тобой и какова этому причина.

Нацл стоял перед отцом в полном замешательстве.

Что он мог сказать? О, господи, как он мог объяснить в нескольких словах то, что перевернуло все его существо?

— Я...— начал он заикаясь, словно владевшие им мысли толкали его.— Мне, каким я уродился, не нужно быть мясником.

— Значит,— вспыхнул Хубэр,— это и есть причина: ты стыдишься моей профессии?

— Совсем нет! — возразил сын.— Вовсе не так нужно меня понимать!

Хубэр пропустил эти слова мимо ушей. Он уже давно чувствовал, что сын его не очень приспособлен для подобного занятия, и не раз жалел о том, что не оставил его в школе. Поэтому он обрадовался, что разговор повернулся так, что он получил возможность оправдаться.

— Мой отец тоже был мясником,— заговорил Хубэр,— и его отец тоже, в нашем роду все были мясниками. Виноват ли я, что господь бог дал мне единственного сына и наказал тем, что у него не лежит сердце к занятию отцов?

— Не нужно, отец! — отвечал Нацл.— Мне есть в кого таким уродиться. Ведь рубить кости и для тебя не велико удовольствие. И тебе куда приятнее поговорить с умными людьми, чем резать мясо и дробить кости на колоде. Ведь благодаря матери,— дай ей бог здоровья,— и держится мясная лавка Хубэра.

Нацл вкладывал в эти слова скорее похвалу, чем упрек, однако Хубэр усмотрел в них обвинение, и лицо его вспыхнуло.

— Ты со мной не нахальничай,— закричал он, выходя из себя. На этот крик высунулись испуганные ученик и подмастерье.— Я тебе обещал, что отхлещу по щекам, и отхлещу, и никто мне не помешает.

— Вот этого ты и не сделаешь,— спокойно возразил сын.— Тогда было тогда, а теперь совсем иное дело.

Хубэр, потомственный мясник, решительно шагнул к сыну.

У Нацла все еще был в руках нож, который он не успел положить на место.

— Прошу тебя всеми святыми, не подходи! — воскликнул он.

— Брось нож! — закричал подручный, бросаясь вперед, чтобы встать между ними.

Но было уже поздно.

Нацл, почувствовав дыхание отца, отбросил нож в сторону.

— После того, как ты сделал меня несчастным, ты еще и издеваешься надо мной! — с этими словами Нацл оттолкнул отца, который упал навзничь, ударившись затылком о точило.

И такой, как был, простоволосый, с засученными рукавами, Нацл выбежал, не обернувшись, со двора.

Глава XIV ПОЛЬЗА ОТ БАНДИ

По субботам после полудня вся голытьба: слепые, безногие калеки, немощные старики, безродные дети тянулись поодиночке и собирались у ворот монастыря и ожидали, переругиваясь между собой, когда закончится вечерняя служба и появится мать-экономка, которая начнет оделять милостыней: хлебом, кусками мяса, кому мешочек картофеля, фасоли и кукурузной муки, кому охапку дров в зимнее время и несколько крейцеров, — все, что сумели выпросить монахини на базаре, по городу и в его окрестностях.

Чтобы благодарность благодетельствованных изливалась не только на монастырь, мать-экономка всегда брала с собою несколько девушек, отличавшихся благонравным поведением, которые и оделяли дарами милосердия. Много таких даров раздала Персида, много она слышала благословений от бедняков, глас которых возносится прямо к небу.

Кроме этих нищих у монастыря были свои убогие. Некоторые из них получали милостыню по четвергам и воскресеньям, другие каждый день обедали в монастыре. Среди последних была и Регина со своим сыном Банди.

Когда Персида начала жить в монастыре, она увидела Регину вместе с сыном, которому было тогда года четыре, у дверей кухни. Изо дня в день несколько

лет подряд она выдавала ей еду и так и не привыкла смотреть на нее без содрогания.

Монахини помнили Регину еще служанкой, когда она была красивой и статной, вполне разумной женщиной. Но родив Банди, она осталась с парализованной рукой и ногой, перекошенным ртом и косноязычной: понять ее было почти невозможно. Тщетно было спрашивать ее, кто же отец Банди, потому что она всегда твердила, что не знает. И все же любила она его так, что и в семь лет продолжала держать на руках и никогда не ела, прежде чем насытится он. «Поем, что останется!» — говорила она.

Иногда на нее что-то находило: глаза ее стекленели, она застывала на месте и бормотала что-то совсем несуразное. Тогда она рассказывала, что убежала и несколько дней блуждала по лесу в Кладове и как она уже не хотела умирать, когда увидела здорового и красивого ребенка.

Действительно, у Банди было довольно смазливое личико, но сам он был таким боязливым, застенчивым и молчаливым, что редко от него можно было услышать слово, а уж от матери оторвать и вовсе было невозможно: он сидел прижавшись к ней или держался за ее подол, когда она куда-нибудь шла, волоча ногу.

Банди исполнилось лет восемь, когда господь бог сжалился и призвал к себе его мать. После этого он, как собачка, стал бегать за матерью Аеджидией, которая через некоторое время отдала его в ученики к сапожнику.

Привыкнув всегда держаться за чью-нибудь юбку, Банди не ужилсЯ у хозяина и убежал, но не вернулся в монастырь, а стал жить один, из людской милости, ночуЯ сегодня здесь, а завтра там. Когда же он встречал монахинь, а особенно мать Аеджидию, он в страхе убегал и прятался. Так постепенно следы его затерялись и никто в монастыре больше о нем не думал.

И только сейчас, на страстной неделе, возвращаясь из Липовы, Персида увидела его на берегу Муреша, пониже моста, с удочкой в руках.

Прошло уже года три, как она его не видала. За это время мальчик не по возрасту вырос, но Персида узнала его с первого взгляда, и сердце у нее дрогнуло. Она увидела перед собой Регину, худую, только кожа да кости, с болезненно-желтым лицом, кривым ртом и остекленевшими глазами, и тут же представила, как

она, одинокая, в полном отчаянии и со смертельным страхом в душе, блуждает по лесу в Кладове. Персиде хотелось бежать без оглядки, и вместе с тем ей было жалко бедного Банди и хотелось узнать, что он делал все это время, пока она его не видела.

Банди, заметив, что кто-то пристально смотрит на него, испугался, словно злоумышленник, встретившийся взглядом со своим преследователем, но узнав Персиду, смотал удочку, приготовившись на всякий случай бежать.

Девушка поманила его к себе, и он, униженный и покорный, боязливо подошел к ней, словно собака к своему хозяину.

— Здравствуй, Банди! Что ты делаешь?

— Рыбу ловлю.

— А где ты был все это время?

— Да все здесь: то в Липове, то в Радне.

— Как же ты живешь?

— Как придется.

— Не хочешь ли пойти со мной к маме? — спросила растроганная Персида.

В ее взгляде и особенно в голосе отражалась такая любовь, что лицо у мальчика просветлело.

Он отрицательно покачал головой, но был так растроган, что крупные слезы, навернувшись на глаза, потекли по его обветренным и загоревшим щекам.

— Не плачь, Банди. Чего ты плачешь, ведь я ничего плохого тебе не сделаю?

— Ты знала мою маму и всегда была к ней так добра.

Персида вздрогнула.

По дороге домой она удостоверилась, что мальчик, оставшись совсем один, повзрослел. Разговорчивее он не стал, но чувствовалось, что он очень сообразительный, а ответы его звучали обдуманно, даже как-то по-старчески.

Но духовная его жизнь была так же скудна, как и раньше, и вскоре Персида начала раскаиваться, что не оставила его на берегу ловить рыбу. Она стала побаиваться его. Привязанность Банди к Персиде приобрела вид душевной болезни. Ее повсюду преследовал его взгляд, который непрестанно напоминал ей остекленевшие глаза Регины.

Что и говорить, Банди каждый день таскал корзины Мары на базар, а вечером приносил их обратно,

но делал это второпях, а потом стремглав бежал домой и с тревогой смотрел на Персиду, словно боялся, что за время его отсутствия что-то случилось. Таким образом, она никак не могла избавиться от его надзора.

В воскресенье утром, посмотрев Персиде в глаза, Банди забеспокоился, а когда она вернулась из церкви, он прямо застонал, как будто знал или чувствовал все, что переживала она.

Во вторник Мара, слегка встревоженная, вернулась домой раньше времени.

Все толковали о том, что Хубэр поссорился с сыном, который разбил ему голову и мог бы зарезать длинным ножом, не подскочи вовремя подручный и не спаси его.

Мару все это не касалось, но все же она чувствовала, что произошло великое несчастье, и поспешила домой, чтобы дочь, не дай бог, не узнала обо всем, что произошло, от кого-нибудь другого.

Персида выслушала мать с иронической улыбкой.

— Вранье! Бесстыдное вранье! — воскликнула она. — Хубэрнацл на такое не способен! Пусть я умру, если это правда! Не верю!

Хотя Персида и не верила, но не бывает дыма без огня, и поэтому она встревожилась.

Взгляд ее остановился на Банди, который, услышав, что она громко разговаривает, появился на пороге.

— Пойду и узнаю всю правду от людей, которые не врут, — решительно заявила Персида. — Мать Аеджидия должна все знать!

— А тебе-то что за дело?! — стала возражать озабоченная Мара.

Персида встала перед ней и пристально посмотрела в глаза.

— Ты, пожалуйста, представь, — заговорила она, — что бы почувствовал он, если бы узнал, что я поругалась с тобой и хотела наброситься на тебя с ножом. Или это все неправда и нужно как можно скорее все выбросить из головы, или это правда, — тут голос ее дрогнул, — и тогда виновата во всем я!

— Почему же это ты виновата? — закричала Мара, выходя из себя.

— Потому что если он когда-нибудь и терял разум, то только тогда, когда имел несчастье видеть меня!

Мара трижды осенила себя крестным знамением.

— Святая Мария, дева пречистая, — воскликнула

она,— помоги мне, всемилостивая. Разве нет на свете других женщин?! Если бы не ты, была бы другая. Если нет у кого ума, так его и не будет! Почему же никто другой из себя не выходит?!

— Потому что я соблазнила только его одного! — проговорила Персида упавшим голосом и взяла накидку, чтобы идти в монастырь в сопровождении Банди.

Маре хотелось встать у дочери на дороге и крикнуть, что только через ее труп она выйдет из дома. Но зачем ее останавливать?

— Иди! — сказала она. — Пусть мать-экономка выбьет из твоей головы эту дурь.

Персида упрямо наклонила голову и торопливо и решительно вышла из дома.

Она всем сердцем чувствовала, что час ее рождения был несчастьем для дома Хубэра, и никто не мог бы переубедить ее.

Чем ближе они подходили к мосту, тем тревожнее билось ее сердце. Ей все явственнее начинало казаться, что вот-вот должна решиться ее судьба, и вновь она чувствовала себя как будто на краю пропасти, где ей никак не удержаться и придется лететь в бездну, а перед ней все время маячило издевательски усмехающееся лицо Бурди.

Перейдя на другой берег и уже приближаясь к монастырю, Персида обернулась к Банди, который бежал вслед за ней. Хотя они вместе вышли из дома, Персиде показалось, что он возник совершенно неожиданно, словно с неба упал.

— Ты знаешь сына мясника Хубэра? — спросила она.

— Хубэрнацла, который побил отца за то, что тот плохо обращался с его матерью? — переспросил мальчик, и глаза его запылали.

— Откуда ты знаешь? — Персиде стало не по себе.

— Знаю! Я слышал, как она жаловалась, да и люди говорят. А теперь Хубэрнацл вернулся домой и поколотил отца. Плохой человек этот Хубэр!

Мальчик говорил словно в бреду, и Персида попробовала переменить разговор.

— А Нацла ты знаешь?

Банди кивнул головой.

— Можешь ты его найти, где бы он ни был, и сказать ему, чтобы он ждал меня за Солоницей, когда я буду возвращаться из монастыря?

Банди снова кивнул головой.

— Иди, Банди, и побыстрее! — Персида направилась к монастырю, а Банди закружился на месте, не зная, в какую сторону ему бежать.

Не легкое это дело — отыскать Нацла!

Выбежав после злосчастной ссоры из дома, Нацл тоже не знал, куда ему податься.

Глядя на него, прохожие стали останавливаться, и люди, всегда жаждущие узнать, что происходит, образовали перед домом небольшую толпу. Нацлу некогда было размышлять, ему нужно было избавиться от испытующих взглядов, а потому, недолго думая, он направился к дому Оанчи, который был в их доме подручным, когда Нацл ходил в учениках, и был привязан и к нему, и к его матери.

Здесь он просидел до темноты, а потом пошел к Гринеру, чтобы занять у него несколько сотен флоринов и отправиться куда-нибудь подальше от этого мира, в котором делать ему стало нечего.

Почти вслед за Нацлом вышел из дома и Оанча и отправился к Хубэроайе.

В его голове никак не укладывалась мысль, что Нацл может покинуть свою мать. Тщетно втолковывал ему Нацл, что не может он помириться со своим отцом, что произойдет великое несчастье, если они вдруг встречаются: Оанча намеревался их помирить или уговорить Хубэроайю оставить мужа, который принес ей столько огорчений.

И Нацл был прав.

Ударившись при падении о точило, Хубэр рассек голову и теперь лежал в постели. Но не рана была тяжела: больной, охваченный яростью, не переставал кипеть и упорно настаивал на том, чтобы Нацл без промедления был арестован и отдан под суд за то, что поднял нож, чтобы убить отца.

Хубэроайя рыдала и никого не желала видеть. Ей хотелось провалиться сквозь землю от стыда, и в мыслях она была уже готова продать и дом, и лавку, и виноградник, и землю, и сливовые деревья, то есть все, что было приобретено за целую жизнь, и уехать туда, где ее никто не знает. И вновь ее терзали сомнения, ей казалось совершенно невозможным, чтобы Нацл, ее ласковый и нежный ребенок, сделал то, о чем говорили вокруг.

Оанча явился словно посланец божий. Он знал

доподлинную правду, и ее материнское сердце чуяло, что все произошло именно так, как рассказывал Оанча.

— Да,— говорила она с просветленным лицом,— Нацл не мог поднять нож на родного отца, но он не мог и бросить нож, видя, как приближается отец. Лжет мой муж, лжет подручный, лжет ученик. Оанча, прошу тебя, пойди и скажи, что они лгут, пусть люди знают правду!

Хубэроайя смирилась, она прощала сына, оправдывала и оплакивала его. Когда же Оанча заговорил о примирении, она грустно покачала головой.

— Должно свершиться чудо, чтобы отец решился его простить: он должен обвинить сам себя, а этого он сделать не может.

— Тогда оставим все на волю Божию! — проговорил Оанча.— Довольно ты страдала, а он все равно больше сын тебе, чем ему!

Хубэроайя с удивлением посмотрела на него.

Подобная мысль никогда не приходила ей в голову, и уж совершенно невероятным было то, что она пришла в голову постороннему человеку.

— Это безумие. Ведь он мой муж.

Слова эти были произнесены с такой самоотверженностью и христианским смирением, что Оанча даже оробел.

— Если господь бог захочет меня утешить, он помирит их,— помолчав, промолвила она.

Нацл все знал и так, но несмотря на это, глаза его наполнились слезами, когда Оанча сказал ему, что мать нисколько в нем не сомневалась.

Во вторник вечером, когда Персида вместе с Банди стояла на мосту, Нацл, подперев голову кулаками и переживая тяжкие душевные невзгоды, сидел перед Оанчей.

Он занял пятьсот флоринов у Гринера и готов был, как только стемнеет, отправиться в Арад, а оттуда в Вену.

Он был полон решимости, но встать и уйти все-таки не мог.

Он несколько раз брался за письмо, но не мог связать и десятка слов. Слова, написанные на бумаге, казались ему такими сухими, таким лживыми, что он в конце концов рвал бумагу, думая, что Персиде все, конечно, безразлично, если она не чувствует, что все, о чем толкуют люди, это неправда.

— Оанча! — обратился он, запинаясь, к хозяину. — У меня есть к тебе одна просьба, только ты никому на свете не проговоришь об этом. Понял? Никому на свете!

— Не беспокойся, — отвечал Оанча, — можешь говорить, как покойнику.

— Ты знаешь дочку Мары? — спросил Нацл.

— Как не знать! — удивился Оанча.

Нужно сказать, что в свое время и до него доходили какие-то слухи, но это было давно и он все успел позабыть.

— Ты с ней когда-нибудь говорил? — продолжал Нацл.

— Никогда.

— Это неважно. Я прошу тебя, постарайся встретиться с ней как будто случайно, — ты понимаешь? — чтобы ни она, ни кто другой и не подумали, что это я подослал тебя, и расскажи ей, как все случилось.

Хотя Нацл твердо решил, что в темноте он окончательно уйдет, Оанча ему не верил, потому что Нацл все время отыскивал предлоги, чтобы еще остаться. В конце-то концов, он бы мог бросить все свои уловки, и Оанча не сдержался и спросил напрямую:

— А зачѐй ей это рассказывать?

— Не спрашивай меня — зачем, потому что я не могу тебе этого сказать, да ты и не поймешь меня. Я совсем не могу разговаривать с ней, но мне было бы очень неприятно, если бы она думала, что я бросился с ножом на родного отца.

Оанча больше ничего не сказал, хотя удержаться от расспросов ему было очень трудно. Так они и сидели молча, в полутемной комнате, каждый думая о своем.

В это время Банди бегал от одного мальчишки к другому, упорно отыскивая следы Нацла.

— Так, значит, сделаешь это для меня? — после долгого молчания спросил Нацл.

— Как же не сделать! — отвечал Оанча.

В этот момент приоткрылась потрескавшаяся дверь и внутрь просунулась голова Банди. Два коричневых глаза уставились прямо на Нацла.

Нацлу стало не по себе, и он вскочил на ноги.

У него было такое ощущение, словно он, вопреки всем желаниям, встретился с глазами отца. Нацл даже сделал шаг назад. Однако приглядевшись внимательнее

к мальчишке, которого он никак не мог узнать, Нацл шагнул вперед.

— Что тебе?

— Пойдем со мной! — ответил мальчик.

— Куда?

— Пойдем, там узнаешь.

Это было невероятно, невозможно, но Нацл сразу же понял, кто его зовет, куда нужно идти, и, сам не зная, что делает, не взглянув даже на Оанчу, двинулся вслед за Банди, как осужденный на смерть.

Долго ему пришлось стоять и волноваться позади Солоницы, зная, кого он ждет, и ожидая напрасно.

События развернулись с такой быстротой, что Персида, обычно предусмотрительная, не смогла даже сообразить, чего же она, в конце концов, хочет, не успела ни составить план, ни собраться с силами. Захваченная одной лишь мыслью, что кругом ложь и все нужно вывести на чистую воду, она не обращала внимания ни на прохожих, которые с недоумением смотрели ей вслед, ни на монахиню, открывавшую ей ворота, которая в страхе отшатнулась, встретившись глазами с Персидой.

Мать Аеджидия сидела одна в своей келье.

— Что такое? Что случилось? — испуганно воскликнула она, взглянув в лицо стремительно вошедшей Персиде.

Перед матерью Аеджидией стояла высокая, полная сил, но дрожащая с ног до головы девушка.

Она не знала, что ответить, с чего начать... Она полностью выдала себя и теперь, глядя в глаза монахине, могла говорить одну только правду. За последнее время она часто ощущала, что любит Нацла, но никогда еще это чувство не охватывало ее столь властно и с такой силой, как под испытующим взглядом матери Аеджидии.

Закрыв лицо руками, Персида опустилась на колени перед монахиней.

Растроганная мать Аеджидия склонилась к ней, но вдруг, вздрогнув как от удара, выпрямилась и застыла с каменным лицом.

— Ах, какое страшное несчастье! — с легким стоном произнесла она. — Так вот, оказывается, в чем дело?! И ты, Персида, ты, моя девочка, могла смотреть умиленными глазами на этого человека, лишенного всяких добрых чувств!

— Это неправда! — воскликнула Персида, поднимая глаза на монахиню. — Этого не может быть! Если он поднял руку на своего отца, я покончу с собой, я закопаю себя живьем. Я не верю, матушка! Это слухи, которые разносят завистники и злопыхатели!

— Не обманывай сама себя, моя девочка, — оставила Персиду монахиня. — Хубэр лежит, тяжело раненный в голову, а сам себя ранить он не мог. Как бы там ни было, даже если отец лукавит, все равно это тяжкое наказание божие, когда отец, пусть даже несправедливо, обвиняет своего сына. И ты, мое невинное дитяtko, должна отдалиться мыслью от этой семьи, столь тяжко наказанной. Всезнающий господь бог не наказывает невинных, и тяжким должен быть грех, который приходится им искупать. Ты же не дели этого искупления, приближаясь в сердце своем и в мысли своей к ним, кого бог отдалил от себя. Закрой глаза свои, чтобы не видеть, отдались от них мыслью своей, умири свое сердце!

Персида долгое время сидела совершенно неподвижно, устремив глаза в окно, через которое впервые увидела Нацла.

— Нет, не могу я, не могу! — наконец проговорила она как во сне. — Это проклятие на мою голову, ведь я часто чувствую себя так, словно еще до своего рождения была приговорена страдать вместе с ним. Матушка! — Тут Персида вскочила и заговорила, захлебываясь словами. — Когда я рассуждаю, то для меня совершенно непереносим этот несдержанный человек, склонный к бесшабашной жизни, и я знаю, что мы не можем сблизиться, не причинив друг другу боли. Но сейчас, когда я знаю, что он страдает, я чувствую, как неодолимая сила влечет меня к нему. Что мне делать, матушка? Как мне вынести это испытание?!

— Иди, дочь моя, — заговорила растроганная монахиня, — и запишись в церкви. Когда тебя охватывают подобные желания, преклони колени перед иконой Пречистой божьей матери, вознесись сердцем и мыслью к господу богу и молись, молись, ибо ничто не противостоит силе молитвы, исходящей из чистого сердца! Другого спасения тебе нет!

Мало-помалу Персида успокоилась, и светлое спокойствие разлилось по ее лицу.

— Бедная моя мама! — вновь заговорила она. — Многие она вынесла — и часто я думала, что только

здесь, за монастырскими стенами, я смогу найти душевный покой.

Слезы навернулись на глаза матери Аеджидии, она шагнула к Персиде, сжала ее голову руками и поцеловала в лоб.

— Пусть это будет твоей последней мыслью о спасении, — произнесла она. — А тогда, когда тебе больше ничего не останется, вспомни, что святая наша церковь принимает в свое лоно всех, кто ищет утешения и прибежища.

Персида несколько раз поцеловала руку монахини и, успокоенная, удалилась.

Уже смеркалось, когда она вступила на мост. Вечер был тихий и теплый. Неторопливые воды Муреша, и те текли как бы нехотя, и только возле понтонов слышался едва ощутимый плеск. Время от времени то здесь, то там над блестящей поверхностью выпрыгивала плотвичка и тут же шлепалась в воду. Летучие мыши, гнездившиеся в Солонице, непрерывно кружили над мостом, на той стороне Муреша пел соловей.

Банди нигде не было видно.

Обеспокоенная Персида остановилась.

Она не допускала мысли, что мальчик не нашел Нацла. Оба они должны были ее ждать за Солоницей.

Персида тяжело перевела дух, казалось, что что-то ее душило и ей не хватало воздуха.

— Это невозможно! — шептала она. — Я буду недостойна дневного света, если брошу его в тот миг, когда все несправедливо винят его... Что он может сделать в полном отчаянии? Да! Права мать Аеджидия, лучше мне бежать от него, но этого я не прощу себе, нет, никогда не прощу и всю жизнь буду мучиться совестью.

Словно какая-то тайная сила овладела Персидой, она повернулась и решительным, широким и быстрым шагом направилась к Солонице.

Нацл, которого терзали сомнения, вздрогнул, увидев ее издали, и окаменел, словно бы врос в землю, а оживившийся Банди сделал несколько шагов вперед, указывая на Персиду.

— Что такое, Игнатиус? — спросила она. — Что случилось? Как такое ужасное несчастье свалилось на твою голову?

В этом обращении — Игнатиус, — которого он никогда еще ни от кого не слыхивал, в том тоне, каким

Персида произнесла эти слова, во всем ее облике было столько тепла, столько чистосердечия и чистой любви, что Нацл стоял пораженный и смотрел на нее как на сверхъестественное существо.

— Ты не поднимал ножа на своего отца? — воскликнула Персида.

— Нет! — подтвердил Нацл, облегченно вздохнув. — Случайно нож был у меня в руках, но я его отбросил, когда отец шагнул на меня.

— Как же ты его ранил?

— Не знаю! — смущенно отвечал Нацл. — Он хотел ударить меня по лицу, но я оттолкнул его. Как видно, он споткнулся о точило, которое было за спиной, и рассек голову о камень.

Персида прикрыла лицо руками, словно увидела брызнувшую кровь.

— Ах, какое несчастье! — в испуге воскликнула она. Потом, охваченная каким-то порывом, она рванулась к Нацлу, словно хотела выцарапать ему глаза.

— Какая гнусность! — прошептала она. — Что бы случилось, если бы он ударил тебя? Разве не таким чистым стало бы твоё лицо после пощечины, пусть даже несправедливой? Ты, наверное, что-то такое сказал и вывел его из себя, а рассердить отца — достаточно большой грех, за который можно вынести и пощечину.

— Я плохо поступил, — без колебаний признался Нацл твердым голосом, — в чем и раскаиваюсь.

Персида растрогалась. Перед нею стоял совсем другой человек, мягкий, ласковый, с самыми благородными побуждениями.

— Какие страдания для меня, для тебя и для твоей бедной матери и какое дьявольское злорадство для всех, кто злобен душой, из-за одного лишь опрометчивого мгновения! — ласково попрекала Персида. — Пойди и попроси прощения. Проси, пока не получишь...

— Знаю, что напрасно я буду унижаться, — грустно проговорил Нацл, — но ради любви к матери и к тебе я пойду и на это!

— Он должен смягчиться! — оживилась Персида. — Матушка Аеджидия и отец Плебан убедят его, если уверятся, что ты невиновен.

Нацл долго смотрел на нее, сначала удивленно, потом со снисходительной улыбкой и, наконец, с горечью.

— Бедная твоя душа! — тихо произнес он. — Чистая и добрая, она видит мир под чистым небом, а я, взбудораженный сам собой, вижу в жизни одни только бури и волнения. Ты не растравляй сама себя, — продолжал он громче, — но и меня не испытывай тоже. Возможно, мой отец смягчится или притворится перед людьми, что смягчился. Я в этом сомневаюсь, но все может быть. Но это не даст мне покоя, потому что я в разладе с самим собой и каждую минуту должен бояться, что могу выйти из себя и вновь произойдет ужасное несчастье. Мысль, что не можешь жить в мире с собственными родителями, ужасна, но эта мысль угнетает меня, и порой мне кажется, что я сам не свой. Невидимый демон преследует меня и все время напоминает о страданиях, которые моя мать и я переживали и будем переживать из-за него. Я боюсь сам себя, когда думаю о нем, меня бросает в дрожь при виде его, мне хочется бежать, закрыв глаза, когда мы остаемся наедине. Болезнь эта неизлечима, это тяжкое проклятие на мою голову: я сам уже не владею собой. Пусть меня преследует моя судьба, ты же беги от меня и не оглядывайся назад, закрой глаза, чтобы не видеть меня, выброси меня из твоих мыслей. Ты слишком хороша для меня, — в отчаянии воскликнул он, — и твоя чистая душа невольно оскверняется мыслями обо мне! Беги!

Глядя на Нацла широко раскрытыми и умиленными глазами, Персида впивала слова, слетавшие с его уст, и чем громче в них звучало отчаяние, тем светлее становилось ее лицо.

— Нет! — сказала она в конце концов тихо, но твердо. — Я ничего не боюсь, никуда не побегу и тебя не покину. — Персида взяла Нацла за руку, прижалась к нему и другой рукой обняла за шею. — Ах! — вздохнула она, словно попала в иной мир, — как привлекательна мысль, что я вызволю тебя из тьмы, в какую ты попал, сделаю жизнь твою светлой, увижу тебя снова... радостным, каким ты был когда-то. Я тебя вызволю! Посмотри на меня и засмейся, как ты смеялся, когда мы повстречались на мосту. Игнатиус, посмотри на меня! — попросила она, упорно глядя ему в глаза.

Глаза Нацла затуманили слезы. С тихой улыбкой он посмотрел в ее пылающие огнем глаза.

Слегка наклонившись, нежно и робко, он коснулся губами ее виска. После этого поцелуя Нацл кинул

взгляд на Банди, который с удивлением смотрел на них, и тихо пошел прочь.

Персида вздрогнула, словно очнувшись после сна.

— Завтра здесь же в это же время, — крикнула она вслед и торопливо побежала домой, сделав мальчику знак следовать за нею.

Глава XV ХЛОПОТЫ ТРИКЭ

У Марты было трое детей: два мальчика помладше и дочка Султана постарше. Хотя Султане исполнилось уже одиннадцать лет, Марта, которая вышла замуж, когда ей не было еще и пятнадцати, чувствовала себя совсем молодой женщиной и поэтому всегда была нарядной, веселой и даже шаловливой, любила развлечения и выглядела, как говорится, легкомысленной и легковойной.

Но, по правде сказать, если и было что-то в ней легкое, так это потому, что легко было у нее на сердце. Имея такого мужа, как Бочьоакэ, она привыкла жить на всем готовом и никогда не знала, что такое житейские заботы. Она радовалась сегодняшнему дню, с удовольствием предвкушала завтрашний, видела вокруг себя только то, что было ей приятно, все же остальное было делом мужа.

Таким образом, вполне естественно, что для нее, настоящей женщины, неусыпной и постоянной заботой было печься о своем муже. Она стремилась знать все его дела, чтобы ему понравиться, но чаще для того, чтобы предостеречь от неприятностей. Поэтому она лучше чувствовала себя среди мужчин, чем среди женщин. Красивые женщины были вовсе для нее непереносимы: на тех, которые нравились мужчинам, она смотреть не могла, а если о какой-нибудь из них ее мужу доводилось проронить доброе слово, она тут же становилась для Марты смертельным врагом. Маленькая, пухленькая и добродушная, она была львом рыкающим, когда ее супруг обнаруживал расположение к другой женщине.

Потому-то и были тщетны все усилия Бочьоакэ расположить жену в пользу Персиды. Мало того, что Персида ей казалась слишком рассудительной и благоразумной, а в этом смысле и старообразной, Марта никак не могла понять, что же нравится мужчинам в этой девке, как она ее называла, и ей доставляло дьявольское удовольствие,

если она могла обнаружить у Персиды какой-либо изъян или сказать о ней что-нибудь недоброе.

А этого было вполне достаточно, чтобы Бочьоакэ не предлагал больше усилий к тому, чтобы выдать замуж дочку Мары. У каждого свои слабости, и Бочьоакэ было лестно, когда он замечал, что его жена нравится другим мужчинам, и в душе он испытывал самодовольство, когда он видел, как его жена не допускает, чтобы к нему приближались другие женщины. Но превыше всего он почитал для себя правило ничем не огорчать жену и потому не был в состоянии сказать доброе слово о человеке, если Марта его не переносила.

Бочьоакэ прекрасно знал, что это великая несправедливость по отношению к Персиде, и потому старался искупить эту несправедливость необычайной добротой к Трикэ, ее брату. Трикэ был его доверенным лицом, его правой рукой, вторым хозяином в доме, каким мог быть только сын или зять. Трикэ действительно заслуживал всякого доверия, был быстр, смышлен, исполнительен, и когда речь заходила о нем, Марта всегда была согласна со своим мужем.

Ничто в этом мире не минует испытующего взгляда женщины, особенно, если она мать и имеет дочку. Дочка — это слепой котенок, который тычется то туда, то сюда, и мать начинает беспокоиться, как бы она не засиделась в девицах, и прикидывать: за кого бы ее выдать замуж. А у Марты дочка подрастала и, глядишь, года через три, через четыре могла пойти и под венец. Марта про себя твердо решила, что лучше, чем Трикэ, Султане мужа не найти. Он как будто нарочно был рожден для ее дочери: веселый, умный и трудолюбивый, добросердечный и послушный, подходящий по возрасту и, вообще, зять — лучше не придумаешь.

Марта настолько себе вбила это в голову, что даже и подумать не желала о том, что сам-то Трикэ этого не чувствует, что он самый немытый, самый лохматый и засаленный среди всех подмастерьев и вполне возможно, что Султэника, девочка весьма аккуратная, когда подрастет и у нее откроются глаза, станет заглядываться на другого молодого человека. Она и сейчас считалась с ним куда меньше, чем с другими подмастерьями, и помыкала им как простым слугой, которому можно приказывать все, что угодно.

Но еще меньше, чем Султана, думал сам Трикэ о том, что когда-нибудь в жизни этой девочке доведется моро-

чить ему голову. Он был привязан к ней, потому что она была дочкой Бочьоакэ и его жены, исполнял все ее капризы, но доведись спросить его врасплох, он не сказал бы, черноволосая она или белокурая, или ответил бы невпопад, что она вроде бы брюнетка, но с голубыми глазами, потому что такой была ее мать.

А вот мать Трикэ знал прекрасно. И как же, о господи, было не знать ее, такую добрую хозяйку?! Если в доме нужно было передвинуть шкаф, поднять на чердак корзину или мешок, спустить бочонок в погреб или принести что-нибудь из кладовой, хозяйка звала только его и только его брала с собой, когда ей или днем, или вечером нужно было куда-нибудь сходить. Трикэ вовсе не ощущал, что он настоящий подмастерье и не к лицу ему таскаться повсюду, как хвост, за хозяйкой, ему доставляло удовольствие исполнять все ее прихоти, смотреть ей и в глаза, и в рот, и вступить ей в угодную ссору даже с родной сестрой. Так оно, действительно, и было, хотя он об этом и не подозревал.

Марта, нужно отдать ей должное, никогда при нем не говорила о Персиде ни хорошего, ни плохого. Но Трикэ было достаточно и этого, чтобы понять, что хозяйка не очень-то высокого мнения о его сестре. А хозяйка его не могла ошибаться. Он и сам чувствовал, что Персида слишком рассудительна, слишком скованная. Но все-таки она была ему сестрой.

Однако после скандала в доме Хубэра Марта не удержалась и выразила недоумение: как это Персида могла проявить слабость к такому человеку, как Нацл.

Щеки у Трикэ зарделись как пион.

— Это неправда, — возразил он. — Она всячески его избегала, а он бегал за ней по пятам.

Этого Марта не знала.

— Когда это было? — спросила она.

Трикэ почувствовал, что не нужно было этого говорить, но не мог и промолчать, коль скоро спрашивала сама хозяйка.

— Давно это было, — нехотя проговорил он, — когда еще мы в Араде жили.

— Ах, вот как! — промолвила Марта, которая только теперь начала понимать, что же произошло прошлой осенью. Как вообще многое может понять умная женщина, стоит ей только начать понимать.

Но все бы было ничего, не окажись замешанным в эту историю и Оанча.

Не было на всем белом свете человека добрее Оанчи, а ради Хубэроайи и ее сына он готов был и в огонь, и в воду.

Один только грех у него и был — не мог он владеть собой. Сидел ли он за работой, шел ли своей дорогой, всюду он разговаривал сам с собой и порой так громко, что люди оборачивались и покачивали головами. По ночам он тоже бормотал во сне. Так как же он мог молчать?!

Нацл в тот вечер, нужно сказать правду, не проговорился, куда и зачем приглашал его Банди. Но Оанча был бы круглым дураком, если бы не сообразил, что только от Персиды мог и явиться Банди. Когда же Нацл возвратился, его словно подменили. И никуда он не отправился, как собирался до этого, а вот мать-экономка и немецкий поп все последующие дни просто из кожи вон лезли, чтобы примирить Хубэра с сыном. Что и говорить, это им не удалось, зато мало-помалу весь город узнал, как все произошло, и Хубэр уже не настаивал на том, чтобы отдать сына под суд. Во всем этом видна была рука Персиды.

С наступлением сумерек Нацл выходил из дому, не говоря, куда направляется, а это и лишало Оанчу покоя: он должен был рассказать, ну, хотя бы только жене, рассказать хоть что-нибудь, и не так — бубня про себя или бормоча во сне, а с чувством, с толком, с расстановкой, как рассказывает человек, которому нужно облегчить душу. Что и говорить, конечно, Нацл отправлялся все туда же, потому что Оанча даже про это не говорил, а жевал слова, словно мочало.

— Сдается мне, — говорил он жене, — но не знаю и даже поверить не могу.

Жена же Оанчи точно знала и непоколебимо верила, что вечерами Нацл отправляется на свидание с Персидой, а уж если женщина знает да еще и верит во что-то, то совсем немного надо, чтобы в это же поверили и ее соседки.

— Так! — воскликнула Марта, когда слухи дошли и до нее, и, — ох, уж эти женщины! — вроде даже обрадовалась, будто застала смиренную Персиду на месте преступления. Конечно, она утверждала, что ничему подобному не верит, и возмущалась теми, кто верит в это, однако нашла нужным молвить несколько слов Трикэ, чтобы тот знал и передал матери, о чем все-таки судачат люди.

Трикэ вспыхнул до ушей, но не из-за того, что сестра его встречается с Нацлом, а потому, что ему стало стыдно за хозяйку.

Нет! Это было невозможно! Нацл всегда, а особенно теперь, был в его представлении самым ничтожным человеком, на которого если и могла смотреть Персида, то только с ужасом.

Несмотря на это, Трикэ побаивался Нацла, а чем больше он думал о нем, тем живее становился и страх перед ним.

Этот сумасшедший был в состоянии, особенно теперь, сделать все, чтобы свести с ума и Персиду, соблазнить ее, обмануть, обвести вокруг пальца.

Подобные мысли только раздражали Трикэ. Он и сам был в таком возрасте, когда молодые люди всячески безумствуют, а думая о Нацле, он всегда видел перед собой хозяйку и приходил в ужас... Что бы сказала Марта, если бы Персида и в самом деле оказалась настолько слабой, что подчинилась Нацлу?! Какой позор!

Трикэ должен был что-то предпринять!

Но что?

Самым простым было пойти к матери и предупредить ее, чтобы не спускала с Персиды глаз, или заперла ее в монастыре, или придумала что-нибудь еще. Трикэ уже решил на это, но в самый последний момент раздумал: ему стало не по себе, он почувствовал угрызения совести.

«Поговорю-ка я с Персидой начистоту, как я всегда с ней разговаривал,— подумал он,— и скажу, как я умею говорить, что плохо ей будет, если она не станет остерегаться этого немца».

Но и с Персидой Трикэ тоже не поговорил. Теперь ему стало понятно то, что раньше он даже не ощущал, а именно: что напрасно тратить усилия, уберегая от чего-то человека, если сам он этого не желает. Как бы поступил, к примеру, он сам, если бы кто-нибудь посоветовал ему не смотреть на хозяйку, не приходить к ней, не любоваться ее полными руками и пухлой шейкой? Он, конечно, вышел бы из себя и продолжал делать так, как подсказывало ему сердце. Трикэ и сам по себе, без людской подсказки знал, насколько это все опасно, и старался не давать себе воли, так же и Персида знала, что ей нужно беречься Нацла.

Трикэ был бы рад ничего не делать, ни во что не вмешиваться, оставить все идти своим чередом, если бы в это дело не замешалась хозяйка, которая, казалось, не смотрела на него так, как раньше.

Трикэ должен был что-то сделать, чтобы показать, что он тоже человек.

Должен был, но не знал, что же сделать, а человек, который не знает, что делать, злится, и злость толкает его на действия.

Переживая и терзаясь, Трикэ в конце концов дошел до того, что готов был, словно лев, наброситься на Нацла, который уже давно досаждал ему.

В таком-то состоянии и направился Трикэ как-то вечером к дому Оанчи, и кровь у него застыла в жилах, когда он собственными глазами увидел, как Нацл выходит и совсем один идет неизвестно куда.

Трикэ двинулся вслед за Нацлом, чтобы издалека последить за ним, а потом подойти, если будет возможность, остаться с ним с глазу на глаз и поговорить накоротке. Пока Нацл выбирал дорогу поспокойнее, как человек, который знает, куда идет, смертельно бледный Трикэ с каждым шагом все больше укреплялся в решении схватить этого немца и свернуть ему шею.

Встревоженный Нацл остановился позади Солоницы, когда к нему подошел Трикэ. Нацл не знал, что ему делать, как вести себя. Ему было ясно, что Трикэ что-то знает, и единственным его желанием было уйти с этого места, чтобы, не дай бог, на них не наткнулась Персида, которая должна была вот-вот появиться.

Трикэ тоже плохо представлял, с чего ему начать.

Так и стояли они, глядя друг на друга, и чем дольше они смотрели, тем меньше узнавал Трикэ знакомого ему Нацла. В его глазах, в складках губ, в чертах его лица и во всем облике было нечто такое, что заставило бы смягчиться любое сердце.

Что и говорить! Нельзя судить о человеке раньше, чем пристально посмотришь ему в глаза.

— Послушай! — заговорил в конце концов Трикэ. — Ты бегаешь, как говорят люди, за моей сестрой.

— Зачем мне тебя обманывать? — спокойно отвечал Нацл. — Ты уже не ребенок и сам понимаешь, что влиять мне ни к чему. Она мне нравилась, — продолжал он, потихоньку двигаясь в сторону Муреша, — и сейчас она мне дороже, чем кому-либо на свете, даже тебе. А больше ничего не было, нет и не будет, — с горечью проговорил Нацл. — Она не такая женщина, как другие, и мне легче покончить с собой, чем причинить ей хоть каплю зла. Пусть себе болтают люди: они злы и сами не знают, что говорят!

Последние слова были произнесены с такой горечью, что Трикэ тоже проникся его чувством, не замечая, что

все приняло вовсе не тот оборот, какой он воображал себе, когда жаждал мести.

— А теперь,— обратился он к Нацлу,— куда ты идешь? Куда направляешься?

Нацл уголком глаза взглянул назад: не появился ли Банди, который всегда бежал впереди Персиды. Он предполагал, что мальчик, заметив, что он не один, предупредит Персиду, чтобы она задержалась. Потому-то Нацл и не хотел далеко удаляться, боясь, что иначе Банди его не заметит. Нацл в нерешительности остановился на берегу реки. Ему неприятно было обманывать Трикэ, но нужно было что-то предпринимать, чтобы от него отвязаться.

— Я вышел, чтобы подышать немного воздухом. Вечером люди не пялят на меня глаза, а детишки не показывают в спину пальцами. А ты иди домой и не ломай себе голову над тем, чего не можешь переменить!

Нацл стал подниматься по тропинке, ведущей вдоль берега, на холм.

— Послушай! — заговорил Трикэ, следуя за ним.— Только ты не сердись, пожалуйста. А не лучше ли было б тебе уехать отсюда на годик, на два?

Нацл остановился и пристально посмотрел на Трикэ.

Он был единственным человеком, который советовал ему уехать и давал этот совет безо всякой задней мысли.

— Знаешь ли! — отозвался Нацл.— Я тоже так думаю, но не могу я уехать, слишком я слаб...

— Как это не можешь, если хочешь?

Нацл поглядел назад, и в голове у него помутилось. Из-за угла Солоницы появился Банди, направляясь в их сторону, а немного позади застыла высокая и неподвижная Персида. Избавиться от Трикэ не было никакой возможности, и уж совсем было бы ужасно, если бы он, никак не подготовленный заранее, столкнулся с родной сестрой. С ним следовало поговорить начистоту.

Нацл собрал все свои силы.

— Трикэ,— заговорил он, хватая его за руку.— Ты знаешь свою сестру, и она тебе дорога. Так что ты скажешь, если узнаешь, что это она не позволяет мне уехать?

— Как так не позволяет? — растерялся Трикэ.

— Она говорит,— спокойно продолжал Нацл,— что если я уеду, то и она поедет за мной.

Трикэ остолбенел. Казалось, вся кровь застыла у него в жилах.

Он знал свою сестру, знал ее характер, кажется, знал все.

— Значит, это правда,— пробормотал он,— что вы встречаетесь?

— Каждый вечер,— ответил Нацл.

Трикэ вздрогнул, тяжело перевел дух, и кровь его снова побежала по жилам. Что-то невероятное!

— Ты с ней один на один каждый вечер здесь! — прошептал он прерывающимся голосом.

— Нет! — воскликнул Нацл. — Совсем не один! Избави бог! Если бы мы были одни, возможно, что теперь меня бы не было совсем. С нами всегда Банди. Он не сводит с нас глаз и вздрагивает, стоит нам пошевелинуться...

— Раз об этом кто-то знает, завтра будут знать все! Ты обесчестил мою сестру, негодяй, ты опозорил ее на всю жизнь! — прохрипел Трикэ, хватая Нацла за грудь.

Это было глупо, потому что хоть Трикэ и был сильным парнем, но меряться силой с Нацлом, право, не стоило. Однако человек, которого вывели из себя, не отдает отчета в своих поступках. Трикэ казалось, что Нацл, поскольку он виноват, должен испугаться и отступить перед ним.

Нацл стоял словно вкопанный, а отступить с позором пришлось Трикэ. Вот этот-то позор и заставил его быть упрямым. У Трикэ помутилось в глазах, и он ударил Нацла по лицу, разбив ему в кровь и нос, и губы.

Оглушенный, Нацл сделал шаг назад, потом крепко схватил Трикэ за руки, удерживая его от себя на расстоянии.

— Господи! — воскликнул он с глубочайшей горечью. — Проклятье на мою голову! Все обязательно хотят подраться со мной и испытать мою силу. Приди в себя, Трикэ, ведь я тоже человек и могу не сдержаться.

Банди, который подошел совсем близко и узнал их, бросился бежать обратно, а Персида, увидев, как сцепились молодые люди, торопливо зашагала к ним.

— Ты можешь бить меня, сколько хочешь, — продолжал между тем Нацл, — все равно драться с тобой я не буду. Но ты опомнись и пойми, что тебе нужно не колотить меня, а помочь.

Трикэ попробовал высвободить свои руки, но они были словно скованы стальными кандалами.

— Ты сильнее меня, — прохрипел он, — но у меня хватит сил сбросить тебя в Муреш, пусть я и сам полечу туда вместе с тобой.

— Дурачок! — усмехнулся Нацл. — Ну чего ты задумал?! Ты что, утонуть захотел, так все равно я тебя вытащу.

Трикэ укусил Нацла за руку.

От неожиданной острой боли Нацл выпустил его руки, но тут же сделал ему подножку, так что Трикэ полетел далеко в сторону.

— Что такое? — закричала Персида, бросаясь на помощь Трикэ, который пытался подняться с земли.

— Убийца! — накинулась она на Нацла, но, увидев, что лицо его залито кровью, отпрянула назад.

Сейчас это была совсем другая женщина.

За последние девять дней, когда она по вечерам встречалась с Нацлом, Персида утратила свое строго-добродетельное представление о себе и о мире. Она ощущала себя жалкой, способной на любой постыдный поступок, а в этот миг, при виде своего брата, почувствовала себя босоногой девчонкой, шныряющей под ногами людей на базаре, опрокидывающей столы и дерущейся со сверстниками.

При виде крови она вновь стала дочкой Мары, готовой слепо броситься в драку, лягаться, царапаться и кусаться, не разбираясь, кто перед ней и ради чего все это.

Напрасно с такой заботливостью воспитывала ее мать Аеджидия, ибо ничто не выкорчует то, что впитано в детстве.

— Что здесь было? — закричала она.

— Что бы ни было, но виновата только ты, и что бы еще ни случилось, все равно ты будешь виновата! — ответил ей Трикэ, который вдруг ощутил безграничное презрение к сестре. — Ты и только ты, потому что не можешь оставить его в покое, обманываешь своих благодетелей, обманываешь мать, обманула и меня, уверив, что выбросила его из головы. Лгунья! Низкая лгунья!

Так оно и было. И Персида, не так давно Персида-гордячка, униженно стояла перед Трикэ, опустив голову.

Нацл решительно шагнул к Трикэ.

— Пожалуйста, выбирай слова, — проговорил он, сдерживая себя. — Меня ты можешь ударить и не вывести из терпения, а ее не касайся, потому что, будь ты хоть тысячу раз ей братом, все равно будешь валяться у ней в ногах. Она мне хотела добра, но надо

мной тяготеет проклятие. Я калечу жизнь всем, кто желает мне добра!

— Какой черт толкнул меня вмешаться в эту историю, — забормотал Трикэ, почувствовавший вдруг, что ему нет никакого дела до того, что же будет потом. — Мне ведь тоже не избежать ни стыда, ни несчастья.

— Можете успокоиться, потому что оба вы от меня избавитесь! — заявила полная самоотвержения Персида. — Меня приводит в ужас мысль о необходимости провести жизнь в этом мире, где всякий миг довольства всего лишь мимолетная передышка после долгой цепи страданий. С тяжелой болезнью в душе, которая дана мне от самого моего рожденья, терзаясь и мучаясь, бреду я по этому миру, истязая сама себя, и кричу во весь голос, и стону от боли, но люди, эти собратья мои, даже не замечают, что и они страдают так же, как и я, и не хотят разделить со мной мою боль, а с презрением от меня отворачиваются. Я знаю, — голос Персиды зазвенел, — это наше обоюдное несчастье, что мы увидели друг друга, а теперь встречаемся, но душа моя наполняется несказанной радостью, когда я смотрю ему в глаза, даже тогда, когда они печальные, и сама я дрожу, когда его рука касается моей. Не я сама этого желаю и вовсе не он понуждает меня — это неизбежная судьба держит меня в своей власти и мы не можем поступать иначе, чем поступаем. У меня земля горит под ногами, когда я, пробравшись тайком, стою с ним, и все-таки жизнь для меня только те минуты, которые я провожу с ним вместе. С этих пор все для меня — волнение, испепеляющая тревога, пылкие стремленья. Не в силах более сносить тот стыд, который я сама на себя накликала, мне остается только одно — бежать от людей или в могилу, или в укромную монастырскую келью. Дорогой Трикэ, любимый мой брат, не осуждай меня, а утешь нашу добрую мать и раздели вместе с нами горькие слезы!

После таких слов Трикэ не мог остаться бесчувственным. По лицу его покатались крупные слезы.

— Персида, я ведь не ругал тебя. Ты же добрая и ласковая. Только мне становится не по себе, когда я вижу, до чего ты докатилась. Кажется, я схожу с ума и могу даже убить человека. Вот посмотри! — Трикэ указал на свою голову. — Здесь у меня образуется какой-то узел, когда я думаю, что не могу относиться

к тебе по-прежнему, потому что ты совсем не такая, какой я тебя знал до сих пор. Но вы должны принадлежать друг другу, — заключил он решительно и громко.

— Это невозможно! — возразила Персида, уже усталая от волнений, которые вызывала в ней эта мысль. — Ни наша мать, ни его отец никогда не дадут на это согласия. А если это и возможно, то господь бог не благославит семейную жизнь, преступившую волю родителей.

— Глупости! — воскликнул Трикэ. — Им-то какое дело, если по-другому вы не можете жить! Они не знают, не понимают...

— погоди! — остановил его Нацл. — Ты ее не убедишь, только выведешь из себя.

И действительно, Персида, словно испугавшись, сделала шаг назад.

— Не испытывайте меня! — шепотом взмолилась она. — Я слабая, и господь бог видит это и гневается! Превыше матери моей один только бог, и только ему могу я отдаться без ее согласия!

Произнеся это, Персида, как в прежние времена, гордо подняла голову и широким шагом двинулась по дороге, словно приняла непоколебимое решение.

— Персида! — бросился за ней Трикэ.

Нацл схватил его за плечо, пытаясь удержать.

— Она ни на что не может решиться, — сказал он. — Так и идет день за днем. Она потеряла сон, не находит себе места, не знает, с кем поделиться своими мыслями. Она говорит, что чувствует себя так, будто весь мир ее ненавидит. Часто она выходит из себя, но успокаивается, оставшись с собой наедине.

Трикэ остановился, но посмотреть Нацлу в лицо он не мог. Взгляд его остановился на одежде и руке, залитой кровью. Ему хотелось провалиться сквозь землю. Он не понимал, как все это случилось, очень сожалел и готов был просить прощения.

— Дело это нужно решать либо так, либо этак! — проговорил он и размашистым шагом пустился догонять Персиду, которая вместе с Банди была уже около Солоницы.

Мало-помалу Трикэ стал укорачивать шаг. У него было такое ощущение, будто его хозяйка все знает и с удивлением на него смотрит.

«Ну, а мне-то что? Зачем мне вмешиваться в это

дело?» — подумал он и свернул на другую дорогу, в Липову, в то время как Нацл направился к Мурешу, чтобы смыть кровь и перевязать руку.

«Мне что за дело?» — спрашивал себя Трикэ, и, действительно, не было бы ему никакого дела до всей этой истории, не будь он сыном Мары, которая ни к чему не умела быть равнодушной. Трикэ чувствовал, как переворачивается весь мир, стоит ему подумать о том положении, в каком оказалась его сестра. Натура порывистая, она в минуту непереносимой горечи могла оборвать свою жизнь: упрямая, к тому же воспитанная монахинями, могла пренебречь законами мирской жизни и удалиться в монастырь. Несчастливая, несчастная Персида! Чем она согрешила, что все это обрушилось на ее голову?!

«Ну, почему они не могут жить просто так, невенчаные?! — рассуждал Трикэ. — Если они любят друг друга, значит, на то воля божия и нечего оглядываться на людей и попов. Так будет лучше всего!»

Так-то оно так, но с Персидой просто не поговоришь: она словно с цепи сорвалась.

Вдруг Трикэ остановился: ему пришла в голову совсем новая идея.

До Сан-Миклузуша было рукой подать: хорошим шагом часа за три можно дойти туда и еще через три вернуться обратно и к утру лежать в своей постели в Липове как ни в чем не бывало.

Прекрасно! И поп, и попадая в Сан-Миклузуше были друзьями Персиды, так почему бы этому попу и не обвенчать Персиду, никому ничего не говоря?!

Такова была эта новая идея, столь пленительная и притягательная, что сын Мары, опьяненный ею и увлекаемый какой-то тайной силой, свернул на дорогу к Сан-Миклузушу и зашагал, не оглядываясь назад.

Чувствуя, что совершает великое и доброе дело, Трикэ легко шагал в ночной темноте, как бы даже и не касаясь земли.

До полуночи было еще далеко, когда он постучался в окошко священнику.

Тот, не очнувшись еще ото сна, никак не мог припомнить, кто такой Трикэ.

— Что такое? — спросил батюшка, вспомнив наконец Трикэ и впуская его в дом.

— Плохо с моей сестрой Персидой! И я пришел просить, чтобы вы спасли две души.

— Что случилось? — снова спросил встревоженный батюшка.

— Вы помните немца, который тогда явился на свадьбу и разговаривал с Персидой? — спросил Трикэ.

Священник немного подумал.

— Да, да, припоминаю. Такой белокурый, стройный молодой человек. Кажется, мясник.

— Он самый, — продолжал Трикэ. — Так вот в чем дело. Еще тогда и даже еще раньше Персида была к нему равнодушна и он к ней тоже. Но мама не хочет ее отдавать за немца, и его отец не хочет, чтобы они поженились. Так что Персиде теперь плохо: она говорит, что либо покончит с собой, либо пострижется и станет немецкой монашкой.

Непростое это дело, разбудить человека и ни с того ни с сего начать ему втолковывать то, что понять можно только постепенно, не сразу, пытаться заставить его почувствовать боль, о которой он до этого и понятия не имел. Священнику показалась даже забавной та заботливость, которую проявлял Трикэ.

Из всего того, что наговорил Трикэ, священник твердо понял только одно. Он хорошо знал Персиду, и ему было известно, что и в мыслях своих, и в чувствах она склонялась к монашеской жизни и для нее не представляло труда оставить мирскую жизнь, если таким образом она приобретала благорасположение настоятельницы.

— Я обвенчаю ее, — заявил он, — и именно я это сделаю.

— А если вы обвенчаете, это будет настоящая свадьба? — спросил Трикэ.

— Брак есть таинство, — проговорил священник, исполненный чувства собственного достоинства, — и я как священник наделен даром соединять людей на всю жизнь. Когда мужчина и женщина встречаются на жизненных путях и хотят связать свои жизни воедино, то господь бог является их тайным руководителем и будь они истинными христианами, сектантами или нехристианами, все равно они дети божии и бог соединяет их своим благословением через меня. И никто уже не может развязать то, что свяжу я, пока воля их останется неизменной. Супругов можно разлучить силой, но перед богом они всегда плоть и душа едины. Ты понял? Я — настоящий священник!

Трикэ был счастлив и готов был поцеловать ему руку.

— Очень хорошо! — продолжал батюшка. — Но как ты думаешь, примирятся ли родители с тем, что совершится? Не станет ли ваша мать или его отец требовать расторжения брака?

— Мама будет очень сердиться, — смущенно пробормотал Трикэ, — но она промолчит, а потом смирится.

— А его отец, немец?

— Не знаю, — Трикэ смутился окончательно. — Он человек злой и упрямый. К тому же он с сыном в ссоре, они даже подрались.

Священник задумался.

— Да, сложное это дело. Ты должен знать, что священнику следует тяжкое наказание, вплоть до двенадцати лет тюрьмы, если он освящает незаконный брак.

Оба долго молчали.

— Как же быть? — спросил наконец Трикэ.

— Посмотрим, подумаем, — ответил батюшка. — Наказание тяжелое, а у меня жена и дети.

Так все и осталось.

Трикэ вернулся домой уже после полуночи душевно разбитым. Он уже сожалел, что ходил в Сан-Миклузуш: и зачем он вмешался во всю эту историю?

И поп был прав: зачем ему совать голову в петлю?

И все-таки был еще один священник, чрезвычайно расположенный к Персиде. Уж он-то мог бы за нее вступиться! Мог бы поставить себя под удар.

Но и у него были и жена, и дети.

Глава XVI ТЯГОТЫ ЖИЗНИ

Мара потеряла всякий покой.

В мае месяце нет работы ни в поле, ни на виноградниках, и рабочий день дешевле, чем когда бы то ни было, а потому самое время вывозить из леса заготовленные на зиму дрова, грузить их на баржи, прибывшие после пасхи, и свозить их на склады в Арад. Мара металась от одного должника к другому, чтобы на их телегах вывезти дрова из начинающего зеленеть леса, бегала к Солонице, чтобы купить там баржи

и договориться со сплавщиками, оттуда к нижней части моста, где грузили заготовленные сажени, чтобы сплавить их вниз по реке. Так металась несчастная, хотя и казавшаяся легкой на подъем, располневшая женщина, появляясь то вот здесь, то там, где ее вовсе не ждали, и всюду звучал ее озлобленный голос, потому что без недовольства, окрика и ругани с людьми никакое дело не движется.

«Проклятая баба!» — говорили люди, глядя ей вслед, но подчиняясь ей, брались за работу, и дело шло как по маслу.

Кто бы мог подумать, что Мара даже не замечала, что она делает?!

Не здесь были ее душа и сердце, не здесь был и ее всегда трезвый ум.

Мара ничего толком не знала, но материнское ее сердце чувствовало, что в доме у нее происходит что-то страшное. Правда, она предполагала, что именно может происходить, и потому земля горела у нее под ногами, сердце вечно было не на месте и силы порой совсем оставляли ее, так что она чуть ли не падала в обморок.

Святой боже! Сколько она бегала, сколько трудилась, сколько волновалась и тратила себя на мысли о будущем, и все напрасно. И почему она не сумела уберечься от того, чего так боялась! Когда она об этом думала, ей хотелось грохнуться на землю и лежать, безразличной ко всему и бесчувственной.

Но вместе с любовью бог наделил человека и надеждой и верой, и ничто не могло поколебать ни любви Мары к своим детям, ни веры ее в их счастливую звезду, и когда испытывала она за них великий страх, вместе с ним возникало у нее и чувство, что всевидящий господь бог заставляет ее пройти через все испытания, чтобы избавить от различных искушений. В ее так трудно жившем теле было еще много жизни, и Мара не могла жить без надежды, что все в конце концов уладится и будет хорошо.

Хорошо, конечно, хорошо, но сердце ее обливалось кровью, когда она замечала, что ее дети не откровенны с ней, что они тайно встречаются друг с другом, перешептываются, понимают друг друга с первого взгляда, а это великий грех, который бог не может оставить безнаказанным и об искуплении которого она страдала куда больше, чем они.

Беспрерывно хлопоча, Мара все время молилась богу, как человек, которого подстерегают тысячи опасностей. Но Персиде она ничего не говорила: и что бы она, безграмотная женщина, ей сказала?!

На третий день после того, как Трикз побывал в Сан-Миклузуше, Мара, вернувшись вечером домой, заметила, что Персида переменялась: она была спокойной, почти веселой, как человек, который после долгих душевных терзаний пришел наконец к определенному решению и мысли его потекли в одном направлении.

Мара тоже успокоилась: каким бы ни было это решение, оно все-таки лучше, чем непрестанные волнения. Она не стремилась разузнать, что же произошло и что происходит в душе ее дочери. Она боялась узнать правду.

— Мама, — сказала ей Персида, — я больше так жить не могу.

Мара внимательно и нежно посмотрела на нее. Она очень хорошо понимала дочь и, казалось, всю жизнь готова была разделить с ней.

— Ты вот говоришь, что больше не можешь, а ведь могла, — отвечала она Персиде. — Господь бог не определяет человеку, сколько он должен страдать. Поэтому ты должна терпеть!

— Раньше было по-другому. А теперь я устала, силы мои иссякли и волю свою я утратила.

— Делай, что хочешь, поступай, как подсказывает тебе сердце и как повелевает разум. Принуждать я тебя не буду, но и советовать тоже не могу. Ты лучше знаешь, что ты чувствуешь, куда влекут тебя мысли. Что бы я тебе ни сказала, все равно ты поступишь так, как тебе бы хотелось. Зачем мне силой препятствовать тебе, когда я знаю, как ты огорчишься от того, что не можешь быть послушной? Зачем мне подчиняться твоей воле, когда я чувствую, что мне лучше вообще не вступать в твои дела. Нет, на худое я тебя толкать не буду! Поступай так, как тебе назначено судьбой, как повелевает тебе бог, который лучше знает, где тебя поддержать и как испытать тебя!

Сказав все это, Мара, грузная и высокая, поднялась и вышла из дома.

Персида, оставшись одна, расплакалась тихими слезами, похожими на осенний дождь.

Да, мама ее права! Ничего хорошего она не видит

перед собой, и судьба ее измениться не может, и остается ей делать на свою ответственность то, что она и делала, и идти с открытым сердцем вперед.

Мара, тоже оставшись одна, не заплакала, она даже не была огорчена. Она не могла и помыслить, что Персида слепо бросится в волны житейского моря.

«Какие бы соблазны она ни испытывала, каким бы ни было ее решение, — думала мать, — но она не сможет сделать того, чего, как она прекрасно знает, не желаю я. Она будет думать и сомневаться, пока все само собой не минует».

Поэтому Мара и ушла из дома, решив больше не разговаривать с дочерью, предоставив ей возможность все выяснить наедине с собой.

Но Мара ошибалась. Нет ничего привлекательнее для юности, как мысль о новой, неизведанной жизни. Размышляя об этой жизни, Персида почувствовала, как ее привлекают те невзгоды, которые рисовались перед ней, и всего лишь за несколько дней весь ее образ мыслей настолько изменился, что мать Аеджидия пришла бы в ужас, услышав, как она рассуждает. Все, что раньше представлялось Персиде святым, теперь для нее стало глупостью: единожды придя к определенному решению, она не могла от него отступить, а потому, чтобы примириться с собой, изменила свой взгляд на мир.

Вот об этом-то и не подумала Мара: она видела перед собой все ту же Персиду, разумную и гордую. Мара легла спокойно спать, на следующий день утром также спокойно встала и отправилась по своим делам, и не утратила этого спокойствия даже вечером, когда не застала Персиду дома.

Не были заперты ни калитка, ни входная дверь, и это, как полагала Мара, было знаком, что Персида где-то неподалеку, отлучилась только на минутку.

Но минуты шли, а дочь не возвращалась.

Мать стала беспокоиться и пошла осматривать дом.

Платьев Персиды не было, не было нигде!

Невероятно, но платя из дома исчезли!

Мара представила дочь босую, немытую и нечесаную, шныряющую на базаре под ногами людей, опрокидывающую столы и дерущуюся с соседскими детишками. Она видела Персиду вместе с братом в лодке, несущейся по волнам разлившегося Муреша: это была ее дочь, упрямая и готовая на любое безум-

ство. Все, все было напрасно: как была она ее дочерью, так и осталась!

Да, да, ее дочь могла убежать из дома, если так повелела ее натура, убежать с самым недостойным человеком.

Банди тоже нигде не было видно.

Мара в нерешительности присела на минуту. Ей хотелось разрыдаться. Но только минуту это и длилось. В следующий миг кровь бросилась ей в лицо от стыда и гнева, из-за того, что ее дети могли ее обмануть.

Набросив на голову платок и заперев дверь, она решительным шагом направилась в Липову, чтобы посмотреть в глаза Трикэ.

Она не вошла в дом Бочьоакэ, а дождалась, когда появился один из учеников, и попросила его вызвать к ней Трикэ.

— Где Персида? — сдерживая себя, спросила она.

Трикэ предвидел этот вопрос и заранее приготовился к ответу.

— Ушла.

— Куда ушла?

— Этого я сказать не могу, — сухо и решительно ответил Трикэ. — Режь меня на куски, все равно не скажу.

Мара пристально посмотрела на него и разрыдалась.

Ни у кого нет таких детей, как у нее: уж если они забрали что-нибудь себе в голову, то никто этого оттуда не выбьет.

— Значит, вы и гнева божьего совсем не боитесь, — огорченно сказала она. — Такой позор на мою голову! Вы ведь меня обманули! Искалечили всю мою жизнь!

Не зная, что еще сказать и что делать, страхась самой себя: как бы она в горе и отчаянии не прокляла своих детей, Мара повернулась и побрела к мосту.

— Мама! — воскликнул Трикэ, бросаясь вслед за ней. — Мама, погоди, успокойся! Давай поговорим как разумные люди. Послушай! Ведь тебе ничего не осталось, как только помириться с ними. Я нашел священника, который их обвенчает, если ты дашь свое согласие. Пойди и спаси нашу бедную Персиду, не дай ей уйти в люди с позором, потому что этот позор, он и на нашу голову.

— Нет! Эту подлость я не совершу, потому что

прекрасно знаю: скоро, очень скоро она пресытится им. Не свяжу я жизнь моей дочери с человеком, который не может помириться даже с родным отцом. Ушла, пусть так и будет. Чем хуже она убежала, тем скорее опомнится, тем глубже раскается, когда вернется. А позора все равно никто не смоем. Жизнь моя искалечена, но греха из несчастья я не сделаю!

Ровным шагом зашагала Мара домой, словно примирившись с тем, что произошло.

Все тщетно! Дочь ее все равно оставалась ее ребенком, и материнское сердце не могло оттолкнуть ее от себя.

Прошли и развеялись навсегда ее прекрасные мечты о жизни дочери, на которую все люди взирали бы с удивлением. Она как будто слышала, что твердят злые языки, как будто видела презрительные взгляды завистников. Она переживала всевозможные страдания, которые ожидали ее несчастную дочь. И вместе с тем Мара все больше и больше примирялась с мыслью, что иначе и быть не могло, что так и должно было случиться, а порой она даже испытывала нечто вроде гордости за свою дочь, потому что нет ничего более прекрасного, чем женщина, полностью отдающая себя мужчине, которого она любит, и берущая на себя с закрытыми глазами все тяготы жизни.

Что и говорить, Мара плакала, плакала она дома, оставшись одна, плакала и бегая по делам, когда на нее никто не смотрел, плакала и бродила одинокая в опустевшем мире, но, вытирая слезы, она не жаловалась и не обвиняла дочь, она не гневалась и даже не раздражалась, когда прохожие с жалостью смотрели ей вслед, когда какой-нибудь несведущий человек спрашивал, где же ее дочь.

— Не знаю, — отвечала она и на этом обрывала разговор.

Прошло четыре недели, когда явился Трикс и сообщил, что получил от Персиды письмо из Вены, в котором она тысячу раз просит прощения и умоляет не думать о ней плохо.

— Напиши ей, — сказала Мара, вытирая слезы, — что ни в чем я ее не виню, только плачу о ней и все время молю господа бога, чтобы хранил он ее и укреплял. Напиши ей, пусть не слушает, что болтают люди, что я ее жду и пусть она возвращается, когда станет ей тяжело. Напиши ей, — продолжала Мара, обливаясь

слезами, — что все равно я ей мать и никто в этом мире страдать за нее, как я страдаю, не будет.

Так Трикэ и написал — и плохо сделал.

Много мучилась Персида, пока не приняла единственное решение. Но именно поэтому, единожды решив, она почувствовала себя очень легко и с открытым сердцем вступила на избранный ею путь. Она жила словно в каком-то опьянении, которое никак не проходило, на душе у нее было так сладостно, что ей и в голову не приходило, что когда-нибудь в жизни она сможет пожалеть о том, что сделала.

— Нет! — воскликнула она простодушно, глядя на Нацла. — Как бы ты со мной ни поступил, достаточно будет вспомнить о моей жизни сейчас, чтобы ни на что не жаловаться.

По дороге в Вену и в самой Вене, этом большом и шумном городе, она не видела ничего, кроме Нацла, который и сам не знал, что же им делать. Он и раньше смотрел на нее словно на солнце в небесах, а теперь постоянно чувствовал, что не в состоянии воздать ей должное за жертву, которую она принесла ради него, и каждый миг старался дать ей понять, что знает, насколько велика эта жертва.

Но Нацлу не нужно было прилагать никаких усилий: Персиде вполне достаточно было того, что она видела его все время оживленным, и, вспоминая, в каком состоянии он был раньше, чувствовать, что она спасла его, возвысила и осветила его жизнь, и смотреть на него так, будто сама его родила. Он принадлежал полностью ей, этот замечательный человек, и никто кроме нее не имел на него никакого права.

Перед отъездом Нацл занял у Гринера еще восемьсот флоринов. Он предполагал вступить в товарищество с кем-нибудь из мясников, помоложе и победнее. Для начала он снял квартиру в две комнаты и купил все необходимое, чтобы эту квартиру обставить, так что Персида испытывала все радости хозяйки дома, которой не нужно заботиться о завтрашнем дне. Каждый день они отправлялись любоваться красотами города и особенно соборами, в которых Персида чувствовала себя так привычно, обедали они в трактире, а вечерами либо слушали музыку, либо ходили в театр, о чем до той поры Персида знала только понаслышке. И повсюду Персида обращала на себя внимание. В большом доме, где они квартировали, вскоре она стала известна

как фрау Хубер, молодая женщина, стройная, немного бледная, но с какой-то особой красотой, всегда сдержанная и приятно почтительная. На улице, в городских садах и общественных местах Нацл гордо поднимал голову, возвышаемый в собственном представлении, когда видел, как все глазект на его жену.

Блуждая по городу безо всякого дела, Персида останавливалась, когда на пути ей попадалась мясная лавка, и ничто в этом большом и красивом городе так ей не нравилось, как чистые мясные лавки с отлично разделанными тушами, выставленными на обозрение прохожих. Сердце ее ликовало, когда она думала, что вскоре она увидит и своего мужа в аккуратном фартуке рядом с колодой, таким, каким она видела его некогда перед монастырем, что они больше не будут обедать по трактирам, потому что она сама будет готовить обеды в собственной кухне, такой же чистой, как и у монахинь. Персида все время настраивала Нацла, и на вторую неделю они уже завели разговоры с двумя мясниками, молодыми, еще холостыми людьми, чтобы всем вместе открыть мясную лавку неподалеку от заставы Лерхенфельд, на весьма бойком месте, где оборот составлял сто, сто пятьдесят флоринов в день.

Все уже было налажено, когда пришло письмо от Трикэ.

Читая письмо, Персида не могла удержаться от слез. И зачем ей было удерживаться?! Здесь, среди совершенно чужих людей, это была первая весточка от брата и от матери, а сколько любви было в этом письме! Зачем ей было сдерживаться, когда Нацл был тоже растроган.

— Дорогая моя мамочка, добрая моя! — вздохнула Персида, закончив чтение и откладывая письмо.

Нацл молчал. Казалось, что и у него навертываются слезы на глаза. Но не потому, что и у него была мать, и дорогая, и добрая, а к тому же еще и несчастная, а потому, что хотя в письме ни слова не говорилось о нем, для него оно было тяжким ударом. Ужасный удар нанесли ему те несколько слов, которые сказала Мара Трикэ, и Нацла пробрала даже дрожь: когда он подумал, что Мара, должно быть, права и что высказала она то, что было у нее на уме.

Персида и Нацл говорили всегда по-немецки. Так повелось с самого начала, и Персида поддерживала этот обычай.

— Когда-нибудь ты меня страшно возненави-
дишь! — на этот раз совершенно неожиданно произнес
Нацл по-румынски.

Персида пристально посмотрела на него. Она по-
няла ход его мыслей, потому что и она испытывала
ту же боль, какую чувствовал Нацл.

— Не глупи, — ответила она тоже по-румынски. —
Мама говорит так, как думает, но пройдет время, и
она все увидит по-другому. Ты прекрасно знаешь, что
я уехала с тобой не под воздействием минутного лег-
комыслия, а после долгих сомнений и колебаний, когда
наконец укрепилась в единственном решении: только
так я могу поступить и больше ничто в целом мире не
заставит меня поколебаться. Что бы ни случилось, ты
для меня останешься превыше всех.

— Это тоже может пройти. Если твоя мать встанет
между тобой и мной, то ты, в конце концов, отвер-
нешься от меня.

— Нет! — Персида решительно подняла вверх
палец. — Это ты мог говорить до того, как я стала
твоей женой, а теперь ты для меня все и я оставила
всех только ради тебя. Я приложу все силы, чтобы и
сердце моей мамы было на твоей стороне, а если это
мне не удастся, то я буду выполнять свой долг: тебя
я не покину никогда, даже если ты оставишь меня.
Пожалуйста, не думай о моей матери. Я ее знаю лучше,
чем ты, и могу тебе сказать, что нам остается только
одно — чувствовать себя счастливыми, потому что она
полюбит тебя как родного сына и стоит ей только
услышать, что мы попали в тяжелое положение, как
она тут же прилетит, чтобы нам помочь. Сейчас она
очень расстроена, но это пройдет. Мы будем порядоч-
ными людьми, и все пойдет отлично.

Нацлу нечего было возразить. Он чувствовал, что
все зависит от него, и сам себя подбадривал и побуж-
дал к тому, чтобы собственной жизнью посрамить всех,
кто считает его слабым человеком.

В этот же день он договорился с Ландманом и
Губачеком, который имел звание мастера и владел
маленькой лавкой, что каждый из них поначалу вкла-
дывает в дело по пятьсот флоринов, а через три ме-
сяца, первого сентября, еще пятьсот, а от дохода
Губачек получает сорок, а остальные двое по тридцать
процентов.

Первого июня они сняли мясную лавку и, люди

молодые и трудолюбивые, дружно принялись за дело. Нацл и Губачек разделявали мясо в лавке, а Ландман закупал скот, забивал его и привозил в лавку туши.

Персида вела счета и блюла порядок в доме.

Поскольку при лавке не было жилого помещения, они сняли просторную квартиру поблизости. Так сбылось и желание Персиды.

По утрам она посылала служанку убирать спальни двух приятелей, а сама делала уборку в собственной квартире, после чего обе они отправлялись на базар делать закупки к обеду.

Вернувшись с рынка, Персида разводила огонь и, оставив служанку на кухне, еще раз обмахивала всюду пыль и вновь возвращалась к плите. К обеду в опрятно убранном доме накрывался опрятный стол и кушанья были вкусными и отборными.

После обеда Персида делала пометки в расходной книге и, пока служанка мыла посуду, садилась за шитье, которым и занималась до вечера, а когда возвращался Нацл, они отправлялись на прогулку или шли развлекаться в какой-нибудь городской сад.

Все складывалось благополучно, все было хорошо. Торговля шла бойко превыше всех ожиданий, и в доме царил мир и взаимопонимание.

Однако в душе у Нацла затаилось ощущение, что между ним и Персидой что-то встало, что Персида ближе к матери, чем к нему, и порой его охватывал страх, что он потеряет ее, что такое счастье, как у него, не может быть вечным. Тогда он начинал неумеренно проявлять свою любовь к Персиде и, не в состоянии оставаться без нее, возвращался не вовремя домой и разговаривал по-румынски, чтобы польстить ей.

Нужно сказать правду, Персида умела успокоить его. Как только Нацл обращался к ней по-румынски, она начинала тревожиться, чувствуя себя глубоко обиженной его недоверием. Жизнь представлялась ей не такой безоблачной, как раньше, и не раз, когда она оставалась одна, глаза ее наполнялись слезами.

Причин для слез у нее не было, но в душу ей закрадывалось что-то вроде предчувствия и печальных дней, и тяжких испытаний.

— Если бы ты знал, какую боль испытываю я, когда вижу тебя таким беспокойным, — заговорила она с Нацлом в один прекрасный день, — ты бы сдерживал

вался и не обнаруживал своих опасений, которые появляются ни с того ни с сего.

— Как я могу сдерживаться? — возразил он, глядя на Персиду. — Когда я гляжу на тебя, когда я о тебе думаю, мне кажется, что ты слишком большое счастье для меня. Я боюсь, что и ты это понимаешь и в конце концов меня бросишь.

— Как я тебя брошу? — возмутилась Персида. — Разве я могу тебя бросить? Разве мы не связаны друг с другом святой клятвой? Разве перед тобою нет у меня обязанностей? За кого ты меня считаешь? Разве я легкомысленная женщина? Разве ты не видишь, что твои беспричинные опасения унижают меня?

— О господи! — нетерпеливо воскликнул он. — Ты красивая женщина, умная и полная всяческих добродетелей, а среди тех, кто смотрит на тебя жадными глазами, сколько людей, более достойных тебя, чем я! То, что ты совершила ради меня, ты можешь совершить и ради другого, то, что из-за любви ко мне ты причинила своей матери, ты можешь причинить и мне ради любви к другому, более счастливому человеку.

Персида почувствовала, что ей нанесен смертельный удар. Что она могла поделать? Все было так, как говорил Нацл. Так он и должен был думать. Его опасения были естественным следствием поступка, который она совершила. Она согрешила, и ей ничего другого не оставалось, как только искупать свой грех.

Лицо ее сделалось белым как мел, тело похолодело. Так она стояла перед ним, не в силах вымолвить ни слова, не смея взглянуть ему в глаза. Вдруг она почувствовала, что жить с человеком, который может быть таким безжалостным, совершенно невозможно, что нужно без всякого промедления бежать от него.

В ушах Персиды звучали слова, которые Трикэ написал в письме. Ей казалось, что мать манит ее к себе.

Но она должна была оставаться на месте, иначе — лучше умереть!

— Подумай хоть раз, насколько ты несправедлив ко мне! — проговорила она, ушла в соседнюю комнату и заперла дверь.

Некоторое время Нацл стоял совершенно растерявшись, потом толкнул дверь, желая ее открыть.

— Зачем заперла дверь? — встревожившись, спросил он.

— Хочу быть одна.

— Отопри, а то сломаю! — угрожающе крикнул Нацл.

Персида даже не шевельнулась.

— Отопри! — вновь закричал он.

За дверь было тихо.

Нацл схватил дверную ручку и толкнул дверь. Видя, что она не поддается, он толкнул ее изо всей силы плечом. На весь дом раздался треск, и дверь распахнулась.

Персида стояла посреди комнаты, неподвижная, грозная, исполненная презрения.

— Ты в своем уме? — спросила она.

— Нет! — отвечал Нацл. — Не сейчас, не вчера, не позавчера я не в своем уме. С той самой минуты, когда я увидел тебя, я потерял всякий разум, смысл моей жизни переменился и я стал совершенно непереносимым ни для себя, ни для других. Я стал ничтожеством, которое не знает, что творит. Я делаю то, чего не хочу, и не могу сделать того, чего хотел бы. Разве ты сама не видишь, что в конце концов я неизбежно стану тебе противен?! Беги, Персида, от меня, скройся и прокляни тот час, когда увидела меня!

Персида покачала головой.

— Этого я не сделаю никогда, — смягчившись, проговорила она. — Что бы ни случилось, ты мой муж, и если ты убежишь от меня, то я повторяю тебе, с открытым сердцем последую за тобой, если ты спрячешься, я отыщу тебя. Если ты проклянешь меня, я буду молить господу, чтобы он помог мне успокоить тебя и ты вновь пришел бы в себя и благословил тот час, когда меня увидел. Меня охватывает какая-то безнадежность, когда я вижу тебя таким, как сегодня, но я все перенесу, только ты не бей и не колоти меня, Нацл, потому что побои я стерпеть не в силах.

Нацл долго смотрел на Персиду, потом глаза его наполнились слезами и он, подавленный собственной слабостью, схватил шляпу и выбежал из дома.

Оставшись одна, Персида некоторое время смотрела на сорванную задвижку, потом обеими руками закрыла лицо. Ах! Какой позор! Не может быть, чтобы служанка не поняла, что здесь происходило, и не рассказала остальным жильцам, что случилось, когда раздался страшный треск... Но у Персиды не было времени чинить дверь, а плакать тем более: приближалось время обеда и нужно было накрыть на стол.

Ей казалось само собой понятным, что Нацл отправился в лавку, откуда и должен вернуться в обычное время. Тем неприятнее было для нее увидеть Губачека, который пришел один и, недовольный, осведомился, куда делся Нацл.

Персида хотела незамедлительно броситься на поиски, но где искать мужа в таком большом и шумном городе? Она подумала было побежать в полицию, но это было выше ее сил. Ей оставалось только скрыть свою тревогу, притвориться веселой и обмануть Губачека, сказав, что ее муж получил из дома письмо и поспешил к кому-то из приятелей.

Когда явился Ландман, все сели за стол, как ни в чем не бывало. После обеда Персида убрала со стола, навела порядок на кухне и уже к вечеру, оставшись одна, задумалась, в каком безнадежном оказалась положении.

Нет ничего в семейной жизни хуже того, когда один из супругов уходит из дома, не говоря, куда он идет. А Нацл ушел сердитый, с глазами, полными слез из-за ссоры, которая возникла как гром среди ясного неба. Он бросил ее одну среди чужих людей, у которых она не могла найти ни сочувствия, ни помощи.

Нет! Жить так — свыше сил человеческих: жить здесь, в этом мире, с таким человеком она не будет.

Примерно такое же чувство заставило и Нацла уйти из дома.

И он, и она были слишком одиноки, но у Нацла здесь, в Вене, был друг — Бурдя. Однако, когда Нацл вспоминал о нем, Бурдя всегда представлял перед ним с ехидной усмешкой, так что искать его у Нацла отпадала всякая охота. Но на этот раз Нацл не удержался. Хотя он и чувствовал, что соприкасается со злым духом, однако отправился в университет, навел там справки, узнал адрес, побывал на квартире и обошел кофейни, в которых проводили время студенты. Так он блуждал все послеобеденное время. На сердце у него было тяжело, потому что он чувствовал, как нехорошо поступает, не возвращаясь домой.

К вечеру, когда Нацл наконец-то отыскал Бурдю, он был разбит и душевно, и физически. Он уже сожалел, что искал Бурдю и нашел. После нескольких общих слов Бурдя пристально посмотрел на Нацла своими живыми глазками и воскликнул:

— Как? Персида приехала вместе с тобой?

— Я же тебе сказал: вот уже три месяца как мы с ней живем здесь,— смущенно повторил Нацл.

Бурдя не хотел верить. Он никак не мог понять, как это девушка, которая не пришла тогда на виноградник к Корбу, смогла приехать в Вену.

— Значит, вы обвенчались? — с сомнением в голосе спросил он.

— А тебе что? Да, мы муж и жена.

— Могу я увидеть ее? — спросил Бурдя, готовый уже бежать.

Нацл некоторое время колебался. Ему не хотелось вести Бурдю к Персиде, а сейчас особенно.

— Я иду не домой, у меня есть еще дела, но завтра или послезавтра я тебя разыщу.

Нацл протянул Бурде руку и зашагал не оглядываясь.

Он искал его, чтобы поговорить, но ничего ему не сказал. Он ходил за ним, а теперь вот мучился: как бы избавиться от него.

Вернувшись домой, полный раскаяния и унижения, Нацл застал Персиду тихо сидящей у окна с обычной работой в руках. Когда он вошел, Персида подняла голову и приветливо взглянула на него, словно ничего и не произошло.

— Жалкий я человек! — Нацл отбросил в сторону шляпу и устало опустился на стул.

Персида снова подняла голову и опять взглянула на него, но теперь уже озабоченно.

— В этом нет никакого сомнения,— тихо проговорила она.— Но это добрый знак, когда ты сам в этом признаешься. Но признаваться — этого мало, нужно еще приложить усилия, чтобы не быть таким. Жалок тот, кто действует под влиянием момента или побуждаемый другими людьми, тот, чьи поступки, в конце концов, порождают зло. Но стоит только напрячь волю, и человек перестает быть жалким.

— А если у меня нет воли? — мрачно проговорил Нацл.

— Она у тебя есть,— возразила Персида,— но ты дурно воспитан. Теперь ты видишь, как плохо ты поступил, как ты огорчил меня и как самому тебе это противно. Извлеки урок из этого опыта и положи себе за правило: никогда не выходить из дома и не ложиться спать в раздражении. Каким бы большим оно не было, его нельзя выносить из дома, нельзя и переносить из

сегодняшнего в завтрашний день. Подумай,— продолжала она, немного помолчав,— как бы ты себя чувствовал, что бы ты делал, если бы и я оказалась такой же слабохарактерной, как и ты, и тоже убежала, и ты, вернувшись, не застал меня дома. Мне тоже хотелось уйти, но я знала, что этого делать нельзя, и справилась с собой. Владей собой и ты, коли ты мужчина.

Глаза Нацла затуманились, и он долго смотрел на свою жену. Столько доброты, столько кротости и ума было в ее словах, в каждом движении, во всем ее облике, что она казалась неземным существом, к которому было страшно приблизиться, на которое можно было только робко взирать.

— Тебе легко говорить, что нужно делать,— говорил он.— А мне тяжело, потому что я не такой, как ты.

Персида с любовью взглянула на Нацла. Униженный и раскаивающийся, он показался ей самым лучшим человеком на свете. Ей бы хотелось посмотреть ему в глаза, но он сидел уставившись в пол. Персида отложила свою работу, встала и подошла к нему, чтобы приласкать и поцеловать в лоб.

— Ты станешь таким же, как я. Я знаю, что станешь, а потому не могу на тебя сердиться.

Нацл поцеловал Персиду руки, и они, снова счастливые, долго сидели молча.

— А теперь расскажи, где ты был и каких натворил глупостей,— шутливо обратилась Персида.

— У дьявола я был,— в ярости пробурчал Нацл.— Я встретился с Бурдей.

Персиду это неприятно задело, и она чуть-чуть отодвинулась от него.

— Ты ему все рассказал? — озабоченно спросила она.

— Нет. Я ему сказал только, что ты здесь.

Ах, что бы дала Персида, если бы Нацл не говорил и этого. Она боялась испытующего взгляда этого человека, его злого языка, и ей было совершенно непереносимо думать о том, что рано или поздно ей придется с ним встретиться.

И много времени не прошло, как они повстречались.

Бурдя подождал день, два, но видя, что Нацл не является за ним, сам отправился его разыскивать.

Время было послеобеденное, и Персида, как обычно, сидела у окна с работой в руках, когда вошла служанка

и доложила, что какой-то господин, которого зовут Бурдя, желает ее видеть.

— Скажи, что меня нет дома! — смутившись, распорядилась Персида.

— А я сказала, что вы дома, — возразила служанка.

— Тогда отведи его к моему мужу и скажи, что я плохо себя чувствую и потому не одета.

Но не успела она все это сказать, как распахнулась дверь и на пороге появился Бурдя.

— Я вижу тебя румяной, веселой и тщательно одетой, — ехидно сказал он. — И очень рад тебя видеть.

Персида покраснела, но не от стыда, а от гнева. Она готова была схватить его за плечи и вытолкать с лестницы.

— Я тоже была бы рада, — колко заметила она, — если бы ты пришел вместе с Нацлом.

— Почему, скажи ради бога? Разве ты боишься побыть наедине с таким, кавалером, как я?

Персида собрала все свои силы.

Она не видела никакой возможности избавиться от этого Бурди. На свете много есть такого, чего люди вроде Бурди не понимают, а Бурдя, сам того не сознавая, был лишен всякого чувства стыда. Персиде оставалось только принимать его таким, какой он есть, и поддерживать разговор в его манере.

Служанка, не понимавшая, о чем идет разговор, видела только, что хозяйка ее смущена, видела издевательскую усмешку Бурди и сама еле удерживалась от смеха. Персида сделала знак, чтобы та ушла.

— Прошу садиться! — пригласила Персида. — Я знаю, что ты явился, чтобы иметь удовольствие посмеяться надо мной. Можешь начинать!

— Вовсе нет, — возразил Бурдя. — Мне доставляет удовольствие то, что я вижу тебя и что ты, как любой порядочный человек, поступила так, как повелевает тебе сердце.

— Это верно, — согласилась Персида, слегка оттаивая, — высший закон — это веления нашего сердца. Безумец тот, кто душил эти веления. Тиран, кто скрывает их и переживает внутри себя. Я люблю Хубэра и уехала с ним сюда, где нас никто не знает, где все думают, что мы законные муж и жена. Дома все дураки смотрели бы на нас косо. Поэтому я вовсе не рада, что встретила здесь с тобой, ведь ты разнесешь по всему свету, что я незаконная жена Хубэра.

— А тебе что за дело?! — убежденно заговорил Бурдя.— Ты любишь, ты счастлива, так зачем обманывать людей?! Пусть они убедятся, что только так и можно быть счастливым. Ты красива, и, когда Нацл тебе надоест, ты найдешь себе кого-нибудь другого.

Персида чуть не разрыдалась. Ей казалось, что она упала на землю и Бурдя топчет ее ногами.

— Конечно,— подтвердила она, сдерживая рыдания,— я так и сделаю, непременно так. Но пока я люблю Хубэра и прошу тебя пройти со мной, потому что нам по дороге.

Персида больше не могла находиться одна с Бурдей. Она вынула из шкапа шляпную коробку, надела шляпку и вышла с ним на улицу.

«Нет,— думала она, спускаясь по лестнице,— здесь я больше не останусь, здесь я не могу больше жить. Мне нужна чья-то поддержка в этом мире, чье-то сердце, близкое мне».

Вокруг сновали прохожие, и шумный город словно душил Персиду.

Увидев Нацла, Персида, несмотря ни на что, стала улыбаться: она не хотела рассердить его своим недовольным видом.

Вечер они провели вместе с Бурдей, и к десяти часам, когда Нацл и Персида вернулись домой, она уже не чувствовала, что жизнь в Вене так уж непереносима. Время пробежало совсем незаметно. В ее жизни не было столь приятных часов, какие они провели все вместе.

Бурдя был человеком весьма своеобразным, но он был умен и начитан, прекрасно говорил и с большим жаром отстаивал свои взгляды. И только сейчас, в разговорах со старым приятелем, стало по-настоящему видно, что из себя представляет Нацл. Персида даже не предполагала, что ее муж так умен и так образован, и это ее особенно поразило. Перед ней неожиданно предстал совершенно новый человек. И что больше всего привлекало в нем Персиду, так это та пылкость и решительность, с какими он защищал свои убеждения, столь отличные от взглядов Бурди. Теперь Персида твердо знала, за что она полюбила Нацла и за что она его любит. Только в постели, прежде чем заснуть, она подумала о противоречии между убеждениями и поступками Нацла и спросила себя, как же может случиться, что человек, имеющий столь добропорядочные

понятия, ведет столь неупорядоченную жизнь, как Нацл.

Персида заснула, так себе ничего и не уяснив, а утром проснулась с неприятным осадком в душе.

Всю ночь ей снился родной дом, мать, Трикэ и все, кого она знала с детства.

Она приехала в Вену, чтобы избежать их упреков, а вот теперь безразличие чужих людей ей стало переносить тяжелее, чем те порицания, какие она могла бы ожидать дома. Вдруг в ее душе пробудилось желание вернуться домой, и мысленно она перестала жить там, где находилась.

Персида никак не могла набраться мужества, чтобы поговорить об этом с Нацлом. Ей не только было трудно разрушать то дело, в которое он вошел и которое шло лучше всяких ожиданий, но и сам Нацл постепенно, день за днем, все больше отстранялся от нее, и она уже не могла разговаривать так откровенно и безболезненно, как это бывало раньше.

Что-то лежало на сердце Нацла: все время он ходил задумчивый, в положенный час не возвращался домой, а несколько вечеров и вовсе заставил Персиду провести одну. Он, который совсем недавно боялся ее, не сказавшую ни одного дурного слова, теперь вел себя так, словно нарочно хотел оттолкнуть ее от себя, избавиться от нее.

— Ну, ладно,— заговорила наконец Персида, когда Нацл явился домой после полуночи,— что с тобой творится?

Он долго на нее смотрел и признался:

— Опостылела мне эта жизнь, не могу я больше здесь жить.

— Давай вернемся домой, — оживилась Персида.

— Это невозможно,— воскликнул он, выходя из себя.— С тобой я не могу вернуться. Я не чувствую себя настолько сильным, чтобы не убить всякого, кто будет коситься на тебя, будь это даже мой отец. Чтобы вернуться, мне нужно, чтобы любому и каждому я мог сказать, что ты моя законная супруга.

Персида в страхе бросилась к нему, заломив руки.

— Прошу, прошу тебя,— умоляла она,— ты ведь поклялся не делать этого. Я лучше перенесу людское презрение, чем подвергну опасности человека, который дал мне счастье. Какое нам дело до людей, если мы чисты перед богом?! Давай останемся здесь!

Глава XVII

КОРЧМА У СОЛОНИЦЫ

Ничто не превзойдет материнскую любовь!

«Ну и что тут такого! — стала рассуждать в конце концов Мара. — Как будто от этого она стала другой! Сколько женщин живет счастливым домом без всякой свадьбы?! Сколько из них стало счастливыми после того, как оступились?!»

«Лучше умереть!» — говорила она раньше, а теперь чувствовала нечто вроде утешения, когда вспоминала, что ее дочь не обвенчалась с немцем. Она прекрасно знала, что жить в одиночестве невозможно. Дочь ее могла убежать из дома, но остаться одна она не могла, а потому и ждала со дня на день ее возвращения. Одного лишь она боялась и ежедневно молила бога, чтобы он уберег Персиду от того, что могло бы привязать ее к Нацлу на всю жизнь. Смертельная дрожь пронизывала ее при мысли о самом естественном деле, при мысли о том, что Персида может вернуться домой матерью. Что будет потом, об этом она отказывалась думать. Она не знала, что чувствовать, как поступить, что говорить, если это случится.

Поэтому у нее застыла в жилах кровь, когда за четыре дня до праздника святого Петра явился Трикэ и, начав исподволь, в конце концов сообщил, что Персида вернулась из Вены.

Господи, ей бы нужно было радоваться, но она не смела. Мара ожидала Персиду одну и не сомневалась, что она бросит немца, который искалечил ей жизнь, а она вернулась вместе с ним, да еще говорит, что никогда его не покинет.

— А она не...? — Сердце у Мары сжалось, и она даже не договорила до конца.

Трикэ посмотрел матери в глаза и понял вопрос.

— Не знаю, — ответил он, — не думаю, мне не кажется.

— И почему все так получается?! Теперь-то уж обязательно ей скажи, что я не желаю ее знать, пока она будет с ним: или я, или он!

Персида получила еще один удар. Более жестоко нельзя было наказать ее, но так и должно было быть, наказание было справедливым, и Персида чувствовала, что возвышается при мысли о том, что ее мать такая

женщина, которая не может простить своей дочери незаконного брака.

Вечером Персида тайком плакала в постели. Она, ни на шаг не отступившая от праведного пути, так унижена была перед людьми, так низко пала в их глазах и мучилась этим, ибо по природе своей была человеком, который, как бы ни был он счастлив, чувствует себя несчастным, если окружающие ценят его меньше, чем он стоит на самом деле.

Ах, почему она ничего не может рассказать матери?! Почему не может снять с материнского сердца тяжкий груз, который гнетет ее?!

Все это так тревожило Персиду, что еще в Вене, ничего не сказав мужу, она ходила к адвокату, чтобы посоветоваться с ним.

— Могла бы твоя мать заявить, что свадьба произошла с ее ведома и ее благословения? — спросил адвокат.

— Не думаю, — ответила тогда Персида.

— А если бы у тебя был ребенок? — задал новый вопрос адвокат.

— Думаю, что да!

— Подожди, когда это случится, — посоветовал адвокат, — ибо на благословение отца, который враждует с сыном, надеяться не приходится.

И Персида нетерпеливо ждала, каждый день молясь богу.

«Господи, я не жалуюсь, — шептала она и сейчас, глубоко вздыхая. — Ты лучше знаешь, как устроить мою жизнь, и сам мне подаришь ребенка, когда сообразишь осветить и просветлить мою жизнь. И будет он принадлежать тебе, тебе я его посвящу и взращу в страхе божием. Смиловись же, господи, и благослови дом наш!»

В то время как Персида металась по постели, Нацл лежал, забывшись глубоким сном.

Он был счастливее ее: в доме Оанчи он повидался со своей матерью, она была все такой же, худой и печальной.

Охваченная одним только желанием примирить сына с отцом, который сменил уже гнев на милость, Хубэроайя использовала все влияние огорченной матери, чтобы отвратить Нацла от Персиды, которая вскружила ему голову и заставила рассориться с родителями.

— Твой отец говорит, что ты был совсем другим человеком до того, как спутался с Персидой. Из-за нее потерял ты всякий смысл в жизни.

Так думал про себя и Нацл и, повторяя это бесконечное число раз изо дня в день, все больше и больше уверялся, что Персида — слишком тяжелая для него обуза. Однако бросить ее он не мог, это было бы слишком подло. Но вот если бы она сама захотела его бросить, он не стал бы ее удерживать, а теперь, когда и мать, и Оанча осаждали его с двух сторон, он испытывал искушение повести себя так, чтобы Персида была вынуждена, в конце концов, уйти от него.

— Ты ей подкинешь что-нибудь на прожитье, — успокаивал его Оанча.

— Она не возьмет, — качал головой Нацл.

— Возьми в аренду корчму у Солоницы, — уговаривал Оанча, — а потом оставь ее там одну хозяйкой.

Нацл задумался.

Ему стыдно было сказать «да», но и «нет» говорить не хотелось. Им нужны были деньги, но мать ничего бы не дала, скажи он «нет».

Вечером, вернувшись к Персиде, Нацл был задумчив и неразговорчив. Надо сказать правду, он не утаил от нее, что виделся с матерью, сообщил также, что она дает им денег на аренду корчмы. В другие подробности он не вдавался, а Персида, занятая своими мыслями, не настаивала. Ей достаточно было узнать, что дело идет на лад, чтобы почувствовать облегчение.

Корчма у Солоницы была незатейливой, но добротной. В нее тянулись все плотовщики и люди, приезжавшие за солью, а в базарные дни она вообще была полна народу. Было в ней и зальце для чистой публики и три комнаты для путешественников, желавших заночевать. Если быть трудолюбивым и бережливым, то при этой корчме можно не только хорошо жить, но и сколотить добрый капитал.

Мысль о том, что быть корчмаркой постыдно, не посещала Персиду, которая считала, что рядом с мужем всякий труд благороден. Заботило ее только то, что у Нацла не очень лежит сердце к делу, за которое он берется, и как бы поэтому он не стал по легкомыслию тратить больше, чем станет получать.

Примерно так и пошли у них дела с самого начала.

Тот, кто хочет содержать питейное заведение, должен быть в лучших отношениях со всем белым светом

и повсюду заводить друзей. Как только вопрос о корчме в Солонице был решен, Нацл отправился возобновлять старые знакомства и заводить новые. Когда корчма открылась, каждый из знакомых явился еще с двумя-тремя приятелями. Персида была очень довольна, видя, что чистый зал битком набит друзьями Нацла. Чтобы привлечь посетителей, Персида наливала им лучшего вина, покрывала столы чистыми скатертями, готовила вкусные кушанья. Спустя несколько недель уже не было отбою от посетителей в чистой корчме, где кормили не только вкусно, но и дешево, а местное чиновничество очень скоро привыкло и обедать, и ужинать у Солоницы.

Само собой понятно, что Нацл проводил время со своими друзьями, которых он не мог оставить одних, а все хлопоты и заботы доставались на долю Персиды. Так и должно было быть поначалу, и Персида только радовалась, что ее муж такой хороший хозяин дома. Чужому человеку, попавшему в корчму, и в голову не могло прийти, что Нацл тут вовсе не гость, как все другие: на виду была только Персида, входившая во все дела, вертевшаяся как белка в колесе, она одновременно была повсюду, с особой улыбкой для каждого, внимательно и быстро выполняя заказы. Примерно так смотрели на дела в корчме и друзья Нацла. Душою этого заведения, головой, которая всем заправляла, центром, вокруг которого все вертелось, была, в конце концов, для всех посетителей красивая корчмарка, такая быстрая и заботливая, которая во всем знала толк, а Нацл был всего лишь мужем своей жены, которая, по правде говоря, могла и не быть его женой.

В скором времени, когда речь заходила о корчме у Солоницы, люди стали говорить просто — «У Персиды».

Даже сам Нацл не чувствовал себя в корчме дома, а сидел как гость «у Персиды».

Проснувшись поутру, он долго валялся в постели и вставал только тогда, когда в корчму начинал собираться народ. Ему и делать-то было нечего, настолько хорошо обделывала все дела Персида, которая была только рада, что он ни во что не вмешивается.

Днем Нацл сидел с гостями или бродил, чаще всего безо всякого дела, по городу, а по вечерам пировал с друзьями, засиживаясь часто за полночь. А поскольку совсем безо всякого дела люди жить не могут, то он, на радость своим приятелям, пристрастился к картам.

Ничто в этом мире так не отвращало Персиду, как карточная игра. Но что тут поделаешь, когда так повелось: пока она разрывается между делами, Нацл должен ублажать гостей.

Только позднее, уже к осени, Персида начала задумываться.

Еще в Вене было решено, что счета будет вести Персида. Она их и вела, точно так же, как и ее мать, и если бы ей даже пришлось гнуть спину до рассвета, она не могла бы лечь спать раньше, чем подведет итоги минувшему дню. Она не могла спокойно уснуть, не убедившись, что не даром трудилась днем. Но не только случался день, другой без дохода, бывали дни, когда убыток превышал доход, который должен был бы быть.

Торговли без убытка не бывает. Персида понимала, что всегда найдется кто-нибудь, кто выпьет, закусит и не заплатит. Нацл тоже должен угостить своих приятелей, и Персида почувствовала бы себя уязвленной, если бы кто-то из них попросил счет.

Однако она учитывала, на сколько выпивали и съедали друзья, и счет этот день ото дня возрастал.

Нацл веселился, когда выигрывал в карты, Персиде же было не по себе из-за того, что он с помощью карт выманивает деньги у людей, пришедших к нему в дом. Чтобы показать свое безразличие к выигрышу, она делала Нацлу знак, чтобы тот угостил всех друзей.

Нацл угощал, и на столе появлялись стаканы, которые Персида наполняла или вином, или пуншем, или чаем.

Когда Нацл проигрывал, он становился нетерпеливым, и Персида снова подавала ему знак к угощению, желая тем показать, что ей безразлично, выигрывает он или проигрывает, что игра идет только ради общего удовольствия.

Выигрыш ли, проигрыш — расходы росли одинаково, и при одном только виде карт Персиду бросало в дрожь.

До нее дошли слухи, что Нацл раздает деньги в долг, а людям только того и надо, и вокруг него всегда толпился народ. Со дня на день росла не только сумма отданных денег, но и количество должников, из которых деньги можно было бы вытянуть только раскаленными щипцами. К тому же Нацл вовсе не был из тех людей, кто торопится вернуть свое добро.

Так дело не могло идти долго, и каждый вечер Персида раздумывала над тем, что ей необходимо перегово-

ворить с Нацлом. Однако поговорить с ним ей никак не удавалось. Нацл ходил невыспавшийся и хмурый и все время проводил с приятелями, так что случалось, что дни шли за днями, а Персиде удавалось перекинуться с ним всего только двумя-тремя словами.

После праздника успения божьей матери Персида вдруг сделалась чрезвычайно веселой. Ей бы хотелось видеть вокруг только счастливые лица. Если бы она могла, то носила бы мужа на руках, словно младенца, щедрой рукой оделяла бы нищих, а стол приятелей Нацла всегда бы ломился от яств.

Сначала она почувствовала, а потом окончательно убедилась, что бог смиловился над ней и внял ее горячим молитвам, и вскоре ее жизнь прояснится и осветится, и ее мать явится к ней.

Она была несказанно счастливой, и все-таки вечерами, когда делала подсчеты, а Нацл сидел с друзьями за картами, ее часто посещали тяжелые предчувствия. Она раздумывала, как бы ей приструнить Нацла, чтобы он не проматывал все доходы, потому что теперь они принадлежат не одному ему. То она вдруг вспоминала Банди, который исчез неизвестно куда, то его мать.

Нужно во что бы то ни стало отыскать мальчика: в конечном счете никто в этом мире не был привязан к ней так, как он, а в корчме он мог бы сослужить неоценимую службу.

Нужно, в конце-то концов, поговорить и с Нацлом, который с некоторых пор как бы избегал оставаться с нею наедине.

Нацл заметил, что Персида ожила, и сообразил, что заставило раскрыться ее сердце, и его тоже охватила безмерная радость. Однако это длилось всего лишь миг. Вскоре он представил себе, какие заботы лягут на его плечи. Не будучи связан ни с чем, привыкший делать только то, что ему было приятно, Нацл усмотрел в ожидаемом счастье тяжелое горе, которое свяжет его по рукам и ногам на всю жизнь.

Нет! Он так привык к беззаботной жизни, так свыкся с мыслью, что не век же ему коротать с Персидой, что он даже и подумать не мог, что станет отцом.

— Ты мне сейчас скажи, чего ты хочешь! — нетерпеливо потребовал он, когда Персида отозвала его в сторону и попросила уладить все дела так, чтобы он мог хотя бы часик поговорить с ней.

— Многое мне нужно тебе сказать, ведь прошло

уже много месяцев, когда мы говорили в последний раз,— с горечью в голосе произнесла Персида,— а нам нужно поговорить совершенно спокойно.

— Не могу я людей оставить одних,— упрямо про- бурчал Нацл и ушел.

Ошеломленная Персида посидела некоторое время, потом тоже заспешила по делам. Ее огорчило поведение Нацла, но у нее не было времени на огорчения, и что бы ни говорил Нацл, она не сомневалась, что вечером он явится в их спальню раньше, чем обычно. Не может быть, чтобы он не пришел — так она думала, так под- сказывало ей сердце.

Но Персида знала его таким, каким он был некогда в Вене, еще до того, как повстречался с Бурдей, и тем более до того, как стал пропадать вечерами у Оанчи. С той поры у нее не было времени, чтобы заметить те перемены, какие произошли в душе у Нацла, а если бы она знала, как он изменился, она бы пришла в ужас.

Несмотря на это, Персида была права. Думая и передумывая, Нацл решил, что нужно все-таки пойти к Персиде, и вечером, когда явился Оанча, сказал ему, что сможет посидеть только до десяти часов.

— Меня пригласила барыня поговорить с ней с гла- зу на глаз,— невесело пояснил он.— Придется пойти! Все равно так долго не протянется, пусть уж лучше поскорее узнает,— закончил Нацл совсем невесело.

Оанча не мычал и не телился, а только улыбался как человек, который ничему не верит.

В десять часов он покосился на Нацла: тот волно- вался и кипел. Видно было, что ему хочется, чтобы кто-то подтолкнул его, он сидел как на иголках, но не мог тронуться с места.

— Тебе сдавать еще три раза,— проговорил Оанча.

— Да,— вполголоса подтвердил Нацл, сдал карты и продолжал играть.

Сыграв три круга, Нацл опять взялся сдавать карты.

— Ты не пойдешь? — спросил Оанча.

— Пусть подождет,— отозвался Нацл,— может она еще подождать.

И Персида ждала его, сидя в одиночестве в спальне и размышляя обо всем, что может произойти в мире.

И как же меняется человек!

Не так давно она бы чувствовала себя глубоко ос- корбленной и униженной и плакала бы горькими сле-

зами, если бы кто-нибудь, и особенно Нацл, заставил бы ее ждать. А теперь она сидела спокойно и, чтобы не терять время попусту, вынула из шкафа шкатулку с давно начатой работой и просидела бы за ней, если на то пошло, до самого утра. Казалось, ничто в этом мире не может вывести ее из терпения и отвлечь от работы, разве только узнай она, что в доме пожар. И все-таки работа не шла так споро, как прежде, и словно другая рука продолжала вышивать цветок, начатый еще этим летом.

Занявшись тяжелой работой, Персида мало-помалу утратила свой утонченный и нежный облик. Поднимая ушаты с водой, ставя на огонь чугуны, передвигая столы с одного места на другое, ко всему прилагая руки, Персида возмужала, окрепла и вместе с тем стала как бы узловатой, как дерево, еще молодое, но уже гнущееся ветрами. Даже движения ее изменились. Ходить она стала быстрее, размашистей, твердо ставя ногу на землю, когда брала что-нибудь, то захватывала всей рукой и резко поворачивалась на каблуках, когда нужно было изменить направление. Одно осталось от прежней Персиды: она держалась прямо, как гренадер.

Человек, он таков, каким ты его видишь, если согласишься хорошенько.

Видя вокруг себя только простой люд, работников, захаживающих в корчму, она постепенно утратила и душевную нежность. Она уже не вспыхивала, услышав грубое слово, не чувствовала себя оскорбленной, когда при ней раздавалась брань. Она принимала людей такими, какие они есть, и сама говорила быстро, отрывисто, резко, и могла даже дать пощечину и стукнуть изо всех сил, если было необходимо установить тишину и навести порядок в доме.

Если бы она могла посмотреть на себя глазами прежней Персиды, она бы пришла в ужас и воскликнула: «Боже, как низко я пала!» Но на себя она могла смотреть только теперешними глазами и чувствовала себя гораздо лучше, чем раньше, более приспособленной к жизни, более соответствующей всем нуждам и тяготам.

Перемены она замечала только тогда, когда смотрелась в зеркало: щеки, некогда округлые, стали плоскими, розовая кожа пожелтела и натянулась, глаза выпучились. Было видно, что некогда она была красавицей. Да и сейчас еще не стала дурнушкой, но цветок уже отцвел и лепестки стали опадать.

Но Персида не обращала на это внимания: она была здорова, а остальное ее не заботило.

Увлечшись вышиванием, Персида не только не огорчилась, что принуждена ждать Нацла, она даже забыла о нем и только к одиннадцати часам, когда ее, усталую, стал одолевать сон, забеспокоилась, но поздно: сон — великий хозяин, когда он завладевает человеком, — Персида больше не ожидала мужа.

— Шла речь, что ты будешь меня ждать, чтобы поговорить со мной, — заговорил Нацл утром, когда Персида одевалась, чтобы идти в корчму.

— Да, шла речь, — отозвалась она. — Я тебя и ждала. Но уже наступила полночь, а тебя все не было, разумные люди не начинают разговоров среди ночи, когда больше хочется спать, чем разговаривать.

Все это Персида произнесла без всякой тени упрёка, и Нацл был неприятно задет тем, что она совсем не расстроена.

— Ну так выкладывай теперь, что у тебя на душе, поскольку, как я вижу, спать ты не собираешься, — вызывающе потребовал Нацл.

Персида на минуту задумалась. Большой спешки не было, и она, вот так, совершая утренний туалет, могла провести полчаса с Нацлом.

— Ну что ж! — согласилась она. — Только поговорим спокойно, как разумные люди.

— Как разумные люди, — повторил Нацл. — Ты-то иначе говорить и не можешь. Что еще прикажешь?

— Не говори со мной так, потому что все равно из себя меня ты не выведешь. Ты знаешь, что я во всем люблю строгий порядок и если я что-то один раз решила, то заставить меня изменить это решение нельзя. В первую очередь есть два дела, о которых мы должны с тобой договориться.

— Первое — это чтобы я не играл в карты, — прервал ее Нацл, приподнимаясь на постели.

— Нет, — отвечала Персида. — Это — третье. Первое — это ты должен подсчитать, на сколько твои друзья выпивают и съедают бесплатно. Я посчитала, и получается слишком много.

— Так чего же ты хочешь? Заставить их платить? — Нацл был недоволен.

— Я хочу только, чтобы мы поняли друг друга и подумали, что же делать, чтобы поменьше сидеть с друзьями и начать собирать деньги с должников.

Нацл вылез из постели и тоже стал одеваться.

— В конце концов ты права,— пробурчал он сквозь зубы.— Здесь ты хозяйка, а я вроде пятого колеса у телеги. Но если я и мои друзья доставляем тебе слишком много хлопот, остается одно — избавиться от меня.

Персида улыбнулась.

— Ты так говоришь, и тебе кажется, что это благородно. А по правде сказать, разве тебе не стыдно, когда ты думаешь, что дела в корчме идут и без тебя хорошо и даже лучше, когда без тебя?

— Господь бог не создал меня корчмарем,— отвечал Нацл.

— А я вижу, что создал, ведь ты и есть корчмарь,— возразила Персида.— Нет, Нацл, я не буду избавляться от тебя, просто тебя нужно приструнить. Человек ты трудолюбивый, способный ко всякому делу, добропорядочный, а виновата во всем только я, потому что все взвалила на свои плечи, а тебя предоставила самому себе. Но так это продолжаться не может. Подумай о том, что мы не одни с тобой хозяева нашего имущества: завтра-послезавтра господь бог дарует нам ребенка.

— Избави бог нас от этого, и так я достаточно несчастен в этом мире,— мрачно произнес Нацл.

Персида вздрогнула и испуганно взглянула на него. Потом она тихо опустилась на стул рядом с ним. Вся кровь у нее закипела, взгляд помутился, она чуть не упала в обморок.

Хотя Персида и понимала, что Нацл кем-то настроен, она все-таки не ожидала таких жестоких слов. Удар для нее был слишком разительный, тем более, что она его не ожидала.

— Я знаю, что ты говоришь не от чистого сердца,— проговорила Персида, немного оправившись.— Но мне больно, что подобные слова могут исходить из твоих уст.

Нацл сожалел о сказанном, но ему не хватало мужества, чтобы признаться в этом: он был виноват и чувствовал это, но именно это чувство и заставляло его быть упрямым.

— Нет, от чистого сердца,— строптиво возразил он.

— Лжешь! — закричала Персида, вскакивая на ноги.— Ты так же хорошо знаешь, как и я, что в тот день, когда у нас появится ребенок, нам не нужно

будет скрывать от людей то, что мы законные супруги, и наша семейная жизнь станет еще счастливей.

— Будто бы! — фыркнул Нацл. — С тобой счастливой жизни быть не может. Да меня куры засмеют, если я скажу, что женат на тебе. Послушать только — венчание ночью, тайком, чтобы никто не видел! Поповский обман, чтобы оболванить меня, а тебя посадить мне на шею!

У Персиды перехватило дыхание. Казалось, что ей снится дурной сон. Она никак не могла поверить, что слова, которые она слышит, действительно кто-то говорит. Кровь прилила к ее голове.

Кодряну, обвенчавший их после того, как она столь жестоко поступила с ним, казался ей святым.

— А ты не боишься, что бог накажет тебя за эти слова, ведь ты говоришь против человека, которому обязан самым большим благодеянием в жизни! Что бы ты делал, если бы он не помог нам, не сделал так, чтобы я могла уехать с тобой.

— Поехала бы и так, без его заклинаний! Ты прекрасно знала, что тебе нужно, зачем ты привязываешь меня к себе. Кто знает, что было раньше между вами!

Персида не могла сдержать себя. Все существо ее возмутилось. Удар был нанесен по самым святым чувствам. Ей хотелось наброситься на Нацла, плюнуть ему в лицо, выдрать ему волосы на голове, вырвать глаза. Не отдавая себе отчета, что она делает, Персида шагнула к нему, отвесила пощечину и застыла перед ним, неподвижная и стройная.

Нацл растерянно встал.

Он уже не помнил, чтобы кто-нибудь бил его по щекам, а теперь вот ударила по щеке женщина. Нацл не знал, что же делать: ударить ее он был не в силах и простить ей пощечину он тоже не мог.

— Ты совсем рехнулась? А не боишься, что я сверну тебе шею, как цыпленку?

— На такие слова только так и следует отвечать. Мне бог не простит, если я тебя испугаюсь. Ты можешь меня убить, но не унижить.

Нацл оттолкнул Персиду, желая отдалить ее от себя.

Она снова подошла к нему и еще раз ударила по щеке.

В слепой ярости Нацл запустил левую руку в ее

пышные волосы и принялся колотить кулаком по чему попало: по спине, по плечам, по лицу, как бьет человек, который совсем не соображает, что делает. Персида тоже пыталась ударить его или укусить, причем не издавая ни единого звука.

Немного образумившись, Нацл испугался: не избьет ли он ее до полусмерти, а потому оттолкнул Персиду и выбежал из комнаты, заперев за собою дверь.

Возбужденная Персида, с пылающим лицом и растрепанными волосами, растерявшись на мгновение, бросилась вслед за Нацлом. Она хотела выпрыгнуть в раскрытое окно и взломать дверь, но только догнать его, чтобы показать, что она ни капельки его не боится.

Персида стала трясти дверь, подняв шум на весь дом.

— Приди в себя и не позорь нас перед слугами,— раздался из-за двери голос Нацла.

Персида отпрянула от двери, потом она успокоилась и стала приводить в порядок волосы и платье.

Только теперь до нее дошло, что же произошло на деле, и неведомая до сих пор горечь заполонила ей душу.

Бывает, что стоим мы на жизненном пути, охваченные сомнением, и никак не можем понять: то, что мы сами творим или переживаем, что это — происходит ли это въяве или это бесплодный сон, в котором и живого-то существа нету, а лишь одно воображение нашей души?

Вот так теперь стояла и Персида.

Ей казалось, что она видит ужасный сон и никак не может проснуться.

Мысленно она видела мать Аеджидию и, заглядывая ей в суровое лицо, ощущала, какой она была некогда, и не могла понять сама себя.

То, что Нацл избил ее, это ей казалось вполне естественным, но то, что она сама оказалась в состоянии дать ему пощечину, что она последовала за человеком, который обнажил все ее инстинкты, это в ее голове не укладывалось.

«О, господи, до чего я докатилась»,— вздыхала она, закрывая лицо руками.

Нет, нет, совершенно непростительно жить такую жизнью, когда приходится самой унижать себя.

Прошел уже месяц, как она вернулась в Липову, но за это время она еще не видела ни родной матери, ни матери Аеджидии, ни кого-либо из своих старых подруг. Но не из-за того, что ей было бы неприятно смотреть им в глаза, а просто потому, что ей не хотелось их видеть. В ее сердце угасло всякое чувство любви или признательности: она жила только с Нацлом, ради Нацла, совсем потеряв себя в заботах о нем. Ее словно околдовали, и она во всем этом мире не видела ничего, кроме корчмы, пивного зала, грубых слуг, пьяных людей, а посреди всего этого — мужа, играющего в карты с друзьями.

Теперь же она недоумевала: как все это могло с ним случиться?

Персида пыталась найти в своей душе те чувства, которые толкнули ее в объятия Нацла, и не могла припомнить те слова, которые заставили ее связать свою жизнь с ним.

«Зачем? Зачем все это? — спрашивала она себя. — Чего мне было нужно? Чего я искала? К чему стремилась?»

Ключ в замке повернулся раз, потом второй.

Персида вздрогнула, словно пробудившись от сна, и застыла посреди спальни, готовая оказать сопротивление своему мужу.

Однако время шло, а дверь не открывалась.

По-видимому, Нацл отпер дверь только для того, чтобы Персида могла выйти, когда ей захочется.

Знак примирения, сожаления, покаяния!

«О, господи, в конце концов он совершенно прав».

Она принудила его к неповиновению родителям, разлучила с матерью, сломала ему всю жизнь и теперь хотела отторгнуть от друзей.

Какую жизнь создала она ему? Что дала взамен того, что отняла у него?

Только сейчас глаза Персиды наполнились слезами.

«Нет! — подумала глубоко тронутая Персида. — Без благословения родителей невозможно семейное счастье».

Нацл был прав: обманом, шарлатанством было их венчание. Кодряну не со зла совершил этот злосчастный обряд, вовсе нет, а лишь потому, что, как человек слабохарактерный, он не мог отказать Персиде, которая этого желала.

«Венчание совершается не ради бога, который и так все знает, а ради людей и перед людьми,— думала Персида, презирая сама себя,— и вовсе не женой я ему была, а женщиной, которая отдалась ему, закрыв глаза».

Персиду стала бить лихорадка. Она закрыла лицо руками, но перед ее мысленным взором стояла Регина.

Персида уже не чувствовала себя одинокой, она уже была в ответе за только зарождавшуюся жизнь.

Но женщина, когда она не знает, что же делать, принимается плакать и плачет до тех пор, пока все для нее не станет ясным.

«Ах, бедная моя мама!» — наконец с облегчением вздохнула Персида и стала собирать вещи и одеваться.

И умом, и сердцем она решила, что не останется здесь, где ей нечего больше делать и нечего ждать, кроме унижений.

Дверь тихо приоткрылась, и в спальню робко заглянула Талия, служанка.

— Свины голодные, а у нас нет отрубей, чтобы сделать болтушку,— сообщила она.

Персиду снова передернуло.

— Все вам выдаст хозяин,— сказала она, не глядя на служанку.

— Хозяина нет дома, он ушел,— возразила та.

— Придется подождать, пока он вернется.

Талия хотела еще что-то сказать, но, видя, что хозяйке не до разговоров, скрылась, прикрыв за собой дверь.

Персида задумалась.

Кто может знать, куда отправился Нацл и когда он вернется?!

Но оставить голодными свиней, бросить корчму, пивной зал и все хозяйство на попечение слуг она не может, значит, нужно дожидаться, пока он вернется.

«Ну что за человек! — думала она. — Ведь все растащат! Останутся только пыль да зола, когда я уйду!»

Набросив на голову платок, Персида вышла, чтобы взглянуть, что делается на дворе. Она не обратила внимания, что вокруг левого глаза расплылся большой, почти кровавый синяк, а если бы она и увидела его, то не стала бы скрывать: пусть люди знают, что она не может больше жить с Нацлом.

Одно только не пришло Персиде в голову: что Нацл ушел, твердо решив больше к ней не возвращаться.

Знала это Талия, которой Нацл сам об этом сказал, через некоторое время это стало известно всем работникам, а в конце концов и всей Липове. Одна только Персида хлопотала, будто ничего не произошло, и ждала, когда он вернется. Только далеко за полдень она стала беспокоиться.

«Будь что будет, а я все равно сама собой останусь», — подумала она, гордо поднимая голову, как и в прежние времена, и чувствуя себя более сильной, чем когда бы то ни было.

И вправду, Персида была сильной, но сильнее ее было нечто другое.

К вечеру она почувствовала, что ее знобит, ноги подкашивались, ее тошнило. Персида держалась, стараясь превозмочь недомогание, но ей становилось все хуже и хуже.

— Талия! — позвала Персида, охваченная страхом. — Проводи меня в дом! Иди скорей, умираю! Помоги, Талия, помоги, разотри меня, чтобы я согрелась, а то я ничего не чувствую!

Глава XVIII ПРОКЛЯТИЕ ДОМА

Ко всему привыкает человек, привыкла и Мара не видеть своей дочери, которая жила всего-навсего через Муреш. Каждый день она видела дом, в котором, как ей было известно, жила ее дочь, каждый день или от Талии, или от кого-нибудь другого она узнавала, что там делается, как идут дела. Так и должно было быть, а иначе и быть не могло. В голове у Мары крепко засела мысль, что дочь ее, в конце концов, должна бросить этого немца, и чем более одинокой она будет, тем скорее она уйдет от него. Поэтому и Трикэ было строго-настрого приказано не ходить к сестре: все должны были от нее отвернуться, потому что, увидев, что она осталась совсем одна, Персида должна опомниться.

Радостно билось сердце у Мары, когда она узнавала, что Персида ее хорошая, бережливая хозяйка, что она всегда на месте, и еще более радостно билось

ее сердце, когда до нее доходили слухи, что немец ест и пьет, бездельничает целыми днями, а ночи проводит за карточной игрой: и хорошо, что так, что там ни говори, тем скорее он опротивеет Персиде.

Но не примирилась бы Мара столь легко со своею судьбой, будь у нее Персида единственным чадом. А ведь у нее был еще Трикэ. Загляденье, а не сын! Он вдруг поднялся, словно горная ель, и высокий, и стройный, и широкоплечий. Был он и ловкий, и прилежный, и работающий, и рассудительный. Бочьоакэ всегда его ставил на первое место, а жена Бочьоакэ смотрела на него как на брата или собственного сына, не иначе. Но у Бочьоакэ и его жены была дочь Султана, которой уже исполнилось двенадцать лет, и родители кое о чем уже задумывались. Что ж, уж если выбирать, то лучшего и искать не надо.

Одного только не замечала Мара — что сын ее был похож на немывтое и нечесаное пугало, от которого шарахались все девушки. Бочьоакэ тоже не обращал на это внимания: он видел перед собой зеленого юнца, видного собой, добропорядочного, который всегда был на своем месте. Жена же Бочьоакэ видела в нем человека, который в любой момент готов был броситься и в огонь, и в воду, и даже отдать душу ради нее. Люби собаку, которая, как ты знаешь, верна тебе до последнего дыхания, и тогда как ей не быть привязанной к человеку, который готов для нее сделать все! У жены Бочьоакэ было такое чувство, что стрясется большая беда, если Трикэ не будет возле нее, а потому она всегда держала его при себе, заглядывала ему в глаза, когда решалась что-то сделать, и отказывалась от своих намерений, если улавливала в его глазах сомнение. Великое дело иметь человека, которому оказываешь полное доверие.

Великое дело и то, когда знаешь, что пользуешься полным доверием. Трикэ жил в постоянном напряжении и был все время начеку, чтобы хозяину и особенно хозяйке в любую минуту доказать свою преданность, из-за этого в его душе часто происходила тяжелая борьба.

В дом Бочьоакэ он вошел подростком, почти мальчиком и постепенно превратился в парня, стал взрослым. Все это видел Бочьоакэ, но жена его все еще принимала Трикэ за подростка, скорее мальчика, чем сложившегося уже мужчину, и могла даже попросить

его поливать ей голову, когда она мыла волосы. Но она испытывала нечто вроде нежности, когда его суровый взор, как бы растерявшись, останавливался на ее полных руках, на мягких и округлых плечах и боязливо пытался рассмотреть и более скрытые ее прелести. А зачем они даны, если невинные глаза не могут ими восхищаться?! Если богатому нравится щеголять своими сокровищами, то для женщины естественно желание обнажать свои прелести, тем более, когда ей нечего опасаться.

Нечего, конечно, ей нечего было опасаться, ведь Трикэ был каменным идиолом, которого хоть жги, хоть режь, все равно он никому не скажет, что творится в его душе.

И он себя чувствовал хорошо, потому что никогда не оставался наедине с самим собой.

Но ничто на этом свете не случается так, чтобы в конце концов не всплыть на поверхность.

Одинокая Мара сидела у себя дома в сумерках. Зачем портить свечку, когда не на кого смотреть, а невидимые мысли становятся в темноте еще яснее. Она была взволнована, ведь как-никак она была человеком и сердце у нее было материнское.

Она узнала, что немец побил Персиду, потом ушел из дома и бросил ее, наконец-то ее бросил. Мара узнала об этом, но радоваться не могла.

Эх, как бы она хотела плюнуть ему в лицо, выцарапать глаза, выдрать волосы, сорвать с него всю одежду! Нет, этого так оставить нельзя!

Что и говорить, что думалось, то и случилось, но Мара не воображала, что новость эта падет на нее такой тяжестью. Не принесла она ей никакого успокоения: желание повидать дочь все нарастало и нарастало.

В сенях послышался шорох: кто-то вошел и на ощупь отыскивал дверь.

Мара мгновенно вскочила на ноги, шагнула к двери и распахнула ее.

В темноте ничего не было видно.

— Кто там? Чего нужно? — спросила она.

— Скорей! — задыхаясь, заговорила Талия. — Беда! Я оставила ее с повитухой, а сама побежала за доктором!

— С повитухой?! — воскликнула Мара и бросилась вслед за Талией, словно ее подхватила нечистая

сила, даже не закрыв дверь.— С повитухой?! — повторила она, едва переводя дыхание.— А я ничего не знала! Мне никто не сказал!

— Мы и сами ничего не знали! — отвечала Талия, которая теперь бежала уже за Марой.— Ты же знаешь, какая она: никому слова не скажет, душу никогда не откроет.

— Так наказывает меня бог за мое бессердечие! — бормотала Мара и продолжала бежать, крестясь и умоляя Пречистую деву Марию не наказывать ее еще более жестоко.

Перебежав мост, Мара остановилась: здесь ей хотелось бы раздвоиться. Идти к Персиде одна она не могла, нужно было прихватить с собой Трикэ. Нужно, но как ей трудно было уклониться от прямого пути, тем более, что Талия побежала дальше, за доктором.

Мара скрипнула зубами, взмахнула кулаком и, припустив еще быстрее, побежала к дому Бочьоакэ.

Трикэ, два ученика, Марта, Султана и служанка — все были возле дома, вокруг большого котла, где ключем кипел сливовый сироп, когда Мара сломя голову ворвалась во двор.

— Что случилось? — перепугался Трикэ.

— Иди со мной, — второпях заговорила Мара.— Немец избил Персиду до полусмерти. Ей плохо, очень плохо. У нее повитуха, а Талия побежала за доктором. Этого так нельзя оставить!

Трикэ стоял как пораженный громом.

Он знал, что Персида плохо живет со своим мужем, и не один раз его мучила совесть, что он бегал и в Сан-Миклуэуш, и в Бутень, чтобы связать их на всю жизнь. Но мало-помалу он свyksя с мыслью, что такова судьба и было бы хуже, если бы они не обвенчались. Но увидев взволнованную мать и узнав, что сестре плохо, он встревожился и раскатал рукава рубашки, что делал всегда, когда собирался куда-нибудь идти.

Марта пристально посмотрела на него.

Вот так, в таком возбужденном состоянии, она не могла его отпустить. Марта знала, что у Трикэ несдержанный характер, а в таком возбуждении он мог натворить неведомо что.

— Если у нее повитуха, да еще придет доктор, — сказала она, — то я не знаю, чем может помочь Трикэ.

— Пусть докажет, что он ей брат! — ответила Мара.

— Это она и так знает, — возразила Марта.

Трикэ стоял неподвижно и молчал.

— Значит, ты не идешь? — с угрозой спросила Мара.

— А что мне там делать? — ответил он.

Мара пристально и сурово посмотрела на Трикэ, потом на Марту. Она все поняла и почувствовала, что сына у нее тоже нет.

— Ну, ладно! Я и одна — тоже человек! — сказала Мара, повернулась спиной и побежала, словно вихрь закрутился над равниной.

Персида знала, что мать непременно придет, если только узнает, что с ней, однако ее не ждала. Несколько раз ей приходило в голову послать за матерью Талию, но как только она почувствовала себя лучше, переменяла решение: «Ничего, пройдет и это, что ее даром беспокоить. Сама я все заварила, сама и расхлебывать буду». Но когда ей вновь стало плохо, когда она подумала, что ей приходит конец, невольно вырвались слова: «Ах, бедная моя мама!» Тут-то повитуха и решила послать за Марой Талию.

Это была благая мысль, но не теперь, когда Персида нуждалась в полном покое, ни о каком покое и сдержанности не могло быть и речи после того, как Мара так долго не видела свою дочь, а встреча должна была произойти при столь печальных обстоятельствах. Господь еще сподобил, что именно теперь Трикэ проявил слабость, и Мара, направляясь к корчме у Солоницы, была так зла на Трикэ, что совсем забыла, на что гневалась раньше. Отдалившись сердцем от сына, Мара всю любовь, которую она питала к нему, перенесла сразу на Персиду. Думала об этом она раньше или нет, но теперь Мара была совершенно уверена, что Персида ни в чем не виновата.

«Плохой я была матерью, бессердечной», — думала она и била себя кулаком по голове.

Мара так расчувствовалась, что, добравшись до корчмы, к которой она так стремилась, она остановилась перед дверьми, не решаясь войти к дочери.

Она готова была всю ночь стоять у дверей.

Но это так говорится, потому что нужды в этом никакой не было.

— Послушай, — обратилась повивальная бабка к Персиде, которая застыла в каком-то оцепенении, —

наверно, было бы неплохо послать кого-нибудь к матери и позвать ее.

Персида открыла глаза.

— Зачем ее огорчать? — отозвалась она. — Тяжело ей это будет. Пусть лучше она узнает, когда все кончится.

— Она уже знает, — ответила повитуха, — узнала неведомо от кого. Только думает, что ты рассердишься, если она придет.

— Это неправда! — прошептала Персида, приподнимаясь в постели. — Мама не может так думать. Она знает, что это я недостойна, чтобы она пришла сюда.

— А она уже здесь. Можно ей войти? — спросила бабка.

— Бедная моя мама! Мамочка моя добрая! — застонала Персида и зарылась головой в подушки.

Такой и увидела ее Мара, войдя в спальню.

— Ничего, моя доченька! Не бойся, все будет хорошо! Такова женская доля! — тихо приговаривала она, подходя к кровати, чтобы поправить подушки и коснуться кончиками пальцев горячего лба.

— Ничего, будь спокойна, доченька!

Персида, не открывая глаз, схватила материнскую руку, поднесла к губам и стала покрывать поцелуями. Потом обе долго молчали.

— Господь бог добрый, — наконец прошептала Персида. — Он хочет меня избавить от более тяжкого наказания. Это хорошо, что все так случилось. Я прошу тебя, мама, разыщи Банди. Несчастный, бедный мальчик, нет у него никого на свете, а мне он был верен всегда. Если я больше не встану, отдай ему все, что останется от меня.

— Нет, — воскликнула Мара, — человек так просто не умирает. Ты еще долго будешь жить. Благодарю бога, что он избавил тебя от человека, который причинил тебе столько зла.

Персида чуть-чуть повернулась на постели и посмотрела на мать.

— Не осуждай его, мама, ведь он тоже несчастный и еще более несчастный, чем я.

Мара подалась назад. Ей захотелось уйти отсюда.

— Значит, опять те же слова, что и раньше! — с горечью воскликнула она. — Опять ты во всем виновата!

Персида еще больше повернулась к матери и приподнялась на локте.

— Мама, ведь у меня твоя кровь. Он бы никогда не поднял на меня руку, если бы я первая его не ударила. Мужчина не может этого стерпеть, и мне было бы стыдно, если бы он...

Дверь медленно и нерешительно приоткрылась, и Нацл пропустил вперед себя доктора Блаубаха, маленького старичка с седыми бакенбардами.

Персида откинулась на подушки, а Мара вскочила и встала перед кроватью, высокая и прямая, устремив свой взгляд на зятя, который при виде ее опустил голову, побледнел и отступил назад.

Так они и застыли, пока доктор вполголоса говорил с повивальной бабкой, выясняя состояние Персиды. Когда же доктор подошел к постели, чтобы осмотреть больную, Мара отступила в сторону, ближе к двери, а Нацл робко шагнул к ней, взял ее руку и дважды поцеловал.

Это произошло мгновенно, а во всем облике Нацла, во всех его движениях чувствовалось такое раскаяние, такая униженность, что Мара совсем растрогалась и только через некоторое время, спохватившись, отступила на шаг назад.

— Так,— заговорил доктор,— некоторую помощь я могу оказать и сейчас, а в остальном нужно ждать, чтобы природа сделала свое дело. Если она потеряет много крови и лишится сознания, позовите меня,— обратился он к повивальной бабке.— Насколько я могу судить, ребенок погиб, но дальше все должно идти хорошо, ей нужен покой, прежде всего покой! Около полуночи я загляну еще раз.

Сказав все это, доктор удалился, и Нацл отправился проводить его до крыльца.

Мара не знала, что ей делать. Что-то в ней сидело такое, что так и толкало ее пойти за Нацлом, схватить его и в укромном месте, чтобы не слышала Персида, сказать ему несколько слов. Но сердце не позволяло ей отойти от кровати, а около Персиды она ничего не могла сказать, а должна была все принимать и все терпеть, чтобы не волновать дочь.

«О, господи,— думала она, кипя от ярости,— ведь она и сейчас держится за него и держится крепче, чем когда бы то ни было! Это проклятие моего дома:

дети мои жили больше у чужих, чем у меня. Слишком слабое у меня сердце!»

Увидев, что Нацл вернулся, Мара не сдержалась. Она подошла к нему и тихо, но резко сказала:

— Ты что, не слышал, что говорил доктор? Оставь нас одних, ей нужен покой!

Нацл замер.

— Я останусь здесь, за дверью,— проговорил он,— а уйти я не могу.

— Пока ты в доме, не будет никакого покоя! — повысила голос Мара и воздела руки.— Один раз ты ушел, уходи и сейчас!

Персида, испугавшись, приподнялась в постели, и повитуха бросилась ее успокаивать.

— Уйти я никуда не уйду! — спокойно и решительно заявил Нацл.— Когда я уходил, она была здоровой, а уходил я для того, чтобы избавить ее от подлого человека, который, кроме зла, ничего ей не принес и ничего доброго сделать не мог. А теперь, когда она находится в таком состоянии, самый подлый мужчина не может бросить свою жену.

— Благодарю господа, что хоть так он избавил ее от твоих лап! — закричала Мара.— Это ты ее муж? А она тебе жена? Да ты — палач! Смотри, что ты сделал с ней!

— Терпи, Нацл, дорогой,— воскликнула Персида.— Вытерпи все, ведь она моя мать и добрая мать. Мама, а он мне муж и я его законная жена перед господом богом, чтобы мы в нужде помогали друг другу, я — ему, а он — мне.

Мара схватилась руками за голову. Ей хотелось рвать на себе волосы, разодрать платье и биться головой о стену.

— Никакая тебе помощь от него не нужна и не понадобится,— сказала она, сдерживая себя.— Уж если речь...

Вдруг она умолкла, глаза ее остекленели, словно она сошла с ума.

— Боже мой! Боже мой! Ведь двери в доме остались открыты и тайник в стене не заперт! — воскликнула она и бросилась вон, словно ей грозила смертельная опасность.

И как тут, господи, не бежать, когда всего-то и осталось у нее!

Глава XIX ВЕРБОВКА

Великие события готовились в мире.

Парни, ушедшие на военную службу в Мантую, Верону и Венецию, писали оттуда, что появился некто Гарибальди, большой генерал, который ездит по стране, призывает итальянцев под свои знамена и поднимает их против императора¹. Венгры же перешептывались между собой и хвастались тайком, что их Кошут находит в связи с Гарибальди и должен вернуться весной, чтобы выгнать императорских солдат, вышвырнуть чиновников и установить венгерскую власть, как это было во времена восстания².

За большим столом в чистом зале корчмы у Солоницы, где собирались чиновники, было твердо решено, — что греха таить, — что Гарибальди и все его приспешники — стыд и позор для всего мира. Но были и среди них люди, которые безо всякого удовольствия ходили в одиночку по вечерам, особенно, если случалось оказаться вблизи от Муреша. А все потому, что дошли слухи, будто итальянцы стали бросать чиновников и солдат в море, в озеро Гарда, в реку Адидже и не было бы ничего удивительного, если бы и венгры последовали их примеру.

В Липове, нужно правду сказать, было не так уж много венгров, но они могли явиться и с равнины, где водились разные злодеи, из-за которых дня не проходило, чтобы чего-нибудь не случилось на дорогах, ведущих к Араду.

Так было и во времена венгерского восстания.

Бедная Персида по три раза оглядывала с ног до головы каждого незнакомца, который входил в корчму, и даже к знакомым приближалась с опаской. Люди настолько прониклись враждой друг к другу, что никак нельзя было понять, кому верить, кому не верить, а Нацл со своим длинным языком к тому же нажил себе множество врагов.

Но вообще-то на него Персида не жаловалась.

¹ В середине XIX в., когда происходит действие романа, Трансильвания, а также и Италия входили в Австрийскую империю. Джузеппе Гарибальди (1807—1882) — вождь итальянского народного движения за освобождение от австрийского ига.

² Лайош Кошут (1802—1894) — один из вождей венгерской революции 1848 г., которую автор называет восстанием.

Выбитый из колеи бедняга, разлученный с матерью, к которой он тянулся все больше и больше, поссо-
рившийся с отцом, который при случайных встречах
отворачивался в сторону, Нацл жил и не жил. Единст-
венная надежда, что так вечно продолжаться не может,
поддерживала теплоту в его сердце. И он ждал, все
время ждал, что какой-нибудь случай все изменит, но
сам на что-нибудь решиться не мог. Один раз он посту-
пил решительно, и было это, когда он ушел от Пер-
сиды, но очень скоро убедился, что без Персиды жить
не может. Он любил ее и раньше, но теперь, когда
видел ее статную, круглолицую, ловкую и неизменно
веселую, то смотрел на нее как на чудо и часто со
слезами на глазах думал: «Господи, как бы любила ее
мама, если бы знала ее!»

Персида же, которая видела его всегда хмурым и
раздраженным, вечно недовольным даже ее доброже-
лательством, относилась к нему так, словно он был не
мужчиной, а больным ребенком. Единственным ее жела-
нием было сделать жизнь его более терпимой, а потому,
что бы Нацл ни сделал, она была довольна, особенно
если видела, что он хоть чуть-чуть повеселел.

Ночью она просыпалась по нескольку раз, чтобы
взглянуть, спокойно он спит или нет. По утрам он вста-
вал поздно и нехотя, совал ноги в домашние туфли,
набрасывал на плечи куртку, подбитую мехом, и так
готов был сидеть целый день, невымытый и нечесаный.
Персида чистила ему платье, ваксила ботинки и, как
ребенку, помогала одеваться. Но лицо его прояснялось
только к вечеру, когда он садился за стол с чинов-
никами.

В глазах у Нацла появлялся огонь, когда речь захо-
дила о войне и об императорском генерале Радецком,
который умел держать в узде итальянцев и мог, при
необходимости, научить уму-разуму и венгров. Когда
разговор шел об этом, он возбуждался, мышцы его
напрягались и он чувствовал себя настоящим мужчи-
ной, потому что он не переносил венгров, которые
постоянно бранили немцев. Но Персида не сердилась,
если Нацл уходил по вечерам, чтобы проводить како-
нибудь боязливого чиновника, и, где-то замешкавшись
по дороге, возвращался поздно, уже за полночь. Она
знала, что эти несколько часов, проведенных с немцами,
и составляют его жизнь, и радовалась, что он тоже
может чем-то жить. Но дома она уже не сидела одна,

потому что с ней был Банди, который вырос статным и добрым юношей.

Бедный Банди!

Он тоже был венгром, но единственным венгром, которого мог переносить Нацл. И было за что.

Как-то раз Влайку, один из возчиков, который часто заглядывал в корчму, попросил Нацла одолжить ему колесо, пока колесник не починит его колесо, которое сломалось.

— Послушай,— обратился к нему Нацл неделю спустя, когда они снова встретились в корчме,— а колесо когда ты вернешь?

— Ого! — воскликнул Влайку.— Да я давно его привез и отдал твоему брату.

— Какому такому брату?! — удивился Нацл.

— Да этому парню, Банди,— ответил Вайку.— Очень похож на тебя. Разве он тебе не брат?

Нацл настолько растерялся, что ничего не ответил. Так ведь оно и было!

Нацл совершенно отчетливо представил себе Банди. Теперь, когда мальчишка подрос, Нацлу тоже частенько казалось, что он на кого-то похож, но он никак не мог сообразить, на кого же. И вот все стало ясно.

«Нет,— Нацла повергла в ужас мелькнувшая мысль,— на меня он не похож. Он может быть похож на отца!»

Мысль эта была отвратительна, но он никак не мог избавиться от нее. Вдруг душа его возмутилась — он вспомнил о Регине. Он знал ее с детства. Он увидел, как наяву, какой она была тогда, когда приходила с корзинкой за мясом и стояла, статная и улыбающаяся, в дверях лавки.

Вот как оно было!

Можно бы было сойти с ума, если бы чувство, которое породила в душе его эта мысль, было более определенным. То, что он знал, он бы и вовсе не желал знать и хотел бы забыть о Банди, словно он его и в глаза не видел.

Слишком жалко было ему мальчишку, а он хотел бы вовсе никого не жалеть, потому что жалость связывает по рукам и ногам, подчиняет себе человека, порабощает его. Весь мир тогда как бы поворачивается другой стороной, и все, что в нем есть, обнаруживает вдруг другую сущность.

Влайку на своих лошадях уже давно уехал, а пора-

женный Нацл все стоял на месте, не зная, что предпринять.

«Бедный отец!» — подумал он, в конце концов расчувствовавшись.

Не могло того быть, чтобы отец ничего не знал, и у сына по спине пробегали холодные мурашки, когда он воображал страдания, которые должен был испытывать отец при виде этой, столь несчастной женщины, и зная, что это его незаконный ребенок.

«И все это ради меня, ради моей матери, — думал Нацл, — все ради покоя в родном доме, все из-за чувства долга. Какая ужасная расплата за минутную слабость! Какой безжалостный закон бытия!»

Да, да, иначе отец и не мог поступить! Если бы он поступил иначе, это был бы новый грех, порожденный другим грехом. Только так он должен был себя вести, а поскольку он так поступил, он имел право быть суровым и многого требовать от других.

Если бы в этот момент Нацл оказался перед отцом, он бы упал ему в ноги, целовал его руки и умолял простить его. Однако чувства, как и мысли, приходят и уходят, и через некоторое время, когда Банди попал ему на глаза, Нацл подумал: «А он-то в чем виноват, бедняга?»

В душе у Нацла шла тяжелая борьба, и если в этот момент Банди казался ему жертвой, принесенной в угоду добропорядочности, то в следующий он ему уже казался живым укором.

И зачем он только явился на свет? Зачем ему нужно было родиться, остаться в живых и вынести все муки?! Зачем, в конце концов, рождаемся мы все?!

Нацла волновали и эти, и другие подобные вопросы, и он не мог избавиться от мысли, что жизнь — это не что иное, как наказание, которое человек обязан нести, потому что таким он создан, что все, что живет, уже этим виновно, что только страдания и муки очищают от греха и поднимают человека над самим собой. Об этом и раньше говорила ему Персида, но Нацл не был в состоянии ее понять. Теперь он понял ее, и сама Персида казалась ему рожденной специально для того, чтобы разлучить его с матерью и отцом, лишить его наследства, потому что из-за нее страдали и он, и его родители. Он во всем усматривал тайную связь, и разум его застыл, когда он начинал думать о той слабости,

какую Персида питала к Банди. Именно поэтому он и не мог решительно выбросить из головы все, что так волновало его.

Персида не могла не заметить, что ее муж переживает какое-то душевное потрясение. Он выглядел усталым и расслабленным, голос его звучал не так резко, словно смягчился весь его характер.

— Что с тобой? — спросила она как-то после обеда, когда они, как обычно, остались вдвоем.

Нацл вздрогнул, словно его уличили в неблагоприятном поступке.

— Со мной? — переспросил он. — Что со мной? Ничего! Просто задумался. Жалко, что Банди нет еще восемнадцати лет, чтобы отдать его в солдаты. Ведь всякая другая жизнь не для такого безродного, как он.

Персида с удивлением подняла на него глаза. Она не могла понять, куда он клонит, что ему пришло в голову, и не знала, что же отвечать.

— Да будет тебе известно, — продолжал он, — что этой зимой будет рекрутский набор. Поблажек ждать не приходится, и ваш Трикэ загремит за милую душу.

Холод пронизал Персиду до мозга костей. Она давно не видела Трикэ. Ее он не навещал: оба они дулись друг на друга, да и Нацл не очень-то хотел его видеть у себя. Но все равно они были братом и сестрой. По закону тех времен юноши, взятые на военную службу, десять лет служили в линейных войсках и два года состояли в резерве, причем их посылали в чужие, далекие страны, так что вся их жизнь менялась коренным образом. Как же могла Персида примириться с мыслью, что ее брата тоже забреют в солдаты?

Сколько раз, оставшись одна и раздумывая о своей печальной жизни, Персида радовалась, что Трикэ, трудолюбивый и рассудительный, был для матери утешением. И было бы невероятно жестоко, если бы она потеряла и это утешение.

— Это было бы ужасно! — отозвалась она, удивленная тем, что Нацл ни с того ни с сего вдруг заговорил о Трикэ.

— Я думаю, что у твоей матери есть деньги и она могла бы откупиться. Меня выкупили за две тысячи с чем-то флоринов. Теперь же, наверное, и подешевле можно найти человека себе на замену.

Персида с горькой усмешкой покачала головой.

— Это невозможно! У мамы, конечно, есть деньги,

но она ни за что не даст. Я даже вообразить не могу, чтобы она отвалила сразу такую кучу денег.

И все-таки Мара должна была раскошелиться, кто ей должен был обязательно сказать, что совершенно необходимо тряхнуть мощной. Персиде хотелось одеться и без всякого промедления бежать через Муреш к матери, чтобы со слезами на глазах просить ее, но она не решалась.

— Послушай,— предложил Нацл,— внеси и ты свою долю, чтобы подстрекнуть ее.

Персида с удивлением взглянула на него.

— А что мы можем дать? — робко спросила она.— Ведь мы только-только начали откладывать.

— Дай все, что у тебя есть. Ради собственного спокойствия дай, а потом снова начнешь копить. Я тебе говорю, что тогда и мать твоя расщедрится. Как она ни скупа, но вас она любит.

Персида не могла прийти в себя. Она все время поглядывала на мужа и никак не могла поверить, что все это говорит именно он. Словно по мановению волшебной палочки изменилась вся ее жизнь. Она не могла сообразить, как, почему это произошло, и даже не пыталась это понять.

— Знаешь что? — обратилась она к Нацлу, приняв в конце концов решение.— Я пойду к Бочьоакэ и попрошу его поговорить с мамой. Его она послушается.

Персиде было трудно решиться на такой поступок, но теперь, после того, как ее муж с такой заботой говорил и о ее матери, и о ее брате, она уже не стеснялась и не чувствовала себя, как раньше, изгоем, человеком, отторгнутым от общества порядочных людей, и могла, не испытывая никакого стыда, с высоко поднятой головой предстать перед Мартой.

Вечером она оделась и ушла впервые с тех пор, как они поселились в Липове, оставив корчму на попечение Нацла.

Персида была так взволнована, так встревожена, что, только остановившись у самого дома Бочьоакэ, стала думать, насчет чего же все-таки она собиралась поговорить.

Бочьоакэ делал раскрой для восьми подмастерьев, которые работали за длинным столом, а жена его, сидя в стороне, вышивала на пяльцах, когда вошла Симина, служанка, чтобы сказать, что пришла Персида и хотела бы поговорить с Бочьоакэ.

— Она просила сказать,— добавила Сими́на,— что все это ради Три́кэ.

Ей бы надлежало сказать это Бо́чьоакэ, но в его доме слуги подчинялись не хозяину, а хозяйке, и Симине, избави бог, даже в голову не могло прийти что-то сказать хозяину да еще в присутствии хозяйки. Это уж дело хозяйки, что следует знать хозяину и что не следует.

Но женщина — всегда женщина.

Услышав, что пришла Перси́да и желает поговорить с Бо́чьоакэ о Три́кэ, Марта вздрогнула и побелела как мел.

Перси́да в ее доме?! Именно теперь, когда Три́кэ уже давно в ссоре с матерью! Что ей нужно? Что она хочет сказать Бо́чьоакэ о Три́кэ? Сердце у Марты тревожно билось.

«Будь что будет, но разговаривать с ней буду я!» — решила она.

Бо́чьоакэ продолжал кроить кожухи, когда Марта встала и вышла. Три́кэ следил за ней глазами. Он почувствовал, что произошло что-то серьезное, и понял по взгляду хозяйки, что речь шла о нем.

Перси́да ожидала увидеть Бо́чьоакэ и немного растерялась, когда перед ней появилась Марта. Однако она не принадлежала к людям, легко теряющим самообладание, тем более после того, как ей пришлось изрядно потолкаться среди самого разного люда, но она сразу же почувствовала, что Марта чем-то смущена.

— Ты, конечно, не предполагала,— улыбаясь, заговорила она,— что я могу так неожиданно явиться к тебе в дом.

Марта стояла растерянная: она не знала, как к ней отнестись, что сделать, что сказать, как ее принять.

— Я тоже удивляюсь,— отозвалась Марта, но, тут же сообразив, что сказала глупость, добавила: — Я даже не могу предположить, что ты хочешь сообщить моему мужу. Несомненно, это что-то важное и срочное.

— Возможно, будет лучше, если я расскажу тебе,— подхватила Перси́да и осеклась.

Она не знала, как обращаться к Марте, на «вы» или на «ты», как раньше.

— Конечно,— продолжала она после маленькой заминки,— лучше я расскажу тебе, чтобы ты сама поговорила с мужем. Мы, женщины, лучше поймем друг друга, а твой муж слушается тебя.

Марта, еще совсем не понимая, о чем идет речь, успокоилась и стала смотреть Персиде в глаза, в которых она не могла уловить ничего злонамеренного.

— Так вот,— продолжала Персида, которая, как и все женщины, единожды начав, не могла уже остановиться, не досказав до конца,— Трикэ уже достиг призывного возраста, вскоре будет объявлен рекрутский набор, его забреют и пошлют на войну, если его не выкупить. У мамы, должно быть, хватит денег, чтобы откупиться, но ты знаешь, как трудно заставить ее раскошелиться. Мой муж готов дать, сколько он сможет, а потом даст и мать; если кто-нибудь попросит ее. Сами мы этого сделать не можем, так пусть попросит Трикэ, попросишь ты, поговорит твой супруг, которого она слушается.

Марта облегченно вздохнула. Возьмут или не возьмут Трикэ в солдаты, сколько еще до этого времени пройдет. Совсем другого опасалась Марта, и мысль о том, что Трикэ могут взять на войну, была слишком новой, чтобы глубоко ее взволновать. До той поры сколько еще времени утечет.

— И мы тоже не можем,— заявила она.— Твоя мать сердита на Трикэ, и она к нам больше не ходит, и мы к ней, конечно, не пойдем.

Для Персиды это было как гром среди ясного неба.

— Как? Почему? — воскликнула она.

Но что ей могла ответить Марта.

Она пожала плечами и снова поглядела в глаза Персиде, в которых и на этот раз не заметила никакой злости.

— Глупости какие-то, иначе и не назовешь. Твоя мать рассердилась на Трикэ, потому что он тянется ко мне и слушается меня. Мне даже неловко тебе это рассказывать...

Господи, почему бы не поговорить откровенно? Почему бы не излить душу?

— Могла бы ты поверить,— с огорчением продолжала Марта,— что я, взрослая женщина, у которой большие дети и которая много чего в жизни повидала, могла бы свести с ума мальчика, к которому отношусь как к родному сыну?

— Святой боже! — воскликнула Персида, крестясь.— Только, пожалуйста, не подумай о ней чего-нибудь дурного, ведь и ей довелось многое в жизни

испытать... Поговори со своим мужем, ведь она его слушается, а мы должны сделать все, чтобы спасти Трикэ.

У Марты не повернулся язык сказать «нет», хотя она твердо знала, что никакого разговора между Боцьоакэ и Марой не будет и главным образом потому, что ни они к Маре не ходят, ни Мара их не посещает. Возможно, что у Марты и не было никаких злых умыслов за душой, просто она знала, что Мара за словом в карман не полезет и может забить голову Боцьоакэ разными предположениями и пробудить в нем подозрительность. А вот этого она Персиде сказать не могла.

Хитрая, как все женщины, когда речь идет о том, что находится под самым носом, Марта радовалась, что Персиде не удалось поговорить с Боцьоакэ.

— Доверься мне и будь спокойна,— говорила она Персиде.— Ничего не предпринимай, ни с кем не говори, пока я сама не извещу тебя. Я все это дело улажу, а если и вам что-то придется сделать, то я скажу.

Вполне убежденная, что Трикэ не возьмут в солдаты, Марта говорила все это с такой искренностью, что Персида успокоилась и, забыв о прошлом, обняла и поцеловала ее на прощание, словно самую лучшую и единственную подругу.

И в самом деле ей можно было быть спокойной.

Хотя Марта вовсе не предполагала затевать разговор с Боцьоакэ, однако мысль о приближающемся рекрутском наборе все больше и больше беспокоила ее и укрепляла в решении сделать все возможное, чтобы спасти Трикэ от солдатчины. Она еще не знала, что предпринять, но раздумывала над этим. Вернувшись к своим пяльцам, словно ничего особенного не произошло, она время от времени поднимала глаза на Трикэ, который ощущал, что речь шла о нем, а потому чувствовал себя беспокойно.

Им необходимо было поговорить.

Марта и Трикэ по многу раз на дню, а часто и целыми часами оставались наедине, как это бывает с людьми, которые живут под одной крышей и делают какое-нибудь дело вместе. Это само собой разумелось, и никто на это не обращал внимания. Но теперь, когда Марта задумала что-то сделать, не ставя в известность мужа, она вдруг оробела и не знала, как бы устроить так, чтобы остаться с Трикэ наедине.

Трикэ чувствовал и это тоже и очень волновался, потому что вечер проходил, а Марта молчала.

— Подожди меня,— шепнула она ему наконец, когда подмастерья встали из-за стола,— мне нужно с тобой поговорить, только пусть сначала уснет хозяин.

Такого еще не случилось, и Трикэ начала бить лихорадка. Он, ночью, после того, как заснет хозяин, вместе с ней?!

— Где же ждать? — спросил он.

— Найди работу во дворе, а я пойду в кладовую. Увидишь, когда я буду проходить, и иди потом за мной.

Да, но это можно было сделать и до того, как заснет хозяин. Нет ничего проще, чем найти себе какое-нибудь дело в кладовой.

Несмотря на это, Марта дождалась, когда муж заснет, и только тогда потихоньку, без свечки вышла, словно воровка, и сердце у нее билось тревожно, хотя причин для этого не было никаких.

У Трикэ тоже сильно билось сердце, но на это у него была причина.

Ведь у каждого человека свои мысли и свои слабости. Откуда Трикэ знать, почему вдруг хозяйка решила встретиться с ним тайком, и голова у него пошла кругом. Помимо своей воли, сам не зная как, Трикэ, как только они вошли в кладовую, заставленную ларями, корчагами и мешками, обнял ее за талию.

Никогда бы он этого себе не позволил, и только Марта была виновата, что он сделал это сейчас.

К тому же не такой великий грех это был! Марта была женщина на возраст, у нее были большие дети, пережила она много, и было бы смешно, если бы к поступку Трикэ она отнеслась как девица на выданье, когда на самом деле это была лишь детская глупость. Теперь, когда никто их не видел, Трикэ мог бы позволить себе и большее, не навлекая на себя гнев Марты.

Примерно так Трикэ и думал. Ведать не ведая, зачем она явилась сюда среди ночи, он, естественно, думал о своем и сгорал от нетерпения. Поэтому, заметив, что Марта и не думает вырываться, он обнял еще крепче талию маленькой кругленькой женщины.

— Трикэ,— заговорила Марта,— ты знаешь, что вскоре будет рекрутский набор и ты не избежишь солдатчины, если не откупишься?

— Тем лучше. Тех, кто теперь идет на войну, как говорят, уже не будут держать двенадцать лет, а отпустят сразу, как только она кончится.

— Пусть так,— прервала его Марта,— но твоя мать могла бы выкупить тебя.

— Избави бог! — возмутился Трикэ.— Никто не вытрясет из нее столько денег, а если случится чудо и она раскошелится, то я не приму их.

Марта чуть-чуть отстранилась.

— Ты сердишься, что я обнимаю тебя? — спросил Трикэ и осторожно отвел руку назад.

— Чего мне сердиться? — спокойно ответила она.— Я знаю, что дурных мыслей у тебя нет и что от тебя никто ничего не услышит. Правда, ты ведешь себя не совсем прилично. Ты еще совсем ребенок, а я уже почти пожилая женщина: тебе самому будет стыдно, когда будешь об этом вспоминать.

— Почему мне будет стыдно?! — запротестовал Трикэ.— Лишь бы ты не сердилась, а мне это очень даже нравится.

— Глупости! Почему же я должна сердиться, когда мне хочется смеяться. Твое счастье, что нас никто не видит, а то бы мы стали всеобщим посмешищем.

— Вот уж нет! — проговорил Трикэ, снова обнимая Марту.— А если бы и стали, то какое нам дело, если ты не сердишься.

Трикэ обнял ее обеими руками и посадил на ближайший мешок. Голова у Марты слегка откинулась назад, и Трикэ долгим поцелуем впился в ее шею возле самого уха.

— Ты с ума сошел?! — прошептала Марта, не пытаясь, однако, освободиться из его объятий.

— Ты сердишься? — спросил он.

Марта всю свою жизнь, улыбаясь, играла с огнем и никогда не боялась. Сейчас она боялась меньше, чем когда бы то ни было, и Трикэ ей нравился именно потому, что она питала к нему полное доверие.

— Не сержусь! — ответила она вполголоса.

Трикэ поудобнее обхватил ее рукой и снова поцеловал.

— Нравится? — спросил он после еще более долгого поцелуя.

— Да, нравится,— прошептала опьяненная Марта.— Только, пожалуйста, потихоньку, медленно-медленно, и кончай, когда я скажу — хватит.

Закрыв глаза, Марта отдалась на волю Трикэ и настолько потеряла всякий стыд, что положила руку ему

на голову и стала потихоньку наклонять ее, все ближе и ближе к обнаженной груди.

Что же в конце концов это было? Детская игра, от которой даже девица на выданье, умеющая собой владеть, не почувствовала бы угрызений совести, Марте это доставляло удовольствие, Трикэ был ненасытен, никто их не видел, и никому не на что было жаловаться.

— Что тебе еще сделать? — спросил Трикэ, кажется насытившись поцелуями.

— Ничего, — ответила Марта, вздыхая. — На сегодня хватит.

Потом, чувствуя что-то вроде сожаления, она обняла Трикэ и стала с ним целоваться, жадно впиваясь в его губы, как только взрослая женщина может целоваться с молодым парнем.

— Трикэ, — зашептала она потом, — тебя накажет бог, если ты кому-нибудь расскажешь. Я стыжусь сама себя, но ничего не могу поделать. Ведь я стану тебе противна!

— Нет! Никогда! — и в доказательство Трикэ вновь стал целовать ее в губы.

— Хватит, — отстранилась Марта, — а то мы никогда не кончим. Трикэ, тебе нужно поговорить с хозяином, чтобы он все сказал твоей матери. Я с ним не могу говорить, боюсь, он что-нибудь заподозрит. У твоей матери есть деньги!

— А разве это не грех отвалить такую кучу денег? — возразил Трикэ.

— Не говори так, Трикэ. Нельзя, чтобы тебя взяли в солдаты; я же пропаду без тебя. Поговори с ним, а об остальном я позабочусь. Теперь ты меня не можешь бросить.

Трикэ снова сжал ее в объятиях.

— Хватит, — сказала Марта. — Пусть и в следующий раз нам повезет.

Поцеловав Трикэ еще раз, она быстро убежала.

Пусть повезет и в следующий раз — с этой мыслью они и расстались.

Но удачу не найдешь, если даже упорно ее ищешь, дарит ее случай.

Наученный Мартой, Трикэ на следующий день поговорил с хозяином, а тот, не откладывая дела в долгий ящик, переговорил с женой, без которой ничего делать не мог.

Марта пожала плечами, словно речь шла о чем-то, к чему она не имела никакого отношения.

— Если бы это от меня зависело, я бы не стала вмешиваться. Но ты поступай так, как тебе кажется лучше. Вчера заходила его сестра Персида, хотела поговорить с тобой. Сказала, что они со своей стороны тоже внесут что-нибудь. Больше она ничего не сказала. Ну, зачем нам мешаться в дела этих людей.

Бочьоакэ знал свою жену и ожидал, что она что-то такое скажет: хоть она и благоволила к Трикэ, однако забыть свои распри с его матерью и сестрой не могла.

— Было бы грешно допустить, чтобы такого парня, как Трикэ, забрали в солдаты. Парень он и работающий, и достойный, — рассуждал Бочьоакэ. — Деньги у его матери должны быть, но она не даст, если ее не убедит кто-нибудь, что без этого не обойтись.

— Ты что, не знаешь ее, что ли?! Ничего ты из нее не выжмешь. Она такая подозрительная, что ты только диву будешь даваться, о чем она будет думать, когда увидит, что ты хлопчешь о Трикэ, словно он тебе невеста кто. Парень он хороший, ничего не скажешь, и неприятностей ему мы делать не должны.

Бочьоакэ хотел было еще что-то сказать, но решил не продолжать разговора. Прежде всего он хотел показать жене, что сумеет выбить из Мары деньги. А потому, отложив все разногласия в сторону, он по воле жены, а скорее против ее воли, как только стемнело, отправился к Маре, зная, что застанет ее дома.

Марта была права.

Увидев Бочьоакэ, Мара тут же решила, что его подслала жена, и насторожилась, желая выведать, зачем он явился и что ему нужно.

Мара перепугалась, когда Бочьоакэ сказал ей, что близится рекрутский набор и если она хочет обделать дело, то должна выкладывать деньги, правда еще есть немного времени, чтобы все обдумать и рассчитать.

Когда Бочьоакэ сообщил, что Персида готова внести свою долю, Мара стала приходить в себя. Как-никак, а Персида ее дочь!

— Плохо, совсем плохо! — стала жаловаться она. — Как раз теперь и так неожиданно!

Ей бы хотелось сказать, что у нее нет денег, но заявить это в лицо Бочьоакэ у нее не хватило духу.

— Деньги у меня есть, — сказала она, вроде даже

хвастливо, — не так уж много, но, чтобы откупиться, хватит и даже останется, но я не держу деньги в сундуке, а вкладываю их в торговлю, и вот как раз сейчас у меня на руках ничего нет. Если бы ты мог сказать, кто бы мог дать мне в долг, ты бы меня очень обязал.

Бочьоакэ задумался. Такого человека он не знал.

Мара не сводила с его лица пристального и испытующего взгляда.

— Тебе не сегодня завтра придется выдавать замуж дочку. Значит, на приданое должны быть отложены и денежки. Сейчас у тебя нужды в них нет, так одолжи их мне, а я верну с процентами, когда дочка подрастет.

Бочьоакэ почувствовал себя очень неловко. Подобная мысль ему в голову не приходила, но то, о чем он подумал, почувствовала и Мара.

Трикэ был парень что надо, и трудолюбивый, и достойный всяческого доверия, и Бочьоакэ не раз думал, что будь у него такой зять, то не нужно было бы ему сидеть все время за столом с подмастерьями. Но от этих планов до долга, о котором говорила Мара, было ой как далеко.

Поскольку и ему не хотелось врать, что у него не отложены деньги на приданое дочери, приходилось выкручиваться по-другому.

— Прежде всего посмотрим, что даст Персида, — предложил он, — кое-что дадим и мы, а остальное ты у кого-нибудь займешь. Дело за тем, чтобы ты поговорила с Персидой.

— Я? — подскочила Мара, словно ее укусила змея. — Да я порога ее не переступлю, пока она живет с этим негодяем. Была я один раз у нее, и с меня хватит: если она будет лежать на смертном одре, тогда я, может быть, пойду. Обделай, пожалуйста, сам и это дело: раз ты начал, тебе и кончать.

Бочьоакэ не мог отказаться. Он чувствовал, что в конце концов денежки придется выкладывать ему, и, вспоминая слова жены, краснел, что ввязался в эту историю.

Он бы совсем не знал, куда от стыда деваться, если б знал, что происходит у него дома, пока он тут рассуждает с Марой.

Совсем потеряв голову, Марта только и думала, что о следующем счастливом разе. Через день, в субботу, в Фэджете была ярмарка, и Бочьоакэ с ящиками, на-

битыми кожухами, должен был отправиться туда, а Трикэ, его доверенному лицу, надлежало сопровождать его.

Как только Бочьоакэ отправился к Маре, Марта пригласила Трикэ в чулан, якобы на помощь.

— Ты не езди с хозяином в Фэджет,— стала учить она Трикэ.— Скажи, что в воскресенье хочешь пойти поговорить с матерью и сестрой. Тогда он тебя не возьмет.

Трикэ понял, зачем ему нужно остаться дома, и ему стало стыдно. Но все-таки он не мог совладать с собой и снова обнял Марту за талию.

— Не нужно. Сейчас нет времени. В субботу вечером ты прокрадешься ко мне в дом и тогда мы будем в полной безопасности.

— О, господи! — Трикэ даже бросило в дрожь.— Что скажет хозяин, если пронюхает что-нибудь?! Мне не по себе даже!

Марта слегка отстранилась от него.

— Не знаю, что ты там воображаешь,— недовольно заговорила она.— Поцелуемся, поиграем, поласкаемся безо всякого греха, как невинные дети. Да накажет тебя бог, если ты помыслишь о чем-либо другом. Или, может быть, это тебе опротивело?

— Увидишь, как мне опротивело! — воскликнул Трикэ, и мир был восстановлен.

— Ну как? — спросила Марта, когда Бочьоакэ вернулся.— Удалось что-нибудь?

— Сначала мне нужно поговорить с Персидой, чтоб узнать, сколько даст она,— как-то нехотя ответил муж.— Я тебе все расскажу.

Марта привыкла, что все разговоры с ней муж ведет вечером перед сном, когда можно посидеть в полном покое. Поэтому она не проявила никакого нетерпения, но по лицу его видела, что Бочьоакэ ни о чем не договорился.

— Ладно,— согласилась она.— Только мне не нравится, что ты так вмешиваешься в их дела. К Персиде лучше бы сходил Трикэ. Я ведь об этом ей говорила.

— Пусть сходит! — подтвердил Бочьоакэ и отправился его искать.

Трикэ не мог поднять глаз на хозяина. Что и говорить, все это были детские забавы, но Трикэ знал, что хозяин рассердился бы не на шутку, догадайся

он хоть о чем-нибудь, а потому чувствовал себя перед ним весьма скверно.

— Трикэ,— обратился Бочьоакэ к парню,— я разговаривал с твоей матерью. Дело слаживается. Теперь нужно, чтобы ты сходил к сестре и поговорил с ней.

— Я бы мог сходить только в воскресенье,— отвечал Трикэ, еле выдавливая из себя слова.— Завтра и послезавтра в корчме слишком много народа, а в воскресенье я поеду на ярмарку.

— Можешь не ездить на ярмарку,— разрешил Бочьоакэ и, сделав паузу, доверительно добавил: — Знаешь что, парень! Будь добр, води себя как следует с моей женой. Слушайся ее во всем, а то без нее я для тебя ничего не сделаю.

Трикэ так и хотелось провалиться сквозь землю. Сердце его словно пронзило стрелой, и он твердо решил в субботу вечером не ходить к Марте, как они договаривались.

Он и не пошел, но Марта его не ждала.

— Посмотрим, что ты сумел сделать,— заговорила Марта, оставшись вечером вдвоем с мужем.— Даст она или не даст?

— Даст, если соберет.

— А она собрала?

— Нет,— спокойно уронил Бочьоакэ и, чуть подождав, добавил,— давай договоримся об одном деле, если мы можем понять друг друга.

— Давай договоримся,— отвечала Марта, спокойно усаживаясь перед ним.

Бочьоакэ немного походил, чтобы иметь время на размышление, потом тоже присел.

— Ты знаешь, что мне нравится Трикэ. Парень он видный, здоровый, хороший мастер. Человек он сердечный, достойный доверия, ни одного греха...

Марта побелела как мел. Она поняла, куда клонит муж, ведь и до этого заходили разговоры на подобные темы, но тогда она соглашалась с мужем, а сейчас чуть не упала в обморок.

— Хотелось бы и мне освободиться от ремесла,— продолжал Бочьоакэ,— отдохнуть немного. Будь у меня такой зять, я бы чувствовал себя свободным.

— Значит, это ты хочешь его выкупить?! — воскликнула она ядовито.— Делай, что хочешь. Но я свою дочь не отдам за этого немытого мужлана, у которого все лицо в веснушках. Что до меня, то я бы не стала

связываться с такими женщинами, как его мать и сестра.

Мартахватила через край!

И все-таки она чувствовала, что все усилия ее тщетны.

В доме Бочьоакэ хозяйкой была жена, об этом все знали, но муж делал все, что хотел. Мелкие дела делались так, как того желала Марта, когда же речь заходила о серьезном, она должна была пожелать того же, что хочет муж, чтобы исполнилась воля их обоих.

— Отмоется. И веснушки пройдут,— спокойно возразил Бочьоакэ.— А Мара и ее дочка, в конце-то концов, не такие женщины, за которых приходится краснеть. Не надо возводить на парня поклепа, девушка будет с ним счастлива.

Марта покачала головой, но ничего не сказала, потому что и сказать было нечего. Всю ночь она ворочалась на постели и думала, что же сделать, чтобы заставить мужа отказаться от принятого решения.

«Пусть сначала избавит его от военной службы, а потом посмотрим, что делать»,— в конце концов решила она.

Но в глаза Трикэ она уже не заглядывала, а в субботу вечером, прежде чем лечь спать, дверь в спальню заперла на замок.

Марта волновалась и никак не могла прийти к твердому решению.

В воскресенье Трикэ волей-неволей, с тяжелым сердцем отправился к сестре.

Он нашел ее всю в слезах.

Она снова поругалась с мужем.

— С недавних пор,— стала рассказывать Персида,— словно бес какой-то в него вселился: я не знаю, как к нему подойти, как с ним говорить, как вести себя. Он все время недоволен, снова начал играть в карты, иногда даже напивается, чего с ним раньше не бывало.

Но без Нацла Персида ничего не желала делать. Прежде всего она должна была помириться с ним и прийти к доброму согласию.

Марта обрадовалась, узнав об этом, но радость эта была преждевременной, потому что хотя Бочьоакэ тоже был раздосадован, но сердился на то, что дело откладывается, решения своего не менял и спустя несколько

дней сам отправился мирить Нацла с Персидой и договариваться с ними.

Марта волновалась, но ничего не могла сделать, а между тем уже стали составлять списки рекрутов, которым в феврале, всего лишь через пять недель, предстояло явиться перед комиссией.

После праздников Трикэ выкупили: Персида дала пятьсот, а Бочьоакэ вместе с долгом тысячу семьсот флоринов.

Марта облегченно вздохнула.

До этого момента она все боялась, как бы муж ее чего не почувствовал, не изменил бы своего решения и не отказал Маре в долге. Поэтому она избегала Трикэ и даже не сердилась, когда видела, как он что-то делает вместе с ее дочерью. Порой ей даже хотелось примириться с идеей Бочьоакэ. Но теперь, когда Трикэ освобожден от солдатчины, единственным ее желанием стало встретиться с ним наедине.

Трикэ — ее зять?! Невозможно. После того, что было между ними, Марта не могла успокоиться и ее бросало в дрожь при мысли, что Трикэ больше не желает ее, что обязательно наступит такое время, когда он перестанет ее желать и будет смотреть на нее с презрением. Сейчас и только сейчас: ей нужно было торопиться захватить его, удержать при себе, чтобы он не достался другим.

Но именно тогда, когда человек торопится и суетится, он больше портит, чем достигает цели.

Трикэ, чувствуя, что на душе у него не чисто, не решался смотреть матери в глаза. Встречаться ему с ней приходилось часто, и у нее дома, и у Бочьоакэ, но всегда он старался не остаться с ней наедине, чтобы она не могла начать его расспрашивать.

Персиду он тоже навещал редко. Он знал, что с Нацлом у нее опять не заладилось, и злился на сестру, почему она не бросит этого негодяя, и боялся, как бы не поссориться с ними, когда бывал у них.

Ему было известно, что мать, чтобы его выкупить, отдала тысячу семьсот флоринов, невероятную сумму, отвалила ни за что ни про что, просто как в огонь бросила. Раз сто хотелось ему бежать к ней и просить, чтобы она не давала этих денег, потому что они ему пригодятся для обзаведения собственным делом, когда он вернется домой примерно через год. Однако, видя,

как хлопочет Бочьоакэ, а особенно озабоченную Марту, он не мог решиться на это.

Больше всего его беспокоили те пятьсот флоринов, которые дала Персида. Он хотел бы вернуть их обратно, но стоило ему подумать, сколько нужно работать, чтобы собрать столько денег, он впадал в отчаяние.

Как бы сделать так, чтобы и эту сумму мать взяла на себя, а он бы мало-помалу стал бы возвращать эти деньги ей?

Когда Трикэ размышлял таким образом, хозяин и хозяйка представлялись ему бездушными людьми, которые заставили мать и сестру выкупать его только для того, чтобы пользоваться им. А он, несмотря на это, должен им подчиняться, не выходить из их воли, если хочет заработать эти пятьсот флоринов.

— Жди меня сегодня вечером, как и тогда, в чулане,— шепнула ему Марта,— мне нужно с тобой поговорить.

Трикэ почувствовал, как его бросило в дрожь. Он бы хотел отказаться, но не смел.

— А если нас кто-нибудь застанет? — осторожно воспротивился он.— Прошлый раз, когда подмастерья заметили, что я слишком долго пропадаю во дворе, заподозрили, что я бегаю за Симиной.

Марта вздрогнула. Кровь в жилах заледенела, казалось, всему пришел конец.

— Кто знает? — спросила она.— Уж они-то знают, в чем тебя подозревать.

— Господи,— отвечал Трикэ.— Разве ты можешь поверить таким глупостям?

— Почему же это глупости? Сими́на — девушка молоденькая, чистенькая. А меня, как я вижу, ты уже стал сторониться. Значит, меня ты уже не хочешь.

Трикэ чувствовал себя ужасно неловко. Ему и вправду уже не хотелось играть с хозяйкой, но сказать ей это напрямик он не решался.

— Почему же, я хочу,— пробормотал он,— только я боюсь, как бы не застал нас хозяин. Нужно было бы сделать все по-другому, чтобы было спокойнее. А в чулане уж больно холодно.

Марта задумалась. Она видела, что Трикэ начинает крутить, но это ее мало трогало. «Нужно, чтобы мы остались вдвоем,— думала она,— а там уж он не пойдет на попятную».

— О, боже,— заговорила она,— как же избавить-

ся от хозяина?! Лучше всего было бы у меня в комнате, когда, как говорится, хозяина нет, но в ближайшее время по всей округе нет ни одной ярмарки. Ты можешь сказать, что идешь вечером куда-нибудь, а сам пробирайся ко мне.

Трикэ опять стало не по себе. Вообразив, как он тайком пробирается среди ночи к ней в комнату, Трикэ почувствовал, как у него идет кругом голова и дрожат коленки.

— Я пойду сегодня вечером к матери,— решил он наконец.— Я сделаю так, чтобы мы перед отходом встретились.

— Очень хорошо,— повеселела Марта.— Я буду работать на кухне, а Симинову куда-нибудь пошлю. А ты приходи ко мне, мы посидим, поговорим.

Так они и сделали.

Вечером Марте вдруг понадобилось во что бы то ни стало погладить оставшееся неглаженным белье. А когда подмастерья закончили работу и встали из-за стола, Трикэ попросил у хозяина разрешения сходить к матери.

— Хотела бы я знать,— зашептала Марта мужу,— действительно ли к матери он идет. Сдается мне, что есть у него другие дорожки. Пошлю-ка я Симинову в Радну, пусть за ним посмотрит.

Бочьоакз был недоволен такой подозрительностью жены, но, зная ее упрямство, не захотел продолжать разговор.

— Посылай! — согласился он, уверенный, что Трикэ отправится к себе домой.

Марта послала Симинову в Радну, и не успела она уйти, как Трикэ пробрался на кухню, где Марта гладила белье.

Теперь все было хорошо: они были укрыты, в тепле и могли развлекаться совершенно спокойно. У Марты, предвкушавшей любовные игры, кружилась голова, а Трикэ чувствовал себя очень стесненно и перепугался, когда Марта хотела запереть дверь.

— Если вернется Симинова или придет кто-нибудь другой, ты выпрыгнешь через заднее окно, а я скажу, что не могу быть одна, если дверь не заперта.

Марта хотела потушить даже свечку.

— Не туши! — остановил ее Трикэ.— Если кто-нибудь придет, что он скажет, застав тебя в темноте?

Марта немного постояла, потом проверила, задержаны ли занавески на окнах.

Никто не мог бы их увидеть. Но одно дело быть в темноте и совсем другое, когда на тебя смотрят. Марте было стыдно миловаться с Трикэ при свете.

— Какая напасть на мою голову! — воскликнула Марта, усаживаясь на кровать Симины. — Что ты можешь обо мне подумать?

— А что думать?! — отвечал Трикэ, усаживаясь рядом и обнимая ее. — Я одно только думаю, что не сумею остановиться там, где нужно.

Марта слегка откинулась и испытующе поглядела ему в глаза.

— Лучше тогда убей меня! — прошептала она и, совершенно неожиданно переменяя разговор, спросила: — А ты знаешь, что тысячу семьсот флоринов не мать твоя дала, а мы?

Трикэ удивленно взглянул на нее.

— Да, да! — подтвердила Марта. — Тысячу семьсот флоринов дал мой муж.

— Зачем? — спросил Трикэ.

Вместо ответа Марта обняла его обеими руками и спрятала лицо у него на плече.

Но Трикэ освободился от объятий и встал.

— Неправда! — сказал он. — У матери есть деньги, и она должна вернуть как можно скорее эту тысячу семьсот флоринов.

— Ты глуп, Трикэ! — Марта была недовольна.

— Вовсе нет! — отвечал он, и ему так хотелось напялить на голову шапку, распахнуть дверь и удалиться не через заднее окно, как они договорились, а через двор, чтобы все могли его видеть. Остановила его только мысль, что мать его обязательно вернет Бочьоакэ деньги и как можно быстрее.

Однако он понимал, что не так-то просто вытрясти из матери такую кучу денег, а потому чувствовал себя так, словно его продали в рабство, и теперь нужно было, чтобы мать его выкупила.

Подойдя к замерзшему Мурешу, Трикэ не пошел через мост, а отправился прямо по льду. Тропинки никакой не было, и Муреш весь замело снегом, но ночь была светлая, лунная, и Трикэ не боялся попасть в полынью. Только вдалеке, вниз по Мурешу, где-то на противоположном берегу, поскрипывал в ночной тишине колодезный журавль. Взяв направление на этот

скрип, и зашагал Трикэ. Правда, по снегу идти было нелегко, да еще приходилось обходить многочисленные поляны, так что только к полуночи он добрался до материнского дома, перед которым вот уже больше часа топталась съезжившаяся Сими́на, посланная посмотреть, когда он придет, если придет.

Мара давно уже спала. Когда раздался стук в окно, она испуганно вскочила.

— Что такое? Что случилось? Чего тебе понадобилось среди ночи? — суежилась она, зажигая свет.

— Очень прошу тебя, — отвечал Трикэ, — заплати Бочьоакэ поскорее деньги, которые он дал за меня. Не хочу я быть у них рабом! Уж лучше бы я пошел в солдаты!

Мара была женщиной, которую, даже разбудив в полночь, нельзя было сбить с толку.

— Глуп ты еще и ничего не понимаешь. Бочьоакэ с радостью отдал эти деньги: у него же дочь, которая скоро подрастет, и он хочет держать тебя при себе, чтобы ты стал его зятем.

Трикэ хлопал глазами, словно с неба свалился.

Такое никогда не приходило ему в голову, да и сейчас не могло бы прийти. Это невозможно! Нет, дочка Бочьоакэ вовсе не для него. Слугой ей быть — это еще можно, но мужем — никогда!

— Тебя обманули, мама! Их дочка не для меня. Если даже они будут отдавать ее за меня, все равно она мне не нужна. Не желаю я родниться с Бочьоакэ! — и как бы в порыве отчаяния, он продолжал: — Не знаю, что себе думает Бочьоакэ, но жена его, как я знаю, вовсе не для дочки, а для себя хочет держать меня.

И это знала Мара, только представлялось ей все это иначе.

— Цыц! Держи язык за зубами. Парень ты молодой и не должен навлекать позора на дом своего хозяина. Она не единственная мать, которая выдает дочку за парня, который нравится ей самой. Улещай ее, как можешь, пока не отдаст тебе дочь, а потом плюнь ей в рожу и получишь тещу, которая будет тебя бояться и не станет ездить на твоей шее. Будь, Трикэ, умным: Султана — девочка хорошая, красивая, и с приданым, войдешь ты в хороший дом и, если ты мужчина, сможешь из нее веревки вить.

— Ничего мне не надо! — отвечал Трикэ. — Не

хочу только быть у них рабом и прошу тебя спасти меня от них.

— Глупости! Подумай немножко, пошевели мозгами. От такого счастья не бегают.

— Мама! — воскликнул сын. — Не толкай меня на грех! Запутаясь я в дурной связи с хозяйкой!

— Не дам ни гроша! — упорствовала Мара. — Ну и спутаешься — не велика беда! Чего ты теряешь? Позор не мой, не твой, а ее! Как говорят, лишь бы собаки не брехали!

Трикэ чувствовал, что он пропал.

Но это было только начало.

Марта, которую Трикэ оставил в самом отвратительном душевном состоянии, была не из тех людей, которые сидят сложа руки, когда у них что-то горит.

Она знала, что Трикэ ни гроша не получит от своей матери, и, в конце концов, ей было глубоко безразлично, выколотит он из нее что-нибудь или нет. Но она ужасно боялась, как бы Трикэ не проговорился о ней, если у него с матерью пойдет речь о замыслах Боцьоакэ в отношении дочери.

Ее бросало в дрожь и волосы на голове вставали дыбом при одной только мысли об этом.

Но вовсе не потому, что она чувствовала себя виноватой. В ее представлении то, что она делала, и то, что еще предполагала сделать, вовсе не было грехом. Всем этим она занималась, будучи еще девицей на выданье, и никогда не чувствовала никаких угрызений совести. А с какой стати, собственно говоря, их испытывать?! Любовь, как ей было известно, есть греховная и безгрешная, так вот это была безгрешная любовь, за которую нечего стыдиться, будь Трикэ даже ее зятем. Если Марта и стыдилась, то только того, что перед таким молоденьким парнишкой, как Трикэ, обнаружила свою слабость и что нет у нее такого самообладания, как прежде. Так совершенно случайно, неожиданно, сама того не желая, упала она совершенно слепо в его объятия и вот теперь не знала, на чем должна остановиться.

Ей становилось дурно, когда она чувствовала, что не в состоянии сказать «нет», когда он говорит «да». Как же она сможет жить с ним под одной крышей, не заходя все дальше и дальше в любовной игре.

«Нет, это совершенно невозможно, чтобы он еще и моим зятем стал», — думала Марта.

Ее материнское сердце болело, но сердце женщины как бы шептало ей: «Она-то сумеет, но вот ты-то другого найти не сможешь!»

После того, как вернулась Сими́на и доложила, что ждала больше часа, но того, чтобы Трикэ прошел в дом к своей матери, не видела, Марта тоже отправилась спать.

— Ну,— обратилась она к Бо́чьоакэ, которого разбудила своим ворчаньем,— что ты теперь скажешь о своем Трикэ? Разве я не говорила, что не домой он ходит? Сими́на вернулась, а его и в глаза не видала.

Бо́чьоакэ был раздосадован. Верить в это ему не хотелось, но и вступать в спор с женой из-за Трикэ он не мог. Ну и что, в конце-концов, он ведь парень!

— Трикэ никогда не врет,— защищал его Бо́чьоакэ.— Он пошел к матери, только, видно, сбился с дороги.

— Как раз про это и я говорю! — подхватила Марта.— Избавь меня бог от зятя, который отправляется к матери и ночью сбивается в пути.

— Как будто другие лучше! — буркнул Бо́чьоакэ и повернулся лицом к стене.

Однако утром он остановил Трикэ в укромном уголке, чтобы спросить, где тот был перед тем, как отправиться к матери.

Трикэ застыл как пораженный громом, ему хотелось провалиться сквозь землю, бежать на край света.

Видя, что парень совсем растерялся, Бо́чьоакэ больше не сомневался в том, что жена его права. И ему было неприятно, что он задал такой вопрос.

— Если уж тебе так необходимо бегать ради всяких глупостей, то остерегайся хотя бы хозяйки,— посоветовал Бо́чьоакэ строгим голосом и отправился по своим делам.

Совершенно растерявшийся Трикэ долго смотрел ему вслед.

Как нужно понимать эти слова? Почувствовал ли что-нибудь Бо́чьоакэ? Видел ли кто-нибудь, как он выходил из кухни, и донес ему? Но если это так, то совершенно невозможно, чтобы этим все и кончилось.

Но размышлять ему было некогда.

— О чем тебя спрашивал хозяин? — тут же подошла Марта, следившая за Трикэ.

— Он чего-то чувствует,— отвечал тот,— или кто-нибудь ему что-то сказал.

— Ну и что?! — воскликнула Марта. — Не все ли ему равно?! Не велико дело, если даже кто и видел. Главное, что денег от матери ты не получил.

Трикэ стоял, униженно склонив голову, как раб перед своим владельцем.

— Будь умным, Трикэ, — продолжала Марта, — ведь мы стоим за тебя, а за нашей спиной с тобой ничего плохого не случится.

Трикэ ничего не оставалось, как только быть разумным и подчиниться Марте, которая одна заправляла всем.

Однако никто не владеет полностью сам собою.

Трикэ всегда питал расположение к Султане, потому что она была дочерью его хозяев. Но при этом он не мог бы ответить, захоти кто-нибудь спросить его, какого цвета у нее глаза или какой у нее рот, когда она смеется. Теперь же, когда ему вообще не хотелось бы ее видеть, он смотрел на нее пристальнее, чем раньше, вздрагивал, когда она подходила к нему, и голос его прерывался, когда ему приходилось с ней разговаривать. Он чувствовал себя виноватым перед ней, и ему казалось грехом смотреть на нее и стоять с ней рядом.

И было бы совершенно против женского естества, если бы Султана этого не чувствовала. Что она знала? Что она могла понимать? Но пусть и ребенок, а Султана замечала, что никто, даже сам Трикэ, до сих пор не смотрел на нее так, как смотрел теперь, никто не вздрагивал, как это случалось с ним, ни у кого не прерывался голос и никто так упорно не старался как можно чаще быть рядом с ней.

Но сам Трикэ приходил в отчаяние, потому что видел, что все его усилия избегать Султану тщетны.

Начался рекрутский набор. Среди подмастерьев Бочьоакэ было четверо бедных парней, которым ничего не оставалось, как идти на военную службу. Волей или неволей, но они старались веселиться, хотя сердце обливается кровью, когда у тебя на глазах рыдают матери, сестры и вся остальная родня. Вместе со всеми рыдала и Мара: как-никак женщина она была жалостливая. Но как бы она рыдала, если бы ее сын был среди рекрутов?! Только сейчас почувствовала она, почувствовал и Трикэ, какое все-таки великое дело, когда кто-то печется о тебе, и пока Трикэ пребывал в подавленном состоянии, Мара высоко держала голову и легко носила отяжелевшее тело.

Все равно ни у кого не было такого сына, как у нее.

Что и говорить, Бочьоакэ заботился и о других, бегал по докторам, ходил к офицерам, к председателю рекрутского присутствия, но для ее сына он сделал больше всего.

— Как хорошо, что тебе больше нечего бояться! — говорила ему Султана.

— Это правда, — соглашался взволнованный Трикэ.

— Что ж, — добавляла Марта, — не каждому такое счастье, как Трикэ.

Видно, Трикэ был негодяем или сумасшедшим, потому что никакого счастья не чувствовал.

Вместе с рекрутским набором началась и вербовка.

Императорские власти насобирали от богатых парней денег и делили их между бедолагами, которые записывались в добровольцы, были среди них и старые солдаты, отслужившие уже свой срок и снова вступающие в армию, чтобы, если им повезет, вернуться с войны, поднакопив деньжонок.

Если рекрутский набор проходил при закрытых дверях, то вербовка совершалась на площади, перед толпой, не расходившейся с утра до самого вечера, чтобы поглазеть, кто вербует.

За столом, на котором стояли ящик с деньгами, бутылка вина и несколько стаканов, лежала книга для записей и куча солдатских шапок, сидел офицер, за спиной у него стоял знаменосец со знаменем и два вооруженных солдата — охрана знамени.

Перед столом стояли два капрала, которые за словом в карман не лезли, и маркитантка, разукрашенная лентами, разбитная бабенка, которая наполняла стаканы, расхваливала солдатскую жизнь и приглашала прохожих подойти поближе, пожать протянутую капралом руку, осушить стакан и получить казенную шапку с пригоршней денег в придачу.

Тот, кто пожимал руку или брался за шапку, считался завербованным и должен был выпить стакан вина, и хотел он того или нет, но попадал и в книгу, после чего ему отсчитывали сотню флоринов на расходы.

И не один был такой случай, когда у человека неожиданно для него самого оказывалась на голове солдатская шапка, и некому было даже пожаловаться, что его, дескать, нечистый попутал: барабанщик бил

в барабан, горнист трубил в горн, разворачивалось знамя и бедняге ничего не оставалось, как принять присягу.

Поэтому-то все жители были в страхе, матери крепко держали под руки сыновей, а жены тянули мужей за полы, когда после полудня вся вербовочная команда с музыкой и под развернутым знаменем прошла по улицам, чтобы подбодрить тех, кто и не думал являться на площадь.

Тяжело быть молодым человеком, видеть марширующих солдат и не зашагать вслед за ними.

Первыми шли маркитантки с бутылками, полными вина, за ними со свистом и улюлюканьем двигались рослые парни, завербованные вчера, за ними следовали два капрала, знаменосец и музыка, а дальше валила толпа, собранная на всех перекрестках. Нужно было быть чурбаном, чтобы не выбежать к калитке или не выглянуть в окно, когда знаешь, что такое еще не скоро увидишь.

Трикэ тоже бросился поглазеть, но не к калитке, потому что к ней ему было запрещено подходить, а к окну в большом зале, куда и сам Бочьоакэ заходил только в праздничные дни.

В зале было два окна, и Султана, увидев, что перед правым окном встал Трикэ, бросилась, чтобы лучше видеть, к левому.

Где же было место для Марты?

Чтобы не толкаться с дочерью, она подошла к правому окну и прислонилась к плечу Трикэ.

Что было делать парню? Ведь она разозлится, если он подастся в сторону. Впрочем, не так уж это и страшно.

— Я такая тяжелая? — тихо спросила Марта.

— Нет, — ответил он. — Только дочка увидит.

— А что она понимает? — фыркнула Марта и всем телом навалилась на Трикэ, вытягивая шею, чтобы лучше видеть шествие.

— Тебе не хочется пойти вместе с ними? — спросила она, спустя некоторое время.

— Избави бог!

— Смотри не забудь, что завтра вечером хозяина не будет дома. Я тебя жду!

Трикэ ничего не ответил. Да и что он мог сказать?! Не пойти — невозможно.

Ну и что такого, в конце-то концов?

Когда человек не знает, как поступить, он со многим мирится, ко многому приспосабливается, и на следующий день Трикэ, хотя так и горел от нетерпения, спокойно работал за столом вместе с другими подмастерьями.

Бочьоакэ, собиравшийся после полудня отправиться на ярмарку, не занимался раскроем, а отбирал висевшие на жердях кожухи, которые один из учеников уносил, чтобы сложить в ящик на повозке.

Марта с дочкой, как и всегда, работала за столиком в глубине комнаты.

Вдруг дверь распахнулась и в комнату ворвалась Персида, высокая, полная и красивая. Волосы у нее были растрепаны, платье смято, кое-где на нем виднелись пятна крови. Лицо у Персиды горело, а глаза светились диким огнем.

Все взоры сразу же устремились к ней, а Трикэ вскочил и шагнул ей навстречу. Ему хотелось схватить сестру и вытолкать вон. Он представлял, что произошло, но зачем выставять себя на позор? Что ей здесь нужно? Почему она не оставит его в покое?

— Трикэ,— обратилась Персида к брату, не обращая ни на кого внимания,— человек ты или не человек, брат ты мне или не брат, но подобного издевательства мы терпеть не можем! Ты меня связал с ним и должен доказать, что не забыл, о чем он тебе тогда говорил.

— Ты сама с ним связалась! — недовольно проворчал Трикэ.

— А ты помогал мне, Трикэ, ты же помогал!

Персида посмотрела вокруг, и ей стало нехорошо особенно при виде Бочьоакэ и Марты: придется им все объяснять, рассказывать, как было дело, убеждать, что она ни в чем не виновата.

— Я ведь тебе говорила,— начала Персида, успокаиваясь,— что в него снова вселился какой-то бес. Что-то его гложет, не знаю что, но гложет. По ночам он не спит, вечно ходит злой, часто напивается и снова взялся за карты. Все это я терпела, потому что — куда тут денешься. Но ведь и у меня есть и душа, и сердце, я же не могу до бесконечности закрывать на все глаза. Сегодня ночью оставила я его за картами с Биндером из Штайеранта, ткачом Францем и прасолом Лугошану, у которого была куча денег, потому что он направлялся в Цам покупать волов. Сегодня утром, когда я встала, они все еще сидели за картами,

молчаливые, уставшие, с осунувшимися, бледными лицами. Франц и особенно Лугошану выглядели совсем несчастными, потому что много проиграли и продолжали проигрывать. Таковы карты: ничего не поделаешь, если не повезет. Продолжать игру требовали Франц и Лугошану, надеясь отыграться. Я разволновалась, так мне стало их жалко, я-то видела, что не отыграться им, и знала, что карточное счастье не перейдет на их сторону. Большой грех — с помощью карт отбирать у людей деньги! Я понимаю, когда играют, чтобы провести время, понимаю, когда играют и сами не ведают — проиграют или выиграют. Но когда знаешь, что обязательно выиграешь — это подлость! Я подала Нацлу знак, чтобы они кончали игру. Он притворился, что не понял. Я помолчала немного, потерпела, но не могла же я оставить это дело, когда видела, что они сами не понимают, что творят.

«Нацл,— обратилась я к нему,— не лучше ли будет, если вы отложите карты и немножко отдохнете, поспите, а потом снова можете начать...» Сказала я это тихо, ласково, словно ребенку. А он? И не слышит, и не видит! Ну, думаю, ладно! — Персида еще раз поглядела вокруг.— Ты меня еще узнаешь! Я не спешу, не тороплюсь, но и на попятную тоже не иду. Если я знаю, что я права, тут уж меня ничем не собьешь. Что же мне оставалось делать? Только одно: отобрать у них карты да и сжечь. Зная, что несколько колод лежат в буфете, я потихоньку достала их оттуда и спрятала. Потом подошла к столу, собрала карты и бросила в печку. Ты же знаешь Нацла: когда он приходит в ярость, не вспыхивает, а начинает хохотать. Увидев, как я бросаю карты в огонь, он рассмеялся и полез в шкаф за другой колодой. Увидев, что карт на месте нет, он подошел и тихо сказал: «Не позорь меня. Люди проиграли и могут сказать, что все это я нарочно подстроил, чтобы не дать им возможности отыграться». «Мне все равно, что они скажут. Я знаю, что так лучше — и все!» «Дай мне карты,— говорит он мне,— а не дашь, я все здесь перебыю. Я здесь хозяин!» «Хозяин-то ты хозяин, но не мне и не моей воле!» Ну, ладно! — Персида перевела дух,— это нужно видеть собственными глазами, чтобы понять, почему нельзя жить с этим сумасшедшим. Я понимаю, когда человек в слепой ярости все бьет, колотит, крушит, уничтожает. Но если он в здравом уме и полном созна-

нии, как и мы теперь, только ради того, чтобы меня напугать, бьет кулаком по буфету, так что стекла разбиваются вдребезги?! Ты ведь знаешь, Трикэ, что меня не запугаешь! Поняв, что карт я ему не дам, он подошел к большому зеркалу и его разбил вдребезги. Ну, что с ним поделать? Он здоровый, как бык, одной мне его не унять, а все остальные только смеются, им, видишь ли, приятно видеть, что он творит.

— Дала бы ты этому негодяю карты,— воскликнула Марта,— и пусть себе играет с богом!

— Избави бог! — возразила Персида.— «Утихомирься, Нацл! — говорю я ему.— А то, хоть я и женщина, но отхлещу тебя по щекам на глазах у этих людей, а там будь что будет!»

— Плохо ты сделала,— опять вмешалась Марта.

— А что мне оставалось делать?! Все же лучше было самим подраться, чем позволить ему все переломать в доме. Как-никак я была не одна: Банди на моей стороне и всегда мне придет на помощь, да и остальные не будут глазеть, разинув рот, если мне придется совсем плохо. Поэтому я и бросилась, чтобы остановить его. А он все улыбается и говорит: «Не подходи, а то я не знаю, где остановлюсь, если начну. С меня довольно, я сыт по самое горло. Ты,— говорит,— наказание божье! На тебе проклятие: кто к тебе ни прикоснется, у того жизнь идет прахом. Вот смотри! — говорит он мне, показывая на Банди.— Только он за тебя и держится, этот выродок, этот ублюдок, которого даже отец знать не захотел. А другие все бросили тебя, и мать твоя, и брат. Я дал денег, чтобы он откупился от солдатчины, а он к тебе даже не взглянет...»

Трикэ вскочил, намереваясь тут же бежать.

— погоди,— остановила его Персида,— ведь ты еще всего не знаешь. Услышав эти слова, Банди, мой добрый мальчик, молча подскочил к нему и укусил за ухо. Я тоже подскочила и, что там было потом, уже не помню... Вот посмотри! — Персида стала засучивать рукава, показывая синяки на руках.— Полюбуйся! — И она без всякого стеснения приподняла подол, показывая кровоподтеки на икрах.— У меня все тело такое! Ладно, ничего! Поболит и перестанет. На живом человеке все заживет. Вот не буду с ним жить, все и пройдет. Но вот позор, на который он выставил меня, нужно смыть! Он должен знать, что ни ты, ни мама не

бросили меня, а если вы и не ходили ко мне, то только из-за него. Он теперь остался дома один и продолжает все крушить и ломать... Это урон, Трикэ, разочтение, но мне все равно, но вот позор нужно смыть. Ты должен пойти со мной.

Марта сделала знак, чтобы Трикэ никуда не ходил, и тот застыл на месте. Ему было стыдно, и он дорого бы дал, чтобы Султаны, этой невинной еще девочки, не было здесь, но не мог даже двинуться с места.

— А позор, который ты на нас навлекла? — заговорил он наконец. — Это правда, Персида, что ты приносишь несчастье всем, кто рядом с тобой. Твой грех, тебе и искупать его.

Персида стояла как каменное изваяние среди взиравших на нее с состраданием людей, когда на пороге появилась Мара.

Узнав о том, что произошло, она бросилась в корчму, а оттуда побежала вслед за Персидой.

Персида вышла из оцепенения. Мать всегда матерью и останется.

— Что, ты и теперь еще не сыта им по горло? — спросила Мара.

— Хватит с меня! — отвечала Персида. — Если бы он убил отца, то мой грех был искуплен.

— Брось его! — решительно сказала Мара. — Благодарю бога, что он избавляет тебя от него. А ты, Трикэ, смотри не вмешивайся в их дела. Слава богу, что хозяева у тебя хорошие люди.

Мара была вне себя, что не может наброситься с кулаками на этого проклятого немца, и в то же время чувствовала себя такой счастливой, какой не чувствовала еще ни разу в жизни, потому что дочь ее была наконец-то спасена, а сын стоял на правильном пути.

Но вот Персида не чувствовала себя счастливой, а Трикэ так и вовсе был несчастным.

Все разом совершенно неожиданно свалилось на его голову: хозяин собирался уезжать, хозяйка ждала его вечером к себе, Персида ушла недовольная, а Султана уже не смотрела на него, как раньше, а только упрекнула: «Почему ты не пошел с сестрой?» Трикэ чувствовал, что он связан по рукам и ногам, но продолжал вместе с другими подмастерьями молча работать за столом, потому что не с кем ему было поделиться своими думами.

После полудня он начал беспокоиться: ерзать на месте, задумываться. Когда в дом проникли звуки военной музыки, подмастерья и ученики повскакали с мест и бросились смотреть на вербовочную команду. Трикэ сидел, как прибитый гвоздями. Когда же музыка зазвучала совсем близко, он вдруг встал во весь рост, тряхнул головой и решительно двинулся к двери.

Никому и в голову не пришло, что Трикэ, освобожденный от солдатчины за такие большие деньги, побежит за вербовочной командой, чтобы надеть себе на голову солдатскую шапку. Боцьоакэ только взглянул на него удивленно, а Султана рассмеялась. Марта давно уже чувствовала, что Трикэ не по себе, и сейчас, заметив, каким суровым стало его лицо и как решительно он бросился к двери, сразу же сообразила, что он хочет сделать.

— Трикэ! Ты куда? Чего ты хочешь! Не пускайте его! — испуганно закричала она, бросаясь вслед за ним.

Боцьоакэ тоже рассмеялся. С ума он, что ли, сошел? Зачем гоняться за командой?

Трикэ остановился и, полуобернувшись, бросил им в лицо:

— Я сам себя выкуплю, чтобы никто меня не попрекал, будто меня купили за деньги! — И снова двинулся вперед тяжелыми, большими шагами.

Теперь дошло и до Боцьоакэ, и он тоже бросился за ним и стал кричать:

— Задержите его! Хватайте его!

Одна лишь Султана, до сих пор не понимавшая, что же происходит, растерянно стояла на крыльце и смотрела то на мать, бледную как смерть, то на Трикэ, высокого и широкоплечего, который рвался вперед, расшвыривая направо и налево подмастерьев, которые преграждали ему дорогу или хватали за руки, пытаясь остановить.

Выбежав на улицу, Трикэ бросился навстречу вербовочной команде, которая еще не дошла до дома Боцьоакэ.

— Стойте! — закричал он, поднимая обе руки вверх. — Я тоже с вами, если вы меня примете!

Толпа остановилась, музыка стихла, люди вздрогнули, словно их окатили холодной водой. В этом крике «стойте», в поднятых к небу руках было что-то такое, что все почувствовали: неспроста и не с легкой душой решил этот парень надеть солдатскую шапку. Вокруг

Трикэ мгновенно сгрудились люди, многие из которых знали и любили его.

— Ура! Ура! — закричало несколько человек, когда он схватил шапку и напялил ее себе на голову. — Ура! — закричала вся толпа, когда он обнял одного из капралов и схватил бутылку, чтобы выпить за здоровье всех. Весь городок мгновенно облетела весть, что Трикэ, сын Мары, доверенное лицо Бочьоакэ, старосты кожевников, несмотря на то, что был освобожден от солдатчины, завербовался сам. Уж очень серьезная причина должна была быть для этого, и народ повалил со всех сторон, чтобы взглянуть на парня.

Улица казалась слишком тесной для толпы, когда они двинулись дальше. Впереди всех мимо дома Бочьоакэ прошествовал Трикэ, сдвинув шапку набекрень, подняв бутылку вверх и пронзительно крича, как это делают парни во время танцев на свадьбе.

— До свидания после войны! — выкрикнул он и поклонился дому.

Но вскоре толпа вновь остановилась. Ее задержала Мара, выбежавшая навстречу вместе с дочкой, чтобы увести с собой сына.

Бедная женщина, она словно с неба упала, когда прибежали соседи и рассказали ей, что Трикэ завербовался в солдаты. Она ничего не понимала и никак не могла поверить, что может произойти нечто подобное. Она так долго ждала той минуты, когда снова увидит дочь у себя дома, и теперь, когда Персида окончательно решила бросить ненавистного Маре человека, когда ее сын прижился в доме Бочьоакэ и освободился от солдатчины, ей, матери, кажется, нечего было больше желать и можно было с облегчением перевести дух.

Как же она могла поверить в то, что именно теперь рушатся все ее планы?

Она расхохоталась, увидев, как перепугалась Персида, которая сразу же поняла, почему ее брат решился на это.

Просто все спятили с ума! Ведь императорская власть, получив отступные, уже не имела никакого права на Трикэ. Мара вновь засмеялась, когда Персида ей сказала, что Трикэ намеревается вернуть эти деньги обратно. Ее стала бить дрожь, когда она вообразила, что ее сын получит сразу такую сумму денег. Но она не верила, что императорская власть окажется такой

глупой, чтобы возвратить деньги, которые получила.

Так, не переставая смеяться, Мара перешла Муреш и еще звонче засмеялась, когда увидела наконец Трикэ в шапке набекрень. Ах, как она ему идет! Ах, что за парень! Нет такого второго на свете!

Трикэ содрогнулся, когда увидел мать, но потом его охватило такое чувство жалости, что он бросился к ней, обнял и стал целовать. Персида разрыдалась, заплакали и окружившие их люди при виде ее безутешных слез.

Трикэ разомкнул объятия, снова поднял вверх бутылку и со слезами на глазах опять начал выкрикивать веселые частушки, так что голос его разносился по всему городку.

— Музыка! Пусть играет музыка! — словно обезумевшая, закричала Мара и принялась бить в ладоши.

Нет, ни у кого нет такого сына, как у нее! Толпа двинулась дальше. Мара шла во главе толпы рядом с сыном, подпрыгивая словно в танце. Она во весь голос тоже выкрикивала частушки и хлопала в ладоши, увлекаемая тем же круговоротом, из которого не могла вытащить сына.

Один из капралов некоторое время шел почтительно рядом с Марой. Но потом и его затянул круговорот: обхватив Мару за талию, он пустился вместе с нею в пляс.

— Как жалко, что и я не могу пойти вместе с вами! — вздохнула Мара и стала потихоньку выбирать-ся из толпы.

Глава XX СЧАСТЬЕ ДОМА

— Перестань, доченька, дорогая. Что ни делается, все к лучшему. Каждому своя доля. Другие ошибались куда хуже, а все равно обзавелись своим домом. В конце-то концов, ты ведь жила с ним словно обвенчанная, и все знают, что ты ему была и верной, и заботливой женой, знают и то, сколько ты натерпелась от него. Такой женщине, как ты, только и выбирать себе достойного мужа.

Так говорила Мара, чтобы утешить дочь.

Было уже за полночь, но обе они, хотя и смертельно устали, никак не могли заснуть в своих постелях.

— Не нужно мне никакого мужа! — отвечала Персида. — Не могу я больше иметь мужа.

Понять эти слова Мара не могла, но и Персида не могла ей сказать, что другого мужа, кроме Нацла, иметь ей нельзя. Слишком тяжким был бы удар, если бы она призналась, что обвенчана с Нацлом.

— Глупости, — продолжала Мара, понимавшая все по-своему. — Да такая женщина, как ты, в любое время...

Испытывая неодолимое желание уговорить дочь, Мара не могла остановиться.

— Деньги, дорогая дочка, — рассуждала она, — деньги — вот великая сила. Они открывают все двери, обходят все законы. А у тебя есть деньги, достаточно денег, много денег.

— Знаешь, что, — продолжала Мара, слегка сожалея, что проговорила. — Я тебе скажу, потому что ты не ребенок и должна знать, как вести себя: я для вас потихоньку, помаленьку кое-что скопила и немало. Господь мне помог, и немного найдется в округе девиц с таким приданым, как у тебя.

Персида приподнялась в постели. Она знала, что у ее матери есть деньги! Но теперь ей бы хотелось посмотреть ей в лицо, потому что, судя по тону, каким говорила Мара, их должно было быть много, и Персида по ее лицу могла бы узнать сколько.

— Несколькими тысячами никого не удивишь, — сказала Персида.

— Не говори, дочка, о тысячах, — отвечала Мара, — считай десятками тысяч. Недаром я из сил выбивалась, недаром недоедала, недопивала. Что твое, то твое. Что Трикэ, то Трикэ. Что останется после меня, поделите между собой. Так ты и знай, только не говори никому. Ты у меня не обсевок в поле.

Персида молчала.

И напрасно: ведь сила денег так велика, что и Персида почувствовала себя совсем по-другому, когда слышала из уст матери, что обладает несколькими десятками тысяч, скопленными для нее и спрятанными так, как умеет прятать одна Мара.

Господи! Нацл тоже был бы поражен, узнай он об этом. Он бы заставил себя подчиниться старухе, постарался бы задобрить ее, привлечь на свою сторону. Даже старый Хубэр заговорил бы по-другому, если бы узнал, что его сын берет такое приданое.

Почему все-таки Нацл всегда такой хмурый и

неразговорчивый? Почему он такой раздражительный? Почему он пьет и играет в карты? Почему он недоволен своей судьбой? Потому что он привык жить в богатстве, а теперь живет бедно, лишившись всего, что имел раньше.

Персиде хотелось вскочить с постели и побежать к Нацлу, рассказать ему обо всем, упросить его, уговорить, успокоить. Ведь, кроме него, не было для Персиды другого мужчины на свете. Без семьи не может быть и жизни, а Персида только с ним и могла вообразить себе семейную жизнь.

Это должна понять и мать, и она поймет, если ей сказать, что они обвенчаны.

В этот миг Персида была готова рассказать матери обо всем, она даже считала себя обязанной это сделать, чтобы мать не питала напрасных надежд.

— Мама! — позвала она шепотом.

Мара спала.

— Мама! — повторила Персида погромче.

Мара забылась сном смертельно уставшего человека.

Персида испуганно вскочила с постели.

Она снова чувствовала себя одинокой, брошенной, беспомощной, и вдруг с неодолимой силой ее охватило желание бежать к Нацлу. Она не могла спать в чужом доме, когда у нее был свой. Что же делает Нацл один? И как она могла оставить его одного?

Персида стала лихорадочно одеваться, потом потихоньку вышла из дома и, словно привидение, побежала морозной ночью через замерзший Муреш прямо к Солонице на светящиеся окна корчмы.

Нацла не было, и куда он ушел, никто не знал. Корчма была оставлена на Банди, который, как верный пес, вскочил на ноги, увидев на пороге Персиду.

Но Персида даже не обратила на него внимания. Она почувствовала, что падает с огромной высоты, прямо с неба, в бездонную пропасть и все падает, падает.

В таком состоянии нашел ее Нацл, когда вернулся под хмельком домой.

— Ага! — злорадно произнес он. — Все-таки вернулась, барыня! Я ведь знал, что без меня ты не можешь жить: так уж написано нам на роду, что будем жить вместе, пока не съедим живьем друг друга.

Персида печально посмотрела на него, как мать смотрит на ребенка, сбившегося с пути.

Ну, о чем она могла говорить с этим человеком?
— Но это хорошо, что ты пришла! — бормотал Нацл, с размаху садясь на кровать. — А то и сапоги некому снять... Тащи! — приказал он, вытягивая ногу.

Персида привыкла снимать с него сапоги и чистить их от грязи. Нацл приучил ее к этому. Но никогда до сих пор он ей не приказывал это делать, и ей стало стыдно за него, за то, что он ее унижает.

Но что она могла поделать? Стиснув зубы, она все-таки стащила с него сапоги и мрачно посмотрела на него.

— И тебе не стыдно? До чего ты дошел?

— Нет, мне совсем не стыдно! А почему мне должно быть стыдно? Будь я слепой, я бы не стыдился, будь я глухой, я бы тоже не стыдился. Я такой, каким меня создал бог — так говорится и так говорю я сейчас. Ты разве видишь, что мне чего-то не хватает? Нет, я в здравом уме и твердой памяти. Это — несчастье, но тут уж ничего не поделаешь!

Что мог еще он сказать?

— Как ты мог оставить дом без присмотра? — спросила Персида, немного помолчав.

Нацл встал и посмотрел на нее. Было видно, что в душе у него идет какая-то борьба.

— Я его не бросил без присмотра, — горько усмехнулся он. — Я оставил здесь своего брата Банди. Да будет тебе известно, что он мой брат, родной брат, такой же сын моего отца, как и я. Вглядишься хорошенько в него и ты увидишь, что это так. Он мой брат. Вот откуда все они, несчастья!

Персида ничего не соображала.

— Околесицу ты несешь! — сказала она.

— Нет! — упорствовал Нацл. — Я немножко пьян, а не будь я пьян, то ничего бы тебе не сказал, но я отлично знаю, что я говорю: Банди, сын Регины, — мой брат. Я это вижу, я чувствую, что он мой брат, и я вспоминаю Регину... Ты меня понимаешь? Мой отец — человек добрый, но он стал злым, потому что не может ни забыть, ни простить ни меня, ни мать. У тебя добрая душа, Персида, кристальная душа, и зачем ты приняла на себя проклятие, которое пало на нашу голову?

Персида присмотрелась и, увидев разительное сходство между Банди и Хубэром, не сомневалась в том, что Нацл прав.

— Бедные мы, бедные, и ты, и я, и мы все! — воскликнула Персида, обнимая Нацла.— Лишь бы не догадался об этом Банди, ведь он так любит свою покойную мать. Ведь страшное дело может случиться!

— Не дай бог, если узнает,— я тоже так говорю. Но отец-то должен что-нибудь сделать,— ты меня понимаешь? — он ведь должен.

— Да! — согласилась Персида, и они стали держать совет, словно никогда в жизни и не ругались.

А Мара...

Всю ночь ей снился сын, и утром она проснулась тоже с мыслью о сыне. Мара никак не могла сообразить, что же все-таки произошло, что сделал Трикэ, почему он увлек ее за собой и она шла впереди толпы. Она вспоминала, что, только взглянув на него, поняла сразу же, что заставить его переменить решение невозможно, и принялась хлопать в ладоши. Все бы произошло совсем по-другому, если бы она не утешала себя тем, что ее дочь снова с нею.

Мара испуганно вскочила с постели, убедившись, что кровать Персиды пуста и что платье ее тоже исчезло.

В один миг ей все стало понятно.

— Проклятый немец! — воскликнула Мара.— Уж если они что-нибудь вбили себе в голову, переубедить их невозможно.

Мара с упрямым видом уселась на стул. Она не злилась и не расстраивалась, она просто решила не двигаться и ничего не делать, чтобы доказать, что и ее никто не может вывести из себя.

Как и всегда, когда она уже не знала, что же ей делать, Мара и сейчас продолжала твердо верить, что в конечном счете все получится так, как она думает, что ее дети могут провалиться в ямы, страдать, но они не могут исчезнуть и в конце концов снова вернуться к ней.

Поэтому она и рассмеялась с каким-то злобным удовлетворением, когда через несколько дней узнала, что Нацл снова поколотил Персиду.

Мара была очень довольна, хотя ей и хотелось выцарапать Нацлу глаза.

«Так ей и нужно,— думала она.— Скорей образумится».

Шли недели и месяцы, Персида со своим мужем жила все хуже и хуже, а Мара продолжала думать

все о том же: пусть Персида помучится, мученья ей только на пользу.

Точно так же, когда пришла весть, что началась война с итальянцами, Мара все время молила господ бога уберечь ее сына и вместе с тем испытывала нечто вроде радости, когда думала об испытаниях, которые должен был вынести Трикэ.

Но и в этом мире было нечто такое, что могло смягчить даже Мару.

Ближе к осени Мара узнала, что Персида опять находится в интересном положении.

Ей не хотелось в это верить, и она никак не могла решить, радоваться ей или огорчаться тому живому чувству, которое охватывало ее при одной только мысли, что такое возможно.

«Страшное несчастье!» — думала Мара и все-таки бежала к дочери и силком уводила ее к себе, как только узнавала, что Нацл начинает ее бить. Вся ее натура приходила в страшное возмущение при мысли, что может повториться то же самое, что и в прошлый раз.

А если не повторится, если господь будет милостив, то Персида окажется связанной до конца жизни с Нацлом, и Маре хотелось пойти к нему и сказать, что прощает его, хочет с ним помириться и дать за дочерью приданое, лишь бы они обвенчались... Но потом начинала думать, что время еще есть и следует подождать.

Так Мара ни на что и не решалась недели и месяцы подряд, пока повивальная бабка вновь не прислала за ней Талию.

— Она говорит, чтобы ты не беспокоилась: все будет хорошо! — успокаивала служанка.

Мара же, несмотря на это или, вернее, из-за этого, пришла в страшное волнение. Ей хотелось рвать на себе волосы и одежду. К корчме она шла не размашистым шагом, как в прошлый раз, а семенила, непрерывно повторяя: «Негодница! Негодяйка!» Ей давно бы нужно было сходить к дочери, и теперь она не могла простить себе, что она у нее не была.

«О, боже! — успокаивала Мара сама себя. — И этот младенец тоже от бога, а крещение и с него снимет грех».

Конечно, крещение освящает всех детишек, даже подобранных на обочине дороги.

Однако, добравшись до корчмы, Мара остановилась перед входом, словно перед неведомой опасностью.

— Немец дома? — спросила она Талию.

— Нету. Только темнеть начало, когда ушел, а возвращаться раньше первых петухов он никогда не возвращается.

И на этот раз Нацл не отказался от своих привычек. Ушел он недовольный, о чем-то мучительно размышляя. Он сам не знал, что же ему делать, и время провел в нетерпеливом ожидании.

Уже за полночь, когда он вернулся усталый и немножко пьяный, все было кончено и в спальне, освещенной лампадкой, стояла глубокая тишина.

Персида спала таким глубоким сном, что с трудом можно было заметить, что она дышит. Мара, сидевшая на постели Нацла, тоже спала.

Заметив Мару, Нацл остановился и на мгновение застыл. Потом ему захотелось уйти, убежать, скрыться, ему вдруг стало страшно, словно его ожидало тяжкое наказание. Но уйти он не мог: он чувствовал, что его словно приковали к земле.

В ночной тишине было слышно только тихое чмокание: это ребенок, вымытый, запеленутый и положенный, согласно обычаю, рядом с матерью, поднес ручонки ко рту и сосал кулачки.

У Нацла сжалось сердце, а сознание неожиданно прояснилось, словно он проспал всю ночь, а вина и в глаза не видел.

Там лежал ребенок, и это был его ребенок.

И зачем его дал господь бог? Чтобы его проклинать.

Нет, этот ребенок не должен жить! Он родился, чтобы умереть. Постоянно страдающая Персида, которую он часто бил, могла родить только жалкого ублюдка. Нацлу казалось, что он видит искалеченное, кривое тельце с безобразным лицом, подлинного урода, и его бросило в дрожь, когда он вспомнил о Регине.

А если, несмотря ни на что, ребенок останется жить?

Ужасное несчастье!

И все-таки...

«Господи! — стал молиться Нацл, и глаза его наполнились слезами. — Покарай меня, покарай безо всякой пощады, но оставь ребенка в живых, храни и опекай его. Пусть он будет слепой, уродливый, безобразный, лишь бы он был похож на человека, ведь все равно

это твой дар, все равно эта бедная женщина будет растить его для тебя».

Потом осторожно, на цыпочках, с замирающим сердцем Нацл приблизился к кровати, чтобы взглянуть на ребенка.

Что же он мог увидеть?

В конце концов, новорожденный всего лишь шевелящийся кусочек мяса с подслеповатыми глазками. Но Нацл в своей жизни не видел ничего более прекрасного, чем его ребенок, с очень подвижным, округлым, полным личиком и тонкими длинными пальчиками на руках.

Как бы ему хотелось развернуть ребенка, осмотреть все его тельце, потрогать руками и убедиться, что он цел и невредим, что жажда жизни, заставляющая его так усердно сосать кулачки, пронизывает все его существо.

— За что, господи, мне такое благо, ведь я не достоин его! — прошептал глубоко растроганный Нацл, не в силах удержаться от слез.

Персида открыла глаза. Полусонная, ничего не понимая, она смотрела широко открытыми глазами на Нацла.

— О, господи! — заговорил он по-румынски. — Прости меня, Персида, что я разбудил тебя, но я не мог удержаться! Никак не мог! — повторил он и глухо зарыдал.

Персида потянулась и схватила его за руку, словно испугалась, что он уйдет. Ей так хотелось не пускать его, удержать при себе.

— Поплачь, тебе станет легче, — сказала она. — Мальчик родился, и еще какой мальчик! Вот увидишь, что теперь все у нас пойдет по-другому!

— Как по-другому? — В голосе у Нацла прозвучала полная безнадежность. — Я, каким был, таким и останусь. Сколько раз меня мучила совесть? Сколько раз давал я себе клятву исправиться? Но как был никчемным человеком, таким на всю жизнь и останусь!

Персида посмотрела на него с ясной улыбкой.

Что ей было теперь до того, исправится он или нет!

Раньше, когда все ее помыслы, все чувства и заботы были направлены на Нацла, и только на него одного, возможно, она бы и не хотела, чтобы сын ее был похож на него и выводил ее из себя своими бесконечными требованиями. Но теперь она забыла о его

прегрешениях и видела таким, как знала всегда,— человеком с добрым сердцем.

Мара тоже проснулась. Но, увидев Нацла около кровати дочери, ей не пришло в голову бежать, как это бывало раньше, когда она представляла себе встречу с ним.

Заметив, что Нацл плачет, она совсем смягчилась.

— Нечего плакать,— сказала она.— Что было, то прошло. Персида мне говорила, она все рассказала, и я теперь все знаю. Возблагодарим бога, что он не позволил ребенку оказаться без роду, без племени.

Растроганный Нацл стоял перед Марой. Ему хотелось что-то ей ответить, броситься к ней и поцеловать руку. Но все это было ни к чему. Подняв глаза, Нацл посмотрел на нее так, словно между ними никогда не было и не могло быть никакой вражды.

— Бедная моя мама! — вздохнул только Нацл.

— Она тоже сюда придет! — заявила Мара. — Она должна прийти! Я сама пойду и скажу ей, позову ее, приведу: ведь он ей такой же внук, как и мне. Должна же и она порадоваться!

— Только, мама, не говори ей, что мы обвенчаны! — предупредила встревоженная Персида.

— Не нужно, ради бога! — стал просить и Нацл.— Ведь она не сможет не сказать отцу, а вы знаете, что он за человек!

Потом они стали держать совет, как себя вести, чтобы задобрить старого Хубэра, чтобы на крестины ребенка собрались все в добром согласии и семейной любви.

— Мы окрестим сына в вашей церкви,— предложил Нацл,— и попросим отца Кодряну, чтобы он приехал и окрестил его!

— Да, обязательно он! — радостно подхватила Мара.— Иначе и быть не может!

Персида покачала головой, и глаза ее наполнились слезами.

— Нет,— возразила она,— мы его окрестим в лютеранской церкви, пусть он примет ту же веру, что и старый Хубэр. А я попрошу,— продолжала она, заливаясь слезами,— чтобы мать Аеджидия была крестной. Я уже давно об этом думала.

Мара и Нацл не решились ей возражать. Вот так! Все равно Персида оказалась самой разумной. Маре было очень больно, что внук ее не будет православным,

но приходилось признать и ей, что только так и можно будет задобрить упрямого Хубэра.

Так за разговорами в добром семейном согласии и застал их рассвет, которого с таким нетерпением ожидала Хубэроайя.

Бедная женщина, она терпеть больше не могла!

Только она и знала, сколько ей пришлось вынести, сколько слез пролила она в одиночестве после редких встреч с сыном. Она всячески стремилась не выходить из повиновения мужу, но всему бывает предел: с того самого момента, когда она узнала, что пробил роковой час, она только и ждала, когда же муж уйдет в лавку, чтобы и самой уйти из дома.

Персида, и Нацл, и Мара открыли глаза от удивления, когда она появилась на пороге.

Было вполне естественно, что она пришла, никто и не сомневался, что она придет, и все удивились только тому, что она явилась как раз тогда, когда разговор шел о ней.

Мара первая встала и подошла к Хубэроайе. Не зная, что сказать, они молча обнялись, поцеловались и долго стояли, обнявшись, в то время как дети, затаив дыхание, смотрели на них.

Освободившись от объятий Мары, Хубэроайя мимо сына шагнула к Персиде и так же молча, но нежно и ласково поцеловала ее несколько раз.

После этого она посмотрела на ребенка и лишь потом взглянула на сына.

— Много у тебя огорчений,— глаза у Хубэроайи были полны слез,— но и счастье тебе дано большое! Я все знаю,— тут она повернулась к Персиде.— Знаю, как ты страдала, моя девочка. Господь бог все тебе зачтет и воздаст сторицей!

— Не нужно об этом,— вмешалась Мара.— Не будем говорить о том, что было, давайте лучше посмотрим в будущее.

Хубэроайя пристально посмотрела на нее.

— Тебе легко,— с горечью сказала она,— ведь ты живешь одна, можешь поступать так, как подсказывает тебе сердце, и никого не бояться. А мне страшно, когда я думаю о будущем.

Персида вздрогнула.

— Да не будет недобрым этот час, когда произнесла ты эти слова! — вздохнула Мара.— Нет ничего на этом свете печальнее, чем жизнь вдовы, которая одна несет

все тяготы жизни и плачет в одиночку, когда ей выпадет какая-нибудь радость. Что мне от того, что все мы собрались здесь, когда мой покойный муж, бедняжка, не может быть вместе с нами! — пожаловалась она, и слезы потекли у нее из глаз. — Что и говорить, сердца не облегчишь словами. Твой муж тоже ведь человек, он и христианин, и отец — так что смягчится и он в конце концов.

И хотя не от чистого сердца были сказаны эти слова, однако они были сказаны, и все вдруг почувствовали, что не может быть никакого доброго согласия, пока жив Хубэр.

Но это длилось только мгновение, а потом все стали обсуждать, что же делать, чтобы и Хубэр был вместе с ними.

Одна Хубэроайя не решалась чего-либо предложить.

— А что, если я пойду и попрошу у него прощения? — предложил Нацл.

— Упаси тебя бог! — воскликнула мать. — Достаточно ему только увидеть тебя, как он придет в ярость. Не знаю, что случилось, но за последнее время он становится все нестерпимей.

— Я все перенесу, — возразил Нацл. — А мне достаточно сказать одно слово, чтобы он смирился.

Персида поняла, о чем думает Нацл, и покачала головой.

— Нет, — сказала она, — ты только все испортишь. Мама, я вас очень прошу, — обратилась она к Хубэроайе, — сходите к матери Аеджидии и скажите, что я прошу у нее прощения и хотела бы с ней поговорить. Она придет, я знаю, что она придет. А в остальном положитесь на меня.

На этом и порешили.

Из корчмы Хубэроайя направилась прямо в монастырь, а после полудня мать Аеджидия, маленькая, с суровым лицом, просила у настоятельницы благословения на то, чтобы навестить свою духовную дочь.

Много времени утекло с тех пор, как они виделись в последний раз, и многое произошло за это время. Но тут причиной была невинная душа, и мать Аеджидия вошла в корчму у Солоницы, словно в церковь, легким шагом и благоговейно.

Точно так же вышла она через час, чтобы направиться к отцу Плебану, который безо всякого промедле-

ния зашагал к Хубэру, потому что речь шла о спасении трех заблудших душ.

— Я знаю, зачем ты пришел и чего тебе надо! — встретил его Хубэр. — Никто мне не говорил, но мне достаточно взглянуть на тебя, чтобы все узнать. Так вот: я ему все прощаю, ни в чем не упрекаю, я все забыл, будто ничего и не было. Одного только не могу простить: мой внук — незаконнорожденный ребенок.

— Именно об этом и идет речь, — спокойно подтвердил Плебан. — Это несчастье, что все так произошло, но мы должны избежать еще большей беды. Их нужно обвенчать и как можно быстрее, чтобы крестить ребенка как родившегося от законных родителей, которые живут семьей, получившей благословение от святой церкви.

— Все это обман! — закричал Хубэр. — Пятно все равно останется. Как страшно я был наказан за несколько легкомысленных мгновений! Мало того, что у меня есть незаконный ребенок, так я еще дожил до того, что у меня будет незаконный внук.

— А вот об этом мы не говорим! — несколько сурово возразил Плебан. — У тебя есть долг, и ты его должен выполнить до конца. Внебрачный ребенок не находит жалости ни у людей, ни у бога: ему нет места среди христиан и его участь — страдать на церковной паперти. Рожденный от тяжкого греха, он осужден на страшную кару. Ты не желаешь его знать, не хочешь его видеть!

— Но он все время попадается мне на дороге! — в отчаянии закричал Хубэр.

— Действительно невероятно, как он попал в дом Нацла, — проговорил Плебан. — Значит, ты не хочешь его знать, но больше всего не хочешь, чтобы он находился рядом с твоим внуком, который родился не от сожительства, а от брака, только не освященного.

— Так в чем же он виноват?

— Без воли божией даже волос не упадет с головы, — улыбнулся священник, покачав головой, — так как же может родиться человек без его воли?! Он был заранее виновен и за эту вину обречен был родиться во грехе, чтобы ему подобные пренебрегали им в этом мире. Наказан он и за твою вину, потому что ты зачал его, не желая жить по закону. Неси свою кару со смирением и будь долготерпелив, ибо вина твоя тебе будет прощена. Все минует тебя, а ты думай только об исполнении своего долга, потому что ребенок будет кре-

щен в твоей вере и будет принят в лоно единственной, всех спасающей церкви. А если родителей не обвенчать, то ребенок будет крещен в православии и навсегда будет потерян для нашей церкви.

Через это Хубэр уже никак не мог перешагнуть.

Речь уже шла не о том, хочет он или не хочет, может или не может. Он должен и хотеть, и мочь, и заставить сам себя. Чтобы заслужить прощение перед богом, чтобы святая церковь защитила его, он должен ей подчиняться.

Однако осталось еще одно дело: Плебан привел с собой Нацла, чтобы тот попросил прощения и отцовского благословения.

Хубэр был готов на все, что предлагал ему патер, хотя никак не мог примириться с мыслью, что его внук — незаконнорожденный, но когда он увидел сына, то вся кровь бросилась ему в голову и в глазах у него помутилось.

— Негодяй! Как ты смел навлечь на меня еще и этот позор? — закричал он в ярости и дважды ударил Нацла по щекам.

Плебан поднял руку:

— Терпи, сын мой. Ты это заслужил, а он твой отец.

Нацл склонил голову, потом сделал шаг вперед, взял ударившую его руку и поцеловал ее.

Посмотрев в глаза отцу, он вдруг почувствовал, что все это напрасно, потому что жить в мире с этим человеком просто невозможно.

— Бейте меня, гоните меня, поносите меня последними словами, — заговорил Нацл, — только отнеситесь по-отечески к моему сыну, который родился вовсе не от незаконного сожительства, как вы думаете.

— Как так? — разом воскликнули и Плебан, и Хубэр.

Нацл гордо поднял голову:

— Персида не такая женщина, которая могла бы жить в незаконном браке. Она убежала со мной, потому что боялась оставить меня одного в том отчаянном состоянии, в каком я находился. Но она скорее умерла бы, чем пошла со мной, если бы не нашлось священника, который мог бы нас повенчать. Мы обвенчаны!

— Как? Втайне? Без согласия родителей? — воскликнул патер.

— С согласия матери! — через силу пробормотал Нацл. — Согласия отца я не мог попросить: мы с ним были в ссоре.

— Если это так, — Плебан обратился к Хубэру, — то брак их освящен и ребенок законный. Но их супружество должно получить благословение двух церквей.

Хубэр никак не мог опомниться. Он чувствовал, как его душе стало легче, но простить Нацлу женитьбу без отцовского разрешения он не мог.

— Да будет так! — наконец произнес он. — Да благословит господь бог их обоих, но ребенок будет наш, только наш.

— Да, отец! — подтвердил Нацл, и оба, отец и сын, застыли в каких-то напряженных позах.

Отец Плебан ожидал, что они подадут друг другу руки, обнимутся, поцелуются, показав тем самым, что они помирились. Но Нацл не решался приблизиться к отцу, а Хубэр не мог посмотреть в глаза сыну.

— Я прошу тебя, отец, — сделав над собой усилие, проговорил Нацл, — если ты можешь, приди, посмотри на ребенка.

Хубэр поднял глаза. Отказать он не мог, но и пойти к сыну ему было очень трудно.

— Я приду, — проговорил он. — Да, я приду! Но знай, что я приду не к тебе, а к той женщине, которая слишком хороша для такого негодяя, как ты.

Нацл покорно склонил голову. На этот раз он думал так же, как и отец, и не сомневался, что Персиде удастся смягчить сердце старика.

— Я приду завтра утром! — подтвердил Хубэр и повернулся к отцу Плебану. — Сегодня уже слишком поздно, и мне еще следует кое о чем подумать.

Вечером Хубэр разговаривал с женой, которая была счастлива, видя, что муж ее смягчился, и стала еще более счастливой, когда он ей сообщил, что Нацл и Персида обвенчаны.

— Она женщина очень умная и порядочная, — в свою очередь, сообщила она.

— Ну и Нацл не плохой парень, — расчувствовался Хубэр. — Так уж случилось, что он не знал, что делать. Это я виноват.

Хубэроайя пристально поглядела в глаза мужа, затуманившиеся слезой. Она бы никогда не поверила, что он может сделать такое признание, и готова была пасть на колени перед ним и целовать его руки.

— Бедная женщина! — продолжал он. — Сколько она перестрадала, чего только не вытерпела! Я даже не могу поверить, что женщина, будучи обвенчанной, может прожить несколько лет не говоря об этом. Завтра — праздник, и мы с тобой пойдем вдвоем, пусть все нас видят, пусть все узнают правду.

Так они и сделали.

Не было у Хубэра в жизни дня более значительного, чем этот. Он готовился так, словно собирался идти к причастию, и все никак не мог собраться.

Подарок новорожденному. Знак признательности снохе.

Хубэр открыл шкаф и вынул из железного сундучка десять, потом двадцать пять и, наконец, все золотые, которые там были, больше чем на триста флоринов, а также шкатулку со столовым серебром.

— Отдадим им, а то у нас лежат без толку.

— Отдадим, — согласилась Хубэроая с довольной улыбкой.

Точно так же, словно большого праздника, ожидали этот день Нацл и Персида.

Но как видно, не может в этом мире быть совершенно безоблачного дня.

Мара была довольна, но сердце ее не радовалось: слишком дорог был ей этот ребенок, чтобы можно было примириться с мыслью, что он станет лютеранином. Казалось, что ей было бы приятнее, если бы он остался некрещеным. Она только и твердила: «Ребенок ваш, делайте, что хотите!»

К тому же был еще Банди, который смотрел на ребенка Персиды словно на новое солнце, взошедшее на небе. В его голове никак не укладывалось, что Хубэр будет прикасаться к этому ребенку. Для него в этом мире не было никого ненавистнее Хубэра, от которого в страхе шарахалась его бедная покойная мать, который выгнал родного сына и столько горя причинил Персиде. Когда он узнал, что должен явиться Хубэр, ему захотелось убежать из дома. Нет, он никогда бы не поверил, что Персида может опуститься до того, что станет разговаривать с таким человеком, как Хубэр, и теперь, когда он видел, что она ждет его, для него на всем белом свете словно не осталось ничего святого. Он хотел бы бежать куда глаза глядят, но не мог и сидел мрачный, забившись в угол, не в силах сдвинуться с места.

Хубэр и Хубэроайя прошли мимо, даже не заметив его. Прекрасным и тяжелым было то мгновение, когда они вошли к Персиде. Жаль, что в это время там не было Мары.

Нацл, скромно потупившись, стоял в изголовье кровати. Когда родители вошли в комнату, он слегка отступил в сторону. Персида же их встречала с улыбающимся лицом.

Хубэр, хотя и чувствовал себя немного стесненно, будучи человеком опытным, знал, что нужно делать.

Он подошел к Персиде и поцеловал ее в лоб.

— Прости, дочь наша, все огорчения, которые мы тебе причинили, и прими уверение в нашей отеческой любви,— обратился он к Персиде, глядя ей прямо в глаза.

— Мы недостойны ее,— отвечала она, целуя ему руку,— но вот ребенок...

Хубэр раскрыл кошель и высыпал золотые на внука.

— Да сопутствует ему изобилие и благословение! — Тут Хубэр наклонился, чтобы поцеловать ребенка.

Хубэроайя вручила Персиде шкатулку с серебряными приборами. Хубэр обнял и сына, а потом они проследовали дальше, словно люди, которые любят друг друга, но давно не виделись. Хубэр был настолько очарован своей снохой, что решил немедленно отправиться к Маре и просить ее прийти, чтобы они все вместе провели вечер. Он был так очарован ею, что тут же решил, что после дня святого Георгия Нацл бросит корчму и вернется домой.

Пока Хубэр с женой были у Персиды, Банди в ярости метался по корчме. Ему казалось, что жизни его наступил конец, и он готов был наброситься, вцепиться в шею и убить Хубэра, который встал между ним и единственными на всем белом свете близкими ему людьми.

Когда Хубэр вышел, Банди, похожий скорее на сумасшедшего, чем на нормального человека, встал перед ним и, не скрывая своей ненависти, посмотрел ему прямо в лицо, готовый в него вцепиться.

Хубэр вздрогнул, ему стало страшно. Банди чуть посторонился, и мимо него прошла Хубэроайя, потом он шагнул в сторону и пропустил Хубэра.

«Господи, что же мне делать?» — подумал Хубэр, миновав парня.

— Сходи ты одна к Маре,— обратился он к жене.—

Скажи ей, что я тоже приглашаю, что мы приглашаем ее вместе. А мне нужно сходить к отцу Плебану. Нужно незамедлительно, сейчас же.

Глава XXI МИР И ПОКОЙ

«О, господи,— подумала Персида,— сколько времени я не была в церкви!»

Новорожденный вновь собрал вокруг себя этих разбежавшихся в разные стороны людей, но когда Персида смотрела каждому из них в глаза, то ясно видела, что мир не проник еще в их души и что всем им еще предстоит пройти через тяжкие испытания.

К ней они все подходили почтительно и с любовью. Каждый из них считал ее выше себя. Все они слушались ее, и она могла бы всеми ими повелевать по своему разумению. Но между собою все они оставались врагами, и Персида боялась, что эта вражда в любой миг может выплеснуться наружу.

Одна лишь мать Аеджидия была счастлива до глубины души. Столько времени она считала Персиду окончательно потерянной для себя, и теперь, увидя ее еще более рассудительной, чем прежде, вспылала за нее гордостью и приходила каждый день повидаться, посидеть с ней или помочь.

Но и у матери Аеджидии были свои горести: как только являлась Мара, чтобы навестить дочь и внука, маленькая монахиня тут же уходила из дома. Ей не очень нравилось, что Мара всячески давала почувствовать, что Персида ее дочка. Но был еще и вопрос о крестинах.

Хубэр хотел окрестить ребенка как можно скорее в доме его родителей. Персида же предлагала окрестить его позже, когда она сама сможет пойти в церковь. Мара поддерживала дочку и, не стесняясь, выражала желание, чтобы ребенка крестил тот же священник, который венчал и его родителей. Всякий раз, когда об этом заходила речь, мать Аеджидию бросало в дрожь, она с тревогой начинала заглядывать в глаза Персиде и в конце концов уходила.

Так же беспокойно, как и мать Аеджидия, чувствовала себя и Хубэроайя. Бедная женщина готова была на все, готова была на любые жертвы, только бы все

было хорошо и не оказалась бы недовольной Персида. Но ее муж никогда не был таким возбужденным, как теперь, и она, видя, как он встревожен, сама не знала покоя.

Так как же Нацл мог чувствовать себя счастливым?

Ребенок был ему дорог, как свет собственных очей, но часто его охватывал страх: не слишком ли тяжкий груз взвалил он себе на плечи.

Беззаботная жизнь миновала. Целый день Нацл был на ногах, бегал то туда, то сюда, бранился со слугами, говорил с посетителями, то в общем, то в чистом зале, и только теперь стал понимать, какова была жизнь Персиды, когда он беседовал с приятелями, прогуливался или убивал время за картами. И все-таки он все время был рядом с женой, постоянно забегал к ней, желал узнать, не хочет ли она чего-нибудь, и если ей не нужна была его помощь, нельзя ли чем-нибудь ее побаловать?

Персида же чувствовала себя порой так, будто она перестает или уже перестала быть сама собой, будто она уже не жена Нацла, а только мать своего ребенка. С тех пор, как появился ребенок, она не замечала Нацла, не обращала на него никакого внимания, и постепенно все изменилось: если раньше служанкой была Персида, то теперь Нацл стал ее слугой. Достаточно было одного ее движения, чтобы он бросил всех и бежал к ней, потому что никто не мог лучше угодить ей, чем он.

Однако все это произошло постепенно и как бы само собой. Нацл настолько привык к беготне и повседневым хлопотам, что, наверное, почувствовал бы себя не в своей тарелке, если бы их не было. Однако напряженные отношения между отцом и тещей и в особенности та душевная тревога, которую он улавливал в беспокойно бегающих глазах отца: словно на его голову свалилась какая-то огромная беда, заставляли его жить в непрерывном волнении и чувствовать себя несчастным.

А на Банди, в конечном счете, никто не обращал внимания. Для него прошли те счастливые времена, когда целыми днями слышался голос Персиды: «Банди, сюда! Банди, сходи! Банди, сбегай! Банди, сделай!» Для него не было никакого дела в этом мире, он был полностью предоставлен сам себе, и вся жизнь его лишилась смысла. С тех пор, как родился ребенок и в

доме побывал Хубэр, он оказался лишним. О нем все забыли, отмахнулись от него, как от ничтожнейшего существа, оставили его совсем одного на всем белом свете.

Так обстояли дела, когда наконец-то наступил день крестин, который назначила Персида.

Такого еще не случалось, чтобы монахиня была крестной матерью, но мать Аеджидия приложила все усилия, чтобы получить на это благословение. Поэтому церковь была полна народу, который собрался поглазеть на необычные крестины и на Персиду, которая сразу же привлекла к себе все сердца.

Одетая в черное кашемировое платье, подарок свекра, высокая и стройная, круглощекая, только более бледная, чем всегда, она шла медленно, благоговейно приближаясь к алтарю. В этот момент она казалась видением, а не живым существом из плоти и крови, и многие бухнулись на колени, когда она преклонила их, чтобы возблагодарить бога за то, что он дал ей силы пройти через тяжкие испытания.

Во веки веков неисповедимы пути судьбы!

Стоя на коленях и склонив голову, она видела мысленным взором саму себя, капризную девчонку, которая стоит перед окном, разбитым случайным порывом ветра, видела себя, распахивающую в детском нетерпении другое окно, видела, как она переходит улицу напротив мясной лавки; все события, определившие ее жизнь, проходили в ее памяти, словно сон, но только сон, заранее замысленный по определенному плану. Вспоминая все, Персида вдруг ощутила, что цепь тяжелых испытаний далеко еще не окончена, и еще ниже опустила голову.

«Что бы ни случилось, господи,— думала она,— будь к нам справедлив, а его возьми под свою защиту, ибо ты его желал, тебе он принадлежит, для тебя я его буду растить».

Никто не подозревал, что чувствует и о чем думает Персида, но при виде ее все испытывали благоговение, все, кроме Мары, ее матери, которая в праздничном платье, вызывающе стояла при входе в кирку.

Мара подчинилась, но не примирилась, и порой ей хотелось броситься в церковь, схватить ребенка и унести с собой. Ей казалось, будто дитя это забрали у нее, оторвали вместе с сердцем и бросили в глубокую про-

пасть, в огонь языческий — только и видела она своего внука.

Когда в полном облачении появился отец Плебан, чтобы приступить к столь необычным крестинам, Мара сделала шаг вперед и стала медленно продвигаться к алтарю, постепенно смягчаясь и обретая душевный покой.

Когда священник стал поливать на голову ребенку святую воду, смертельный холод почувствовала она во всем теле и глаза ее наполнились слезами.

Теперь он стал католиком, ее внучек, самый любимый среди всех людей, стал католиком.

— Красиво! — сказала Мара, оборачиваясь к Персиде. — И у них красивые крестины! Что же, все мы люди, все крещеные, православные христиане, у всех у нас один бог.

— Мама моя, дорогая! — обняла ее Персида. — Если бы все люди были такие, как ты, на земле было бы одно счастье!

И Мара была такой счастливой, что облобызала и мать Аеджидию, и Хубэроайю, и Хубэра, который и в этот святой миг не улыбнулся, и готова была обнять всех, кто сейчас был в церкви.

— Вы теперь пойдете домой, — торопливо заговорила она, — я тоже пойду, только мне еще нужно кое-куда забежать.

Нужно, обязательно нужно!

Как же это так?! Хубэр подарил ребенку целую пригоршню золотых, Хубэроайя одарила пятью тысячами флоринов, не может же она, Мара, отстать от них. И у нее есть деньги! И она должна показать, что они у нее есть, что она нисколько не хуже этих Хубэров и может и с ними потягаться!

Торопясь домой, Мара была полна решимости непременно дать Персиде приданое. Теперь самое подходящее время: пусть Хубэр видит, что Персида никакая не Золушка, пусть все знают, что и сын Хубэра ничуть не богаче ее дочери. Да, все это приданое Персиды, для нее она его собирала, и теперь настало время его отдать.

Но не слишком ли это будет, если все деньги разом взять и отдать?!

Она собирала их и на мосту, и в лесу, пускала их в рост, и вот, мало-помалу, потихоньку-полегоньку, накопила более тридцати тысяч флоринов.

Хватит, если дать тридцать, двадцать пять, ну двадцать тысяч. Остальные все равно будут принадлежать Персиде, только надежнее будут спрятаны.

В конце концов Мара решила дать десять тысяч: все равно это было гораздо больше, чем дала Хубэро-айя. А может, и этого много... и Маре захотелось вернуться с дороги.

Мара решила вручить деньги на людях, как это обычно и делалось. Но Хубэр надеялся, что с этого дня сноха перейдет жить в его дом, а потому обставил крестины так, будто это была свадьба, на которую в честь снохи были приглашены все друзья и знакомые, все заметные в городе люди, которых Мара несколько стеснялась. Увидев столько народу и таких уважаемых людей, Мара стала сожалеть, что взяла с собой мало денег.

Поэтому она отозвала в сторону Нацла.

— Послушай, я тоже хочу сделать ребенку подарок. Немного — это часть Персидиногo приданого, — восемь тысяч флоринов. Остальные я вам тоже отдам, — заверила она. — А эти — на крестины.

Нацлу было известно, что у Персиды есть приданое. Ему об этом говорила сама Персида. Он знал, что приданое это большое. Но сейчас, когда он увидел деньги в дрожащей руке Мары, он даже несколько опешил: сколько же должно быть денег, если Мара решилась отделить от них эту сумму.

— Нет, — Нацл отступил немного назад, — прошу вас, не давайте нам этих денег. Необходимости в них сейчас нет, а у вас они сохранятся куда лучше, чем у нас. Нам достаточно знать, что они есть. Дай бог, будет отец себя чувствовать, как сейчас, нам на все хватит, а если нет, — тут Нацл поцеловал Маре руку, — то ведь у нас с вами не такие отношения, как раньше.

— Да, да! — закивала Мара. — Где им храниться лучше, чем у меня? Но знайте, что у вас есть деньги, и не только эти, — все вам принадлежит.

Мара никак не могла удержаться, так ей хотелось рассказать всем и каждому в отдельности, на ухо, что нет ни у кого такого зятя, как у нее, который отказался от восьми тысяч флоринов, составляющих лишь часть приданого его супруги.

Люди уже не смотрели на Мару как когда-то. И не только потому, что деньги поднимают человека в собственных глазах и в глазах окружающих, но и потому

еще, что скопленные деньги свидетельствуют о человеческих достоинствах. Все собравшиеся за столом у Хубэра прекрасно понимали, почему Мара сидит на стуле словно в кресле и говорит медленно и с достоинством. Даже сам Хубэр, который тоже сколотил порядочный капиталец, смотрел на нее с некоторым восхищением: как-никак Мара была всего лишь одинокой женщиной.

Персида не сводила глаз с матери, вновь и вновь вглядывалась в нее. Она прекрасно понимала свою мать, и ей так хотелось бы остаться одной и выплакаться. Слишком уж все складывалось хорошо, хорошо сверх всяких ожиданий. И совершенно невозможно, чтобы все так продолжалось и дальше, и Персида начинала переводить свой недоверчивый взор с одного гостя на другого, как бы пытаясь угадать, откуда может нагряться беда.

Нацл, который стал ей теперь таким дорогим, уже не был таким веселым, каким она знавала его когда-то. Кто знает, может быть, он уже никогда в жизни таким не будет: уходят годы, приходят заботы, увеличиваются тяготы жизни, меньше становится смеха.

Нацл был какой-то скованный, задумчивый, словно не верил, что все так и есть, как видят его собственные глаза, а потому и радоваться не решался.

Хубэроайя совсем потеряла голову в заботах о гостях, собравшихся за столом, и в перебранках с теми, кто остался во дворе. Но видно было, что, как только она входит в дом, взор ее тут же с какой-то опаской обращается на мужа. Никто его не знал лучше, чем она, а она прекрасно видела, что он ни с чем не примирился.

Довольной, веселой и по-человечески счастливой была одна Мара, которая забыла обо всем и полностью растворилась в данном мгновении. Но именно от нее и исходило то омрачение сердец, которое испытывали другие.

Конечно, Мара не могла не вспоминать о тех, кто сейчас не мог радоваться вместе с нею. Но если Мару это приводило в умиление, то Хубэроайя только мрачнела, вспоминая горечь, охватившую ее, когда она произнесла те слова, за которые ее попрекнула Мара. Страшное это дело — желать кому-нибудь смерти, и бедной женщине казалось, что все знают об этих словах и все ее упрекают.

Не мог радоваться вместе с Марой и Трикэ, и когда она вспомнила о нем, то Персида вся залилась краской. О Трикэ вовсе нехорошо было вспоминать именно сейчас, когда все собравшиеся только и думали о том, как много у Мары денег. Хубэру тоже было стыдно, что у его снохи есть брат, немытый и нечесанный парень, похожий на простого слугу, который вместе с разной голытьбой завербовался в солдаты. Ну как это вязалось? Мать как Мара, дочь как Персида, а сын как Трикэ! В этот миг даже Маре стало не по себе, даже она испытала укол совести.

День был прекрасным, но он не кончился общим благорасположением, потому что при расставании сердца у всех оказались скорее замкнутыми, чем открытыми.

И на то, что они раскроются в скором времени, не было никакой надежды.

Через несколько дней Мара получила весточку от своего Трикэ. Его ранило в бедро осколком гранаты, и он теперь лежал в госпитале в Вероне.

«Так я и чувствовала, — думала Мара, — но виновата во всем одна только я».

Рыдая и жалуясь, бегала Мара из Радны в Липову, а из Липовы в Радну. С тех пор, как она уверилась, что дочь ее устроена, она думала только о сыне и вовсе не думала о том, что ее страдания и в сравнение не идут с тем, что происходило в доме Персиды.

У Хубэра были свои слова, чтобы выражать недовольство, но он никому не мог их сказать, а должен был изыскивать предлоги, чтобы излить свой гнев.

Извечное взаимное непонимание.

Он вбил себе в голову, что после дня святого Георгия он переведет лавку на Нацла, а сам уедет к себе на родину, в Вену.

— Вы будете жить лучше без меня, чем со мной, — объяснял он жене.

Для Хубэроайи это было все равно что удар кинжалом прямо в сердце. Что она могла возразить ему, как уверить его, что и она сама, и все остальные любят его?!

Ясно было одно, что Нацл не может принять лавку, потому что не имеет звания мастера. Тщетно суетился Оанча, потому что Бочьоакэ, раздосадованный Трикэ, от которого он получил назад тысячу семьсот флоринов, и подогреваемый все время своей супругой, твердо

решил не принимать в цех Нацла, который в назначенный срок не произвел мастерской разделки быка и два года подряд проболтался неведомо где без всякого толка.

Так шли день за днем, и по мере того, как они утекали, сердца ожесточались все больше и больше.

На масленицу, когда Трикэ наконец-то вернулся домой, одна только Мара ему и радовалась. А Персида даже хотела просить его, чтобы он не попадался на глаза Хубэру. Худшего времени для возвращения он не мог выбрать.

Но тут уж ничего не поделаешь.

Слегка припадающий на одну ногу, чтобы никогда не забывать о том, что ему пришлось пережить, Трикэ выглядел молодцом, что же до кожевенного дела, так тут он просто мастер — так говорила о нем Мара.

Господи, как может измениться человек, постраствовав по белу свету! Мало того, что Трикэ был пострижен, причесан и гладко выбрит, усики у него были подкручены, широкий пояс туго облегал его стан; шапка, сдвинутая набекрень, ловко сидела на голове, и, вообще, тщетно было бы искать в нем прежнего вялого простака, из которого каждый мог вить веревки.

— Боцьоакэ глуп,— ответил он Персиде, когда та рассказала ему о недовольстве хозяина.— Таким он был, таким и останется на всю жизнь. Я с ним поговорю, и, вот увидишь, все пойдет как по маслу.

С легкой душой, словно ничего и не было, отправился он к Боцьоакэ, к Боцьоакэ, но не к его жене.

Боцьоакэ был очень сердит, но увидев, что Трикэ пришел и пришел с улыбкой, увидев, что он прихрамывает, а в остальном молодец молодцом, ему ничего не оставалось, как только развести руками.

— Я знаю, что ты сердишься на меня,— начал Трикэ,— но если получше разобраться, то сердиться не на что, а ты сердишься. Знаешь, поколоти меня, отвесь мне пару оплеух, словно я твой сын, ведь ты и вправду мне был вместо отца, а потом пусть все будет по-прежнему!

Боцьоакэ покачал головой. Хоть и тяжело ему было отказывать, но иначе он не мог.

— Что было, то прошло! — словно нехотя заговорил он.— Я тебе говорил и не один раз говорил, чтобы ты слушался хозяйку. Что же делать, если ты не захотел меня понять.

Трикэ пристально и с какой-то жалостью посмотрел на Бочьоакэ и взял его за руку:

— Если твоя супруга — хозяин в доме, пойдем к ней.

— В доме она не хозяин, — ответил Бочьоакэ, — но мир в доме зависит от нее, а его-то я ни на что не променяю!

— Пойдем к ней! — повторил Трикэ.

Марта и Султана так и подскочили, когда на пороге чистой половины, где они сидели за работой у окна, появился Трикэ. Очень неожиданным было появление этого человека, который заставил их так переволноваться.

— Хозяин говорит, — непринужденно начал Трикэ, — что не может снова взять меня подмастерьем, потому что вы этого не хотите. Если бы у меня была жена, я бы не спрашивал у нее разрешения, — добавил он, посмотрев на Марту сверху вниз. — Но раз уж хозяин требует, а времени ждать у меня нет, то я и спрашиваю прямо, по-солдатски, возьмете меня или нет.

Султана испуганно задрожала: это был тот же страшный человек, который швырял людей направо и налево, прокладывая себе путь к вербовочной команде. Она его боялась, но и убежать тоже бы не смогла.

Марта смутилась. Она прекрасно поняла Трикэ, но не подала и виду.

— По тому, как ты ушел и как теперь задаешь вопрос, — ехидно начала она, — это мы должны спросить хозяина, можно или нельзя жить нам в этом доме.

Бочьоакэ, который больше всего на свете ценил мир и покой, хотелось потихоньку уйти и оставить их одних.

— Знаю, что ты не можешь слова произнести, сказать, чтобы не зацепить языком, — обратился он к Марте. — Что ты имеешь против Трикэ? Скажи мне, чтобы я тоже знал!

— Ничего она не имеет! — сказал Трикэ. — Что имела, то имела, а больше ничего не имеет и иметь не будет. Я остаюсь и все тут! Бабу слушаться — не знать, где очутишься. Вот увидишь, как все у нас будет ладно. Действительно так потом оно и было.

И дело с Нацлом тоже было решено.

Хотя Трикэ и не совершал путешествия, Бочьоакэ хотел произвести его в мастера.

— Прикрой один глаз, — уговаривал его Оанча, который никак не мог успокоиться из-за Нацла. — Потом

и мы закроем один глаз. Мы знаем, что делаем, а другим до этого дела нет.

Примерно так рассуждал и Бочьоакэ, и уже на пасху оба шурина были произведены в мастера.

Теперь Хубэру нечем было быть недовольным, да он про это и не говорил.

На третий день пасхи Бочьоакэ закатил обед в честь новых мастеров. Никто не мог оспаривать у него это право, ведь он был старостой, к тому же имел дочь на выданье.

Хубэр не только явился сам со своей женой, но и привел с собой отца Плебана, потому что Бочьоакэ со своей стороны пригласил отца протопопа. В первый раз с тех пор, как он поселился в Липове, Хубэр чувствовал себя не как чужой среди чужих, а словно у себя дома в окружении родственников.

Какие достойные люди!

Но именно это и вынуждало Хубэра сидеть как на углях.

Ему хотелось плакать, когда он смотрел на ясное лицо Мары. Она чувствовала себя так, словно это она собрала сюда всех людей, словно это ее дети заставили всех объединиться, а потому передвигалась, будто порхала, и разговаривала, гордо подняв голову, не спеша и уверенно, как императрица.

А Хубэр каждый раз вздрагивал, когда кто-нибудь смотрел на него. Ему хотелось спрятаться, забиться куда-нибудь в угол.

Что бы сказали все эти люди, если бы узнали, какая тяжесть гнетет его?

Раньше ему это было бы безразлично, но теперь ему хотелось, чтобы его ценили так же, как он ценил других.

Хубэру достаточно было взглянуть в большие глаза Персиды, чтобы убедиться, что ей все известно. Он не мог понять, как и от кого она узнала, но ведь не случайно же она держит Банди в своем доме, и поэтому ему было так тяжело в ее присутствии.

Раньше превыше всех людей Хубэр ставил отца Плебана, но постепенно все изменилось и выше всех он стал ценить Персиду.

— Уезжай! — советовал ему патер, видя, что Хубэр не находит себе места. — Поезжай и живи там тихо и уединенно, а на что жить у тебя есть.

Так Хубэр и хотел сделать. Но теперь, когда все

прояснилось, когда осталось только перевести Нацла в свой дом и передать ему лавку, он перестал спать по ночам и днем тоже не находил покоя. Как он мог уехать, когда жена заливалась горькими слезами, как только заходила речь об его отъезде? Как он мог покинуть этих людей, когда вдруг почувствовал себя среди них так хорошо? Как мог он уехать, не сделав ничего для Банди?

Персида, которая держала Банди в своем доме, вовсе не разделяла мнения священника. Она считала, что Хубэр должен обязательно поговорить с ней.

А когда двум людям есть что сказать друг другу, они об этом знают, не вымолвив даже слова.

Персида видела, что Хубэр хочет с ней поговорить, и напрасно ее уговаривал Нацл не вмешиваться, чувство жалости и желание покоя толкали ее на то, чтобы прояснить и это дело.

Персида только и ждала, чтобы застать Хубэра одного.

— Послушайте, папа,— начала она так, словно речь шла о пустячном деле,— на святого Георгия мы переезжаем. А что, если оставить корчму под присмотром Банди? Он хотя и молодой, но разумный и работающий. И совсем не будет плохо, если мы позаботимся о нем.

Хубэр сделался белый как мел.

Некоторое время он пристально и как бы испуганно смотрел Персиде в глаза, потом схватил ее руку, сжал ее и заплакал. Тихий, глухой плач постепенно перешел в рыдания.

— Что мне делать? — воскликнул он наконец.

— Если бы вы были плохим человеком, вы бы не плакали. Вам вовсе не безразлично то, до чего другим нет никакого дела,— говорила Персида.— Спросите ваше сердце, и оно подскажет вам, что делать, и плохо-го оно вам не посоветует.

— Я хочу его взять с собой. Отвезу его в Вену, дам ему какую-нибудь специальность, а потом вернусь.

Персида задумалась.

Все это прекрасно и замечательно, лучше и быть не может. Великое бы дело сделал Хубэр, если бы взялся за это раньше. Теперь же, пожалуй, было уже поздно. Однако все возможно, если человек желает этого всей душой, и нужно сделать это, коли от этого зависит мир и покой целой семьи.

— Разговор с ним я начну издалеку и подготовлю

его, — пообещала Персида. — Если можете, приходите завтра вечером к нам. Я устрою так, что вы будете вдвоем и никто вам не помешает. Он очень привязан ко мне и послушается меня.

Банди и вправду был привязан к Персиде и привязывался все больше и больше. Дело только в том, что Банди всегда был немножко ненормальным, а теперь, когда все переменялось, он и вовсе стал пугливым и недоверчивым.

Его мучила одна мысль: что же ему делать, когда Персида переедет в дом Хубэра.

— Зачем? — спросил он, когда Персида поинтересовалась, не хочет ли он поехать в Пешт или в Вену.

— Посмотришь мир, будешь учиться, станешь человеком, — отвечала Персида. — Отец мне пообещал, что возьмет тебя с собой, если ты захочешь поехать.

— А зачем ему брать меня? — вновь спросил Банди.

В его голове никак не укладывалось, что Хубэр, злой и несдержанный человек, от которого в страхе бегала его мать, может сделать доброе дело.

— Чтобы сделать приятное мне, — ответила Персида.

Да, это Банди мог понять. Ради Персиды даже Хубэр мог стать добрым человеком.

Банди пожал плечами.

— А когда я вернусь?

— Когда захочешь.

Банди опять пожал плечами.

В конце концов ему было все равно, если уж он не может переехать с ней в другой дом и если так она хочет.

Хубэр мог приходить: все было подготовлено.

Хотя Хубэр об этом знал, однако, выходя вечером из дома, чтобы направиться в корчму у Солоницы, он дрожал всем телом, как злодей, который видит, что ничего больше не остается, как совершить злодеяние. Его угнетала мысль, что он пренебрег советом пастора. Ему хотелось вернуться с полдороги назад, ведь невозможно было даже и представить, чтобы все так прекрасно осуществилось, как и было задумано. Но ему ничего не оставалось, как только идти вперед. Так катится камень, который столкнули с крутого берега в воду.

Оставшись с глазу на глаз с Банди, одни во всем доме, Хубэр был готов ко всему.

— Так, значит, поедешь со мной? — спросил он.

Банди посмотрел на Хубэра, который не показался ему ни злым, ни ужасным: в его улыбке и глазах чувствовалось необычайное доброжелательство.

— Поеду, — ответил он, — если этого хочет Персида!

— Все будет хорошо, мальчик, — продолжал Хубэр, — все у тебя будет в достатке!

Банди снова взглянул на Хубэра.

— Почему? — спросил он.

В этом «почему» и в том тоне, каким произнес его Банди, было нечто такое, от чего Хубэру стало страшно.

Но здесь, на половине разговора, остановиться было невозможно, нужно было идти до конца и избавиться ото всего, что угнетало его.

— Это я тебе потом скажу. А теперь знай, что нет у тебя на свете более близкого человека, чем я.

Банди отступил назад и засмеялся, оскалив зубы.

— Ты знал мою маму? — спросил он, поднимая руку. — Ты ее знал? Ты помнишь ее?

— Да! — Хубэр склонил голову.

— Больше не говори ничего, я все знаю! — Голос у Банди стал хриплым. — Ты мой отец? Правда?

— Да! — ответил Хубэр и подошел к нему.

Банди ударил Хубэра кулаком в грудь, потом, в ди-ком исступлении, бросился на него и прокусил ему горло. Оба упали посреди комнаты. У Хубэра закатились глаза, он даже не сопротивлялся. Банди встал коленями на грудь отца и, ухмыляясь, топтал его до тех пор, пока слышалось дыхание.

Когда Персида приоткрыла наконец дверь, чтобы взглянуть, что там происходит, в комнате было тихо, только Банди по-прежнему ухмылялся.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Осипова. Признание</i>	век спустя	3
------------------------------	----------------------	---

НОВЕЛЛЫ

* Поп Трында. Перевод М. Ландмана	17
* Скормон. Перевод М. Ландмана	34
* У креста. Перевод М. Ландмана	41
* Людская молва. Перевод М. Ландмана	63
* Пропавшая жизнь. Перевод П. Быстрова	114

* ЛЕСОВИЧКА

Повесть

<i>Перевод М. Ландмана</i>	147
--------------------------------------	-----

МАРА

Роман

Перевод Ю. Кожевникова

Глава I.	Горемычные дети	259
Глава II.	Мать Аеджидия	263
Глава III.	Великая буря	272
Глава IV.	Весна	276
Глава V.	Молодые годы	289
Глава VI.	Испытание	303
Глава VII.	Волнение	314
Глава VIII.	Долг	321
Глава IX.	Бедное сердце	329
Глава X.	Кто что может	343
Глава XI.	Другой мир	360

Глава XII. Два закона	370
Глава XIII. Старые долги	382
Глава XIV. Польза от Банди	398
Глава XV. Хлопоты Трикэ	411
Глава XVI. Тяготы жизни	424
Глава XVII. Корчма у Солоницы	442
Глава XVIII. Проклятие дома	456
Глава XIX. Вербовка	464
Глава XX. Счастье дома	497
Глава XXI. Мир и покой	513

Славич И.
С47 Лесовичка: Пер. с рум./Предисл. Н. Осиповой.—
М.: Худож. лит., 1988.—527 с.

ISBN 5—280—00278—X

В сборник румынского писателя И. Славича вошли наиболее яркие произведения, посвященные сложной психологии любовного чувства.

С 4703000000—354 120—88
028(01)—88

ББК 84.4Р

И. СЛАВИЧ
ЛЕСОВИЧКА

Редакторы

М. Кожевникова и А. Севастьянова

Художественный редактор

Е. Ененко

Технические редакторы

В. Нефедова и Л. Витушкина

Корректоры

Л. Лобанова, Н. Яковлева

ИБ № 5084

Сдано в набор 18.02.88. Подписано в печать 19.08.88. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Тип, таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 28,14. Уч.-изд. л. 29,63. Тираж 75 000 экз. Изд. № V-2687. Заказ 2513. Цена 2 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валуевская, 28



